



Ольга

НОВИКОВА

*Библиотека современной прозы
«Литературный пассаж»*

Приключения женственности



2

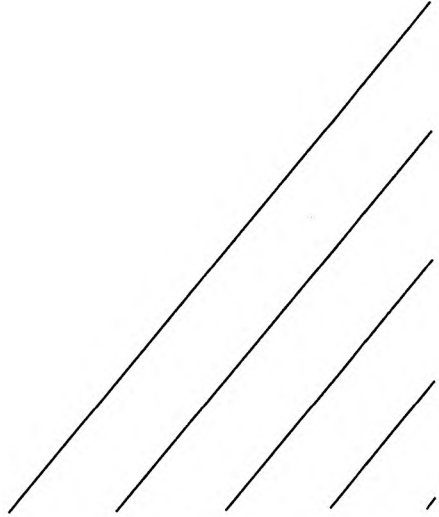
0

0

3



Ольга НОВИКОВА



Библиотека современной прозы
«Литературный пассаж»

Трилогия женственности

РОМАНЫ



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2003

УДК 882-3
ББК 84(2Рос=Рус)6
Н 73

Серийное оформление
К. Г. ФАДИНА

ISBN 5-235-02569-5

© Новикова О. И., 2003
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2003

Мужской роман

РОМАН

О ТАРАСЕ

Отвечать надо сразу, немедленно, как только получаешь удар по гордости, не то ярость схлынет и обнажатся сомнения: он не хотел обидеть... я не так понял... терпел и нам велел... — да мало ли какие найдутся отвлекающие зацепки, опутанные колючки и щепки на засоренном берегу сознания после неизбежного отлива.

Проснулся Тарас от всхлипа. Противно-тягучая слюна сползала из уголка рта, шелк пижамы прилип к спине, тишина опрокинулась на него шайкой ледяной воды... Ближайшие сутки ясны, как продуманная статья с заранее подготовленной последней фразой: «В семь утра Юля отвезла его в Шереметьево», — а перед ней — карт-бланш! — сколько угодно строк-событий, число зависит от создателя — того, кто делает работу, а не от того, кто надзирает. Можно не ложиться спать — и день станет безразмерным: ночью час идет за два или даже за три, но не грех и ранним вечером забыться сном праведника. Конечно, праведника, кто усомнится? Тарас зажмурился, и пока губы бормотали «От сна восстав», придумал начало дня, неожиданное и необходимое, как капля красного цвета на картине Камиля Коро, — прощание с Вале́й.

Вместо холодного душа, подстегивающего к действиям, решил для предисловия полежать в ванне. Крепкая струя воды превращала цветную лужицу в ласковую пену, и персиковый аромат, как тромб, перекрыл сосуд между чувствами и разумом, твердящим, что лучше бы перед отъездом ничего не выяснять, поберечь себя от бесцельных терзаний, ко-

торые могут привести черт (не Бог!) знает к чему, ведь из швейцарской глубинки так просто будет дотянуться мыслями до Пречистенки.

Зеркальная стена еще не запотела, и в ней хорошо было видно превосходство Тараса над новой Валиной пассией. Тарас повернулся боком, напряг мышцы, и на ладной ягодице, как на щеке, появилась соблазнительная ямка. Морщина у глаза? — нет, это бороздка от кружева на наволочке, разгладится. Прямой нос, широкие брови, густые, черные, без серебра, волосы — к сорока годам он сумел не промотать наследство, полученное от прадеда-итальянца. Оружие, данное природой, нацелилось в зеркальное отражение и открыло седой волос, который Тарас тут же выдернул пинцетом. Похожее возбуждение он испытывал, когда с помощью невесомых прикосновений удавалось усадить на экран компьютера летучие парадоксы.

Никуда, ни к матери с сестрой, ни к бывшей жене с дочерью, Тарас не приходил без предупреждения, да и всех друзей и знакомых приучил к тому, что может и имеет право не открывать дверь, если кто-то явится без звонка, но ему самому сейчас даже в голову не пришло известить Валу о своем появлении. Аристократизм состоит и в том, чтобы не быть рабом своих привычек. Если покопаться, подумать, то оправдание найдется: не проверить я еду — попрощаться.

Впервые возник вопрос: как добраться? Встрече в Валиной коммуналке обычно сопутствовала предварительная ласка — неторопливая Пречистенка, приводящая к Малому Левшинскому, где напротив пары двухэтажных полуподков с колоннами устроился доходный дом с застекленными лифтовыми артериями. А как ехать сейчас, когда не терпится поскорее очутиться у медной дощечки: «Ленским — два звонка»?

Карта, прикнопленная на внутренней створке шифоньера, напомнила Тарасу, что цель находится в центре небольшого равностороннего треугольника с вершинами у «Кропоткинской», «Смоленской» и «Парка культуры», и дорога до нее кажется длинной лишь потому, что взгляд обычно цепляется то за чугунную решетку торговых палат XV века, то за фигурку ангела в овальном углублении современного дома, то за плавные, изогнутые формы балкона.

И расстояние, и время — величины субъективные, от настроения зависящие. Несколько сотен метров вдоль замызганных башен и одинаковых коробок, в которых даже воспоминания не приживаются, хочется пробежать и забыть,

как невкусную еду, а три-четыре квартала вблизи Бульварного кольца можно смаковать, не жалея часов. Конечно, сейчас было не до гурманства. Пречистенка стала зачитанной книжкой, в которой скользишь по фразам, страница за страницей, а думами уносишься в непредсказуемое прошлое или реальное будущее. До будущего, до прощания с Валею было гораздо ближе, но Тарас вернулся мыслями назад, к их первой встрече.

Хорошим актером был Валентин... «Почему в прошедшем времени? Перестань каркать!» — оборвал себя Тарас и тут же спохватился: «был» относится не к Вале, а к «хорошему актеру» — он был таким только в руках Эраста, и то не всегда.

Тарас попал в зал, когда ставили свет, и луч прожектора медленно раздвигал широкоплечего блондина, на груди которого, как у девочки, не было ни одного волоска. Из первого ряда вырвался крик:

— Сына, ты зачем плечами кокетничаешь?! Сейчас ремень возьму! От центра, от живота все идет — вся энергия оттуда. Текст говорит: «ненавижу!», жест — «люблю!» Ты ведешь диалог, а нужно душой прощупывать душу. Слово — ширма, обман! — Хлопком ладош режиссер осветил сцену, метнул взгляд к выходу и попал в Тараса, который уже собрался ретироваться — таким неуместным ощущал он свое присутствие при почти семейной сцене. — Здравствуйте, дорогой! Садитесь поближе, рядом с гениальностью. Вы знакомы? — Подождав, пока Тарас представился и поцеловал вялую руку даме с крупным носом, плотно сжатыми тонкими губами и налезавшей на цепкие, злые глазищи челкой, режиссер повернулся к сцене: — Валюша, плие! Длинный рост для артиста — кошмар! Не делай ничего прямым ходом. Зверя играй! Тело должно быть сжато, чтобы получился взлет наверх, а ты, как молодоговардеец, который ищет подпольщицу. Не двигай глазами! В дверь постучатся все народные артисты Советского Союза, а в пространство души постучишь только ты! Если бы ты не был очень талантливым, я бы тебе это никогда не рассказывал.

Тарас напрягся, но пока не от ударившей по чувствам магии театра: никак не мог он сообразить, кто же сидит рядом. В то время режиссер находился на пути от провинциальной неуклюжести к аристократической светскости: усвоил, что надо представлять друг другу встречающихся у него

людей, но пока еще не привык называть их фамилии. И это уже кое-что — хотя бы страхует от неловкости, когда обсуждаешь с незнакомцем некую глупую статью или пьесу (осуждение — универсальная тема для разговора с анонимом), а потом случайно узнаешь или догадываешься по ерзанью собеседника, что он и есть автор обвиняемой бестолковщины.

Соседка сердито теребила обильную бижутерию, драпирующую плоскую грудь, но Тарасу стало не до нее. Режиссер бегал, кричал, месил, как тесто, мягкую челку, шептал, ласкал и стегал словом — и подогнал, приспособил друг к другу своих актеров, своих помощников и своих зрителей, которым случайно или нет разрешено было сегодня отдавать и получать неразбавленную театральную энергию. Примеси не в счет, в природе нет чистого вещества, а эта репетиция — не искусственное, естественное явление. Можно сравнить с удавшейся вечеринкой, где гости начинают петь и танцевать, не стыдясь дурных голосов и нелепых телодвижений.

— Как это, Тасик, описать? Как это рождается? Не знаю. — Режиссер как бы раздвоился: рука дирижировала музыкой и прыжками актеров, а голова наклонилась к креслам партера.

Было понятно, что отвечать не требуется, что и вопрос, и само обращение носит — как написал бы Тарас для газеты «Ныне» — знаковый характер, а в переводе с семиотического на общечеловеческий язык — что репетиция идет удачно, что Тарас включен в число «своих», тех, кто понимает, и ему дается право в нужный момент толковать, объяснять работу режиссера. Когда учитель в школе выделяет умницу, одноклассники начинают явно или тайно ненавидеть любимчика, и часто примитивная реакция на того, кого хвалят, сохраняется у взрослых, особенно если они промышляют искусством. По воле режиссера энергия зала — неважно, положительная или отрицательная, раз это всего лишь мгновение, — устремилась туда, где сидел Тарас, ему в спину. Он обернулся и встретился взглядом с большими голубыми глазами, которые не метнулись воровато в сторону, а продолжали серьезно смотреть на него. Необычный для женщины взгляд — спокойный, некокетливый, пристальный.

— Мы знакомы? — шепотом спросил Тарас, но ответа услышать не успел: локоть внезапно поднявшейся с кресла соседки больно врезался ему в грудь.

— Ну-ка, пустите! — Она уже бесцеремонно пробира-

лась к рампе. — Почему кофр пустой?! Там должны быть шмотки! Валентин, у вас ширинка расстегнута! — И, повернувшись к режиссеру: — Вы во что мою пьесу превращаете?!!

Начинался — или продолжался? — спектакль в спектакле, энный акт. Настоящий постмодернизм. Скорее всего Тарас был усажен рядом с писательницей в качестве громоотвода: на случай, если она начнет бессмысленное выяснение отношений. Но, видимо, накопившееся электричество уже невозможно было разрядить с помощью интеллигентно-дипломатичного театроведа.

Эраст выдержал паузу, чтобы отделить, не испортить ненароком крепкий образ кухонной сцены, который только что с помощью актеров создавал на подмостках. Потом в тишине негромко, вежливым голосом попросил:

— Дама, сядьте на свою жопу, — и демонстративно посторонился, освобождая проход, чтобы дать возможность выполнить режиссерское указание. — Когда вы в своей кухне крутите котлеты, я не диктую, сколько положить туда чеснока и морковки.

Разве в котлеты добавляют морковь? — некстати подумалось Тарасу.

С ролью профессора, ровным тоном выложившего напоследок убедительный аргумент в научном споре, режиссер справился без малейшего напряжения. А писательница? Никто не ждет мгновенной реакции от человека, чья профессия требует одиночества, затворничества и растренировывает навыки общения, но трезво осознавать свое бессилие и не выходить на ринг с заведомо более умелым противником — условие необходимое.

Базарной брани не последовало. Даму не задело то, что Эраст отпарировал удар, отчитал ее при всех: она настолько не понимала хищной природы театра, что считала себя, автора пьесы, здесь главной. Присутствующие, как и ее персонажи, не были ей ровней. Слывя нелюбительницей давать интервью, она как-то проговорилась, что лучше всех сама читает свои пьесы. По бабской логике из этого следует, что режиссер, актеры, костюмеры, бутафоры, суфлер — перечислять дальше? — хотят присоседиться к ее успеху, отобрать ее славу.

Сейчас писательница послунявила указательный палец, как бы собираясь перелистнуть страницу рукописи, свела брови, превращаясь в сердитую каргу, задрала голову и засеменила к выходу, всем своим видом говоря: разбираться

будем не здесь и не теперь — как инструктор по культуре горкома партии, слабоватый по части аргументов, но умеющий власть употребить. И это она, почти диссидентка.

— Ну, дети, пошли!

Переходя к следующему куску, режиссер и виду не подал, как будто не заметил, что предыдущая сцена была из другого спектакля. Так искусно, так надежно соткал он атмосферу в зале, что бытовая жизнь не могла, никаких шансов не имела ее прорвать.

Тарас попытался объективно посмотреть на небезупречную — с нравственной точки зрения — ситуацию, но поскольку он-то понимал, что и драматург, и критик — бумагомараки, люди в театре посторонние, то признал мистическую правоту режиссера и полезного, можно сказать, спасительного вывода: держись подальше, если не согласен, чтоб тебя в тот самый фарш перемололи, — не сделал.

— Любовь, любовь играй! — кричал Эраст. И это слово в его устах не было пустым звуком. То, что он творил на сцене, действительно было любовью, но не в христианском, общечеловеческом смысле — желанием друг другу добра, это была любовь как стихия общего упоения внутренней красотой и обнаженной грацией каждого, кто признал его власть, независимо от пола. По сравнению с этой репетицией все домашние «бомонды» и ночные оргии (Эраст употреблял это слово совершенно нейтрально, как говорят, например, «выпивка») не более чем дешевая самодеятельность, сколько бы денег и роскоши ей ни сопутствовало.

Репетиция закончилась неожиданно, на взлете — Тарас догадался об этом потому, что движение на сцене стало хаотичным, как будто порвались нитки, которыми Эраст привязал актеров к себе и друг к другу. Что теперь делать? Подойти к толпе, борющейся за внимание мэтра? Подождать, пока он освободится? Независимо и незаметно уйти, как это сделала голубоглазая незнакомка или знакомка — не выяснено — с пристальным взглядом? В голове крутилось несколько сумбурных формулировок, плод восхищения, искреннего, увиденным, и чтобы привести их в порядок, Тарас предпочел остаться на своем месте.

Режиссер не дождался, пока гроздьями и поодиночке от него отвалится околотеатральный люд, бросил их сам и по пути к скинутой в кресло амфитеатра дубленке остановился возле Тараса:

— Что это вы тут пригорюнились?

В ответ на участие — неподдельное или притворное, зачем выяснять? — Тарас посчитал неблагородным смолчать, раз обвинения писательницы кажутся ему несправедливыми, и выступил адвокатом на чаще всего не видимом для посторонних судебном процессе, спутнике почти всякой известности:

— Вы добавляете в ее пьесу подспудную жалость, шемящее чувство причастности к жизни героев. Вы зажигаете совсем не тем, что имела в виду авторница. В восьми жестах Валентина информации больше, чем в тексте, который он изрекает.

— Валюня, иди сюда! Умного человека послушай, тебе будет полезно!

На полусогнутых, заплетающихся ногах блондин доплелся до ramпы, внезапно издал горловой клич, упал на руки, сделал на них стойку, помахал в воздухе ногами, повернулся на сто восемьдесят градусов и спрыгнул в партер. Эраст похлопал его по обнаженному плечу и, убирая руку, медленно и нежно провел по специально для него напряженным мускулам:

— Познакомься, сына, это Тарас...

— Кто же не знает автора первой толковой статьи о нашем величайшем из великих! — перебил атлет и, щелкнув каблуками, резко наклонил голову, отчего длинные волосы занавесили его красивое лицо: — Валентин Ленский, сирота.

ОБ АВЕ

Молодую женщину, что пристально и приветливо смотрела на Тараса, звали Ава. Он отметил взгляд, глаза — приметы, по которым точнее всего можно составить мнение о незнакомом человеке, мужского или женского пола — не имеет значения. Она была красива по-своему: дурнушек Тарас как-то вообще не замечал. В данном случае составляющими красоты (понятия неточного, субъективного) были так называемые правильные черты лица: овал, голубые глаза, небольшой прямой нос, румяные щеки с чуть заметными не ямочками, а впадинами; средний рост, хорошие пропорции — насколько можно судить по одетому человеку, — никакой сутулости, не физкультурная, а врожденная осанка.

Необычно было то, что Ава не знала про свою красоту — не задумывалась об этом. Когда ей было тринадцать лет,

она, как всегда после завтрака, поцеловала родителей и собралась в школу, но замешкалась у зеркала, раздумывая, что делать с мелкими прыщиками, появившимися на вчера еще чистом лбу, и услышала папину оценку своей внешности: «Беденькая...»

Ни тогда, ни гораздо позже — а позже папа умер — ей не пришлось в голову обидеться или не поверить. Сомневаться в правоте самого мудрого, самого понимающего и любимого? И потом, она же читала: «Ты это знай, Николенька, что за твое лицо тебя никто не будет любить; поэтому ты должен стараться быть умным и добрым».

Как и прототип Николеньки Иртеньева, Ава очень старалась. Школа — с золотой медалью, психфак МГУ — с красным дипломом, аспирантура, диссертация, НИИ. Всем занималась прилежно, с интересом, но без азарта, без волнения.

Влюблялась? Увлекалась. А любила один раз, была счастлива, начала привыкать к тому, что о ней заботятся, и вдруг совершенно здоровый, веселый человек умер от лейкемии, умер через неделю после того, как они с мамой похоронили отца. С тех пор *emento mori* для нее — это еще и запах еловых лап.

Опустив голову, Ава быстро шла — убегала? — по Садовому в сторону метро. «Ну почему, почему я не познакомилась с ним?! Господи, зачем?!» Негодуя на себя, она встала как вкопанная, и напрасно — тележка с громадным баулом в бело-голубую клетку больно врезалась в берцовую кость. Посреди толпы перед турникетом ни потерять ушибленное место, ни отойти в сторону. Небезопасно погружаться и в метро, и в мысли одновременно.

Нашарив в кармане пластмассовый жетон, Ава сосредоточилась, прошла через автомат и встала на эскалатор, увернувшись от тяжело дышащей молодухи в пуховом платке, которая сосредоточенно прокладывала себе путь к выдуманной с помощью телевизора столичной жизни, и правда не похожей на провинциальную, но не похожей по-другому, чем мечталось...

Воротиться назад? Вот она входит в зал... И что? Жалкие слова бормотать? Мы с вами вместе были на свадьбе общих приятелей... Статьи ваши великолепны... Если она сама себе кажется нелепой, то другие это почувствуют в сто раз сильнее. Человек диктует отношение к себе своим собственным поведением.

Нет, под землей не успокоиться, и Ава вернулась на Зубовский бульвар. Быстрый шаг не помог найти при-

чину беспокойства, беспомощной потери себя. Кого Тарас назвал в последней статье «мутантами противоестественного отбора»? Критиков, не владеющих языком, прозаиков, не умеющих пару строк срифмовать. Она, психолог, тоже в это стадо угодит, если сейчас же не успокоится. Остановилась уже не посреди дороги — приткнулась к колонне «Человека читающего», достала из сумки вырезку про Музей кино, изучила — в шесть новый фильм Киры Муратовой.

Но нельзя же ни о чем не думать, пока добираться до спасительного прибежища, где мысли и эмоции режиссерской волей переключаются на экранную картинку, и Аве пришлось своей волей перестать ругать себя. Тут же вспомнилось, как только что, в самом начале репетиции женоподобный красавчик в слезах крикнул Эрасту: «Что же вы меня при всех-то лагаете?!» Режиссеру можно пользоваться крайними оценками «гений — бездарь», между этими полюсами вернее вырабатывается театральное электричество, а для психолога это табу, вот и приходится на самой себе вымещать нереализованный гнев.

Когда в темноте Ава заняла ближайшее к входу в зал свободное кресло и автоматически огляделась, сердце ее сразу заколотилось, щеки густо покраснели: рядом сидели Тарас и ее пациент Ленский.

РЕС

(В другой стране, несколькими годами ранее)

Обычно после ночных съемок я отключаю телефонный звонок — доверяю автоответчику караулить свой заслуженный нечуткий сон. Поэтому, когда в крошечной темноте что-то заставило открыть глаза, я спросонья подскочил к окну: дело плохо, если трамвай теперь меня будит. Старее? Нет, набережная Лиммата, как и положено посреди ночи, пуста. Тихо, зябко. Полез под одеяло, свернулся калачиком и, сам не знаю почему, взглянул на подошву телефона. Зеленая точка, как глаза немого, мигала из последних сил.

— Андреас Майер слушает, — автоматически представился я.

— Извиняюсь, Питер Майер вам кто?

— Петер? — поправил я. — Старший брат.

Я вспотел. Ночью, по-английски даже необычный женский голос — как у Эллы Фицджералд — ничего хорошего

сообщить не мог. Мать права, не стоило Петеру одному отправляться в Африку. Запретить надо было, а она только порассуждала вслух — решения мы с раннего детства принимали самостоятельно.

— Понимаете, — продолжала «Элла», — наш автобус сломался почти посередине пустыни, а Питер мимо не проехал, как некоторые... Подобрал нас с мужем и домой отвез. Мы его переночевать у себя оставили — не думайте, мы люди порядочные. Утром муж ушел на фабрику, а я думала, успею смотаться на рынок до того, как Питер проснется — мы-то птички ранние. Честное слово, я ненадолго...

Пока «Элла» хныкала, жалея и оправдывая себя, только себя, я прижал плечом трубку к уху и натянул джинсы: бес-тоloch эта потратила уже и мое время.

— Как раз сегодня я собиралась мастера вызвать, чтоб газовую колонку починить. Нет, нет, она еще фурычила, но несло от нее... Прихожу — вонь по всему дому! Я — окна настежь и в ванную. А там Питер на полу, ну прямо как мертвый! Я его за ноги оттуда вытащила, надорвалась прямо... В пиджаке медицинская страховка и телефон ваш нашелся. Я врача вызвала!

Без страховки они бы его умирать оставили?

Грубый мужской голос перебил ее всхлипы:

— Забирайте его отсюда немедленно, если уже не поздно. Похоже, сильное отравление газом, сотрясение мозга — он затылком о раковину жажнулся...

— Адрес? Аэропорт ближайший где?

Если нужно помочь, то лучше на время забыть о своих эмоциях — сострадание мешает сконцентрироваться и обдумать план действий, мать давно нам всем это объяснила. Она — единственная, кто сам следует своим советам. И все же я не позвонил родителям, а сам помчался на машине в дом, где мы выросли.

За минуты езды ничего толкового в голову не пришло. Перед глазами маячил разворот из семейного альбома, где на десятке черно-белых квадратиков семимесячный Петер из весельчака превращался в плаксу. Я вцепился в это видение, как будто стоит вернуться назад, в детство, и год за годом пройти всю жизнь Петера — всю? что я каркаю! — и его машина проедет раньше неисправного автобуса.

Своими ключами я открыл двери в подъезд и в квартиру и, не зажигая света, ощупью пробрался в родительскую спальню, хотя бы еще на пару секунд продлив их прежнюю жизнь, без этого ужаса. При свете луны, мягком, нетревожном, я увидел, что Рената лежит с открытыми глазами. Ус-

лышала, как я в коридоре за шкафом зацепился? Или предчувствует? Мать без слов накинула халат на длинную ночную рубашку и, приложив палец к губам, вывела меня в гостиную.

— Папа вчера долго уснуть не мог: сердце опять барахлит. Петер?

Когда выслушав мой отчет, отцеженный от оценок и эмоций, Рената села на стул, сжав голову руками, я решил, что она пытается справиться с горем, но оказалось — сосредоточивается:

— Нужен хороший врач и самолет. — Глаза сухие, голос прежний, чуть хрипловатый.

После звонка в Красный Крест, где она служила в конце сороковых, до рождения Петера, отца пришлось разбудить. Мы трое стали называться «сопровождающие».

Кажется, даже мгновения понапрасну не пропало. Во время полета доктор дал отцу сердечные пилюли и успокаивающим голосом задал вопросы о детских болезнях Петера и еще что-то спросил про его здоровье, быстро-быстро тьюкая по клавишам портативного компьютера.

А я тупо уставился на пустую пока лежанку, на штативы с колбами и штангами, на мерцающие экраны. Не зря же все это! Не может быть — зря?!

ТАРАС

Мы с Валею не виделись уже целых пять суток. Он должен был выступить в «сборнике» (то есть в халтурном попурри из разножанровых номеров) — платили по-человечески, в конвертах, а не через бухгалтерию, — и решил освежить текст. Сидим у меня в низких, мягких креслах друг против друга, близко, но не дотрагиваясь. Торшер горит. Как будто в подлунном никого кроме нас нет. Валька Михаила Кузмина выбрал: двусмысленные строчки у него так звенят... Я размяк — откинулся на спинку кресла, сполз на край сиденья, ноги вытянул, глаза прикрыл. Вдруг чувствую на своем колене, одетом в тонкое, домашнее, — голую ступню. Она начинает кротко так подниматься по внутренней стороне бедра, медленно, нигде не задерживаясь. Сердце заныло. А его голос не дрогнул, не изменился, я даже открыл глаза и огляделся, нет ли тут третьего, так ровно дышащего. Нет. А он дотягивается настойчивыми пальцами до моих пересохших губ, не прерывая чтения, жилочка на лице не дрогнет.

Я всегда удивлялся, как мгновенно он все перенимает:

совсем недавно смеялись над стариканом из великих — или только другом великих, для кого как — тот, говорят, млеет, когда сосал пальцы на ножках актрисулечек и мальчишек. А Эраст вставил свою историю, про гусар. Под стол, накрытый суконной скатертью, засовывают дамочку, которая, пока они в вист играют, исполняет с каждым вразброд любовь по-французски. Штраф платит тот, кого выдаст испарина, участвовавшее дыхание, дрожащий голос.

Валентин так и остался совершенно, безупречно спокоен. «Созвонимся», — сказал, уходя. Неправильное ударение на втором слоге уличает небрежение не только русским языком, собеседником тоже, и слово само — отвратительное. Кто будет звонить? Когда? Куда? Ни на один вопрос не дает ответа.

Настало тридцатое декабря, а я так и не знал, смогу ли в новогоднюю ночь его заполучить, чтоб с матерью познакомиться. Она с детства мужскую дружбу поощряет и всех женщин, включая мою бывшую супругу, считает недостойными своего сына, то есть меня.

Может, Валя появится на утреннем прогоне в «Современнике»? Пришлось, разбивая день, ехать туда. Кучки театралов перед лестницей слякоть месят, толпа в фойе — разве тут найдешь нужного человека?! Лишь только приоткрыли дверь в зал — как у нас водится, одну дверцу — в нее все и бросились. Шустрее были те, кто изображал из себя завсегдатаев, громко перебрасываясь пикантными доносами на «романов, ир, серж», величая их по-приятельски запросто, без отчеств и фамилий.

Я прислонился к стене, рассчитывая, что чувство собственного достоинства приведет на обочину и Валю. Если он сюда явится.

— Тарас, дорогуша моя, здравствуйте!

Сладкого голоса и слюнявого поцелуя Простенки только и не хватало. Я нахмурился, но его этим не проймешь — не то зрение, чтобы мимику различать. Да и за что карать его резкостью? Он скучен, а не скучен кто ж?

— Как редко видимся! — Простенко схватил меня за рукав кашемирового свитера и потянул так, что оголил тело между воротом и шейным платком. Пришлось оторвать его от себя, чтобы привести в порядок костюм. — Конечно, кто вы и кто я, отставной редактор. Сократили как неугодного начальству.

Неугодного? Да если и есть в нем что-то нетривиальное, так это нерасчетливая угодливость — услужить рад любому, причем не ради выгоды, а просто так, из добродушия.

Тем временем Простенко продолжал меланхолично сообщать подробности своего социального падения — те, которых другие стыдятся и о которых умалчивают.

— Я теперь книги продаю. Место хорошее — на Тверской, в день иногда полредаторского жалованья получаю, но сейчас холодно уж очень, болею часто. А тогда выручки нет, и зарплаты нет. Уйду я.

Когда фойе опорожнилось, я разглядел Простенку: постарел, шея дряблая, с круглого лица сошел прославивший его почти детский румянец. И без жалких подробностей ясно, что жизнь с удовольствием потрепала его, но, видимо, не добралась еще до того наивного самоуважения, которое проступало в обстоятельном, тягучем повествовании. Нейтральным тоном, без эмоций говорил он сейчас о своих невзгодах, а раньше точно так же перечислял режиссеров, намеревавшихся (в Москве) и ставивших (в провинции) его пьесы «Лара и Юра», «Тарас и его сыновья», «Чичиков», «Мой бедный Уайльд»; сообщал, размашисто опуская несущественную частность о проблематичности своего авторства. А сколько его «верных» планов провалилось! Даже жалко человека. Но сам он быстро забывал о поражении, настолько не помнил, что тут же невозмутимо сообщал об очень схожих перспективах.

— В свободное время хожу по редакциям — кое-какая работенка то и дело подворачивается. Вспомнил молодость, — серьезно, не улыбнувшись пояснил Простенко.

Понятно, на чем покоится его самоуважение — на неумении иронизировать над собой, а значит, на неспособности увидеть себя со стороны. Энергии у такого самоуважения — ноль, собеседнику передать нечего. Вот откуда и скука.

— Сегодня договорился, что буду автором предисловия и редактором книги об Эрасте, которую вы вместе с ним напишете. Вы ведь мне не откажете?

Что на меня нашло? Какая книга?! Загорелся, как... Да не все ли равно, как кто! Придумал, что Валя мне поможет... Даже не выслушал Простенку, ни одного вопроса ему не задал — он бы мне простодушно все выболтал... Знал же, как Эраст водил его за нос...

— Вас гений наш уважает, а я для него стар...

Конечно, как можно даже сравнивать, хвастливо подумал я. Еще как можно, оказалось!

Работать вместе с Эрастом? Любой, кто хотя бы раз бывал на его репетиции, захочет туда снова. Но я — не из тех, кто обслуживает звезду в расчете на подачку и на процент с успеха. Всего-то мне нужно — быть рядом с ним не

украдкой, а открыто, работать с ним, не поступаясь своей гордостью и независимостью.

Я не имел ничего против одиночества. Тесная компания превращает тебя в раба, у которого нет права на личную жизнь, приятели становятся соглядатаями. «Я вчера целый вечер до тебя дозвониться не мог. Ты где был?» Жену можно выучить не задавать лишних вопросов — вообще-то у взрослых все вопросы лишние, — а с друзьями у меня не получалось, сразу обижались.

Когда Эраст называл театр своей семьей, я понимал, что это метафора эмоциональная, а не аналитическая, но я же тогда не знал, что он выводит новый тип семьи, не встречавшийся в русской истории. Со снохами в патриархальной крестьянской общине обходятся не по-людски, но и они имеют кое-какие права. Для Эраста, пожалуй, подошла бы аналогия с Древней Спартой, если принять на веру миф о том, что слабых младенцев там со скалы сбрасывали.

Ничего я не знал, ничего не предвидел. Подобно тому, как князь Мышкин принял вечер на даче Епанчиных, где его как жениха «свету» представляли, за собрание своих преданных друзей и единомышленников, так и мне в голову не пришло, что все простосердечие, доброта, остроумие режиссера и его актеров — великолепная художественная выделка, к которой они непричастны, ибо она досталась им бессознательно, от природы, а точнее — от дьявола. Параллель с Достоевским вполне корректна, ведь в советское время место дворян отчасти заняли писатели, артисты, художники, киношники. Это сейчас по-другому, но аристократизм нельзя вернуть как потерянную или забытую шляпу, его годами надо пестовать. Соседка Валина, уборщица в особняке Дворянского собрания (я демократ, с простым народом люблю пообщаться), ищет новое место: «Ряженные матерно выражаются, плюют куда ни попадя и ссут мимо, прости господи!»

Тем временем служительница сердито закрывала дверь в зал и чуть не прищемила Простенкину руку, которой он придерживал створку, услужливо пропуская меня вперед.

К антракту я сумел трансформировать бестолковые чувства в более-менее упорядоченные мысли. Удовольствие от работы можно получить лишь если она толково организована. По собственному опыту я знал, что стоит согласиться написать статью или книгу, как оказывается, что ты уже опаздываешь, подводишь журнал, издательство, типографию, лично редактора и его начальство. Работать нужно четко, быстро, но не в спешке. Впопыхах никак не может получиться то, что след в жизни оставляет.

Первые январские недели вплоть до старого Нового года в конторы соваться неприлично. Значит, официальной стороной издания займемся позже, а с Эрастом как раз теперь можно все обсудить.

— Дети мои, что вы тут шепчетесь?

Эраст на бегу полуобнял меня и помчался бы дальше, если б Простенко его не остановил:

— Народ требует книгу о твоём творчестве. У тебя самого времени нет, поэтому издательство предлагает создать ее в соавторстве с Тарасом.

Я-то думал, что меня режиссер выбрал, а оказывается — Простенке я этим обязан.

— Конечно, конечно... — Эраст снова обнял меня, ласково улыбнулся и посмотрел тем взглядом, ради которого я готов был бы и сам все за него сделать.

— Давайте прямо сегодня все обсудим. Можно после прогона у меня встретиться.

Я тупо решил, что теперь для нас троих эта книга — самое главное в жизни, и больше ни на что не обратил внимания. Великие дела только так и делаются, но была ли наша затея великой?

— Конечно, конечно, я позвоню и подъеду. — И он исчез.

— Как замечательно все складывается! — Простенко от счастья аж порозовел. — Я как раз бутылку шампанского припас. Правда, у меня тут встреча назначена с режиссером из Ельца — он моего Уайльда ставить собирается. Это такой умница, такой очаровательный человек, пить недавно бросил — он нам не помешает. А то я не знал, куда его повести...

Вот так все началось — из-за Вали я пошел на этот прогон.

Простенко и провинциал, от каждого движения которого в нос шибал запах пота и дешевенького одеколona, проторчали у меня до полуночи — ночевать я бы их ни за что не оставил. Эраст три раза звонил, спрашивал, как на машине ко мне проехать, но так и не появился.

ОБ АВЕ

Сухопарая «гениальность» (как назвал ее в хорошем настроении Эраст) с налезавшей на очки челкой посторонилась и подтолкнула вперед юнца, который не спеша пошаркал по резиновому коврику и, перешагнув порог, с высоты

своего почти баскетбольного роста кинул взгляд на Аву — так на ходу бросают камешек в воду и ленятся посмотреть на круги от него.

— Мне рекомендовали вас как глубоко порядочного человека... — прямо в коридоре начала писательница.

Ава поежилась. Многозначие в конце фразы предполагало, что надо либо предъявить доказательства своего благородства, либо пробормотать «да, конечно...», чем поставить себя в зависимость, в подчиненное положение. Встреча начиналась как состязание, но если спортсмену дома и стены помогают, то психоаналитику легче бывает на чужой территории, поскольку на своей приходится проявлять гостеприимную любезность, не всегда полезную для работы.

— Мне нужно знать, как вывести Петра из депрессии! Причины понять не могу — девочки тут ни при чем, я выяснила, — больно схватив Аву за локоть и затащив ее в гостиную, громким шепотом объявила писательница.

Однажды неглупый ловелас со стажем, лежа на фрейдовской кушетке, признался Аве, что ему надоели порядочные женщины: почти всегда отдаются лишь после долгой борьбы, иногда и физической, а потом виновато шепчут: «Теперь вы — или “ты”, не имеет значения, — меня не уважаете». Приблизительная цитата, подумала тогда Ава. Дамы плохо помнят Анну Сергеевну, или Чехов хорошо, правильно запечатлел типическое ханжество и закомплексованность русской женщины в типическом обстоятельстве по крайней мере на два века — двадцатый заканчивается, а в следующем появится новый классик и построит свою периодическую систему характеров уже не только русских, а просто человеческих. Вряд ли это будет нынешняя посетительница: даже в роли матери не отдает себе отчета в том, как она похожа на всех родительниц, к какому бы слою они ни принадлежали. Думают, что все знают о своем дитяти, а не понимают, как легко обмануть беззащитную самоуверенность.

Через пять минут мать, замороченная стопкой журналов, сидела на угловом диванчике в прибранной кухне и срывала свое раздражение на литературных соседях, проживающих под одной с нею светло-голубой мягкой обложкой, а сын жадно рассматривал картины, что с детства висели в комнате Авы.

— Акварель фонвизинская у вас хорошо сохранилась... — Петр прервал ловкое, ненапряженное молчание, которое проветрило комнату, и солгать или схитрить в ней стало все равно что насорить в музейных покоях.

Ава не всплеснула руками и не закудаhtала восхищенно: «Ах! Ох! Откуда ты знаешь?! Какой молодец, что догадался!» — а, пересаживаясь из-за письменного стола на диван, обронила:

— Даже искусствоведы не всегда точно атрибутируют Артура Фонвизина, один приписал эту работу Звереву.

— Что вы! Зверев гораздо нахальнее! Папку с Фонвизиным мне наш режиссер показывал у себя дома. Акварели солнца боятся, поэтому на стену он их пристраивает только для телевизионщиков.

О каком режиссере речь — Ава уразумела сразу: паренек все время месил свою белокурую челку, как это делал на репетиции Эраст, бегая между креслами амфитеатра и сценой. Зная подсказку, можно было продемонстрировать прозорливость и огорошить подростка безапелляционным разложением по полочкам его проблем, но задача-то другая — не классифицировать, как делают психологи, стряпающие диссертации и статьи, а снять, вытеснить всю или хотя бы большую часть тяжести с его души. К профессиональному интересу, который при встрече с любым, каким угодно случаю, пациентом питал Аву, диктовал вопросы, руководил мимикой, — добавилась возможность выведать для Тараса неожиданные детальки о жизни его персонажа. Пока же стало ясно, что ярлык «депрессия», изготовленный в домашних условиях, обозначает скорее всего не болезнь, а беду, поделиться которой с такой матерью невозможно.

— Ава Ильинична, пожалуйста, не говорите моей маме, что я был у него дома, хорошо? Она потребовала, чтоб этот «мелкий бес» не смел больше притрагиваться к ее пьесам, а я... — Петр уперся невидящим взглядом в окно, сжал большие, с резким, как у Тараса, выгибом губы и покраснел. — Он говорит, что я — талант, он роль Лопехина со мной готовит, он шелковый пиджак мне из Германии привез, он такой добрый и любит меня...

Скороговорка оборвалась внезапно, как будто собирались выплеснуть полное ведро воды, а вылилось лишь несколько капель.

Теперь молчать нельзя — уличающая тишина превращала комнату в поле битвы незащитного пациента с профессионально вооруженной Авой, и она поторопилась перепрыгнуть через намечающуюся линию фронта в тыл к подростку:

— А Раневскую кто будет играть — или это пока лишь проект?

Петр встрепенулся, передвинулся на край кресла, по-ба-летному выпрямил спину и, ухватившись за вопрос, стал перебирать подробности «Вишневого сада» со старшеклассниками и взрослым Фирсом, знаменитым эстрадником.

За окном вдруг потемнело, порыв ветра захлопнул на защелку чуть притворенную дверь, отгородив двоих от ближнего, расположенного на кухне, зарубежья. Пришлось зажечь настольную лампу, ее свет упал на сдвинутые Авины брови, разоблачив напряжение, с которым она запоминала и анализировала услышанное. Обычно ей довольно быстро удавалось разговорить пациента, и потом, расслабившись, она с легкостью выуживала из потока жалоб (претензии к миру, не к себе, проще всего становятся потоком) нужную информацию. Но сейчас Аве пришлось опровергать поговорку про двух зайцев, потому что кое-какие мелочи из рассказа Петра могли пригодиться Тарасу для его книги. Для себя она уяснила, что мальчика увлекает чистое вещество театра, а не сопутствующие ему товары; что будет не так уж трудно ослабить его зависимость от Эраста, хитро сумевшего употребить в том числе и психологические приемы, дабы как можно больше приближенных полагало, что высокое искусство — это он, и только он. Режиссура — еще и умение морочить другим голову. Как не использовать этот талант в бытовой жизни, если у тебя такие нетривиальные желания?!

— Он хочет меня... — Петр поднялся с кресла и со взрослой растерянностью спросил: — Если я откажусь, он меня заменит? — И наткнувшись на Авин непонимающий взгляд, уточнил: — В спектакле заменит?

— Вам что-то конкретное Эраст предлагал? — Ава подошла к мальчику, положила руку на плечо, удивившись, как напряглись мускулы под тонкой рубашкой, и мягко, но настойчиво усадила его.

— Нет, пока нет. Но он теперь станет моим врагом?

— Не у каждого человека бывают враги, чаще всего возникают ситуативные противники, которых, если постараться, можно переделать в сторонников или даже друзей. Давайте вместе подумаем, как поступить...

Еле слышное треньканье перебило ее. Не надо бы брать трубку, но когда боишься пропустить один-единственный звонок, не отозваться невозможно.

— Тарас, — назвалса всегда ожидаемый голос, который она узнавала — нет, чувствовала — за мгновение до его звучания. — Представляешь, он опять уехал, не предупредив. Что делать?

РЕС

(Швейцария, почти в то же время)

На моем веку, в самом его начале, Цюрихское озеро замерзло. Крепкий лед выдержал почти все столпившееся в выходные дни на этом чуде население Швейцарии — я тогда удивился, в какой огромной и любознательной стране мы живем. Целый февраль мы, дети, пользовались редким наслаждением от катания на коньках, салазках прямо возле дома, а не в далеких Давосе или Парпане, где родители снимали квартиру на время наших каникул. Но к концу месяца появились опасные трещины, и я упал в воду. Не успев испугаться вполне реальной опасности, я уцепился за кромку льда и выкарабкался на поверхность. Даже простуду не подхватил! В душе осталось ощущение праздника, восторг. А на фотографии — помню, ее в самом начале Seefrogni, замерзания, сделал владелец дома, в котором специально для вселения нашей семейки сломали стену между двумя квартирами, чтоб у каждого ребенка была своя комната, — я кулачками тру заплаканные глаза: обиделся, что Рената воспитывает и наказывает только меня, младшего. Сестра потом утешила, рассказав, как доставалось ей — она до сих пор ежится, чувствуя или лишь подозревая материнское неодобрение. Но все замечания делались наедине с провинившимся, без посторонних, и тут самые близкие, родные — все равно что чужие.

Только теперь я могу сообразить, почему Рената, имея пятерых детей, не стала нашей рабой. Отец по делам своей химической фирмы часто и надолго уезжал в командировки, и не только не ревновал, а наоборот, радовался, когда она находила свои, независимые от него занятия. Случайно мы, дети, узнали, что одно из них — изучение русского языка. Не так уж и удивительно, ведь немецкий, французский и итальянский нужны каждому швейцарцу в бытовой жизни, английский — чтоб выбраться из провинции и быта на мировую арену, а все остальные языки уже одинаково второстепенны и более или менее равноправны. Хотя... И в школе, и в институте на военной подготовке воображаемым противником всегда был Советский Союз, нас обучали, что следует предпринимать, если русские нападут на Швейцарию. Но Рената выбрала самое трудное и, как оказалось, небезопасное.

Много позже, в 1990 году, прочитав в «Тагес анцайгер» о том, что на швейцарских граждан велись тайные досье, Рената потребовала показать ей свое дело. На десятках ли-

стов, как на картинах минималистов, текст прерывался черными горизонтальными прямоугольниками — так вымарывали следы наблюдения, начавшегося в шестьдесят седьмом, сразу после звонка Ренаты в советское посольство, когда она пыталась узнать, как попасть в Москву. Она вызвалась тогда помочь пожилой чете московских диссидентов вывезти фамильное бриллиантовое кольцо, которое должно было кормить стариков на Западе. Где взять приглашение в Союз? Ни Рената, ни ее приятельницы по группе, в которой они все изучали экзотический язык, не были знакомы в то время ни с одним русским. Три дамы купили двухдневный тур в Москву, по присланной фотографии заказали фальшивку и задекларировали ее на таможне. В полночь, улизнув из гостиницы, они по договоренности медленно продефилировали вдоль Гоголевского бульвара, встали у памятника изучаемого писателя и получили сверток из дрожащих рук испуганного незнакомца, который тут же, не замедляя шага, скрылся в темноте. Контрабандно вывезенное кольцо потом превратилось в деньги и спасло стариков от опасного шока, случающегося с теми, для кого эмиграция совпадает с первым выездом за границу, с теми, кто выстроил в своем сознании идеальный воздушный замок, осыпающийся при первом же столкновении с реальностью.

После смерти отца — он умер от инсульта, тогда, когда мы все еще надеялись, что Петер пойдет на поправку, — Рената старалась не мешать нам, взрослым детям с безалаберной жизнью, и опиралась не на нас, а на русский. Что ж, есть много способов жить духовной жизнью, и изучение русского — не самый плохой.

Я вернулся в родную квартиру. На выходные мы забирали Петера из лечебницы — казалось, в привычной с детства обстановке к нему начинает возвращаться сознание, руки лежат спокойно, а не перебирают воздух. Врач посоветовал нанять специального тренера, чтобы научить его чистить зубы, закуривать сигарету, одеваться — осмысленные мускульные усилия, может быть, помогут разбудить спящий мозг. В свой отпуск я устроился медбратом в лечебницу, чтобы научиться ухаживать за ним, когда он наконец вернется домой.

Пришлось разрываться, ведь на моем попечении было три пациента, а Петер лучше всего чувствовал себя на прогулках — не дергался, не раздражался, когда я не понимал его мычание. И мне становилось легче на душе от перезвона колокольцев, от бодрых запахов крестьянского хозяйства,

находящегося по соседству. Мы молча смотрели на лебедей в небольшом пруду, устроенном фермером для красоты, без какой-либо практической пользы. Мне не хватало хотя бы фотоаппарата, чтобы самому запомнить лицо брата в эти минуты, чтобы показать его сестре, которая пока все еще не могла заставить себя переступить порог клиники.

Года через четыре стало понятно, что на чудо надежды нет. Дома Петер жить не мог — он все время сворачивался калачиком и прятался под кровать, под стол, как будто хотел вернуться в материнское лоно. И мы устроили свою жизнь так, чтобы хоть раз в неделю его кто-то навещал. Однажды Рената попросила нас, четверых, без семей и подруг, выбрать удобный для встречи день и, не предупредив меня, объявила:

— Ресу предложили сделать документальный фильм о Петере. От вас зависит, согласится он или нет.

Мы сидели в гостиной вокруг длинного низкого стола и пили кофе. Видимо, держать чашку и обдумывать Ренатины слова было слишком тяжело, иначе как объяснить громкий стук, почти взрыв, гроыхнувший из-за чашек, одновременно поставленных на стол всеми нами. Смешно! Но никто не улыбнулся. Не знаю, о чем думали братья и сестра, могу сказать только про себя: мне хотелось сделать эту работу — давно хотелось, и было страшно; я обрадовался, что хотя бы сейчас Рената озвучила идею, бесчеловечную с точки зрения многих. Сама она, значит, такой ее не считала.

Фильм мы сделали за два месяца. Сестра перед камерой призналась: благодаря съемкам она смогла побороть ужас, заполнивший ее душу после того, что стряслось с братом. Рената подтвердила нашу общую догадку, что Петер, самый старший из нас, был любимым сыном отца. О себе она ничего не сказала и ни разу не прослезилась, даже вне кадра.

Очередь в кинотеатр на Парадеплац — редкость для документального кино, но она случилась. Два раза фильм показали по швейцарскому телевидению, была очень хорошая пресса. У меня есть видеокассета, можно сейчас посмотреть.

ТАРАС

Наступил следующий сезон, не театральный, а естественный, природный. Обычно весной я старался использовать эту первую свежесть для того, чтобы посмотреть на свою

жизнь глазами оппонента — врага или хотя бы недоброжелателя. Полезные иногда открытия получались! Но тут забыл эту мудрую привычку, запомнил скорее всего потому, что не выдержала бы эта, авторизованная мной, книжная затея Простенки резкого, разоблачающего света. Вся изворотливость моего ума уходила на то, чтобы оправдать столь присутствующую Эрасту *необязательность* — это деликатное слово примиряло меня с ситуацией. Высокопарно так думал: по большому счету книга наша ему нужна, не дурак же он и не может не понимать, что в ней надолго, а может быть, навсегда, останется и его летучее искусство, и он сам, смертный творец!

Недоброжелатель бы нашептал мне: чем лучше, правдивее получится опус, тем меньше захочется Эрасту предъявить его толпе — он не привык демонстрировать публике свои укромные местечки, только чужие любит он выставлять напоказ. На репетиции он растолковывал смысл каждого жеста, каждого взгляда, предвидел и просчитывал реакцию зрителей, то есть осуществлял высшую прерогативу гения — прозрение. Но жизнь-то, даже жизнь гения — не искусство. Звериный инстинкт без глубокого, человеческого ума может подвести, хищная осторожность ограждает от любых неожиданных последствий, между тем они отнюдь не всегда нежелательны и неприятны.

Десятого марта Эраст наконец повернулся ко мне своей мягкой, женственной стороной. Для этого пришлось предъявить ультиматум: накануне вечером, после спектакля, триумфального, как всегда в те годы, я не пошел в уборную к Валентину, а прямо на поклонах в букетике белых тюльпанов передал Эрасту записку, сочиненную с помощью Авы: «Дорогой Эраст! Рад, что вы вернулись. Издательство торопит с заключением договора. Очень хочу с вами работать, но если есть другая кандидатура для соавторства, то я, так любя ваше искусство и вас, постараюсь понять и не обидеться. Зная вашу неприязнь к слову «нет», буду считать отказом отсутствие звонка в течение двух дней. P.S. На обложке — два автора: вы и я. Название: «Театральный Эраст». План книги: 1. *Участь* (ваши тексты о себе и о работе). 2. *Показания* (драматурги, актеры, сценографы и т.п. о вас). 3. *Поэтика* (мой анализ)».

Утром я принялся наклеивать марки — портрет Фокина и сцены из его балетов — на голубые швейцарские конверты с пестрой подкладкой, собираясь за два дня ожидания привести в порядок эпистолярные дела и не думать о книге. Вспомнилось, как Валентин, увидев буквы СН в швей-

царском адресе, спросил, зачем здесь формула углеводорода. Не знал, глупыш, что это сокращенная Конфедерация Гельветика, древнее латинское название Швейцарии, никогда не прибегавшей к тоталитарным переименованиям и дорожащей всеми своими названиями, даже на ретороманском наречии.

Погрузившись в вежливые немецкие обороты, с помощью которых удавалось информировать — не рекламируя себя и не давая на адресата — о своем желании попреподавать, я не сразу понял, что звонит Эраст.

— Не знаю, что вы там понаписали! Конечно, будем вместе работать. Я же был в Америке, потом у меня отец умер, потом девять дней, потом сразу Саратов. Только что вернулся. Встретимся сегодня в три. На Зубовском бульваре.

Дверь скрипнула, когда я входил в полутемный зал, на этот раз почти пустой. Эраст прокричал:

— Людонька, запиши себе: тут должно быть намешано — «Прощание славянки», Вертинский, Армстронг! С этого звука мы завтра пойдем. — И на ходу облачаясь в длиннополое мягкое пальто янтарного цвета, подхватил меня под руку: — Поехали!

Терпеть не могу пользоваться чужим транспортом, поэтому попробовал отшутиться:

— Все великие долгожители каждый день хотя бы час пешком ходили.

— Уже находился, — сердито одернул меня Эраст, открывая переднюю дверцу серой «Волги». «Великость» он оспаривать не стал.

— Находиться, как и напиться, впрок нельзя. — Я постарался помягче отпарировать его резкость, понимая, что она рефлекторна, а не направлена именно против меня.

— Наестся — пожалуй... — Эраст обернулся и похлопал погладил мою руку.

Пока мы доехали до светофора, дождались зеленой стрелки, развернулись и очутились у дома напротив того, где только что была репетиция, я успел узнать, что на завтрак он любит корнфлейкс с чуточкой молока и меда да горсть витаминов.

— Как они все. Я из Германии привез. Какой у них там крем карамелевый! А устрицы! Вилочкой специальной выковыриваешь!..

План книги одобрил, но творчески, по-режиссерски войти в него не стал, лишь кивал головой и хмыкал (мне по-

казалось, одобрительно), когда я перечислял тех, с кем собираюсь поговорить для главы «Показания».

В издательском кабинете, набитом столами и дамами средних лет, излучающими радость от встречи с «героем телеэкрана» — ни одного его спектакля в театрах, как выяснилось, они не видели, — Эраст не снял пальто и не сел в предложенное кресло, хотя сразу же пообещал пригласить всех-всех и на репетиции, и на ближайшую премьеру. Придется этим заняться, подумал я, иначе дамы обидятся на Эраста, а отдуваться придется мне.

Чиновницы вели себя как профанки-журналистки, не потрудившиеся ознакомиться с продукцией кумира, полученного из чужих рук и сердец. Несмотря на это их пористые, немолодые лица излучали надежду на то, что отныне они войдут в число если не его друзей, то хотя бы знакомых, что они теперь будут называть режиссера по имени и вскользь обрывать: «Я говорила Эрасту...» На каком основании? Что они могут ему дать? Поскольку речь здесь идет о духовном капитале, то величину своего пая мало кто способен оценить объективно. Но я-то предлагал Эрасту не пресловутую «душу», а внятную концепцию, которую он сам, без моей помощи, сформулировать не может, что уж там скромничать: есть практика, а есть теория со своим инструментарием и со своими непредсказуемыми возможностями.

Туповатые, стандартные вопросы — и те скоро иссякли, сияние улыбок поблекло, хотя губы все еще были растянуты. О деле дамы не вспоминали. Похозяйничав, я нашел издательский договор и протянул его Эрасту. Не поинтересовавшись суммой гонорара, он небрежно подмахнул три экземпляра.

— И на своем смертном приговоре не глядя распишетесь? — вырвалось у меня.

— Конечно, — улыбнулся он публике.

Дома я добросовестно записал в синюю тетрадку, подаренную Авой для заметок к книге, как мы оставили очарованных Эрастом редакторш и секретарш и заехали в два книжных магазина, большой и крохотный, где он брал меня за руку и, не накаляясь от толпы бестолковых книголюбов, весело доставал купюры из бумажного конверта, в каких столичным знаменитостям, думаю, платят за постановки в провинциальных театрах. «Сколько будет 75 и 145?.. Как быстро вы, Тасик, считаете! “Человек перед лицом смерти”? Беру...» Ни одну книжку современного поэта и прозаика даже в руки не взял. Кроме Бродского. Его эссе купил, не рас-

смаатривая. По версии Простенки — собирается с нобелеа-том в Америке встретиться. Все покупки были из разряда литературы, «обязательной» для неофита, то есть религия, новейшая философия и то, что в западных магазинах называется «эзотерика», книжек десять. Я их либо уже читал, либо проглядывал. Упорядочить поверхностные мыслишки с их помощью можно, но чтобы добраться до глубины, надо читать другое.

Странно, зачем он таскал меня с собой? Ни одного конкретного вопроса насчет того, как подступиться к нашей общей работе, обсудить не удалось. Где брать фотографии, как связываться со свидетелями его театральной карьеры? Нет ответа. Правда, посулил, что завтра после репетиции останется со мной и начнет давать показания для первой главы.

В кожаный дипломат мой двухкассетник не влез, пришлось засунуть его в темно-синий пластик — до крепкой тряпичной сумки я опуститься не мог. Хорошо хоть пакет был непрозрачный и никто не видел, что протаскал я его зря: Эраст вместо репетиции обругал помощников, забрал Валентина и отбыл с ним. Куда?

ТАРАС

Недостаточно избитая истина — «человек ко всему привыкает» — наверное, нуждается еще в одном, моем ударе. Сначала, правда, и долго довольно, до той секунды... нет, до того часа или, точнее, дня, когда готовая рукопись в колленкоревой папке с завязками перекочевала из моих рук в Эрастовы, казалось, что смирение приносит съедобные плоды.

Как шпион, потихоньку от своего чувства собственного достоинства, я выведывал, когда и где состоится очередная репетиция (Эраст мне встреч не назначал), и являлся на нее, незванный, незамечаемый, но и не гонимый. Нет, пару раз даже намекали, но я не принял на свой счет, когда Лолита, примеряясь к роли примадонны, обращалась к режиссеру:

— Не пора ли уже продавать билеты на репетиции? Откуда столько народа набежало?! Кто эти люди?!!

От зрителей и на спектакле, и на репетиции хотят одного — энергии для перпетуум мобиле лицедейства. И добывают эту энергию самыми иногда хамскими способами. Помню, однажды, лет двадцать назад, незабвенный Эфрос ни-

как не мог добиться от одной напыщенной звезды более или менее естественной интонации. Не вынеся творческой пытки, она буквально накинута на меня, примостившегося во втором, незаметном ряду:

— Почему этот молодой красавчик так нагло на меня смотрит? Он мне мешает! Кто его привел?!

Я бы, конечно, тогда ретировался, но смелости не хватило — встать, пробраться к выходу на глазах у всех, любопытных и презирающих. Как уж Эфрос унял ее, я с испугу не разобрал, но последняя реплика актрисы, реплика, пришедшая из жизни, а не из пьесы, до меня долетела:

— Вам хорошо, вы вечером к семье возвращаетесь, я же — в пустой дом.

А от Лолитиной оплеухи я низко опустил голову, но такая поза во время репетиции, когда принято смотреть на сцену, нуждается в оправдании. Я достал синюю тетрадку, излил туда обидную филиппику, а потом, сообразив, что всегда могу опереться на «паркер», стал фиксировать все звуковые колебания, производимые Эрастом — рабочие реплики и тирады, выступления по радио, телемонологи... Куда их теперь девать?

Терпение и труд все перетрут. Через пару недель после начала моего добровольного рабства в полутемный зал залетел знаменитый эстражник, некогда пользовавшийся режиссерскими услугами Эраста, а теперь лепящий свои моноспектакли по собственному плану и разумению. Эраст учуял его моментально, изменил траекторию пробежек по залу и, пересекшись с гостем возле моего кресла — первый ряд амфитеатра, первое у бокового прохода, — бормотнул мне:

— Вот с ним бы ты поговорил...

В этой фразе, если ее как следует обмозговать, можно было вычитать прямо чеховский подтекст: идя мне навстречу, Эраст готов при благоприятном стечении обстоятельств кое в чем помогать. «Ты», которого не было даже как оговорки до начала моей зависимости от него, объединяя нас, возвышало — его. Он, патрон, не несет никакой ответственности, не дает никаких обязательств.

Как только эстражник остался один, я приблизился к нему на ватных ногах самозванца — Эраст нас даже не познакомил — представился и получил разрешение позвонить после всех майских, то есть через месяц.

Уходя вместе с визитером, Эраст проконтролировал:

— Ну, вы сговорились?

Я ликовал: он хочет эту книгу, мы ее сделаем!..

В офисе эстрадника суетился фотограф. Ему вежливо и сухо указали:

— Заканчивайте, вы обещали уложиться в полчаса. Меня ждут.

Было явно выражено уважение. Ко мне. Неужели готовился к нашей встрече, статьи мои прочитал? Честолюбивая фантазия засела в голове и превратила меня в аккумулятор, передающий собеседнику энергию восхищения. Мое расположение усиливал витавший вокруг эстрадника запах чистоты и резковатого «Эгоиста» — в тот день и я тоже именно таким побрызгался; его костюм, палевая рубашка, мокасины, свежий ежик — я посочувствовал начинающимся залысынам... Но главное — свободно льющийся спич:

— ...Когда мы начали репетировать, я вообще не понимал, чего он хочет. Как пример: там был монолог о показухе, по тем временам невозможно острый. Я считал, что достаточно его честно произнести, с толком, с расстановкой — и добьешься искомого результата. Эраст же акцентировал псевдосмелость персонажа, пытался убедить меня, что никакой тот не диссидент, не революционер, что раз текст официально разрешен, значит, он служит системе. А иначе люди должны были в лагерь идти или их вообще уничтожали. Почему я не понимал Эраста? Потому что вся эстрада, включая и Райкина, выдавала видимость непримиримой оппозиции, а я был рабом этой системы. И еще мне казалось — то, что я говорю, и есть дело, в то время как для Эраста это две совершенно разные вещи. Это до такой степени противоречило канонам эстрады... Короче говоря, мы расстались. У нас из трех попыток было два расхода, что никоим образом не влияет на наши человеческие отношения — самые нежные. Поразительная вещь! Я понимал, что либо я не готов к сотрудничеству, либо он на каком-то этапе думает о чем-то другом.

«Нежные отношения»... Интересно, что это у него значит? Московский тусовочный штамп, не гарантирующий даже того, что его субъект, да и объект тоже, не кинут друг другу подлянку? Не похоже, хотя трогательная нотка в голосе и лучики у глаз могут быть всего лишь результатом профессиональной игры.

— Люди, работающие в моем жанре, находятся в зависимости от смешных словосочетаний, от того, что называется «репризами». Эраст помог мне выработать такой способ существования на сцене, когда создается иллюзия, будто меня не интересует, смеются зрители или нет. Скажем, я про-

изношу фразу. Как было раньше? Я ждал хохота и после этого шел дальше. Сегодня меня совершенно не интересует, есть ли смех. То есть, конечно, это самое важное для меня, но — как для человека, наблюдающего за процессом, а как для участника процесса — нет. Я сказал фразу и бросился к другой части зала продолжать свою мысль. И если есть реакция, то я даю им возможность отсмеяться, но это они вынуждают меня остановиться, а не я вынуждаю их засмеяться. Таким образом создается иллюзия непрерывности действия... К великому сожалению, эстрада — жанр демократический и требования к нему — требования массовой культуры. Ничего более далекого от массовой культуры, чем Эраст, нет. Поэтому я и нахожусь на таком разрыве желаний, возможностей, спроса... И еще есть одна вещь — не нужно слушать Эраста, когда он начинает простыми житейскими словами объяснять что-то. Если я начинаю вступать с ним в дискуссию, то вижу, как в этом диалоге он неубедителен...

Мы просидели друг против друга, не меняя поз, около часа. Мне оставалось лишь перевернуть кассету, когда диктофончик щелкнул, подсказывать термины для конкретизации слишком общего, любимого им словечка «вещь» и доканчивать за него умозаключения, из которых следовало, что в законах эстрады он разбирается лучше Эраста, шире видит картину в целом. Проще говоря, чуток льстить.

— Видел ваши интервью по телевидению. Вы, конечно, им сто очков вперед дадите, — подхалимничал я, — но жаль — глубина вашей креативной рефлексии там не выявлена. Может, на телевидении этого просто не надо?

— Наверно... — ненадолго задумался эстрадник. — Я не могу выбиться из коридора, который они построили, потому что все зависит только от спрашивающего, во всяком случае для меня. Видите, какая вещь — пришла бы девочка из «Советской культуры», которой дали задание взять интервью про Эраста, и беседа могла кончиться на третьей минуте... Вам в какую сторону? Я подброшу до удобного метро — мне в Раменки, на концерт.

Теперь и у меня было самое нежное отношение к нему.

Дома я сразу сел за расшифровку кассеты. Несложная, ду-малось, работа: прослушал кусок — записал. Но закончил только к утру — то и дело приходилось возвращаться к скомканному слову, конец фразы забывался, гладкий на слух текст выходил на бумаге корявым и тавтологическим. Приходилось

править. И все равно, меня так и подмывало договорить с эстрадником, хотя бы по телефону донести до его понимания непрочтенный им шифр его собственного таланта.

С помощью четырех чашек горького эспрессо я дотерпел до полудня и, не заглядывая в книжку, по памяти, набрал нужный номер. Наверно, он был очень занят, поэтому разговора, на который я настроился, не получилось. Но мы договорились повидаться перед его концертом, сегодня. Отутюжив серые брюки и выбрав галстук в васильковый огурец, к глазам, я соснул, а в восемнадцать ноль-ноль был на Берсеневской набережной у служебного входа. За полтора часа — концерт начинался в полвосьмого — успею кое-что объяснить ему.

— Пойдемте ко мне, — с опозданием минут на пятнадцать, минут, потерянных для нашего с ним общения, появился эстрадник с малиновым пиджаком на вешалке в правой руке.

Мы взбежали на второй этаж. По дороге он вынул откуда-то безвозрастную чопорную чиновницу и, первым войдя в гримборную, сухо попросил ее, не называя по имени:

— Рукава прогладьте как следует, в прошлый раз костюм был как жеваный, — и не меняя тона, поставив этим унижительный знак равенства между прислужгой и мной, обернулся: — Давайте, что там у вас.

Пока он читал, стоя, от усердия наморщив лоб, определенно не имея навыков для этого занятия, — я не знал, что мне делать, что подумать, ведь мне не было предложено ни снять плащ, ни присесть.

«Ладно» — вот все, что произнес он, складывая в стопку прочитанные листки. И ни разу не посмотрел мне в глаза.

Я потоптался, снова пробормотал похвалу его тексту. «Да, недурно, оставляю себе экземпляр», — согласился он, не заметив моей ночной работы. У порога, уходя, я нашелся, как намекнуть, чтоб он пригласил меня на свой концерт:

— Вы не знаете, билеты еще есть? Я хотел бы посмотреть ваше выступление.

— Спросите в кассе, — ответил он мне; словно попросайке-поклоннику.

Черт его знает, почему я не выскочил опрометью из этой серой каменной коробки! Был в шоке? Оцепенение продержалось почти час: как загипнотизированный, на все наличные я купил самый дешевый из дорогих билетов в партер — раскошелился не напрасно, по балконным вниз не пускали, хотя по всему партеру и оставались большие проплешины; бродил по коридорам среди безвкусно приодетых провинци-

алов и очнулся через четверть часа после начала аттракциона, когда эстражник пробалтывал пошлейший текст, запус- тив правую руку в карман брюк и имитируя этим эрегиро- ванный член. Женщины ржали от души. Я не смог дождать- ся конца «репризы» и под негодующее шиканье возбужден- ных соседок демонстративно пробрался к выходу. Юмор без пафоса, без сентиментальности, без выхода в метафизику — уродство. Те, кто приходит, чтобы целый вечер гоготать, — эстетически неразвитые люди.

От гадкого ощущения не избавил даже насквозь продува- емый Большой Каменный, по которому я, нарочно истязая себя, побрел пешком.

РЕС

(Забегая вперед)

Сестра не только сама всегда знала, что надо подарить, чтоб обрадовать и родного, и просто знакомого человека, но и с нами делилась своими прозрениями на этот счет. Я звал ее ясновидящей, пока не подглядел, как из необязательной болтовни она выуживает информацию о том, что кому нра- вится и кто о чем мечтает, и вносит в специальную книжеч- ку, где рядом с именем вместо цифр телефонного номера аккуратно записаны столбики слов с точными предметными значениями. Это стоило перенять. И как только замаячила идея фильма о Томасе Манне со съемками в Любеке, я тут же подключился, рассчитывая пригласить Ренату в город, где они с отцом провели несколько дней еще до рождения первенца.

Мы шли по брусчатке мимо готической Мариенкирхе к дому Будденброков. Пару раз у меня защемило сердце — Ре- ната вспомнила, что они с отцом лакомились любекским «специалитетом», марципаном, откусывая поочередно от од- ной конфеты. Давнее, невозвратимое родительское счастье, как оголенный нерв, отдалось болью и затихло. Я сосредото- чился на семибашенном городе — каким способом пере- дать ощущение любекского гражданина, как воплотить ган- зейское начало в моем фильме, как уйти от туристского взгляда... При этом я вполуха слушал историю появления у Ренаты новой постоялицы.

Надо сказать, что когда Петер окончательно переселился в клинику и я снова зажил отдельно, Рената стала пускать жиличек в мою комнату — не столько с денежной целью, а просто идя на поводу у обстоятельств, у случая. Это были

славные девушки из славянских стран — одна, из Сербии, училась в балетной школе Кюснахта; другая, чешка, приехала заработать на образование; третья, украинка, готовилась к конкурсу скрипачей. За всех кто-то ходатайствовал — церковная община, соседка по дому, благотворительное общество. Но теперешнюю квартирантку Рената позвала сама. Вот как это вышло.

Славянский семинар, который вольнослушательницей посещала Рената, остался на целый семестр без профессора: предыдущего уволили то ли в результате интриг, то ли вправду за пьянство, а новый, выбранный по конкурсу, вдруг передумал переезжать в Цюрих из Германии — большая зарплата не для всякого европейца решающий фактор, да это к тому же был петербуржец, женатый на немке. В последний момент брешь в расписании заделали с помощью своих кадров да еще молодой дамы из Москвы, предложившей спецкурс «Русская Психея», на который, как бабочки на свет, начали слетаться студенты и вольнослушатели. Недели через две на доске объявлений славянского семинара, что на Платтенштрассе, была прикреплена сиреневая бумажка: нужна квартира для госпожи профессора из России.

Усмехнувшись над собой, Рената призналась: «Я испугалась, что кто-нибудь меня опередит, и поторопилась предложить Аве комнату Петера — в твоей жила чешка, через несколько дней она должна была уехать в отпуск к себе, в Прагу. Я поступила как русская — импульсивно».

ОБ АВЕ

Жизнь Авина скособочилась. Формально все было по-прежнему — старший научный сотрудник в приличном академическом институте, где по несколько месяцев обещают вот-вот выплатить зарплату, сумму символическую, которой едва хватает на коммунальные услуги, частная практика, не замужем. Реально же она отдала себя Тарасу, добровольно вручила ему свою душу (о теле никто не заикался), свое время, свои мысли. Незаметно для себя и без всяких условий. Как это могло случиться? Этот придурковатый вопрос умные люди задают лишь тогда, когда нужно исправить положение, и Ава, захоти она, смогла б напрячься и проанализировать — профессиональное умение — почему после первой же попытки сдала даже свою гордость. А Тарас этого и не заметил. Подтверждалось пресловутое: чем меньше женщину мы...

До полудня Ава была свободна — Тарас свою утреннюю энергию использовал для производства текстов. Проще было в те дни, когда один за другим шли пациенты, автоматически отключая страдания. Пренебрегать трудной, изнуряющей работой Ава не могла: надо было отдать долги — впервые влезла, чтобы купить и быстро, задорого, выучиться водить «жигуленок», так пригодившийся Тарасу, его матери, его бывшей жене и настоящей дочери. Но это уже ранним летом, когда некому больше отвезти ребенка на дачу, мать к врачу.

— Я рада, что у Тараса появился такой верный друг. Он же сам намеревался авто купить. При такой загруженности! У него, как у творческого человека, голова все время занята мыслями. Концепции ведь выстраиваются не только за письменным столом, за рулем тоже могут приходиться озарения, что при московском трэфике небезопасно. Отговаривайте его, прошу вас, — как карикатурная свекровь из советской комедии нравов убеждала Аву Тарасова мать.

Авину гордость это даже не ранило — старуха явно не хотела ее обидеть, просто не учла собеседницу. Не было же сказано: пусть лучше с вами стрясется несчастье, чем с моим сыном, поберегите его ценой своей безопасности. Эгоизм материнский можно хотя бы понять...

До покупки машины, весной, Тарас, приглашенный к Аве всегда, в любой день недели и в любой час ночи (своего рода чеховское «если вам понадобится моя жизнь — придите и возьмите ее»), появлялся изредка, всякий раз подгадывая к окончанию сеанса с Валентином. Кофепития втроем — ради этого стоило жить!

Солировал обычно Тарас. И хотя заблестевшие его глаза, румянец на свежесбривших, прохладных на вкус щеках — у них было заведено чмокать друг друга при встрече, — и небрежное красноречие Ава не относилась на свой счет, но полуулыбка, что бродила на его тонких, с резким выгибом губах, никак не была однозначной, и Ава вычитывала нужный ей смысл. Пусть в пучке проводов, что соединяют Тараса с разными людьми, ее жгутик пока тонкий, ему незаметный, — связь есть, личная связь, и уж от Авы зависит, найдется ли в ней самой столько незаурядных, индивидуальных свойств, подключаясь к которым можно получать новый вид человеческой энергии, пригодной Тарасу, сейчас или потом. Во всяком случае, Валентин тут не помеха. Тем более что он стал прятать за привычные шуточки, буффонаду... Что прятать? Даже профессиональные навыки не помогли Аве докопаться до тяжести, обременявшей его душу. Она лишь

чувствовала, что Тарас имеет какое-то отношение к беспокойству Валентина, но не решалась выяснять, в чем тут дело. И без конкретных фактов было ясно: животный страх Валентина имеет не только психологическое происхождение. Но в качестве следователя, блуждающего по закоулкам его подсознания, она может наткнуться на улики, изобличающие Тараса, и уже ее подсознание не даст их заметить. Женщина победит профессионала. Лучше не пытаться. В таких случаях отказываются от ведения дела. И Ава радовалась, что можно оставаться на поверхности и не нырять в глубины сокровенного.

В Страстную неделю Валентин громко объявил, что намерен увязаться за Тарасом на литургию и что Ава как настоящий друг обязана разделить с ними тяготы стояния в душном, непроветриваемом помещении. Обязана! Да Ава бы согласилась довести Тараса до храма Николы в Хамовниках и ждать за оградой столько, сколько ему нужно. А если можно стоять рядом с ним!.. Когда после праздничной службы иерарх вышел во двор, где ему поднесли большую деревянную клетку, и, открыв дверцу, выпустил на волю лазоревку, щегла и голубей, Ава подумала: сизари-то вернутся в свою голубятню, а вот что будут делать в центре большого города маленькие пичужки? И тревога за Тараса, за Валентина, за самое себя только усилилась.

Но и без этого неясного беспокойства забот хватало — пришлось торопиться с книгой. Эта спешка, подхватившая и Аву, и Валентина, подвернулась как нельзя кстати и помогла не думать о главном, роковом для одного из троицы.

— Сдаюсь! — объявил Тарас в середине лета. — Пригласили в Цюрих на Осеннюю школу театральной критики, надо оформляться... И в тексте еще конь не валялся.

Схитрил автор новости или неосознанно выпятил лишь ее неприятные стороны, как стали делать почти все, перед кем маячит приносящая заработок поездка за границу, — выкручиваться перед Авой и Валентином было не совсем честно. Они-то как раз способны были не позавидовать, а разделить радость. Но так уж было сказано...

Месяц еще можно потерпеть, заполнить работой, а вдруг он там приживется? Чтобы скрыть набухшие слезы, Ава вскочила и принялась развинчивать кофейник, еще горячий от только что выпитого эспрессо.

— Обожглись? — первый и единственный откликнулся Валентин. — Давайте белком смажем. — И полез в холодильник.

Из дырки, которую он пробил булавкой в сыром яйце, на пылающую Авину ладошку пролилось облегчение.

Тарас безучастно развалился на угловом диване: ждал, когда кончится возня и займутся им. Говорят, вокруг Бродского всегда суетились те, кто считал за честь быть ему полезным. Последняя, не то предпоследняя его квартира была в трехэтажном особняке на Гринич Виллидж. Все жители этого дома, включая хозяйку, человек семь, служили ему кто как мог. Эта составляющая гениальности имелась и у Тараса.

Для главы «Показания» оставалось опросить семь персон, которые и были распределены по обоюдному согласию между добровольцами, и Ава, договорившись с исполнительницей роли Шарлотты, поехала в ее кирпичную башню на Большой Никитской.

Интересно, какая она, заслуженно народная артистка, уже много лет знаменитая благодаря добротному советскому кино? Типичная русская баба — не деревенская, городская — ее киношный образ. А в жизни? Может, удастся и для себя материал подсобрать, в «русской Психее» что-то новое подглядеть...

Кроме телефонных переговоров был еще обмен репликами на Эрастовых репетициях — вот и все предыдущие Авины контакты с Шарлоттой, но и их оказалось достаточно, чтобы ехать на встречу без неприятного волнения.

Пришлось дважды нажимать на кнопку — после первого звонка минут пять не открывали. Оказалось, заело замок у внутренней, стальной двери.

— Извините, не приноровилась еще — недавно поставили, чтобы шубу норковую не украли. Я вам ее сейчас покажу, хотите? — Шарлотта покопалась в стенном шкафу, напялила на себя бесформенную махину и спросила искренне, почти наивно: — Ну как? Невытянутая норка, некрашенная, с сизоватым оттенком. Пошли в комнату, там свет лучше.

Пока хозяйка возвращала мантию на место, искала вазу для подаренных роз, смахивала крошки с журнального столика и пух с кресел, Ава осмотрелась. Заставлено и завешано. На стенах — иконы, гравюры, пейзажи, в углу — труба из ковра, сервант с хрусталем. Книг — нет.

— Я в домашнем, — оправдала Шарлотта свой затрапезный вид: трикотажные шаровары бирюзового когда-то цвета и такая же майка. Заграничный костюм. — Одеваюсь только на выход: невозможно все время находиться во вздрюченном состоянии... Сейчас вас познакомлю, — спохватилась она, выходя из комнаты.

Ава вспомнила крошечную роль дочери Шарлотты в телефильме и приготовила вежливую похвалу, которая, однако, не пригодилась: хозяйка вернулась не с дочерью, а с двумя котами под мышкой:

— Барсик и Мэйсон, оба беспородные, но поглядите, какие красавцы!

Когда коты вырвались на волю, она вдруг зашептала, чтобы коты не слышали и не обиделись:

— Ава, у нас в доме не воняет, а?

Наконец устроились перед диктофоном, хозяйка сосредоточилась и без наводящих вопросов начала:

— Раньше, если Эрасту понравится пьеса — сразу накинется, заряд у него был, а теперь стал рассчитывать, ради чего ставить, что это ему даст... — и вдруг, будто спохватившись, пояснила: — В глубину пошел, в философское осмысление...

«Стоп, стоп! С выводами лучше повременить. Тарасу факты нужны... Придется брать бразды правления в свои руки».

Шарлотта отвечала старательно, честно пытаюсь вспомнить детали, особенно те, что возвращали ее юность.

— Я была свободолюбивая девочка, характер жуткий — сибирячка, но и я, помню, растворялась под гипнозом Эраста. После лекции он командовал: «К четырем идешь в консерваторию, берешь контрамарки». И я шла. — (А мной и командовать не надо — сама предлагаюсь, — отметила про себя Ава.) — Мы не пропустили ни одного концерта, ни одной премьеры. И потом все рассказывали нашей учительнице музыки, Галине Петровне. Она сформировала нас с Эрастом. Напишите о ней!

Актриса разволновалась, вскочила с кресла, забыв про магнитофон, забыв, что надо говорить «про умное». Из ее нестройного, но сердечного рассказа о себе молодой, о Галине Петровне и об Эрасте — именно в таком порядке по объему сообщенной информации — Ава запомнила (пришлось потом восстанавливать в памяти, так как не сразу заметила, что батарейки кончились) следующее:

Две сестры из Горького приехали в Москву, окончили консерваторию, одна по вокалу, другая по фортепиано. У старшей случился внебрачный роман с известным дирижером, и родился мальчик. Младшая, Галина Петровна, тоже влюбилась и забеременела, но сделала аборт, так как двоих детей им было не поднять. И они обе дружно стали работать, чтобы дать талантливому мальчику великолепное музыкальное образование. Когда Шарлотта и Эраст учились в ГИТИСе, молодой человек уже стал восходящей звездой на

музыкальном небосклоне. Мать целиком завладела сыном, а «маму Галю» отстранила.

Тут Ава тихонечко, незаметно для собеседницы вставила новые батарейки, и дальше история зазвучала голосом Шарлотты:

— Всю нерастраченную, не востребованную страсть Галина Петровна отдала нам, студентам. Мы увидели, что всепоглощающая, безудержная любовь к искусству, полная увлеченность своим делом помогают пережить неудовлетворенность личной жизнью. Она вдохнула в нас всю силу страсти, передала всю глубину трагизма, она была потрясающей. Если есть чисто русский темперамент, то Галина Петровна была его воплощением, — пафос снова выглянул и опять исчез. — На первом уроке я заявила: «У меня нет ни слуха, ни голоса. Медведь на ухо наступил». Одна учительница в Сибири убедила меня в этом. «Не может быть!» — возмутилась Галина Петровна. И через две недели я у нее пела Бетховена. Она звала Эраста: «Послушай, как у девочки красиво получается!» Его любовь к музыке — от Галины Петровны. Говорят, у него теперь какие-то немислимые полки кассет и компакт-дисков, аппаратура... Сама не видела — напрашиваться неудобно, а он не приглашает. Он не забыл Галину Петровну и никогда не забудет. Недавно спросил, где она похоронена... Но когда она шесть лет была прикована к постели — она умирала одна, ее отделили, они ей купили квартиру, и уже старшая царила вместе с сыном — Эраст не приходил: тяжело было ее видеть, страшно. Да он и на похороны отца не поехал...

Правда? А Тарасу сказал, что был...

Тут Аве пригодилось профессиональное умение слушать, цель которого — информация, форма — молчание, неотрывный взгляд, содержание — непритворный интерес, натуральная доброжелательность, понимание. Нужно раздвоиться, и это, может быть, единственный случай, когда раздвоение нелицемерно. Внешне надо полностью верить собеседнику, соглашаться с его оценками, считать его позицию безупречной. Сопоставление, анализ фактов, уличение во лжи, в нарушении логики — это должно остаться внутри, скрыто от постороннего взгляда. И главное — забыть о своих чувствах, не обижаться на уколы, умышленные или нечаянные.

Актриса раскрывалась, распахивалась, в конце концов она, наверное, рассказала все, что знала.

— Когда после ГИТИСа Эраст вернулся домой, на Западную Украину, он стал делать театр вместе с одним мальчи-

ком, Юрой. Это была родственная Эрасту душа. Больше, чем друг — ну, вы, конечно, понимаете? — Шарлоттины карие глаза блеснули, а губы на мгновение раздвинулись в двусмысленной улыбке. — И этого Юру пырнули ножом... Он умирал от внутреннего кровотечения. Все десять дней Эраст провел в больнице у его изголовья. — Снова подозрительный взгляд. — Не знаю, можно ли этим воспользоваться для книги, но если возьмете, то надо тактично подать. Ну ладно, скажу. Совсем недавно Эраст признался: «Когда бывает успех, я шепчу: “Юра, ты видишь, это аплодируют нам”». — Шарлотта встала, поддержала шаровары и позвала: — Пошли, чаю попьем. У меня варенье есть кизилковое, вы такого никогда не пробовали!

— Сами приготовили? — Окинув взглядом безалаберную кухню с кастрюлями и сковородками на плите и грязной посудой в облупленной раковине, Ава решила, что этот стандартный и несущественный для нее вопрос будет приятен хозяйке.

— Нет, женщина одна после концерта подарила. Незнакомая. Вот наш народ какой! Понимают, как трудно бабе на театре! А Эраст терпеть не мог мое якобы успешное коммунистическое прошлое, — сообщила Шарлотта, перекивая шум струи, под которой она споласкивала чашки и розетки для угощения. — Да не была я слишком приласкана! Я так входила в советскую женщину, так понимала ее, что была в обществе как рыба в воде — и это его раздражало. Ему нужно, чтобы актер был как чистый лист, чем-то хрупким, чтобы была эстетствующая фактура. А коммунизм нас приучил, что мы, актеры — ваши, мы такие же, как вы.

Пока Ава разделялась с вареньем — пришлось потрудиться, переправляя, а не выплевывая продолговатые косточки с языка на чайную ложку, а потом — куда? — на край розетки, с которого они сползали, смешиваясь с не обглоданными еще ягодами, — Шарлотта пододвинула к ней полупустую банку меда:

— Вы ножичком выковыривайте. У меня еще есть, но лезть за ним далеко.

Выковыривать больше ничего не хотелось — ни из банки, ни из Шарлотты, но наговоренного текста явно недоставало для более-менее стройной главы. Пришлось снова задавать вопросы.

— Почему вы так долго вместе не работали?

— Из-за моей бестактности, — как на духу призналась Шарлотта. — Я вам первой говорю. Когда я только-только

стала сниматься в кино, концерттировать, пошли деньги, я копила на квартиру, так как развелась с мужем, Эраст позвал меня в спектакль его студенческого театра. Помните, успех был до того громкий, что театр закрыли — официальное признание для того времени. Мы перебрались в студию на Каширке — думали, уйдем от советской власти. Не тут-то было. Но я этого не сообразила, ведь мы с Эрастом ходили к чиновникам, всяким там евреям, они обещали, что все будет, что нам пошьют костюмы и даже заплатят. По глупости, по фамильярности я стала теребить Эраста: «Когда же будут эти деньги? Что же нам не платят?» А он все понимал... И я на долгие годы была от него отстранена. На сцене мы снова встретились только в «Лолите», и то он сначала взял другую, а я его пилила: «Ну за что ей все? Средняя артистка, мягко говоря». Ну так вот она полезла в правительственные структуры, и я получила Шарлотту.

На улице, перед тем как нырнуть в машину, Ава подняла голову. Небо было без облаков, ясное, но не яркое, а выцветшее, усталое от жары. Хотелось поскорее под душ и за стол. Что же получилось? Может, ей только кажется, что упущено какое-то логическое звено... Но чем заслужено дружелюбие Шарлотты? Или это аванс... За что?

Через пару дней, когда в гримуборной под диктовку актрисы Ава вносила правку в машинописные страницы, среди комментариев и болтовни «не для печати» было:

— Все киношные и театральные роли я партизанским образом делала с ним. Кормила его обедом — он тогда был очень бедным — и он говорил мне, как надо играть, ну, всякие там нюансы...

Она его использовала, даже не сознавая это. Не сознавая, чтобы не платить и не чувствовать себя в долгу перед ним. Вот почему разговор про деньги был настолько бестактен.

И уже на спуске с лестницы, на последней ступеньке, провожая Аву к выходу из театра, Шарлотта произнесла последнюю, самую важную для нее реплику:

— До сих пор уверена, что никто не может поставить Голя так, как Эраст. У них ведь столько общего — оба из Малороссии, оба чувствуют природу юмора, оба Италию любят. И оба с дьяволом сношались, а на Эраста глядя, я иногда прямо думаю, что он чистый дьявол и есть... Скажите ему, чтоб дал мне роль в «Женитьбе». Я знаю, он вас и Тараса очень уважает.

ТАРАС

Меня разбудила тишина. Сплошной гул дождя, к которому я привык еще с вечера, внезапно затих, и только капли-индивидуалистки, не пожелавшие вместе с коллективом упасть на землю, поодиночке срывались с деревьев и крыш все реже и реже. С предосторожностями, дабы не разбудить Валентина, я шмыгнул из постели и из дома, прихватив с собой портмоне и сумку, надутую пустыми бутылками из-под минералки.

По умытой велосипедной дороге на Крылатских Холмах, мимо ничейных зарослей обобранной еще в зеленцах малины, я поспешил к нашему храму. Утренняя уже кончилась, служка в синем сатиновом халате собирала потухшие огарки, и я, купив восковую свечку, ограничился короткой молитвой перед Николаем-угодником. Просил я избавить меня от мстительности...

Вчера на некруглом и вообще неясно — каком, дне рождения Эраста Валентин заметил меня не сразу: опоздал, был подшофе и — не один. За ручку держал кудрявого «козлика», того самого, который недавно на прогоне, спускаясь с трапедии, предупредил: «Осторожно, *слазю!*» — и этим плебейским словечком вызвал мою брезгливость.

Ритмично, через равные промежутки времени приглашенные — про каждого можно было сказать, почему он среди избранных, — вставали и говорили о том, как они любят Эраста, как их судьба связана с его жизнью, до чего у него грустные, трагические глаза и какой на нем новый великолепный пиджак. Актеры все были хорошие, поэтому лесть звучала естественно и создавала атмосферу праздничного единения.

Как только перерывы между тостами стали затягиваться, раздался пронзительный голос Эраста:

— А эта старая блядь когда выскажется?

По крайней мере три актрисы могли претендовать на объявленный титул — подходящих для него мужчин не было ни одного, — но Шарлотта вскочила правильно. Не дожидаясь расторопного официанта, она налила себе полную рюмку водки и заговорила:

— Расточка, то, что ты гений, повторять не буду — это уже скучно. Что тебе пожелать? У тебя все есть — «долляры», пиджаки, слава, молодой директор, который тебя любит, продюсерша, которая тебя обожает... — Шарлотта педантич-

но перечислила всех, кто сидел за длинным столом. — У тебя все есть, но что-то может исчезнуть. Постарайся, чтоб этого не случилось, всеми силами души удержи это.

Гости молчали, и только Валентин по глупости встрял:

— Что может исчезнуть? Что вы имеете в виду?

— Он понял, а тебе не надо, — осадил его Шарлотта.

Валентин растерянно огляделся, ища поддержку, и мы встретились глазами. До меня вдруг дошло, что он и дальше будет клясться и врать, шутить и изворачиваться, что пока он жив, я не смогу ни существовать без него, ни примириться с его неизбежными предательствами. Надо что-то делать...

Прежде чем алкоголь уравнил гостей, каждый в меру способностей, благоприобретенных за время житейской борьбы, продемонстрировал близость к солнцу. Демократического равенства в трезвой жизни между служителями Мельпомены не просматривалось. Правда, не для всех солнцем был Эраст. Прилизанный эстражник изящно, в придаточном предложении, даже не словами, а лишь мимикой и интонацией, которые тут читались безошибочно, намекнул на свою дружбу с главным постельничим нашей державы, так расставил акценты, что получилось, будто холуй важнее всех. Какое время на дворе? Были ли августы, октябри? Сидя тут, даже засомневаешься.

Эстражник же, застолбив для себя более высокое по сравнению с присутствующими место во властной иерархии, вклинил свой стул между жеманным «козликом» и Валентином, видимо, намереваясь этим вечером решать не творческие, а личные проблемы.

Мой сосед справа вышел покурить — при Эрасте за столом не смолили, — и Валя мгновенно переместился на его позицию, не забыв прихватить свою рюмку и тарелку.

— Я переночую у вас? — прошептал он, приложившись к моему уху. Его рука приобняла меня за шею, а пальцы медленно и нежно перебирали завитки волос на затылке до тех пор, пока не подчинили себе мой трепет — и я согласился.

Сразу захотелось сбежать, но Эраст намеревался свести меня с Дамой без камелий, которая как раз в этот момент встала и принялась с пафосом ломиться в открытую дверь:

— То, что соединяет меня с Эрастом, сродни кровному родству, поэтому когда про него говорят плохое, у меня, хоть я и не агрессивный человек, начинают дрожать руки. Инстинктивно, как животное, я обороняюсь, потому что у нас с ним существует система отношений, невидимые нити, которые благородный человек не может никому позволить даже надрезать.

Здесь-то от кого надо Эраста защищать? Благородный человек таковым сам себя никогда не назовет, да и заступничеством за кого-либо не станет хвастаться... И зачем портить человеку день рождения, напоминая о кознях?!

— Кровное родство! — прошипела сидящая слева от меня Коломбина. — Муж-швейцарец финансирует все ее наряды, и Эрасту перепадает — вот и все родство!

— Потрясающе! — Эраст громко оценил спич Дамы без камелий. Но, видимо, сорвать злость было необходимо, иначе зачем бы он прицепился к «козлику»: — Ты что с волосами сделал?! Вьются, как на манюрке!

— А вы откуда знаете, как они там вьются? — сострил Валентин.

Очень неудачно пошутил. Сколько раз советовал ему держать язык за зубами. Не всегда и не всем балагурство кажется милым кокетством.

Эраст намек понял, злобно побелел и уткнулся в тарелку, выпустив невидимые, но существующие бразды правления. И сразу же ритм праздника нарушился, тишина становилась угрожающей. Первой это учуяла Шарлотта и подала свою реплику:

— Пьем за гения! — Этого оказалось маловато, и она продолжила: — А почему он так гениален? Потому что одинаково хорошо понимает и мужчину, и женщину. Вот!

— Здорово вылизала! — громко осудила Коломбина, моментально вычислив гипотетические преимущества лести и не обратив внимания на двусмысленность тоста.

Успокоившись в храме, я спустился к роднику. Очереди за водой не было — не выходной день, лишь высокий поджарый дог терпеливо ждал похожего на него хозяина, сосредоточенно завинчивающего пробку пластмассовой канистры. Лицо почему-то знакомое. Опять привет из прошлого — вспомнилось, что портрет этого старика плыл над колоннами последних майских и ноябрьских демонстраций. За столько лет безвестности лицо его практически не изменилось.

Набрав пять двухлитровых бутылок, я подержал голову под тугой студеной струей и побрел домой, часто останавливаясь на обочине просохшей после ливня тропы, чтобы поменять руку, затекшую от врезавшейся в ладонь веревочной авоськи. Мысли поменять не удавалось — в голове мелькали фантастические вопросы, которые могут задать «там, где на-

до». Опять подвергаться унижению?.. Неужели настолько ничего не изменилось?

Еще в советские времена, когда меня, аспиранта химфака, пригласили на конференцию в Бостон, я оформлялся, оформлялся, но на комиссии старых большевиков при горкоме партии — без их допроса за границу не выпускали ни партийных, ни «бэпэ» — не выдержал, сорвался. Не столько из-за дурацких вопросов, сколько из-за того, что противно было говорить о трагедии своего отца этим немывтым, неухоженным старикам и старухам с лицами, сморщенными не от приобретенной с годами мудрости, а от постоянного трусливого вранья. Но тогда отказаться было легче — и химией я не дорожил, и в Америку не так уж хотелось. Теперь же — совсем другое дело.

Когда я сдал документы в ОВИР, мне почему-то не велели, как всем, звонить через месяц, а назначили прийти через неделю в комнату на совсем другом этаже.

Перед нужной дверью, за которой предстояла встреча с государством, мной овладела такая тревога, что я забыл постучаться. У окна вполоборота ко мне с высоко задранной юбкой подтягивала чулки молодая женщина с узкими мальчиковыми бедрами. Прежде чем поправить одежду и поздороваться, она минуту смотрела на меня спокойно и безмятежно, не обнаруживая ни развязности, ни смущения. Совестно стало мне.

Тонким, запоминающимся голосом, который узнаю теперь и по телефону, она попросила расписаться в прошнурованной амбарной книге и сразу выдала бордовый паспорт. Я расслабился и, признаться, забыл, где нахожусь. Тем более что разговор пошел полезный — о незнакомом мне Цюрихе. Юлия только что приехала оттуда. Дабы не забыть, я записал, что нужно сделать фотографию три на четыре для хальб-карты, которая скостит полцены на швейцарский транспорт — поезда, автобусы, трамваи, фуникулеры и пароходики.

— Надеюсь, у вас нет водобоязни как у автора «Улисса»?..

Полувопрос, полуутверждение, которым Юлия прервала свой монолог (конечно, из вежливости — не может же быть, чтоб кого-то интересовали мои абсолютно нормальные отношения с водой), и аромат имени Джойса, а он для моего поколения и круга все равно что Хемингуэй для шестидесятников, окончательно сбили меня с толку.

— А я случайно узнала, что он в Цюрихе похоронен — никто из моих тамошних друзей не имел об этом ни малей-

шего представления. Наугад поехала на их главное кладбище. Контора закрыта — обед, пришлось самой порыскать. У стен — средневековые склепы, посередине — ровные ряды с невысокими, одного размера надгробиями. Ни одного зевачки, такого, как я, у каждого посетителя — своя могила. Пытаются мне помочь, но толку... Кто такой Джойс — представления не имеют. Советуют поискать в другом секторе: «Поблизости точно нет...» Захоронения расположены по хронологии, а я год смерти забыла.

— Сорок первый, — подсказал я, как будто это могло ей тогда помочь.

— Спасибо, но лучше бы вы это вовремя напомнили, — улыбнулась Юлия.

Надо признаться, разговаривала она с необычной для человека ее профессии интеллигентностью.

— Проплутала я часа два, надписи на надгробиях почитала. Такого безобразия, как у нас, ни разу не попало. На Ваганьковском, рядом с моим дедом такая могила: «Инженеру Петрову И. Ф. от его жены, Григорьевой Е. П., доктора технических наук, зам. зав. лабораторией Института тонких технологий». Это «зам. зав» меня доконало. — Юля откинулась на спинку стула и поболтала ногами, совсем как подросток. — Перед выходом я снова заглянула в контору. Мужчина, похожий скорее на доцента, чем на гробовщика... — Она хлопнула ладошкой по столу и засмеялась: — Вот и я, как Григорьева Е. П., субординацией заразилась! Да там и самые скромные клерки выглядят как профессора. Не говоря уж о водителях трамвая... Служитель пощелкал на компьютере, и через пару минут у меня в руках была бумажка с адресом кладбища и номером могилы Джойса. Позвоните мне, я отыщу ее дома. Кладбище Friedhof Fluntern, возле Zoo, — название она проартикулировала без акцента.

Тут Юлия спохватилась: оказалось, ей нужно в центр, чтобы передать новое язвенное снадобье, гуманитарную помощь из Цюриха. И кому? Валентину.

В висках застучало, ладони стали влажными, и я судорожно принялся вытирать их носовым платком. О Юлии он ни разу даже не заикался. При его-то болтливости! Значит, есть то, что нужно от меня скрывать... Опять предательство! Каждый день — новое!.. «Я с ним не знаком — после всего этого!» — чуть не ляпнул я вслух. Будто наяву представилось, как одной рукой он обнимает Юлины узкие плечи, другой перебирает ее роскошные рыжие колечки на затылке... Но я сумел обуздать свой гнев и, стараясь не встречать-

ся с ней взглядом, последовал за ней до метро. Оказалось, что якобы новое лекарство называется «Де Нол».

— Да он его уже недели две принимает без толку! — мстительно съязвил я, отбросив всякую вежливость. — Ему английский атташе достал. Или не атташе, а посольский повар. Всех его знакомых иностранцев не упомнишь! Последнее время он только с ними и якшается.

Теперь трудно объяснить, каким образом удалось Юлии сделать зрячей мою слепую ярость. Но у нее это получилось. А когда я увидел, что ничего криминального — с точки зрения моей ревности — между ней и Валентином нет и быть не может, и поверил, что она лишь нянчится с другом детства, то с суетливой готовностью начал длинную бессвязную речь, выкладывая ей все известные мне и отчасти дорисованные моим задетым воображением подробности Валиного быта. С именами и координатами. Как джойсовский Блум в роли ответчика на суде из пятнадцатого эпизода «Улисса». Но Юлия терпеливо дождалась, пока я излил всю свою злобу, и не сказала: «Закройте у него крантик».

Выяснить, почему саднит душу, ни охоты, ни времени не было: я опаздывал на очную ставку — тьфу! заговорился, — снимать показания с Дамы без камелий. Нужный подъезд серого дома в притверском переулке был густо облицован мраморными досками с выпуклыми ликами живших и умиравших там тузов.

Женщина без возраста, незаметная, как всякая хорошая прислуга, усадила меня за круглый стол, покрытый темно-синей скатертью с тяжелыми кистями. Несколько поколений артистического истеблишмента, к которому принадлежала хозяйка дома со своими предками, оставили в этой комнате следы богатой, охраняемой даже и сталинской властью, жизни.

Я вспомнил, что пару раз крепко приложил Даму без камелий за вульгарную игру в рецензиях на не-Эрастовы спектакли. Она ведь может ошестиниться — надо было Аву к ней подослать.

— Людмила Андреевна, мне, пожалуйста, кофе, — с этими словами в комнату вошла актриса. Она была в темно-синей бархатной пижаме, без макияжа, свежая и отдохнувшая после дневного сна. Густая низкая челка могла скрывать только один из признаков старения — морщины. — Вам тоже? — добавила она, забыв поздороваться. — Представляете, утром включаю радио и слышу: «Престарелый травести справлял

вчера свой день рождения. Он только что вернулся из Италии, загоревший и похудевший, что стоило, говорят, немало денег». И ведь никакой упрасы на журналюг этих! Хамство, пошлость и вранье. Больше я им спускать не буду!

Слова грозные, а голос спокойный, уравновешенный, и правильные черты лица не сдвинулись ни на йоту, чтобы выразить возмущение. Я поежился, хотя вряд ли Дама без камелий угрожала именно мне, но, честно говоря, слово «хамство» употребляют только те, кто к нему сам склонен.

Тем временем помощница принесла две чашки настоящего пахучего кофе и блюдо с единственным яблоком. Актриса срезала спиралью зеленую шкурку и стала отправлять тонкие белые дольки себе в рот. Я сглотнул слюну и включил диктофон, чтобы к психологическому портрету Дамы без камелий, который у меня уже почти сложился — правда, пока только в кубистической, а не в реалистической манере, — добавить словесные характеристики режиссера, ради чего я и ерзаю тут на стуле.

Запись началась с поучения:

— Чтобы написать книгу об Эрасте, нужно выслушать много людей, нужно сшить ее как цветное одеяло из самых разных лоскутков.

В голове промелькнуло: если и дальше вместо фактуры она будет подсовывать мне свои дурацкие концепции и финтифлюшки лежалых метафор — текста не получится. И вообще, забавно — объясняет мне, как книги пишутся. Похоже, она не очень в курсе, кто я такой.

Пытаясь не вникать в смысл ее монотонной, назидательной речи, я старательно изображал внимание и даже восхищение, поддакивал в нужных местах, но когда усилилась бомбардировка банальностями типа «искусство — это цепь открытий», «артист и зритель — сиамские близнецы, театр без зрителя существовать не может», «на алтарь театра мы приносим свое женское естество, над которым вы, мужчины, осуществляете ежедневное насилие», и растущие досада и раздражение могли уже вырваться наружу, — я дал отдохнуть взгляду, переведя его на мраморную фигурку Психеи, что стояла на консоли за спиной хозяйки. Бесцветный голос со стальными нотками, несмотря на почти полное отсутствие моего внимания, продолжал внятно и расстановисто отчеканивать сентенции, каковых у нее благодаря цепкой актерской памяти и общению с незаурядными людьми накопилась целая коллекция. Под конец мне все же удалось вклинить пару вопросов и выщедить из актрисы несколько вешдоков. На том и разошлись.

Недели две после я мусолил листочки с расшифрованным текстом, но все-таки привел его в божеский вид и предъявил Даме без камелий. Как и в прошлый раз, она пересказала мне сплетни об Эрасте — теперь без ссылки на источник, но снова рьяно осуждая разносчиков, снова поучила меня жить и только потом, напялив очки, положившие конец сомнениям о ее возрасте, с видимой неохотой уткнулась в машинопись. Уже на второй странице по лицу ее прошла тень, глаза нахмурились.

— Комнатенка! Я это слово не могла сказать, — обиженно проворчала актриса.

Я потом перепроверил — не было в тексте никакой «комнатенки». Что за черт, прости господи!

Окончив чтение, дама впервые взглянула мне в глаза. Не знаю, что увидела она, я же разглядел не маску молодящейся актрисы, а растерянное лицо сильно уязвленного человека. Словно в зеркале... И беснуется, и не хочет...

— Я надеялась, что вы разовьете мои мысли... — вырвалось у нее. — Как-то самонадеянно все получилось... Оставьте, это надо переписать. — Она быстро взяла себя в руки. — Приходите послезавтра на спектакль. Билеты все проданы, но я вас куда-нибудь приткну.

С трудом и не без последствий отменив важные встречи, в назначенное время я стоял у служебной раздевалки. Оказалось, из-за болезни второстепенного актера спектакль отменили. Но приехал я не зря — гардеробщица передала мне большой желтый пакет на металлической застежке.

Прочитав текст, я схватился за голову: вместо «показаний», ради которых я дважды как *простой журналист* посещал эту мегеру, она подсунула мне якобы эссе из сентенций типа: «Его хрустальные дворцы и аметистовые пирамиды, затейливые фонарики и колоннады, сотканые из света и тени, а в основном из игры его воображения, поражают зыбкостью и эфемерностью, они подобны льдинке на ладони ребенка, которая тает у него на глазах». Лирика на все случаи жизни. Тот, кто писал за нее это, видел хоть один спектакль Эраста?

РЕС

По возвращении из Любека пришлось заскочить к Ренате за почтой: я продолжал сообщать всем знакомым родительские координаты, хотя давно жил отдельно. Почему? Ну... Перемена адреса — информационная смерть... Не по

нутру мне было долго гнездиться в одном и том же месте, ремесло требовало частых поездок, и вообще, что-то тянуло к родным пенатам. Я думал — мать, долг, но оказалось — и предчувствие.

От матери я вышел рановато, минут десять до электрички было, поэтому к платформе я шел медленно. Смеркалось. В пустующем замке рядом с родительским домом неожиданно засветилось окно. Вспомнил, как в детстве мы населяли эту неуютную, но всегда ухоженную махину привидениями или шпионами из Советского Союза — юридические хозяева там обитали редко. Мимо витой чугунной решетки, охраняющей дворцовые тайны, мне навстречу неторопливым легким шагом двигалась незнакомая женская фигурка. Чем ближе она подходила ко мне, тем больше я досадовал, что нет под рукой видеокамеры и я не могу оставить себе на память ее цветной образ на фоне черно-белой графики сумерек.

Когда мы поравнялись, я безотчетно приостановился, и отрешенный взгляд ее голубых глаз, подсвеченных васильковым беретом и шелковым шарфом в синих разводах, споткнулся о меня. Но, видимо, трудно ей было вынырнуть из каких-то своих невеселых глубин, и мне досталась только автоматическая приветливость.

На следующий день в телефонном разговоре Рената сказала мне своим ровным, безэмоциональным голосом:

— Должно быть, ты вчера пересекся с Авой — она вернулась сразу после твоего ухода.

Потом я уехал в Чили на натурные съемки — там самый крупный в мире телескоп, и как всегда, когда мы расставались надолго, стал получать от Ренаты письма-отчеты о том, как лечат разрушающиеся зубы Петера, о наводнении в подвале сестринского бутика, о конференции по радиосвязи в Южной Франции, где половина участников (двести пятьдесят человек!) заболела странным гриппом — все время кружится голова — и старший братец к концу тоже, о женитьбах племянников и так далее. Кропотливая, незаметная нам работа по преодолению центробежной силы, разрушительной для семейных уз. Но я искал и находил все больше и больше вестей о моей незнакомке.

«...Вечером мы с Авой навестили твою сестру. У нее постоянно новые идеи — и в бизнесе, — поэтому в ее магазинчике так много покупателей, и в доме — перестраивает, перекрашивает, перевешивает. Приезжаешь через месяц — мебель по-другому расставлена, на стене новая картина, на ле-

стнице ваза с сухими цветами. Погода была на редкость теплая для октября — последние дни золотой осени, — и мы ужинали в саду, но Ава шепнула мне, что хотела бы посмотреть дом. Твоей сестре было что показать. Когда поднялись в комнату внучки, даже я удивилась — простор и два цвета: желто-соломенный, цвет живого дерева, и голубой. Правда, гармонию подпортили разбросанные всюду наряды: каникулы, завтра она с отцом едет в Италию. Как она похожа на свою мать в детстве, такая же дикая. Однажды твоей сестре — ей не было и трех лет — не понравились нравоучения и назидательный тон Святого Николая, который пришел к нам в епископском облачении с митрой и мешком подарков. Она сердито перебила его: “Смотри, смотри, сколько на полках книг — не надо нас учить!”

Как-то я встала поздновато и сонная побрела на кухню готовить завтрак. Уже в коридоре ноздри защекотал вкусный запах кофе. В столовой был накрыт стол — Ава не забыла ни одного пустяка: теплые гренки, сыры разные и джемы, и даже морковку на самой мелкой терке натерла. Наш папа изредка устраивал мне такой же праздник.

Чем лучше я узнаю Аву, тем чаще вспоминаю русскую сказку о Царевне-лягушке — помнишь, я тебе ее в детстве читала? Честное слово, мне понадобилось больше времени, чтобы приспособиться к нашей кухне, она же на второй день, лишь помогая мне готовиться к приему гостей, без лишних вопросов, освоилась полностью.

На русский язык глагол “erledigen” переводится слишком приблизительно: уладить, закончить — нет точного слова для умеющего содержать все свои дела в порядке. Русские этого свойства в людях не замечают и не ценят».

«...Мне уже не так, как раньше, нравится осень, зато длинные ночи приглашают к чтению, проще сосредоточиться, мысли глубже, занятия русским даются легче. На Авиных семинарах в университете все прибавляется народу, труднее получить слово, но я могу наблюдать, как русская душа чувствует себя в моем доме, и сопоставлять с литературными примерами. Когда мы обсуждаем пушкинскую Татьяну, я думаю, что в наше время она была бы похожа на Аву — то же сплетение грусти, достоинства, чуткости и чувствительности.

Сейчас она пошла провожать неожиданных гостей — своего коллегу Тараса и русского поэта, женатого на нашей студентке и говорящего: “У меня жена с немецким языком”.

Пока мы пили аперитив, поэт этот — он впервые был в моем доме — успел пожаловаться на скудость швейцарских библиотек, к тому же платных и закрытых по уикендам — не то что в Америке, где он без особых успехов проучился два года и кроме магистерской работы, высокопарно и нечестно возведенной им в ранг диссертации, ничего не написал. Возмущался дороговизной наклеек на мешки для мусора и тем, что его нужно сортировать...

“Через меня божественный свет проходит, а я сам — глина, я — говно, и если что не так, то это недостаток исходного материала”, — вещал он. “Следующий шаг на этом пути заявить: я — Наполеон”, — потом, когда мы остались вдвоем, не удержалась от диагноза Ава.

Ее коробило от каждого его заявления, а когда поэт потребовал закуску к торжественно принесенной им бутылки дешевого розового вина с железной крышкой, она потихоньку попросила у меня прощения, объясняя — не оправдывая — его поведение тем, что гости в России рассчитывают на сытное угощение, даже если пришли во время файф-о-клока. Конечно, когда столько времени в стране были проблемы с пропитанием, отношение к еде измеряется и по моральной шкале. У нас в войну было так же.

Наблюдая за ними, я чувствовала себя той ирландкой из “Лотты в Веймаре”, что неумело рисует в своем альбоме звезд современной истории. Поэт был молодой и знаменитый — это он не раз подчеркивал сначала твердым голосом, а потом как бы курсивом — после того как кончилось его вино, выпили бутылки, припасенные Авой, и я сходила в подвал за новыми. Мне он тоже был известен: предыдущий жених его швейцарской жены, юноша из кантона Валлис, узнав, что та бросила его и выходит замуж за русского поэта, застрелился из ружья, которое хранилось у него, как у каждого военнообязанного. Твое на месте, я проверяла. У этой трагедии словно русское изменение».

«...Ава стала звездой нашей местности: каждое утро хозяйка дома устраиваются с биноклями на балконе, чтобы подсматривать, как она пересекает лужайку, шоссе и, скинув махровый халат, вся в пупырышках от холода, ныряет в озеро, даже не проверив температуру воды. Говорит, что ей нравится контраст: холод полного одиночества у тенистого берега и тепло солнечных лучей, пробивающихся из-за крыш и деревьев на середину озера. А мне вспоминается ваше соревнование — кто последний рискнет искупаться поздней осенью. Кажется, ты победил...»

«Новая соседка открыто, даже бесстыдно глазела на Аву, ловко пылесосящую салон моего “рено” — вчера я рассыпала пакет сахарного песка, — и вдруг на плохом английском, что не добавило ей деликатности, попросила Аву вымыть свою машину за пятьдесят франков. На этот раз поежилась я: бесцеремонную даму не переделать, а вот позволять Аве обслуживать мой “рено” не следовало».

«Легка на подъем — это про Аву. Бывает, к вечеру мы загрустим — я о своем, о чем она — могу только догадываться, и тогда стоит позвать ее хоть куда — на экскурсию, в гости, прогуляться в кюснахтском лесу, поужинать не дома, а в кафе — готова и благодарит. У нее нет ни советской, ни антисоветской предубежденности по отношению к нашей якобы однородной, скучной буржуазной действительности. И я все чаще ловлю себя на мысли: кого и что еще ей бы показать, чем с ней поделиться.

В Айнзидельн мы попали на закате. С парковкой машины проблем не было — брусчатка перед монастырскими воротами лежала свободной. В гулком соборе помолчали перед статуей черной Мадонны, долго рассматривали пухлых деревянных ангелочков, готовых вспорхнуть с большого органа, залезающих на подоконник витражного окна, прыгающих с небес на алтарь, притулившихся на консоли мраморной колонны: их радостная суета была так заразительна, что Ава повеселела и фон постоянной грусти перестал просвечивать в ее глазах.

Когда мы бродили по двору, я отыскала окно кельи, в которой наш Петер готовился к сессии в мединституте. За год нужно было сдать четырнадцать предметов. В России врачей учат по-другому. Моя коллега по народному университету фрау Хирш берет уроки у русского психиатра-диссидента, который уже несколько раз провалил наши трудные экзамены, а пока устроился санитаром в госпиталь. Это особый тип людей. Весь запас критического пафоса, отпущенный человеку, они — опрометчиво забывая о себе — используют для обличения мироустройства: в своей стране ругали сначала коммунистов, теперь демократов, попав на Запад, злобятся на здешние порядки. Мир-то, конечно, несовершенен, но и мы сами — всего лишь часть этого несовершенства.

Чтобы подтвердить, опровергнуть или скорректировать свои отвлеченные умозаключения, я согласилась взять урок у русского диссидента, когда мне это предложила фрау Хирш. Он несколько раз переносил день нашей встречи, в общем-то нужной ему для заработка. Утром, за час до назна-

ченного времени, объявил, что может приехать лишь после ланча и что я должна встретить его на трамвайной остановке в Тиффенбрюнене, так как он не может приноровиться к расписанию поездов, останавливающихся в Кюснахте. Дабы довести дело до конца, я стерпела и это. И была “вознаграждена” щедрой откровенностью монолога, дающего материал даже для более решительных, чем мои, выводов-приговоров, но о разговорной практике в языке, предполагающей и несколько реплик ученика, то есть моих, — и речи не было.

Фрау Хирш намеревалась за русским чаем познакомить с ним наших русофильствующих дам и москвичей, так о своей неявке он сообщил по телефону, когда мы уже разошлись. И к лучшему — нам удалось забраться в любопытные закоулки московского и отчасти российского художественного быта: Тарас и Ава знают толк в том, о чем пока не пишут ни “Нойе цюрхер цайтунг“, ни “Московские новости”. На лекциях для этого времени не хватает.

Пасует русская интеллигенция перед денежным фактором, сдается ему на милость, примирившись с тем, что для заработка надо потакать вкусам толпы, а иначе — нищета. Это легко объяснимо: в советское время деньги были диссидентами и вели свою, весьма регламентированную подпольную жизнь, а выбравшись на свет, ошалели от полной, ничем не ограниченной свободы. Вместо того чтобы осваивать культуру компромисса ради дела, творческие люди страстно, на виду у всех, делят то, что нужно было сохранять и развивать. Множество театров раздроблено, газет, университетов...

Какие разные, эти русские друзья! У Тараса, умного и образованного сноба, для каждого политика и события русской общественной жизни есть категорический приговор, отчасти эмоциональный, отчасти аргументированный благодаря широким познаниям в древнейшей и современной истории. Но сведения чаще всего абстрактные, почерпнутые из книг. Ава слушает его больше чем с уважением, а когда его нет рядом (без него она другой человек), собирает конкретную житейскую информацию, анализирует ее и частенько своими вопросами разрушает бинарную систему “да — нет”, которой придерживается ее друг».

«Для Тарасовой книги о русском режиссере — помнишь, его театр представил у нас прошлым летом необычного Чехова, Ава встретилась с двумя русскими актрисами, которых у нас знают по “Зеркалу” Тарковского. Та, что сыграла мать,

уверяет, будто дух Тарковского поддерживает с ней мерцающую, но постоянную связь. Не нужно понимать ее буквально — у актеров в памяти слишком большой выбор чужих слов, поэтому нет умения искать свои, даже когда есть собственные мысли. Если помнить, как ее героиня в белом льняном платье с вышивкой, сидя на изгороди, ждет мужа, который так никогда и не придет, а вместо него внезапный порыв ветра, колышущий куст боярышника, траву, как бы объясняет и предсказывает трагизм и одиночество жизни, если учесть, что любая мистика попадала в Советском Союзе под нелепый запрет, то не у каждого появится дежурная ироническая улыбка, привычно встречающая все, что заступает за границу физиологически осязаемого мира. А я к тому же слушаю Авины лекции о русской Психее, почти материализованной в литературе, музыке, живописи».

«Когда Ава говорит “у вас, в Европе”, “Россия и Европа”, я возмущаюсь: Россия же часть Европы! И тогда она объясняет мне, как нервно относятся русские к своему положению в мире: одни хотят быть западниками и европейцами, другие агрессивно стремятся к славянскому единству, третьи твердят о евразийстве, четвертые — американофилы... Мне же кажется, что за этой пестротой теряется конкретный вопрос о способе равноправных взаимоотношений: какая Европа нужна России и какая Россия нужна Европе...»

«Сегодня весь день Ава провела в своей комнате, выбегая из нее на каждый телефонный звонок. Часов в пять вечера я собралась к Петеру и, памятуя о ее давнишней просьбе, настойчивой, искренней, несправедливой и деликатной, позвала с собой. Она покраснела, но твердо отказалась, чем даже огорчила меня.

Когда я вернулась, Ава была напряжена и удручена. На мой дежурный вопрос, не звонил ли кто, она снова покраснела, опустила припухшие веки и покачала головой: “Нет”».

ОБ АВЕ (отбегая назад)

До запланированного отступления, то есть до отъезда Тараса в Цюрих, оставалось совсем уже мало дней. Хотя что значит — мало? Даже если б и год был до расставания — Аве

этого все равно недостаточно. Она не маялась только из-за разлуки, неизбежной оттого, что человек смертен. Но первой должна быть она.

Пытаясь выяснить, что же так гложет Тараса, Ава поняла — он и сам не надеется разобраться в этом и буквально убегает от преследующего его клубка проблем, который ни распутать, ни разрубить не в состоянии. Он даже почти откасался, не признаваясь в этом и себе, — от необсуждаемого, несомненного намерения закончить рукопись до отъезда. Ссылался на занятость актрис, с которыми нужно добеседовать, на недоступность Эраста, на цейтнот... Ава, уже давно выполнившая свою часть работы, буквально навязала себя, напросилась к нему домой. С одной целью — привести в порядок сделанное и решить, можно ли успеть с книгой.

Круглый дубовый стол пришлось раздвинуть, как для гостей, чтобы разместить на нем вырезки, рукописные и машинописные листки по главам и подглавкам. Лучше всего дело обстояло с первой частью, монологом Эраста, сложеным из его устных рассказов, теле- и радиоинтервью, реплик на репетициях, эссе. Получался постмодернистский коллаж, в котором не хватало легко осуществимой малости — слов Эраста о тех, кто для второй части дал о нем показания.

Передохнули, выпили кофе и принялись за вторую стопку. Ава, увлекшись чтением, чувствовала себя просто счастливым человеком и не обратила внимания на телефонный звонок. Но когда Тарас, сидящий напротив, стал отвечать односложно, официальным скованным голосом, она прислушалась. Из трубки, судорожно прижатой ко рту и неплотно к уху, — конспирация наоборот, — донесся тонкий женский голос: «Ты не один? Я сегодня задержусь часа на два, не...» — на этих словах Тарас спохватился и вдавил трубку в ухо, сохранив на лице угрюмое, насупленное выражение.

Трудно было не заплакать, не сбросить все бумаги на пол и не выбежать из этого чужого дома. Друзья-мужчины уже присутствовали в жизни Тараса, когда она с ним познакомилась. Они воспринимались ею как природная данность, против которой роптать и глупо, и бессмысленно. Они и бывшая жена не мешали ее чувству, отнюдь не покорному и не безответному. Ава надеялась на ответ и ждала его. Какого? Если бы этот гипотетический вопрос задал Тарас, что невозможно, то Ава дала бы искренний и правдивый ответ, очень уязвимый ввиду высокопарности и наивности: мечтаю, чтобы в результате нашего полного, абсолютного сближения мне удалось найти в вашей душе не занятый никем

уголок, о существовании которого вы сами не догадываетесь. Ведь назначение человека — раскопать в себе и использовать в жизни все, дарованное природой... Себе тот вопрос Ава не задавала, полагаясь на интуицию.

Интуиция... Тонкий голос посторонней женщины, имеющей право... Сколько раз она объясняла пациенткам, что не нужно задавать прямые вопросы, нельзя припираться к стенке, что точки над «и» ставит не сам человек, а бытие, которое по природе своей неспешно и некатегорично.

Но самой инстинктивно хочется выяснить все именно сейчас, немедленно и... будь что будет. А что будет? — начинает работать сознание, Ава раздваивается. Пришла помочь другу — так помогай. При чем тут телефонный звонок? Тем более что Тарас как будто не придавал этому событию никакого значения — непроницаемое лицо, ровный голос, сосредоточенность на рукописи. Правда, в первые минуты Аве не удавалось поймать его взгляд, карие глаза усердно смотрели в бумаги, даже когда он чаще, чем до звонка, спрашивал: «Стоит это показывать Эрасту — он не обидится?.. Не слишком ли прямолинейна тут Шарлотта?.. Такой порядок лучше, как вам кажется?» Беспрекословно соглашался с Авой и разрешил ей помочь с третьей частью, поэтикой, в которой пока конь не валялся. Ава предложила ввести туда главку «Нетеатральная критика», для чего намеревалась пару-тройку дней посидеть в библиотеке на Страстном бульваре, чтобы собрать все глупости, которые писали про Эраста с его первых шагов в Москве.

Тут же дозвонились и до режиссера, и до недоступных актрис. Получалось, что стоит поднапрячься и удастся все закончить дней за десять до отъезда.

— Ну, мне... — в мгновение поменяв утвердительную интонацию на вопросительную, Ава закончила: — пора?

Оценив предоставленную ему свободу, Тарас улыбнулся: — Нет, еще не пора.

Он присел на корточки перед этажеркой с компакт-дисками и выбрал запись оперы, ту самую, с которой звукорежиссер «Дамы без камелий» списывал музыку для фонограммы спектакля и которая безошибочно создавала нужную атмосферу при нежных встречах хозяина дома с гостями обоего пола.

Смелости, что, как оказалось, требуется, дабы всего-на-всего довериться молча своему чувству, терпкой музыке и Тарасу, Аве не хватило, и она отступила, буквально попятилась к столу, если не порвав, то ослабив невидимые нити, возникшие как ответ на ее вполне реальную бескорыстную

помощь. А может быть, ее отступление было неосознанным доказательством полного бескорыстия...

Свое неумение быть открытой — а значит, уязвимой — Ава спрятала за неуклюжей, очень неуместной шутливостью. Брякнув, что хочет проверить качество текста, она схватила со стола первую страницу главы «Участь» и срывающимся от волнения голосом принялась читать под арию Виолетты откровения Эраста:

— «Я настойчиво попросился на свет Божий, когда услышал увертюру Верди к “Травиате”. Я и до сих пор на ней помешан. “Травиата” — первое, что я увидел в театре. Вернувшись домой, я сразу решил поставить эту оперу у себя во дворе. В голове у меня была только одна линия — дама, которая во имя благополучия другого человека отказывается от любви. И я поставил оперу — портрет Виолетты. Оказалось, что ее мелодия по кусочкам переходит к другим персонажам.

Верди раскрыл тайну радости — вдохновение, и у этой радости есть своя музыка. И хотя сюжет трагический — Виолетта умирает, но сама опера радостная, так как музыка у Верди возникает от ощущения радости искусства. Радость эта приходит из духовной глубины, через страдание.

Почему в драматическом спектакле должно быть много музыки? Потому что энергия дирижера, музыкантов присутствует на магнитной пленке, создается купол, который ограждает от пошлости, от гадости мира...»

Страничка кончилась, а когда Ава потянулась за следующей, готовая читать и читать, Тарас накрыл своей прохладной ладонью ее руку, мягко сжал и, встретившись взглядом с испуганными, покорными глазами, приобнял Аву и, не говоря ни слова, повлек в спальню.

Обитая темно-зеленой кожей дверь, обычно закрытая для Авы, как алтарные врата для простых прихожан, теперь впустила ее в просторную комнату с пальмой в деревянной кадке на полу и широкой кроватью, придвинутой к стене лишь изголовьем. Тарас сдернул стеганое, отливающее зеленым шелком покрывало и стал медленно снимать с себя одежду, бросая ее на стоящее у окна кресло.

Ава не могла оторвать взгляда от его ладного тела, не стыдящегося своей наготы. Ее охватило новое, никогда прежде не испытанное волнение, волнение без привкуса тревоги, волнение, не имеющее ничего общего с умственным беспокойством за то, правильно ли я делаю, что будет потом... Сомнения сдуло, как сухой лист порывом ветра, и она заторопилась: вместо того чтобы спокойно расстегнуть и снять узкую юбку, судорожно задрала ее и принялась ста-

скивать с себя ажурные колготки вместе с плотными трусиками. Когда они стреножили ноги, она опомнилась, одернула подол и замерла в полной, отчаянной растерянности. Но сильное сопрано, плывшее из соседней комнаты, как бы подтверждая только что прочитанные слова Эраста, уже властно отделило их от заурядного мира, где всякая нагота — и душевная, и телесная — неприлична и опасна, где искренность толкуется как хитрость, наивность как глупость, доброта как расчет и лицемерие, где равенство невозможно.

Повернув Аву к себе спиной, Тарас прижал свой упругий живот к ее талии и одной рукой стал расстегивать пуговицы шелковой блузки, а другой шутиливо подбодрил, взъерошив короткие волосы на ее затылке. Ласково пресекая ее попытку обернуться, он медленно и умело раздел ее донага, не забыв про браслет и часы, но голой она чувствовала себя только в те мгновения, когда он отъединялся, чтобы повесить на спинку кресла снятую с нее одежду. Хотя и тогда с ней оставался его терпкий и прозрачный аромат, его беспокойное, учащенное дыхание. Даже стоя спиной, она старалась извернуться и украдкой взглянуть на его лицо, излучающее уверенность и приязнь не только к ней, но и ко всей ситуации, к жестам, запахам и звукам.

Потом, когда они оказались под свежим, хрустящим — не случайно, готовился?! — пододеяльником, приветливая улыбка сошла с его губ и взгляд затуманился, стал отрешенным, направленным внутрь себя, а еще позже — страдальческим и сердитым вместе, но этого ей увидеть не удалось: Тарас опять повернул ее спиной к себе, да и глаза Авы закрыло нежностью, а тело зажило само по себе. С сексом, как и с кончиной, человек остается один на один, правда, у изголовья смерти близкие умирающего принимают чистое вещество горя, а долго ли действует чистое вещество счастья, полученное только что, — это Ава поймет потом.

Дома она слишком быстро уснула, не успев как следует отмечать и сегодняшний день, и его возможные продолжения, а завтра не было времени для тщательного копания в подробностях, включая тот женский телефонный звонок, поскольку с самого утра нужно было копаться в каталожных ящичках библиографического кабинета, фиксируя все упоминания об Эрасте в периодической печати. Но эта работа не разлучала ее с Тарасом, наоборот, укрепляла аргументированность и основательность их отношений. Почти сразу драматизм судьбы режиссера, ставшего на это время как бы субститутом ее возлюбленного, захватил Аву: злорадство и непонимание Эраст получил и продолжает получать по пол-

ной программе. Наверное, тогда и появилось у него лисье ласковое коварство.

В его успехе критика нисколько не повинна. Если судить по откликам театроведов, то Эраст родился году этак в восемьдесят восьмом, не раньше. Он против этого возражать, конечно, не станет — чем моложе, тем лучше, но историческая справедливость должна быть восстановлена. Это сейчас околотеатральные деятели любят, смахнув слезу, вспоминать его постановки в студенческом театре как грандиозное событие конца семидесятых, а где они были, когда спектакли закрывали? Среди закрывавших или, в лучшем случае, — среди трусливо молчавших. И кто же первым по-настоящему открыл Эраста? Не кто иной, как Тарас! Именно он опубликовал первую портретную статью, правда, не в театральном, а в литературном журнале — постарался и высмотрел лазейку, тем более что изгородь сооружали не столько профессионалы-идеологи, сколько любители-коллеги.

Счастливая еще и от гордости за Тараса, Ава перестала наблюдать часы и минуты. Текст той первой статьи можно было полностью включать в книгу: об отношении Эраста к драматургии да и ко всей литературе сказано то, что нужно, а не только то, что тогда было можно. Когда дело дошло до пьес «сухопарой гениальности», Ава не заметила, как стала почти вслух шептать Тарасовы слова:

— «Режиссер не стал акцентировать те ноты социального пессимизма, которые чуть позже получили наименование “чернухи”, а принял за точку опоры неподдельность эмоций и страстей, владеющих персонажами. В итоге социально-обличительный потенциал сюжетов реализовался в полной мере, и вдобавок открылась философская глубина драматических ситуаций. Зрителям предложено увидеть в персонажах самих себя, а не каких-то там “бездуховных мещан”, как это было сделано в других театрах. Драматург работает на жестких ригористических контрастах, режиссер скорее склонен к всепониманию, точнее — к всеочувствию. Для него как бы нет отрицательных персонажей — может быть, потому, что в структуру героя непременно входит конкретная индивидуальность актера, а отношение к актеру у него всегда приемлюще-любственное, даже когда тот “в образе”. В итоге же спектакли по ее пьесам отмечены редкой стереоскопичностью смысла, создаваемой двумя точками зрения — драматурга и режиссера».

Дежурные, в общем-то, критические пассажи Тараса казались пристрастной Аве пронзительными прозрениями. Она не могла оторваться от чтения, хотя ясно было, что дан-

ный текст доступен не только в библиотеке, что у рачительного Тараса он имеется, и не в одном экземпляре, но Аве приятно было еще раз встретиться со знакомой, властной интонацией.

— Что читаем? А-а... Я тоже поклонник этой статьи, — прервал Аву манерный, высокий голос. — Здравствуйте, вы меня помните?

Дурацкий вопрос — если есть сомнение, представьтесь, ведь вы требуете переключения чужого внимания на свою особу. Ава, привыкшая к тому, что ее не узнают, стоит ей сменить одежду, прическу или только настроение, никогда никому не устраивала подобного экзамена, но сейчас она даже не подсадовала, настолько велик был запас прочности счастья. Да и Простенку она узнала уже по голосу, а вот по внешнему виду это сделать было труднее. Из обрюзгшего, обносившегося нытика, с которым полгода назад познакомил ее Тарас, он превратился в загорелого, модно и богато одетого дельца. От прежнего остались тонкие, всегда будто обветренные губы, язык без костей и проблемы со вкусом: теплый розовый цвет рубашки больно диссонировал с холодным коричневым — пиджака.

— Жизнь изменилась, и я тоже, — ответил он на удивленный взгляд и придвинул свой стул вплотную к Авиному. — Повезло: режиссер, когда-то поставивший моего Уайльда, вспомнил обо мне и позвал в свою структуру. В отдел публик рилейшенз. А начальником у нас — лично товарищ Федот Петрович Дубков.

Простенко, очевидно, был уверен, что это имя не нуждается в расшифровке, Ава же слышала его впервые. Она по своему уважала органы за то, что они ценили свое время, не теряя его понапрасну на таких, как она, но старалась держаться подальше от видимого миру лубянского фасада и его невидимых филиалов. Простенко же еще с советских времен был знаком с тамошним куратором культуры Дубковым, знаниями и умениями которого не брезговала никакая власть.

— Умные люди конвертировали свои прежние связи. А слюбились они на московской Олимпиаде еще в восьмидесятом: режиссер моего Уайльда был одним из трех постановщиков лужниковского действия, а генерал...

Ава демонстративно посмотрела на часы, дабы оградить себя от ненужной информации, и охнула:

— Опаздываю! С Федрой встреча назначена, в театре.

Но защитить себя от Простенки было не так-то просто. Ему оказалось по пути, и в дороге он не умолкал.

— «Копейка», значит, у вас, — заметил он, плюхаясь на

переднее сиденье Авинной машины и без напоминания пристегиваясь ремнем.

Пришлось догадаться, что так Простенко назвал первую модель «жигулей», — иначе последовала бы пространный инвентаризация автомобилей не только тольяттинского производства. Действительно, бесценный человек для тех, кому это надо: многое замечает, педантично описывает и — никакой моральной или эстетической оценки.

— Вы мудро поступаете, что около театра держитесь. Старая мысль о театральности жизни со страшной силой именно сейчас подтверждается, но не в масштабах страны, конечно, — те пытаются срежиссировать реформу, до смешного не представляя, с какими актерами, то есть с каким народом имеют дело. А вот у тех, кто сам набирает труппу, очень даже неплохо получается. Хоть моего патрона возьмите, хоть Эраста. Но психнагрузки колоссальные, так что ваши услуги очень долго еще будут многим нужны. Обратите внимание, например, на Валентина, вы ведь его знаете? Друг Тараса, настолько близкий, что...

Ава поспешно кивнула и затормозила — нарочно резко, надеясь не пустить легко виляющий поток речи Простенки в сторону Тараса, о котором сейчас она не хотела слышать ни хорошего, ни плохого. Ничего. Профессиональное умение диктовать свою волю — несмотря на то, что его обладательница была сосредоточена на дороге, — сработало: Простенко переключился на Валентина.

— Из веселого бесшабашного парня превратился в загнанного зайца, — начал он с того, что на поверхности, что любой заметит. — У них ведь как, у голубых — либо рабская связь с одним партнером, либо каждый день подавай нового. Да еще все по максимуму — и любовь, и ненависть. Валюшка из-за своей неумемной любознательности так расширил круг своих привязанностей, что не заметил, как границу переступил. А где чиновные иностранцы, особенно из дипломатического корпуса, там и органы. Конечно, теперь, когда сто двадцать первую отменили, им труднее взять гея за задницу — но статьи нет, а страх-то остался. Страх, который вы бы и могли излечить. Хотя в Валином случае этого мало-вато будет. По безалаберной природе своей он не может хранить верность ни человеку, ни структуре — коммерческой или государственной, это теперь перепуталось до невозможности различения. И тот и другие измену не прощают. Неадекватным получится наказание, коли, не дай бог, найдется тот, кто поможет им — невольно, подчеркиваю, — объединиться в мести. Скажу по секрету — есть такая опасность.

Племянница Федота Петровича и Валькина одноклассница, рыжеволосая стервочка Юля к другу нашему, Тасику, подбирается или уже...

Раздался скрежет, который причиняет мгновенную боль любому водителю, боль, спасительную сейчас для Авы, в эту секунду узнавшую, как зовут тот тонкий телефонный голос. Способность забыть хотя бы на время нечто важное, но тягостное, невыносимое — привилегия подсознания, пригрозившая Аве. Тормознув, она остановилась у обочины одновременно с желтым «мерседесом», слегка задевшем левое переднее крыло ее «жигуленка».

Из-за руля выпорхнуло длинноногое существо в желто-белом, похожее на бабочку-капустницу, бросило взгляд на свой непострадавший бампер, оценило нанесенное чужой машине увечье и просунуло огорченное, почти детское лицо в Авино окошко:

— Простите меня, пожалуйста. Каждый раз, как поспорю с Вадиком, случается неприятность. Мы ведь не станем милицию звать? Я очень тороплюсь. Этого хватит?

На колени словно одеревеневшей Авы медленно спланировала зеленая сотня, которую она и не пыталась подхватить.

— С вами все в порядке? — забеспокоилась девушка. — Меня Юля зовут.

Неожиданное совпадение имен, как второй, целительный удар, вправило сознание Авы, и она заставила себя улыбнуться:

— Спасибо, поезжайте. Я тоже тороплюсь.

И тут подал голос Простенко.

— Мне здесь недалеко, — проворно вылезая из машины, пробормотал он. — Моя помощь ведь не потребуется, — легко убедил он остатки джентльмена в себе.

Несмотря на все потрясения, моральные и телесные — машина, когда в ней сидела Ава, была частью ее тела, — повинувшись автоматизму никогда не опаздывающего человека, точно в назначенное время она подъехала к служебному входу красного кирпичного театра. Сумрачная вахтерша в душегрейке защитного цвета, сидевшая под нимбом электрической лампочки, посветлела лицом, узнав, кто нужен вошедшей:

— Да вот же они!

Подсказка не понадобилась, хотя в вестибюле был полумрак, и к тому же раньше Ава видела актрису лишь из зрительного зала. Почти всегда та сопротивлялась своей роли, и в результате этой потаенной борьбы все больше раскрыва-

лась природная сущность актрисы, которую спутать с кем-нибудь было уже невозможно.

Переждав, пока Федра стремительно, но несуетливо поздоровалась по имени-отчеству со всеми служителями, Ава назвала себя. Симметричные черты лица актрисы, правильность которых подчеркивал прямой пробор коротко стриженных соломенных волос, не сдвинулись ни на йоту, лицо ее осталось строгим и непроницаемым. Стало ясно, что тут нельзя позволить себе роскошь лелеять или хотя бы помнить собственные невзгоды. Войти — не влезть, а именно войти в ее душу и добыть там без вреда для нее и вообще без вреда для кого-либо — только с пользой для дела — сущностную информацию можно лишь, отдав расспросам не остаток — все силы. И по запутанной дороге в гримборную, подробно рассказывая о книге и о том, что нужно от собеседницы, Ава постаралась поведать о своем восхищении и ее личностью, и ее работами, поведать в придаточном к придаточному, как можно незаметнее — неловко и стыдно хвалить человека в глаза, еще хуже, чем за глаза — ругать.

— Я уже пожалела, что согласилась с вами встретиться, — были первые слова, сказанные актрисой включенному диктофону. В ее шипящих угадывалась давняя, окончившаяся полной победой борьба с природной шепелявостью, и в то же время слышалось предупреждение, змеиная угроза тому, кто посмеет приблизиться к ней без ее на то желания. — Мы с Эрастом сделали лишь один спектакль — я предложила ему работать над «Федрой», и он согласился. Давно это было. У меня сейчас есть одна идея для театра, но нет режиссера. Эраст — хорошая кандидатура для того, чтобы ему все выложить, вложить и пустить этот поезд в путь. Он из тех режиссеров, которым очень приятно давать идеи, но у него много черт, которые останавливают. И зная уже Эраста, я ему об этом никогда не буду рассказывать.

Аве показалось, что диктофон иронически хмыкнул и подмигнул красным глазком. Кому же сейчас это говорится, как не Эрасту! «Никогда!» Как Ава устала иметь дело с элементарными проявлениями подавляемого подсознания! Если бы это было у нее на приеме, она объяснила бы, о чем говорит противоречие — актрисе хочется работать с Эрастом, но инициатива по ее понятиям должна исходить от режиссера, а он молчит. И что встретила она с Авой как с посредником. Однако подтекст и подсознание в театральном мире вытаскиваются наружу только на репетициях, а сейчас — спектакль, единственное представление, и играть надо по их правилам.

— Вы совершенно правы — с Эрастом очень непросто, — поддакнула Ава, — но результат у вас с ним получился редкий. Думаю, он это и понимает, и ценит.

И Федра поняла, что ее уловка, осознанная или нет — неважно, сработала, и продолжила уже почти в автономном режиме. Хотя стоило Аве отлететь мыслями в сторону Тараса, как поток застопорился и грозил иссякнуть. Пришлось включиться, сделать небольшое профессиональное усилие — и сразу, как в горб верблюда, стали откладываться припасы, что потом, в будущем, подпитают ее раздумья все о том же, о Тарасе.

— Основной вопрос в «Федре» — кто нас карает за наши тайные помыслы? — говорила актриса своим ровным, звонким голосом, придающим солидность, значимость и бытовым деталям, и философским концепциям, и нивелирующим вопрос об их авторстве. — За поступки понятно — общество, но за мысли? За тайную страсть Федры к Ипполиту. У Еврипида — боги, Рок. У Расина такого конкретного ответа нет: у него Федра умирает, не выдержав этого тайного греха в собственной душе. У Цветаевой Федра вешается, то есть человек сам себя наказывает за эту греховную тайну. Для Цветаевой возмездия богов не существует: «Небожителей мы лепим...»

А для Тараса? О чем он думает, творя молитву? — мелькнуло у Авы, пока она переворачивала кассету в диктофоне.

— Талант режиссера состоит еще и в умении подобрать компанию и использовать вроде бы случайные стечения обстоятельств. Тарковский это делал как никто. Это очень важно для любого режиссера, а уж для театрального — особенно. И нужен актер-протагонист, который тянет спектакль. На котором все держится.

Остраненная интонация — как будто речь идет о ком-то третьем, отсутствующем, позволяла актрисе без обиняков говорить о себе очень хорошие, нескромные вещи и избавляла ее от упреков в бабстве, даже если она сводила с кем-нибудь счеты. Хотя бы с Валентином.

— Он у нас репетировал Ипполита. Настолько это было бездарно, что даже я, при всем моем терпении к бездарностям, все-таки заявила ультиматум: либо я, либо он. И дело даже не в отсутствии таланта — кто его знает, у кого талант, у кого нет. Талант для меня — желание работать, искать что-то новое. А это ленивый, скучный, банальный человек, ни разу ничего неожиданного в нем не было. На следующий же день этого человека — не помню даже его фамилии — не было.

И опять Аве пришлось сдерживать себя. Чтобы не броситься на защиту Валентина. Абстрактно насчет таланта — Ава была обеими руками «за», но Валентин-то тут при чем?

Необычный диалог поставленного голоса и энергичного, заинтересованного безмолвия прервало обращение из допотопного динамика, висящего под потолком:

— Стелла Николаевна, ваш выход.

О ТАРАСЕ

Можно ли теперь сказать: *incipit vita nova*? Именно на латыни — в русском переводе (начинается новая жизнь) эти слова звучат либо по-пионерски, либо с оттенком иронии, а новая жизнь Тараса начиналась всерьез и зависела от того, где останется грубо очерченный белым силуэт Валентина с вскинутой левой рукой. «Художник» схватил образ — именно так он потягивался от удовольствия, в которое до самого последнего времени умел превращать свое существование — брэнное.

Нужно было забыть еще и о трех часах в самолете, где как нарочно Тарасу попалась заметка в свежей газетенке: «На Пречистенке в одной из коммунальных квартир был обнаружен труп раздетого мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове. Из близких к ФСБ источников нашему корреспонденту стало известно, что убийство связано с разборками в гомосексуальной среде. Имя жертвы до окончания следствия не раскрывается».

А оно, следствие, даст результат, раз тут ФСБ замешана?

Если не ампутировать именно сейчас тот силуэт, угрызения совести, вопросы «виновен — нет», то гангрена разест здоровые, нетронутые Валентином куски жизни.

Мысль метнулась к Юле. Почему она так рьяно взялась помогать ему и Аве, почему проделала почти невозможное — Ава теперь успеет на свою конференцию, а у него будет привычная поддержка, незаметная и необходимая, как материнская забота?.. Почему не защитила Валентина? Еще одно «почему» — почему, несмотря на его, Тарасово, отношение к конторе, причастность к которой в те, прошлые времена, вызывала брезгливость, усиленную страхом, Юля так легко вошла в его жизнь, как будто всегда в ней была и будет? — он себе не задал. Не было у него обыкновения анализировать свои поступки: подразумевалось, что и на самые экстравагантные он имеет полное

право как личность сложная, глубокая и непредсказуемая — конечно, декларировать это он никогда бы не стал, понимая уязвимость пафосных определений, но суть от этого не меняется.

А с Юлей ему с первого же слова стало удобно — она так потакала его амбициям, настолько была готова быть и не быть с ним, что чувство независимости от нее стало все чаще нуждаться в подтверждении. Каждая их встреча, сама по себе легкая, даже чудесная, не тянула за собой следующую, и оттого, когда Юля исчезала — это случалось очень нередко — баланс тревоги и спокойствия нарушался, а без этого обязательного равновесия разлаживались его отношения и с неодушевленным миром — чашки-плошки то и дело выскальзывали из рук, каждый угол считал своим долгом оставить безобразный синяк на его теле, и с одушевленным — из-за пустяков орал на дочь, которая от этого впадала в столбняк и не могла даже плакать, беззастенчиво использовал Авину преданность и в то же время забывал о ней, когда она, как привязанная, ждала обещанного звонка.

Лишь затихла суета с раздачей и поглощением аэрофлотовского завтрака, Тарас откинул спинку кресла, прижав сидящего сзади, и прикрыл глаза, но в полудрему вмешалось кислое дуновение от шедшей в туалет тетки и мгновенно вернуло ему ночь из детства, когда мать внезапно зажгла лампу под зеленой чашкой абажура и заставила его обнять высокого седого старика с черными бровями и густой седой бородой — отца, актированного из лагеря. Он медленно и тщательно, не забрызгав пол, вымылся прямо в их комнате — чтобы не провоцировать соседей на немедленный донос, — и с тех пор от него пахло лишь одеколоном, самым дорогим.

Родители пошептались и потом молча дожидались, когда заснет высланный из теплой маминой постели их шестилетний отпрыск. И Тарас притворился: поворочавшись с боку на бок, чтоб приноровиться к висячему брезенту, распятому упругими пружинами на алюминиевом остова раскладушки, затаился и дождался пыхтенья толстой перины и ритмичного тяжелого дыхания взрослых. Потом, всякий раз, когда он оставался наедине с жаждущей его женщиной, ему приходилось отгонять от себя это отвратительное видение, что удавалось далеко не всегда. А с себе подобными никакие призраки прошлого его не преследовали.

Отца реабилитировали, даже кафедру ему вернули. Но не жизненные силы: через пять лет после ожидаемого каждый

день и все равно внезапного возвращения он скончался, а Тарас, выполняя волю покойного и вопреки своему желанию, поступил на химфак. Стихи и пристрастие к театру, по приговору близких, были немужским занятием.

Исподволь, не сразу эта смерть растворилась в жизни Тараса, и душа отца начала прорастать в его душе. Потеря обернулась приобретением: не боясь агрессивного невежества того времени, они с матерью соблюли все ритуалы — отпевание, девятый день, сороковины и потом каждую годовщину собирали отцовских друзей и коллег под своей крышей.

И снова Тарас, привыкший прятать свое неосознанное еще равнодушие к противоположному полу за автоматической, ничего для него не значащей и так много обещающей женщинам — напрасно — галантностью, пересилил себя, не стал конфликтовать с матерью и женился на дочери академика, который поддержал отца по его возвращении.

— Вот встреча так встреча! — как обухом по голове ударил Тараса бойкий голос невесть откуда взявшегося Простенки. — Что же я вас при посадке-то пропустил?! — огорчился он так громко, что на них стали оборачиваться. — Ну, ничего, сейчас смогаюсь в тот конец, и айда ко мне в бизнес-класс, там и наговоримся. — Но наткнувшись на холодный, недоумевающий взгляд Тараса, тут же без обиды, добродушно поправился: — Или, если позволите, я рядом пристроюсь.

Тарас посмотрел на часы — оставалось продержаться минут пятьдесят. Он не возвратил спинку кресла в вертикальное положение, но встать пришлось, чтобы здоровяк Простенко смог пробраться на свободное среднее кресло, не дотрагиваясь до него. Теснота раздражала, как галстук, что дает о себе знать лишь тогда, когда на тебя давят люди или обстоятельства. Тарасову мрачность Простенко истолковал по своему:

— Жалко Валюшку, хотя, конечно, он сам во всем виноват. Там никаких следов борьбы, а его ведь голым нашли. Значит, сам разделся, добровольно. Настроился на кайф, а что получилось? — вытаскивая из-под себя широкие серые ремни с толстыми пряжками и устраиваясь поудобнее, с протокольным равнодушием постороннего говорил Простенко, даже не глядя на собеседника.

Значит, не следит за моей реакцией... Так и подмывало спросить: как он сам-то там оказался? Меня — заметил? Но

понимая, что спрашивающий ставит себя в зависимое положение, Тарас резко выпрямился и, не поворачивая головы, под аккомпанемент щелчка, возвращающего вертикаль спинке его кресла, сдавленно проговорил:

— Не надо об этом. — Прозвучало мягко, просительно, совсем не так, как ему хотелось — подвел неожиданный ком в горле, и он добавил: — Иначе я пересяду.

— Что вы, что вы, дорогой, не волнуйтесь так, — засуетился Простенко, схватил Тараса за запястье и не отпустил — пришлось вырвать руку. — А с книгой что?

Тоже не совсем нейтральная тема, но все-таки не такая убийственная.

— Остались пустяки. Вернусь — закончим.

Это была, что называется, официальная версия. А как обстояли дела на самом деле, Тарас уже и сам не знал. Читая по кускам сделанное, Эраст сдержанно хвалил, в показаниях Федры и сценографа попросил убрать резкости, «чтоб никого не обижать», попросил деликатно, с видимым уважением и к Тарасу, и к его тексту. Если б режиссер бурно восторгался, кричал свое «потрясающе! гений!» — можно было бы насторожиться, а так... Неделю назад договорились, что он расскажет про участников книги, закольцевав сюжет — и все, готово, можно приступать к «сдаванке», но тут Эраст, не предупредив, исчезает. Надолго ли? куда? — нет ответа.

— А из пресловутой «гениальности» что вы вытянули? — набрел Простенко на тему небезынтересную и неболезненную для Тараса, ее обсуждение никого из присутствующих не заденет — и ладно. А кто ж заботится об отсутствующих...

Узнав, что на письменную просьбу — вступать в личный контакт со столь arrogantной особой Тарас поостерегся, а использовать Авино знакомство тогда еще не сообразил, — писательница ответила коротко и едко: «Этот человек продал все, что мог, свой талант в том числе», — Простенко расхохотался:

— Здрóрово она умеет словом припечатать, приговор прямо-таки. Подаю апелляцию. Я в Студенческом театре подвизался, когда Эраст принес туда ее пьесу, до того маркировавшуюся во МХАТе. Все у нас всколыхнулось. Полтора года репетировали, потому что освоить принципы Эраста было очень трудно. Слава богу, он привлек Шарлотту со стороны, использовал ее преданность — невозможно найти в Москве другую артистку, которая бы согласилась так мучиться над ролью, ни одна не пошла бы на

такое самопожертвование. Она точно попала в роль Петровны — соответствовала ей человечески. Мы тогда подружились, я на дачу к ней ездил — деревья с участка спиливали... — Простенко ухмыльнулся, но рассусоливать намек не стал. — С этим спектаклем больше всех повезло драматургу — она впервые зазвучала в виде слов со сцены. Когда она пришла на репетицию, то была так обрадована, что даже заплакала, а потом выпила вопреки своим принципам, заговорила о Боге и была просто счастливым человеком. Следила за выпуском спектакля, сидела и слушала, открыв рот, даже стала утверждать, что они с Эрастом как бы с одного двора — одинаково все понимают, одинаково слышат век.

Терциус гауденс этот Простенко, подумал Тарас, Третий радующийся в конфликте Эраста и драматургессы, но как точно, со вкусом он это все фиксирует. Нужны, нужны соглядатаи и подслушиватели. В чем-то добросовестный мемуарист сходен с педантичным кагэбэшником, недаром эти две функции так часто совмещаются в одном лице.

Новая работа, видимо, научила Простенку не только наблюдать, но и делать обобщения. И он продолжал своим монотонным голосом говорить довольно нетривиальные вещи:

— Именно в воплощении Эраста она, первая из всей поствампировской драматургии, зазвучала как должно. Вы-то знаете, как из нее можно сделать так называемую чернуху — играют плохих людей, исключение из правил, вырожденков, которые попадают среди советских, теперь скажут — русских — особей. А Эрасту удалось изобразить их не только с сочувствием, но и с любовью к тому, из чего мы состоим.

Новые детали мгновенно нашли свое место в мыслительном механизме Тараса, и устройство заработало, слова свободно потекли, продолжая мысли Простенки:

— Да, да, это получилось у Эраста в струе экзистенциализма, неореализма и всех «измов», которые исследуют человека. Помните, шушукались, что он зрителей на сцене усадил в пять ярусов, таким русским народным хором, чтобы ажиотаж создать — так мало мест было и попасть действительно трудно. Но дело тут не столько в четвертой стене, сколько в новом принципе сближения: степень доверия между артистом и зрителем стала абсолютной, артист играл так, как будто ничего не скрывал. — Тарас так воодушевился, так увлекся, что готов был раскрыть свою эстетическую рефлексию даже Простенке. — Зритель, сидящий не

в темном зале, а у задней стены, становится непосредственным участником спектакля, до артиста доносится его дыхание, глаза артиста и глаза зрителя встречаются. Не может быть лжи, подделки, имитации. И становится абсолютно ясным удивительное свойство взаимоотношений между артистом и режиссером: чем жестче режиссерский рисунок, тем больше степеней свободы артиста, тем больше он может ковыряться в своих внутренних процессах, в поведенческих делах. Если артист находится в точной рамке, то у него есть точка опоры.

Простенко слушал не только терпеливо, но и с интересом, однако вклинился в первую же паузу, которую Тарас взял, чтобы перевести дыхание.

— Так вот, писательница прямо на глазах становилась счастливым человеком благодаря Эрасту. Ей было с чем сравнивать — примерно в то же время за возможность видеть другое свое произведение на сцене она поступилась принципами, предала правду. Та пьеса была о любви, о женской красоте, очаровании, о женском интеллекте, который никому не нужен, и о мужском карьеризме, о мужчине, за благополучие продавшем свою любовь. Пьеса построена на парадоксе — женщина, которую все хотят, никому не нужна.

— Суперфлю, лишняя. Это, кстати, женская трагедия, которая отражена во всей мировой драматургии, — флегматично заметил Тарас, не скрывая своего равнодушия к чужим драмам.

— ...С тех пор каждое появление на сцене произведений «гениальности» было для нее мукой. И вот возникла постановка новой ее пьесы, состоящей из новелл. Эраста пригласили в знаменитый театр. Начальство полтора года принимало этот спектакль — пока все друзья, родственники и знакомые работников минкульта, управления культуры, парткомов, горкомов не посмотрели, они не хотели его запрещать. Возражали против новеллы, где рассказывается о тех, кто ездит за рубеж. Авторица была готова убрать ее — так хотелось ей, чтобы все состоялось, что она вступила в компромиссные переговоры с принимающим начальством — принялась составлять списки замечаний и говорить, с чем может согласиться, а с чем нет.

Единственное, о чем просил ее Эраст: «Нюся, помолчи, я тебя умоляю. Ты их не знаешь. Они завтра придут и скажут, что все в порядке, спасибо. Я ничего исправлять не буду». А те, видя, что она все записывает и с чем-то соглашается, говорили: «Ну, товарищи, вы сначала договоритесь между собой, режиссер и драматург, а потом нас приглашайте».

Дело дошло до того, что ей стали объяснять, будто ее чистую драматургию Эраст пытается подмять под интересы сексуального меньшинства. И когда в одной из новелл актриса выходила из-за занавески после объятий с героем и вытирала платочком рот, писательнице объяснили, что за занавеской была французская любовь и ничего больше.

Кто-то наплел ей, что в одной сцене актеры раздеваются потому, что они гомосексуалисты. Так она направила в театр телеграмму с угрозой снять свое имя, если на сцене будут голые. Актеры частично выполнили ее просьбу: из трех мужиков разделся только один. Но там-то, выпивая, снимали одежду и бабы, и мужики. Это естественно. А ей показалось, что Валька — мир праху его! — специально растегивает ширинку, хотя у него всего-навсего случайно разъехалась молния. Короче говоря, она во всем начала видеть извращение своей чистой драматургии и кинулась ее спасать, такую она начала борьбу за жизненную правду, что сил никаких нет.

У Тараса, наоборот, силы появились: помня сейчас только о своей книге, он алчно старался вобрать в себя Простенкины сведения, не задумываясь о том, что это только версия, в чем-то напоминающая простую сплетню. Но если новая информация помогает понять предмет исследования, наталкивает на мысль — что тут поделаешь? Особенно ценным было описание новой редакции той, первой пьесы, которую Эраст с подачи Простенки намеревался снять для телевидения. Но гениальность заартачилась. «Будем ее побеждать?» — спросил Простенко у Эраста. — «Ни в коем случае, — ответил он. — Не хочет — не надо. Пусть остается легендой».

— Она слишком превысила свои полномочия автора, тем более что есть десятки прецедентов, когда Эраст зажигал людей совсем не тем, что написано в пьесе, — проговорил Тарас вслух, чтобы лучше запомнить свое резюме.

— А Эраст слова плохого о ней никогда не обронил, на всех выступлениях говорил: «Это замечательный драматург... Мы с Нюсей...»

— И мне присоветовал с ней для книги связаться, — саркастически заметил Тарас.

— Эраст зла не держит, — согласился Простенко. — А та решила, что он присвоил ее славу, что обворовал ее — чисто дамские закидоны.

— Писатель она очень хороший, но... Ущербность в том, что она не разделяет беду с теми, о ком пишет. Как бы за-

являет: «Я — другая», а сама точно такая, и другой быть не может.

«Другим» Тарас считал только себя, для чего, как ему казалось, у него были безусловные, но тайные основания. Вытаскивать их наружу он не намеревался. Его вердикт был бы гораздо суровее, случись подсудимой наступить на пятку его амбиций, а так он почти удержался в рамках холодной эстетической оценки и даже проявил толику добродушия, которого достало и на Простенку. Хватило настолько, что в степенной очереди к застекленной будке паспортного контроля он, учтя Простенкин «бизнес-класс» и не рискуя потому заполучить нахлебника, который надеется сэкономить, присоединившись к земляку, чего поначалу опасаются многие русские за границей, — поинтересовался целью его путешествия.

— Шеф распорядился. Отдых в Альпах — награда за верную службу, — укрылся Простенко за почти рекламной формулировкой и неуклюже переменял тему: — Увидимся на родине, вы ведь не навсегда сюда?..

Полувопрос-полуутверждение Тарас оставил без ответа, не считая себя обязанным отчитываться перед кем-либо, тем более перед Простенкой. Для компетентных органов проблема отъезда-возвращения перестала быть столь острой и важной, как прежде, зато превратилась в своеобразное мерило профессиональной успешности. Престиж, нематериальная, казалось бы, штука, в Тарасовой среде зависел от вполне реальных вещей — как часто приглашают за границу, на каких условиях, может ли человек рассчитывать на постоянную работу. Тарас предвкушал, что благодаря Осенней школе театральной критики, куда его пристроил цюрихский друг, актер по призванию и славист по профессии — родственность душ они обнаружили на симпозиуме в Риге лет пять тому назад, — его узнают, признают и в предложениях работы ему, высококлассному специалисту, говорящему и пишущему на англо-франко-немецком, да хоть и по-итальянски — отбоя не будет. Идеал — несколько месяцев в году на приятных и выгодных заработках, остальное время дома для творчества и общения — казался вот-вот достижимым.

Размечтался! Не было рядом Валентина, чтобы вернуть Тарасу его же сарказмы по поводу слишком оптимистических — из-за незнания реалий — планов. Но, может статья, не нужно было и ему все время сдерживать Валю: самые неожиданные фантазии иногда притягивают к себе энергию из космоса и сбываются — в противовес дикой, невозможной яви.

ОБ АВЕ

Ава, успевшая если не смириться, то привыкнуть, приоровиться к своей нынешней инвалидности — грядущее отсутствие Тараса для нее все равно что ампутация важного органа — не сразу поверила сказочному приглашению судьбы.

— У меня есть для вас письмо насчет конференции в институте Юнга, — сквозь помехи продребезжал старческий голос. — В Москве я был проездом и не видел ни одного почтового ящика. Куда их все у вас подевали? А дома, в Ярославле, я вдруг разглядел, что там уже скоро все начинается. Вот и решил сперва позвонить...

История повторялась — о стольких приглашениях легкомысленных и доверчивых иностранцев Ава узнавала задним числом, что уже перестала сердиться. Заслон, который строит теперь подсознательная зависть, ревность к более известному коллеге, нежелание добра соотечественнику, по крепости не сравнится ни с чем. Что она сделала этому старикану, именем которого были подписаны несколько компилятивных работ в ведомственных журналах? Но тут прозвучало волшебное слово «Цюрих» — и Ава, намеревавшаяся вначале холодно предложить ему не беспокоиться, попросила передать письмо через проводника ярославского поезда, немедленно — доверься почте, и она только усилит цейтнот.

Паника, не из самых больших, завладела Авой. Вместо того чтобы, как обычно, для успокоения варить кофе и слушать «Евгения Онегина» — с самого начала, и к арии Гремина уже иметь оптимальный план выхода из любого дрянного положения, она набрала номер Тараса, добавив себе мандража: обрадуется он, рассердится или ему все равно — непредсказуемо.

— Зря мы с вами торопились! — сердитый, некрасиво злой голос ответил Аве. — Эта отмороженная Расточка опять улетела!

Такого эксцесса с Тарасом еще не случалось. Странная реакция — ведь он почти закончил книгу... Там же есть про фокус с пиджаками, которые Эраст оставлял в разных театрах разных даже городов, чтобы все думали: он где-то здесь... Не говорит он «нет», понимает, что отказывающийся вызывает на себя отрицательные эмоции, не нужно ему это при очной ставке... А после... Наверно, «после» для Эраста не существует — ни здесь, ни выше.

— Я не предполагал, что со мной так можно, — обиженно и устало перешел Тарас с крика на еле слышный сип.

Если с другими можно, то почему же с ним нельзя? Да

нет, он все понимает, это просто истерика — перенапряжение последних дней сказалось. А тут еще я со своим...

Но делать нечего, нужно было выкладывать свою новость, да и переключение, — если, конечно, известие приятное, — лучший способ успокоить человека.

Долго потом мусолила Ава этот разговор — вспоминала слова, оттенки интонации, пыталась проникнуть в чувства Тараса, в подтекст сказанного, чтобы не слишком обольщаться текстом, прагматический смысл которого был даже слишком хорош: Тарас мгновенно включился, пообещал переговорить с Юлей — той самой? что это значит? — уверил, что вдвоем они все успеют.

С кем вдвоем — с Авой или с Юлей? В процессе мытарств прояснилось — Юля с Авой без Тараса, причем Юля всюду ходила собственной персоной, не передоверяя даже такие элементарные, казалось бы, вещи, как получение пустого бланка анкеты для загранпаспорта. «Если хотите завалить дело — решайте его по телефону», — привела она одну из заповедей своего дяди-мудреца.

При каждодневном общении между молодыми дамами не возникло недовольства друг другом, враждебности или нервности, обе — благодаря профессиям? — держались на поверхностно-дружелюбном уровне и ни разу не отклонились от него. Юле это далось без труда, казалось, она была сделана из добротного однородного материала, который носится хорошо и долго выглядит как новый. Ава же впервые видела женщину, у которой прагматизм совершенно естественно стоит на первом месте, а эмоции, чувства где-то на десятом, не разглядеть (среди мужчин такие составляют большинство). Поскольку Аве пришлось пользоваться этим Юлиным свойством, она запретила себе его оценивать, тем более — осуждать.

Считается, что бескорыстие всегда лучше расчета, но не бывает ничего «всегда», ничего, что пригодно на все случаи жизни. К тому же в чистом виде бескорыстие и расчет в природе не встречаются, а только кажутся иногда таковыми оттого, что человек льстит себе, притворяясь либо настоящим праведником, либо полным циником. Если кроме необъяснимой тяги и интереса к другому нет ничего вдобавок — совместной работы, возможности объединить жизни, даже одного путешествия вместе не планируется, — то люди расстанутся. Это по расчету или бескорыстно?

В самом конце знакомства — Ава была уверена, что больше они никогда не увидятся, — ей показалось — и это покорило, — что Юля, прямо как Эвелина Ганская Бальзака,

подталкивает к ней Тараса на этот месяц в Цюрихе. Зачем? Практическая цель не та, что у Ганской, это ясно. Но какая? Неужели ее, Аву, можно воспринимать как подвижный щит, который будет умело гасить всплески эмоций Тараса... Юле-то какой от них вред? Дальше мысль понеслась по типично женскому пути, который прокладывает ревность. Где уж тут вспомнить недавний намек Простенки... А Валентин был еще жив...

Из-за сильного попутного ветра Ту-154 приземлился на двадцать пять минут раньше расписания — бывает и такое, и Ава готова была тихо-мирно ждать обещанного встречающего, но как только стеклянные двери бесшумно раздвинулись, выпуская пассажиров в гулкий полупустой зал, кто-то несильно потянул ее за рукав.

— Пошли скорее, ваш доклад через полтора часа, теперь успеем, — флегматично обратилась к ней смутно знакомая шатенка, протягивая букет полевых цветов в широкой бумажной юбочке, перетянутой васильковой лентой. — Меня Хайди зовут — нас Ленский в Москве на репетиции Эраста знакомил...

Это было сказано информационно, без укора, и Ава застыдилась — как же она не узнала швейцарку, по-своему знаменитую: будучи в Москве на попечении Тараса, та познакомилась с поэтом, который начал повсюду таскать ее с собой, причем только на те тусовки, где его считали самым известным, талантливым или даже гениальным постмодернистом. Вскоре они поженились. При Аве Тарас, некогда по просьбе швейцарского друга-слависта курировавший Хайди в Москве, орал на нечаянно познакомившего их Валентина: «Ты должен был броситься между ними и разнять, как Ахросимова Наташу с Анатодем Курагиным! Для этого рифмоплета жена-иностранка — средство передвижения по планете, он ее использует!» Никакие доводы не смогли пригасить Тарасову злость, но когда поэт в пространным интервью «Вечерке» целый пассаж уделил «необыкновенному поэтическому языку и мироощущению» Тараса, отношения их сделались почти дружескими. А Валентин все равно остался виноватым.

Спокойствие Хайди, небоязнь опоздать вскоре передались и Аве: поезд бесшумно и мягко отошел от перрона секунда в секунду по расписанию, вовремя подполз к центральному вокзалу; на пересадку было всего семь минут, но и тут они не бежали, а спокойно болтали на эскалаторе, спу-

стившем их к двухэтажному вагону эс-бана. Всю дорогу Хайди меланхолично, не повышая голоса, говорила, предварительно попросив Аву исправлять ее ошибки в русском, надо признаться, немногочисленные.

Девушка никак не походила на беззащитную, наивную жертву взрослого совратителя, хотя и была почти в два раза моложе своего мужа. Простодушие ее сказалось лишь в том, что она не скрывала своей цепкости, прямо-таки мичуринского взгляда на жизнь: не надо ждать милостей, взять их — ее задача. Что не помешало ей чохом осуждать всех своих земляков: швейцарцы, мол, круглый год думают, как и где лучше провести отпуск, и покупают сразу два дивана потому только, что это выгоднее, чем по одному в разное время.

К концу дороги Ава почувствовала себя террой инкогнитой, которую исследуют на предмет нахождения в ней полезных ископаемых, да к тому же еще она сама должна предложить способ их оптимального использования. А ведь Хайди была по сути при исполнении служебных обязанностей: случайно узнав от Тараса о конференции, она подсустилась и получила временное, но хорошо оплачиваемое место переводчика, нисколько не мешающее ее учебе в университете. Уточнив несколько сложных мест в тексте Авиного доклада, который ей предстояло синхронить, она вслух подумала, не взять ли его за основу своей магистерской работы.

Ава накренилась под тяжестью сумки, не такой уж большой — ведь приехала она всего на пять дней, но, как все, взяла с собой типичные русские подарки: армянский коньяк, разрешенные две банки каспийской икры, кристалловскую водку и книги, пока еще не такие дорогие в Москве, как за границей. Более легкие по весу матрешки и хохлому она перестала дарить после того, как когда-то в Берлине неуклюже задела створку стенового шкафа приютившей ее немки-славистки и увидела три полки, набитые этими «рашендеревяшен». А Хайди подхватила одну ручку Авиной сумки и простодушно призналась:

— Я им соврала, что у меня машина есть — иначе эта работа мне бы не досталась. Но вы не пострадаете — на поезде, по-моему, и удобнее, и надежнее: в пробке можно проторчать целый час, а билеты на транспорт я вам сама оплачу.

Обогнув старинный лодочный склад, на каменных стенах которого, ближе к черепичной крыше, сохранились куски фресок XVI века, они оказались перед высокими решетчатыми воротами с чугунными виньетками и белым кругом с собачкой посередине и красным ободком по краям — «Вы-

гул животных запрещен». Слева метрах в двадцати подало свой глуховатый голос озеро — только что прошел однопалубный парходик. Аву потянуло к воде, и она даже сделала несколько шагов, но Хайди сдержала ее, не выпустив свою ручку дорожной сумки. Створка ворот легко подалась, и они попали в ухоженный парк с отцветающими кустами роз. Хотелось глазеть, восхищаться, сравнивать. Осень, а на брусчатке, широкой лентой устилающей дорожки между клумбами и деревьями, не было ни сухих листьев, ни тем более искусственного сора. По внешней каменной лестнице они поднялись на высокий первый этаж белого дома с зелеными ставнями и геранью, с подоконников веселящей и хозяев, и гостей, и просто зевак.

Внутри, в просторной прихожей с кучкующимися участниками конференции к ним сразу, как в гостеприимном доме, подскочила средних лет дама с ласковым бархатным бантом на затылке; тут же перейдя на понятный Аве английский, представила ее директору института, — Ава помянула добрым словом его статью в международном психологическом журнале, — и, разлучив с Хайди, по долгой витой лестнице провела в комнатку со скошенным потолком и большим светлым окном, показав по пути дверь в общую ванную на том же, самом верхнем этаже.

— Ваш доклад в дубовом зале через пятнадцать минут, — щедро подарила дама кусок одиночества.

Приучившись использовать и беречь каждую частицу своего скудного пространства — земли, гор и воды, — швейцарцы перенесли эти навыки на обращение с деньгами и со временем, рационально обживая каждую минуту своей жизни. Такую рачительность называют скупостью чаще всего те, кто ошибается в своих расчетах на чужую щедрость. Однако тут случился случай экстремальный, тут так властно распорядились Авиным временем, что она перекрестилась: слава богу, не имела на него никаких своих планов, доклад давно готов, и она не собиралась на месте ничего додумывать и дописывать.

Под душем следовало бы сосредоточиться на выступлении: по прежнему опыту Ава знала, что не сможет читать свой текст, уткнувшись в бумажку — неудобно не смотреть в глаза тем, кто тебя слушает. Но мысли о Тарасе сбивали ее с праведного пути: приехал ли он сюда послушать и поддержать ее?.. — и сразу, без паузы, чтобы даже гипотетически не ставить его в положение выбора, продолжила: — а если нет, то почему... И тут уже много градаций: не смог или не захотел что-то предпринять, чтоб устранить препятствие, осознанно или нет... Ава потрянула головой, чтобы не заби-

ратья в отношенческие дебри, и прозрачная шапочка со слабой резинкой слетела на пол, освободив кое-как скрученные на затылке волосы. Остаток времени ушел на лихорадочную сушку — благо, за феном не пришлось бежать в свою комнату — на полке лежал казенный.

После доклада Аву так приласкали участливыми вопросами, что она извинилась перед Хайди и перешла на понятный присутствующим английский, дабы поскорее ответить всем и не рассердить следующего докладчика, время которого съедал ее успех. Фуршет был похож на вечеринку в семейном особняке — о гостях заботились и официанты в черно-белом, неназойливо следящие за полнотой твоего бокала, и надежные хозяева, как будто чувствующие, кому уютно в одиночестве, а кто, вынужденный рассматривать настенные гравюры со сценами псовой охоты, кажется себе заброшенным и несчастным. Но Ава, перепрыгнув через языковой барьер, оказалась доступной всем желающим. Их было немало, а к концу банкета она обстоятельно поговорила почти со всеми, даже с официанткой, подрабатывающей здесь на уроки русского, которые она брала без какой-либо практической цели, из тяги к русской духовности. Хорошо, что Тарас не сумел приехать, — невозможность быть только с ним возмущала бы ее спокойствие, а встревоженность неизбежно отпугнула бы свежих собеседников.

Один из них, высокий седой господин, куратор филфака, попросил ее задержаться, когда все как по команде начали прощаться. Он долго и витиевато, но не теряя достоинства, просил прощения... за то, что ставит ее в неловкое положение... очень просит не отказывать сразу, взвесить все возможности, что, конечно, все формальности в случае ее согласия он берет на себя... С такими реверансами Аве предлагался спецкурс «Русская Психея» в Цюрихском университете.

Извинения, как потом выяснилось, были не так уж нелепы: две тысячи франков в месяц, что полагалось за спецкурс, на все — на жилье, еду, на обратный билет, так как апексный, оплаченный организаторами конференции, пропал — маловато для по-непривычному дорогой Швейцарии.

РЕС

Ренатины репортажи с места событий, понимаемых ею уже по-русски: ничего по-швейцарски значительного — никто не обанкротился и не разбогател, все живы, больным

лучше не стало, никаких путешествий в дальние края, — но сколько эмоций! — заразили меня неведомым прежде азартом и сорвали с места. Я наладил чилийские съемки, бросил группу на толкового помощника и вернулся.

Дверь мне открыла Ава — я узнал ее сразу. Не столько из-за той единственной встречи в сумерках, сколько благодаря Ренатиным письмам мне была знакома эта открытая, приветливая улыбка, прямой взгляд голубых глаз, в глубине которых угадывалась грусть — не скука, устраняемая с помощью друзей, искусства, книг; не отчаяние и скорбь, исцеляемые временем; не меланхолия от равнодушия к жизни, а та грусть, что со временем превращается в мудрость и помогает человеку найти свой, субъективно правильный путь.

— Тсс! — Ава прижала палец к сочным ненакрашенным губам. — Рената просила разбудить ее, когда вы придете, но... Она не жалуется, а мне кажется, со здоровьем у нее не все в порядке.

— О чем это вы тут шепчетесь?! — Из коридора к нам подошла Рената, поцеловала меня в щеку и, заметив тревогу в наших с Авой глазах — а выглядела она и вправду неважно: похудела, в лице проглянула желтизна и только прямая осанка стояла на страже, стойко сопротивляясь превращению леди в старуху, — скомандовала: — Я на кухню, а вы отправляйтесь покататься на озеро. Я продаю наш катер и место его швартовки — все равно он уже никому не нужен.

Ее слова прозвучали горько и обобщающе. Честно сказать, оспаривать это можно было только из вежливости, а приученный Ренатой же говорить всегда по существу, я промолчал. Я не почувствовал, что мать уже не властна над своей жизнью, что ее правила делаются и бесполезны, и даже жестоки — по отношению к ней же самой.

— Как не нужен?! — чмокнув Ренату в щеку, Ава растерянно обернулась ко мне. Она поняла, что речь идет не только о лодке, но без моей помощи ей было не выкрутиться.

Насочиняв про будущие походы в Рапперсвилль, с палаткой, ночевками, я отыскал свои права на вождение катера — экзамен по настоянию отца был сдан лет десять назад — и уже предвкушал, забыв о своих отнюдь не любовных отношениях с водой, прогулку вдвоем, — как вдруг в дверном проеме гостиной возник высокий, моего роста красавец, рассеянно улыбнулся, вопросительно посмотрел на Ренату — она стояла у раскрытого стенного шкафа к нему спиной и не почувствовала взгляда; на Аву, которая как-то

странно, непонятно мне напряглась и оцепенела от его мимолетного внимания, — и, не дождавшись от дам формального представления, сам протянул руку и четко назвал свое славянское имя: «Тарас».

Из Ренатиных писем я знал внешнюю мотивировку его появления в нашем доме — мать тянулась к русским, но, конечно, не была бездумной фанаткой из тех, что собирают, например, любые картины, где есть березка, река или развалюха в снегу, не думая об их художественном качестве. Другое дело, если нарисовано это или презентовано твоим другом — тогда и нешедевр можно повесить на стену, ведь в нем конкурируют эстетическая и интимно-человеческая ценности, и каждый сам решает, что для него важнее.

Захотелось понять внутреннее, сердечное отношение Ренаты к черноволосому кареглазому эстету — наверное, оно было выражено в письмах между строк, но я обращал внимание на другую сюжетную линию; и как он с Авой связан — почему, имея достаточный выбор, судя по письмам, именно его она ввела в дом матери. И я пригласил Тараса прокатиться с нами.

Коммуникативных проблем — чего я опасался — не возникло: по-английски оба говорили без напряжения, а Тарас еще и с легкостью переходил на непонятный Аве немецкий, особенно когда рассказывал о дурацкой ситуации, в которую он влип. Узнай я об этом из третьих рук — не поверил бы, что можно наткнуться на столь безответственного швейцарца.

— Говорит, его спонсоры подвели, — все больше теряя спокойствие, горячился Тарас, пока мы переходили Зеештрассе и снимали с цепи катер — он неуклюже пытался мне помочь, а на деле лишь мешал. — Когда приглашал — обещал, что и дорогу оплатят, и суточные, и гонорар дадут, а получилось — он сам меня содержит. Даже не сам, а друг его, ландшафтный архитектор, с которым они вместе жилье снимают. Меня в комнатенку под крышей поместили — живи, сколько хочешь. Но я-то заработать надеялся. Столько важных дел в Москве бросил... Никак не мог предположить, что со мной можно так обойтись.

Последняя фраза была почти заглушена мотором, который удалось запустить лишь с третьего раза, и я оставил ее без комментария. Конечно, жаль человека, но что тут поделаешь... Опасности для жизни нет, вызволять неоткуда и некого, так что остается лишь посочувствовать, но я, например, терпеть не могу, когда меня вслух жалеют. В полном молчании под тарахтенье катера, не замечая усиливающегося ветра, мы добрались до середины озера. Все чаще стали

попадаться яхты под парусами и виндсёрферы — швейцарцы пользовались подходящей погодой.

Стоя у руля, я спиной чувствовал Авин восторг, а когда обернулся, то опасно засмотрелся на ее сияющее лицо с ярким, неприпудренным румянцем и с влажным блеском голубых глаз. Ветер как хотел трепал ее густые русые волосы, а она даже не пыталась от него защититься: в ней не было ничего искусственного, что может разоблачить или попортить природная стихия.

— Я чувствую себя как в кино, — ответила она на мой восхищенный взгляд и закашлялась — налетевший порыв ветра попал ей в дыхательное горло.

Оба берега, усыпанные огнями, как роскошная рама, обрамляли озеро, и по нему в темноте носилось множество белых парусов и величаво плыл похожий на свадебный торт трехпалубник с гирляндами разноцветных лампочек и музыкой, мелодию которой уже унес крепнувший ветер, а нам остались лишь звуки отбивающих ритм ударных.

Захотелось отличиться, и я сделал лихой вираж, но не рассчитал, и на Тараса попали холодные брызги. Он сердито потребовал быть осторожнее, а Ава наклонилась к нему и принялась промокать его щеки своим шелковым шейным платком. Пришлось повернуть к дому, и когда мы были метрах в пятидесяти от берега, я заметил несущуюся навстречу доску под парусом, с которым никак не мог справиться худенький подросток.

— Tauch!* — проорал я, но либо это был иностранец, либо он оцепенел от страха и ничего уже не соображал.

Мы угрожающе сближались. Ава вскочила на ноги и стала что-то кричать, а я, понимая, что глушить мотор уже поздно, круто вывернул руль. Виндсёрфер пронесся в нескольких спасительных сантиметрах от нашего левого борта, а катер подпрыгнул на высокой волне, бегущей наперерез нам от большого парохода, и накренился вправо. Еще чуть-чуть, и мы бы перевернулись, но я сумел удержать руль.

Когда опасность миновала, я обернулся и увидел позади себя одного Тараса, отчаянно вцепившегося в борт обеими руками. Мало того что он не сказал мне сразу о беде, так еще и высматривал Аву не с той стороны.

Злость и отчаяние чуть было не вытолкнули меня в озеро, но я поборол безрассудный порыв, так как при сильном ветре и в быстро наступающей темноте искать Аву разумнее было из катера, чем барахтаясь в воде. Включив дальний

* Ныряй! (нем.).

свет, я пошарил лучом по волнам и через минуту, показавшуюся мне вечностью, заметил мокрые волосы, как водоросли залепившие Авины глаза и рот. Я веслом подгрел к ней и, приказав Тарасу держать меня за ноги, перегнулся через борт, схватил обмякшее тело под мышки и втащил в лодку.

Она открыла глаза, лишь когда я пятый раз прижался к ее холодным безучастным губам и что есть мочи вдохнул в нее всю свою любовь, которую осознал как новое, захватившее меня целиком чувство только в это мгновение.

О ТАРАСЕ

Инстинкт самосохранения, если он не расстроен депрессиями, таблетками, патологическим эгоцентризмом или еще черт знает чем, помогает сообразить, какая глубина погружения в неприятные мысли о житейской неудаче опасна для жизни, и вытолкнет из засасывающей тины произошедшего в настоящее, поможет осмотреться в нем и даже найти в ситуации недурственные стороны.

Ну, не оценили эти деревенские швейцарцы его уникальный интеллект, многочисленные таланты и умения... Не удалось приспособить цюрихские богатства для улучшения качества своей жизни — обойдемся. Не жениться же на дурнушке типа Хайди! Да и что делать широкому русскому человеку в этой провинции, если даже Фриш и Дюрренматт слова доброго для своей родины не нашли! Тарас позлился, позлился про себя и при Аве и внял ее утешениям, которые состояли в том, что она участливо выслушала его гневные филиппики, ни разу не оспорив своим собственным примером явные несоразности и несправедливости.

Тот же самый инстинкт закрывал рот Тараса при посторонних — ни одной жалобы, ни намек на недовольство не позволил он себе при пригласившем его друге: в Цюрихе все-таки оставались надежда и Ава.

Прощальный ужин намечен на восемь вечера, а утро Тарасу пришлось пожертвовать на покупки, поскольку дальше откладывать это обязательное, а потому малоувлекательное занятие было некуда. Не то чтобы он терпеть не мог магазины — наоборот, приятно пройти по Банхофштрассе, глаза в витрины, заходя в дорогой многоэтажный «Йельмолли» и в «Си-энд-Эй», что подешевле. Случайно, как в незнакомых прежде музеях и галереях, можно наткнуться на стоящую вещь, которая тебе вдруг окажется по карману. Так

однажды среди живописно — и по цвету, и по композиции — оформленных прилавков он углядел развал с рубашками, майками, жилетками из хлопка в пять франков каждая. Презирая в душе дешевку, он все-таки выбрал себе вельветовую блузу в тонкий рубчик, почти шелковую на ощупь — в крайнем случае сгодится для домашнего ношения. А когда сразу же в понедельник собрался докупить еще для себя и для подарков — приобретение было безупречным — никаких следов субботнего беспорядка в торговом зале не осталось, Тарас даже решил, что ошибся этажом, — а в такую же рубашку, слегка другого цвета, но стоимостью уже пятьдесят пять франков был одет пластмассовый манекен.

Но то для себя, сейчас же надо было исполнять заказы матери, дочери, нескольких главных и простых редакторов обоего пола — заказы, которые при вручении называются подарками, хотя, если ориентироваться на ушаковское понимание этого слова: «предмет, вещь, к-рую по собственному желанию безвозмездно дают, преподносят, дарят кому-н. с целью доставить удовольствие, пользу» — именовать так их нельзя, ведь по собственному желанию Тарас не стал бы рыскать по магазинам. Это были желания получателей, высказанные очень по-разному. Пятнадцатилетняя дочь, например, дала список, где кроме конкретного CD-плеера с примечанием «только не корейский» и нескольких дисков с точным указанием исполнителей было место для инициативы: что-нибудь из белья. «Ну, папочка, я на тебя надеюсь». Редакторы действовали изобретательно — от прямого вымогательства до намеков и, наконец, искреннего: «От вас мне все будет приятно». Мать на вопрос «что привезти?» до последнего отнекивалась, говорила, что она уже старая и ей ничего не надо. И это «ничего» оказалось самым трудновыполнимым, невозможным — тут даже Ава, поначалу превратившая шопинг в приятное развлечение, оказалась бессильна: Тарасова привязанность к матери была настолько замкнута на них двоих, что ни одного импульса не просачивалось наружу и никто другой, даже и внучка, не мог заразиться этим чувством, и к четырем часам — в субботу магазины закрывались раньше обычного — Тарас решил прекратить поиски и присмотреть что-нибудь для матери в аэропорту — не хотел, как простые люди, возненавидеть того, ради кого пришлось так долго мучиться.

Перед ужином Тарас успел вздремнуть — европейскую привычку дневного отдыха он освоил сначала этикетно: нельзя ни звонить, ни назначать встреч на это время, — а потом попробовал сам и понял выгоду: когда улеглись эмо-

ции и улетучилась усталость, появляются свежие силы, свежие мысли и адекватная реакция на неожиданности. Спустившись в квартиру своего друга, он обнаружил там Эраста.

— Она прошла и опьянила! Тасенька, разве можно без предупреждения?! — вскричал тот, не заботясь о логике.

Кого предупреждать, когда и зачем?! Но с театральными людьми такие мелочи не выясняют — не знающий правил их игры в обычной жизни и своими вопросами или действиями разоблачающий ходовые актерско-режиссерские хитрости быстро оказывается отброшенным на обочину. Тарас не хотел признавать, что он уже попал на эту траекторию, и, искренно обрадовавшись встрече, которая, как он понадеялся, поможет избавиться от досадной неопределенности, ждущей его дома, улыбнулся во все лицо:

— С международным вас признанием!

Преувеличение не смутило Эраста, наоборот, он стал подетски оправдываться, одарив Тараса доверительным «ты»:

— Ты что, сумасшедший! Я здесь почти случайно, из Америки залетел — упросили пару-тройку открытых репетиций провести, в университетском театре у него. — Эраст кивнул на хозяина дома, накрывающего на стол. — Вот в Америке, там был триумф! Ты тоже послушай! — Он взял за руку вошедшую со стопкой тарелок Аву, подставил для поцелуя свою загорелую щеку и усадил рядом на диван. — Сначала был просмотр актеров — человек шестьдесят, все безумно хотят играть, а я должен выбрать только трех. Помещение, в котором даже находиться приятно. «Еще бы, — мне говорят, — здесь же “Оскара” дают». И вот вижу — первый, еврей, замечательное лицо, текст они уже все выучили. Подходит. Второй — тоже подходит. Все, у меня уже все есть, а я тяну, жду чего-то. Дело в том, что мне дали досье на каждого, и с одной фотографии на меня поперла такая человеческая нежность... Я жду — когда же он будет. Мне говорят, что это звезда, что вряд ли он приедет, что это страшно дорогой актер. Но я-то надеюсь — они дадут «доллары» на бедного из России. И вот вбегает — поток света, и я понял: только он. Сразу начинаю с ним репетировать. Он все, сволочь, делает. Его менеджер на лице какую-то мимику изобразил, так он на него посмотрел не как американец, а как наш — матом. Еврею потом написал письмо с дикими извинениями. Срок кончился — они продлили, потом еще. — Эраст сделал паузу, чтобы швейцарец успел экстраполировать ситуацию на Цюрихский университет, который тоже может увеличить количество репетиций с мэтром, а значит, и его гонорар. — Но вот — уже все. Они плакали, не

могли себе представить, что мы не будем вместе. Я им — чилдрен, уж теперь-то — простите за слово — б..дь, все.

Конечно, никто не спросил, в чем же триумф — об успехе премьеры Эраст не заикнулся, но ведь не он один, многие режиссеры считают, что процесс рождения спектакля важнее, чем результат — готовая постановка. Тарасу ни в коем случае не хотелось переносить такой ход мысли на свою работу — если книга не будет издана, то для него это полный провал, катастрофа. Даже думать об этом нельзя. И он попытался назначить встречу с Эрастом в Москве, по возвращении обоих, но получил обычное: «Я тебе позвоню».

За столом хозяин решил блеснуть и, подняв свою рюмку, провозгласил: «На здоровье!» Так неуклюже переводят свое «чиз» или «прост!» иностранцы, осведомленные о русском обычае произносить тосты, которые оправдывают обильные возлияния, превращая обыкновенную пьянку в процесс общения, непременно душевного, а по возможности и духовного.

— Не «на», а «за», — поправил Тарас. — За ваше здоровье! — перехватил он инициативу, чокаясь сначала с Эрастом, потом с хозяином и напоследок, когда к Аве потянулись остальные, с ее рюмкой. — За наши плодотворные встречи во всемирном пространстве!

Ни о каких совместных планах на будущее швейцарский друг пока не заикался, видимо, по недоумию считая достаточным для продолжения их сердечных отношений то, что Тарас всегда может пользоваться его гостеприимством и кошельком. Надо было попробовать направить его мысли в практическое русло, и Эраст тут очень годился как партнер: после первой же репетиции из него неизменно сотворяли себе кумира те, кто принимал в ней участие. Так было и на этот раз. Явные признаки восхищения читались на лице и проявлялись в поведении флегматичного швейцарца: даже вертикальные ложбинки, симметрично разделяющие кончик носа и подбородок на две части, стали глубже и веселее. От волнения он сильнее обычного коверкал русский язык и с преувеличенной благодарностью принимал помощь Тараса, когда тот формулировал его эмоции.

Дирижуя беседой, Тарас был доволен, что Ава не тяготеет ролью без слов, ролью второго плана, доставшейся ей потому, что Тарас-режиссер может сладить лишь с двумя актерами — на третьего (а на столе был накрыт еще и пустой прибор для настоящего хозяина обеих квартир, ландшафтного архитектора) не хватает ни сил, ни желания. Так ошибочно пренебрегают теми, кто вас любит, в чем расположе-

нии вы уверены, а ведь по совести стоит заботиться даже об отношениях родственников, predeterminedенных вашим рождением, не говоря уж о свободно выбранных и лишь от этой заботы зависящих.

В тесном пространстве доброжелательства и интереса друг к другу, интереса очень разного, но естественного, неподдельного свойства, Эраст разговорился, и было видно, что откровенность доставляет ему удовольствие, он почти отключил привычный самоконтроль, необходимый любому публичному человеку: неосторожное слово ведь может стоить ему карьеры. Обращался он чаще к Тарасу и к Аве, не надеясь на сообразительность швейцарца.

ЭРАСТ О СЕБЕ

— Семья у нас была самая простая, никаких академиков. Мама всю жизнь занималась воспитанием детей — нас трое — и делала это просто потрясающе. Она светлая, замечательная женщина. — На лице Эраста засветилась улыбка, и все отвели глаза в сторону, как будто не могли подглядывать за чем-то слишком интимным. — Окна нашего класса выходили прямо во двор пересыльного пункта, куда свозили под конвоем людей со всей округи — уроки проходили под крики, плач этих безвинных жертв. Помню, как всех нас, кто говорил не по-русски, солдаты называли бандеровцами. Из дома, где жила моя семья, каждую ночь кого-нибудь вывозили. Лестница была деревянная, жутко скрипела под сапогами, и мы все прислушивались, у чьих дверей сапоги затихнут. Господи, да у нас после войны творилось то же, что в Москве в тридцать седьмом! Как сейчас вижу: идешь утром в школу мимо раскрытых дверей чужих квартир, а там вещи валяются, книги.

Конечно, я носил красный галстук — моего согласия никто не спрашивал, взяли и приняли в пионеры. То же самое и с комсомолом. Но все равно мы эти галстуки и значки носили не так, как вы — повязывали только в школе, а за порогом сразу срывали и прятали в карман. Если бы мы росли в обыкновенной «советской» семье, то в день смерти Сталина, например, должны были бы испытывать горе и ужас, а мы радовались, хохотали, ибо чувствовали совсем иное. Кроме всего прочего, я еще и верующий человек. Греко-католическая церковь долгое время была под запретом, и я даже не мог допустить мысль, что она когда-нибудь выйдет из подполья. Но это не мешало моей вере.

И вот — приехать сразу после школы из Западной Украины, из Львова в Москву — да это же было безумие! Все равно что добровольно сесть в тюрьму. Родственники направляли меня на учебу, как на край света, — со своими подушками, сковородками, кастрюлями. Они понимали, что я человек упорный, если решил учиться в театральном институте, то своего добьюсь, но в то, что я вернусь из Москвы целым и невредимым, никто не верил. Как навсегда прощались... Еще эти страшные переполненные вагоны! О боже!

Когда я поступил в ГИТИС, то часами стоял под дверью, слушая музыку из фортепианного класса. Выходила ассистентка, Любовь Сергеевна, и спрашивала: «Что тебе, деточка, надо?» Я говорил, что хочу заниматься музыкой. Мне отвечали — рано, не с первого курса, но потом все же взяли. Два святых человека — Любовь Сергеевна и педагог Галина Петровна. Они занимались со мной ночами, а утром мы шли в «Прагу», ждали до девяти утра, до открытия, и ели сосиски с капустой — кошмарный вкус, но это было грандиозно. Через четыре года я смог играть «Прелюдию до-минор» Рахманинова, безумно сложное произведение. Конечно, играл с ошибками, но для меня главное было — бить и не останавливаться. Мы часто занимались в квартире Галины Петровны — она жила в доме Большого театра, на Садово-Каретной; я пел весь мировой репертуар, начиная от Кавардосси — фальшивил, конечно! — и нам стали стучать в трубы, в потолок. Мое любимое занятие с тех пор — смотреть на значки нот. Я поражаюсь дирижерам, которые глядят на этот «лиздочек» и все понимают. Эти ноты — то, что меня питает, это шифр, магия. Я несколько месяцев просидел в библиотеке, переписывая мировой репертуар, и теперь лицензирование этих значков дает мне энергию.

Когда мне было четырнадцать лет, цыганка нагадала, что я буду дирижером. Мама на это сказала, что у меня нет слуха, и та очень обиделась: «Как же так, если я вижу, что он будет дирижером!» Слова «режиссер» она, по-видимому, не знала.

Я был человеком непокорным и не очень подходил на роль ученика-актера психологического театра. Учителя всё пытались перевести меня в преподаваемую ими систему. Тогда я стал ходить в музей МХАТа, где переписывал от руки подробнейшие разработки постановок Станиславского и по этим записям репетировал отрывки. Адский труд. Я думал, меня изобличат, так как мои учителя видели все спектакли Станиславского, из которых я заимствовал целые куски. Этого не произошло: в конце второго курса я

показывал отрывок из «Женитьбы Фигаро», пользуясь рисунком Константина Сергеевича, делал ту сцену, где граф застаёт Керубино у графини. Я играл Керубино. Пришел Завадский, художественный руководитель ГИТИСа. Я дрожу: он играл графа и знает мизансцены Станиславского наизусть. После показа было обсуждение, и Завадский сказал, что не будет анализировать работы курса, так как на нем есть один человек, который точно будет артистом, и указал на меня.

Думаю, благодаря Завадскому я вообще смог закончить институт, и моя строптивость и самостоятельность не стали причиной отчисления.

Жизнь человека predetermined, надо только уметь разгадать свой небесный шифр. Чем точнее расшифруешь, тем точнее переживешь свою судьбу. Сколько я угадал из запрограммированного — не знаю. Я очень верю, что ангел-хранитель всегда с тобой, если ты его слушаешь и слышишь. Я ставил спектакль в одном театре и успевал переметнуться в другой — пока кагэбисты бежали за мной, я был уже в следующем окопе. У них не хватало ума опередить меня, чтобы перекрыть дорогу. В этой погоне случались невозможные курьезы.

Как-то я сделал глупость — согласился стать главным режиссером в Калинин, городе среднерусской полосы. Надвигалось столетие Ленина. А я общался с Юликом Кимом, Даниэлем, Синявским и подумать не мог, что должен что-то сделать к этой дате. Вызывают меня в обком партии на конференцию. Понедельник, девять утра. Вышел на трибуну — в зале все в черных костюмах, с перепояю — мрачные, злые лица, энергия страшная... А я как нарочно — длинные волосы, красная куртка с черным поясом, выступаю без бумажки. В одну секунду на ходу сочиняю, что недавно был в Музее Ленина, в спецхране, и там обнаружил потрясающее письмо Клары Цеткин к Крупской, в котором нашел потрясающие строки, раскрывающие пожелания Ленина к нам, сегодняшним: он якобы мечтал о том, что когда-нибудь советская молодежь увидит пьесу Шиллера «Кабале унд либе». Я сказал это по-немецки. Они затихли сразу и проснулись. Я выдержал паузу и перевел: «Коварство и любовь». Они закивали головами, и пока мотали, я горячо говорил, что сегодня наш долг — выполнить мечту Ленина и поставить Шиллера. В фойе организуем выставку, письма опубликуем. Закончил стихами «Двое в комнате — я и Ленин». В общем, проняло, поставили спектакль с музыкой диссидента Андрея Волконского — в те-то времена! Спектакль

принимали «на ура», все было бы чудно, если бы в это время не снимали фильм «Подсолнухи» и не приехал бы Марчелло Мастоаянни, который со всей съемочной группой пришел на спектакль. Он написал потрясающий отзыв: мол и представить себе не мог, что в Сибири (почему-то Калинин показался ему Сибирью) может быть европейский уровень. И тогда коммунисты испугались, поняли, что прощляпили что-то крайне идеологически вредное, буржуазное искусство, где музыка похожа на крик мартовских котов, недаром спектакль так понравился капиталисту. И все. На следующий день появилась жуткая статья, и меня вызвали в Москву.

В тот день, когда я должен был идти в Министерство культуры, у Эфроса был прогон «Ромео и Джульетты». И я предпочел Эфроса. «Что-то вы очень грустный», — заметил Анатолий Васильевич. «Меня ждут два замминистра, чтобы сообщить, что я уволен», — ответил я. Он меня обнял, и мы молчали. Закончился спектакль. После четырех я побежал в министерство. Мне сообщили, что я уволен, я поблагодарил и стал уходить. «Почему вы ничего не просите?» — остановили меня. «А зачем?» — ответил я и с наивным глазом ушел. И вот иду я себе и думаю о... «Ромео и Джульетте».

Кстати, когда я ставил «Федру», Эфрос посмотрел половину моей работы и заплакал: «Я так делать не умею. Спасибо». Так мог сказать только великий человек. А в твоей книге получается, что я лишь претворял ее собственную идею.

Тарас заерзал на стуле, как будто нечаянно наткнулся на острое. А это и был знак того, что Эраст внимательно читал показания Федры и они его неприятно задели, но верный своему принципу не накапливать в других отрицательные эмоции по отношению к себе, не сказал об этом сразу. И сейчас, после реплики «а парт», Эраст добродушно продолжил:

— Тверская, междугородный телефон. И меня осенило. Я понял, что надо ехать только в Вильнюс. Не в Таллин, не в Ригу, а именно в Вильнюс. Может быть, мне хотелось поехать в Вильнюс потому, что город, где я родился, был рядом с Литвой и Польшей. Или потому, что в Вильнюсе Тарас Шевченко служил у Энгельгардта. А может быть, оттого, что жил там когда-то Адам Мицкевич. Или дух польской культуры объединял Вильнюс и Львов. Я узнал в ВТО фамилии и телефоны начальников управлений театров СССР и Литвы и позвонил в Вильнюс от имени начальника театров Минкультуры СССР. Я сказал, что есть очень талантливый ре-

жиссер и он может стать большим приобретением для вильнюсского театра. А господин тамошний начальник страшно боялся коммунистов и всегда был рад им угодить. «Конечно, мы его непременно примем», — ответил он. Так я назначил себя главным режиссером.

Много позже я ставил в Ленинграде «Льстеца» Гольдони. Колыбель революции — эту же люльку трогать было нельзя, а я в нее залез и качался. Я сказал переводчице, что мне наши дневники Гольдони и перевели из них кусочки, так пусть она говорит, что это она сделала. Она, конечно, согласилась. И вот выходит Гольдони и читает речь Солженицына на вручении Нобелевской премии, а перед вторым актом пятнадцать минут звучал «Голос из хора» Синявского. Другой век, другая страна — никто ничего не заподозрил, их чутье тут отказывает, а образование хромает. Чтобы отвести угрозу, я дамочке из местного управления культуры — то ли лейтенанту, то ли майору КГБ — говорю, что вот решил включить стихотворение Гумилева. Она: «Какой ты смелый! Мы им покажем!» На следующий день приходит начальство: «Откуда Гумилев?! Кто разрешил?!» Я показываю на дамочку — вот она разрешила. А она была хромоножка и вдруг вскочила, как будто нога исправилась: «Я?! Я — не разрешала!»

Когда я ставил «Украденное счастье» Ивана Франко, то не мог представить спектакль без музыки, которая имела отношение и к его, и к моей вере — греко-католической, запрещенной коммунистами. Я попросил жену канадского посла, и она привезла запись настоящей греко-католической службы, которая звучала на протяжении всего спектакля. На сдаче замминистра меня спросил: «Эраст, а що це звучит за музыка?» Я без паузы ответил: «Черновицкий хор». Он сказал: «Яки прекрасни украински голосы». Мало того, потом мы записали «Украденное счастье» на радио, и запрещенная служба звучала на весь СССР. Во мне не было злорадства, клянусь. Просто я понимал, что этого не может не быть. Я это читал, знал, значит, кто-то еще должен был это узнать.

Или приходят высокие «культурные» и партийные чиновники принимать «Анну Каренину» в Театре Вахтангова. Они переговариваются между собой, не подозревая, что я сижу рядом. А там на сцене были огромные зеркала. Они говорят: «Ну, наконец этот режиссер — я был “этот”, у меня имени не было, — понял прекрасно работу Ленина “Лев Толстой как зеркало русской революции”». Спектакль приняли без обсуждения и все твердили: как вы хорошо марксизм-ленинизм освоили... Я ту работу не читал, я же не сумасшедший.

Пока Ава помогала швейцарцу зажечь спиртовку и пристроить на нее блюдо с лазаньей, чтобы этот слоеный пирог не остыл до возвращения с работы хозяина квартиры, Тарас попытался воспользоваться созданной Эрастом аурой возможности невозможного и, когда режиссер вышел ненадолго из-за стола («Где у вас тут пописать можно?»), стал острожно прохаживаться на тему своего трудоустройства в пространстве Конфедерации.

В ответ он получил меланхоличное, как всегда у того в разговоре о житейском, рассуждение:

— Понимаете, у себя в России вы — фигура, а здесь, для этих неосведомленных людей, вы — ничтожество.

Слависту изменило знание языка, он, конечно, обмолвился, брякнул «ничтожество» вместо «ничто», но и от нечаянного удара могут посыпаться искры из глаз.

Ава поняла, что необходимо сейчас же поменять пластинку, точнее, перевернуть ее на Эрастову сторону, и она спросила у только что вернувшегося режиссера первое, что пришло на ум:

— А не страшно вам было играть в эти игры с цензурой, с властями?

— По натуре я труслив. В моей жизни встречался только один более трусливый человек, чем я. Александр Вампилов. Мы с Сашей познакомились в Калининe, когда его еще никто не знал и не ставил, я был первым. Мы подружились, и вот однажды, по наивности, мы поехали в Москву, чтобы предложить столичным театрам пьесу «Свидание в предместье». Мы обошли театров пятнадцать, от нас шарахались, как от прокаженных. Все говорили, что это пошлость, и уже от отчаяния мы пришли в Театр имени Гоголя, который тогда больше походил на вокзал, возле которого он находился. Главный режиссер заставил нас прождать два часа, потом, не поздоровавшись, не выслушав, схватил пьесу и пробурчал что-то вроде «приходите через месяц». Приходим. Опять часа два ждем, причем Саша за моей спиной прячется. Появляется Голубовский и опять без «здрасьте» кидает в меня «газетку», а «лиздочки» с пьесой из нее так и посыпались. И вот эта мизансцена: мы с Сашей ползаем на карачках, собираем листочки, а над нами стоит главный режиссер театра и говорит, чтобы мы ему такие мерзости не смели приносить, что он вообще театр нравственный строит...

Кстати, недавно я попал в один дом — оказалось, этого главрежа, — я не знал. Он заявляет:

— Как я рад, давно хотел с вами познакомиться.

— А мы знакомы, — говорю и рассказываю, как мы с Вампиловым приходили к нему.

— Ну, Эраст, вы шутник, выдумщик. Да если бы вы пришли, я бы дал вам все — лучших актеров, все условия...

Ну а тогда вышли мы от этого режиссера как оплеванные. Саша в своем синем, каком-то зачуханном костюмчике, пытающийся спрятаться за меня, и я, старающийся спрятаться за него.

Как оплеванные... То же самое испытал Тарас от контактов с эстрадником, с Дамой без камелий... Но он-то рассчитывал, что будет отпущен, что те еще пожалеют... Как конкретно будет восстановлена справедливость и в чем она заключается — об этом Тарас не задумывался, надеясь, что после выхода книги все само собой станет на свои места. А оказывается, вот как можно вывернуться... Но все равно, Он воздаст каждому по делам его. И успокоившись, Тарас продолжал слушать.

— Брели мы у метро «Курская», и Саша вдруг заговорил о замысле «Утиной охоты». У меня не хватило ума тогда же все это записать, помню только, что финал был другой, с убийством. Потом я дважды пытался поставить пьесу так, как слышал тогда от Саши, но, думаю, значительную часть вампиловских шифров, заложенных в тексте, я пропустил. Цензура страшно его уродовала, и Саша вынужден был защищаться. В Вампилове есть дьявольское, подспудное, темное, но никакое не деревенское в пошлом понимании. В нем природное начало, магическое, духовное.

Конечно же, Саша ненавидел всю эту советскую систему — на этом мы с ним сошлись. Мы не были диссидентами, об этом даже смешно говорить, но чувство несчастья ощущалось нами вполне. Пугливость исходила не от страха, что посадят — мы мучились от незнания, где и как искать выход. Мне лично очень помогло общение с Даниэлем, с Синявским. А в Вампилове всегда чувствовали чужака. Но он был человек нежный, не умел защищаться, поэтому отчаянно пил. Считается, что он утонул, а мне рассказывали, что, когда лодка перевернулась, Саша еще успел выбраться на берег и побежал, и от бега у него разорвалось сердце. Такая в нем сконцентрировалась энергия окружавшей его ненависти. Он был запрограммирован на короткое время, он, как комета, стал напоминанием, предостережением для будущего, его «Утиная охота» — предвестник драматургии будущего.

Весь советский театр был построен на лжи, на примитиве и не может этим поступиться. Поэтому Вампилов не понят, мы умеем дать только имитацию Вампилова, наши представления о его пьесах. Потому что Вампилов — поэт, а поэзия чужда советскому театру. Здесь действуют законы соцреализма, реализма, натурализма — очень удобные для людей с серыми задатками. Для нашего театра не важны средства — важна ложноправильная идея. А я считаю, что содержание искусства — это как раз его форма. Всякий натурализм исключает воображение, тут не может быть броска души в небо поэзии — только жалкое, лживое в результате подражание земной жизни. Будто нет над нами Бога и все, совершенно все происходит на земле. От этого наши спектакли похожи на грибы, выращенные в каких-то чудовищных коробах и в одном экземпляре.

Когда я репетирую, я ничего заранее не придумываю. Каждую секунду я настраиваю себя, как антенну, на космос и слушаю, принимаю, что они мне оттуда подсказывают. Шутя я говорю, что, может быть, я заслан сюда с другой планеты. Правда, иногда очень хочется быть марсианином...

Так вот, если содержанием становится форма, то справедливо, что искусство рождается на стыке гордости и смирения. Гордость из постижения, что ты можешь уловить завещанное веком — театральный поиск, эстетику, начиная от Таирова, Мейерхольда, Станиславского... Я убежден: все замыслы этих людей после ухода их из жизни отправились в вечный разум. Они как бы остаются здесь, над нами. И гордость от того, что ты можешь это услышать. Когда я говорю, что великие драматурги со мной общаются, я не вру, это действительно так. Был Гоголь на съемочной площадке на какие-то доли секунды, когда я снимал «Игроков», была Марина Ивановна Цветаева, когда мы со Стеллой записывали программу на телевидении. Я всегда подозревал в самой Марине Ивановне два начала — черное и светлое и настойчиво пытался средствами видеоряда это показать, а Она очень этого не хотела, возмущалась, вмешивалась настолько, что мы со Стеллой остановились, не могли снимать...

Мягкий, тихий голос Эраста звучал не устало и не поучающе — как будто говорил не тот всепонимающий, всезнающий проповедник, который почти ежедневно терпеливо втолковывал тележурналистам про андрогин, приспособливая Платона к своей эстетике и жизненной этике. Скорее всего подмена объяснялась тем, что вспоминал Эраст только прошлое, очень выигрышное для него: генетически, биографически, психологически ему было предопределено

быть тогда рыцарем. Осознавая эту предопределенность, он не ставил ее себе в заслугу, чем соблазнились почти все явные и мнимые оппозиционеры. Он не казался смешон еще и потому, что ни в одном слове его рассказы не противоречили многочисленным «показаниям», которые взял Тарас у близкого окружения режиссера. И потому, что его успехи сохранились даже в неблагодарной театральной истории — Эраста включили в последнее издание энциклопедического словаря с упрекающей формулировкой: «...допускает применение шоковых методов воздействия на зал (условная, но откровенная эротика)...», доказывающей, что нейтральное отношение к его спектаклям обрести трудно. Но постановки самых последних лет были упрятаны в этой статье под безымянное «и др.». И это, к сожалению, не похоже на простой недосмотр — видели и не сочли нужным упомянуть, как и сам Эраст перестал сообщать конкретное о своей жизни и своих работах, предпочитая скрывать неблагородную борьбу за финансирование, превратившую его из простого в скупого рыцаря, и прятать творческое топтание на месте за велеречивыми разглагольствованиями о духовности, космосе и Любви с большой буквы.

Закончив трапезу, они не остались за столом, как было бы в России, где бесконечно пьют чай и другие напитки, втыкая чинарики в куски недоеденного торта, — а переместились в гостиную и полуразлеглись на низком кожаном диване и креслах. К этому времени к ним присоединился ландшафтный архитектор, и пришлось перейти на английский, что остановило монолог Эраста — нелепо откровенничать через переводчика, хотя Ава и предложила свои услуги, — но не разрушило особую эротическую атмосферу, которая возникала везде, где режиссер употреблял свои профессиональные навыки. На швейцарцев все это подействовало, как алкоголь на новичков, — они захмелели, но каждый по-своему: актер-профессор прилип к сидящему рядом Тарасу, обнял его за плечи, перебирал его пальцы, заглядывая в глаза, что взбесило архитектора, и, дабы успокоить его ревность и не закрыть себе возможность приезда в Цюрих, Тарас подсел к Аве и вскорости увел ее к себе в мансарду.

ОБ АВЕ

Дней через десять после нечаянной ночевки в мансарде — от постельного белья тревожно пахло хвоей — Ава вдруг заметила, что ей уже не больно — на приземистом реч-

ном трамвайчике она не вспоминает, как спряталась с Тарасом от ливня под его стеклянной крышей, а наслаждается бегом Лиммата и необычным ракурсом города, открывающимся благодаря низкой посадке лодки; в Кунстхаусе на выставке легендарного Модри, куда ее позвал Рес, ей не приходят в голову пространные и вполне справедливые рассуждения Тараса о декоративной плоскостности, лаконичности композиции, музыкальности изысканного силуэта и цвета, а без посредника и переводчика она сама, как модели Модильяни с асимметричными лицами и глазами без зрачков, обращает взгляд внутрь себя, переворачивая свою психориентацию из экстравертной в интровертную. И главное — она получила свободу, неполную, малую — всего лишь перестала зависеть от телефона, но и это многое изменило. Причем никаких сознательных усилий она не предпринимала — не выясняла отношений, не ссорилась, не обижалась; свобода созрела сама собой, оставалось распробовать ее.

Первым новое Авино положение уловили незнакомцы: как будто рухнула ограда, невидимая, однако подсознательно ощущаемая любым внимательным не только к себе человеком, ограда, ненарочно замаскированная калитка в которой распахивалась раньше для одного Тараса. Из любопытства, естественной движущей силы настоящего профессионала (в противовес искусственной — карьеризму), женевский профессор-славист заглянул на Авин спецкурс. Пристроиться ему удалось лишь когда сидящая с краю шатенка, заметив его, сняла с кресла свой рюкзак и курточку — остальные места были заняты, и поделилась розданными Авой ксероксами нескольких строф «Евгения Онегина».

— Только вернуть не забудьте, — небрежно обронила девушка, а узнав в коренастом кудрявом соседе выступавшего у них года два назад женевского профессора, автора монографии о русском нобелеате, от смущения проговорила: — Я все, что Ава здесь рассказывает, на диктофон записываю и потом прямиком в дипломную... сроки поджимают...

Профессор нахмурился — то ли его рассердила ненужная откровенность, то ли неродной, хотя и профессионально освоенный язык требовал полного сосредоточения, тем более что речь о пушкинской Татьяне началась не сегодня и кончится, видимо, нескоро.

— Поступь, развитие психологической — в отличие от физиологической — личности зависит от того, какая установка служит бессознательной опорой в определенный период жизни — внешняя, которую Юнг называет «персоной»,

то есть видимый характер, или внутренняя, «анима». Как мы говорили в прошлый раз, — Ава встретила взглядом с профессором и невольной улыбкой отплатила незнакомцу за внимание, — в начале романа Татьяна позволяет внутренним процессам влиять на себя, и прямое доказательство этому — описание сна в пятой главе. А в финале воспоминания детства, воспоминания родины, деревенской глуши, в которой началась ее смиренная, чистая жизнь, спасают ее душу от окончательного отчаяния, дав ей возможность развить свою «персону», сформировать внешний характер, способный на жертвенные поступки. И жертва — она сама. Скажут — да ведь несчастен же и Онегин! Но надо понимать всю суть и его характера — это отвлеченный человек, бесполезный мечтатель, Татьяна прошла мимо него, не узнавая и не оцененная им...

Чтобы узнать — Татьяну, Аву или русскую душу в их воплощении? — профессор пригласил Аву в свой университет на одну лекцию и на два дня — позаботился, чтоб у нее было время узнать Женеву.

Три часа через умытое окно поезда показывали кино про швейцарский ландшафт на пути из немецкоязычного кантона во франкоязычный: горные пики и стайки коров на пастбищах, начинающихся у вершин, там, где исчезают белые снеговые пятна и показываются клочки уже пожухлой осенней травы; одинокие хутора на недостижимых склонах и суетливо набегающие друг на другавиллы, многоэтажные дома в ложбинах — ритмически освоенное пространство, имеющее третье измерение, высоту, в отличие от монотонных бескрайних русских просторов.

Монотонных... Вспомнилось, как Рената нахмурилась на этом привычном прилагательном, сочтя его уничижительным: «Вы, русские, не цените то, что имеете, и поэтому столько всего у вас пропадает зря. Хотите переделывать мир, сказки придумываете вместо того, чтобы реальностью пользоваться». От этого «вы, русские», обращенного к ней как к полноправному представителю нации, отвечающему за все ее недостатки, Ава — не осознавая привычку своего круга считать виновником всего плохого революцию, советскую власть, парткомы и горкомы, а потом уж себя — вздрагивала, ежилась: слова эти вставали барьером, за которым все сказанное и сделанное подвергалось бесстрастно-строгой оценке без скидки на смягчающие обстоятельства — доверие, даже любовь к ней Ренаты, казалось, вовсе не учитывались. Однажды Ава повторила не свой, но часто цитируемый приговор: дескать, Чубайс провалил приватизацию, на что

Рената недовольно заметила: «Не надо преувеличивать роль одного человека». А выслушав от Хайдиного мужа восторженный пересказ новой версии начала Второй мировой войны — Сталин якобы планировал первым напасть на Германию, но Гитлер его перехитрил, — Рената, при всей симпатии к поэту и отвращении к Сталину, гневно возразила, исковеркав русский: «Это такой чуш!»

Психологическое, душевное сближение для Ренаты не значило отказа от самостоятельного взгляда на вещи, не ограничивало свободы ее мышления и не освобождало от необходимости думать самой. Дружба дружбой, а мыслительный процесс — врозь. В России сколько раз Ава оказывалась перед выбором: если хочешь быть другом — поддерживай, во всем соглашайся со мной, а нет — ты предатель. В чем тут отличие от мафиозного рабства?.. У Авы, приученной дома к интеллигентской покладистости, хотя бы хватало прыти промолчать, чтобы сберечь дружбу. Но всякое принуждение — палка о двух концах, и вместо того, чтобы дать возможность раскрыться, добыть из своей природы полезные себе и другим качества, — дружественные, неформальные связи действовали тупо по назначению — связывали, и Ава скукоживалась, замыкалась в себе. Для развития оставались лишь профессиональные контакты — там уж ни о каких обязательствах речи нет, наоборот, чем объективнее, тем лучше.

Размышляя так, Ава набрела на причину своих явных профессиональных успехов и тайных личных неудач. К первому она привыкла и потому не ценила, а от второго страдала... Прошедшее время здесь не оговорка, в настоящем все сделалось по-другому, а как и почему — мысль разбежалась и на полном ходу могла бы допрыгнуть до окончательного осознания того, что пора выбираться из закутка, ею же самою, кажется, и выгороженного, что хватит разрабатывать то истощившееся месторождение, которым в ее душе была любовь к Тарасу. Но поезд неожиданно для Авы — думы ее мчались по другой дороге — остановился: приехали, и надо было соображать, как добираться до гостиницы, о которой позаботился пригласивший ее профессор. Свыкнувшись с немецкоязычным Цюрихом, где всегда можно было объясниться по-английски, тут, в агрессивно охраняющей свою франкофонию Женеве, Ава потерялась.

По карте было не так уж далеко, но на все топографические вопросы ей отвечали: «Ne comprends pas», что Ава понимала и буквально, и эмоционально как «Отстань, чужак!» В центре Европы такая нелюбезность... Не у тех, наверное,

спрашивала. А таксист сообразил мгновенно, куда надо иностранке, за пять минут и двенадцать франков доставив Аву к трехэтажному особнячку с вертикальной неоновой вывеской «Отель Адриатика».

Заурядный номер как первую женеvскую достопримечательность покидать долго не хотелось: Ава притерпелась к гостиницам советского времени с аскетизмом в мебели и богатством звуков — от капающих кранов и без устали журчащих унитазов до скрипящих стульев и кроватей, не говоря уж о коридорных и уличных криках и звяках; а тут: свежая роза возле умывальника и уютная плетенка с похожими на игрушечные шампунями и мылом — в ванной без непредусмотренных шумов; почтовая бумага и конверты с гостиничными логотипами — на столике, к которому тянуло присесть, и сам собой написался томивший уже неделю план завтрашней лекции; исправный телевизор с десятком программ на четырех языках, в том числе и откровенный сюжет о московских голубых по CNN, где мелькнул кусок Эрастовой постановки с танцующим Валентином. И вдруг его немислимо изогнутое тело, балансирующее на цыпочках левой ноги, застыло на экране, пришипленное к нему стоп-кадром; в правом верхнем углу возникла черно-белая фотография той же самой позы, но обладатель ее, неточно очерченный мелом, лежал на полу с полиэтиленовым пакетом на голове, а в нижнем — узкий черный прямоугольник суетливо ловил глаза живого анонима, объясняющего на примере Валиной смерти методику использования гомосексуалистов органами госбезопасности.

Уютный уголок тут же превратился в тюремную камеру с открытым пока выходом, и Ава вырвалась на улицу, где концентрация безнадежно болезненных вопросов на кубометр воздуха все же давала шанс избежать смертельного для душевного здоровья отравления. Валя мертв?.. Я могла спасти?.. Почему Тарас даже не заикнулся? Или я прозевала его намеки? Как получилось, что я ни разу у него о Вале не спросила?! Ава замерла, наткнувшись взглядом на высоченный белесый столб, возвышающийся в бухте огромного озера. Вода била в небо с тупой, властной силой, создавая по всей высоте неподвижный нимб из пузырьков, невидимо как переходящих из жидкого состояния в воздушное, газообразное.

Что теперь с нами будет? С кем — «с нами»?! — оборвала себя Ава. Граница между «он» и «мы» стала для нее четкой, осязаемой. Думать о мертвом сейчас было невозможно больно, а о живых — стыдно, эгоистично. Чтобы не заглядывать

внутри себя, Ава принялась рассматривать Старый город, плутая по его закоулкам до тех пор, пока не заныли натруженные ходьбой ноги. Уняв дрожь на скамейке пустынного в этот час собора Сен-Пьер, она отправилась в гостиницу и до предстоявшего ужина с профессором и его женой успела привести в порядок и лицо, и одежду, и мысли.

Ее повезли за город, недалеко, к границе с Францией, где на берегу широченной Роны в деревянном сельском доме с покатой соломенной крышей был заказан для них стол. Не в первый раз Ава позавидовала умению наслаждаться, отличающему всех ее швейцарских друзей независимо от того, приглашены они или платят сами. Она же сжималась от цифирок в меню, заказывала блюда подешевле и не могла избавиться от ощущения, что ест деньги.

Но сейчас, к концу ужина — потрескивание дров в камине, белое вино, сохранившее вкус живого винограда, рыба со сложным гарниром, цветочные пятна которого лежали на белой, огромной — модного размера — тарелке как на загрунтованном холсте, и главное — вроде бы незаслуженная доброжелательность, внимание ко всему, что говорила Ава, а ведь на ее месте в прошлом месяце был ленинградский неокмеист, полгода назад — американский славист, а еще раньше — Эраст.

Ничто так не подстегивает рассказчика, как непритворный — платонический или прагматический, а лучше и такой и такой, вместе — интерес слушающего. Вспоминается то, что годами лежало под спудом, и освобожденный поток уже не могут сдержать опасения, не используют ли откровенность кому-то во зло, не ранит ли она собеседников; нет времени подретушировать прошлое, чтобы придать себе черты положительного героя. Нерасчетливое повествование в России, где долго еще сохранится генетическая память про стукачей-друзей, соседей, сослуживцев, родственников и священников, — квалифицируется как наивность, глупость или подвох, но здесь, в Западной Европе, естественная человеческая потребность выговориться не встречает осуждения, считается неотъемлемым правом личности. К исповеднику или психологу идти для этого необязательно.

— Я приехал покопаться в ЦГАЛИ... — Профессор горько усмехнулся. — Ну, это отдельная история: хамство советских архивщиков — часть их профессиональных навыков, более важных, чем литературные знания. Как в лагере, главное — не пущать! Не проводники — охранники. Дурят не только иностранцев, уж я знаю. — Профессор поднял свой

бокал, чтобы официанту легче было налить в него только что торжественно принесенное шампанское.

Ава отметила хладнокровие рассказчика: про архивную пыль и грязь она знала и от Тараса, который на подобные темы говорил нервно, негодуя. Понятно, почему: западные люди в отличие от наших не приговорены к этой антисанитарии, горячую воду у них не отключают ни планоно, ни внезапно, и вымыться они могут в любую минуту.

— Меня познакомили с Эрастом, и он позвал меня побеседовать с актерами после репетиции «Федры», — продолжал профессор, уговорив Аву не жаться и заказать десерт. — Самые толковые вопросы задавал исполнитель роли Ипполита.

Пока описывались стать, ум и живость Валентина, Ава, справившись с шоком и позывом рассказать про убийство, схватилась мысленно за цитату из несправедливого приговора Федры: «Он ленивый, скучный, банальный, ни разу ничего неожиданного в нем не было». Какие разные впечатления от одного и того же человека! Даже если у профессора и феноменальная память — лет десять назад это было — все равно о бездаре столько подробностей не накопишь...

— А Федра разве промолчала? — решила выяснить Ава.

— Мы с ней потом подружились, а тогда... тогда она तोпилась на съемки и не смогла остаться на дискуссию...

«И убедиться, быть может, — мысленно продолжила Ава, — в Валиной творческой валентности, которую эта властная партнерша просто нейтрализовала в совместной работе. Если перед тобой податливая натура, то самое легкое — заглотив ее, как удав кролика. Вот Валю и...»

— А Эраст прямо-таки вырывал у меня письма и дневники Цветаевой, еще не опубликованные тогда в СССР. — Профессора тянуло вспоминать, и он никак не отозвался на Авину мрачность. — Ему, как и многим тогда, не хватало элементарной информации. Он алчно вытягивал сведения о западной сценографии, о музыкальных клипах... Конкретные вопросы, прицельный интерес... Понятно, что человеку нужно. Я по собственному опыту знал, как трудно бывало выехать за границу: в свое время мою тогдашнюю невесту — чудак, хотел жениться на России! — не выпустили ко мне, проект расстроился. — В ответ на Авину невысказанное удивление профессор ласково поцеловал руку своей жены и добавил: — Это было до нашего знакомства.

Жена, сосредоточенно слушавшая понятную ей, но все же неродную речь супруга, улыбнулась:

— Знаю.

— Я пригласил Эраста к себе почитать лекции, и здесь, за ужином, представил своей аспирантке, которая сама предложила в качестве фиктивной жены и реального средства передвижения для маэстро.

«Значит, не вранье, что он женат», — подумала Ава. Вот и еще одно свидетельство природности режиссерского дара Эраста: и в театре он умел построить динамичную мизансцену, и в жизни своей так размещал действующих лиц, главных и второстепенных, родных и двоюродных, что они приносили ему пользу: Шарлотта подкармливала; Федра возила на своей машине по разросшейся Москве смотреть только-только появившееся видео; на гастролях актеры подворовывали для него дефицитных Цветаеву, Ахматову из провинциальных библиотек; швейцарец Дамы без камелий оплачивал шегольские театральные костюмы, драпирующие недостатки дарования супруги; женевский профессор мир показал, что весьма ему пригодилось: есть вещи в музыке, живописи, балете, которые обязательно надо знать, чтоб велосипед не изобретать, чтоб нужные идеи вовремя в голову приходили, чтоб оградить себя от начальства, которое снижает и перестает приставать, как только слышит незнакомые термины.

По дороге в гостиницу, когда ночная, ярко освещенная Женева проплывала за окном белого «мерседеса», размяченная Ава еще успела обратить внимание на то, что в последние годы режиссер исчез с горизонта своего благодетеля: не приглашал на московские премьеры, хотя тот пару раз в год попадал в Россию, не объявлялся при наездах в Швейцарию, и профессор... профессор не был в обиде, не считал, что Эраст обязан теперь всю жизнь платить оброк. Может быть, потому, что в их стране не было крепостного права?

Рассеянно копошась у двери, которая никак не поддавалась непривычному ключу-карточке, Ава услышала зов телефона, вынудивший сосредоточиться на открывании. Незнамо как отыскавший ее Рес терпеливо дождался ответа и после рутинного извинения за поздний звонок и вежливых, задаваемых кому угодно вопросов о самочувствии и приветливости города, сообщил, что завтра утром будет в Женеве:

— Я хотел бы побывать на вашей лекции...

Причинно-следственную связь между его поездкой и присутствием на лекции Ава даже не пыталась разгадать — голова немного кружилась от впечатлений, от вина, от новизны. Но эта же расслабленность помогла ей не потеряться в дебрях сомнений, не напомнить Ресу, что придется ему

полтора часа внимать непонятной русской речи, а мгновенно ответить, оценив его отважную волю и представленную ей свободу видеть его или нет:

— Десять утра, славянский семинар, рю Женераль дю Фор, 24.

АВИН СОН

Делается твердо, зябко. Ава ворочается, пытается натянуть пуховое одеяло, но вернуть удобство и тепло гостиничной постели не удастся. Нехотя разлепив глаза, она обнаруживает себя на отполированной ягодицами прихожан скамейке в огромном, кажущемся ей знакомым, готическом соборе. Босым ногам холодно от кафельного пола, и она судорожно ставит их на деревянную приступку, приделанную для опоры и отдыха молящихся к переднему ряду. На архиерейском амвоне — черная, наглухо застегнутая сутана пастора и цивильные, нецерковные одежды певчих, которые исполняют псалмы, сосредоточенно уткнувшись в коленкоровые книжицы. Им не до Авы. Она боязливо оглядывается. От сердца отлегло: прихожан нет, храм пуст. Лишь подняв взгляд к стрельчатым аркам, опирающимся на столбы, Ава замечает ватаги голеньких, как и она, херувимов, замерших, согласно мысли создателя, в самых разных позах.

Мгновенно, как будто не существует будничного, дневного фона, меняется расположение духа, и уже с мраморного подоконника под самым куполом устремленного ввысь собора Ава обнаруживает, что у пастора лицо ее отца, обнаруживает радостно и без удивления: она всегда знала, что он не исчез.

Закончив требу, фигура в черном подходит к престолу, но прежде чем накрыть его пеленой, несуетливо оглядывается на Аву и ждет, пока она, следуя его воле, не заметит среди священных сосудов потрескавшуюся доску с житием... Валентина Ленского. В одну минуту она успевает рассмотреть по отдельности все двадцать четыре кадра, приведшие к убийству, опознать безликого Простенку, натягивающего прозрачный пакет на голову жертвы, и запомнить свет искупления, исходящий от облупившейся краски.

И опять — холод. Теперь она стоит на коленях перед черной мадонной с черным младенцем в левой руке и жемчужными четками в правой и просит прощения, путаясь в словах — так трудно понять и выговорить свою вину перед от-

цом... перед Валентином... перед собой... Слабое дуновение, движение воздуха за спиной, Аве хочется обернуться, но тело наливается тяжестью, ее тянет вниз, и она прижимается лбом к ледяному полу. А когда, преодолев вязкость сна и неподчинение мускулов, она распрямляется, то чувствует не метафизическую, а вполне реальную ношу — кто-то одетый забрался к ней на закорки, и жесткая шерсть пиджака колет нежную, тонкую кожу ее груди. По дыханию Ава узнает Тараса и старается сделать так, чтоб ему было удобно: подхватывает его ноги, чуть клонится вперед, перемещая центр тяжести, и как будто налегке идет к высоким буковым дверям, укрепленным узкими чугунными пластинами.

РЕС

Мне показалось, что к концу Авиной лекции я уже понимал ее, хотя ни одного русского слова — моя вина! — не выучил. Думаю, подсобили те, кто добровольно — собрались разновозрастные члены русского кружка при университете — променял свежее солнечное утро на полутемный амфитеатр просторной аудитории: на фоне их усердного внимания Авина ситуативно неторопливая, четкая речь, не теряющая при этом естественности, приобрела еще и эмоциональное измерение, какое имеет обычно удачная музыкальная мелодия.

Я пошел на поводу у чувств. Оказалось, у своих чувств. Но тогда, подхваченный волной Авиного успеха, я посчитал, что она их разделяет. И ошибся в расчетах. По тому, в ресторан какого класса приглашает вас деловой партнер, у нас судят о его состоятельности, Ава же щедро расходовала на меня свою доброжелательность, заботливость, и я никак не мог подумать, что это ее ежедневные, рутинные траты. Если утрировать меркантильную терминологию, то нужно признаться — я недооценил ее душевные богатства.

Или дело тут в другой знаковой системе русских? Все прежние подруги — швейцарки, англичанка и гречанка, для моих сорока не так уж и много по сравнению хотя бы с коллегами-киношниками, — согласившись на мой к ним шаг длиной более двухсот километров (расстояние от Цюриха до Женева), ответили бы на него вполне определенно если не любовью, то близостью. Ава же каким-то образом удержала меня на необходимом расстоянии даже когда я приближал ее и поцеловал при встрече и при расставании. За целый день мне ни разу не удалось хотя бы заикнуться о своих чувст-

вах — она много шутила, дурачилась, но, к сожалению, без кокетства, обычной прелюдии всякой интимности.

Когда мы вышли из кафе, где весь кружок, в полном составе, угощал Аву ланчем и терзал вопросами, и стали мерить шагами булыжные и асфальтовые мостовые старого и нового города, Ава, сравнивая уже изученный Цюрих с новой для нее Женевой, все время вспоминала Москву, которая почему-то была для нее больше, чем просто родным городом.

Почему? При всей Авиной, для меня необычной, откровенности (она рассказала про смерть в один месяц своего отца и любимого человека, про сон, в котором убили ее пациента, про тревогу насчет Ренатиного здоровья) задать этот вопрос я побоялся — не хотел, чтобы сформулированная причина закрепила ту невидимую преграду, что препятствовала нашему настоящему, желаемому мной сближению. Казалось, Москва была для нее той шкатулкой, в которой хранят что-то важное и любимое.

Что? Взглянуть на это она не позволила — мягко, тактично отвела мою руку от гипотетической крышки, под которой могло скрываться настоящее сокровище, а мог лежать какой-нибудь пустяк, ассоциативно связанный у владельца со знаменательным событием и замечательным человеком.

Мне оставалось одно — добраться до Москвы и с ее помощью найти ответы.

О ТАРАСЕ

Мерзее дня у него давно уже не было. Злость копилась с самого утра, и сорвать ее — не на ком. Сначала он чуть не опоздал на самолет: пробка на автобане съела четверть часа, а провожающий швейцарец непременно хотел угостить его в аэропортовском кафе, меланхолично уверяя, что времени вполне достаточно. Не скажешь же ему о меркантильном намерении заскочить в дьюти-фри, чтоб схватить в подарок матери что-нибудь подешевле, уцененное. И вообще, выросший у нас человек не приучен расслабляться в дороге, в отличие от западного, который может с непоказным, искренним смехом вспоминать, как перепутал дату вылета и пришлось покупать новый билет. Потерянная сумма не упоминается и не портит веселья, так как в бюджете каждого, совсем не обязательно очень богатого, заложена — хотя бы и неосознанно — страхующая нервную систему энная сумма. А где взять ее, например, Тарасу?

Потом все три часа полета от Цюриха до Москвы терзала вонь от табака — его ряд был последним для некурящих, и пересесть некуда — салон забит. Потом — длинная и медленная очередь в паспортный контроль, из-за которой его чемодан очутился в необозначенной куче около транспорта совсем не его рейса — попробуй найди!

В конце недисциплинированного коридора из встречающих родственников, друзей, мелких клерков, сующих под нос каждому выходящему из стеклянных дверей рукописные листки и многоцветные картонные таблички с именами людей и названиями принимающих фирм, из таксистов, зорко выбирающих платежеспособных клиентов, топталась озабоченная чем-то Юля, которую он предупредил о своем возвращении после ночи, проведенной с Авой.

— Пошли скорее, я в цейтноте. — Юля деловито потянула Тараса за собой, даже не чмокнув в щеку, не встретившись с ним взглядом. — Эх, надо было в конторе взять машину, с водителем, а я решила сама потренироваться — отец мне свою тачку отдал. Надеюсь, что распогодится.

Тарас угрюмо сосредоточился на скользком тротуаре: дождь прямо на глазах превращался в снег, а мостовая в опасный каток, но в его голове, переполненной гадостями заканчивающегося дня, уже не хватило места для беспокойства о том, как шофер поведет машину.

Садясь за руль, Юля сняла шляпку и благодаря новой, очень короткой стрижке стала совсем похожа на мальчика. Прежде чем пристегнуться ремнем, Тарас потянулся к ней, чтобы поздороваться по-настоящему, но она наклонилась к бардачку, и для поцелуя ему достался только ее колючий рыжий затылок. Пока добирались до выезда на кольцевую, стекла в машине из-за разницы температур запотели до сплошной невидимости, не помогал включенный на полные обороты и мешающий разговору вентилятор, и Тарас то и дело ладонью восстанавливал прозрачную прогалину на лобовом стекле.

— ...твою мать, или шины лысые, или шоссе слишком скользкое, — пробормотала Юля, когда машину занесло в очередной раз. — Погляжу-ка, в чем дело, — растерянно сказала она, перемещаясь в крайний правый ряд и нажимая на левую педаль.

А тормозить нужно было очень аккуратно — только двигателем, медленно сбрасывая и так небольшую скорость. От резкого усилия машину развернуло и понесло на обочину, еще секунда, и они опрокинулись бы в кювет, но благодаря инерционному движению вперед их дотащило до фонарного

столба, в который они и врезались левым боком. Лобовое стекло, все в тонюсеньких трещинах, вместе с резиновым уплотнителем вылетело наружу, не причинив им вреда, боковая стойка зашла за водительское кресло — а могла покалечить Юлю — искореженная рулевая колонка защемила ее колено, но сначала она даже не почувствовала боли. Тараса же только сильно трянуло, и не успел он еще понять, что произошло, как к ним подбежал водитель шедшего рядом такси. Ловко управившись с заклиненной дверцей, он помог Юле, подбодрившей его беспомощной и одновременно благодарной улыбкой, выбраться на воздух под колючие порывы ветра, объяснил ее ошибку и предложил отвезти куда нужно.

Тем временем подъехали гаишники — они только что разделились с протоколом столкновения трех машин метрах в ста отсюда. Милиционеры неторопливо обошли покореженное авто — «отремонтировать будет трудно», насмешливо поинтересовались, нет ли жертв — «а то и до тюрьмы недалеко», сообщили, что это уже сороковая авария после только что начавшегося внезапного похолодания, и, похлопав Тараса по плечу, позвали его в свой «москвичок» — заполнить бумаги. Ничего агрессивного в их повадках не было, но и сочувствия, так нужного пострадавшему, ожидать не приходилось.

— Водитель — я, — отстранив Тараса, объявила Юля. — И я тороплюсь.

— На тот свет сегодня уже не поспеешь, — привычно издевался толстяк-капитан и сам громко, по-хамски засмеялся.

Но буквально через три минуты, когда они с Юлей вылезли из гаишной машины, он уже вежливо говорил «вы» и, услужливо подсаживая ее в такси, повторял:

— Не беспокойтесь, все сделаем...

И, только вспомнив о забытой в машине шляпке, Юля обратилась к Тарасу:

— Принеси, дорогой... Я и правда опаздываю. Они вызовут перевозку — тебе нужно лишь немного подождать здесь. Пристрой этот металлолом на какую-нибудь стоянку у вас в Крылатском. Я тебе позвоню...

«Немного» — это полтора часа холода, злости и полного оупения. Предательская мысль работала как Юлин адвокат: женщина рвалась к встрече с ним любой, даже катастрофической ценой, какое самообладание — не заплакала, не растерялась... а что оставила его — так служба же...

Шок вылечил от депрессии, обычно настаивающей тех, кто меняет скучный комфорт западной жизни на богатую неожиданностями — нашу.

Сюрприз преподнесло раннее утро, когда Тарас, задумавшись, машинально набрал номер соавтора вместо материнского и услышал не обычное, хотя и часто меняющееся лексически и интонационно, но не по сути, шутливое хамство автоответчика, вроде: «За-го-во-ри, чтобы я тебя увидел. Чтобы я тебя увидел — заговори, за-го-во-ри», — а нормальный голос режиссера, без лишних проволочек пригласившего его к себе домой, правда, поздновато — в полночь.

В ритуальном, необходимом для любого более-менее творческого дела волнении разыскал Тарас арку сталинского дома на Тверской и попал в темный двор, едва освещенный редко горящими окнами полуночников. И все равно ему бросилось в глаза двуличие этого строения, облицованного гранитом с казовой стороны и блещущего облезлой штукатуркой с черного хода. Под слабой лампочкой нужного подъезда он набрал цифирки на табло домофона раз-другой, но ответа не последовало. Тарас взглянул на часы и обнаружил, что приехал чуть раньше назначенного. Пришлось топтаться под козырьком: бродить по двору было страшновато, так как при свете выбравшейся из-за туч луны вместо торопящегося на назначенную встречу Эраста он высмотрел копошение подозрительных фигур непонятного пола и возраста возле мусорных баков. Когда в спину ему небольно ткнулась дверь, выпуская смазливое рослого блондина с потупленным, как бы виноватым взором, знакомого по профтусовке, Тарас изловчился придержать ее и попал в вестибюль. Широкая лестница охватывала шахту лифта, со скрежетом спускающегося откуда-то сверху, с колосников этого почти театрального преддверия к жилищу Эраста. Чувствуя себя нежелательным свидетелем чужой жизни, Тарас взбежал на второй этаж и безнадежно позвонил в массивную стальную дверь. Эраст мог оказаться там либо по волшебству, либо... если блондин покинул именно эти чертоги.

— Любимый мой, вы пришли! — возопил разумянившийся хозяин, распахивая металлическую дверь и свои объятия.

Значит, не намерен тотчас от меня отделаться, истолковал Тарас подтекст произнесенной реплики.

Справа, в уступе широкого коридора, вдали от обычного приложения — окна, притулился письменный стол под зеленым сукном, которое выглядывало из-под кучи набросанных бумаг, компакт-дисков и видеокассет. Над ним была прикинута большая картонка с отретушированным фото молоденького, еще не молодящегося Эраста — такие, с перечеркнутым красно-черной лентой углом выставляют в

фойе родного театра, провожая в последний путь изображенного на нем коллегу.

— Из Львова прислали, — пояснил режиссер. — Висел в ТЮЗе, когда я там Олега Кошевого играл: Поклонницы под него каждый день цветы возлагали.

— Дайте перефотографировать для нашей книги, за сохранность отвечаю, — попросил Тарас.

Эраст снял портрет со стены и аккуратно завернул в газету — расстался. Подхваченный книготорческим азартом Тараса, режиссер чуть ли не впервые стал делать неуклюжие попытки помочь соавтору:

— погоди, сейчас отыщу письма от простых зрителей. Тебе это пригодится.

Вряд ли, подумал, но не сказал Тарас, уже перенявший Эрастову методу не перечить собеседнику. Пока хозяин рылся сперва на столе, потом в коробке из-под макарон за креслом в большой комнате, в шкафу спальни, беззлобно причитая над беспорядком: «Ну никогда ничего найти не могу!» — Тарас успел рассмотреть обстановку его апартаментов.

Это в советское время по жилищу можно было судить в основном о возможностях хозяина, возможностях не столько материальных или эстетических, сколько «доставательных», теперь же, да еще в случае Эраста — другое дело: покажи свою квартиру, и я скажу, кто ты. Хотя и тут надо сделать скидку: никаких навыков за долгие годы скитаний по коммуналкам и дешевым гостиницам приобрести было нельзя. Да еще эта знаменитая, кочующая из интервью в интервью легенда о занавеске на окне: якобы как только он вешал ее в новом жилище, так его выгоняли из театра. Тарас и не собирался оценивать домашний вкус и тон режиссера — уже по его манере одеваться было ясно, что все эстетические ресурсы израсходованы на мизансцены, для себя ничего не осталось. А решению интимно-прагматических задач и одевание, и обстановка в квартире, по-видимому, активно способствовали. Иначе зачем было прижимать к правой стене гостевой залы диван и два кресла из вызывающе-красной лайки, а в просторной спальне с мясистым фикусом у окна устанавливать немислимо-широкое ложе под прозрачным белым покрывалом с белыми же сердечками подушек... Зато миссия черного шкафа высотой от пола до потолка и длиной во всю стену не таила никакой загадки: там в два яруса висели пиджаки, обсуждаемые во всех интервью с подачи не стесняющихся повторять один и тот же вопрос журналистов. С помощью этой обычно яркой детали Эраст стал заметнее, то есть запомнился всякого рода козлам и придуркам, не способным понять эстетизм его релиищ.

Несколько книг на прикроватной тумбочке и возле нее — тоже понятно, для чего раскиданы. Тарас поднял ту, что лежала расхристанная, раскрытая посередине, кверху задом и лицом к полу. На корешке — знакомое название: «Человек перед лицом смерти». В кучке лежали именно те книги, которые демонстративно, при свидетеле покупались полгода назад.

— Давайте под диктофон поговорим, — взмолился Тарас, когда режиссер подсунул ему результат своих суматошных поисков — несколько бесполезных тетрадных листков с дилетантскими признаниями в любви, небескорыстными, накорябанными в надежде на роль или какую другую работу возле знаменитости. Профессионалы действуют по-другому.

Заполучить хоть один текст, написанный рукой Эраста — чтобы оправдать форму рассказа от первого лица в «Участии», — так и не удалось.

Устроились сначала в кухне за низким круглым столом возле шкафа, набитого русской классикой. Соседство газовой плиты, раковины и прочей хозяйственной утвари с тисненными переплетами, которые, казалось, вот-вот будут заляпаны, так раздражило Тараса, что он попросил позволения перебраться в другое место под предлогом мешающего записи урчания водопровода.

— Все они собраны как грани моей души, — начал Эраст, когда они сели в коридоре за письменным столом. И тут зазвонил телефон.

Час ночи, отметил про себя Тарас. А режиссер даже паузы не сделал и, только услышав записываемый на автоответчик умоляющий голос: «Это Валера, я знаю, вы дома, поднимите трубку...» — обронил грубовато: «Обойдешься, козлик!» Ему не понадобилось ни времени, ни видимого усилия, чтобы настроиться на диалог в неестественных для другого, простого человека условиях: темень, пробиваемая светом уличных фонарей и бликами от проезжающих машин, относительная тишина, в отличие от постоянного дневного шума, с которым миришься благодаря специальной защите оконных рам, привычная обстановка, где легче расслабиться, чем сосредоточиться. А Эраст у себя дома был в лаковых «корах», не в тапочках.

— Она просто вся жизнь. Как только я увидел ее в ГИТИСе, а ей было восемнадцать лет, то сразу к ней обратился. — Первой «гранью» Эрастовой души оказалась Шарлотта. — Она была в каком-то очень легком ситцевом платьишке, с косичками, удивительно непохожа на тех девочек, которые тогда учились — ничего наносного от артистки, поверхностного, не пыталась быть красивой, сексуальной, все

ее существование было как бы наоборот. Мы начали дружить, смотрели по триста пятьдесят спектаклей, концертов, фильмов в год, бывало и по три в день, умели зайцами проходить через контроль. Это был беспредел. Она приехала из Сибири, с Востока, я — с Запада. Мы были как бы два противоположных полюса, произошло взаимопроникновение двух сторон света, в этом причина нашего соединения. И наши дети — наши спектакли.

Пафос, небольшая доля выпренности, более уместные где-нибудь на трибуне, перед микрофоном или телекамерой, давались Эрасту без труда.

(«Говорит как раз то, что нужно, — прокомментирует потом Ава, слушая пленку. — Есть и конкретика, и искренность, и обобщение... Все, конечно, по минимуму, но в книге — как отыгрыш, отклик на показания самих актеров — пригодится. Внимательно читал, и кое-что его задело. Больше всех, конечно, Федра».)

— Это наш театральный интеллект. Она очень чуткий, очень добрый, очень нежный человек...

(«А Валентина кто бездарностью обзывал? Не в сердцах, под диктофон. Неспроста такое предисловие. Щедрыми авансами матерые люди не разбрасываются. Серьезное “но”, ими оплаченное, обязательно последует... Драматизм отношений — ничего лучше для книги и не придумаешь».)

— ...но у нее есть имидж, и она его очень охраняет. Ограниченному количеству людей разрешает войти в ландшафт своей души. И в наших разговорах о Раневской, о Чехове она это себе позволяла, и мне было очень интересно. Она служит в театре, а там без кокона нельзя, ведь ее театр политизированный, он весь строился на противоборстве с властью. Это был как бы узаконенный левый театр, как бы ручеек свободы. Но он моментально кончился — там, где нет искусства, а есть борьба с властью или, что еще хуже, управление искусством, — там все плохо кончается...

(«Да если б только там! И умирают театры на миру, и смерть их совсем не красна...»)

— Стелла это прекрасно понимает, она никогда не играла в политические игры, для нее искусство и творчество самоцельны. Поэтому она всегда жила в раздвоении, я это понимал и никогда не обижался.

(«Просто так слово “обида” не упоминают. Когда говорят “я не хотел вас обидеть” — хотят, “не обижаюсь” — обижаются».)

Последним был эстражник, который, видимо, сказал не совсем то и совсем не так, как хотел бы Эраст.

— Он сам — это целый театр, где он и артист, и режиссер. Я всегда поражаюсь, когда смотрю то, что он делает без меня — я безошибочно вижу, где тот толчок, который я как бы в нем предусмотрел, который он потом превращает в свое достоинство. Своей игрой он умеет как бы все ткани разять и посмотреть, что там внутри, а потом знает, как эту рану очистить и большую ткань превратить в здоровую. Трудно самому быть и космодромом, и обслуживающим персоналом, и топливом, ведь ошибиться нельзя — произойдет самовозгорание, организм разрушится. Сейчас ему нужно придумать какую-то совершенно новую структуру, нужен человек, который бы его почувствовал и очень бы полюбил. Мне всегда был интересен процесс общения с ним, процесс постижения его как человека. Но он очень увлекается политикой, а я к этому безразличен. Я занимаюсь искусством, и мне интересно прежде всего искусство. Для него же социальное всегда имело значение. Это обман! Хорошо бы он это понял, потому что сдвинуть его с социального пьедестала было не очень просто, ведь это сулит успех у определенной публики, успех легкий. Когда кончилась советская власть, он начал поддерживать новую власть, а это обязывает их успехи и провалы воспринимать как свои.

(«Правильно ущучил эстрадника. Не собирается тот отвечать вместе с властью за содеянное, хочет только плату за поддержку этой власти получать...»)

— Все актеры — любимые дети.

(«Когда Юнг не уличил даже, а только обратил внимание на свойство Фрейда снижать все окружение до уровня сыновей и дочерей — учитель в ответ прекратил с ним переписку».)

— С потерей ощущения первородности исчезает искусство. Мне нужны свобода, раскрытие, развоплощение душ, обнажение, взаимопроникновение, сближение их друг с другом. Сюжет, характеры, предлагаемые обстоятельства как бы не имеют никакого значения, это почва, от которой нужно оттолкнуться, чтобы прыгнуть ввысь, в небо.

(«А эта мысль только кажется отважной. На самом деле тяжелее лететь вместе с тем, что вложил в пьесу автор и что могут добавить актеры. Эраст уже поднялся над средним уровнем — благодаря правильному выбору текстов и исполнителей, а теперь и гласно, и втихую выбрасывает накопленное, как балласт, по кусочкам. Очень опасно. А как красиво звучит — “ввысь, в небо...”»)

— Это состояние влюбленности, единственное состояние, другого я не знаю. Если его нет, не может быть никакой ра-

боты, организм человеческий закрепощен, образуется кокон, через который нельзя пробиться. Мы встречаемся с артистами, потому что любим друг друга. Если любовь интенсивна, то есть неудержимое желание прийти «на свидание».

(«Вместо разных долей жизни: приватной, профессиональной, общественной — мешанина, в которой трудно сохранить себя, ведь любая неудача ведет тогда к потере всего, всей жизни...»)

— А если в процессе репетиций не возникает того человеческого единения, роста и обновления душ, спектакль будет мертвым. Сам процесс развития личности артиста для меня важнее того, что и даже как он играет. И тогда нет вопросов карьеры, успеха-неуспеха ролей, а есть как бы один полет.

(«Этих вопросов не должно возникать только у тех, кто вокруг — актеров, художников, авторов... и соавторов, то есть и у вас, Тарас? — потому что они должны все отдать для полета режиссера.»)

Когда Эраст произнес явно не спонтанное резюме «актеры — сукины дети, но дети» и встал со стула, что в два часа ночи значило одно — аудиенция окончена, Тарас нерасчетливо, не для книги, спросил:

— А Ленский?

— Что Ленский... Бедняга...

Эраст помрачнел, мускулы, поддерживавшие уголки губ, веки, подбородок во вздернутом, моложавом состоянии, разом расслабились, лицо одрябло, как будто разделось, освободилось от дневной, казовой маски, и в больших карих глазах, опущенных густыми ресницами, открылась неприглядная глубина, подсвеченная скорбью. Не той скорбью, которая возникает как реакция на чью-то гибель, на потерю и со временем слабеет, уходит, а остающейся навсегда после того, как чужая и собственная смерть, малодушно выставляемая большинством за границу их жизни — мертвым не больно, чем позже, тем лучше, после нас хоть потоп, — отважно включается в каждодневную, реальную жизнь, и это осознание не сковывает, а направляет мысли и действия, помогая понять их нужность и ценность.

— Пошли, помянем грешную душу. — Хозяин обнял Тараса за плечи и повлек на кухню. — Кроме нас — некому. Не дружкам же его однодневным, то есть одноночным... — Эраст даже не улыбнулся своему нечаянному каламбуру. — Кто-то из них и погубил его. Меня к следователю вытащили, про каких-то иностранцев выпрашивали, как будто наш Валюша — берия какая-нибудь, агент мирового империализ-

ма. Мизансцена такая: потный мужичок бегаёт по кабинету и извиняется, что такую знаменитость пришлось побеспокоить, а рыженькая дамочка с узкими бедрами, плоская, как мальчик, села напротив и грамотно так начала спрашивать одно, имея в виду совсем другое...

Если рыженькая — это Юля, то понятно, почему меня не допрашивают, кольнуло Тараса. На секунду он обрадовался наличию такой надёжной защиты, но тут же, не желая обременять себя лишней благодарностью, решил, что его не тронули только благодаря секретности, которую он навязал Валентину и соблюдал сам. Подтверждалось Авино наблюдение: люди нелюбопытны, если человек сам не проболтается — его тайну не узнает никто, особенно самые близкие. Многого можно себе позволять... И в то же время он с ужасом осознал, что ему самому так никогда и не испытать той полноты, которая дается словами «я убил» или «я не убивал»...

— Теперь-то что в этом дерьме копать... Даже если он с чьей-то помощью впутался в вонючую историю... — сердито отгородился Эраст от чужих проблем, прытко вскочил с низкого пуфика, а когда Тарас вслед за ним тоже встал, подхватил гостя под локоть и, сделав пару кругов по тесной для его эстетических масштабов кухне, потащил за собой по коридору. Возясь с усложненным замком входной двери — элегантно усложненное выпроваживание, — режиссер выдал свой приговор: — Не приревнуй тогда его Федра ко мне — может, и жив бы остался. Человек всегда стоит перед лицом смерти...

НОВЕЛЛА

Ава нашарила на тумбочке часы и включила лампу — еще и пяти нет. Пришлось встать из теплой, нагретой ее отдохнувшим телом постели и закрыть окно: к привычному, нарастающему утром гулу мчащихся по Зеештрассе машин прибавились звуки дождя — не нудной осенней мороси, под которую крепко спится до полудня, не веселой летней грозы, когда на небе появляется умытая радуга и тянет выбежать во двор, чтобы впитать в себя исходящую от нее радость, а клекот, захлеб бесконечного ливня, стеной заслоняющего свет восхода. До упора подняла жалюзи, которые по требованию Ренаты опускались на ночь для защиты квартиры. От кого защищать в этом безопасном городе, где зонтики оставляют на лестничной клетке, где джемпер, забытый ею в кафе кунстхалле, беззаботно дожидался ее потом весь день на спинке стула?..

Сон, раскрепощающий подсознание, больше не приходил, и чтобы не тратить утреннюю свежесть на бессмысленный анализ царящего в голове и чувствах раздрая, она взяла папку с машинописной новеллой «Участь», обнаруженную в архиве Юнговского института, устроилась поудобнее — подушка под спину — и, прочитав наугад страничку из середины — как будто попробовала воду перед купанием — нырнула в самое начало текста:

Когда Зинаида поравнялась с землячками, громко шепчущимися возле дверей кафедры общей физиологии, они демонстративно замолчали, но одна из них, не выдержав агрессивного напряжения, прыснула в кулачок и ядовито спросила:

— Ида, ты еще не опробовала свои чары и папочкины бриллианты на новом приват-доценте? Учти, он женат...

Убегала Зинаида по широкой университетской лестнице, при этом медальон с сапфировым глазом, подаренный отцом перед ее отъездом из Ростова, подпрыгивал на высокой груди, а ботинок зацепился за опушку длинной васильковой юбки, и она, покраснев от стыда за свою неловкость, нелепо раскинула руки, чтобы удержать равновесие и не упасть. За что?! Почему они так меня ненавидят?! — спрашивала она себя, сердито оттягивая кружево глухого стоячего ворота, сдавливающего ее тонкую шею. На свежем осеннем воздухе она поостыла, умерила шаг, хотя дорога от университета к остановке «Централь» шла под гору, передумала садиться на трамвай и по набережной Лиммата добралась до старого города, надеясь, что он поделится с ней нажитой веками мудростью и спокойствием.

Вопросы-то были риторическими: большинство ровесниц Зинаиды, вынужденных, как и она, из-за своей еврейскости учиться за границей, оказались совсем не такими, как она, а чахлыми, голодными, разочарованными, сбившимися в стайку под знаменем революционной идейности. Ей и хотелось быть с ними, стать своей в их среде, но, слушая убедительные, нервные речи, она никак не могла сосредоточиться и улетала мыслями то к политически нейтральным учебным предметам, то к голубому особняку на Садовой в центре Ростова, где сейчас можно было бы юркнуть в родительскую постель и помолчать, читая в материнских глазах продолжение своих мыслей и сочувствие к горю, которое после взрослого разбора окажется лишь преодолимой бедой, поучительным несчастьем или даже нужной для жизненно-

го опыта неудачей. Кто сказал, что радость — цель бытия?! — спросил бы отец. Стремись к равновесию между счастьем и страданием, копи твердость и философское терпение. Сначала проанализируй практические последствия случившегося, и только потом, когда успокоятся неконтролируемые разумом чувства, восполняй моральные потери.

А какой вред от злобы товаров? По молодости казалось — никакого...

Как чаще всего и бывает — их недобрый глаз подметил то, в чем сама себе Зинаида еще не призналась: тяга к приват-доценту Густаву Нигге была неосознанной, из числа тех глубинных, скрытых прежде всего от себя стремлений, которые позже она научится анализировать сначала в дневнике, а потом и в диссертации, и в докладах, бурно обсуждаемых коллегами.

Злая энергия, материализовавшись, подпихнула мысль Зинаиды, и она решила действовать — на следующий же день отправилась в клинику Бургхельцли, основное место службы Густава Нигге. Пошла пешком, чтобы по дороге обдумать, как ей заинтересовать доктора, только что защитившего диссертацию и явно не намеренного ограничиться скромной карьерой практикующего врача. Перенеся себя на его место, она поняла, что вполне может дать ему пригодный для исследования, психологически достоверный материал, если как следует покопается в своих детских и юношеских воспоминаниях и добавит к ним сюжеты из плохо ему знакомой — судя по лекциям — русской литературы, в которой ей и копаться не надо, поскольку у русских читателей познание словесности как минимум на шаг опережает житейский опыт.

Записывая анкетные данные Зинаиды и номер банковского счета, с которого будут идти деньги за консультации, медсестра, ее ровесница, все время прихорашивалась: то одернет кипенно-белый накрахмаленный халат, то затянет потуже поясок, подчеркивающий тонюсенькую талию, то повертит дешевенькую стекляшку в ухе. Ее суетливость оказалась заразительной, и уже Зинаида, приученная с детства автоматически, не обращая внимания на финансы, пестовать свою опрятность, простоту и вкус, синхронно с ней — как будто отрепетировали — потянулась к волосам и откинула черную прядь, наползающую на левый глаз. Медсестра хихикнула и, испуганно прикрыв рот ладонью, взглянула на пациентку — не обиделась ли та? — но и Зинаида не удержалась от улыбки.

— Вы давно здесь? — использовала она возможность, та-

ящуюся в сближающем веселье, чтобы разузнать побольше о докторе.

Но отворилась обитая кожей дверь и показался Густав Нигге, такой же, как на лекции, — в строгой темно-синей пиджачной паре с широким шелковым галстуком в крапинку, в маленьких, похожих на пенсне очках с тонким серебряным ободком и с небольшими, аккуратно подстриженными усами, скрадывающими великоватое расстояние между носом и верхней губой. Мягкие или жесткие? — мелькнуло у Зинаиды.

— Ко мне? Проходите, — близоруко прищурившись, пригласил доктор, пропуская ее вперед.

В середине дня, после нескольких часов больничного и амбулаторного приема от него веяло свежестью и чистотой, которые даются лишь специальной заботой. Простые, стандартные слова в его устах прозвучали как интимное, предназначенное только ей, приглашение. На тайный смысл намекал и теплый голос, и напряженный, изучающий взгляд, на который она наткнулась, невоспитанно обернувшись. Так захотелось, чтобы этот человек (его семейную несвободу она по-девичьи эгоистично вынесла за скобки), этот великан, которому она едва доставала до подмышки, положил руку ей на плечо, притянул к себе и обнял, — так въяве это представилось, что у нее перехватило дыхание и на глаза навернулись слезы.

— Ложитесь, — баритоном попросил доктор, стоя вполборота к Зинаиде и держа перед носом ее медицинскую карту — очки он спровадил на лоб.

И она инстинктивно, не подумав, как одурманенная, стала срывать с себя медальон на длинной цепочке, которая вцепилась сперва в кружево блузки, потом запуталась в лазорево-голубом банте. Зинаида покраснела и только когда расслышала «не надо... волноваться», опомнилась и одетая легла на узкую кожаную кушетку, судорожно подоткнув под себя широкую шелковую юбку, свесившуюся на пол. И сразу захотелось в туалет. Понимая, что этого не должно быть, ведь она заранее все предусмотрела — за завтраком выпила лишь одну чашку кофе вместо обычных трех, и ни капли жидкости больше, на всякий случай перед тем, как войти в клинику, посетила дамскую комнату гостиницы, что неподалеку — Зинаида облизнула пересохшие губы, сдвинула ноги и приготовилась терпеть, затравленно, страдальчески глядя на доктора. Куда делись решительность, отважные планы его покорения!

А Нигге неспешно подошел к столу-консоли, вынул тя-

желую пробку из хрустального графина, налил полный стакан воды и протянул его Зинаиде — как будто это было рутинное лекарство, положенное при встрече с пациентом.

— Возьмите и медленно выпейте в туалетной комнате. Вот здесь, — подушечками пальцев управляя ее локтем, он подвел дрожащую Зинаиду к неприметной двери в углу кабинета... — А теперь расскажите, что вам сегодня было показано во сне, — шутливо велел он, когда та, счастливая, освободившаяся от испуга, снова устроилась на кушетке.

Никакого сна этой ночью она не видела, хотя, конечно, можно было бы его придумать, чтобы заинтересовать доктора, потрафить его еще не сложившейся теории, которую он начал строить на своих лекциях. «У лжи короткие ноги», — вспомнилась ей реакция отца на ее детскую хитрость, и она честно призналась, что сны видит редко, но что у нее постоянно крутятся в голове пушкинские стихи, где герой, находясь в ссылке, каждую весну выпускает на волю птицу.

— Когда-нибудь я сама хочу помочь человеку обрести полную свободу благодаря психоаналитическому лечению, — опьянев от заботы, от внимания к себе, чуть высокопарно сформулировала Зинаида.

И только она выпалила свое сокровенное, как почувствовала, что теплота, исходившая от доктора, превратилась в прохладу. Ей даже не надо было переводить взгляд с потолка на его лицо — и так ясно, что он помрачнел. В голосе его обозначилась насмешка. Зинаиде тут же пришло в голову, как его оправдать: чтобы получить право просить — а она, конечно же, хочет у него научиться — нужно хотя бы подумать, что ты можешь дать взамен. Себя? Идею? И она храбро предложила и то и другое...

Дома никто не отвечал на звонки, и Густав Нигге раздраженно шарил в отделениях портфеля, пока не укололся об остро отточенный карандаш — тогда только и вспомнил, что связку ключей сам же сунул в карман пиджака. В прихожей не было ни служанки, ни жены, обычно принимающих его верхнюю одежду, и не зная, куда все деть, Нигге поспешил в спальню со шляпой и перчатками в руках. На пороге комнаты его перехватила акушерка, отняла поклажу, заставила тщательно вымыть руки и лишь после этого подпустила к кровати, на которой рядом с бледной женой орал сморщенный розовый комочек — его вторая дочь. Поцеловав крохотный мизинец, он довольно усмехнулся: с женщинами ему всегда было легче, чем с мужчинами... А наследник?.. Ученики будут

его наследниками. И потом — ему ведь всего тридцать один, они с Эммой совершенно здоровы... Потороплю архитектора, собственный дом нужен как можно скорее. Наконец-то не надо считать каждый раппен, не то что в нищем студенчестве. Конечно, пока благополучие зиждется на приданом жене, но ему уже обещана должность старшего врача...

После рутинной инвентаризации своей жизни по бюргерским законам — к этой гигиенической процедуре он был приучен матерью еще в отрочестве, — Нигге решил, что с практической стороны жизни все в полном порядке, перспективы самые радужные, а вот с научной карьерой как? Что сегодня щебетала эта нахохленная лазоревка? Он и сам подумывал о письме венскому профессору, но уж слишком рискованным, опасным было вступать в открытую связь с изгоем, пусть и знаменитым — навлечь на себя предназначенные пока только ему насмешки в прессе, издевательства университетской среды.

И все-таки искушение, подстегнутое Зинаидой, победило: Нигге пошел в гостиную — своего кабинета у него не было, — где за секретером старомодного, не любимого им стиля бидермейер, без помарок, ровными, строго параллельными строчками исписал несколько страниц, внимательно перечитал их, не заметив, что перепутал Пушкина с Лермонтовым, что вместо своей исповеди подsunул признания Зинаиды, да еще истолковал их в духе пошловатой швейцарской поговорки: «...главная ее мечта — родить от меня ребенка, который воплотил бы ее неосуществимые желания. Для этой цели я, естественно, должен сначала сам “выпустить птичку”».

Ответ пришел незамедлительно: «Я рад, что русская девушка — студентка. Необразованные люди пока остаются недоступными для наших анализов... Сексуальная свобода — характерная черта всех русских, вы должны это учитывать... Страсти пациента — неизбежная и даже желанная реальность, необходимый элемент работы аналитика. Но, согласно духу и букве нашего метода, сексуальные отношения психоаналитика с пациентом невозможны... Как видите, вы мне нисколько не наскучили. Жду ваших писем».

Что делает после такого послания пытающийся наладить отношения с его автором человек как ученый незаурядный, но как мужчина — обыкновенный? В ответных письмах Нигге перестал упоминать про русскую студентку, а в ответных мыслях все чаще думал о Зинаиде, на лекциях первым делом находил ее высокую, вздымающуюся грудь, обтянутую голубой блузкой, назначал лечебные сеансы в клинике,

и там менялся с ней ролями — сам становился пациентом, хотя она по-прежнему лежала на кушетке, а он сидел в кресле у ее изголовья. Особенно разнервничался он, вернувшись из Вены, где впервые встретился с профессором и без перерыва проговорил с ним тринадцать часов. Рассказывая Зинаиде об идеологической стороне их единения, он вскочил и, меряя по диагонали большими шагами свой кабинет, почти закричал:

— Нет! Нет, нет, я не хочу никому принадлежать! Я не хочу быть в чьих-то объятиях!

Левая нога Зинаиды сама собой стала сползать на пол, за ней — правая, потянувшая за собой туловище. Ей нужно уйти? Но она даже не помышляла о том, чтобы завладеть им целиком, чтобы получить его в собственность... Не она же первая его обняла... Зинаиде и в голову не пришло, что Нигге гневается не на нее, что он просто не учел ее реакцию, ее чувства. И все-таки когда кушетка облегченно вздохнула, освобождаясь от тяжести пациентки, доктор опомнился и, мягко положив руки на Зинаидины плечи, удержал ее на месте.

— Мне было восемнадцать, я очень любил приятеля своего отца, человека лет сорока-пятидесяти. Он был моим наставником, закадычным другом, в чем-то ближе всех родственников. И вдруг он принялся меня совращать — а я тогда ничего не знал о гомосексуальности, даже не подозревал о ней... — Нигге нахмурился и сердито замотал головой. — Нет, нет, не хочу об этом! Сегодня утром, когда я заплыл далеко от берега, меня схватила судорога. Я перепугался и начал тонуть, но тут меня осенило: судорога — это символическое выражение акта насилия, которое я совершаю по отношению к самому себе. Как только я поклялся не противиться приливу жизни, который прежде контролировал с помощью волевого усилия, судорога тут же прошла. Если не следовать своим внутренним позывам, то бессознательное среагирует на подобное невнимание угрозой твоей жизни.

И, как бы защищая обе жизни — свою и Зинаиду, он несуетно запер изнутри одну за другой двойную входную дверь и стал расслаблять тугой узел шелкового галстука...

Только благодаря Зинаиде и с ее незаметной, не ждущей вознаграждения помощью Густав Нигге смог обустроить дружескую колею между собой и профессором — иначе она бы сразу стала дорогой в никуда, на которой его карьера пе-

ревернулась бы и разбилась, как не доведенная до ума новая модель авто, не подлежащая восстановлению после аварии. Получилось, что Зинаида села за руль, добровольно приняв на себя обязанности шофера: издали замечать и объезжать колдобины, не теряя при этом скорости и сцепления с дорогой, совершенствовать профессиональные знания и навыки и забыть о своем женском обустройстве. Во всяком случае она ни разу не загнала себя в угол ультиматумом «я или она», хотя «она» сначала была постоянная величина — жена, а позже ею стали множество других постоянных и переменных — учениц, сотрудниц, журналисток, биографов и других женских особей, которых затягивает в воронку чужой славы. А он так ни разу и не вспомнил о Зинаиде без связи со своими мужскими инстинктами и своей работой, он даже не задавал ей рутинного вопроса «как дела?», которым мудрый хозяин обманывает своего слугу, создавая видимость заботы.

И вот — практический результат дружеских отношений: по протекции профессора Густав получает первое в своей жизни официальное приглашение на международный психоаналитический конгресс и едет туда, напутствуемый учителем: «Сейчас больше чем когда бы то ни было, я хотел бы быть вместе с Вами... и рассказать Вам о долгих годах моего гордого, но наполненного страданием одиночества... и о спокойной ясности, постепенно овладевшей мной и велевшей ждать голоса, который ответит мне из неведомой толпы. Этот голос оказался Вашим... Благодарю Вас за это, и пусть ничто не колеблет Вашей уверенности в себе. Вы увидите наш триумф и примете в нем участие».

Разделить свой «триумф» Густав смог только с Зинаидой, поскольку перед ней ему не было стыдно обнаружить, как он, волнуясь, обдумывая свое выступление, вполуха слушал коллег и не насторожился, когда ораторы стали нападать на отсутствовавшего учителя. Договорились до того, что предложенный им метод нельзя воспринимать всерьез, что он чрезвычайно вреден и что его автором должны заниматься в другом месте. И уточнили в каком — в полиции. Тут-то, по инерции думая, что перед ним друзья, единомышленники, Нигге и начал свой доклад. Уже минут через семь, когда он только приступил к главному — к обобщениям, председательствующий постучал карандашом по горлышку графина и сердито потребовал не нарушать регламент — а до этого благодушно не прерывал разглагольствующих по часу. Испуганный, возмущенный очевидной, беззастенчивой несправедливостью Густав ни за что не хотел подчиняться насилию

и, когда его за рукав стащили с трибуны, выбежал из зала, хлопнув дверью, которая была снабжена специальным устройством и в ответ на его толчок плавно, бесшумно закрылась. Вот и весь триумф.

Зинаида «Нигемания», которую ей запрещено было выговаривать, выражать в словах — объект хмурился, отмахивался от них (то ли трусливо опасаясь чужих ушей, то ли понимая — напевать вариации на тему любви можно и заученно, театрально, не обеспечивая произносимое запасом чувств), Зинаида любовь сказывалась в том, что она беспокоилась и переживала за Нигге как за себя или даже острее, больнее, самоотверженно поставив себя на его место и полностью испив чашу позора, которая для доктора была лишь допингом, подстегивающим его самолюбие и заводящим мысль в парадоксальные, неожиданные закоулки, к чему и стремится любой заправский исследователь. И этот допинг — не из худших.

Но пока Зинаида-ученый была трусливее Зинаиды-женщины и не отваживалась даже мысленно посягать на равенство с Нигге, а что можно понять в себе и в других без сравнения-равнения? Истолковав сердитую откровенность доктора как доверие, заменяющее любовное признание, то есть в свою пользу, Зинаида еще усерднее зачистила в библиотеку, где отыскивала и реферировала для него книги — древние и современные, восточные и западные, редкие и расхожие, делала вырезки из газет и журналов, не считаясь ни со своим временем, ни с родительскими деньгами и вместо заслуженной и ожидаемой благодарности получая словесные оплеухи за пустяковые, казалось бы, оплошности — за неточно записанные выходные данные книги, неаккуратно обрезанный край газетной статьи или забытую ссылку на название издания.

Отдавая очередной конспект, она не смела и заикнуться о распирающих ее эмоциях — Нигге, сосредоточенный на переваривании новой информации, не реагировал на слова из лирического тезауруса. Но и когда она украдкой остудила горящую щеку о его прохладное предплечье, он отдернул руку и, придравшись к пустяку, обидно выговорил:

— Если бы ты думала о деле, а не потакала своим сексуальным инстинктам — не пропустила бы этот ляп!

Иде стало стыдно, она заставила себя сосредоточиться на работе, а Нигге внезапно нахмурился, запер дверь на два оборота и постелил простынку на широкий диван в потайной комнатке. И хотя только что она мечтала об этом, теперь, после его оговора, ей было трудно, почти невозможно

настроиться на близость, и он снова рассердился, и это недовольство прошло лишь тогда, когда он уже спокойно, умиротворенно лежал на спине, закинув руки за голову и позволив ей прижаться к его потной подмышке. А вслух он думал о том, как сказываются в коллективном бессознательном оккультизм, которым он увлекался в юности, классическая алхимия с ее эмпирикой и мистической философией, языческие боги и древние сказания.

— Никому не проговорись про то, какие книги ты для меня читала! — Лишь этим обидным приказом он дал знать, что помнит о ее присутствии.

В ответ Зинаида не изобразила благородное возмущение, не принялась клясться в верности, а порывисто приподнялась на локте и, поймав взгляд его голубых глаз, без слов подтвердила свою преданность, отданность ему. Густаву на мгновение стало совестно за свою подозрительность, и он допустил ее до своих крамольных размышлений об универсальной природной силе, передающей по биологическим каналам духовные упования предков:

— Религиозные потребности имеют биологическую основу. Духовный мир представителей языческой античности восхвалял сексуальность и потому они меньше страдали от неврозов, чем современные европейцы. Жизнь отдельного человека может иметь смысл лишь в том случае, если его религиозные убеждения и сексуальная практика созвучны убеждениям и практике его расовых предков.

У Зинаиды дух захватило от отваги, с которой Нигге, выросший в благочестивой пасторской семье, посягнул на церковные догматы, рискуя и своим местом в университете, и репутацией уже не родительской, а собственной молодой семьи — стань его размышления добычей всегда искажающей гласности. Сердечко Зинаиды забилось от восторга, от готовности защитить любимого (как чаще всего бывает, готовности безответственной — что она могла сделать, чем выручить?!), когда общество, контуры которого она даже не представляла, отвернется от него. И одновременно где-то в глубине — тела или души... — засадило, возникла тревога, которую удавалось держать на задворках, пока Нигге лежал рядом, но как только она оказалась одна, бессознательная тревога вырвалась на свободу и потребовала осмысления. И сразу до нее дошло, что его рассуждения открывают путь полигамии, оправдывают ее. А значит, разлучают с Густавом... Даже про себя не решаясь произнести слово «брошенная», «оставленная», Зинаида снова увернулась от столкновения с горем, но его миазмы уже вошли в поры ее души.

А Густав и правда исчез: уволился из университета, переехал в только что построенный замысловатый дом-башню в Кюснахте на самом берегу Цюрихского озера. То есть он дышал, ел,пил, думал, подстригал усы, раздевался и одевался, но все это, чему раньше она была свидетелем, соучастником, помощником, теперь происходило без нее.

Зинаида судорожно, безрассудно заметалась, и первый удар получила от первого же броска — в клинику. Та самая медсестра, которая приторно улыбалась ей, услужливо выполняющая обязанности секретарши, стража и еще бог знает кого — счастливой Зинаиде было тогда не до наблюдений, — почему-то торжествуяще глядя ей прямо в лицо своими открыто живыми глазами, объявила, что доктор уехал, когда будет — неизвестно, и, нагнувшись к нижнему картотечному ящику, нагло выставила попку, туго обтянутую коротким халатиком.

Дома Зинаида, сдерживая зачем-то рыдания, тупо, больше часа, пыталась сравнить свой вид сзади с медсестринским, выгибаясь перед зеркалом платяного шкафа и как можно плотнее оборачивая вокруг бедер сперва широкую шерстяную юбку неуместно яркого зеленого цвета, потом, скинув ее, повторяя то же самое с нижней батистовой и, наконец, с коротенькой шелковой комбинашкой. Результат манипуляций — нисколько не объективный — заставил ее разреваться, и рыдала она бесконечно, всхлипывая даже во сне.

Утром, неумытая, неодетая, прямо в постели она написала два письма: одно — матери, другое — тому самому профессору, учителю Нигге:

«Я была бы крайне благодарна Вам, если бы Вы могли дать мне короткую аудиенцию. Речь идет о деле, важном для меня и, вероятно, интересном для Вас. Быть может, вы думаете, что я навязчивая любительница знаменитостей, которая хочет потрясти Вас каким-нибудь жалким школьным проектом в надежде “перевернуть мир” или что-то в этом роде. Поверьте, не это приведет меня к вам. Мое положение крайне щекотливое...»

Потратив все силы, и рациональные, и эмоциональные, на отношения с Густавом, Ида в последние полгода все дальше отрывалась от других людей и от житейских обстоятельств — так начинающий пловец ныряет в океан и получает наслаждение от того, что движется несмотря на высокие волны, на укусы склизких медуз, на холодную воду, — и упускает подстраховаться: берег из-за только что начавшегося прилива незаметно и опасно уходит все дальше и дальше. Плыть-то надо было параллельно песчаной кромке.

А Нигге спокойно, планомерно собирал информацию, не брезгуя сплетнями, и не только не забывал про Иду, но даже за месяц до своего исчезновения из ее жизни предусмотрительно объяснился с учителем:

«Последняя и самая тяжелая капля, переполнившая чашу терпения и сыгравшая со мной просто дьявольскую шутку, — русская пациентка предала мое доверие и дружбу самым оскорбительным образом: она подняла гнусный скандал единственно потому, что я отказал себе в удовольствии сделать ей ребенка. Я всегда вел себя по отношению к ней как джентльмен, но перед судом своей слишком чувствительной совести я не считаю себя полностью чистым, и это ранит меня больше всего как раз потому, что мои намерения были самыми достойными. Но Вы знаете, как это бывает — дьявол может превратить в порок и саму добродетель.

В этой истории я получил непередаваемое количество супружеской мудрости, потому что до сих пор я, несмотря на весь самоанализ, имел совершенно неадекватное представление о своих полигамных наклонностях. Теперь я знаю, когда и как дьявол бьет копытом. Эти болезненные, но целебные прозрения чертовски взболтали меня изнутри, однако благодаря этому, надеюсь, я сохранил определенные моральные качества, которые дадут мне немалые преимущества в дальнейшей жизни. Отношения с моей женой в огромной степени прибавили по своей твердости и глубине».

Учитель понял и принял эту декларацию о намерении не нарушать им же самим сформулированный запрет на сексуальные отношения с пациентами и на мольбу Иды ответил — все-таки ответил, не проигнорировал! — сухой отпиской, в которой отказывал ей в приеме и предлагал письменно изложить мотивы ее просьбы, а для Нигге не пожалел слов, чтобы утешить и этим приблизить к себе любимого ученика, попавшего в трудную, но, впрочем, обычную для «нашего ремесла» ситуацию. «Разве можно быть в сделке с дьяволом и бояться огня?» — процитировал он Гёте, называя его «Вашим дедом» — уступка мифу, по которому бабка Нигге согрешила с великим немцем. «Таких переживаний, хоть они и болезненны, избежать невозможно. Без них мы не будем знать реальную жизнь и то, с чем нам приходится иметь дело. Сам я никогда так не попадался, но был близок к этому множество раз и выбирался с трудом. Думаю, меня спасла только беспощадная необходимость, двигавшая моей работой, да еще то, что я был на десять лет старше Вас, когда пришел к психоанализу. Эти переживания лишь помога-

ют нам выработать толстую кожу, необходимую, чтобы управлять “контрпереносом”, который в конечном итоге является постоянной проблемой любого из нас. Они учат нас направлять наши собственные аффекты к наилучшей цели».

Самому профессору «эти переживания» уже помогли: он наткнулся на новое понятие «контрперенос» и сразу же застолбил кавычками свое право на открытие. Этот контрперенос, то есть чувство аналитика к своей пациентке, у жесткого моралиста, каким зарекомендовал себя профессор, вызвал и человеческое, и профессиональное сострадание, а вот для Иды, представленной в качестве пациентки, учитель и ученик, оба, не нашли в своих душах ни сочувствия, ни толики благодарности — хотя бы за то, что она обеспечивает им кристальную чистоту психологического эксперимента: совсем не хитрит, отважно открывается обоим, не заботясь о своей гордости и об устройстве своей женской судьбы.

В эти пасмурные сентябрьские дни, когда с безвыходным постоянством вместе с ранней темнотой сгушалось страдание, а бессонная ночь оканчивалась утренней усталостью, Ида получила из дома конверт. Внутри него был только тонкий листок веленовой бумаги знакомого светло-сиреневого цвета — на таких жена Нигге напоминала ему о званных обедах и семейных торжествах. Текст требовал, чтобы родители поскорее забрали из Цюриха свою развратную дочь. Иде даже в голову не приходили те эгоистически разрушительные намерения, в которых ее обвиняла анонимка. О господи, да она же никому никогда не говорила о своей любви! Разве можно этим делиться! И Нигге считает ее интриганкой...

Банальность обвинений, как пощечина во время истерики, встряхнула Иду и вывела ее из тупика, только что, минутою назад казавшегося безвыходным, беспросветным. Еще вчера она то молилась на Нигге, то проклинала его, то мечтала повидаться с ним, то с обидой отвергала выдуманное ею же приглашение — сегодня ей уже хотелось только работать, то есть быть участницей научной жизни Нигге, встречаться с его необычными, непредсказуемыми мыслями, а не с заурядной мужской трусостью и ложью. Если раньше к любой новой его идее она относилась как к незыблемой, непререкаемой истине, то теперь как-то незаметно для себя осмелела и от сомнений перешла к критике и даже к несогласию.

И новый конверт из дома лишь испортил ей настроение, но не сбил с рабочего ритма. А там было два письма: нелепое послание Нигге, в котором он требовал от родителей «надлежащей компенсации» — 10 франков в час — за то, чтобы строго придерживаться роли врача их дочери. «Клянусь именем моей покойной матери — я не переступил границу!» А иначе он не гарантирует, что сможет оставаться с Идой только в дружеских отношениях. И резюме отца: «Люди делают из него Бога, а он всего лишь обычный человек... Делай то, что считаешь нужным, но только не мелочись...»

Тем временем «обычный человек», как только выскользнул из зоны, контролируемой родственными очами, не мог найти себе места. Помимо его воли в каждом письме к учителю упоминалась Зинаида. Чем реже она давала о себе знать, тем чаще он убеждал себя, искал и находил очевидные доказательства того, что она не собиралась шантажировать его и в мыслях не посягала на его с таким трудом и самоограничениями устроенное благополучие. А вскоре выяснилось, что ситуация и накалилась-то из-за его неосторожного кокетства с медсестрой, вообразившей, что именно Зинаида мешает ей заполучить доктора сперва в любовники, потом в мужья. И его жена стала лишь орудием ее мести.

Вчерашняя уверенность в предательстве Зинаиды теперь уже кажется ему грехом, преступлением, и он кается. Но оправдывается не перед той, которую подозревал — она сразу разоблачит лукавство, — а перед своим знаменитым учителем, возведенным им в ранг символического отца:

«Когда продолжение наших отношений неизбежно вело к половому акту, я защитил себя способом, который не может быть морально оправдан: я написал ее родителям, что не являюсь средством удовлетворения сексуальных желаний их дочери, а всего лишь ее врачом, и что мать должна освободить меня от нее. А раз пациентка незадолго до того была моим другом и пользовалась полным моим доверием, это письмо было обманом, в котором я с трудом признаюсь Вам как моему отцу и обращаюсь с просьбой о помощи: напишите, пожалуйста, фрейлейн Зинаиде о том, что я полностью проинформировал Вас об этом деле, и особенно о нелепом письме к ее родителям...»

В общем, Нигге подхватил строительство треугольника, которое начала Зинаида, начала интуитивно, ни на что не рассчитывая, от отчаяния. Без поддержки Нигге и профессора он бы не составил, развалился, но они оба, не сразу,

не вмиг, а все-таки сообразили, что эта конструкция может стать полезной, и в разные моменты своих знаменитых жизней попользовались ее устойчивостью, обеспеченной верностью Зинаиды. Если Нигге огородил этим треугольником тот кусок своей жизни, которым хотел расплатиться с профессором за советы и за помощь в начале научной карьеры, не допуская его в пока еще незаметные закоулки (это потом они осветятся и потеснят и Зинаиду, и профессора), то для Зинаиды в этом треугольнике заключалась вся ее жизнь, строить про запас она ничего не хотела, хотя возможности подворачивались не раз.

Ну, например, после блестящей защиты докторской диссертации, или на заседании Венского психоаналитического общества после ее сенсационного доклада «Разрушение как причина становления», согласно которому сексуальное влечение — не единственная сила, существующая в человеке: вместе с ним и в противоположность ему таится другое влечение — к разрушению и уничтожению жизни. Но она щедро подарила этот труд Нигге — так сияющая мать отдает дитя любви счастливому отцу на пороге роддома. Получив текст статьи, Нигге раскритиковал его, яростно растоптал — тем самым проговорился, что идея влечения к смерти была все-таки ее собственным, а не их совместным детищем. Необычную идею подхватил и приватизировал мудрый профессор и через несколько лет опубликовал уже под своим именем статью, где вскользь заметил, что в богатой содержанием и мыслями работе Зинаиды предвосхищена часть его рассуждений...

Но это случилось уже тогда, когда Нигге восстал против своего учителя, против методы его общения с учениками как с пациентами, стал отстаивать право на собственные взгляды и поэтому лишь огрызнулся в защиту Зинаиды. А она еще долго, десятилетия, переписывалась с обоими, что сделало их разрыв не таким болезненным и необратимым — вдруг бы выяснилось, что девятилетний обмен научными идеями и почти родственные отношения ампутированы неправильно. Но фантомные боли не слишком мучили обоих, и надобность в Зинаиде сходила на нет. Когда она после скитаний по Европе собралась вернуться в Россию и спросила мнение профессора, тот одобрил ее решение, памятуя о работе Московского психоаналитического общества и совершенно не понимая и не принимая в расчет пришедших к власти большевиков. (Не спрашивайте советов у посторон-

них людей! А чуткость поможет понять, кто посторонний и кто близкий.)

Не прижившись в Москве, Зинаида поехала в родной Ростов, где ее никто не ждал — всех родственников расплыло новое страшное время. Поселилась она в комнатке, выгороженной из конюшни во дворе их семейного особняка, который превратился в безликий, увешанный бессмысленными объявлениями дом политработника. Соседи эксплуатировали ее как русскую блаженную дурочку. Она ходила скрюченная, сгибаясь все сильнее, чтобы не беспокоить людей своим ясным, все понимающим взглядом.

Когда началась война, советские патриоты драпанули в эвакуацию. Зинаида не стала бороться за место в эшелоне. Немцы так немцы... От вечной библейской тоски никуда не убежишь... Или ею руководила идея Танатоса, которую она сама и открыла?

РЕС

В ночь Авиного отъезда что-то произошло. Я попытался выведать у Ренаты, но она сперва темнила, намекала на утренний ливень, смывающий все следы, а потом призналась в своем неведении. И я отступился. Не так важно само событие: перемены в человеке не всегда бывают реакцией на внешние раздражители, скрытая от посторонних глаз и ушей, а иногда и от самого человека, внутренняя работа приводит к необратимым последствиям. Значим результат... Описывать его кому-либо я бы не решился — как найти слова, объясняющие то, что я будто увидел воочию: между мной и Авой исчезла глухая, непроницаемая перегородка, на которую я каждый раз натыкался, пытаюсь общаться с ее душой, а не только с ее гибким, контактным сознанием. И еще — по растерянности, по ее грусти я понял, что она считала эту перегородку своей защитой, ограждающей от агрессивных нападков мира.

А рухнула эта стена лишь потому, что подгнил крепежный материал, в состав которого входило вещество под именем «Тарас». Мне было очевидно, что не я вытеснил в ее душе соперника и не сам Тарас предпринял какие-то разрушительные действия. Ава не из тех, кому хватает одной страсти, пусть искренней и сильной, ей не нужно заслоняться от бытовой, научной, культурной жизни. Не осознавая своей смелости, она всегда идет навстречу событиям.

На мою беду я не успевал воспользоваться своим пони-

манием. Возвращайся она в любую другую страну, я бы увязался за ней, в Россию же нужна виза, а как ее оформить за несколько оставшихся до вылета часов — я не знал. Но, слава богу, за прощальным ланчем Ава четко повторила свое приглашение, а поскольку последние минуты я не оставлял ее наедине с Ренатой, то ей пришлось — или я скромничаю? — ей захотелось позвать в Москву и меня.

Пока оформлялась официальная бумага, тут много чего стряслось, но я не решился обременять Аву своими несчастьями — если судить по нашим газетам и телевидению, то Россию трясло каждый божий день, и я рванул бы спасать Аву, но Рената попала в больницу. Приступ случился дней через десять после того, как ее обокрали: она была на обычной вторничной лекции в народном университете, и бездомные югославы — их поймали, а украденного, конечно, не нашли — разбили окно в ванной, обшарили квартиру, забрали все драгоценности — и подаренные отцом, и доставшиеся по наследству, то есть совершили святотатство, и никакая страховка тут не врачует.

Доктора настойчиво рекомендовали тщательное, всестороннее обследование и хмурились, когда мы с сестрой спрашивали о прогнозах. Наверное, сами ничего не понимали, и из перестраховки выдумали опасность, — засела успокаивающая мысль.

Рената ни за что не захотела откладывать поездку в Москву и просто игнорировала любые вопросы о своем самочувствии. Долго уговаривать меня не пришлось, и мы прилетели в Россию.

Очень трудно оказалось сосредоточиться на Аве — вместо себя она потчевала нас другими людьми и московскими богатствами, но я сумел приспособиться, и уже день на третий, направляясь по Пречистенке в сторону Музея личных коллекций, думаю, догадывался, почему она выбрала именно этот путь, почему завела нас во двор, образованный парой двухэтажных полуподков с колоннами и оштукатуренной кирпичной коробкой с застекленными внутренними лифтами. Бескорыстная дворянская Москва конца девятнадцатого века и купеческая, извлекающая из всего выгоду, Москва начала двадцатого — символическое место с микроэлементами русского духа. Когда Рената спросила, откуда Ава знает об этом закоулке, я ревниво напрягся: испугался, что звякнет имя Тараса. Пронесло — тут убили какого-то ее пациента, история в стиле Достоевского.

Конечно, Ава водила нас и по «вкусным», зрелищным местам, но всякое утро, прежде чем ступить на торную ту-

ристскую тропу, мы брали на пробу несколько улиц и переулков то в Замоскворечье, то на Патриарших прудах, то на Большой Никитской — я заучил все эти топонимы и старался угадать, как повлияли на Аву полуразрушенные и отреставрированные особняки, церкви, парки и водоем, что говорят они ее сердцу. Меня же они настраивали, перестраивали в другое состояние — как кадры березовой рощи в начале фильма или увертюра на симфоническом концерте, когда у зрителя еще витают мысли о прожитом дне, о планах на завтра, но постепенно и незаметно его затягивает процесс — если искусство не фальшивое, живое — и он начинает жить внутри музыки или внутри фильма, постигает законы, по которым он создан, и узнает, ради чего. Вот и я благодаря нашим утренним прогулкам стал осваиваться в городе, но к Аве приближался очень медленно — редко удавалось достаточно долго глядеть ей в глаза, чтобы ощутить где-то в самой глубокой голубизне теплоту, предназначенную именно мне и никому другому.

Как-то, скрываясь от внезапного весеннего ливня, мы забрались на второй этаж арбатского особняка, где в нескольких комнатах открылась антикварная лавка. Я пробрался к прилавку в дальнем закутке, с трудом лавируя между креслами, обитыми свежим репсом в желто-голубую полоску, столом-консолью на звериных лапах, секретером стиля бидермейер, фанерованным красным деревом, задумчивым письменным столом — с трудом не столько из-за тесноты, сколько из-за косых взглядов продавцов и клерков, как будто подозревавших меня в намерении их ограбить или оценивающих мою платежеспособность. Отвратительно... Я бы сразу ушел оттуда, но мой взгляд встретился с сапфировым глазом золотого медальона в стеклянной витрине, и пока Ава с Ренатой из чистого любопытства разглядывали двухстворчатый платяной шкаф орехового дерева, как будто из родительской спальни, я расплатился за кокетничавшую со мной безделку, чтобы оставить ее в Авиной спальне перед нашим отъездом.

Вечером пятого дня после полуденного отдыха, которого мы никогда не лишали Ренату, хотя она храбрилась, да и вправду выглядела совсем неплохо, мы втроем поехали в театр. Ава честно предупредила, что спектакль драматический, и хотя важнее там не слова, а музыка и пластика, и она по дороге подробно расскажет, в чем там дело, но все-таки проблема языка есть. Казалось бы, обычное обсуждение — за каждой трапезой мы обговаривали будущую программу визитов, причем все предлагаемые варианты были чем-либо

любопытны для самой Авы, и всегда можно было выбрать из двух-трех возможностей, а тут — и интерес сильнее привычного, и выбора нет. Я понял, что даже если ничего не пойму, скучать не придется.

Лишний билет спрашивали за квартал до театра, где мы оставили машину. Только отыскиали закуток, из которого можно наблюдать за публикой, необычной для меня — осанистые мужчины парами, тройками и поодиночке наглова-то привлекали к себе внимание кто громкими восторгами, кто вычурным оперением, кто прямо-таки звериной повадкой — а кто еще так открыто спаривается?! — как к нам подлетел сияющий загорелый толстячок, скрывающий свои габариты под свободным пиджаком в яркую продольную полосу. То есть не к нам, а к Аве, и, попросив у нас пардона — это слово я понял, — подхватил ее под руку, сделал полный круг по фойе, не обращая внимания на глазующих — а хотя бы украдкой на него посмотрел каждый, — и так же внезапно вернул Аву на место.

— Это режиссер, просил зайти за кулисы после спектакля. «Почему ты не предупредила, что придешь?!» — передразнила она. — Мастер создавать видимость дружбы, которая его ни к чему не обязывает, а тебя сковывает по рукам и ногам, — нахмутив брови и тут же улыбнувшись, добавила она.

Я не обнаружил в ней той суетливости и наивной гордости, которые обычно появляются у человека, удостоенного внимания знаменитости. А то, что режиссер — знаменитость, и знаменитость заслуженная, я понял и по его спектаклю, и по зрительскому экстазу после него. Восторг перелился через край зала и за кулисами материализовался в очередь перед режиссером, с которой тот ловко и споро управлялся. А с нами подзадержался: вспомнил, как ставил Чехова в Цюрихе, мечтательно спросил про погоду — как будто хотел представить себя на Банхофштрассе, размышлял вслух, не послать ли с нами пакет, потом выслушал Авины слова о только что окончившемся действе, погладил ее по голове: «Ангел, а понимает!» — порекомендовал пациента и еще что-то говорил в ответ на ее вопрос.

Это что-то стерло с лица Авы улыбку, и только дома на кухне после расслабляющего стакана бордо она призналась, что расстроилась из-за Тарасовой книги: когда одобренная Эрастом рукопись уже была в издательстве, он вдруг велел Тарасу ее забрать — мал гонорар. И правда, действительно ничтожен, в переводе на доллары что-то около сотни за кипу листов с текстом. Эраст-то лишь читал готовое, слова своей рукой не написал, а уж тем более не отстукал на ма-

шинке или компьютере. Но юридически они с Тарасом соавторы, пришлось подчиняться. Теперь раз в два-три месяца по Эрастовой наводке возникает какой-нибудь частный издатель. Много звонков, встреч, поиск фотографий, исчезающих от передачи из рук в руки — опытные люди не дают театральному народу ничего, с чем не готовы расстаться навсегда. И каждый раз после обнадеживающей суматохи все сникает.

Я привык к сдержанной Аве, а сейчас она покраснелась, заговорила быстрее обычного, почти тараторила на неродном английском. Почему столько эмоций? Не надо было этому Тарасу соглашаться на фиктивного соавтора — вот и все! Пусть теперь сам и расхлебывает! При чем тут Ава?! — хотел возмутиться я, но вдруг до меня дошло, сколько в этой книге ее труда. Да еще Рената спросила, почему Ава ввязалась в эту работу.

— Мне тогда хотелось помочь Тарасу, — ответила она, не пряча взгляда. — Мне нужно было быть рядом с ним не просто так, а с пользой для него. Конечно, мне и самой нравился этот процесс...

Ава грустно улыбнулась, и у меня отлегло от сердца. В том, как она произнесла эти слова, было столько доверия, бесхитростной открытости и горечи, что мне стало стыдно за свое равнодушие. Но главное — я поверил слову «тогда», поверил, что ее самоотверженная нежность к неофициальному соавтору (не путать с фиктивным — сколько всего нагорожено для такого небольшого дела, как книга о режиссере) осела в прошлом, и, как ни взбалтывай теперь эти события, она не всплывет. И уже с полным сочувствием и состраданием я услышал, что сегодня многострадальная книга из хронического больного — с чем уже, кажется, все свыклись — превратилась в приговоренного к смерти: Эраст позволил вынуть оттуда приятную для себя часть, а Тараса с его объективной аналитичностью выбросить — не понадобился.

В Цюрихе все нас спрашивали — где это мы так хорошо отдохнули. Пуще всего донимали Ренату — она и правда посвежела, зарумянилась, во взгляде уже нельзя было прочитывать страх, ожидание горя — или я не сумел заглянуть в самую глубь? Она стала чем-то неуловимым, повадкой, наверное, похожа на Аву — так же подпирала рукой щеку, с такой же мягкой улыбкой рассказывала мне про свой вечерний университет, где она битый час солировала, отвечая на вопросы, такие нелепые подчас, что диву даешься — будто

Москва не в трех часах лету, а на другой планете и узнать о ней можно только через телекамеры, привинченные в двух-трех точках — парламент, президент, помойка. Словно у нас нет своих дураков и казнокрадов, будто не швейцарским банкирам перемыывают косточки во всем мире из-за еврейского золота, спрятанного в наших банках, и не мы читаем об этом взахлеб наскоро состряпанный роман-самобичевание. Ну где нет обывателей, которые добывают себе счастье из поверхностного сравнения с другими, живущими хуже — всегда найдутся опустившиеся однокашники, неудачники-коллеги, забытые родственники или даже целые незадачливые страны, и Россия со своей склонностью прибежаться всегда под рукой.

Я стал пылко просвещать соотечественников. Боюсь, слишком горячо — сестрица пощупала мой лоб, но любовная горячка в моем случае не дала высокой температуры, и я не упоминал всуе имя Авы — только когда мы обсуждали, как сделать, чтобы ей захотелось наподольше сюда приехать. Мы с мамой могли и порывались финансировать ее пребывание, но она твердо и необидно отказалась от помощи. Тогда я поехал в университет, наивно памятуя об успехе ее семинара. Если не смогут пригласить Аву на целый семестр — понятно, что у них есть свои преподаватели, свои планы, то уж несколько-то толковых лекций никому не помешают, рассуждал я как дилетант.

Рената разузнала, что административными делами на кафедре заправляет Хайди с трудной двойной фамилией, сложенной из родительского имени и имени русского мужа. Существование этого мужа, да еще, как выяснилось, побывавшего однажды в гостях у Ренаты, показалось мне добрым знаком.

Никакой доброты я не встретил. Слишком сосредоточенно, чтобы это выглядело естественным, перелистывая толстую папку, шатенка бросила на меня свой взгляд, отложила бумаги и сняла уродующие ее очки. Надеюсь, что Россия нас сближает, я как дурак стал трезвонить про колокола в Москве, не замечая, что этот гул ей совсем не по душе. Она оживилась только когда я упомянул про ракурс, в котором цветные зелено-сиреневые пупырышки на белой церкви Николы в Хамовниках можно сравнить с витражами Шагала в нашем Гроссмиюнстере.

— Так вы кино делаете? — карие глаза Хайди следовали за мной, как камера за главным героем. Хмурость слетела с

ее лица, молодые морщинки разгладились, и я залюбовался ее пухлыми губами. — Я подарю вам стихи — книжка только что вышла.

— Вашего мужа у нас издали? — обрадовался я, втайне рассчитывая, что это событие как-нибудь поможет моему делу.

— Мужа... Мы расстались, — меланхолично поправила меня кареглазка и протянула тоненькую тетрадку с эффектной двойной фамилией на обложке. Все-таки муж исчез не совсем бесследно. — А вашу студию не заинтересует идея фильма о молодой швейцарской поэтессе, последовательнице Юнга? Давайте обсудим это за ланчем, — скомандовала она и потянулась за курткой.

Я не выношу, когда решают за меня, но сейчас — как можно было позволить себе роскошь следовать своим принципам, ведь в жертву им я принесу Аву, не себя. С трудом подавив раздражение, я последовал за Хайди в студенческое кафе-дворик. Дневной свет беспрепятственно проникал сквозь стеклянный купол здания, освещая пальмы в кадках и много-много прямоугольных столов, занятых студентами: кто играл в карты, кто конспектировал какой-то толстый фолиант, подбадривая себя чашечкой кофе, кто самозабвенно целовался, а кто спал. Свободных столиков не было. Хайди разбудила знакомого ей студента, тот испуганно схватил с полу свой рюкзачок и удалился. А она отодвинула к стене два лишних стула, угрожавшие ненужными соглядатаями, и принялась излагать мне свою биографию.

Много позже, когда я узнал, как все было на самом деле — нет, конечно, не от единственного объективного свидетеля, знающего все детали, а от Авы, — то изумился, как поэтическое воображение истолковывает в свою пользу черствость, прагматизм, хождение по трупам, отнюдь не метафорическое. Вот такую книгу, наверное, ждал о себе Эраст и даже поленился сам заняться мифотворчеством — просто отбросил неудобное дитя со своего несправедного пути.

Когда я дождался паузы в длинной псевдоисповеди и заикнулся об Аве, Хайди никак не обнаружила, что знает ее, и равнодушно отчеканила:

— У университета нет денег для оплаты приглашенных лекторов. — А прощаясь со мною, прилепила свои губы к моей щеке и улыбнулась: — Но вы все-таки подумайте о фильме.

Вот я и заблудился в дебрях вежливости. А все потому, что пренебрег Ренатиным правилом четко формулировать просьбу в самом начале делового разговора, особенно с жен-

щинами. Я понимал подсознательные мотивы Хайдиного отказа, но с низкими чувствами людей никогда не считался и теперь не собираюсь. Спускаясь под горку от университета к реке и через мост к центральному вокзалу, я надумал организовать для Авы пару учеников — вон сколько вокруг Ренаты достойных матрон, мечтающих поупражняться в русском.

Когда все вычисленные мной практические вопросы были лучшим или худшим способом решены и я, дабы сократить месяц до приезда Авы, занялся новым киношным проектом, Рената не вернулась с рутинного обследования, которое она раз в квартал проходила по требованию врачей. Дела оказались настолько плохи, что пришлось вызвать брата из Америки, и мать, не советуясь с нами, твердо объявила о решении делать операцию, хотя консилиум предупредил ее о мизерности шансов на успех.

Ава позвонила, когда после двух ночей возле материнской кровати я заглянул домой, чтобы поспать, если удастся.

— Она умирает, — прильнул я к трубке, как будто это была сама Ава, а не ее голос. — Резали напрасно, только измучили ее. Вчера она спросила: «За что?!» Это все так несправедливо. Я не могу найти хоть какого-нибудь объяснения.

— Рес, дорогой, так думать нельзя. Отчаяние Ренаты пройдет, она ведь навсегда останется и с вами, и со мной, и еще со столькими людьми.

Ава говорила и говорила, я не всегда даже понимал, что, но когда она замолчала, у меня впервые после детства повлажнели глаза.

Ава поспела только на похороны, но все случилось, как она и сказала: последние дни, пока еще были силы, мама приводила в порядок все свои внешние дела, взяла с нас слово заботиться о быстро дряхлеющем, но живом Петере, собрала в список тех, кого нужно пригласить на похороны, набросала текст объявления о своей смерти для «Тагес-анцайгер» и принялась описывать свою жизнь, с детства. Под конец карандаш уже не держался в ее руке, писал под диктовку я. Голос ей отказал в ту минуту, когда она дошла до смерти отца — как будто хотела, чтоб итог ее жизни звучал сказочно: они жили счастливо и умерли в один день.

Я сказал об этом, когда после прощания на кладбище — гроб не открывали по ее завещанию — все разместились в церкви — не без труда, столько пришло знакомых и еще больше незнакомых мне людей, — и выслушали проповедь-

напутствие и стихотворение Пушкина «Птичка», прочитанное по-русски ее университетской сокурсницей фрау Хирш — об этом просила сама мама. Не знаю, каким образом, почему плавная мелодия русской речи сместила горе с первого, заслоняющего все остальное плана, боль перестала застилать глаза, ее уже можно стало терпеть.

Потом я ждал фрау Хирш, которой мама поручила держать коробку для пожертвований лечебнице Петера, и мы последними приехали в ресторан, где за длинными столами уже начали поминать покойную яблочным вином из замка Зоненберг, где была мамина свадьба и где только год назад отмечали ее семидесятилетие.

Все эти часы, когда я не мог не только подойти к Аве, но даже поискать ее взгляд, она то и дело оказывалась рядом и незаметно для других прикасалась пальцами то к моему плечу, то к запястью. Я слышал, как глуховатый дядюшка, муж маминой средней сестры громко спросил ее: «Вы с кем?» — и она необиженно ответила на этот невежливый вопрос.

И потом, когда все уже начали разъезжаться, вокруг Авы еще сидели, сдвинув стулья, мои родственники, и она переводила им музыку русских строк на английский язык, называя себя той самой птицей, свободу которой даровала Рената.

— Этим стихотворением она сказала, что не ропщет на судьбу, что уходит покойно, — утешила всех нас Ава.

Ночью мы остались вдвоем. Пили вино в креслах по разные стороны торшера и говорили, как в самые лучшие времена с Ренатой. Сапфировый глаз Авиного медальона подмигивал мне с ее груди при каждом плавном или резком движении его обладательницы. Я начал рассказывать ей про себя, с самого детства, с замерзшего Цюрихского озера и купанья в полынье. Она слушала внимательно, не перебивая, а потом призналась, что почти все это про меня уже знает от Ренаты:

— В немецкой психологии представление человека о самом себе называется *Selbstbild*, а представление о нем других — *Fremdbild*. И эти две картины, как правило, разнятся, даже когда речь об образах родных и любимых. У вас с Ренатой редкий случай совпадения.

Чтобы узнать, правильно ли я истолковал слово «свобода», я пошел окольным путем — не задавать же прямой вопрос, как старик-дядюшка — и спросил о режиссере.

— Эраст теперь бравировует своей сексуальной ориентацией. Его страница в Интернете только об этом, интервью дает сексуальному путеводителю «Знакомства» и там тоже талдычит про мужскую структуру, которая якобы цельнее, чем

женская. Дескать, женское начало — разрушительное, мужское — созидательное. Я-то думала, что он навсегда вышел из маргиналов на авансцену, а его так и тянет в грязный подвал...

У меня промелькнуло, что если бы книга, над которой столько возился Тарас, лежала сейчас на прилавках хотя бы и элитарных магазинов и продавалась в театральных фойе перед спектаклями, то она бы все время напоминала о высокой планке, которую намечал в своей жизни этот постаревший и молодящийся режиссер и под которой он теперь только и может, что проползти. И все же... Все же режиссер позволил себе свободно жить, поступать по-своему, и дело свое он — в общем — сделал, а потерпевшая сторона — Тарас. Если уж он взялся за такое второстепенное, зависимое дело, как критика, то надо было добиваться своего любыми средствами.

Но сама Ава даже не заикнулась о Тарасе, а по всему было ясно, что говорит она откровенно. В благодарность за это признание я подошел к ее креслу и поцеловал тыльную сторону ее ладони. Она могла... Не знаю, что она могла, но знаю, что она сделала — не отнимая руки, она повела ею по моим губам — погладила? И посмотрела мне прямо в глаза.

Утренняя роса холодила тело, и ежик свежестриженной травы покалывал босые ступни, когда мы бежали к озеру. Ава накинула Ренатин махровый халат, а я опоясался полотенцем. Минуту мы постояли на парапете, разглядывая стайку рыб, мечущихся в прозрачной воде, а потом, не сговариваясь, нырнули в глубину.

Женский роман

РОМАН

1. СКОЛЬКО ОШИБОК?

Сколько ошибок должен совершить человек, чтобы стать самим собой, и сколько ошибок может он позволить себе, чтобы успеть на этом свете собой побыть?

Евгения Селенина вышла из темной телефонной кабины на тринадцатом этаже университетской высотки. Она была чем-то встревожена, но по обыкновению старалась скрыть свое замешательство от других, не позволяя и себе основательно разобраться в происходящем. В сумраке коридора, именуемого у общежитских «сапожком», она разглядела Сашу Остроумова, аспиранта третьего года обучения. Насмешливые глаза смотрели на Женю как на малыша, у которого еще не может быть больших, взрослых трудностей. Был он рослый и довольно мускулистый, но многолетняя привычка к чтению слегка ссутулила его плечи.

— Представляешь, никто не подходит! Уже целую неделю! — сходу выпалила Женя, не сомневаясь, что контекст собеседнику понятен.

Через пару дней — распределение выпускников филфака. С усердием всегдашней отличницы Женя давно закончила дипломную работу о языке прозы Чехова, где в лучших традициях отделения структурной и прикладной лингвистики, ОСИПЛа, скрупулезно подсчитала количество употреблений классиком прилагательного «серый» и союза «и». Ее научный руководитель уверенно набирал вес в семиотических кругах, заниматься у него считалось престижным и перспективным. «Ну, за таким шефом ты как за каменной стеной», — говорили Жене, и она верила.

Вдруг его уже почти громкое имя стали произносить только шепотом, в сочетании с опасным глаголом «уезжает». И вот теперь Женя не может до него даже дозвониться.

— Женечка, надо уметь релятивизовать ложную серьезность жизни. Как насчет того, чтобы прогуляться вдоль Мойки?

Пока Женя соображала, насколько рискованно будет теперь отлучиться из Москвы, Саша пояснил:

— Мы с Никитой как раз сегодня туда намылились, всего на пару дней. У него в центре Питера знакомая четырехкомнатная квартира. Давай с нами, а?

Жене очень захотелось присоединиться, особенно после того, как прозвучало имя Никиты, но она не смогла не спросить:

— А остальные, они не обидятся?

— Мы им не скажем, предупреди Алину.

Алина, старшая сестра Жени, жила с ней в одной комнате, хотя училась на другом факультете, на истфаке. В детстве сестры-погодки были очень похожи, сейчас же Алина целеустремленно похудела, коротко постриглась, начала курить, но дружба, доверие друг к другу не улетучились вместе со сходством, а скорее укрепились, и были так заметны, так притягательны, что к концу пятого курса вокруг сестер сколотилась небольшая компания.

Все началось с чаепитий. Возвращаясь после каникул из своего родного Турова, Женя с Алиной привозили корзину домашней снеди и устраивали застолье, на которое слетались не только общежитские, но и московские воробьи. Компания была еще молода, конфликты, ссоры в ней не только не созрели, но даже не зародились, и Женино беспокойство было продиктовано ее собственным добрым характером, а не навязано строгими правилами.

Как бы в подтверждение того, что вериги дружбы не слишком тяжелы, Никита, бывший Сашин однокурсник, в последний момент то ли передумал, то ли не смог поехать — никто не выяснял, и утром следующего дня Женя с Сашей вышли на прохладный перрон Московского вокзала, решив следующую ночь снова провести на колесах, так как четырехкомнатная квартира, увы, уже перестала быть знакомой, а место и в полупустой гостинице надо выбивать полдня, и то успех не гарантирован.

Конечно, люди постарше нервно сосредоточились бы на том, что обратных билетов в кассе нет и только перед отходом поезда они могут появиться или не появиться, но Женя с Сашей не стали заранее переживать вторую возможность, а пере-

секли площадь Восстания и весело потопали по Невскому к Садовой. Оба были знакомы с самим городом-текстом, со множеством его подтекстов и сейчас как бы перечитывали его, уже не следя за сюжетом, а обращая внимание на подробности, на то, из каких элементов складывается стройный, строгий вид.

— Итак, мы находимся меж Марсовым полем и садом... — Саша сделал паузу, которая не только обозначила границу стиха, но и увела его от интонации заштатного экскурсовода. — Михайловским... Приготовились!

Ему не нужно было заглядывать в книжку, чтобы вспомнить топографическое стихотворение, подсказавшее маршрут путешествия. В овальном дворе Капеллы, увлекшись, он взял Женю за руку, но, когда она с удивлением посмотрела ему прямо в глаза, смешался и отступил на полшага назад.

— Смотри, какая точность, — вернулась к стихам Женя, — вчерашние лезут билеты из урн и подвальных щелей... А вот желтого краба с клешней непомерной длины не вижу.

— Это вид сверху.

— С вертолета? — Женя задрала голову.

— Нет, с поэзии.

До темно-красной Новой Голландии и до последних строк добрались, когда апрельское солнце прошло зенит и нагрело гранит Мойки, а вечерняя прохлада еще не наступила. Заметив, что Женя держит в руках плащ и свитер, Саша забрал ее неудобную ношу, но через несколько шагов, когда порыв холодного ветра подтолкнул его к реке, заботливо укутал свою спутницу:

— Не простудись! Культурная программа выполнена, пора подумать и о гастрономической.

Не тут-то было. Пищу телесную оказалось добыть гораздо сложнее, чем духовную. И план обеда в «Астории», «Норде» или «Метрополе» ввиду отсутствия мест, огромной очереди, грубости швейцаров или санитарного часа скукожился до пирожковой «Минутка» на Невском, где обжигающий бульон и трубочки с мясом пришлось дегустировать стоя, не дав ногам заслуженного отдыха.

Зато хватило денег на билеты в СВ — других в кассе не было — и осталось по пятаку на метро в Москве. На ковровой дорожке вагонного коридора обогнали артиста Лаврова, который невозмутимо вобрал в себя Женин изумленно-восторженный взгляд. Саша же умел, узнавая ту или иную знаменитость, по-столичному не подавать вида.

— Положительный герой в поезде уже есть, — буркнул он, задвигая за собой дверь с зеркалом. — Но Городничего здорово сыграл, карьерную душу хорошо понимает.

Купе напоминало узкую комнатку в зоне «В», и разговор пошел сразу общежитский, правда, вдвоем они остались, кажется, впервые...

— Саш, а как у тебя с диссертацией?

Скинув ботинки, Женя подтянула колени к подбородку и обняла натруженные ленинградскими мостовыми ноги. Саша не отшутился, как обычно, а ответил серьезно:

— Прежде чем что-то писать, я должен решить основные вопросы, выяснить свои отношения с абсолютном. Свои, не чужие. Я понимаю, что философствование — это всегда изобретение велосипеда, но на свою дорогу можно выехать только на велосипеде собственного изготовления, пусть и кустарного.

— А когда я пытаюсь об этом говорить, все посмеиваются свысока. После практики на Ловозере наши сочинили пародийную программу конференции, мой доклад там называется «В чем смысл жизни на Крайнем Севере, или Как я перешла от грез к действительности».

— Такой иронией овладеть нетрудно, это свойство не из тех, что отличают homo sapiens от прочих тварей земных, даже обезьяны в зоопарке дразнят друг друга. Не обращай ты на них внимания, подражать только и умеют, ничего своего никогда не придумали. Вот несколько лет носились с экзистенциализмом, а потом как отрезало, даже слово это разучились произносить, выбросили как вышедшие из моды шмотки, не доносив. Я, может быть, эклектик, но каждый нормальный человек — путаник. И Достоевский, если на то пошло, — эклектик, и Бахтин, потому что они не жульничали, жизнь системой не уродовали.

— А как же религия? Это тоже система?

— Это душевный строй. Я не могу себя пока назвать верующим, я, пожалуй, деист. Церковность меня страшит. Некоторые делают вид, что пост блюдают, а сами в это время водочку попивают, да и прелюбы сотворяют.

Женя засмеялась, вспомнив смакуемый в их компании сюжет о том, как преподавательница старославянского допытывалась у Сашиной однокурсницы, что такое «прелюбы». Светлана мялась, краснела, подбирая приличные синонимы: это, мол, когда мужчина и женщина... А назвать надо было тип склонения.

— Я верю, что в каждом человеке, без исключения, — продолжал исповедоваться Саша, чувствуя непривычный прилив энергии, — в Достоевском, в старухе-процентщице, в Никите, в тебе, во мне, есть внутренний космос, назови

его хоть душой, хоть духом. Многие его в себе губят, не добиваются до своей глубины, но пока человек жив, шанс сохраняется, сколько бы ошибок он ни сделал...

И под утро Саша не мог заснуть, то всматриваясь в проплывающие за окном подмосковные полустанки, то глядя на Женю, в джинсах и свитере свернувшуюся калачиком на казенном колючем одеяле. Ему хотелось раздеть ее, как ребенка, которого посередине игры сморил сон.

2. УДАЛОСЬ

Удалось занять стол у окна. Уютно, похоже на прибалтийский ресторанчик: темно-вишневые скатерти, полумрак, одежда и лица едва различимы.

Компания была своя, но Женя чувствовала себя неловко, казалось, всем смешны ее скованность, несвобода, а как раз на нее-то пока никто и не обращал внимания. Женя еще не понимала, что внимание — чрезвычайно редкая вещь, что многие, большинство, пожалуй, целую жизнь проживают без него и в отместку сами никого не замечают.

Никита пригладил жесткие густые волосы, вальяжно откинулся на спинку стула и с видом искушенного по части светской жизни человека раскрыл меню:

— Та-ак, пить будем... шампанское...

— Шампанское только импортное, — поспешно вставил прыщавый официант в несвежей розовой рубашке, наконец пожаловавший к их столу.

— Редкий случай: «импортный» звучит как отрицательная характеристика, — вслух заметил Саша. — Оно ведь не из Шампани, а из Болгарии или Румынии.

— Ладно, сойдет и импортное, — согласился Никита слишком быстро, но тут же спохватился и степенно продолжил: — Цинандали...

— Цинандали нет, есть фетяска, — глядя в сторону, процедил официант. Он уже понял, что эти студенты — не самая золотая молодежь и много из них не вытрясти.

— Никита, роль графа, убажашающего своих гостей, тебе не удалась. — Алине надоело представление и, нахмутив брови, она задрала голову и приказала официанту: — Скажите, что у вас из закуски и сладкого, и расстанемся довольные друг другом.

— За распределение? — поднял бокал Саша.

Все стали чокаться с виновницей торжества. Сегодня днем в результате очередного заседания из тех, на которых

ничего не решается, Женя получила так называемое свободное распределение.

— За пополнение армии безработных, — на ухо Никите прошептала рыжеволосая Инна, выпускница ромгерма, которая благодаря высокому рангу писательской дочери распределялась не на общих основаниях, и громко провозгласила: — Женечка, поздравляю с освобождением!

Женя доверчиво и благодарно улыбнулась. Да и откуда могло возникнуть чувство опасности? Даже папа, такой умный и осторожный, был убежден, что только в нашей стране человек уверен в завтрашнем дне, его не выкинут на улицу, не оставят без средств существования. А «у них» — сотни, тысячи безработных, целая армия. Так его научили отвечать на крамольный вопрос: в чем преимущество социалистической системы? Вопрос, который можно было обсуждать только в узком семейном кругу, куда не входил даже муж маминой старшей сестры.

К хору вилок, стучащих так, будто один человек быстро и жадно опустошает свою тарелку, прибавились неслаженное пиликанье и гром. На эстраду выплыла дородная тетя в облегающем платье с блестками и усердно, до пота под мышками, стараясь перекричать допотопный оркестр, запела: «Ты жива еще, моя старушка».

Никто бы не обратил внимания на этот досадный шум, если бы Светлана Вагина, самая старшая в их компании, не стала, расслабившись и даже немного раскиснув, потихоньку подмурлыкивать: «Пишешь ты, что, затая тревогу, загрустила очень обо мне и выходишь часто на дорогу...»

— Сплошное искажение классики, — поморщился Саша.

— И каждая нота — вранье, — вставил свое слово новый поклонник Алины, год назад закончивший консерваторию.

— Ну, специали-исты, — кокетливо хихикнула Светлана, хотя и сама была выпускницей филфака и диплом писала о поэзии. — По-вашему, только с консерваторским образованием можно петь. А народ хочет душу выразить, и всякие придирки тут — от лукавого. — Она сердито почесала макушку, осыпав черную синтетическую водолазку маленькими белыми точками, слащаво улыбнулась и пошла танцевать с посторонним кавказцем.

Андрей Гончаренко, по прозвищу Борода, недавно прибывший к их компании Сашин однокурсник, уже погрузился во вселенскую скорбь. Его затуманенный взор остановился на Жене, и он коснулся табуированной темы ее научного руководителя:

— Вот опять носатые брюнеты русскую девку одурачили!

Он будет процветать в своем Иерусалиме, а про любимую ученицу и не вспомнит. До чего же мы все-таки доверчивый народ...

— В тебе я особой доверчивости что-то не замечал! — сердито оборвал его Саша.

Но Борода уже не мог остановиться и пустился в пространные рассуждения о конце русской интеллигенции.

— Опять за грамотных расписываешься, в том числе и за более грамотных, чем ты сам. — Саше едва удалось пресечь разговор, который до добра никак не мог довести.

А Женя, проводив грустным взглядом Никиту, выведенному Инной на тесный пяточок для танцующих, напрягала все силы, чтобы изобразить спокойствие и сосредоточенность на собственных думках. Она даже улыбнулась, когда случайно встретилась с его большими, светло-синими глазами, но эти старания еще больше подчеркнули ее отчаяние и одиночество.

Совсем не в том дело, что никто не пригласил танцевать — к этому она уже успела привыкнуть, хотя и не могла понять, в чем тут дело, ведь куда менее красивые девушки легко находили себе пару на вечеринках. Надо было расставаться с влюбленностью. Никитино ласковое подтрунивание, подчеркнутое джентльменство — вовремя поданное пальто, цветы, которые он, приходя в общежитие, дарил сестрам, все это оказалось только вниманием приятеля, хорошо воспитанного. В носу защипало, и Женя торопливо вынула носовой платок, чтобы успеть подхватить уже набухшую слезинку.

— Ты что такая странная? — Алина присела на краешек Жениного стула. — Мы убежим тихонько, ладно? Не сучай, завтра позвоню.

Сестры никогда не обсуждали свои увлечения, но целомудренная привязанность друг к другу раскрывала тайны сердца. И сейчас, угадав, что у Алины с музыкантом происходит что-то важное, Женя обрадовалась, повеселела и перестала вести причиняющее боль наблюдение.

А Инна снова потащила Никиту танцевать. Под мелодию «Мишель» она как бы нечаянно коснулась его грудью и сразу отстранилась с кокетливой театральностью. Она-то уже давно заметила, что красивый, избалованный Никита, выделяющийся даже среди знакомых ей «пис. детей», причем не только успехами своего отца, известного писателя для детей и юношества, как-то не совсем обычно ведет себя с этой провинциалкой, недотрогой Женькой. Тем более интересно будет заполучить его, мальчика своего круга.

Раздумывая, под каким бы предлогом забрать отсюда свою добычу, она посмотрела вокруг и увидела, что возле их стола размахивают руками Борода и средних лет грузин, с которым только что танцевала Светлана. «Черт, не могут эти плебеи без скандала», — подумала Инна, а вслух проворковала:

— Никитушка, мои на даче, поедem, выпьем чего-нибудь покрепче, записи послушаем.

И Никита с облегчением отправился искать такси — этот путь был ему хорошо знаком, он знал, что надо говорить, как держаться, знал, куда все приведет.

Сердитый разговор перешел в вульгарную драку. Женины увещевания не помогли, тем более что хладнокровие Светланы только подливало масла в огонь. Борода поскользнулся, посыпалось стекло, и драчуны исчезли. Успокаивать девушек и платить остался Саша. Но волновалась только Женя. Светлана же лениво ковыряла спичкой в зубах и томно смотрела в зал, готовая принимать любые знаки внимания.

Появился милиционер, вызванный официантом. Деньги за разбитое окно взять отказался, записал Сашин адрес, пожурил: «А еще аспирант», — и удалился.

Так быстро он все проделал, что даже беспокойства не заронил. Втроем отправились искать Бороду, но тот пропал. Молча дошли до остановки, от которой Женя и Саша могли подъехать к высотному зданию, а Светлана к метро, но автобуса ждать не стали.

Смеркалось. Перешли на другую сторону Ломоносовского проспекта: на той, которая вела к метро, не было тротуара, только пустыри, огороженные забором, а местами огромные пространства с железяками, камнями, раскиданным мусором.

— Жуткий пейзаж! Подходит для фильма о Земле после ядерного взрыва. То ли большие мятые листы бумаги валяются, то ли снег не весь растаял, — удивилась Женя.

— Кино в здешних местах уже снимали, — подхватил Саша. — Когда мы жили в общежитии на Мичуринском, под окнами нашего корпуса построили декорацию для «Анны Карениной». Самих съемок я не видел, но сооружение долго простояло. Ты его застала? — Саша дождался Жениного кивка и продолжил: — На третьем курсе я снимался в «Войне и мире». Большинству выдали довольно бутафорские кивера и черные тряпки — закрыть цивильную одежду, и только избранным, из первых рядов — всю форму офицера наполеоновской армии.

— Нетщательная работа, — свысока осудила Светлана. —

Вот Гребень ставил в своем фильме восстание декабристов, так даже выговор получил за перерасход сметы. У него каждый офицер, каждый солдат были одеты с ног до головы, тщательно, как консультант велел. Не все потом и в кадр попали, но эффект получился потрясающий — как будто сам находишься на Сенатской площади.

— Ты тоже снималась? — простодушно спросила Женя.

— Да нет, мы с Гребнем... — Светлана сделала паузу, подыскивая слово, — дружим. Я ведь сразу после университета устроилась в клуб какого-то долгостроя, мне директор обещал прописку сделать. Потом, правда, тянул все. А однажды пригласил к себе домой, водку на стол выставил. Я-то выпила, и ни в одном глазу, а его развезло — смотреть противно. Ну и, как говорится, последовало объяснение в любви. Пришлось дать понять дяде, что ничего у нас не выйдет. А он мне тогда: «Подавай заявление об уходе, все равно ты за клуб душой не болеешь».

— Ну и негодяй! — всплеснула руками Женя. — Значит, с этим клубом все зря было?

— Не совсем. Все-таки я там с Гребнем познакомилась, на творческом вечере его представляла. Он и предложил мне пока у него перекантоваться — часто на съемки уезжает, вместе с женой. Заходите как-нибудь, квартирку посмотрите. На завтра какие планы?

— В библиотеку пойду, кое-что надо уточнить к защите. А ты? — Женя посмотрела на Сашу.

— Да я обещал Никите помочь пожитки на дачу отвезти.

— Значит, завтра не увидимся. Ну, пока, детки-и-и. — Светлана погрозила указательным пальцем и исчезла за стеклянной дверью метро, которую предупредительно придержал заглядевшийся на нее лысый коротышка.

Редкие прогалины из полос розового и голубого сомкнулись, небо стало грязно-серым. В темноте отчетливо проступали и неприкаянность одиночек, торопящихся домой, и близость тех, кому хорошо друг с другом. Нервное напряжение, сомнения, неуверенность отпустили Женю. Может быть, нежный апрельский ветер исправил настроение, а может быть, дело в том, что рядом такой надежный и верный Саша. Вот бы завтра подольше не наступало, идти бы так долго-долго и ни о чем не думать. Но тут она вспомнила про разбитое в ресторане окно:

— Саш, а вдруг на факультет сообщат?

— Успокойся, Женечка, пустяки... Я сегодня с Сенькой встречался. — Саша поспешно переменял тему. — Он первую главу моей диссертации наконец осилил.

— Что ж ты молчал? Ну и как, конечно же, одобрил? — Женя помнила из Сашиных рассказов, что его научный руководитель, прочитав чью-нибудь работу, всегда говорил: «прочел и одобрил» или «прочел и не одобрил». И еще о двух стилистических пристрастиях профессора: из выражения «конечно же» он всегда вычеркивал «же», а «вряд ли» заменял на «едва ли».

— На этот раз не одобрил. Он ждет такой диссертации, какую сам бы написал на эту же тему.

Они подошли к барьеру, за которым в низине разлеглись Лужники, белыми и желтыми огоньками стремительно разбегались дороги.

— Все высотные здания отсюда видны, — впервые заметила Женя.

— Все высотные здания отсюда видны, — повторил Саша. — Анапест.

— Это — «Украина»?

— Нет, МИД на Смоленской, а «Украина» чуть правее, там, в начале Кутузовского, Лиля Брик живет. На пятом курсе мне так хотелось посмотреть на музу Маяковского, что мы с Никитой придумали какое-то дело и напросились к ней.

— Ну и что, ты в нее влюбился? — По инерции Женин язык произносил обычную ироническую банальность, а глаза смотрели растерянно и даже испуганно.

— Влюбился бы непременно, если бы не был уже...

После таких слов Женя не могла продолжать разговор в поверхностно-насмешливом тоне, а спуститься на ту глубину, из которой вырвалось это «уже», она не смогла, не сумела.

— Знаешь, я никогда не уеду из этого города, — прервал Саша неудобное молчание.

И Женю не удивило, что у Саши, обычно такого скрытного, не терпевшего категорических клятв и обещаний, вдруг вырвалось это «никогда». Не «постараюсь», не «хотелось бы», а — «никогда». У нее самой было точно такое же ощущение, точно такая же вера в то, что ее жизнь будет иметь смысл только в этом городе. А что придется сделать, да и возможно ли это в принципе — столь сложные вопросы она отодвигала от себя.

— Останемся здесь, да? — Саша дотронулся до Жениной руки, но смешался, поддал ногой случайный камешек и заговорил о пустяках.

Разговор прервал резкий окрик: «Пропуск!» — они не заметили, как подошли к воротам.

Университет строили заключенные, и с тех пор разные его части назывались «зонами» — А, Б, В... Некоторые вахтеры тоже достались в наследство: они успешно пережили мрачное прошлое и чувствовали себя хозяевами в настоящем. Опасные это были люди. Сашин однокурсник Витя Крамов добивался работы и московской прописки: только здешние врачи брались лечить его врожденный недуг. Второй год упорная борьба не давала никаких результатов. Жил он у Саши. И хотя вахтеры смотрели на нарушение паспортного режима сквозь пальцы, в которых то и дело оказывались мелкие дары, хотя ценили Витино непостижимое для них умение разгадывать кроссворды, он все же старался как можно реже попадаться им на глаза. Чувствовал, стоит недокормить подарками ли, вниманием — набросятся без жалости. Так и вышло. Однажды он опаздывал на прием к важному начальнику и не остановился, чтобы назвать реку из семи букв. Когда с очередным отказом возвращался в общежитие, вахтерша «не узнала» его, вызвала милиционера и Витя получил привод «за бродяжничество и попрошайничество».

Конечно, милиция появлялась не всегда. Директором общежития долгое время был влиятельный московский осетин, и его сородичи пользовались высотным зданием как гостиницей. А стражи порядка, как в форме, так и без оной, не обращали внимания даже на кровопролитные драки, с помощью которых кабардинцы и осетины выясняли, кто из них у кого чистил сапоги в баснословные времена.

К счастью, Женя и Саша не забыли свои документы и быстро миновали будку вахтера. Подошел лифт с остановками на нечетных этажах. Обоим не хотелось расставаться, но от робости, от смущения они молчали, и когда дверцы уже двинулись навстречу друг другу, Женя заскочила в кабину и поехала на свой тринадцатый.

Оставшись один, Саша решил пройтись — ходьба всегда помогала убедить себя, что все не так уж и плохо. Сбежав с крыльца, по привычке отыскал свое окно на десятом этаже — даже на самой маленькой открытке с университетской высоткой он мог вычислить свою комнату, — и увидел, что там горит свет. Витя вроде бы уехал к родителям. Кто же это? Легкое раздражение притянуло к себе сначала неприятности этого дня, потом разбудило неудачи всей жизни, и дверь своей кельи Саша открывал уже злясь и проклиная всех и вся.

— Это кто-о? — весело спросил незнакомец, в котором Саша узнал грузина из ресторана.

— Саш, ты извини, мы скоро уйдем, — звякнув стаканами, промямлил Борода.

— Как — уйдем?! Да мы только начали! Меня зовут Гиви, — церемонно поклонился нахал. — Сашок, организуй девочек!

Сразу стало ясно, кто тут всем заправляет.

— Убирайтесь! — только и смог просипеть Саша.

3. МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Майские праздники были отмечены очередной антиалкогольной кампанией. После двадцати трех ноль-ноль в комнаты вваливались комсомольские активисты, бойцы так называемых оперотрядов и, пьянея от неограниченной власти, шарили по шкафам, перерывали постели, обыскивали душевые и туалеты, вытаскивая запрещенные бутылки и непровисанных лиц обоого пола.

Конечно, были в общежитии и пьянчужки, и настоящие алкоголики. Иные москвичи приезжали и поразвлечься.

«Что нужно, чтобы в высотном здании открыть публичный дом?» — спросили у университетского ректора. «Десять рублей», — ответил он. «Почему так мало?» — «На вывеску».

Была и в этом анекдоте доля правды, но профессиональные нарушители редко становились жертвами запланированного мероприятия. Попадались в основном любители: засиделись на дне рождения, приехали к приятелю готовиться к зачету — дома ночью негде заниматься... А поскольку у добровольной дружины была разнарядка, то в причинах никто не разбирался. Человечность могла привести к сокращению улова, поэтому корректно узнавали фамилию, факультет, курс и направляли списки в соответствующий деканат. Там уж все зависело от местных властей.

Вот в это время и пришла из милиции бумага на Сашу.

— Ну что, тебя уже притягивали к Иисусу? — осведомилась Светлана, когда они все той же рассеянной группой далеко за полночь двигались по Воробьевскому шоссе.

— Да нет, большой синедрион никак собраться не может.

— Кафедра-то тебя защитит? — обманутая Шашиным показным спокойствием, на всякий случай спросила Женя.

Он пожал плечами. Легкая ирония, с которой было принято не только говорить, но и думать о житейских неурядицах, беззаботность, насмешка над вполне реальными про-

блемами, с разной степенью серьезности стоявшими перед каждым из их компании, постепенно делали встречи необязательными, а потом и вовсе бессмысленными.

Осенью Саше намекнули, что лучше уйти из аспирантуры по собственному желанию, иначе... Механизм обсуждения-осуждения был отработан. Один студент написал жене, отдохавшей в Ялте, о постыдном процессе Гинзбурга и Галанскова. Письмо пришло, когда жена уже уехала. Бдительная квартирная хозяйка прочитала его и передала куда следует, оттуда было велено автора осудить и исключить. Собрали группу, в которой учился посмевавший иметь свое суждение, и буквально каждому приказали выступить, а кто, мол, отмолчится, не произнесет при всех принципиальную оценку идеологического преступления — университет не окончит.

Сашин руководитель хладнокровно дал его ситуации научное определение: «Вы попали в колесо бюрократической машины». И все. Саша написал заявление.

— Знаешь, я даже рад, — признался он Никите, с которым встретился на площади Свердлова, чтобы отметить «окончание» аспирантуры. — Мне у Сеньки все равно бы не защититься. Целое лето промучился и понял: я не барышня, не могу думать только о том, чтобы ему понравиться. А других писаний он не понимает, не любит «отсебятины».

— Ты — и не смог? — ревниво усмехнулся Никита. — Да сочинил бы пародию на диссертацию — и дело в шляпе. А теперь что будет?

— Теперь мы поедem к Алине — она завтра присягает Гименею. — Саша направился к метро.

— Вот это новость... — изумился Никита, не замечавший ничьих романов, поскольку обдумывал свой ни на что не похожий роман о синем Петербурге, философских диспутах начала века, странных любовных отношениях. — Может, еще кто-нибудь из наших сочетался законным браком?

— Да нет, все остальные пока только невесты и женихи.

Один Саша и знал все о каждом из их компании. Изредка возникал даже Борода — звонил, жаловался на жизнь.

До «Динамо» разговаривать было невозможно — шум поезда заглушал не только слова, но и путал мысли. Оставалось глазеть. Сашу обрадовало сходство его хризантем с белым дрожащим пуделем на руках у молодой дамы в белой мохнатой шляпе. Он посмотрел на ее соседку и отметил удачное сочетание теплого серого и ярко-сиреневого. Девушка над-

менно повела головой и вдруг чуть улыбнулась, наверное, увидела знакомого, непонятно, кого — ее глаза скрывались за большими дымчатыми очками. И только когда девушка весело поздоровалась, Саша признал Инну Аверину.

— Дыша духами и туманами, — скрыл он за цитатой свою растерянность.

— Выделяешься, — одобрил Никита.

В этом странном комплименте не было и тени иронии. Самым презренным считалась незаметность, серость. Конечно, иногда ошибались в оценках — ведь затопляют же в нашей стране целые пространства, не замечая, что в их недрах есть драгоценные залежи.

— Твой папаша имел бледный вид на толковище в Союзе, — скользя безразличным взглядом по вагону, заметил Никита. — Либо клеймить — либо защищать. А он принялся мямлить, что Рахатов, мол, написал много хороших стихов о Москве, но зачем же он борется за Солженицына, который в своих выступлениях плохо о Москве отзывался. При чем тут Москва?

Никита рассуждал немного свысока, но не агрессивно. Его-то отец не оплошал: Борисов-старший еще раньше отказался приветствовать высылку Солженицына, и поэтому обсуждать Рахатова его даже не приглашали.

— А, это его дела. Дочь за отца не отвечает. — Инна говорила об отце как о совсем постороннем человеке. — Ты лучше расскажи-ка о своих подвигах в Коктебеле. — Она перевела разговор на другую тему вовсе не от неловкости. Это был ответный ход, предусмотренный неписаными правилами поведения в их круге.

— Ничего скрыть нельзя! — не без гордости проворчал Никита.

У Саши Коктебель вызывал лишь ассоциацию с Волошиным, к стихам которого он был равнодушен. Произведения Аверина и Борисова он считал беллетристикой, хотя отдавал должное «гражданскому мужеству» отца Никиты, а разговаривая с Инной, старался не иронизировать над милицейскими детективами ее отца.

На «Речном вокзале» заспорили — куда выходить. Саша стал сосредоточенно размещать в пространстве ход поезда, Беломорскую улицу и Ленинградское шоссе. Его уверенные теоретические выкладки, конечно же, вывели всех троих на неправильную сторону.

— Иваном Сусаниным теперь буду я, — провозгласила Инна и сразу узнала дорогу, по которой однажды шла с Женей в гости к Алининому музыканту.

Дверь была не заперта, и они оказались в тесном коридорчике однокомнатной кооперативной квартиры, которую купил хозяину его бывший тесть, известный московский адвокат. Он любил первого своего зятя и осуждал дочь, успешную после развода еще раз выйти замуж и снова развестись.

— Легки на помине! — Алина чмокнула всех троих. — А мы как раз вспоминали, когда же в последний раз все вместе виделись?

— Твой день рождения отмечали. — В голосе Жени прозвучало недоумение — как это можно забыть!

Сколько раз стояла она перед ночным городом, который раскинулся под окнами ее общежитской кельи, и спрашивала: «Где же ты?» — и умоляла: «Появись скорее!» И перебирала в памяти самые пустяковые подробности встреч с Никитой, как будто перелистывала большую детскую книгу сказок в сером коленкоровом переплете, где между страницами вложен то засушенный лист, то цветок, то букетик. И ждала, что он придет и скажет: «Извини, я долго не звонил. Очень важные дела помешали. Но я пришел, и я люблю тебя».

А много ли было встреч? «Зеркало» Тарковского в Малаховку ездили смотреть, «Мастера и Маргариту» на Таганку, булгаковские места отыскивали — всегда в компании, никогда наедине. Женя поневоле была как бы летописцем их «неформальной группы», как выражался сведущий в новейшей терминологии Саша. Ей были дороги все, кто связан с Никитой, даже задавака Инна.

В кухне места хватало для двух-трех человек, и Женя принялась переносить еду и посуду в комнату. Она старалась сохранить непринужденность, и ей это удалось, если не считать взволнованного позвякивания стаканов на подносе, который она несла. Стола в комнате не было, но Алина привычно постелила на рояль сначала клеенку, потом скатерть. Хозяин дома только что вернулся с тбилисских гастролей и привез оттуда лаваш, ноздреватые белые сыры и травы непривычных цветов и запахов.

— Хванчкара, любимое вино Сталина, — объявил Саша, разливая темно-малиновую жидкость по кавказским армудикам с тонкими талиями.

— Тонкое жизненное наблюдение. — Инна не пропустила возможность вставить язвительный комментарий. — Кофе — любимый напиток Бальзака, итальянцы едят макароны, последняя книга Дюма-отца была кулинарной...

— Должна ли женщина иронизировать — вот в чем вопрос, — то ли одобряя Инну, то ли защищая Сашу, лениво пробаритонил Никита.

— Остроумие красит любого человека. — Саша взял сторону дамы.

Прозвучала эта фраза несколько выпендренно. Может быть и потому, что она противоречила его прежним рассуждениям о женственности, доброте, снисходительности как о единственных украшениях прекрасного пола. Но и необычное внимание к Инне, и внезапное изменение мировоззрения заметила только Женя.

— И почвенники первую пьют стоя, а потом поют «Боже, царя храни». — Никите захотелось повеселить компанию к месту рассказанной историей.

И правда, все сгрудились вокруг рояля с питьем в руках.

— Кто такие почвенники, при чем тут царский гимн? — спросила Алина, отправляясь на кухню, откуда запахло готовыми хачапури.

— А, вы не знаете? — Никита обрадовался, оторвал кусок лаваша, медленно прожевал его и принялся компетентно пояснять: — Есть такой журнал «Литературная молодежь». Это вы, надеюсь, слышали? Ну, началось с того, что главный редактор выстроил сотрудников в своем кабинете, самолично налил каждому водки и произнес тост за успешное начало. — Никита встал навтыжку, шелкнул каблуками, как будто был обут в начищенные сапоги со шпорами. — А пришло к тому, что теперь они каждую пятницу собираются, про царя-батюшку толкуют и что-то там насчет чистоты крови...

— В наше-то время?! — крикнула из кухни Алина. — Раньше ты правдоподобнее выдумывал.

— У меня свидетели есть! — распалился Никита.

— Ты что, фонарь держал? — Инна смерила его презрительным взглядом.

— Да мне Борода рассказывал. Он там с самого начала работает. Сейчас и Светку пробует устроить.

— А, эти! — брезгливо сморщилась Инна. Она с трудом переносила и Светлану, и Бороду и если случайно видела их отдельно от общей компании, то не узнавала и не здоровалась. По близорукости.

— Да, Борода говорил, что в «Литературной молодежи» служит, — подтвердил Саша, пробегаясь по клавиатуре рояля. — Меня, между прочим, один известный в узких кругах критик тоже спрашивал, не составить ли протекцию в этот журнал. И еще добавил: «Правда, там нужны сугубые славянофильские воззрения. А у вас их, кажется, нет?» Мне интересны и братья Киреевские, и братья Аксаковы, но какое отношение к ним имеет «Литературная молодежь», понять

никак не могу. — Под его пальцами наконец сложилась тема Виолетты, которую так любила Женя.

— Сашенька, славянофилы — это сейчас у писателей значит совсем другое, — засмеялась Инна. — Я тебя потом просвещу. — Она нежно обняла его за плечи, и Саша слегка опьянел от сладкого запаха незнакомых духов.

— Вот и еще один попался в сети, — равнодушно прокомментировал Никита. — Я выбрал бы другую, когда бы был, как ты, поэт. — С этими словами он подошел к окну, у которого сиротливо стояла Женя.

Неожиданная цитата была паролем, по которому Женя отличала «своих», интересных ей людей. От волнения она стала приглаживать волосы, одернула короткую кофту. Инна давно объявила, что они с Никитой снова стали только приятелями — слишком похожи друг на друга, скучно. Так почему даже не позвонил?

— Как похорошела! Выпьем за тебя? — Никита говорил медленно, ласково, давая ей время прийти в себя. — Как дела? Сашка сказывал, все устроилось?

И горечь с поспешно-услужливой готовностью исчезла. Помнил, спрашивал. Ей не пришло в голову, что Саша мог сам рассказать, без расспросов.

— Устраивается. — Женя стала старательно, с подробностями излагать свою эпопею. — Директор папиного завода, не в смысле того, что ему принадлежит, а тот, на котором он работает, — неуклюже пошутила она, — директор попросил начальника Института летательных конструкций, своего бывшего однокашника... — То ли от смятения, то ли от выпитого в ее речи появилась нелепая интонация отчета. — Это одно министерство. Нашли мне место в отделе информации, переводчиком с английского. Прописали в подмосковном общежитии... — Тут она заметила, что Никита думает о своем, и замолчала. Пауза вывела его из задумчивости.

— Женечка, едем ко мне — с собакой надо погулять, там и поведаешь о своей жизни.

Да она уже почти все рассказала. Но очень хотелось еще побыть с Никитой, был он такой близкий, почти родной. И Женя послушалась.

4. НЕ БОИШЬСЯ?

— Не боишься?

Женя не поняла вопроса. Так гладко все шло — подвернулся частник — «жигули» шоколадного цвета, Никита не-

брежно наклонился к шоферу, и тот услужливо распахнул заднюю дверцу. Помчались. Успокаивали мягкая мелодия, лившаяся из динамиков за спиной, ненапряженное молчание и даже скорость, которую не замедлил ни один светофор — все они горели зеленым светом.

Дома хозяина ждал красивый, мускулистый дог.

— Не боишься? — Никита повторил вопрос, когда они втроем спустились во двор. — Давай свою руку — темень... Тут у нас дня три назад балетного критика убили и квартиру подожгли. Говорят, любовник убил.

— Любовница? — поправила Женя.

— Да нет, именно любовник.

И хотя она не сообразила, о чем речь, больше переспрашивать не стала. Завизжали тормоза, ослепило въехавшее во двор такси. Из него стремительно, но несуетливо выбрался высокий плечистый мужчина в серебристом плаще, наглухо застегнутом у подбородка, и внимательно посмотрел на прижавшуюся к подъезду пару.

— Никита? А ты, оказывается, уже вырос. И вкус, прямо скажем, у тебя неплохой, — спокойно и ласково глядя Жене в глаза, похвалил незнакомец, в котором она вдруг узнала того самого Рахатова, чьи стихи ее одноклассницы переписывали в тетрадку и запоминали наизусть. — Передай отцу привет от Саши, — выделив голосом имя, небрежно бросил он и уже с порога, без всякой связи то ли посетовал, то ли обличил: — Одни уезжают, а другие их осуждают и за это получают свои тридцать серебряников в размере Госпремии.

Никита сразу расшифровал отрывочные фразы:

— Рахатов из Норвегии только что вернулся. Саша — это Галич, он туда в июне насовсем уехал. Мой отец тоже с ним дружил. Ну а премиями расплачиваются за послушание. Не со всеми, конечно, а только с избранными. Осудил Солженицына — получай.

— Неужели за это?

— Да нет, называется: «За большой вклад в развитие многонациональной советской литературы». А Рахатов, как все они, считает, что он один только и заслуживает премии. — Насмешка помогла Никите восстановить права, на которые, как он почувствовал, посягнул знаменитый поэт.

Вернулись домой. Никита вынул из холодильника молоко и размороженную клубнику. От изысканных, но таких холодных яств у Жени заныли зубы, ее пробрала дрожь: темно-зеленая кофта и плиссированная юбка, которые она сегодня выбрала, может быть, и шли ей, но плохо сочетались с зябкой ноябрьской ночью.

— Прохладно что-то. — Никита вышел из кухни, где они сидели за большим круглым столом, и вернулся в уютной стеганой куртке.

Женя съежилась. Теперь неудобно даже свой собственный плащ накинуть — подчеркнуть невнимание Никиты.

— Как тебе служится? — Ее великодушия хватило еще и на вежливый вопрос.

— Хорошо, что ты напомнила. — Никита оживился. — Мне передачу для африканцев надо сделать о молодых специалистах. Ты кого-нибудь знаешь, кто после университета процветает?

— С нашего курса прилично устроились только номенклатурные дети. — Женя задумалась, перебирая своих немногочисленных знакомых. — Остальные, пожалуй, нет.

С аппетитом доедая свое любимое лакомство, Никита пояснил:

— Я бы мог сам изобрести подпоручика Кижэ, но у нас теперь требуют реальные факты. Да и жалко на службе выкладываться. Все, что придумывается, вставляю в свой роман.

— Новый «Мастер и Маргарита»? — почтительно спросила Женя.

— Ну уж нет. «Мастер и Маргарита» — это для тех, кто не читал ни Евангелие, ни Гофмана. Совершенно ясно, что Христа и Гофманиану соединить невозможно.

— Что ты! Это же так красиво: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской...»

— Лакированная фраза, — перебил Никита, не дав даже закончить цитату, совершенство которой так оттенял Женин необычный голос. — У Максудова был пробор безупречный. Писали, что это автобиографическая деталь. Так вот у Булгакова каждая фраза с пробором. Парикмахерское искусство! А, давай спать... — Он ушел в гостиную, откуда слышался скрип раздвигаемого дивана.

От холода, от невысказанных возражений, от неожиданных слов — «давай спать...» — на Женю напал столбняк. Она покорно поплелась за Никитой, освободилась от одежды, легла рядом. Уличный фонарь то ярко вспыхивал, то горел вполнакала. В тревожно меняющемся свете комната казалась совсем чужой, враждебной.

Никита склонился над Женей.

Она испуганно обхватила себя руками и стала тупо повторять одну и ту же фразу:

— А если дети будут?

— Какие дети? — Никита не сразу понял, о чем речь. — Ты что, в первый раз?

— Да.

Он даже приподнялся на локте, но испуг, так и рвавший-ся из ее распахнутых глаз, подтвердил правдивость признания.

— Тем хуже.

Для кого хуже? Женя покорно повернулась на спину и на странную возню Никиты отвечала прежним бессмысленным вопросом. Казалось, что в этой огромной комнате лежат не они, а другие, посторонние люди, что все это происходит не с ней. Она вспомнила про завтрашнюю Алинину свадьбу. Сашка свидетелем будет, надо ему напомнить, чтоб свой па-спорт не забыл. Да нет, уже сегодня.

— Ничего у нас с тобой не получится, давай спать, — пробурчал Никита и отвернулся к стене.

А Женя так и пролежала до рассвета, стараясь не ворочаться. То спрашивала себя, почему ей не стыдно и не страшно. То надеялась, что эта ночь забудется и снова можно будет ждать звонка Никиты.

5. ВНЕЗАПНАЯ ТИШИНА

Внезапная тишина разбудила Женю. Она схватила будильник и подбежала с ним к окну. Пять часов. Зачем так рано? И только больно ударившись о стул с выглаженным хитоном, сообразила, что сегодня суббота. Не утро, а вечер. Надо торопиться.

Пока варится кофе — душ, анальгин от головной боли, синяя тушь. Положила в сумку «Новый мир» — по дороге дочитать «В августе сорок четвертого». Жаль, уже немного осталось.

Автобус подошел, когда Женя околела и отчаялась уговорить себя не нервничать. Достала журнал, но при таком экономном освещении ничего же не видно. Пересела на переднее кресло и принялась смотреть в незамерзшее водительское стекло. Захотелось подумать о приятном, но по привычке сам собой начал составляться список неудач: служба — бессмысленная, квартира — новую надо искать, хлопотать о кооперативе, уроки — надоели...

— Чего киснешь?

От резкого голоса Женя вздрогнула и начала оправдываться:

— Да нет, что ты! — Она сразу узнала Бороду, но как к нему обращаться? Исчез, так сказать, контекст, в котором прежняя кличка была уместна. Хотя борода удержалась. — Здравствуй, Андрей.

— Куда едем?

— В «Большой», на «Анну Каренину». Алина с мужем ждут, опаздываю.

— Это что, опера или балет? Впрочем, не важно. Я с вами. Вчетвером-то стрельнем один билетик!

Жене совсем не хотелось стоять на холоде с униженным вопросом или отбиваться от спекулянтов, заламывающих невозможные цены, но она не осмелилась отговаривать Бороду, наоборот, застыдившись своих недобрых мыслей, с преувеличенной заинтересованностью стала расспрашивать про его житье-бытье.

— А, пока дела не блестящи. Комнату снимаю в Пушкине, там и прописан у старухи. Ездить далеко. Зато работа! Такие люди! Боремся за возрождение русской нации! Я и Светку туда устроил. Она прописку московскую уже заимела — замуж вышла за какого-то журналиста-старикана. Ну, она вписа-а-лась в коллектив! — ухмыльнулся Борода. — Ты-то где? — вспомнил он про Женю только потому, что дальше уже шел бы слишком мужской разговор.

— В Институте летательных конструкций. Переводим и издаем кем-то добытые тексты. Правда, американцы в это время придумывают новые самолеты, про которые наши мало-мальски толковые инженеры читают в подлиннике...

Борода первым вышел из вагона, и тут же к нему подскочила толстушка с требованием лишнего билетика.

— А вам куда, девушка? Здесь три театра...

— Андрей, и так опаздываем, — не сдержалась Женя. Сердилась она на себя: вряд ли сестра будет рада увеличению компании.

— Ну нельзя же так! — хмуро выговорила Алина и за опоздание, и за Бороду.

— Ты прости, нас ждут, — произнес ее муж таким тоном, что просьба застряла у Бороды в горле.

— Кто ждет? — спросила Женя, когда они поднимались в гардероб первого яруса.

— Да брякнул первое, что пришло в голову. Откуда он взялся?

— Наша Женечка отшить никого не в состоянии. — Алина гневно посмотрела на мужа, который замешкался и не сразу помог ей снять шубу. — Доброта тебя погубит.

— Уже, — призналась Женя.

— Что «уже»?! — рассердилась Алина.

— Уже погубила, — потерянно призналась Женя, вытирая покрасневший нос.

Этот ответ, как ни странно, успокоил Алину, Женя же

стала раздумывать, почему так сказалось. Никита? Она привыкла, приноровилась к разочарованию, которое каждый раз выскакивало из телефонной трубки — его голоса не было ни разу. А если нечаянно встретятся? Упрекнуть, что забыл? Заговорить как ни в чем не бывало? Гордо кивнув головой, пройти мимо? Чем гордиться — другой вопрос. Может, самой ему позвонить? В голове все смешалось, и Женья с удивлением почувствовала, что тревога возникла не у нее одной.

Анна Каренина летит навстречу белокурому Вронскому. Рвется к счастью, а на сцене мечется станционный мужик — рок, судьба. Страстное стремление — взмах руки, прыжок, объятия. Неужели она понимает, что мчится к смерти? Нет, не только об этом танец. Настоящая жизнь — на этой сцене. Каждому исполнителю придумать движения, которые превратят их в действующие лица: Вронского, Каренина, Бетси, кавалеров на балу, офицеров на скачках...

Как сделана сцена «итальянская опера»! Жене показалось, что это из соседних лож уходят зрители, возмущенные присутствием Карениной.

И мигающий луч поезда, под которым погибла Анна, смотрит из глубины сцены в глаза каждому зрителю.

Осталось счастье.

Спустились в партер, где Плисецкая под дождем из цветов, летящих с верхних ярусов, с балкона, левой рукой прижимала огромный букет, а правую плавно отводила в сторону и приседала в полупоклоне.

— Откуда они столько цветов взяли, зима же?! Дорого стоят, наверно! — С этими словами к ним протиснулся Борода. — Никак найти вас не мог! Вы что же, в буфет не ходили? А я шампанского выпил. Помогает преодолеть условность балета. Вообще-то не стоит тех денег — я за пятерку билет у спекулянта купил. Не так высоко, но место какое-то неудобное. Пришлось почти все время стоять — иначе ну прямо ничего не увидишь. Но зато я все закоулки облазил, на всех ярусах побывал, теперь имею полное представление о Большом.

Монолог был произнесен под аплодисменты, предназначенные актерам. Борода оттянул высокий глухой ворот толстого свитера с нелепым желто-синим орнаментом и сосредоточенно пытался программкой загнать туда прохладный воздух. Он даже не заметил, что несколько вежливых кивков Женья сделала, ни разу не повернув головы в его сторону.

— Время-то детской! Вы куда сейчас? — спросил Борода, когда все вышли на прозрачный мороз.

— Да вообще-то домой, — ответила за всех Алина подобревшим после спектакля голосом.

Остановились у колонны. Высоченные двери открывались все реже — последними уходили завязтые балетоманы. Промчался мальчик-лилипут, модно одетый южанин пропустил неуклюжую рыхлую женщину в резиновых ботах.

— Зайдем к одному парнишке, будущему Льву Толстому? — не унимался Борода.

— Неудобно, нас же не звали, — почти согласилась Алина.

— Я приглашаю, — высокопарно изрек Борода. И тут же по-простому пояснил: — Там каждый вечер компашка ребят-авангардистов собирается. Пошли, не пожалеете.

— Что у тебя с квартирой? — тихо спросила Алина у сестры, когда они свернули с Пушкинской в темный переулок.

— Сегодня утром звонок в дверь — хозяйка. Говорит, заскочила по пути. Глазки так и бегают. В шкафу покопалась, в туалет зашла, для вида воду спустила. Села чай пить. И вдруг, между делом, в придаточном, заявляет, что племяннице надо бы пожить здесь недельку. «Ведь есть же раскладушка!»

— За семьдесят рублей в месяц еще и племянница в нагрузку?! — возмутилась Алина.

— На этот раз удалось отбиться, но чувствую, будет следующая агрессия, — с горечью призналась Женя.

— Девочки, вы где?

Алинин муж с Бородой ждали их у подъезда совсем провинциального обшарпанного дома. Пахло щами и кипяченым бельем.

— Вот видите, у них всегда не заперто. — Борода ошупью пробрался к квартире на первом полуподвальном этаже и открыл скрипучую дверь.

Стало чуть светлее, и ребята неохотно пошли следом. Слабая лампочка освещала только вешалку, на которую была небрежно наброшена груда одежды. Из темного угла выскочила непонятного возраста худышка в джинсах и с чайником в руке, крикнула: «Привет!» — и побежала дальше. Алина с сомнением посмотрела на мужа.

— Уже чай пьют, — огорчился Борода. — Раздевайтесь скорее!

Просторная комната, казалось, приготовлена для ремонта: голое окно во всю стену, деревянные некрашенные табуретки, на одной из которых валяется груда перепутанной проволоки, потертый дерматиновый диван, везде окурки. Несколько человек вокруг круглого стола без скатерти споят о религии.

— Что за бред? Вера — эмоциональна?! — Лицо неопределенного возраста с длинными редкими космами вокруг большой лысины произнесло эти слова тоном, каким обычно спрашивают: «Ты меня уважаешь?»

Как ни в чем не бывало Борода пододвинул к столу табуретки и усадил на них Женю и Алину. Потом исчез и вернулся с вымытыми, но мутными стаканами и пузатой бутылкой гамзы в плетеной корзинке.

— Так и знал, всю водку уже уходили, — посетовал он, разливая красную жидкость по сосудам.

— Хотя бы скажи, кто эти люди, — шепотом попросила Женя.

— Я и сам толком не знаю. — Борода наморщил лоб и почесал затылок. — Длинноволосый — скульптор, а Коля, хозяин, в соседней комнате, танцует. Да вы пейте поскорее, а то и этого не останется.

— Откуда у него такая квартира? — Женя пригубила стакан и осмотрелась.

— Так он здесь дворником работает. Тут коммуналка была. Всем жильцам уже отдельные дали, у кольцевой, он один остался.

— Дворник... А говорил — авангардисты. — Алина строго посмотрела на мужа, как будто не она первая согласилась пойти сюда.

— Конечно, будущий Лев Толстой. А может быть, Достоевский. Он в Литинституте заочно учится и рассказы пишет, — с какой-то непонятной гордостью объявил Борода.

— Ни Лев Толстой, ни Достоевский, кажется, авангардистами не были, — поддела Алина.

Но Борода не ответил. Быстрым движением, предназначенным, правда, для жидкости другого цвета, он опорожнил стакан. Сморщился, наклонил бутылку и сосредоточенно стал ждать, пока упадет последняя капля.

На полу нахохлился типовой школьный дневник, заполненный взрослым почерком. «Нравственно то, что нравится», — углядела Женя. Дальше шли неразборчивые каракули.

Плотная блондинка ввела в комнату молодого человека с осоловелыми глазами.

— Коля сегодня не в форме, — констатировал Борода.

— Зато я в форме, — агрессивно заявила блондинка и села Бороде на колени. — А это кто такие?

— Ты что, мать! Сразу видно, в консерваторию не ходишь! Известный пианист с супругой, — объявил Борода, нисколько не смутившись.

— А это вторая супруга, что ли, точно такая же? — Блондинка попыталась ткнуть рукой в Женю, но покачнулась и чуть не упала на пол.

— Так только кажется. — Бороде пришлось обнять блондинку обеими руками. — Женя — она совсем другая, разве не видишь?!

Увидел скульптор. Он подошел к Жене и церемонно предложил показать ей свое творение. Им оказалось сооружение из проволоки, внутри которого виднелся фланелевый ком.

— Венера с утепленной маткой, — слащаво провозгласил он.

Алина хмыкнула, а Женя в недоумении отступила в угол.

— Ну, нам пора. — Алинин муж решительно взял сестер под руки и вывел их в коридор.

— Я с вами, тут до метро есть короткая дорога. — Борода тоже стал одеваться.

— У меня, кажется, кошелек пропал... — виновато пробормотала Женя, обыскав карманы своей и Алининой шубы.

— Кто ж деньги в пальто оставляет! — Муж Алины как будто был уверен, что здесь и не такое может случиться.

— Да ты, наверно, просто дома его забыла. — Борода попытался отогнать угрызения совести. И с облегчением вздохнул, обнаружив, что его деньги на месте.

— Не расстраивайся, что ж теперь... — Алина погладила Женю по плечу. — Сколько там было-то?

— Сорок с копейками, — растерянно ответила Женя.

На улицу вышли в угрюмом молчании. Женя пожалела, что сказала про кошелек: исправить уже ничего нельзя, а настроение у всех испорчено. Конечно, лучше бы она купила бежевые итальянские туфли, которые на работе предлагали, такой у них красивый кожаный бант. Не хватало десяти рублей, но ведь можно было одолжить у кого-нибудь.

Борода лениво соображал, успеет ли на электричку, если пойдет провожать Женю.

— Даму, надеюсь, берешь на себя?! — решил за него Алинин муж.

Женя отнекивалась — она нисколько не боялась позднего часа, да еще представила, как Бороде придется в свое Подмоскovie возвращаться... Твердость проявила Алина:

— Не деликатничай! У нас на работе итальянцы рассказывали, что в Москве объявился маньяк, убивающий женщин в красном.

— У меня красного ничего нет, разве что лак на ногтях. Обещаю варезек не снимать, — попыталась отшутиться Женя.

Но Алина настояла на своем.

— Надо так надо, — добродушно сказал Борода и пошел рядом с Женей. — А откуда итальянцы?

— Алина работает корректором, ошибки исправляет в переводах Плеханова и Брежнева на итальянский.

— Она что же, и этот язык знает? — из простого любопытства спросил Борода.

— Мы вместе его учили на четвертом курсе. И еще польский, датский, венгерский. — Женя не удержалась от хвастовства. — Думали, наши специальности другие, а вот теперь обеих языки кормят.

— И в моей жизни было много перепитий...

«Перипетий», — не решилась вслух поправить Женя.

— Денег не было. Напишу: «Вышла интересная книга, рассказывает о том-то и том-то» на треть странички и разошлю в десяток районных газет. Обратный адрес — московский. Газет пять печатают столичного журналиста и присылают два-три рубля. Целых полгода кормился. Потом, правда, деньги стали все реже приходиться. Ну а когда из газеты «Ленинский путь» получил письмо: мы, мол, не уверены, что эта же заметка не появится в «Ленинской искре», я и завязал.

— И что они всполошились? Наверняка и без твоих заметок эти газеты все равно что близнецы, даже названия похожи, — вслух сказала Женя, а про себя подумала, что пока Борода наивно рассказывает про свои почти детские, не вредные хитрости, с ним еще можно иметь дело, хуже будет, если он решит, что рассказывать не стоит, а хитрить можно и нужно.

Забыв про полоску льда, по которой дети, а иногда и она сама подъезжали к крыльцу, Женя поскользнулась. Помочь ей Борода не догадался, но терпеливо подождал, пока она встанет, отряхнется. Пришли они вместе, но каждый был сам по себе.

— Можно я хотя бы чаю у тебя выпью, согреюсь немного? — Был он такой жалкий в своей вязаной шапчонке с лянными полосками, в кургузой курточке на синтетической подкладке...

— Конечно, — без энтузиазма согласилась Женя.

У лифта на них уставились две женщины, похожие на провинциальных училок, с одинаковыми чемоданами в руках.

— Селенина? — строго спросила та, что постарше.

— Да, — испуганно кивнула Женя.

— Как поздно вы домой возвращаетесь, — осудила другая. — Мы — от Тамары.

И пока Женя сообразила, что Тамара — это жена троюродного брата из Турова, которую она видела всего один раз в жизни, обе тетки уверенно вошли в квартиру, всем своим видом демонстрируя, что они великодушно прощают Жене столь позднее возвращение.

— Нам не сказали, что вы замужем, — непонятно кого обвинила старшая.

— Да нет, я не муж, я ее только провожал, — сконфузился Борода. — Тогда я пошел? Пока.

Незванные гости достали банку клубничного варенья, от которого у Жени часто бывала аллергия, и ей пришлось долго пить с ними чай под жалобы на провинциальную жизнь, а потом уложить их на свой полутораспальный диван.

Лежа в кухне на раскладушке, она сердилась на маму, которая дала ее адрес Тамаре. Завтра же позвоню и скажу, что любого, кто появится из Турова, буду выставлять за порог — тетки ведь всех соседей оповестили, что она тут живет. А если в милицию донесут?

Засыпая, Женя думала, как же всем в этой Москве плохо: и Бороде, которому каждый вечер надо тащиться в свое Пушкино, и этим бабам, готовым ночевать хоть в туалете, и ей самой...

6. ЖЕНЯ ЖИЛА БУДУЩИМ

Женя жила будущим.

В школе мечтала об университете, о столичной жизни, которую представляла не только по книгам и фильмам. Летние каникулы после девятого класса они с Алиной скоротали у родственников на Украине. На обратном пути целых пять дней упивались Уланским переулком, где жил мамин брат. Он перебрался в Москву из Турова перед войной — на заработки. Зимой сорок первого был ранен, с тех пор работал мастером на игрушечной фабрике.

Утром просыпались от незнакомых звуков — гулко набегающей тяжелой поступи «Аннушки», ее бесцеремонного позвякивания. Надо было одеться, длинным, только что вымытым коридором (квартальный график дежурств висел на кухне) идти к ванной комнате и ждать, пока она освободится. Неведомая жизнь коммунальной квартиры завораживала.

Полдня стояли в неспешной очереди — в Пушкинский музей приехала Дрезденская галерея. Пока Алина с дядей ходили перекусить в стеклянную пирожковую, начали пропускать следующую партию. Быстро продвигаясь, Женя

вдруг увидела, что за ней закрывают железную калитку. От растерянности она послушно вошла в музей и стала сомнамбулически переходить от картины к картине, украдкой всматриваясь в публику. Встретились на балюстраде минут через двадцать — милиционеру на входе дядя объяснил, что в очереди стояла точно такая же — показал на Алину — но она не догадалась их подождать. Никто не сердился. На обратном пути купили длинный узкий батон и сочные желто-розовые персики — в Турове таких не выдывали даже на рынке.

Еще запомнилось, как в Парке Горького во время эстрадного концерта, который вел Борис Брунов, Женя вдруг обнаружила, что хочет жить в этом городе. Почему именно тогда? Может быть, потому, что впервые за пять дней никуда не шла, песней была отгорожена от своих спутников, а от впечатлений — привычными лицами провинциалов, многие из которых прямо с чемоданами и авоськами пересаживали здесь промежуток между поездами.

А когда поступила в университет, сразу стала мечтать о той неизвестной, но чрезвычайно интересной жизни, которая обязательно наступит после окончания вуза. Разные картины рисовало воображение, но чего никогда не представляла — это того, что целых три года станут всего-навсего записью в трудовой книжке.

Конечно, кое-какие события случались. Завлаб Зайцев предлагал руку и сердце. Именно эти слова он сказал, только по-французски. Инженеров из Института летательных конструкций посылали на международные авиасалоны. Зайцев вернулся из Бурже в замшевом пиджаке на вырост, ярко-зеленой рубашке, модных брюках клеш цвета бордо и мокасинах на высоком каблуке. Каждая вещь сама по себе отличная, но вместе, на Зайцеве... Особенно смешно сочеталось все это с его рассказами о французенках, которые даже тени на веках подбирают по цвету к платью, туфлям и шляпке. Извинился за скромный сувенир — часики гонконгские электронные, которые привез Жене в подарок. Суточные были уж очень маленькие, а ведь есть еще мама, сестра и две племянки. Но храбрость и уверенность в себе, очевидно, выдают в Париже бесплатно.

Женя изо всех сил постаралась обернуть свой отказ в самую выгодную для Зайцева упаковку, но чувство неловкости, даже вины, осталось надолго. Она не любила вспоминать этот случай, хотя Алина долго потом к месту и не к месту корила за то, что не использована такая удобная возможность получить прописку... да и жизнь свою устроить.

Были и профессиональные успехи. Женю приглашали

переводчиком для начальства на самые престижные встречи. Она научилась по произношению угадывать, из какой страны человек. Все иностранцы, которые разбирались в самолетах, прекрасно говорили по-английски. Маялась она только из-за одежды: никак не могла подобрать погоду к наличествующему туалету. Однажды летом, почти в тропическую жару, не отважилась надеть сарафан (только потому, что лифчики без бретелек у нас еще не изобрели, а так, «без» — слишком легкомысленно). Глава английской делегации был в светло-сиреновой рубашке апаш, без галстука, с чесучовым пиджаком в руках, наши же напряженно боролись с жарой в своих темно-синих шерстяных тройках. Целое поколение мужчин не имело представления о легком летнем костюме — их только начинали носить франты и фарцовщики, да еще донашивали пожилые профессора.

Если случайно встречалась с однокурсниками, то в разговорах старалась не упоминать про ежедневную отсидку, про талончики в диетстоловую, про увольнительные, с помощью которых только и можно было выйти на свободу в промежутке между семью тридцатью и шестнадцатью тридцатью, про то, как радовалась возможности сдать свою кровь — за это полагался целый день отгула, не считая дня сдачи. И все равно читала в глазах собеседника сочувствие и жалость. Шиком считалось иметь один-два присутственных дня в неделю, манкировать служебными обязанностями. Женя никак не могла постичь цель этой борьбы за безделье. Здесь исходили из того, что работа не может быть ни удовольствием, ни смыслом жизни. Сама она мечтала о таком занятии, которое приблизит ее к литературе. Каком именно, было еще неясно.

А пока читала. В автобусе, метро — и если удавалось сесть, и стоя, когда хватало ловкости протиснуть руку и достать из сумки книгу. Лежа, перед сном и вместо сна — чтение возбуждало сильнее, чем реальная жизнь. Открыто — в обеденный перерыв, и украдкой — через щель в выдвинутом ящике рабочего стола, боковым зрением и настороженным слухом контролируя любое движение начальницы, сидящей чуть впереди, через проход, и ее добровольной доносчицы, которая с помощью навязчивого участия выводывала все у всех.

Дрожащий зайчик, уши торчком. В какую сторону бросаться, если слева волк, а справа лиса?

Особенно помогали выдержать Толстой и Достоевский. Серый десятитомник, который вместе с Алиной купили в букинистическом еще на первом курсе, сначала стоял в

финском секретере общежитской комнаты, а потом стал ездить с Женей по квартирам.

Тогда, в студенческой компании, Женя удивлялась спорами Никиты и Саши — если не до первой крови, то до первой злобы уж точно — о том, кто лучше, Лев Николаевич или Федор Михайлович. Никак не могла найти слова, которые можно было бы вставить в разговор, пыталась сама себе ответить на этот вопрос, и только теперь, перечитав «Войну и мир» и «Бесов», поняла, что такой проблемы просто нет в природе: оба писателя растут из одного корня. Долгая ветвистая толстовская фраза укрепляла доверие к жизни, давала надежду. Достоевские споры и скандалы убеждали, что тревога, метания — равноправные участники судьбы, такие же, как спокойствие и счастье.

Университетское прошлое вспоминалось часто. Вот удалось купить нефальшивую, небаночную ветчину, и пока хрустела пергаментом, перекладывая на тарелку профессионально нарезанные розовые упругие ломтики с тонким белым краем, за стол как бы садились Саша с Никитой, вновь рассказывая, как Булгаков для ужина с приятелями закупал в Елисеевском фирменную еду — ветчину, французскую булку и португальский портвейн.

В их компании было принято презирать современную литературу. Даже Саша, все читавший или хотя бы просматривавший, стеснялся своего интереса, краешек которого все же высывался и был Жене замечен. То в разговоре о непонимании природы искусства и левыми, и правыми он мрачно декламировал: «И прогрессист, и супостат...» То нормального, казалось, человека, занимающего в споре ортодоксальную советскую позицию, осаживал словами дяди Сандро: «Их так учат». Он не выковыривал изюм из стихов и прозы, а придавал свой смысл цитатам, не претендовавшим на афористичность. Не искал в произведении готовые формулы, а примерял текст к ситуации, приглашая собеседника посмотреть, что из этого получится.

Писательство казалось Жене волшебством, которое помогает погрузиться в настоящее. Литература была не зеркалом, не объяснением, а физическим прибором, жизнемером: прикладываешь к своей жизни и проверяешь — есть ли она? Как ни слабо бился пульс Жениного бытия, стрелка этого устройства все-таки вздрагивала.

Неинтересных писателей для нее не было. В самом процессе чтения ее увлекало то, как из букв складываются слова — в этом похожи ученый-лингвист и гоголевский Петрушка, — как слова неожиданно приставляются друг к

другу, как самое обыкновенное событие внезапно раскрывает глубоко спрятанное страдание или еще неосознанную любовь.

7. НЕОСОЗНАННАЯ ЛЮБОВЬ

«Даже в честь круглой даты не могли дать четыре дня передохнуть!» — ругнулась про себя Женя, пропуская третий переполненный трамвай. Солнечный день, флаги. Красный транспарант с огромными белыми буквами: «...партии... встретим... 60-ю годовщину Великого Октября!» И люди — хмурые, неприветливые, даже озлобленные.

— Патлы-то распустила! — Запыхавшаяся тетка пыталась забраться в трамвай, но не удержалась и отступила, мазнув Женю на прощание грубым словом.

На следующей же остановке Женя выскочила и пошла пешком, на ходу обыскивая свои карманы. Найдя две шпильки, зажала сумку между ног и неловко подняла руки, чтобы сделать пучок. Кто-то наскочил на нее, волосы снова рассыпались по плечам, упали на лицо.

— Ради всего святого, простите...

Огорченный голос показался знакомым.

— Саша?! — обрадовалась Женя и разревелась.

— У тебя что-то стряслось? — Саша бережным движением убрал прядь с ее глаз и шелковистым платком промокнул слезинки.

— Хозяйка позвонила и без объявления войны, вероломно, как фашистская Германия, потребовала освободить помещение. — Изю всех сил Женя старалась не вызвать жалость, боялась навязать свою беду.

— Поехали к нам, что-нибудь придумаем. — Саша взял Женю за руку и повел за собой.

— Куда «к нам»? — Женя не сопротивлялась.

— Разве Никита тебе не говорил?

— Нет, он мне не звонит. — Женя правильно поняла вопрос, но ответила слишком откровенно.

— Это беда не беда, только больше б не была. Помнишь, в «Доме на набережной», Ганчука из института выгнали, а он в Елисеевский отправился и там с аппетитом пирожное упледел, — утешил Саша литературным примером.

— Предпраздничный день и пирожное — вещи несовместимые. — Женя хорошо знала законы советской торговли.

Из глубины, на которой Саша почувствовал Женину неприкаянность и беззащитность, разговор вынырнул и поплыл в привычном шутовском стиле.

— В доме на набережной купим чего-нибудь вкусненького — отметим выход этого строя на пенсию. Надеюсь, ты осталась сладкоежкой?

— По мне же видно. — На этот раз Женя только притворилась огорченной.

Саша воспользовался предложенным правом получше ее рассмотреть. Изобразил критика, попавшего на вернисаж по приглашению вышестоящей инстанции, и нарочито глубокомысленно насупился:

— Та-ак, с одной стороны... — Но не выдержал и восхищенно рассмеялся: — Форму от содержания отличить не могу. И румяная, и тургеневская...

Всю дорогу Женя пыталась понять, что же в нем изменилось. Казалось, он стал похож на Никиту: черный плащ с глухим воротом и пуговицами, скрытыми от постороннего взгляда, серая клетчатая кепка и кожаный дипломат — с такой некричащей, потайной элегантностью одевались любимые аксеновские герои. С ним тоже просто. Но Никита всего лишь не замечал неловкости, неудачное слово прощал, а Саша даже интонацию понимает, руку протягивает, помогая перескочить препятствие. С Никитой ты сама по себе, а Саша разговаривает как старший, как брат, готовый прощать и опекать.

— Ты и вовремя? — с усталым сарказмом удивилась Инна, открыв обитую красной кожей дверь. — Женя?! Откуда? Целую вечность не виделась! Ты в Москве? А я тут заперта с Ленькой, ни про кого ничего не знаю. Этот где-то шляется, мне ничего не рассказывает...

Из глубины квартиры послышались скрип и кашель, похожий на кряхтенье. Инна помрачнела и скрылась за дверью, а Женя оторопело стояла в коридоре, даже не начав раздеваться.

— Что, не ожидала? — Саша горько усмехнулся. — Инна — жена, Леня — сын, возраст — год и два месяца. Болеет. Аллергия с астматическим компонентом. — «Моя», «мой» он опустил. — Пошли на кухню, Инна скоро присоединится.

Саша снова стал похож на себя прежнего — как когда-то он почти безучастно говорил о проблемах с аспирантурой, так и сейчас сообщил свои новости, как анкетные данные выкладывают.

— Здесь красиво... — Все приятное сразу вылетало из Жениных уст.

— Тещина работа, — не принял похвалу Саша. — Она кухню с темной кладовкой соединила, вот и получилось в одной комнате две половины — для повара и для гостя.

В темно-красной нише удобно устроились лавки, деревянный, тщательно выскобленный стол, старинный буфет красного дерева, иконостас из разделочных досок с картинками. Спокойствие, которое излучало бело-желтое дерево, гасило тревогу, исходящую от стен, бордового абажура и массивного буфета.

Саша потрещал зажигалкой под красным чайником, достал из дипломата коробку с рахат-лукумом, кулек козинаков, бело-розовую пастилу и принялся живописно расставлять все это на столе — общежитские навыки. Картина рисовалась как бы сама собой, а ее автор в это время посмеивался над своей жизнью:

— Расчищаю авгиевы конюшни — тесть устроил рукописи самодеятельных чайников рецензировать. На самом-то деле попадаются и члены союза, но суть одна. Они писать садятся в маске — Льва Толстого, Достоевского, Булгакова. Чаще Льва Толстого. Пыжата, важничают, грим плохой, но камуфлирует и жизнь реальную, и неповторимую в своем идиотизме личность автора.

— Сашенька, ты опять увлекся. — Инна вошла неслышно, порыскала в шкафах, закурила. — Вообще-то его как консультанта хвалят. Написано вроде бы деликатно, без хамства, а получается — серпом по самому чувствительному месту. Но начальников более или менее важных ему на рецензию не дают: умные люди, понимают, что Сашкина критика и для сильных мира сего смертельна, а жить-то всем хочется.

Женя слушала молча, а сердце сжималось при мысли о больном малыше, одиноко спящем где-то в глубине просторной, благополучной квартиры.

— Мне осталось только мужем гордиться. Уже «наша шапка», «наше жалованье» говорю, хотя он еще не профессор, а только кандидат. — Инна явно преувеличивала, изображая себя классической «душечкой». Видно было, что не ее это амплуа, да и в пьесе под названием «Сашина жизнь» такая роль не предусмотрена. — Тебе, Сашуля, еще повезло, а вот бедняжка Никита ошибся. Без памяти влюбился в пичужку одну, гостью столицы, учить начал, чтоб в институт ее поступить... — Инна увлеклась и, кажется, не заметила, с каким старанием Женя удерживает выражение вежливой заинтересованности, скрывающее боль и наивное удивление: зачем ему еще кто-то, если у него есть я? — К нам привел — с друзьями познакомить. Хорошенькая, ноги длинные, волосы... Вот как у тебя, Женечка, только с рыжеватым оттенком. Я еще спросила, свой цвет или крашенные. И она мне уважительно так рассказала, как в отваре из луковой шелу-

хи их полоскать. Я один раз попробовала, но где же время найти, когда Ленька на руках.

— Саша, налей мне, пожалуйста, еще чаю. — Женя запросила передышки.

Особенно ее задело сравнение. Хотя Инна, скорее всего, и не думала уколоть, а просто забыла, что у Жени с Никитой были какие-то отношения.

— Она больше молчала. Что меня насторожило, так это ее улыбка. Вот смотри, Женя улыбается и еще больше хорошеет, а у той что-то мышинное проглядывало. Злая мышка получалась и хитрая. Ну и Никите даже не дала возможности меньшее зло выбрать. Отменили у него на радио ночное дежурство, вернулся домой — ему папаша квартиру пробил, тут недалеко — а крошка в его постели иностранца развлекает и еще грозит: если Никита на ней не женится, сообщит куда следует, какие он книжки читает. Честно говоря, он по несколько необычной программе ее в институт готовил: Набоков, Солженицын, Войнович, «Синтаксис» и так далее. Про синтаксис, конечно, на экзамене спрашивают, да не про этот.

— Как ужасно! — Подавленность исчезла, но Женя и сама себе бы не ответила, что послужило обезболивающим — сочувствие, сострадание или надежда: Никита свободен. — Он ее прогнал?

— Кто и кого должен прогнать? — К дверному косяку прижалось незнакомое улыбающееся лицо. — Ребята, возьмите сумки, папа нам писательский заказ отдал.

— Мама, это Женя. Помнишь, я тебе про двух сестер рассказывала?

— Так это одна из тех тургеневских девушек? И правда, похожа... Здравствуйте... Не сегодняшняя газета — мне седлку завернуть?

— Да какая разница, Нина Александровна, — в газетах каждый день одно и то же печатают, а свежая типографская краска даже лучше запах поглощает. — Саша помог теще разложить продукты и достал из буфета еще одну чашку.

— Как Ленечка?

— Спит и пока не кашляет. — Иннин голос дрогнул.

— Тьфу-тьфу... А почему вы только сладкое едите? Иннуша, возьми в холодильнике икру, новую банку не начинай, там открытая где-то стоит.

Жене сразу понравилась эта женщина, больше похожая на старшую сестру, чем на мать Инны. Она была такая уютная — в узких темно-синих брюках, в пушистом красном свитере.

— Вы, Женечка, где работаете?

— Ее хозяйка с квартиры выгоняет, — вставил Саша.

— Бедняжка, у вас жилья нет? А с родителями нельзя пока пожить?

— Я не москвичка.

Женя напряглась, ожидая, что сейчас же милая дама изменит к ней свое отношение. Это уже не удивляло. На работе не все знали, что она из Турова, и часто при ней говорили о провинциалах как о людях второго сорта, как о хитрых и нахальных проходимцах, готовых ради прописки на любую авантюру. Так иногда разбирают по косточкам евреев, не задумываясь, нет ли в комнате человека, имеющего основание отнести эти суждения на свой счет.

Но Иннина мама участливо спросила:

— И сколько же вы, бедняжка, платите?

— Семьдесят рублей.

— За комнату?

— Нет, за однокомнатную квартиру с телефоном... — И чтобы не показаться барыней, пояснила: — Мне в комнате нельзя — я зарабатываю уроками английского.

Эти расспросы не унижали Женю, она чувствовала, что интерес не праздный, что здесь ей хотят помочь, но все же переменяла тему — из скромности, из боязни, что ее рассказ может быть истолкован как просьба — а недостаток жизненного опыта она компенсировала литературным, и красивый, оправдывающий бездействие девиз: «Никогда ничего не просите...» давно взяла за правило, забыв, что это не Булгаков учит читателя, а обер-дьявол искушает Маргариту.

— Инна, а ты сейчас переводишь? Помнишь, кусок из Мерля? Здорово у тебя студенческий сленг получался!

— Вы и это помните? — грустно улыбнулась Иннина мама. — Позвоните мне после праздников, что-нибудь для вас придумаем.

8. ДАЖЕ НЕ ПРЕДПОЛАГАЛ...

— Даже не предполагал, что ты умеешь так изощренно изворачиваться. — Саша впервые говорил строго и отчужденно. — Не хочу больше знать никаких объективных причин! В конце концов, ты же меня подводишь!

Женя обреченно помалкивала. В Сашиной тираде абсолютно все было справедливо. Стало невыносимо стыдно за то, что пошла на поводу у своей ненависти к телефонным звонкам.

— Вешаю трубку, и ты сейчас же набираешь Светланин номер. Надеюсь, в третий раз ты его не потеряла!

Получалось, что этот звонок нужен Саше, а кто же не знает, насколько легче делать для другого. Женя не воспользовалась даже реальной отговоркой — сослуживцы могут понять и не простить. Телефон стоит в углу за шкафом, и ясно, что все пятнадцать столов, словно талантливые археологи, по одной ее реплике восстановят суть всего разговора.

— Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Светлану. — Женя враз выпалила эти слова, которые в обычном телефонном разговоре составляют две фразы или хотя бы делятся паузой.

— Я вас слушаю, — размеренно, с большим чувством собственного достоинства сказал прокуренный голос, принадлежащий, как показалось, скорее мужчине, чем даме.

— Простите, мне Светлану, — чуть медленнее произнесла Женя.

— Я вас слушаю, — повторил голос.

Стало понятно, что это может быть и женщина, но теперь Женю удивило, что она откликается на голое имя, без отчества.

— Извините, наверное, у вас не одна Светлана. Мне Вагину.

— Ах, Светлану Васильевну! Сию минуточку! — вдруг зачастил голос. Женя почти увидела, как дама расплылась в подобострастной улыбке.

— Света, привет, это Женя. А ты, видимо, там важная персона... — Благодаря путанице с именами Женя получила передышку и успела успокоиться.

— Здравствуй. По просьбе Саши я говорила о тебе. Перезвони завтра. Тебе назначат. До свидания.

Женя недоумевала, туда ли она попала, та ли это Светлана? Слова вроде бы Жене адресовались, но как они были произнесены! Особо выделено «по просьбе» — сразу ясно, что теперь будет обязан и тот, кто просил, и тот, за кого просили. Независимо от результата. Храбрость, с которой Женя нырнула в разговор, улетучилась, и холод, пробравшийся внутрь, начал смешиваться со страхом.

Приказала себе не думать о предстоящем визите. Вспомнила, что перед вступлением в комсомол знающие люди советовали изучить последний номер «Правды», особенно сообщения, напечатанные самым мелким шрифтом на пятой странице. В библиотеке взяла свежие журналы и вечером, вернувшись домой, сварила кофе и принялась не просто с любопытством их просматривать, а штудировать с той остротой, какая появляется в ночь перед экзаменом.

Ровно в три решила, что можно передохнуть. Залезла под толстое одеяло в кружевном батистовом конверте, сшитом маминими руками и охраняющем теперь дочь от холода московской жизни. Не сразу улеглось возбуждение от тщательного и, как ей казалось, успешного труда. Как второе дыхание проснулось воображение и стало рисовать розовой краской: литературный журнал, настоящие писатели, чтение на службе, да еще за это зарплату дают. Не надо рано вставать — в редакциях свободное присутствие, начало работы в двенадцать. Можно будет не бояться встреч со знакомыми. Главное, сообщать о «Литературной молодежи» в придаточном предложении, как бы между прочим, а на удивление, которое непременно выкажет собеседник, ответить небрежным пожатием плеч — мол, это для нас пустяки...

Утреннее зеркало подпортило настроение — пролилась синева из глаз и образовала два четких полукруга, хорошо еще, не мешки. Попробовала запудрить, но вышли неестественные загорелые пятна. Снова умылась холодной водой и синей тушью покрасила ресницы — получился взгляд, испуганный в самой глубине. Захотелось перескочить предстоящий визит, чтоб он уже окончился, совершенно все равно, с каким результатом. Или хотя бы перенести, отодвинуть его: может же заболеть начальник, к которому должна идти, или его внезапно вызовут на совещание, или Светлана забудет позвонить...

Ничего этого не случилось, и Женя, с унижением получив увольнительную якобы для проводов родственницы, приехала в редакцию.

Местоположение молодежного издания оказалось мрачноватой окраиной. К многоэтажному редакционно-издательскому комплексу надо было пробираться через рельсы и склады. У входа на Женю подозрительно уставилась старуха-вахтерша. Робко поздоровавшись и не услышав окрика: «К кому?!» — Женя пошла в глубь коридора. Хмурые и очень занятые, по-видимому, люди проходили и пробегали мимо, не обращая на новое лицо никакого внимания. Это помогло утишить страх, но как найти нужную комнату?

— А, ты уже здесь? Ну, давай к шефу. — Светлана появилась откуда-то сзади и, не останавливаясь, быстро пошла вперед.

В просторной комнате у окна сидела секретарша, явно выделявшаяся на общем простонародном фоне одеждой, осанкой, непроницаемым лицом. Слева и справа от входа были двери, обитые кожей, с белыми табличками наверху.

Ошибиться в том, какая принадлежит главному редактору, а какая — его заму, невозможно.

— Натуля! Новая кофточка! — умилилась Светлана.

Женя приготовилась к привычному в таких случаях разговору о том, из чего сшита, где достала, сколько стоит. Девушка за столом, однако, даже не улыбнулась.

— А шеф на месте? — Светлана не ударилась о строгость и продолжала источать восхищение.

— Уехал в ЦК и сегодня вряд ли будет, — выдала барышня давно заученный текст.

— Как?! Я же с ним договаривалась! — Светлана обиженно закусила губу, размазав остатки розовой помады. — Натуля, что делать? Вот и человек специально прибыл с ним поговорить.

Получалось, что неуважительно поступили именно с Женей.

— Не расстраивайся, все бывает. Я могу и в следующий раз приехать. — Женя заботилась только о том, как успокоить Светлану.

Внимательно посмотрев на них обеих и обращаясь только к Жене, секретарша сочувственно посоветовала:

— Вы подождите здесь, может, он еще и придет.

— Ну и отличненько. А я побегу — уйма работы. — Светлана сочла свою миссию выполненной.

Сколько времени пришлось отсидеть — Женя не знала: боялась взглянуть на часы, чтобы секретарша не восприняла ее взгляд как укор. На каждого входящего в предбанник поглядывала с надеждой и покорно опускала голову, когда становилось ясно, что это не тот.

Из коридора запахло борщом, в комнату заглянула средних лет женщина с половником в руках и в цветастом ситцевом, совершенно домашнем фартуке (патриархальность здесь понимают буквально):

— Натуля, пойдем, поешь с нами.

— Любовь Сергеевна, ваш отдел до сих пор не сдал материалы на проверку, — строго сказала Наташа, следуя за дамой.

Только-только Женя успокоилась и снова стала мечтать о сближении с литературным миром, как в предбанник стремительно вошел невысокого роста человек и, открывая своим ключом дверь зама, бросил через плечо, не оборачиваясь к Жене:

— Вы ко мне? Пройдите!

Женя оглянулась — никого рядом. Снова от страха похолодели руки. Может, еще успею позвать Светлану?

— Ну что же вы, заходите!

Лысоватый человек со странным, ничего не выражающим лицом деловито достал из пиджачного кармана расческу, поводил ею по редким волосам, рассмотрел зубчики на свет и даже подул на них. Его близко посаженные глаза, нос и рот были собраны в одну щепотку, которая надежно скрывает мысли, настроение и отношение к собеседнику.

— По какому вопросу? — буднично спросил он.

В обычной ситуации допроса, в которой все люди стригутся под одну гребенку, Женя все-таки постаралась приукрасить свою биографию с точки зрения профессиональной причастности к литературе. Упомянула даже дипломную работу, где так усердно был ею «обсчитан» Чехов.

— Какой журнал, по-вашему, работал в шестидесятые годы наиболее интересно? — прервал зам.

— «Новый мир», — не задумываясь, ответила на такой легкий вопрос Женя.

— А разве патриотические журналы не сыграли более значительную роль в литературном процессе тех лет?

Жене почудился подвох, она напряглась и с радостью вспомнила:

— Да! В «Нашем современнике» Шукшин, Искандер печатались!

— Да нет, я не этих имею в виду.

— Тогда я не знаю. — Женя вжалась в кресло и крепко сжала подлокотники руками — выдерживать допрос становилось все труднее. — Не помню, чтоб еще что-то интересное в этом журнале появилось.

— Как вы относитесь к Ахмадулиной, Евтушенко, Вознесенскому?

Безликий человек будто зачитывал заранее составленный и утвержденный список вопросов, порядок которых не зависел от ответов. Понять, то ли она говорит, было невозможно, и Женя продолжала отвечать то, что думает.

— У них много хороших стихов. «Идиоты — в прошлом, в настоящем — рост понимания», — процитировала она в наивном желании продемонстрировать свои знания, показать товар лицом. — Еще я люблю Кушнера, Тарковского.

— А из русских поэтов? — В голосе зама прозвучало что-то, похожее на угрозу.

От непонимания, от неумения вести официальную беседу у Жени нарушилась связь между речью и той частью мозга, которая заведует сообразительностью.

— Значит, не москвичка? Родители живы? — посыпались вопросы из второй части списка.

— Да, — совершенно не понимая, при чем тут ее мама и папа, ответила Женя. И вообще, все говорить о жизни и смерти у них в семье считалось кошунством.

— Кем работают?

— Папа — начальник строительства на заводе, мама — на пенсии.

— А в Москве или Подмоскowie отец может что-нибудь построить?

— Не знаю...

Почти вслух ругая себя, Женя вышла на улицу и тут вспомнила о Светлане, надо же ее предупредить, что все уже кончено. Пришлось вернуться.

— Ну, ты невинная! — несколько раз воскликнула Светлана, пока Женя с магнитофонной точностью воспроизводила мучительный для нее диалог. — Тебе что, Сашка ничего не объяснил?

— Да нет, я сама готовилась.

— Она готовилась...

Светлана и вправду огорчилась. Важность и степенность улетучились, она даже не думала о последствиях для себя — начальство за такую протезе не похвалит.

— С твоими взглядами и с твоей искренностью из тюрьмы не вырваться никогда. Уж не знаю, что ты нашла во всяких кушнерах — не читала, но в следующий раз хотя бы будь похитрее.

С этим окрыляющим пожеланием Женя вернулась домой. Лишенная и того облегчения, которое приходит после успешного окончания неприятного дела. Страшно захотелось есть. Это был знакомый нервный голод, который не может подождать, пока застигнутый им человек переоденется, подогреет еду, накроет на стол. Женя доставала из своей «Бирюсы» колбасу, творог, сыр, кусок вчерашнего торта, яблоки, котлету и беспорядочно глотала остро-соленое после сладкого, тщето уговаривая себя остановиться.

Телефонный звонок опустошил еще больше — Алина просила сказать мужу, что ночевать будет у Жени. Голос веселый, беззаботный. Через пять минут, когда Женя лихорадочно колола грецкие орехи — последнее съедобное, что осталось в доме, — позвонил зять.

— У Алины занятия рисунком, а ко мне ехать ближе, — как могла, успокаивала она. Хотя метро «Аэропорт», рядом с которым она теперь жила благодаря хлопотам Инниной мамы, на одной линии с «Речным вокзалом».

— Слушай, Женя, ну зачем ей этот рисунок, и вообще все эти дилетантские потуги? Продолжала бы лучше статейки

писать о разных сортах авангарда... — Алинин муж жаловался не впервые. И сейчас ему лишь хотелось поговорить, отогнать подозрения. — Не знаешь, у нее никого нет?

— Да ты что! — показушно возмутилась Женя. — Ты что! — повторила она как заклинание.

Уговаривать надо было и себя. Ни в детстве, ни в юности сестры не делились друг с другом так называемыми девичьими секретами. Они были?

В пятом классе хулиган и второгодник Вовка Тюлькин, Тюля, целую неделю назойливо провожал их домой, на переменах дергал за косички, прятал портфели. Ухаживания закончились, когда после звонка на урок истории он усадил обеих сестер в коридоре на высокий подоконник и не выпускал до прихода учительницы, высмеявшей всех троих. Один кавалер на двоих — больше такого не случилось...

На вечере, посвященном, кажется, юношескому техническому творчеству, подошли два мальчика, один из десятого класса, как говорили, с большими литературными способностями, другой из параллельного девятого — элегантный ведущий всех школьных и областных концертов и кавээнов. Но тут объявили, что танцы окончены...

Это было единственное приглашение за всю школьную жизнь. Конечно, были мечтания, никому не рассказанные влюбленности. Но ни одного свидания и ни одной жалобы, даже друг другу — сестры стойко хранили обет молчания. Не заслужили они обиды, которую по наущению ханжи-тетушки нанес им отец, когда ее словами напутствовал их в день отъезда на учебу в Москву. Нелепо звучало сочетание в одной фразе высокого стиля — «проклянун!» и обывательского «ребенок в подоле». Сначала было смешно, боль появилась потом.

Алина с тех пор изменилась — стала решительнее, не сомневалась, а совершала поступки.

После разговора Женя приказала себе не есть и принялась наводить в доме порядок. Почувствовав, что набитый живот мешает наклоняться над веником, решила завтра поголодать, а сейчас сделать клизму. Когда снимала бра, чтобы использовать гвоздь, на котором оно висело, разбила лампочку. Мелкие осколки собирала дрожащими руками и редела.

Чуть успокоилась только тогда, когда приготовила ванну и погрузилась в объятия горячей воды. Господи, как не хо-

телось вставать и бежать к телефону, оставляя на паркете мокрые следы.

— Она еще не пришла, не волнуйся, а? Извини, я стою босиком в коридоре...

Конечно, больше лежать не захотелось. Вода уходила очень медленно. Тонкой струйкой плохо работающего душа сполоснула тело. Хлопья пены пришлось смывать с ног водой из-под крана.

В полночь разбудил телефон. Сказать, что Алина уже спит? Не поверит. Тогда где она? Все лекции давным-давно кончились. Ну при чем тут я? Почему должна за всех отдуваться?! А телефон голосит без перерыва, неправдоподобно долго. Так и видно: бедняга в телефонной будке с каждой минутой все яснее понимает, что Алина его предает, и все сильнее надеется, что это просто телефон сломался. Женя положила на аппарат подушку — слышно, плед — звонит. Выключила свет, с головой укрылась одеялом. Забылась или заснула...

Сестра появилась в шесть утра, возбужденная, с горящими глазами, без намека на угрызения совести.

— Не волнуйся, я поспала. Маловато, правда... У Левы в мастерской диван дореволюционный. Ему одна княгиня на память подарила, — с новой, пугающей откровенностью говорила Алина. — А потом он меня провожал. Мы пешком всю Москву прошли. Соловьи поют. Никогда не представляла, что это так прекрасно...

Сонная Женя поплелась на кухню варить кофе.

9. ИТАК, МАРАЗМ КРЕПЧАЛ

— Итак, маразм крепчал. — Никита выключил программу «Время», достал из письменного стола лист белой бумаги, посмотрел на свет — верже, с лилиями, и стал решительно, почти профессионально расчерчивать ее «на троих».

— За Цукермана, я смотрю, взялись, как за Солженищера, — заметил Борода, тасуя колоду английских пластиковых карт.

— Иди-ка ты!.. — зло оборвал Никита. — Я теперь вне политики. Нажрался этого дерьма...

— Что стряслось, просветите невежду. — Борода выпрямился и даже перестал сдавать карты.

— Не трогай его, — посоветовал Саша. — Вызывали, угрожали, а на работе приняли меры.

Некоторое время посторонних разговоров не затевали.

Каждый остался наедине со своими мыслями, сердитыми, горькими, которые где-то в воздухе сталкивались друг с другом, грозя превратиться в тучу.

— Отцы, я тут недавно Витюху встретил. — Борода меньше всех ощущал напряжение. — Ну, скажу вам, крепко он влип.

— Надеюсь, не по бабской части, — хмуро проронил Никита.

— Именно по бабской, как ты усек? — Борода опять не заметил, что наступает Никите на любимую мозоль. — Он сговорился с девицей с ромгерма, фигуристой такой, насчет фиктивного брака. Ей — деньги, ему — прописка.

— И почему же? — Саша свернул веер своих карт, перестав торговаться за прикуп.

— Что, интересно, сколько стоит свобода? — съехидничал Никита.

— Тыща. — Борода и сумму знал. — Прошло два года, насчет жилплощади ничего не уладилось, а от него требуют, чтобы выписывался. Если нет, заставят платить алименты — девица за это время родила. Не от Витюхи, конечно.

— Ну и дурак, — то ли рассказу, то ли мыслям о себе подвел итог Никита.

— Вспомнил, я же тебе «Лолиту» должен отдать. — Саша вышел в коридор и вернулся с книгой, распухшей от хождения по рукам.

— Ну что, ты тоже шокирован? — на всякий случай спросил Никита. Считалось недопустимым оправдывать влечение к нимфетке.

— Не понимаю, что за сложности с этим романом... — Сашу никогда не интересовало, из какого сора растут стихи, из чего приготовлено произведение. Он, как профессиональный гурман, оценивал только вкус и содержание полезных витаминов. — Это же не про запретную любовь к малолетке, а про избирательность чувства. Когда все остальные бабы просто противны, — поспешно снизил он пафос. — И показать это можно только на экстремальном материале. Ну, написал бы Набоков роман, в котором герой предан взрослой женщине — никакого же впечатления. Нет, это по своему нравственная книга.

— Роман написан прекрасно, — согласился Никита и, желая возвыситься над всеми, изрек: — Но нравственность там и не ночевала.

— Слушай, у тебя ведь тоже была Лолита, — напомнил Борода, постукивая пальцами по столу и нервничая, можно ли объявлять мизер с двумя дырами в одной масти.

— Да нет, она только ростом маленькая. А так оказалась вполне сложившаяся...

Разговор о женщинах пошел по второму кругу, но предгрозовая атмосфера исчезла.

— И Женя со мной согласна... — Уйдя в свои думы, Саша сделал неверный ход и упустил возможность поймать мизер.

— А я одну из Селениных встретил совсем недавно в очень веселой компании. — Обрадованный ошибкой партнера, Борода откинулся на спинку стула и закурил. — Нонконформисты, художники. Ребята, сразу видно, на платонические отношения не способны. «Девушка, я вас просто обязан написать», а потом раз — и на матрас.

— Да это наверняка была Алина! — рассерженно перебил Саша.

— Не сотвори себе кумира, — назидательным тоном сказал Никита. — Слухи о нравственности этих сестриц всегда были преувеличены. — В его голосе звучала явная мстительность. — Как насчет кофейку? — Никита поспешно бросил опасную тему: Саша, конечно, не будет требовать никаких доказательств, и все же, на всякий случай...

— От кофе теперь не отказываются. С первого марта двадцать рубчиков кило будет, — радостно объявил Борода, хотя ничего приятного в четырехкратном повышении цены не было.

— Сколько бы ни стоил — все одно бурда. Я вас настоящим, гранулированным напою, из-за бугра привезенным. — Никита принес из кухни большую пластмассовую банку с пузатой завинчивающейся крышкой, похожей на атомный гриб, и тут дверной звонок заиграл Моцарта. — Это отец, с задушевым разговором пришел. Сидите! — приказал Никита и пошел открывать.

— Буду я еще спрашивать!

В комнату ворвалось искусственно разъяренное существо в дубленке, рыжих сапогах на высоченных каблуках, с детским лицом, непрофессионально загримированным под взрослую женщину.

— Молодой человек! Помогите мне раздеться! — велела она Бороде. Присутствие растерявшихся зрителей сделало ее хозяйкой положения.

— Как ты посмела, после всего! — Никита выхватил у Бороды дубленку и попытался вернуть ее незваной гостье, но та, старательно не замечая его, плюхнулась на диван, взяла из пачки, лежащей на столе, чужую сигарету и вкрадчиво спросила у Саши:

— Огонька не найдется?

Только сейчас узнав ту самую Ларису-Лолиту, из-за которой Никиту выгоняли с работы, он автоматически полез в карман за спичками, но все-таки остановился — сообразил, что, дав ей закурить, еще сильнее укрепит позицию девицы, как бы станет на ее сторону.

Немая сцена была прервана появлением Никитино отца.

— Что же ты дверь не закрываешь? — остановился он в дверном проеме. — Ребята? Здравствуйте! — И тут его взгляд наткнулся на Ларису. — Она? — Получив утвердительный кивок сына, подошел к девушке и сухо представился: — Юрий Борисович, отец.

Строгость и отсутствие агрессивности с его стороны поставили стену между Ларисой и остальными, она неестественно хихикнула и протянула ему руку с так и не зажженной сигаретой для поцелуя. Никитин отец сделал вид, что не понял жеста, повернулся к ребятам и с нарочитой вежливостью попросил:

— Позвольте на непродолжительное время лишить вас общества сей дамы.

Издевка, упакованная в изысканное выражение, достигла цели: Лариса прямо на глазах превратилась в жалкое, вульгарное создание, которое послушно поплелось за Юрием Борисовичем на кухню.

— Что теперь-то ей от тебя нужно? — Борода не хотел оставаться в неведении.

— Уму непостижимо! — Никита все еще не перевел дух. — И с мужиком я ее застал, и про тамиздат доложила куда не следует, а все равно требует, чтобы женился. Люблю, говорит. Или просится хотя бы пожить, пока нигде не пристроится. Ну, ладно, давайте доигрывать. Отец с ней разберется.

— Слушай, у нас штат рецензентов перелопачивают... — Саша не мог сосредоточиться на игре. — Давай тебя запишем.

— Что, очередная чистка? — перебил Борода.

— Ага, там лажа вышла. «Чайник» один подсунул из вредности в свою рукопись десятка полтора стихотворных размышлизмов лауреата Ленинской премии. Рецензент, естественно, авторство не угадал, сборник раздраконил и почти все отрицательные примеры — из выдающегося мастера. А шустрый молодец возьми да и отправь отзыв самому лауреату. Такое разразилось...

— Что-то уж очень на анекдот похоже, — усомнился Борода.

— Да мы все персонажи одного довольно дурацкого анек-

дота, — хмуро заметил Никита. — Я б у вас поработал, но отца просить не хочу...

— Просить буду я, а кто чей отец, и так знают.

Пульку доигрывали по инерции — без спора уступали тому, кому шла карта, на десятикратной не угадали снос, и игра окончилась. Все время шикали друг на друга, пытаюсь сохранить тишину, но дом был построен еще до революции, и сюда не проникали не только звуки человеческого голоса, но даже шум воды в туалете.

— Ну-с, кто победил? — С этими словами в комнате появился Юрий Борисович.

Ничего нельзя было понять ни по его виду, ни по интонации. И вопрос дурацкий: никто не подсчитывал результата. Победил ли Юрий Борисович — вот что хотелось знать.

— А эта где? — не вытерпел Никита. Он стал похож на мальчика, который спрашивает у папы, прогнал ли тот обидчика.

— Все в порядке, сынок.

«Эта» была по другую сторону баррикад, презумпция невиновности распространялась только на сына.

— Читал вашу рецензию. — Юрий Борисович подсел к Саше. — Растете. Глубокий, научно аргументированный разбор. Можно братья и за сложные вещи.

— Например, за опусы Борисова-пэра, — поддел уже успокоившийся Никита.

Задник опустили, на сцене продолжалась благополучная, защищенная жизнь.

10. ЗАЩИЩЕННАЯ ЖИЗНЬ

До одиннадцати еще пятнадцать минут, и от метро к издательству Женя медленно, стараясь растянуть время, шла пешком. Народу немного, люди совсем другие, не похожие на тех, с которыми она каждое рабочее утро ездила в Институт летательных конструкций и каждый рабочий вечер возвращалась домой. Идти бы сейчас вот с этими ребятами. Похоже, студенты. Нет, лучше не с ними: сессия. Сама же завидовала тем, кому не нужно сдавать экзамены. Особенно жалко себя было зимой. Все спуют с елками, апельсинами, коробками и коробочками, предвкушая лучший в мире праздник — Новый год, а тебя ждет Ших, который и с третьего раза зачет по математике не всем ставит. Некоторых даже тридцать первого декабря держал до половины двенадцатого, на Центральном телеграфе — с факультета уборщицы выставляли.

Вместо того чтобы успокоиться, разволновалась еще сильнее. В узком вестибюле ее встретило огромное зеркало в резной раме — некогда дамы, прибывшие на бал, любовались перед ним собой и контролировали взгляд кавалера, который, стоя за их спиной, помогал снять меховую пелерину.

Так, платье не помялось... Еще бы, специально всю дорогу ехала стоя. Волосы растрепались. Можно здесь расческу из сумки достать? Ладно, украдкой сверху причешу и зажим поправлю. Французский. Сейчас уже, наверное, не модно, да и похожие в каждой галантерее продаются, а тогда мечтала... Интересно, кто это? В зеркале Женя увидела, как в дверь вошел угрюмый человек со старомодным портфелем из свиной кожи, пригладил низкую, скрывающую глаза челку, глядя себе под ноги, и нажал кнопку лифта. Он весь сосредоточился на не очень, видимо, приятном для себя деле — посещении издательства... Что же там может быть плохого, что? Писатель, наверное... Имеющий полное право сюда приходиться.

Женя пешком поднялась на второй этаж и несмело цапнула дверь начальника отдела кадров. Никто не ответил, хотя из кабинета передавали сигналы точного времени — одиннадцать ноль-ноль. Постучала смелее, толкнула дверь — закрыто, спросила у пробегающей мимо девицы, но та пожала плечами, мол, из другого отдела.

Пришлось ждать. Узкий полутемный коридор, присесть негде, а вот так стоять тут с видом бедной родственницы — унижительно уж очень. Вдруг забыл? Не должен. В пятницу вечером сам позвонил, время назначил, так и сказал:

— Если вы согласны на оклад сто пятьдесят, то сейчас же в приказ, и в понедельник добро пожаловать, приступайте.

Женя была готова работать здесь даже бесплатно. Правда, и Анна Кузьминична, заведующая редакцией, и директор говорили о ста семидесяти рублях, но торговаться неловко. А кадровик на ее молчание отреагировал по-своему и стал оправдываться отрывистыми фразами:

— Мы ошиблись. Нет такой ставки у редактора. Какую вам обещали. Через год-два себя проявите. Вам оклад повысят.

Если ставки такой нет, то как увеличат зарплату через год-два? Да ладно, Женя постаралась не думать об этом мелком обмане, надеясь, что это все же не правило, а неприятное исключение.

— Вы уже прибыли? — почему-то удивился начальник отдела кадров. — Ну, следуйте за мной. А кто ваши данные доложит? — спросил он по-военному. И по-военному же, очевидно, не извинился за опоздание.

Все кадровики, которые попадались Жене, к начальству относились, как к генералам, себя считали офицерами, а остальных — рядовыми.

Минут двадцать, бесконечных, ходили по этажам и кабинетам, пока не нашли на совещании у директора одного из замов, согласившегося представить нового сотрудника. Женю поразил сильный запах одеколona и рыжий цвет его волос, явно благоприобретенный.

Из-за двери на четвертом этаже доносился сердитый гул, вдруг прерванный истерическим криком:

— Ты! Ты! Ты! Это ты вбила мне гвоздь в голову! Какого лешего ты тут юбку свою протираешь! Ты не можешь руководить! Для тебя что Пушкин, что Антошкин! Антошкин даже лучше — он может духи подарить!

— Скорее «скорую»! — Из комнаты выскочила немолодая женщина со смешанным выражением радости и озабоченности на сердитом лице.

Поднялась суматоха. Бегали с чайником, с таблетками, с мокрым вафельным полотенцем.

— Анна Кузьминична, это когда-нибудь кончится? — Женин сопровождающий не вытерпел и выудил сухопарую даму из нехорошей комнаты.

— Ах, вы уже здесь? — Второй раз за день Жене удивились. — Извините, Альберт Авдеич, тут у нас небольшой эксцесс.

— Да уж вижу...

— Это больной, очень больной человек. — Сочувственными словами начальница явно хотела убить двух зайцев: продемонстрировать свою гуманность и выгородить себя.

— Вот я вам и привел совершенно здорового сотрудника.

Так Альберт Авдеич оценил Женино молчаливое спокойствие. Сам он, казалось, воспринял гневные разоблачительные выкрики без малейшего изумления, как простую констатацию правды, которая никогда ничего не изменит.

Быстро и умело представив Женю, он удалился. Анна Кузьминична, невысокая особа в очках с лицом землистого цвета принялась назойливо хлопотать вокруг нее: усадив за стол только что увезенной в больницу Майковой, сгребла без разбору все ее бумаги и унесла к себе в кабинет, потом при всех стала объяснять Жене, как трудно здесь работать, как она рада молодому пополнению. Во всеуслышание объявила, что поручает новой сотруднице редактировать собрание сочинений Кайсарова. Не веря своему счастью, Женя подняла голову и наткнулась на враждебные взгляды и угрюмое молчание. Все здесь имело двойной смысл, а как понять его — загадка.

Анна Кузьминична еще несколько раз просунула голову в дверь комнаты, где Женя впилась во вступительную статью. Соседи шептались, то слетаясь к одному из столов, то многозначительно выходя в коридор.

Громко, без таинственности обсуждалась только работа корректоров — оказалось, это большой отдел, которым все редакторы были недовольны. Вспоминали довоенную корректорскую. Тогдашний директор был отважным и набрал на службу дам дворянского происхождения, безупречно образованных и, что самое важное, своей честью отвечавших за качество работы. Редакторы тогда бегали к ним советовать... А нынешние то и дело с важным видом спрашивают друг у друга, можно ли написать так или этак, — и следует элементарный вопрос по стилистике или даже орфографии, который вроде бы не должен возникать перед человеком с высшим гуманитарным образованием.

Оказалось, удивительное случается здесь довольно часто, и удивительное не только для новичка. С совещания вернулся грузный лысеющий редактор, чей стол был напротив Жени. Его только что покарали снижением квартальной премии за книжку стихотворных миниатюр, изданную с большим перерасходом бумаги: директор не поленился, подсчитал, что в ней целых пятнадцать полупустых страниц с двухстрочными стихотворениями. За что на него, директора, кричали в вышестоящей инстанции.

Все непонятно. С одной стороны, разве преступление — отделять совершенно разные миниатюры друг от друга? С другой — зачем вообще издавать этого неостроумного и необразованного стихотворца? И наконец, почему так спокоен наказанный?

Ответ на последний вопрос Женя вскоре получила от дамы с сердитым лицом: Петр Иванович, так звали редактора, участник войны, даже немножко инвалид, и это обеспечивает ему прочное положение в издательстве.

— Нас и уволить могут за идеологическую ошибку, с него же — как с гуся вода. А материальные потери ему автор возместит, мелочиться не будет.

Вечером, когда все уже собрали в стопки корректуры, достали из холодильника добытые на воле продукты, уложили их в авоськи и прозвучал призыв: «Ну, девочки, погребли!» — в комнату влетела испуганная начальница и, причитая: «Кайсаров пришел! Кайсаров пришел!» — потащила Женю за собой.

— Павел Александрович! Эта молодая особа — ваш новый редактор. Поработайте с ней, не буду вам мешать... — Пятясь задом, Кузьминична выбралась из своего кабинета.

«Да, захлопнули в клетку с тигром, да еще и дверь захлопнули», — подумала Женя.

Но этот поджарый, собранный человек с цепким взглядом живых карих глаз — лишь покрасневшие усталые веки выдавали его возраст — бросился на нее не сразу. Сначала решил проэкзаменовать:

— Вы хотя бы читали то, что я написал?

— Да, я все читала.

— Так уж и все? — Голос Кайсарова смягчился.

— Я посмотрела план первого тома и думаю, что он неправильный, странный какой-то. Надо гораздо больше включить ваших рассказов двадцатых годов, которые давно не переиздавались, а ведь они так перекликаются и с вашими новыми вещами, и с самыми авангардными поисками молодых.

— Вы считаете? Знаете, как критики меня за эти рассказы называли? Литературный старьевщик, сочинитель криптограмм, — хитровато улыбнулся Кайсаров. — И вы надеетесь, что их сейчас пропустят?

Это была новая для Жени постановка вопроса.

— Главное, это читателю нужно. Пока их только в Ленинке отыщешь.

— Вы, я смотрю, литературный человек. А мне тут позвонили, говорят, что Кузьминична сунула мое собрание сочинений какой-то девчонке, совершенно некомпетентной. — Кайсаров заговорил с Женей, как со своей. — Я ей такое устроил по телефону! А потом решил все-таки сам посмотреть... — Взгляд мэтра медленно прошел с ног Жени до ее лица и остановился на груди. — Теперь понимаю, что правильно сделал.

— Совсем как в ваших романах, где всегда есть мотив клеветы. Но ведь кончается все хорошо.

Говоря с Кайсаровым, Женя впервые чувствовала себя собой. Провинциальная робость исчезла, она легко находила нужные слова, чего не было ни с университетскими друзьями, не считая Саши, ни с официальными лицами.

— Да, и у нас с вами все будет отлично.

11. ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛАСЬ

Жизнь изменилась.

Это было не увлечение, не любовь, а странная безудержная страсть. Редко встретишь врача, который не только не гнушается, но и с удовольствием выполняет работу медсес-

тры, сиделки, санитарки, нянечки. В редакторской профессии Жене нравилось все — от составления пятилетнего плана до монотонной и совсем не творческой работы по чистке рукописи, когда надо напечатать слово на машинке, аккуратно вырезать его из листа бумаги и вклеить на то место, где Кузьминична жирной синей линией зачеркнула крамольное по ее мнению и наверху, задевая другой текст, поставила знак вопроса. И так пять, десять, сто раз...

Только один человек помогал Жене — секретарь редакции Валерия Петровна. Перед войной она приехала в Москву, чтобы поступить в пединститут, но оглянуться не успела, как оказалась замужем за сыном крупного военачальника. Через несколько дней после полного веселых сюрпризов медового месяца ее арестовали. Если бы это стряслось в ее прежней, нишей и трудовой, жизни, контраст не был бы так мучителен... Следователь попался хороший, объяснил, что это предупреждение свекру. Началась война, быстро дали срок и отправили работать в дом малютки, на Колыму. Освободили в сорок шестом, досрочно — хлопотал свекор, ставший дважды Героем Советского Союза, маршалом. Но вернуться в семью не согласилась — поняла, что за это исторически короткое время пропасть между ней и маршальским сыном стала непреодолимой.

Пошла служить в издательство, наискосок от дома, где в коммунальной квартире жила она с привезенными из провинции престарелыми родителями. Кормить семью из трех человек в те времена было очень трудно, брала работу на дом. Машинистка Валерия Петровна была первоклассная — двадцать пять страниц в час десятью пальцами вслепую без единой опечатки. Но при Жене она уже зарабатывала не этим. Источником дохода, помимо секретарского оклада в сто двадцать рублей, были расклейки. Женя так и не смогла привыкнуть к этому варварскому жертвоприношению: разрывают два экземпляра книги и наклеивают каждую страницу на лист белой бумаги. И с автора в частном порядке взыскивают за эту ценную услугу по пять копеек за страницу или даже по десять. Некоторые писатели, из начальников, злили тем, что присылали готовые расклейки, сделанные секретаршами. Ничего не поделаешь: своя секретарша ближе к телу.

Низким прокуренным голосом Валерия Петровна громко объяснялась с начальницей, обсуждала производственные вопросы. И очень тихо, почти шепотом, советовала по телефону автору, как вставить книгу в план, рассказывала Жене очередную любовную новеллу из жизни только что отошед-

шей от ее стола редакторши — если та распорядилась напечатать договор, отнести корректуру на подпись в главную редакцию или поручила еще какое-нибудь досадное дело, из тех, что составляют служебные обязанности секретаря редакции. При этом делались непрозрачные для Жени намеки на безупречность моральных и профессиональных качеств этого человека, из чего следовало, что обращать внимание на него не надо и что Женя все равно лучше всех. Несмотря ни на что. На что не надо смотреть — понять невозможно.

Каждое предание было отточено частым рассказыванием, знали его с подачи Валерии все сотрудники, исключая, конечно, главное действующее лицо.

Вот тихая, неразговорчивая Маша Майкова. Пишет диссертацию, в партию вступила. Ради знаменитого либерала Баринова украдкой, как подпольщица, бегала в корректорскую, чтобы восстановить снятые цензурой куски из его статей. А он на дочке генерала женился, без всякого объяснения с Машей. Вот и увезли ее в психушку.

Или Аврора Ивановна, дама с неприятным лицом. Прошла в издательстве, как пишут в юбилейных адресах или некрологах, славный путь от курьера до старшего научного редактора. На самом же деле с трудом карабкалась по карьерной лестнице, пребывая на каждой ступеньке такой огромный срок, что сделалась притчей во языцех. В очередной раз жалуется на нехватку времени, недвусмысленно намекая, что больше и лучше всех работает именно она. Ну, тут очень кстати подковырнуть рассказом (конечно, за ее спиной) о том, как, выпросив разрешение не приходить на службу, она звонит дочери: «Замочи белье, у меня завтра библиотечный день».

Проблема незаконного свободного дня Женю не беспокоила — в субботу и воскресенье она скучала по издательству, скрашивая уикенд посещением Ленинки, чтением рукописей, корректур, а иногда и работой с Кайсаровым, для которого все дни недели были на одно лицо...

— Здравствуйте, Евгения Арсеньевна! Вы волосы распустили? А вот раньше было принято прически носить, чтобы овал лица подчеркнуть, — весело заметил Кайсаров, помогая впервые пришедшей к нему Жене выбраться из тяжелой шубы.

Не мешкая, она подошла к зеркалу и заколола волосы на затылке.

— Господи! Так не бывает! — П. А. от восхищения Жениной реакцией снял очки и отошел в угол. Полюбовавшись ею, он поправил узел широкого старомодного галстука, застегнул пуговицы темно-синего шерстяного жакета, предложил: — Сейчас чайку выпьем, — и ушел на кухню.

Оставшись одна, Женя присела на край ампирного стула и принялась рассматривать гостиную. Круглый стол на музейных львиных лапах накрыт обыденной клеенкой, на нем две чашки, тарелка с сыром, хлеб и начатая коробка зефира в шоколаде. В комнате просторно расположились большие удобные вещи, похожие она видела в искусствоведческих книгах и альбомах: комод в стиле ампир, двустворчатый шкаф, переходный стиль от барокко к классицизму, инкрустированная жардиньерка.

— Какая красивая мебель! Так и хочется воскликнуть: уважаемый шкаф!

— Да, мебель старинная, но это не гарнитур, каждая вещь сама по себе, со своей историей. Когда-нибудь я напишу о них. Чай сейчас заварится. — П. А. подошел к бюро, на котором лежала кучка писем. — Вот, в сегодняшней почте послание от сумасшедшей старой девы, без подписи и без обратного адреса. Рассказывает, как ее подругу преследует главный инженер. Но я-то вижу, что речь о ней самой, она за ним гоняется. Сексуальная психопатка с манией величия. И конец: «Прошу вас это письмо никому не показывать». А я вам читаю! — Кайсаров отрывисто захохотал.

Из письма было ясно, что автору не больше сорока, но семидесятипятилетний Кайсаров говорил о ней как о женщине пожилого, неинтересного ему возраста.

— Минутку, я еще раз позвоню... На дачу. У жены стенокардия, врачи прописали постельный режим, а дозвониться невозможно.

— Что, никто не подходит? — испугалась Женя и уже готова была ринуться на дачу, чтобы помочь.

— Да нет, все время занято. Наверное, с кем-нибудь разговаривает, — пожаловался Кайсаров с обидой. — Вот посмотрите статью. Я здесь про экранизацию классики пишу и заступаюсь за режиссера. Его фамилия Гребень. Снял «Горе от ума», очень хороший фильм, а на полку положили.

Кайсаров все еще терзал телефон, когда Женя кончила читать.

— Замечательная работа! Сейчас редко кто понимает и ценит специфику кино. Обсуждают литературный сценарий, а не фильм. Ведь главное — что увидел глаз. Многие современные фильмы можно только слушать — все будет ясно. И еще про «искажение классики». Приди домой, раскрой книгу — там все на месте осталось, ничего не испорчено. По вашей статье похоже, что получилось настоящее кино.

— О, как вы тонко понимаете. Скоро придет Гребень, я думаю, мы вместе сможем поговорить. Что же вы ничего не

едите? — Сам Кайсаров не торопясь отрезал от бутерброда маленькие куски и с наслаждением смаковал.

— Спасибо, не хочется, — сказала Женя чистую правду.

— Сразу видно благородного человека — он и не ел, а сыт, — с хитровой улыбкой процитировал Кайсаров слова Плюшкина.

Еще больше он обрадовался, когда Женя предложила вымыть посуду. В кухне было очень чисто. Вообще вся квартира ухоженная — без запыленных углов, без больших и маленьких завалов, но и без закабаляющего порядка, когда каждый предмет, от ножниц до стула, раздраженно требует вернуть его на свое место. Как непохоже на обиталища стариков, у которых вещи под конец жизни завоевывают и подоконники, и стены, громоздятся на комодах и шкафах и потихоньку вытесняют самих владельцев в мир иной.

Женя достала толстую папку с расклейкой третьего тома собрания сочинений Кайсарова и стала ее перелистывать, сверяясь с картонкой, на которой столбиками были выписаны номера страниц с важными и не очень вопросами к автору. Произведение, вошедшее в золотой фонд советской литературы — официальная оценка романа, десятки раз издавалось с одними и теми же неточностями.

— Вот здесь у вас: «Солнце скрылось за горой», а у Майкова: «Солнце скрылось под водой». Это сознательная трансформация?

— Так «Спи, дитя мое, усни» — Майков? Нет, какая там трансформация! Я это воспринимал как фольклор. — Кайсаров добродушно рассмеялся. — Конечно, надо поправить.

— Я сравнила два варианта вашего романа. Мне кажется, многое вы зря сократили.

— Зря! Как будто я этого хотел! За первую часть меня даже в «Правде» ругали. Лет пять потом ко мне никто не приходил, телефон месяцами молчал. А с каким трудом я его писал! Только одно начало — толстенная папка. Никак не удавалось. Оказалось, очень трудно описывать женщину. Я решил, что напишу много-много всего, может быть, получится. А вот теперь в последней повести о Зое Звонаревой рассказано мало, а ведь получилось!

Даже в дружеском разговоре Кайсаров следил, чтобы хвала не перевесила хвалу. Но это было открытое, простительное хвастовство, похожее на похвальбу ребенка.

— Сокращала ваша Аврора. Перестраховщица, между нами говоря, первостатейная! Она все скользкое вымарывала — и как в тридцать седьмом при сколько-нибудь серьезных разговорах телефон подушкой закрывали, и про аресты, и как всех в стукачестве подозревали...

— Вот это все и восстановим. А почему выпал диспут с Маяковским, сцены в Доме литераторов, как они на спектакли Мейерхольда ходили, как Зощенко читали? Ведь у вас был еще и фотографический портрет эпохи, и такие важные детали пропали!

— Дай вам Бог сохранить это чувство правды, эту искренность на всю жизнь...

— А кусок про колхоз я бы убрала — чувствуется его конъюнктурность...

Женя была так увлечена работой, что на комплимент не отреагировала — уложила его в уголок памяти, чтобы потом, наедине с собой, распробовать и посмаковать.

— И тут вы правы. Ведь что тогда получалось: кулак, тот, кто много и с хорошими результатами работал — плохой, раскулачить, а бедняки, неумехи, лентяи, пьяницы — молодцы... У меня в первом варианте по-другому было. Архив на даче, я сейчас позвоню, мне найдут. — Кайсаров пошел к телефону. — Что же у тебя все время было занято? Нет? Ох, я — дурак, здешний номер набирал. Конечно, было занято — я сам же и занял.

Пропищал звонок, и Кайсаров попросил глазами, чтобы Женя открыла входную дверь.

Режиссер оказался высоким человеком спортивного сложения. В этот холодный зимний день на его ежиком стриженной голове не было шапки, под нейлоновой курткой советского производства тонкий колючий свитер плотно облегал широкие плечи, хмурый взгляд исподлобья выражал решительность и целеустремленность.

Кайсаров усадил его за чтение статьи, а сам продолжил работать с Женей.

— Павел Александрович, дорогой вы мой! — Гребень порывисто вскочил со своего кресла и обнял Кайсарова за плечи, развернув его лицом к себе. — Слов нет, как глубоко вы поняли мой фильм! Новая для меня интерпретация!

Видно было, что Гребень хорошо умеет срежиссировать свой отзыв. Слова нашлись, но что-то его больно задело. И когда он стал аргументировать высокую оценку кайсаровской статьи, ни разу не упомянув о других экранизациях, Женя догадалась, что сами имена коллег и названия их фильмов вызывают у него почти физическую боль.

Кайсаров же удобно расположился в кресле, с удовольствием слушал и слышал только похвалу себе. Внезапно для него Гребень иссяк, и в комнате установилось неловкое молчание.

— В своем фильме вы согласны или спорите с Мейер-

хольдом? — Женя не выдержала и заполнила паузу плохо сформулированным вопросом.

— При чем тут Мейерхольд? Я его не читал и спектакль не видел! — сердито оборвал ее Гребень.

Этого Женя не могла понять. Ну, сделать все наоборот, противоположно Мейерхольду, но почему не учесть его совсем не бесполезный опыт? Как Светлана могла с ним дружить? Такой крепкий, сильный, а столько слабых мест... Почему такой озлобленный?

А Гребень уже мог говорить только о своем будущем фильме:

— Начинается с того, как главный герой, писатель, выступает в клубе, где знакомится со своей восторженной поклонницей, влюбленной в его книги. Такая длинноногая провинциальная Брижит Бардо. Оказывается, она работает в клубе после окончания университета, директор обещал прописку в Москве, но за это требует от этой чистой невинной девочки... — Гребень недовольно посмотрел на Женю и с видимым усилием заменил многоточием крепкое словцо. — Ну, писатель, конечно, возмущен и предлагает ей свой кров, спрашивает приятеля, старого холостяка, фиктивно на ней жениться, чтобы выручить несчастную.

— А почему же он сам на ней не женится? — наивно удивилась Женя.

— Да он женат, — с сожалением ответил Гребень и скомкал свой рассказ. — Ну, в конце он теряет и ее, и друга. Старик влюбился, организовал ей карьеру, та стала влиятельной особой и расплатилась с главным героем отрицательной рецензией на его фильм.

— Так он писатель или режиссер? — подцепил рассказчика Кайсаров, до того равнодушно дремавший в кресле.

— Какая разница! Это неважно! — резко бросил Гребень, но тут же сообразил, что отвечает не беззащитной Жене, а авторитетному хозяину и вежливо стал объяснять: — Здесь дело в психологии. Я хочу показать, как настоящий художник уязвим, как он одинок...

«Трудно будет снять такой фильм, — подумала Женя. — Пока получается, что его цель — любыми средствами оправдать главного героя, даже если для этого понадобится одни и те же поступки оценивать в зависимости от того, кто их совершил». А вслух спросила:

— За что же она так ему отомстила?

— Я думаю, ответом на этот вопрос и будет фильм. — Было похоже, что Кайсарову все ясно. И не только про кино. Что в подобные ситуации он и сам попадал, и отлично по-

нимает режиссера как мужчина мужчину. — Ну, мы еще здесь поговорим, а с вами, Евгения Арсеньевна, мы как будто на сегодня можем закончить?

Хотя было это сказано и добродушно, и вполне учтиво, холодком все-таки повеяло. Что надо изменить — свое поведение, свое ко всему отношение или просто всегда так больно, когда мечты сталкиваются с тем, что называется жизнью?

12. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ВЕШАЙТЕ ТРУБКУ!

— Пожалуйста, не вешайте трубку! Как вас зовут?

Женя и не собиралась прерывать разговор, тем более что собеседник представился первым: «Рахатов». Даже интересно, что дальше.

— Вы давно здесь работаете? Почему я только второй раз слышу этот хрустальный голос? А сколько вам лет? Уверен, что вы молоды, поэтому и отважился спросить. Вы замужем?

Вопросы становились все требовательнее и, по Жениным представлениям, выходили за рамки приличий. Противиться допросу она не решалась — телефон был в секретарской, Валерия уже вернулась на место и внимательно поглядывала на нее, а односложные ответы давали возможность скрыть суть допроса. Поэтому Женя сразу согласилась дать домашний номер и с облегчением повесила трубку.

Быстро вернулась в комнату, уткнулась в корректуру, но настойчивый, решивший за нее человек не отпускал, не разрешал думать не о нем.

— Евгения Арсеньевна, не возражаете, если мы с автором здесь в комнате поработаем? — В дверях стояла Аврора Ивановна с полуживым от одышки классиком.

— Конечно, — с готовностью ответила Женя и на всякий случай еще спросила: — Не помешаю?

Как будто шелкнуло, морщины на лбу Авроры чуть сместились, и всегдашнее неприятное выражение сменилось снисходительным. Женя угадала правила игры: спрашивать разрешение должна она, новенькая, а вопрос старейшины означал одно: смотрите, какая я воспитанная, как отличаюсь от тех, кто без спросу тащит в комнату и автора, и техредов, и даже со своими подружками тут, при всех болтает.

Аврора Ивановна блюла свою обособленность, старательно подчеркивала свое превосходство над остальными редакторами, но с ней Жене было проще, обоюдное «вы» как пароль облегчало общение.

Женя никак не могла понять, в чем ее изъян, неужели

опять виновата провинциальность? Когда слышала обращенное к себе «ты», казалось, что ее застали голой. Ничего не могла с собой поделывать, хотя замечала, что ее «выканье» обижает: одним кажется заносчивостью, другим досадно намекает на возраст.

Как переступить эту черту, если все пять университетских лет на «вы» называли даже ребят из параллельной группы? Преподаватели, кроме тех, кто вел историю КПСС, были со студентами на «вы», с отчеством. Особенно выделялся легендарный Ших, впоследствии известный диссидент. Однажды на зачете сокурснику стало плохо — перебрал предыдущим вечером. Ших не растерялся, свернул кулек из двойного тетрадного листа и протянул этот гигиен-пакет побледневшему, или позеленевшему, студенту: «Пожалуйста, Михаил Александрович».

Может быть, здешнее «ты» богемное, так говорят друг с другом писатели, художники, композиторы? Но так же обращается деревенского вида парень из АХО к старой гардеробщице...

— Будьте добры, Женя, поставьте чайник, а то у нас лифт опять не работает. — Аврора Ивановна не потрудилась связать логикой просьбу и ее мотивировку. Наверное, это означало, что автор устал, поднимаясь на четвертый этаж, и теперь ему неплохо бы выпить чаю.

«Здесь только палец дай, всю руку откусят», — подумала Женя, но воду вскипятила.

— Не очень крепко? — спросила она у классика, наливая ему из заварочного чайника.

— Чай никогда не бывает слишком крепким. — Старый, усталый человек с интересом смотрел на Женю.

Аврора Ивановна начала объяснять, почему она не может пропустить предисловие старинного друга автора, академика. По ее словам выходило, что статья написана в недопустимом для жанра разговорном стиле, с ненужными житейскими подробностями, а научный анализ отсутствует. Чтобы доказать свои претензии, она испещрила рукопись многозначительными подчеркиваниями, вопросительными и восклицательными знаками на полях. Классик смущенно кивал головой: было неловко защищать друга, да и свою биографию он не привык афишировать. А иметь научный анализ своего творчества — кто же откажется!

Из чистой, нерасчетливой любознательности Женя прочитала вчера эту статью, живую и интересную. И анализ там был, только не наукообразный, а простой и ясный, слишком ясный для того, чтобы его поняла замороченная Аврора

Ивановна. Но ведь не в том было дело — вчера Аврора вслух зачитывала довольно обширные места, где положительно упоминались Ахматова, Цветаева, Мандельштам. Потом донесла заведующей, с радостью потопавшей в главную редакцию продемонстрировать не Аврорину, а свою бдительность.

— Зато из всех стихотворений мы снимем только одно...

— Только одну ногу отнимем, — почти невольно пробормотала Женя.

— Вот когда и вас будут на каждом собрании поминать, тогда посмотрим, как вы заговорите! — сердито крикнула Аврора.

Поэта же не удивило, что из страха за себя редактор калечит его книгу. Да ему ведь тоже доставалось в жизни. Полкниги — переводы, а в ней все или почти все, что он написал.

Уходя, он согнулся, еще тяжелее опираясь на толстую палку.

Аврора Ивановна на Женю не рассердилась — так была обрадована, что все обошлось, что сама со стариком справились.

— Женечка, хочу с вами посоветоваться. Вы знаете, я редактирую книгу одной известной поэтессы, не будем называть ее имени... — Аврора многозначительно поджала тонкие губы.

Никакой тайны, конечно, не было. Шумная, толстая, молодящаяся особа, об известности которой Женя узнала только здесь, в издательстве. Когда Аврора находила в ее стихах скрытые намеки, поэтесса громко смеялась: «Да не бойтесь вы! Если что, я к Юлику на танке въеду!» Так панибратски она именовала директора Сергеева.

— И вот она очень хочет мне подарок сделать. Честно говоря, есть за что. Я очень тщательно работала над ее книгой. И стихи отбирала — она еще поразила тонкости моего вкуса, и строчки правила. Ну так вот, она просит сказать, что можно мне подарить. Отбросьте, говорит, стеснение, на Западе давно забыли эти церемонии. Предлагает хрусталь, отрез на пальто... Что-нибудь одно, конечно... — Лишь этот комментарий был сделан петитом, скороговоркой. Все остальные слова произнесены были медленно, значительно, с чувством собственного достоинства. Подразумевалось, что собеседнику и в голову не придет мысль о вульгарной взятке.

— Вы же знаете меня, хрусталем — в отличие от наших — не увлекаюсь, пальто у меня есть... Очень туфли черные

нужны. Я знаю, она в «Березке» может купить, но как без примерки? Придется книгу дефицитную попросить, типа двухтомника Бенуа. Это будет интеллигентно.

— Конечно, — только и проговорила Женя.

По дороге домой в голове вертелось: «Неужели я могу такой же стать? Никогда!»

Открывая дверь, услышала голос телефона. Ключ как на зло заело, а когда справилась с замком, в квартиру уже вернулась тишина. Обидно, что не успела. Так редко звонили домой, что она ценила каждый разговор. Кто же это мог быть? Не родители — на тревожный междугородный не похоже. Алина? Она сейчас на лекциях. Кайсаров? Сегодня уже говорили, все обсудили...

Даже себе Женя не называла имени того, на чей звонок надеялась, а все перебирала и перебирала близких и далеких знакомых, проверила, не сломался ли телефон, правильно ли лежит трубка, и тут же услышала:

— Добрый вечер! Вы меня узнали?

— Да-а... — Женино сердце застучало так, что, наверное, на том конце провода слышно.

— Почему поздно домой пришли? Судя по номеру, в районе «Аэропорта» живете?

— Да... — Успокоиться никак не удавалось.

— А что вы односложно отвечаете? У вас кто-нибудь есть? — В голосе Рахатова послышалась отчужденность.

— Нет, я одна. — Женя попыталась сказать фразу подлиннее, но не получилось.

— Нет сейчас или вообще нет?

— Нет, у меня никого нет.

Конечно, гордиться одиночеством в двадцать шесть лет нечего, можно было увернуться от прямого ответа. Университетская приятельница делилась, как один бард непризнанный, узнав, что она еще ни разу не была близка с женщиной, велел ей сначала отправиться в люди, а он потом посмотрит. Но Женин собеседник был доволен.

— Вам, наверное, ужинать надо? — Голос явно смягчился.

— Нет, я стараюсь вечером не есть, — опять слишком откровенно ответила Женя.

Еще минуту назад она предвкушала, как сядет в кресло, включит телевизионные новости и будет пить чай с глазированным сырком, добытым в издательском буфете, но сейчас есть совершенно расхотелось.

— Что, худеете? Вот это напрасно. Расскажите, какая вы.

Получилось, что Женя, загипнотизированная вниманием Рахатова, сама дала ему право задавать такие вопросы, сама

вручила власть над собой, сама пообещала слушаться. Он теперь все про нее знает, а она про него? Ну, известный поэт, много книг, часто выступает, поклонниц, конечно, уйма. Да, кажется, Аврора, бывшая когда-то его соседкой, намекала, что девицы у него не переводятся. Но я ведь не поклонница, к нему домой никогда не приду. Зачем он говорил, что такие женщины, как Анна Керн, более уникальны, чем Ахматова и Цветаева?

Что из этого выйдет — неизвестно и интересно.

13. НАДО

Надо хотя бы позвонить Саше с Инной, в который раз напоминала себе Женя. Раньше была готова проводить у них все свободное время, Ленечку полюбила, с удовольствием с ним оставалась, когда Нине Александровне и Инне, обеим нужно было уйти из дома. Как они ее жалели, когда она мучилась в Летательных конструкциях! Не на словах, на деле. Даже не предупредив Женю, Нина Александровна разузнала о вакансиях в издательствах и редакциях газет и журналов, выбрала самое лучшее место и принялась искать подходы...

А теперь, когда все более или менее наладилось, исчезаю? Неужели я как все — такая же примитивная эгоистка? И тут Женя поняла, что просто боится отойти от телефона. Рахатов может позвонить или не позвонить в любое время, а ему известны два номера — рабочий и домашний. Сначала это было новой, необычной, затягивающей игрой, а потом она почувствовала, что без ежедневных разговоров уже не может обойтись. Почему? Он умеет ласкать словом, — признавалась себе Женя, оправдывая свою добровольную зависимость.

Но сегодня Рахатов уехал в Свердловск, выступать. Первый день разлуки всегда самый тяжелый, и она оторвала себя от телефона.

— Тебе повезло, нам на один день «Метрополь» дали почитать.

Саша усадил Женю на толстый ковер рядом с неправдоподобно огромной, неудобной книгой — только что изготовленным в нескольких экземплярах альманахом «Метрополь». В оглавлении — любимые авторы: Аксенов, Искандер, Битов, Высоцкий...

— Хотя бы на ночь дайте, — поклянчила Женя. — Вам это развлечение, а мне для работы нужно. Сегодня как раз шум был страшный. Валерия в чистых листах обнаружила посвящение Аксенову.

— Ну и что, листы ведь от этого не стали грязными, — то ли пошутил, то ли и вправду не понял Саша.

— Да чистые листы — это уже готовая книга, только не сброшюрованная. Наконец ясно стало, зачем их читать заставляют. Ведь сколько опечаток находила, все скрывали — исправлять-то уже поздно, весь тираж отпечатан. А из-за политики могут и выдирку сделать.

— И кого же выдерут? — Саша не ждал ответа. — Выходит, твоя Валерия на Аксенова наступала? А ты говорила, что она сидела...

— Я сама была поражена. Сложный она человек. Столько в ней разного намешано, и хорошего, и плохого. Сегодня-то она в героинях ходит. Главный редактор в знак благодарности за проявленную бдительность руку пожал.

— Господи, ну и нравы у вас! Ни за что не пойду служить! Ты, Сашка, даже не надейся! — Инна возмущенно тряхнула головой, и тюрбан, сооруженный из алого махрового полотенца, раскрутился, мокрые волосы рассыпались по лицу. — Даме руку — целуют. — Она опустила голову вниз и, пряча рыжие пряди под тюрбан, добавила: — Хотя, конечно, все с ног на голову поставлено. Нелепо за такое — руку целовать. Тут без партийного рукопожатия не обойтись.

— И никто ее не осудил, даже в коридоре, между собой. — Женя спешила выговориться.

Она совсем не была уверена, что издательские дела так уж всем интересны, просто нужно было освободиться, назвать безумие не ведомственными профессионализмами, а нормальными словами. Чтобы не разучиться думать и воспринимать все по-человечески.

— Кузьминична на каждой летучке твердит: «Текстологию я вам всегда прощу, а идеологию — никогда», — имея весьма смутное представление о том, что такое текстология. И какую «идеологию» не простит — сама толком не знает. Ни определения, ни списка, действительного на год, на месяц или хотя бы на текущую неделю, никто дать не может. Не только потому, что все меняется. Невозможно быть в курсе того, чего нельзя, потому что именно «чего нельзя» и есть самый главный секрет.

Саша прекрасно знал таких теток и сам мог многое рассказать о них, да только ничего существенно нового его бы истории не открыли. Он подошел к пианино, долго рылся в

нотах, сваленных кучей на верхней крышке, ничего не выбрал и одной рукой стал перебирать клавиши. Мелодия из «Травиаты», которая всегда отрывала Женю от житейских пустяков, была сейчас тайным знаком Сашиного неодобрения, но Женя не сумела остановиться.

— Выпустили роман Гончарова «Обрыв» с обрывом, без последнего абзаца — ничего, не трагедия, отправили тираж на Дальний Восток, и дело с концом! У Авроры в повести Паустовского целая страница пропущена — а, ерунда, кто это сейчас заметит! А...

— Эта Аврора только с виду покультурнее остальных, — вставила Нина Александровна. — Вообще-то они все там одинаковые. Доят писателей самым беспардонным образом. Когда отец там издавался, я избегалась — то хрустальную вазу достань, то путевку в Коктебель, то талончик на праздничный заказ...

Нина Александровна говорила спокойно, не «поливая», а всего лишь констатируя, описывая обитателей служебного зверинца. Возразить было нечего. И Женю беспокоило только одно — как бы эти новые знания не проступили в ее общении с коллегами.

— А Кайсарова ты по-прежнему переписываешь? — Оказалось, что Саша следит за разговором.

— Я не Аврора, которая, правя секретарский роман, одного героя потеряла. В чисто авторские дела не вмешиваюсь. — Женя испугалась, что и ее могут принять за варвара, и заговорила немного велеречиво: — Кайсаров иногда спрашивает насчет новых произведений, но я просто свое мнение говорю... А старые вещи приходится реставрировать. Наши асы редактирования ухитрились даже намеки на тридцать седьмой выкорчевать.

— Женечка, а вы не слишком неосторожны?

— Я эти куски аккуратно печатаю и клеиваю в текст, показываю Кузьминичне два-три безобидных места... Дальше, говорю, все в том же духе. Расклейки-то у нас начальство не читает.

— Это дилетантизм. Редактор не имеет право относиться к литературе как нормальный человек. — Было непонятно, шутит Саша или говорит серьезно. — Эту профессию создал Сталин. Человек, умеющий писать, в редакторе не нуждается.

— Как это? Все-таки взгляд со стороны... Иногда ошибки бывают... — Жене очень хотелось найти внятные, недемагогические доказательства необходимости профессии, которую она самозабвенно полюбила.

— Да ты же просто исправляешь то, что другие напортачили. И цензором служишь! Теперь, конечно, уже нужны редакторы-спасатели, но их давно повывели! — Что-то сильно задело Сашу. Похоже, его раздражала Женина погруженность в работу. — А насчет ошибок? Да пусть даже ляпы пройдут... Ну, помог бы редактор Толстому сроки беременности маленькой княгини соблюсти... Ну, указал бы Чехову, что в «Толстом и тонком» у мальчика на голове то фуражка, то шапка... А знаешь ли ты хоть одного редактора, который бы у Тургенева исправил то место, где у него цветут растения, которые распускаются в разное время года? В мелочах, да и то не во всех, навели бы порядок, а сколько бы вреда принесли! Хотя, может, цитаты и надо проверять. В том журнале, куда я сейчас отдал статью, проверщица этих цитат — единственный культурный человек. Редакторша почти ничего не читала, о чем я пишу. Завотделом неплохой мужик, но — темный лес. Дальше еще более темный зам и, наконец, вершина невежества — главный. Испугался фамилии Бахтина — спутал его с «метропольцем» Борисом Вахтиным!

— Сашок разбушевался! — стала утихомиривать зятя Нина Александровна. — Тебе не везло с редакторами, но всюто профессию зачем чернить! В вас, Женечка, еще никто не влюбился? — перевела разговор на другую тему. — Смотрите, остерегайтесь. Рахатов уже меня расспрашивал, что это за новая редакторша с таким приятным голосом. Но не бойтесь, я ему твердо сказала: «Руки прочь!» Он засмеялся, но надулся. Хотя у него сейчас не поймешь — с кем и где живет. Я уверена, Сима его только на длинный поводок перевела. Она его от себя никогда не отпустит.

Струсив, Женя уткнулась в «Метрополь». Вот и еще одно доказательство того, что все надо держать в секрете.

— Никаких Рахатовых! — провозгласила Инна. — Сашка уже ревнует.

— Не завидую, если он начнет тебя своей поэмой душишь. — Саша криво усмехнулся. — Давайте выпьем чегонибудь.

14. «ДОМА ТВОРЧЕСТВА ДИКУЮ КЛИЧКУ...»

«Дома творчества дикую кличку...» — Женя уцепилась за цитату, приближаясь к месту свидания, первого. А страх подбирался быстрее. Вдруг он опоздает? Спрятаться тогда, может быть? Как хорошо, что весна началась! Позавчера

еще голые ветки торчали, но один день солнышка, и на всех деревьях тонкое зеленое кружево. Шубу эту дурацкую сняла наконец. Сколько ей уже лет? Родители купили в честь поступления в университет. Сначала мне, на следующую зиму — Алине, и только потом маме: в один год три шубы было не достать, да и дорого. Мама до сих пор бережет, в театр да в гости надевает, когда садится, подол с угла подворачивает, чтобы мех не вынашивался. А шуба всего-навсего из черной цигейки, здесь только провинциалы, из тех, что попроще, в таких ходят, в комплекте с серым деревенским платком и уймой авосек. Стало стыдно за такие мысли, защемило сердце от любви к родителям. Надо съездить в Туров, хорошо бы с Алиной. Да нет, нельзя. Придется подождать — может быть, она еще к мужу вернется? Только бы знакомых не встретить. Кажется, сейчас никого из издательских авторов здесь нет.

Женя замедлила шаг и внимательно осмотрелась. Новое трехэтажное здание из красного кирпича виднелось за раздетыми еще деревьями парка, на крыльце — никого. От старого здания с белыми колоннами кто-то идет ей навстречу. Серое пальто в елочку с наглухо застегнутым воротом, рыжая лисья шапка надвинута на лоб — и джентльмен, и богема.

— Наконец-то! — Рахатов плавно наклонился и поцеловал холодную руку, с которой Женя заранее сняла перчатку. Серые глаза с мешковатыми веками смотрели пристально, а что надеялись они увидеть, Женя не понимала. — Вы замерзли? Пойдем ко мне? — заискивающе предложил он.

— Разве я опоздала? — Женя начала отвечать по порядку. — Нет, мне совсем не холодно. Мы же собирались только погулять? — Она улыбнулась, пытаясь смягчить твердость своего ответа. Но улыбка была неуместна.

— Я столько подчинялся вам... Ни одного свидания в жизни так не ждал... Вы приехали... Неужели...

Бессвязные слова кружились, толпились все теснее, громясь друг на друга...

Смотря себе под ноги, Женя усердно чертила носком сапога прямые линии и круги.

— Мы же договорились... Вы хотите сломать наши хрупкие отношения, нашу дружбу? — Она подняла голову, встретилась взглядом с Рахатовым и не выдержала тяжести, отвела глаза.

— Ну что же, если вы это так понимаете... — угрожал ей посторонний, холодный человек.

Женя увидела пропасть. Все туда рухнет: и телефонные разговоры, и их ожидание, и это счастливое состояние, со-

знание того, что ты не одна, что тебя любит такой известный, такой добрый человек... Вспомнилось, как в издательстве Рахатов подсел к неухоженному старику и после ритуальных «а помнишь...» — оказалось, что они вместе учились в Литинституте, — стал настойчиво допытываться, как он сейчас. Тот, словно стыдясь, признался, что не может достать коринфар для жены-сердечницы. Рахатов тут же, из предбанника Валерии, позвонил какой-то Танечке в аптекоуправление — телефон знал наизусть, видимо, от частого употребления, — да еще всучил бывшему однокашнику, не считая, всю пачку денег, что оказалась в его бумажнике.

Сердце Женино дрогнуло, бледное от холода и от страха лицо вспыхнуло румянцем, и она пошла на попятную:

— Вы так легко от меня отказываетесь?

— Да это же не я, а вы, — устало объяснил Рахатов.

— Я не понимаю, почему? — Она сделала еще один шаг назад.

— Что же тут непонятного? Вы меня отвергаете да еще заставляете что-то объяснять...

— Я?.. Отвергаю?..

Женя почувствовала, что причиняет Рахатову боль. Голос задетого самолюбия она еще не умела распознавать.

— Если женщина предлагает мужчине дружбу, значит, он ей безразличен... — Рахатов не подозревал, что это непреложное, на его взгляд, правило может быть кому-то неизвестно.

— Нет, нет, я совсем не это хотела сказать... — Женя судорожно искала слова, которые бы успокоили его. — Я люблю вас.

Рахатов недоверчиво посмотрел на нее. Он снова был поражен. Лишь в кино можно прокрутить пленку назад и посмотреть, как из руин один за другим взлетают куски и складываются в целый и невредимый дом.

Не дотрагиваясь друг до друга, они направились к новому корпусу, по широкой, покрытой ковром лестнице поднялись на второй этаж, вошли в его номер. Рахатов молча помог Жене снять пальто, повесил его на плечики. Пока он сам раздевался, Женя замерла у балконного окна. Во дворе, где они только что стояли, никого не было. А если их кто-нибудь видел? Теперь все равно...

Рахатов медленно повернул ее лицом к себе, стал гладить волосы и, шепча ласковые слова, какими успокаивают маленьких девочек, прижал ее к себе. В твердости, с какой он это сделал, была и нежность, и сила...

— ...Знал, что мне с тобой хорошо будет, но такого не ожидал... И от себя не ожидал... Удивительная это вещь — тяготение двух людей друг к другу. Удивительная... Когда, конечно, это не просто влечение полов, а нечто гораздо большее. Любое прикосновение, дыхание, голос, даже молчание рядом — все становится радостью, все превращается в праздник, все волнует до глубины души. Я открыл тебя, и ты открыла меня. Открытие произошло, и тут же возникло огромное доверие. А это так важно! Я очень тебе верю, очень. В надежность твою, в твою настоящую, до последнего вздоха любовь, в твои слова, поступки, во всю тебя. И никакой иной радости кроме тебя у меня фактически нет. Знаешь, как мне хорошо от того, что у меня есть ты! Вот зовут меня к телефону, я иду порой чуточку озабоченный и хмурый, готовясь к какому-нибудь неприятному разговору... И вдруг ты!!! Знаешь, какая радость сразу вливается мне в душу! Голос у тебя звучит как самая лучшая музыка. Слушаю его, и все во мне успокаивается, приходит в гармонию. Дел у меня великое множество, я в них порой захлебываюсь, пускаю пузыри, но твоя нежность так согревает меня, так окрыляет мне душу... Умница моя глупенькая! Умница потому, что любишь меня, а глупенькая оттого, что занимаешься самоистязанием и самоедством...

Эта ласка утешила Женю. А огорчила ее будничность, с которой он слишком долго мылся в душе, тщательно одевался, с трудом попадая ногой в брюки, пил воду, ополаскивал стакан. Значит, все-таки не разочарован? О себе она не думала, все равно только так она могла сохранить отношения, без которых уже не могла обойтись. Оскорбительно это не было.

— Ты хорошо себя чувствуешь? — Рахатов как будто очнулся, возник из небытия.

Женя кивнула головой, продолжая смотреть ему прямо в глаза.

— Вот бы держать тебя в инкрустированной шкатулке и вынимать, когда нужно... — Он не заметил эгоистичности своей мечты. — Давай чай пить.

Как надо теперь разговаривать? Ведь что-то должно измениться? Но Рахатов сделался всего-навсего внимательным хозяином, ненавязчиво следящим за тем, удобно ли его гостю, все ли угощения она попробовала, и Женя заговорила так, как будто она в очередной раз рассказывает ему по телефону свой день.

— Я боялась опоздать: еле вырвалась с работы. Уже верстка второго тома Кайсарова прошла, а мне вдруг объявля-

ют: в собрание сочинений можно включать только то, что многократно издавалось.

— Что значит «многократно»? — Рахатов подался вперед и напрягся.

— Вот и я не поняла, и главный редактор, и даже директор. Звонили начальству, самое высокое в загранкомандировке, а поменьше тоже недоумевают. Полдня совещались, пока не решили, что «многократно» начинается с двух раз.

— Не понимаю, это что же, в собрание сочинений можно включать только те стихи, которые уже два раза печатались? Обязательно в книгах или можно в газетах или журналах? — забеспокоился Рахатов, как будто речь шла не о Кайсарове, а о нем.

— Вы бы еще спросили, надо ли с собой приносить веревку? Да с этим бороться надо! Зачем читателю собрание сочинений, устаревшее уже в день выхода?!

Столь болезненный интерес Рахатова к издательскому делу удивил Женю. И еще больше удивил его испуг. Столько книг выпустил, а все думает только о том, как бы увернуться от издательской махины, как будто это непредсказуемый механизм, в устройстве которого ему не разобраться! И пietet к ней самой проскальзывает, очень неприятный. Как у владельца автомобиля к работнику станции техобслуживания. Но я-то могу лишь информировать и советовать.

— Женечка, вы мне теперь близкий человек, и вам я могу сказать... — Рахатов отошел к окну и промокнул лоб белоснежным платком.

Забыв все свои упреки, Женя приготовилась услышать тайну, которую она, конечно же, никогда не выдаст. А может быть, это касается их отношений, их будущего? Он ведь теперь за меня отвечает... Почему тогда «вы», а не «ты»? Почему перестал обнимать?

— ...Дело в том, что, кажется, с будущего года мое собрание сочинений будет выпускать ваша редакция.

Разочарование, недоумение, неловкость, горечь — все это надо скрыть. Женя давно знала, что он хлопочет об этом издании, знала и о сопротивлении заведующей, возмущенной якобы несправедливостью: не прошло еще положенных пяти лет после выхода избранного, а он куда замахнулся! Что-то крылось за такой неприязнью. Значит, он победил? Женя угрюмо молчала.

— Вас что-то огорчило? — Рахатов вернулся на диван и приобнял Женю. — И я жалею, что редактором будет Петр Иванович. Конечно, с вами было бы лучше, но мы с ним всегда работали, он обидится, если я вас попрошу.

— Совсем не в этом дело. — Долго молчать Женя не уме-
ла.

А дело было и в том, что она сейчас узнала, и в том, что
он об этом именно сейчас заговорил, и в том, о чем он да-
же не заикнулся.

— В чем же? Глупенькая, не надо ревновать меня к моим
книгам. Ты бы первая меня бросила, если б я был никто,
ничего не делал. Трехтомники не каждый год издают, да и
не каждый может их издать. Ты вот тоже увлечена. На служ-
бу позвонишь — ты как на иголках, всегда что-то горит. Я
же не обижаюсь.

— Обижаетесь... — Женя приняла предложенную причи-
ну. — Мне пора! — Она резко встала подошла к шкафу и са-
ма надела пальто.

— Давай хотя бы посмотрим расписание, может быть,
можно еще посидеть. — Рахатов попытался удержать Женю,
но ей показалось, что только из вежливости. — Я тебя про-
вожу?

— Ни в коем случае! — Женя быстро чмокнула его в ще-
ку, на секунду замерла у двери, прислушалась, нет ли кого в
коридоре, надела на лицо выражение независимости и вы-
шла из комнаты, как нырнула в холодную воду.

Теперь бы никого не встретить. А за калиткой уже не
страшно — мало ли почему я здесь.

— Женя? Какими судьбами?

На лестнице она налетела на лысого человека в стоптан-
ных тапочках и темно-синих шароварах с вытянутыми коле-
нями. Откуда взялся? Он ведь в соседней редакции работа-
ет. А, член союза... Хвастался этим, когда пили чай с его
тортом, которым он отмечал выход книги со своим предис-
ловием. Как же его зовут? От страха никак не могла вспо-
мнить и смешалась еще больше: что ему сказать?

— Я по делу здесь была.

— И у кого? — спросил он и, как почудилось Жене, дву-
смысленно ухмыльнулся. — Все равно я узнаю.

Но эта угроза ее уже только рассердила. Так захотелось
ответить: «А какое ваше дело?» или хотя бы: «Простите, я
тороплюсь». Но тогда он затаится и назло будет сплетни
распускать. А что в издательстве этим не брезгают даже
мужчины, Женя успела убедиться, и не однажды.

— Никак не пойму, чего директор со своим заместителем
не поделили? Сегодня из-за пустяка сцепились при всех, как
кошка с собакой, — без всякой связи с предыдущим брякну-
ла Женя.

И попала в точку: в свару постепенно втягивалось все из-

дательство, причем вражда начинала приобретать политическую окраску. Правда, раздел на два лагеря не был нов. Даже Женина редакция разделилась на две группы, неприязнь между которыми то вспыхивала и с помощью базарного крика делалась достоянием не только всего коллектива, но и проходящих авторов, то уходила в подсознание. Но существовала всегда, как вирус в родильных домах нашего отечества, который не вывести никакими санобработками. А началось все с колбасы: лет пятнадцать назад в одном из праздничных заказов не оказалось сервелата, и комната, в которую попал ущербный набор, возненавидела другую.

Женин собеседник увлекся, стал подробно излагать свою версию. Из этой путаницы было понятно только то, что его обижали оба — и директор, и зам, что он хочет быть объективным, находится, так сказать, над схваткой, поэтому ему достается от обоих лагерей. То и дело повторялось: «Он говорит... я ей ответил...» В общем, след был запутан, Женя с чистой совестью вставила: «Извините, спешу» — и бросила нежеланного собеседника.

Только дойдя до знаменитого переделкинского кладбища, Женя перестала ловить на себе взгляды, перестала искать и бояться найти знакомые лица. Подошел полупустой поезд, она села на переднее сиденье, где было только одно место — значит, без соседей, лицом к стене — никто не увидит и не узнает. «Все-таки у меня хватило смелости!»

Стемнело, за окном с трудом можно было разглядеть деревенские дома, поля, еще покрытые снегом. Страхи потихоньку улетучились, огорчения показались надуманными. Жене стало одиноко и спокойно.

15. ОДИНОКО И СПОКОЙНО

Войдя в Женину квартиру, мама скинула босоножки, на цыпочках прошла в комнату и первым делом задернула шторы на окнах — те, кто не забыл еще старые времена, стараются всегда, когда только возможно, не пускать посторонний взгляд в свою жизнь.

— Эх вы! — горько вздохнул отец. — Вернулись бы домой, преподавали бы сейчас в педагогическом, по квартирам бы не мыкались... Алина совсем с ума сошла! Муж был такой приличный, заботливый. В крайнем случае можно было друга завести... А этот Корсаков... — Он не нашел приличных слов, тяжело сел на стул, наклонился и стал расстегивать сандалеты.

— Знаешь, он пошел со мной в магазин, так я все время боялась, вдруг люди за моего мужа его примут, так он старо выглядит, — зашептала мама, нехорошо улыбаясь. И уже громко: — Нет, ты скажи, сколько ему лет?

— Мам, ну как ты можешь! Не знаю я, сколько.

Родители остановились в Москве по пути в санаторий имени какого-то партсъезда. Третий день обсуждали безумный поступок Алины. Для них слово «развод» звучало как «позор».

Алина говорила, что Корсаков, ее новый муж, похож на Сократа. Лысый веселый художник, готовый к умному лукавому разговору. Наслушавшись его речей, Алина поверила в свой талант, отбросила семейные предрассудки, решив, что родители прожили свою жизнь зря. Она опьянела от ощущения внутренней свободы и не захотела ломать комедию, когда первый муж предлагал пожалеть предков и изобразить, что все по-старому.

При постороннем человеке, почти своем ровеснике, папа подавленно молчал, а у Жени выложил все, что его возмутило. Из солидарности с сестрой она не поддакивала, хотя со многими отцовскими резонами была согласна. Правда, когда Алина рассуждала о творчестве, о любви, о смысле жизни, Женя тоже соглашалась. И Рахатов намного старше... В общем, в голове была полная каша, в духе «и ты права, Сарра».

А сердце ничего не подсказывало. Оно как будто оцепенело и ждало одиночества. Чтобы во всем разобраться, чтобы спокойно разговаривать по телефону и встречаться с Рахатовым.

— Твои-то надолго сдают? — Папа выпил холодного кваса, отдышался и смог говорить без ярости.

— Лет на пять. Хозяйка уехала с мужем в Америку. — Женя обрадовалась, что наконец-то и до нее очередь дошла. Увлеклась, пытаясь рассмешить родителей историями из редакторского быта: — Одна дама правила очень плохой перевод. Доделала, оставила на столе, чтоб автору передали, а сама уехала в отпуск. В дороге вспомнила, что забыла стереть гневные карандашные пометки, сделанные в сердцах. И вот в редакцию приходит телеграмма: «Устроилась хорошо убедите проститутку с полей».

Но никто даже не улыбнулся. Пришлось объяснить, что поля есть у рукописи, а проститутка — эвфемизм, заменяющий исконно русское слово...

— Кайсаров тебе с квартирой помочь не может? — Папа резко сменил тему. По его понятиям, если нет своей жилплощади, значит, дочка не может быть счастлива.

— Папочка, но он же только хороший писатель. Он даже поста никакого не занимает.

— Но ты писала, что редактируешь важного начальника. — Мама подняла голову от штопки шерстяных Жениных рейтуз, отысканных ею при разборке платяного шкафа, и сдвинула очки на лоб.

— Это другой. Его я просить не могу, неудобно, — «и бесполезно», уже про себя добавила Женя.

Полтора месяца назад ее вызвали к директору. Там было собрано так называемое издательское руководство, но не привычно, вокруг шефского места, а за длинным полированным столом, на котором несуразно, как начинающие фигуристы, притулились разнокалиберные чашки, вазочки с мелкими сладостями, не оставляющими крошек и жирных пятен. Напряженно изображая непринужденность, все пили остывший чай.

Сергеев представил Женю по-заграничному подтянутому пожилому господину в светлом шерстяном костюме из дорогой ткани. Над верхней губой у него набух большой зеленый прыщ, за который ей почему-то стало очень неловко.

Женя впервые видела его живым. Все-таки на портретах и по телевизору они совсем другие. Как там умеют придать человеку значительность, даже низкорослость скрыть. Сталин был коротышка, а ни по одной кинохронике этого не скажешь.

— Вот никак не можем уговорить Ивана Иваныча выпустить хотя бы шеститомник. Что же повторять предыдущее собрание сочинений, пять всего... — Директор напыжился от гордости за свою смелость — такое высокое начальство не каждый, мол, посмеет критиковать. Шварцевская ситуация, да и только.

Но Иван Иванович вел себя как и следует человеку его ранга — подобострастия не поощрял и приторности пролитого на него еля не чувствовал.

— Кто будет предисловие писать? Надо ли комментарии? По какому изданию расклейку делать? — Женя задавала профессиональные вопросы, и этот разговор, заманчивый для писателя любого калибра, отгородил их от остальных.

Иван Иваныч вынул из своего портфеля два экземпляра предыдущего собрания сочинений для расклейки, и Женя обнаружила три третьих и только один второй том.

— Вот видите, уважаемый Иван Иванович, мы вам лучшего редактора дали. — Директору бы только себя похвалить — любой повод сгодится.

«Если они лучшей называют за то, что цифирки на книжках разглядела... недорого же стоят их оценки», — подумала Женя.

Когда писатель ушел, Женя задала еще один вопрос: по инструкции нельзя одновременно с собранием сочинений выпускать другие книги того же автора, а в плане стоит иллюстрированное издание его лауреатского романа. Все рассмеялись, и каждый сверчок сел на свой шесток: Женя на редакторский, остальные — на руководящие...

...Родительское расследование между тем продолжалось:

— А парень нас встречал, он кто?

— Саша? — По лицу Жени разлился ровный, спокойный свет. — Саша — самый надежный, самый близкий нам человек. Алина считает, что у него абсолютный слух в литературе. Неудачно женат, правда...

— Ты замуж выходить собираешься? А если с квартиры прогонят? Вдруг в Москве совсем прописку запретят?

Родители безошибочно выбирали вопросы, ответы на которые и Женя хотела бы знать. Странно, они не радовались тому, что у дочери есть любимая работа, что она живет в любимом городе. С одной стороны, понятно — врач не обращает внимания на здоровые органы, а говорит только о том, что болит. Но они как будто стараются доказать, что обе дочери живут неправильно, что все, чего они добились, не стоит и ломаного гроша.

— Ну, распланирую я сейчас будущее. Интересно, какой план вас удовлетворит — пятилетний, семилетний или, может, до двухтысячного года? Лучше, конечно, до конца моей жизни... Наше государство уж сколько лет такие планы строит. Тебе, папочка, лучше известно, какой от них толк и как они выполняются. — Жене показалось, что родители восхищены ее остроумием, что она глубже их понимает жизнь, и продолжала уже в менторском тоне: — Вами управлял страх, вы боялись сказать лишнее, поэтому и друзей не завели. Боялись дачу построить — что люди скажут... Папа даже карьеру не сделал — разве такого места ты достоин? А мама! Зачем ты шторы всегда задергиваешь, что скрываешь? Да у вас даже в мыслях нет ничего такого, что бы противоречило сегодняшней газете!

Женю никто не останавливал. Мама съежилась и, как всегда, когда терялась, не понимала чего-то, с надеждой смотрела на папу, а тот грустно, снисходительно улыбнулся:

— Мы свое уже прожили, ничего нам не надо... Только бы вы были счастливы... В Турове я бы мог тебе помочь, а здесь — не знаю... Будь с людьми добрее, не заносись...

Он говорил медленно, тихо, как будто знал правду, о которой дочери рассказывать бесполезно — молодая еще, все равно не поймет.

А Жене становилось все неудобнее. Она чувствовала, что беспокойство отца — правильный диагноз. Но ведь и он не знает, что делать, сам же сказал. Добра мне хотят, а все осудили, все вверх дном перевернули, везде какие-то тряпки валяются, на кухне не пройти — банки, кастрюли, еда всякая, нарушили всю жизнь, по телефону свободно поговорить не могу.

Перепутав причины и следствия, Женя нашла самый стандартный и простой выход — рассердилась на родителей.

Утром проснулась от вкусного запаха, напомнившего детство — варенье, пироги, кажется, с малиной. Громкий шепот... Сегодня уезжают.

— Мамочка, ты что же, спать не ложишься?

Все белье выстирано, даже постельное — его Женя всегда сдавала в прачечную. Вьетнамская циновка, скоропостижно разрушавшаяся после того, как ею позавтракали мыши, обшита по краям чем-то знакомым. Да это же старое шерстяное платье, давно уложенное в коробку с тряпками, — при следующей генеральной уборке или следующем переезде отправилось бы в мусоропровод. На кресле раскинуты выстиранные и выглаженные шторы.

— Эти банки тебе, вот эти — Алине. Умывайся, давай вместе позавтракаем.

На мамином лице были скорбь и покорность, какие бывают в церкви на лицах верующих старушек. Папа уговорил не вспоминать обиды. Если сейчас попросить прощения, то без ссоры не обойтись. Лучше сделать вид, что ничего не произошло. Требовать можно только от себя. Родителей уже не переделать, а я потом все в одиночестве обдумаю.

— Зря вы поездом едете: жарко, долго, грязно...

— Мама любит... Сядет в купе — сразу начинает отдыхать. Да и не привыкли мы к самолетам. — Отец был рад переменить тему. — В прошлый раз с нами ехал декан горьковского института, так он за нашей мамой ухаживал, потом со всеми праздниками ее поздравлял... Девочки, живите дружно, помогайте друг другу. — Это уже на вокзале.

16. О ГОСПОДИ!

— О господи! Голова как трещит!

Женин сосед по камере (она-то добровольно считала рабочую комнату залой или гостиной) с раздражением и грехотом выдвигал один за другим ящики своего стола. Наконец в нижнем нашарил полупустой флакон зеленого одеколна франко-советского производства, подаренный ему родным коллективом ко Дню Советской армии. Дрожащими руками отвернул крышку, хлебнул, запрокинул голову. Шумно прополоскав рот, немного пораздумывал и проглотил жидкость как лекарство.

Никто не обратил внимания на неэстетичную процедуру, а Женю чуть не стошнило. Выскочила в коридор и наткнулась на Валерию.

— Поздравляю вас! Чистые листы первого тома Кайсарова пришли! — У нее в руках была стопка уже разрезанных и просмотренных страниц. — Опечаток, кажется, нет, но бумага подкачала — то в голубизну ударяет, то почти желтая. В книге будет некрасиво смотреться.

— Что же делать? — В таких тонкостях Женя еще не разбиралась, но Валерия вон как озабочена, и Кайсаров, наверное, расстроится...

— Пойдите к Вадиму Вадимычу, только он может помочь. И Женя, схватив листы, помчалась на пятый этаж.

Заместитель директора, продолжая говорить по телефону, кивком показал на стул.

Какая странная у него прическа. Издалека — аккуратно уложено, вблизи же видно, что клочок длинных волос перекинут с правой стороны на левую, чтобы спрятать лысину. А если ветер?

Стараясь не прислушиваться к неторопливому разговору, ничуть не ускорившемуся от ее прихода, Женя стала разглядывать книги в старинных резных шкафах.

— Подошли человека, завтра, часа в три, я все устрою. Да, чуть не забыл, мне два рулона рубероида для дачи нужно. Сделаешь? Ну и ладненько... Ты что так запыхалась?

Женя не сразу сообразила, что Вадим Вадимыч уже кончил телефонный разговор и обращается к ней — так вкрадчиво, мягко он задал свой вопрос, слишком интимный при их дистанционных отношениях. А поняв, чересчур быстро ринулась к столу, чтобы показать листы.

— А-а... Конечно, некрасиво... как слоеный торт. Мы головку закрасим, верхний обрез. Я обещал Кайсарову, что другие тома будут на хорошей бумаге. Конец квартала — вы-

бирать не приходится. — Вадим Вадимыч изучающе посмотрел на Женю и, расплывшись в улыбке, взял ее за руку: — А про тебя очень хорошо все говорят, молодец! Может, тебе что нужно?

Сделав вид, что ей надо пригладить волосы, Женя отняла руку и села на самый дальний стул. Во рту пересохло, и «спасибо» получилось почти неслышно.

— Возьми подписку на Цвейга, он ведь у нас по жребии был.

Новое «спасибо» прозвучало слишком громко. Женя, как всегда, не посмела отказаться, хотя собрание сочинений Цвейга она как раз вытянула. Не решилась огорчить человека, как оказалось, к ней так расположенного.

— Хороших работников, понимаешь, не ценят у нас. Этот, — Вадим Вадимыч показал на стену, за которой находился кабинет директора, — любого предаст. Ты с ним как?

Женя пожалала плечами — откуда ей знать, как?

— Вот-вот, ты ему в лапы не давайся. Мне один очень известный и уважаемый художник говорил, что вот он, этот, прощается с тобой дружески, даже до лифта проводит, дверцу откроет, а там и пустой колодец может оказаться, пропасть. В хозяйственных делах, понимаешь, совсем не разбирается. Или чересчур хорошо разбирается. Говорят, дачу себе строит из материалов, которые издательству на ремонт выделены. Но это между нами...

«Какое “между нами”!» — подумала Женя. Сто раз уже слышала она шушуканье и про художника, и про дачу.

Зазвонил телефон, и Женя, ругая себя, потихоньку выбралась из кабинета. Получилось, что она теперь обязана Вадиму. За что? И когда, как потребуется расплачиваться?

В конце дня из производственного отдела принесли пухлый синий том с золотыми тисненными буквами: «П. Кайсаров. Собрание сочинений». Как некрасивая девочка из стихотворения Заболоцкого, что бескорыстно радовалась чужому велосипеду, Женя в упоении показывала всем книжку. Техредше, случайно заглянувшей в их комнату, рассказала, как ходила к Вадиму Вадимычу.

Аврора Ивановна отвела Женю в сторону:

— При ней, — она показала на пухленькую техредшу, — про Вадима ни слова.

— Почему? Я же ничего плохого не говорю.

— Все равно. Она его любовница.

— Как это может быть известно? — спросила Женя, вме-

сто того чтобы оборвать сплетницу. «Вдруг и про меня такое же говорят?»

— Их видели вместе в ресторане ЦДЛ, — привела Аврора неопровержимое, по ее мнению, доказательство.

В вечернем телефонном разговоре Женя подробно обрисовала Рахатову эту поучительную, с ее точки зрения, картинку издательских нравов, которая, однако, Рахатова ничему не научила, наоборот:

— Совершенно тебя не понимаю. Я — другое дело. Мне есть кого бояться, все-таки жена, сын. А я не страшусь, ничего не скрываю. Да, порой люди судачат, а потом очень быстро привыкают к новости, какой бы она ни была. Вот напряги память и попробуй назвать хотя бы одно женское имя, связанное с известным писателем, политическим деятелем, художником и преданное позору или анафеме? Я такого имени не нашел. Анна Керн? Мария Денисова? Елизавета Воронцова? Лиля Брик? Вероника Полонская? Ольга Ивинская? Или, может быть, смеялись над их мужьями, над Осипом Бриком, Михаилом Яншиным? Чепуха все это. Дело в том, как сам человек относится к событиям и к самому себе. Можно втягивать голову в плечи, а можно высоко поднять ее и так держать всегда. А ты, как зайчик, тени своей пугаешься. Можешь мне объяснить, почему?

— Сто раз объясняла: если вы не хотите быть со мной вместе... — Этими словами Женя заменяла другие, которые она не произнесла бы, как ей казалось, никогда и ни за что, так они были унижительны для нее.

— Да нет же, нет! Хочу и буду! По-разному могут складываться обстоятельства, но, что бы ни происходило, я — рядом с тобой, а если какое-то время не рядом, все равно, я принадлежу одной тебе! Тебе и никому больше! Вот были у меня сегодня гости — получилось даже неудобно: я все время уходил от них в свой кабинет и погружался в мысли о тебе. Говорил, что выпил лишнюю рюмку, а на самом-то деле я был там с тобой, мое солнышко... — Взволнованная нежность зазвучала в голосе Рахатова, и он помолчал, чтобы осознать и запомнить это новое для него чувство. Но в установившейся тишине не было ответных признательных импульсов, и ему пришлось вернуться к горькому началу разговора: — Оставить Симу — значит отрубить голову человеку, который двадцать лет не в пример многим и многим бесстрашно сражался за меня с моими идейными и творческими недругами, помогал мне в тысячах разных дел... Как же

я отрублю ей голову? Ты же добрая, ты этого не захочешь. И сына я не могу бросить. — Рахатов даже устал, убеждая себя в своей полной правоте.

Попрощавшись, Женя не смогла усидеть на месте. Как будто машина на большой скорости с визгом затормозила и вновь понеслась. Стала бегать из угла в угол, попробовала читать. Детектив — ничего не поняла, отложила. Свежая «Литературка» — ну и чепуху пишут!

Позвонила Алине. Соседка прогнусавила: «Их нет дома, они мне не докладывают, куда ходят...» — и бросила трубку. Кайсарову же я не сказала, что книга вышла. Предвкушая его радость, волнуясь, набрала номер.

— А, Евгения Арсеньевна... Я знаю, мне директор звонил, поздравлял. Обещал завтра свой экземпляр прислать с шофером. Как там у нас дальше, все в порядке? Ну, извините, у меня сейчас гости.

Наверное, в таком состоянии о самоубийстве думают или начинают пить, а я даже не курю. Сама во всем виновата. Что в моей жизни только от меня зависит, зачем я ко всем прилепляюсь, путаю их жизнь со своей? Вот и получается — в чужом пиру похмелье, и какое тяжелое.

Зазвонил телефон. Неужели Рахатов? Стидно стало?

— Мне поговорить с тобой очень нужно... — Сашин голос звучал подавленно. — Выйди, а? Я у твоего дома.

Одному человеку понадобилась, пусть хотя бы как жилетка. Наверное, Инна его допекла. Как можно так пользоваться Сашкиной деликатностью! Ему ведь только тяжелее оттого, что он не может огрызаться и кричать.

Джинсы и рубашку переодевать не стала, шпильку, которой кое-как были заколоты волосы, положила на стеклянную полку в ванной и, не глядя в зеркало, пару раз провела щеткой по распущенным прядям. Губы Женя не красила, хотя Алина убеждала, что помада делает лицо более выразительным. А Рахатов любую косметику не любит... Да он и брюки запрещает носить...

— Это — вам!

Саша театрально протянул веточку с ярко-красными ягодами, которую скорее всего сорвал с рябины из дворового скверика. Никакой удрученности. Успел уже запрятать свое настроение, или ничего и не случилось?

— Слушай, Жень, пошли в кафешку, посидим, выпьем?

— Как тебе не стыдно?! С такой тревогой звонишь, я все бросаю, а тебе, оказывается, повеселиться захотелось.

Отчитывала Женя без раздражения — так сестра корит старшего брата, уверенная, что у женщины отсутствие мудрости, приходящей с возрастом, возмещается интуицией. А в

кафе пойти нельзя: во-первых, одета по-домашнему, во-вторых, Рахатов рассердится, что с посторонним где-то была (ему ведь не втолковать, что Саша почти как родной), даже к Кайсарову ревнует — сам-то ни разу не встречал поклонниц, которые бы не переносили влюбленность в его стихи на него самого. Убедить его ни в чем невозможно, а скрывать — значит лгать, этого я обещала никогда не делать.

— Сашенька, не могу. Завтра надо корректуру сдавать, а еще половина не прочитана.

— Жень, кончай так уродоваться! Чего ты добиваешься? Все время как на галерах. Я понимаю, так проще — запрячься и тупо тащить воз. Но ты даже цель перед собой никакую не ставишь! Лихадемик — его в Питере так ребята именуют — в молодости тоже в издательстве служил, корректором. Но его выжили. В итоге получилось, что выгнали в академики. Может, и тебе бы встряска такая не помешала?

— Ну, запричитал, как родители! Нравится, вот и работаю. А если мне все остальное неинтересно?

Именно такая жизнь казалась Жене единственно счастливой, она жалела всех, кто не служит в издательстве, а особенно тех, кто вынужден был или даже по своей воле уходил с редакторской работы. Но как объяснить, почему? И рассуждать на эту тему Женья не стала.

— У тебя-то что стряслось? Ленечка как?

— Он как раз ничего, на даче с Ниной Александровной.

Они шли по Красноармейской, по Часовой, отгороженным от проезжей части высокими деревьями, в кроне которых висели шары городских фонарей.

— А кто плохо?

— Надо мне от Инны уходить... — Саша ускорил шаг, прямо глядя перед собой. Лицо помрачнело, но он помотал головой, как бы стряхивая с себя неприятные мысли. — Мне Никита сказал, что видел ее в ресторане с Бородой.

— Опомнись, Саша, ты же сам только что меня в кафе звал...

— Разве можно сравнивать, — болезненно усмехнулся Саша. — Там что-то есть, это точно. Понимаешь, самое обидное, что я же ее пожалел... А теперь... Она сама говорила: «Тебе нужен кто-то получше, но пожалей меня». Это в мужское сознание западает. За эти слова мне же и мстит.

— А ты ее любил?

— Знаешь, когда я к ним переехал, то каждый день ждал вечернего чаепития, когда Нина Александровна приходила, а с ней такое тепло, такая домашность... Как-то стал копаться в шкафу — книг у них до черта... Наткнулся на Константа.

Там словно впервые прочитал, что не надо преувеличивать степень любви, которую ты внушаешь, и степень трагедии, которая произойдет с брошенной тобой женщиной. И дальше, я запомнил по тексту: «Если бы их не донимало тщеславие, совесть у них могла бы быть спокойна». Но было поздно, Ленка уже родился.

— Может, все еще устроится? Потерпеть только надо?..

Сашино молчание было слишком уж определенным ответом, да и терпел он на Жениных глазах, никому не жалуюсь. И сейчас, скорее всего, он все решил, только для очистки совести надумал посоветоваться с независимым экспертом. Не у каждого найдется в критическую минуту не подставное лицо, а человек, которому можно рассказать свою жизнь, поступки, мысли, не совсем тебя украшающие. Выслушать-то, может быть, и не откажутся, но многих так и тянет использовать откровенность во зло.

Женина надежность не бросалась в глаза. Если ей доверяли тайну, она не важничала: «Я никогда никому ничего не рассказываю», не уверяла многозначительно: «Я все для вас сделаю», когда требовалась пустяковая помощь. Роль утешителя досталась ей еще в детские годы. Однажды что-то произошло между родителями, они не разговаривали несколько дней, и в конце концов папа принялся сам и очень неумело собирать чемодан. У Жени поднялась неправдоподобно высокая температура, врач «скорой помощи» ничего не понял, сделал укол, но жар не спал. Страх, суета помирили родителей, и через день загадочная болезнь куда-то пропала.

Именно Женя отправилась уговаривать сестру, когда та за несколько дней до конца студенческих каникул демонстративно уехала от «мещанской обстановки» на вокзал, намереваясь там ждать своего поезда.

Саша вдруг остановился, взял Женю под руку, почти ухватился за нее. Мимо бежали два крохотных пуделька — черный и белый, следом, на поводках, шли юноша и девушка, одетые в одинаковые куртки из серой лайки, джинсы и заграничные кроссовки — из другого мира?

— Мне сегодня повесть из самотека попалась — смех сквозь слезы. — Саша прервал молчание, уличающее его давнюю, от детства идущую собакобоязнь, которую он стыдился обнаружить перед Женей. — Представляешь, идет пятнадцать страниц скучнейшего диалога ни о чем, без единой авторской ремарки, и под конец резюме: «Так разговаривали две хорошие женщины, уважающие друг друга».

Собачки завернули во двор стройного кирпичного дома

для избранных — Женя подсчитала, тринадцать этажей, нечетное число, как у всех домов для элиты.

— Ты что, на наш разговор намекаешь? Ну, тогда давай продолжим в том же духе благожелательной заинтересованности. Где ты жить намерен?

Но Саше расхотелось говорить серьезно. Детская привычка сначала делать, потом расхлебывать уже не раз выручала его. И вообще он не очень заботился о связи теории с практикой. Еще в студенческие годы научился оправдывать веселье и безделье авторитетными афоризмами, вроде бахтинского: главное — релятивизовать ложную серьезность жизни. Под статью «ложная серьезность» попадали и порванные брюки, и несданный экзамен, и необходимость заканчивать диссертацию, и женитьба, и вот теперь развод. Правда, когда припирало, Саша торжественно провозглашал: «Все! С завтрашнего дня — *incipit vita nova!*» И действительно, в экстремальных ситуациях работать умел — провести две ночи подряд без сна за письменным столом ему ничего не стоило. Но, понятно, красиво начавшись, такая новая жизнь долго продлиться не могла.

Они попали в темный переулок, по обеим сторонам которого толпились неживые дома. Своей высотой, обозначенной столбами освещенных лестничных клеток, они уродовали узкую улицу, лишали ее человечности.

— Представь, что мы в пещере... — Саша взмахнул рукой и повернулся вокруг своей оси. — Вот сверху спускаются сталактиты — это наши неосуществленные мечты. А впереди, видишь, свечение. — И правда, переулок вливался в Ленинградский проспект, где стоял стакан уличного регулировщика. — Там сидит Верховный Арбитр Всех Наших Понятий. Учти, все слова с большой буквы, — произнес он реплику *a part*, в сторону.

— Это кто же, Генеральный секретарь ООН или ЦК КПСС? — Жене тоже стало весело. — Из какой это жизни?

— Из Никитинового романа. Сейчас ведь принято подпускать гофманиану с чертовщинкой. Но это скоро всем осточертеет. Да еще у них у всех, в отличие от Гофмана, нет чувства юмора.

— Убийственная пародия. А бедняжка Никита думает, что только он так пишет. Может быть, зря он так долго раскачивается? Лет пять назад это было бы ново, а сейчас... даже если он и закончит роман...

Женя говорила о Никите как о постороннем. Ни волнения, ни боли, ни надежды...

17. ПЯТНИЦА

Пятница стала любимым днем недели. Многие считают ее лучшей потому, что выходные — впереди, впереди отдых от постылой службы, впереди предчувствие праздника, которое чаще всего не сбывается. Вместо этого к воскресному вечеру собирается вся горечь — раздражение от пропавших впустую дней, от предстоящей рабочей недели, от тупой передачи по телевидению.

У Жениной любви были совсем другие причины: по пятницам в редакции ошивалось всего два-три человека: летом выгадывали, чтоб дольше побыть на даче, зимой — съездить с профсоюзной скидкой в Прибалтику, Грузию, по Золотому кольцу, закончить ремонт квартиры, да и просто потому, что лучше отдыхать три дня, чем два.

Производственные службы, которые должны были отбухать все пять дней недели от звонка до звонка, то и дело восставали против этой редакторской привилегии. На издательском уровне сталинское утверждение об усилении классовой борьбы в нашем обществе временами подтверждалось. Шепнут в райком партии, оттуда прибывает подлая комиссия с проверкой дисциплины. Потом несколько дней народ судачит о результатах, кто злорадствуя, кто сочувствуя. Зам главного сказал секретарше, что уезжает в министерство, а проверяющие его там не обнаружили. Одна редакторша написала в объяснительной, что была у врача — вычли из зарплаты пять рублей, столько она за день зарабатывает.

Издавали приказ — кого лишить премии, кому поставить на вид — тут уж все зависело от расположения родного начальства. Заводили книгу местных командировок даже для завредакциями. Правда, в графе, где надо было назвать причину отлучки, обычно ставили две горизонтальные линии, разорванные двумя вертикальными черточками — знак повтора. Причин более или менее мотивированного отсутствия на службе очень мало, а этот знак, спускаясь с верхней части страницы, где написано «работа в ГБЛ», действовал безотказно, хотя встретить в Ленинке коллег было большой редкостью, ведь некоторые даже не знали, как попасть в огромный замысловатый Пашков дом.

Но у райкома были и другие дела. По инерции соблюдали указания, а потом... Если протоптали тропинку, укорачивающую путь к автобусной остановке, то бесполезно втыкать щит: «По газону ходить воспрещается», бесполезно огораживать кусок земли веревкой с красными тряпицами и

даже колючей проволокой. В Англии, говорят, такую дорожку просто асфальтируют. У нас пока что нет.

Пятницу Женя любила как раз потому, что в редакции было мало мешающих работе. Короткий день, а кажется, что часов в нем больше, чем в любом другом. В понедельник — летучка, заседание главной редакции, во вторник — профком, в среду — комиссия по премиям, в четверг — отчетно-выборное собрание, а в промежутке — чаепития. За утренним рассказывается, кто как спал или как не мог заснуть и всю ночь якобы читал корректуру (польза от такой работы сомнительная!). После обеда — как плохо кормят в столовой, что будут продавать в буфете, кто сегодня пойдет в соседний магазин... Часов в пять — пришел благодарный (даже если не за что — все равно положено благодарить, а за будет — напомнят) автор с тортом и шампанским, или чей-нибудь юбилей, или Кузьминична привезла из заграничной командировки «ихние» сладости. Это все еще ничего, можно вытерпеть. Но ведь и в каждой комнате свой чай, свои приглашенные и демонстративно неприглашенные.

Совсем недавно испортили и дорогую пятницу. Женя сперва не поняла, почему в редакции так много суетящихся коллег — варят картошку, с рынка соленые огурцы принесли, зелень. Потом появилась киоскерша. От нее многое зависело: все чаще книг всем не доставалось, их разыгрывали, а уж о том, чтобы получить второй экземпляр дефицитного, значит, нужного позарез, издания и речи не было. Если не дружишь с киоскершей. А книги — конвертируемая валюта, за нее в банке дают новые купюры для зарплаты, за нее добываются билеты в театр, ею расплачиваются с певцами и чтецами, когда по праздникам они выступают в издательстве. Это все общественные нужды, есть и личные: врачу, портнихе, мяснику, учителю детей, друзьям, наконец. Но приглашать ее на свой день рождения? Эту хмурую толстую тетку, хамящую без повода, как многие советские продавцы, правда, не всем, а, как говорится, взирая на лица.

Хотя если сравнить ее с именинницей, то, пожалуй, никакой дисгармонии. Тоже толстая, тоже грубая. Сколько сил ушло, чтобы перестать улыбаться ей при встрече, чтобы замедлить шаг и не идти рядом с этой Черновой от метро до работы, даже если опаздываешь. После того как та обругала Женю и все руководство издательства, поручающее неопытной пигалице редактировать высокое начальство. Сначала Женя не догадывалась, откуда такая ревность, ведь Чернова, попросту говоря, ничего в литературе не смыслила, редактировать была неспособна, а с начальственными опусами на-

до возиться, до пристойного вида необходимо для автора доводить. Потом ушлые коллеги растолковали: опытный редактор — это тот, кто умеет автора доить. А пигалица Женя была для нее, в случае с Иваном Ивановичем например, как собака на сене.

Ну и вот, в четыре часа редакция опустела, даже Валерия Петровна виновато проскочила мимо открытой Жениной двери. Все забились в соседнюю маленькую комнату, откуда сразу донеслись обидный смех и глухой стук стаканов. Жене почудилось, что смеются над ней, что упомянули ее имя. Совсем бы не хотелось сидеть вместе с ними, но то, что ее не позвали — до слез обидно. А тут еще запыхавшаяся секретарша главного: «Где ваши? Ты чего не идешь?» Прикусив дрожащую губу, Женя объяснила, что торопится, собралась и, плюнув на дисциплину, на недочитанную рукопись, поплелась домой.

И заметила Машу Майкову, тоже выходящую с вещами — обе не с коллективом. Тяжело, когда твой позор кто-то видит, быть свидетелем унижительного положения другого тоже не сахар, а когда всё вместе? Медленно, не говоря ни слова, добрались до конца коридора. Ждать вместе лифта или спускаться по лестнице уже не было сил, и Женя не выдержала, пробормотала «до свиданья» и спряталась за дверь туалета.

Но сегодня — двойной праздник, предвкушение завтрашнего дня рождения. Правда, государство нарушило его экологию, построило рядом с детским садом химический комбинат: по мелочному, недостойному расчету, исходя из копеечной выгоды перенесло День Конституции именно на 7 октября, чтобы еще два года он сливался с субботой и воскресеньем. Давно уже эти так называемые всенародные праздники воспринимаются только как дополнительный выходной. Да перед ним положен укорот на час, но издательское начальство только тут и вспоминало, что тоже ведь люди, добрело и отпускало в двенадцать или в час дня.

Все ушли стройными рядами. Отбившись от любопытных не вызывающим зависть предлогом — срочной работой, Женя осталась ждать обещанного звонка Рахатова, чтобы договориться о завтрашней встрече — главный гостинец к дню рождения.

— Женечка, дорогая моя! Шестого ко мне Сима приедет, я не мог ей отказать — праздник, право жены... Давай сегодня повидаемся... Ты когда работу заканчиваешь?

— Два часа назад. — Женя сглотнула нечаянную слезу. «Шестого» — так буднично о ее дне рождения!

Когда-то давно, в детстве, она задолго до праздника намекнула родителям, что мечтает о детской швейной машинке. Настало утро. Мама торжественно преподносит огромный сверток, а там — валенки. Все внутри сжалось, а ведь надо сделать вид, что обрадовалась... Потом оказалось, что родители пошутили. Машинку подарили вечером.

— Как два часа? Почему?

— Сегодня короткий день, я тут одна сижу, жду вашего звонка.

— Ради бога, извини. Раньше никак не мог позвонить, все надеялся, что Сима передумает. Приедешь?

Знает ведь, что свидания с ним — самое для нее главное. Если и было что назначено, отменила бы все равно. Спрашивает, как будто у меня есть выбор. Из принципа не поехать? Кого накажу? Себя.

— Хорошо, через час буду.

Выскочив из опустевшего издательства, Женя сразу вскинула руку. Ручейки служак, только что отпущенных из соседских контор, сливались у метро. Остановился «москвич», набитый черноволосыми пижонами.

— Красавица, поехали с нами!

Потом притормозила черная «волга» с усиками антенн, торчащими даже из крыши. Шофер, совсем молодой парень, запросил пятнадцать рублей, в два раза больше, чем по счетчику — с учетом комфорта и за риск: машина-то явно государственная, большому начальнику приданная. Ну, телефон есть, а что толку — позвонить по нему все равно нельзя.

В противоположном направлении промчалось несколько зеленых огоньков, Женя перемахнула на другую сторону, едва не угодив под колеса. Все такси ехали в парк. Побрела в сторону метро, держа левую руку на отлете. Что теперь делать? Полчаса уже прошло. На машине до Переделкина — минут сорок, на метро и электричке — часа полтора. Волноваться будет... Доеду до Киевского, там все-таки стоянка...

Повезло только в самом конце пути: когда Женя вышла из электрички, около нее затормозил серебристый «мерседес» и человек в летах с длинными прямыми волосами и ухоженной седой бородой предложил подвезти.

— В Доме творчества живете? — спросил он, терпеливо пережидая, пока Женя, не привычная к такой роскоши, усядется на переднее сиденье, подоткнет подол длинного плаща, зажатый дверцей, пристроит на коленях сумку.

— Нет, я в гости.

— Не помешает?

Водитель нажал кнопку, и из динамика за спиной полилась тягучая речь, похожая на симфонию. По отдельным словам стало понятно, что это проповедь. Вспомнилось, как в детстве скромная, набожная тетя Вера водила их с Алиной в церковь — воздух там был точно такой же, как в машине. Другой мир, отдаленная планета, описанная в хорошо известных ей книгах. Жене пока хватало недолгих путешествий в заповедник веры, но чтобы начать жить там, нужен проводник, а он ей до сих пор не встретился. Да и одно божество у нее уже есть — литература.

Приехали слишком скоро. Когда Женя доставала кошелек, священник мягко, но решительно отвел ее руку:

— Будьте счастливы.

Успокоенная, умиротворенная Женя забыла, что опаздывает, что нужно бояться встретить кого-нибудь знакомого...

— Что стряслось? Я так волновался! — Рахатов обнял ее, мешая снять плащ, и вдруг отпрянул, пристально глядя на нее.

Этот взгляд, означавший, что ее экзаменуют, что никакая неправда, никакая коварная уловка не укроется от его всевидящего и всепонимающего ока, всегда смешил бесхитростную, простодушную Женю. А тут еще из-за его спины выглядывает роскошный букет красных гладиолусов.

— На свидании со священником задержалась, он меня на память ладаном обрызгал. Ну, или чем-то другим, пахучим.

Рахатов помрачнел, надулся и даже не помог раздеться:

— Отлично уроки усваиваешь.

— Ну не сердитесь, неудачно пошутила, с кем не бывает. — Женя поскребла ногтями по тыльной стороне его руки.

Она не стала притворяться, будто не понимает, о чем речь. Сама ведь обсуждала с ним, что сказать, если спросят, у кого она была или к кому идет. «Не имеет никто права задавать тебе такие вопросы! Одна знакомая мне призналась, что если муж допрашивает ее, где была, то она как можно беззаботнее смеется и отвечает: “У любовника!” И тот успокаивается. Правде не верят».

Прильнув к Рахатову, Женя положила голову ему на плечо и со всеми пустяковыми подробностями, не скучными только самому близкому, принялась рассказывать, как добиралась, горевать, что в день рождения не увидит его.

— Воительница ты моя золотая, как же я тебя люблю! Никому так не верил, как тебе. Меня много обманывали, и по пустякам, и в важных вещах. Женщины без этого не могут. Откуда я знаю? — прочитал он ее удивление. — Да по голосу, по глазам. Они сами забывают, что выдумывали, и потом проговариваются. Поэтому я до конца никому не до-

верял, всегда оставлял коридор или хотя бы щель, через которую можно пролезть в свою нору и там зализывать раны. И если вдруг окажется, что...

— Не окажется! — уверенно перебила Женя.

— А все-таки... Мне кажется, что ты не до конца говоришь мне о своих общениях... Вот, например, с этим Остроумовым. Уже сами твои отзывы о его писаниях говорят о повышенном интересе. Никакого крупного критика там и в помине нет, я же специально почитал его статьи. Я и раньше ощущал твое к нему не очень «рабочее» отношение. И то, что вы с ним регулярно перезваниваетесь и, возможно, даже видитесь... Во всяком случае, Алина назвала его имя, когда я ей позвонил... Значит, ты часто говоришь ей о нем и, вероятно, больше, чем мне... и чем ей обо мне. Впрочем, если тебе с ним интересно, пусть будет так. Улыбайся и Кайсарову, и Остроумову, это не важно, я по-прежнему верую в тебя. И ты для меня радость величайшая... И пусть ты будешь у меня всегда и только моя... Пойдем на кровать, здесь неудобно...

Почему Рахатов не захотел ее выслушать? Понимал, что она в два счета докажет, как он несправедлив к Саше? Да не часто мы с ним видимся, совсем нечасто!.. Ладно, не сейчас же об этом думать!

Женя робко положила одежду так, чтобы на виду было только платье, как будто кто-то мог войти в комнату, пока она неодета. Легла с краю, закинула руки за голову, потянулась, предчувствуя счастье.

Так у маленькой Жени трепетало сердечко перед Новым годом. Папа принес из подвала короб с елочными игрушками, ножом стесал ствол елки и поранился, неумело насаживая на него деревянный крест. Капнула кровь, смешанная с тройным одеколоном. Пол мыть легко — в последний ремонт на доски настелили марлю, зашпаклевали и покрасили в светло-коричневый колер. Оцарапалась, когда пролезала под тумбочкой с радиолой, чтобы протереть плинтусы. На мокрое сразу постелила половики, чтобы они плотнее прилипли к полу. Мама нагрела воды, вылила ее в жестяное корыто и по очереди вымыла своих малышей, надела на них свежие ночные рубашки, на голове закрутила тюрбаны из махровых полотенец.

Теперь можно наряжать елку! Медленно, растягивая удовольствие... Гирлянда, к каждой ее лампочке надо пристроить серебряные розетки, делающие свет загадочным, волшебным. На макушку — красную звезду. Потом снегурочка, дом из папье-маше, старик-черномор на прищепках, мухомор, сосулька, орехи в золотой фольге. И наконец снег, на-

щипанный из тугой пачки ваты, и дождь из острых — порезалась как-то — серебряных лент.

Вот уже сестры, каждая в своей кровати, азартно угадывают по названным цветам елочную игрушку. Последнее из этого счастливого дня: скрип двери, мамина рука гасит свет...

— Открой глаза...

— Не могу.

— Открой, переступи. Вот так... Об одном только жалею, что ты не можешь побыть на моем месте, не можешь испытать того, что я сейчас чувствую... Хочется, чтоб это длилось вечно...

В дверь постучали. Рахатов напрягся, прижал палец к губам. Снова постучали. Бесконечное топтанье, наконец шаги удаляются.

— Вспугнула... Но это даже хорошо — продлим удовольствие. — Рахатов достал из-под подушки заранее заготовленную бумажную салфетку, промокнул пот со лба. — Чего ты испугалась? Дежурная — наверное, к телефону звала.

— Да она же видела, что я у вас...

— Ну, мало ли, мы вышли зачем-нибудь из комнаты... Ей это совершенно безразлично... — Он властно притянул Женю к себе.

Больше им никто не помешал...

— Знаешь, я, пожалуй, позвоню домой. Не случилось ли там чего...

Рахатова не было минут двадцать, каждая длиной в час, а Женя в спешке забыла даже захватить корректуру. И вот как раб, разлученный с галерами, она растерялась, не зная, чем же занять себя... Первыми пришли приятные мысли — как хорошо в этой комнате, как ей бы хотелось жить здесь с Рахатовым... Можно больше никого не видеть... А работа? Нет, ее бросить она бы не могла. Но ведь можно суметь и ему помогать, и на службу ходить... И тут, под кроватью, она вдруг заметила синие женские тапочки.

— Извини, пришлось кое-что объяснять — она рукописи готовит. У вас такая глупость — надо сразу представить все три тома, хотя последний только через год в производство сдавать. — Он тщательно, с мылом вымыл руки и снова обнял ее, уже одетую. — Как только до тебя дотрагиваюсь, весь остальной мир исчезает, время останавливается. И существуют только та радость, то блаженство, которые ты мне даешь... Что случилось? Почему молчишь?

— Мне пора... — сдавленно прошептала Женя.

— Нет, так нельзя, почему ты посуровела?

Женя угрюмо смотрела на проклятые тапки. Сказать, что больно? Даже здесь, в этой маленькой комнате, за эти короткие два-три часа, его другая жизнь, для него настоящая, высовывается то телефонным звонком, то женской обувью, то собранием сочинений. Какое огромное, безмерное пространство — его жизнь, как удобно он там расположил и меня, и свою работу, и поездки, и семью. Кто угодно еще там поместится.

Захотелось встать и уйти отсюда. Навсегда? Женя поборола гнев и через силу заговорила:

— Я для вас пирожное, без которого можно и обойтись...

— И еще какое вкусное! — обрадованно перебил Рахатов. — Кто раз попробовал, уже без него не сможет. Все вкусное! От первого кусочка до последнего! Да, пока не забыл. Эти цветы — тебе. — Он достал гладиолусы из трехлитровой банки. — И вот еще, тут конвертик... — Застенчивая улыбка раздвинула его лицо. — Купи себе на день рождения французские духи.

— За цветы спасибо, а денег я не возьму.

— Ну вот, опять обижаешь. Ведь этим ты лишаешь меня удовольствия — как сладко знать, что они каждый день прикасаются к моим самым любимым местечкам! — Рахатов ткнулся губами в Женину шею возле уха, а рукой нежно погладил ее грудь...

Украдкой сунула Женя конверт под его подушку и выскользнула за дверь.

Гневные слова, доказательства своей правоты, боль, а главное — недоумение, непонимание того, как его такое красивое, избирательное чувство не страдает, не замечает разлук, — заняли в дневнике четыре страницы. Выговариваться было приятно — «скрипта» так и скользила по тонким, гладким листам, разлинованным чуть заметными рядами жмущихся друг к другу точек. Темно-зеленую толстую книжку с золотыми буквами «Союзгосцирк» на крышке-подушке балакранового переплета подарил Саша, от себя оторвал. Сначала Женя даже не поверила счастью — ведь она всегда считала, что писчебумажные принадлежности он любит больше всего на свете. Ошибалась.

18. РЕДАКТОРУ НЕЛЬЗЯ

Редактору не пристало брезговать никакой информацией. Правда, надо уметь отделять пересказы от наговоров, которые и составляют кентавра, именуемого сплетней, слухом, молвой.

Не то закажешь статью деятелю, якобы назначаемому главным редактором толстого журнала, а он, оказывается, про штрафился на предыдущем месте — чуть ли не уголовное дело заведено: печатал только тех, кто жертвовал часть гонорара. Лично ему. Какую, зависело от воображения рассказчика.

А что делать, если не подписывает Альберт Авдеич договор с автором за уже написанную статью? Оказывается, вместе учились — давние счеты. Воленс ноленс, а держи в уме список тех, кого не стоит без нужды подставлять под начальственную секиру. Альберт ведь еще и писателем заделался, причем сразу во всех жанрах: композитор песню на его текст сварганил («борзой щенок» известного поэта-песенника за «Избранное»), в разделы сатиры и юмора запихнул стихотворные басни и афоризмы (шуткам начальника положено смеяться, читателю бы еще это объяснить), книжечку пьес для сельского самодеятельного театра тиснул и, конечно, роман под завлекательным названием «Оленька». Но не уследил, промелькнули саркастические отклики. Не забыть их авторов включить в черный список...

И все-таки приятно за вечерним чаем намекнуть на тайны партийного или писательского двора, без ответственности за достоверность информации и без указания источника.

В издательство заглядывал газетчик Гера, который, не дожидаясь вопросов, невозмутимо сообщал: Верченко идет министром культуры, Кожевников на место Маркова, а Марков — генеральным директором ЮНЕСКО. И потом пространно рассуждал, какие выгоды получает им назначенный, повышение это или понижение, с точностью до рубля называл сумму премиальных в ЮНЕСКО. Не совсем лишённые чувства юмора начальники, завидев его, интересовались: «Ну, кем ты меня назначил?» Но некоторые Геринины прогнозы сбывались.

Кладезь сплетен — приходящие авторы. Один демонстрирует причастность к высшим сферам и выдает за свою историю, подслушанную в ресторане ЦДЛ, где за соседним столом обедали два консультанта Союза писателей. Другой — добровольный доносчик, стукач по призванию, что и помогло ему дослужиться до высокого чина. А этот полгода писал в одиночестве роман, и сейчас как губка впитывает все новости и так же легко отдает их первому встречному.

Перемещения в редакционно-издательской сфере волновали всех-всех авторов. А те, кто мог, старались повлиять на ход игры: от охранника многое зависит. Правила везде одинаковы, но назначают нового зрителя — и режим меняется. Человек определяет — в какую сторону.

«Я написал книгу» — в этой фразе соединены два деяния, для которых нужны совершенно разные навыки. Как родить ребенка и — вырастить его, вывести в люди. Можно написать стихотворение, повесть, роман, но пропасть между рукописью и книгой огромна, перескочить ее удастся далеко не каждому. И дело отнюдь не только в качестве текста. Попадется редактор-убийца, редактор-завистник — и приговор обжалованию не подлежит, ведь многие из них не любят или не умеют читать, и всякая рукопись, не снабженная устной рекомендацией начальника или нужных людей, попадает под высокомерную статью: «Не надо». Просьбы простых знакомых не считаются.

А сколько ступеней должна преодолеть рукопись, сколько колесиков в издательской машине надо смазать! У опытных авторов есть в стенном шкафу полка с заблаговременно припасенными подарками, иногда и добровольными, для работников книжно-журнальной сферы: шоколадка — техреду, коробка конфет — редактору (для щепетильных — дитю редактора), духи — завредакцией, и каждой обязательно комплимент: «Как вы хорошо выглядите!», «Какие на вас чудесные бусы!» И дальше — чем выше начальство, тем серьезнее плата: печатают того, кто может издать твой собственный опус (термин даже есть — «перекрестное опыление»), устроить шубу жене, квартиру сыну. Подношения принимаются как должное, за которое сам беруший ничего не должен.

Многое еще от характера автора зависит. Легче тому, кто сдал рукопись и находит в себе силы заниматься другими делами, но есть и такие, кто следит за превращением рукописи в книгу как за ребенком, которого впервые одного отправили в школу: вот сейчас он сел в лифт... что-то долго из подъезда не выходит... ага, появился... теперь, наверное, переходит дорогу... подождал ли, пока зеленый загорится?... сел в троллейбус... снова перешел дорогу... Некоторые не выдерживают и мчатся в школу, чтобы убедиться, что чадо добралось благополучно.

Точно так и писатели. Звонят: «Что-то долго верстки нет, не выкинули из плана?» До того надоедают начальнику производственного отдела, что тот оповещает об этом сотрудников, и те под любым предлогом услужливо не подпускают зануду к своему шефу. Именитые авторы смиренно ездят выступать в типографию — вот это полезный шаг: неизбалованный рабочий класс из признательности делает все, что от него зависит.

Ну и, безусловно, банкеты. Поводов множество — сдача

рукописи в производство, первая корректура, вторая, главный подписал... Наконец, книга вышла.

Валерия Петровна в банкетном деле была незаменимым специалистом. С ней советовались, решая, что надо отметить, кого пригласить. Человеческий принцип — к кому душа лежит — здесь неприменим: и в сроках обманули, и лучшее стихотворение сняли, и бумагу плохого качества подсунули, и тираж срезали. Но, может быть, в следующий раз...

Само собой разумеется, всякое правило имеет исключения. Иван Иванович, например, и не знал почти никого из издательских работников, никакой пропасти не ощущал, банкетами не расплачивался... Нет, один банкет все-таки был, на средства Союза писателей, по случаю его юбилея.

Чтобы не мозолить глаза писателям, был арендован ресторан Дома архитектора. В основании буквы «Ш» — именно так расставили столы — разместились именинник с супругой, министр культуры и ни разу не улыбнувшийся незнакомец, которого по наружности никак не заподозришь в причастности к интеллектуальному труду. «Завотделом ЦК по прозвищу “Великий немой”», — шепнул директор, наливая Жене напареули. Он пристроился на соседний стул после того, как, здороваясь, его знакомые подмигивали: «Смотрика, какую Юлька с собой привез!» Женя виновато улыбалась и еще больше трусил.

Три часа звучали тосты с шаблонным кавказским остроумием, с комсомольской удалью или неискренней российской широтой, и все это время виновник торжества простоял с бокалом в руке, послушно раздвигая губы в положенной по такому случаю улыбке. Утомился так, что сразу после юбилея загремел в больницу, правда, злые языки говорили, что он ожидал более весомую награду за свою небрежность в исполнении партийных поручений.

Ни одного писателя из тех, кого Женя читала и любила, здесь не было. Сидевший наискосок детский классик с завидным аппетитом откусывал все блюда, в такт речам опорожнял рюмки с водкой, деловито промокнул жирные губы, потом, предусмотрительно захватив свой портфель, подошел к Ивану Ивановичу, без очереди зачитал свое поздравление и, не возвращаясь на место, покинул зал.

А Сергеев все суетился, со всеми советовался, когда же ему вручить только что вышедшую книгу юбиляра и адрес, текст которого сочинила и согласовала Женя, напечатали в машбюро, буквицу разрисовали худареды, а подписывали разноцветными фломастерами все сотрудники

издательства. Директор под своей фамилией начертал: «С любовью!» — но так и не смог вычислить, какая же по субординации у него очередь, и послал дары по рукам. А когда Иван Иванович взглянул на них, проникновенно прижал обе кисти к губам и всем телом подался потом за вытянутыми руками.

От стыда за директора Женя покраснела и украдкой посмотрела по сторонам: наверное, все над ним смеются?.. Но, видимо, раболепие здесь никого не удивляло: гости болтали, с удовольствием поглощая редкие в обыденной жизни закуски и вина. Один, пытаясь встать, покачнулся, уронил стул, сосредоточенно принялся его поднимать и опрокинул большой бокал красного вина. Да это же зам из «Литературной молодежи». А может, уже и не зам, и не в этом журнале, раз позволяет себе так расслабиться на работе...

Ходили неясные слухи, что хотя там сплоченно ругают либералов, прогрессистов, но и друг друга едят постоянно. Кадровая текучка страшная. Сначала душевно пьют вместе, а потом с усердием уничтожают друг друга. Интересно, как там Светлане и Бороде живется? Наверное, скоро объявятся. Стоило о ком-нибудь вот так вспомнить, как он возник в Жениной жизни. Так бывает, когда попадаешь в новое место Москвы и вскоре почему-то непременно снова там оказываешься.

И правда, Борода позвонил, как только Женя вернулась домой.

— Ты чего не на работе? — начал он с придурковатого вопроса.

Но Женя, не научившаяся пока никого осаживать, терпеливо объяснила, что после банкета ехать на службу смысла не имело.

— О, да ты в люди выбиваешься! А у меня как раз жизнь по швам трещит — вот обзваниваю всех по записнухе.

— Что стряслось? — Женя зажала трубку между плечом и подбородком, чтобы стянуть второй сапог.

— Придрались и якобы за нарушение дисциплины вытурили — я на свадьбу к сеструхе мотался. Понимаешь, все мне завидуют.

— Почему? — неучтиво изумилась Женя.

— Ну, старуха, это же ежу ясно. Я везде печатаюсь, все лучшие русские писатели — мои друзья... — Голос Бороды патетически зазвенел.

— Это кто же, Толстой, Достоевский? С ними и я дружу.

— Веселая ты баба, Женька! Слушай, мать, может, мы с тобой переспим? У тебя как, вечер сегодня свободный?

Женя ошарашенно молчала.

— Да ладно, ладно, останемся друзьями. Некоторые считают, что дружба даже выше любви, ха-ха-ха! А что ты можешь для меня сделать?

Борода ничуть не смутился и продолжал тем же тоном, каким говорят самоуверенные люди, не замечающие ни своего унижения, ни чужой обиды. Конечно, в его вопросе была своя эгоистическая логика: одну его просьбу Женя проигнорировала, так вторую просто обязана выполнить.

— Я подумаю. — Женя попыталась вежливо отделаться от бывшего приятеля или хотя бы оттянуть ответ.

Но хватка у того была железная:

— А что, сейчас ничего заказать не можешь? Меня и рецензирование выручит.

Все кандидатуры согласовывались с главной редакцией, да еще Кузьминичне надо объяснить, кто такой Андрей Гончаренко — при том, что ему уже завидуют, в издательстве-то его точно никто не знает.

— Послезавтра позвони, ладно?..

19. КТО ЭТО БЫЛ?

— Кто это был? Почему ты ему улыбалась?

— Нападение — лучший способ защиты. Ваши Танечки, Лерочки, Лидочки — это нормально, — засмеялась Женя. — Андрей Гончаренко приходил.

— Не знаю такого, — строго заметил Рахатов.

— Да Борода, я вам про него сто раз рассказывала.

— А-а. — Рахатов успокоился. По голосу, по Жениному смеху он сразу узнавал ее отношение к человеку, особенно к мужчине.

— Только ревность и может высветить человека из толпы, которая меня окружает. Да это и не толпа, всего несколько человек.

— Я тебя ко всему миру ревную. К подушке, на которой ты спишь. Любви без ревности не бывает, — беззащитно признался Рахатов.

Они пристроились на «черной лестнице», на скамейке с откидывающимися сиденьями, отправленной сюда в отставку из актового зала, где после ремонта прикрутили к старинному паркету псевдоплюшевые кресла. Лестница узкая, неудобная, ее наместили закрыть, а пока изредка пользовались,

сокращая дорогу от одного кабинета до другого. Было слышно, как любопытные коллеги то замедляли шаг, а то и вовсе останавливались в следующем пролете.

— Как с рукописью дела? — Женя перевела разговор на тему, безразличную сотрудникам издательства.

— Твое начальство выкинуло пять новых и два юношеских стихотворения. Двусмысленно, говорит, про революцию написано, и вдобавок еще нигде не печатались. Я пробовал втолковать ей нелепость инструкции...

— Вот это фо па. — Женя попыталась скрыть суть небезопасного для Рахатова, да и для нее самой, разговора с помощью французской идиомы.

— Что-что? — Как настоящий советский писатель, не знакомый не только с другими языками, но и с джентльменским набором из самого тонкого словаря общеупотребительных иностранных слов и выражений, Рахатов решил, что просто не расслышал.

— Ложный шаг, — перевела Женя. — Совсем не так надо с ней себя вести, не мне же вас учить. Compliments, цветы, ранние фрукты-ягоды... И ни в коем случае не говорите о литературе — она неуверенно себя в этой области чувствует и мстит каждому, кто завел ее на зыбкую почву.

— Как же она рукописи читает? Как решает, что печатать, а что нет? На эту работу как попала?

— Слишком элементарные вопросы задаете. Пропускает лишь то, что уже печаталось, и в том виде, в каком уже опубликовано. Петр Иванович просил принести ваши сборники?

— Просил.

— Это не для того, чтобы с вашим творчеством получше познакомиться, а чтоб младший редактор сравнил, буквально с пальцем считывая тексты. И если вы строчку заменили, то начнется разбирательство — нет ли тут крамолы. То, что автор работает над старыми вещами, усиливает их — это ей в голову не приходит. Тем более с вами — у нас чтут только покорных и национально ориентированных, так сказать. Когда меня на работу брали, директор провозгласил, что в издательском плане на одного Рахатова должно приходиться два Викулова.

— И что же вы посоветуете?

Это «вы» уже перестало удивлять Женю. Каждый раз, когда разговор заходил об издательстве, она становилась для Рахатова человеком из другого мира, как будто падала задвижка, за которой скрывалась Женя — любимая женщина и оставалась Женя — служащая охраны, которая сопровождает его детище на всем пути священного превращения рукописи в книгу.

И тут слукавил. Хотел-то спросить: что вы можете для меня сделать?

Ничего. Если бы настоял, чтобы меня назначили редактором, то просто не сказала бы Кузьминичне, что в рукописи есть новые стихи, или отдала бы одно-два, чтобы спасти остальные. А сейчас надо изо всех сил скрывать наше знакомство. Всякий оберегает своего автора, словно вотчину от потравы, вмешиваться в книги других — преступление, которое осудит любой редактор.

Вместо ответа Женя посмотрела на часы и поднялась:

— Простите, пора мне...

— Еще чуточку посиди, — спохватился Рахатов. — Загляни завтра в «Литературку», там сюрприз для тебя, — церемонно целуя Женину руку, попросил он.

«Если здесь узнают, что мне стихи посвящены, придется уходить», — струсила Женя, но тут же застыдилась своего страха и впустила в сердце радость.

Еще была надежда, что ее отсутствие не заметили: в редакции с утра началась суматоха — под видом двадцатипятилетия работы Авроры Ивановны отмечали ее шестидесятилетие. Целую неделю Валерия Петровна напрасно извещала авторов о юбилее — быстро забывают они своих редакторов.

Каждому сотруднику именинница поручила приготовить какое-нибудь фирменное блюдо — свобода выбора полная. Женя купила в издательском буфете вырезку и до полуночи пекла пирожки с мясом.

Подходя к двери своей комнаты, за спиной Женя услышала «привет!», произнесенное неестественно радостным рахатовским голосом. Обернулась и увидела, как он здоровается с детским писателем, настолько маститым, что его собрание сочинений выпускалось в их взрослом издательстве.

— Скажи честно, где такие розы достал? — продолжил Рахатов тем же чужим светским тоном.

— А Олимпийский комитет з-зачем? — слегка заикаясь, ответил довольный собой голос.

Женя быстро скрылась за дверью от другой жизни родного, казалось, человека.

Почему-то все писатели, нечаянно встречаясь в издательстве, разговаривали друг с другом как школьники: то обсуждали, чья куртка лучше, даже выворачивали ярлыком наружу, то интересовались количеством и одежкой томов в собрании сочинений. Как-то один письменник обиделся на

другого, заявившего, что его трехтомник выше классом: «У моего головка покрашена, а у твоего — нет».

В комнате делать было совершенно нечего: столы сдвинуты, на дефицитном ватмане, выцганенном у художников, расставлены одинаковые тарелки, стопки сиреневого стекла, купленные вскладчину после нечаянной премии за экономию бумаги. А кушанья — «мухомор» на салате, скользкие грибочки, дрожашее заливное... Кулинарные способности соперничают с литературными, не в пользу последних.

С трудом отыскав на пыльном подоконнике среди сваленных в кучу бумаг корректуру третьего тома Кайсарова, Женя не нашла, где примоститься — все стулья почетным караулом выстроились вокруг накрытых столов в ожидании начальства. Выглянула в коридор. Кузьминична и Аврора с торжественно-напряженными лицами стояли у двери. Как близнецы, они были наряжены в белые нейлоновые блузки, различающиеся количеством рюшек и оборок. Между ними шла подпольная война за первенство.

— Аврора Ивановна, не беспокойтесь, у меня есть свободная ваза... — Кузьминична сказала это строго, размеренно, как будто отдала очередное распоряжение, проворно повернулась к детскому классику и расплылась в подобострастной улыбке: — достойная ваших цветов.

Не только на словах, но и на деле не захотела отдать розы подчиненной, выхватила их у Авроры, ринулась в свой кабинет и уже оттуда, заняв надежную позицию, крикнула классику:

— Андрей Владимирович, миленький, зайдите ко мне, посоветоваться надо!

Не первый раз наблюдала Женя борьбу за автора. Победа всегда была за начальницей, по-разному вели себя только редакторы и писатели. Большинство подчиненных угодливо преподносили Кузьминичне своего автора, заставляя каждый раз тем или иным способом свидетельствовать ей свое почтение, другие, наоборот, настраивали против начальницы, совершенно справедливо шипя о ее некомпетентности, глупости и подлости. Авторы искренне поддакивали, а к Кузьминичне приходили потихоньку, в библиотечный день своего редактора.

Детский классик был секретарем Союза писателей, то есть начальником такого ранга, что мог позволить себе роскошь не обращать внимания на чины, тем более что с высоты его кресла разница между редактором и завредакцией незаметна. Но он все-таки надел на лицо сонливое, безразлич-

ное выражение, с каким отведывал кушанья на банкете у Ивана Ивановича, и прошествовал за Кузьминичной.

У Авроры задрожали губы, она стала похожа на толстого избалованного мальчугана, у которого только что отобрали поднесенное ко рту пирожное. Женя понимала, что не из-за чего тут огорчаться, что не может Кузьминична отнять, разрушить человеческие отношения, если они искренние, а если нет, то тем более не жалко. И чуть не плачет Аврора не от обиды, а от бессилия, от злости. Но человеку больно, и Женя подошла к виновнице торжества...

— Где тут празднуют?

Из дальнего конца коридора к ним приближалась группа товарищей — «треугольник» и Вадим Вадимыч, без которого не обходилось ни одно отмечание — от выхода книги до похорон сотрудников. Секретарь партбюро в предвкушении рюмочки потирал руки и суетился, профсоюзная лидерша вручила Авроре гвоздики в хрустящем целлофане и дефицитный, как ковры и хрусталь, альбом Глазунова.

— Специально для вас, Аврора Ивановна, достал, — похвастался Вадим Вадимыч, тряся руку имениннице и застенчиво улыбаясь.

Аврора напыжилась, сделала такое лицо, как будто дает телеинтервью, и произнесла:

— Очень благодарю вас за ваше внимание ко мне.

— Андрей Владимирович еще не прибыли? — деловито поинтересовался директор.

— Как это «не прибыли-с»? — передразнил вырвавшийся от Кузьминичны классик. — Опаздываешь, Юлий! Не забывай, точность — вежливость королей. Если, конечно, в короли метишь!

Потоптались, вошли в комнату, пропустив вперед классика и устроив потом толчею в дверях. Долго рассаживались.

— Андрей Владимирович, тост сразу скажете или попозже? — Директор все старался угодить старшему по званию.

— Что ж, могу и сразу.

Сергеев постучал ножом по чашке, звук получился глухой, почти неслышный, но всем было достаточно директорского жеста — и в тишине зазвучали лишние слова:

— Тамадой назначаю себя. Друзья, наполните бокалы! Сейчас нашу любимую Аврору Николаевну...

— Ивановну, — совсем неучтиво поправила Женя, не выдержавшая фальши.

— Что?.. нашу незабвенную Аврору Ивановну поздравит великий писатель земли русской, само присутствие которо-

го говорит о том уважении и почитании, которое мы все испытываем к нашему молодому и прекрасному юбиляру.

«Никто ему здесь не друг. Боятся, не любят, лебезят. И Аврору никто не любит. А уж “молодая и прекрасная” по отношению к ней больше похоже на издевательство. И писатель совсем невеликий...» — думала Женя на фоне обкатанных, монотонных слов тоста. Но вдруг тон классика изменился, зазвучал отголосок страсти. Женя прислушалась.

— ...З-замечательный редактор Аврора Ивановна, но у меня был лучший редактор всех времен...

Многозначительная пауза. Все сосредоточились, но догадку никто не осмелился даже прошептать.

— Сталин! Давно это было. На фронте написал я стихотворение и отправил в Москву. Вдруг вызывают в штаб — Ворошилов звонит. Испугался я до посинения. Трубку беру, а сам дрожу. Ворошилов говорит: «Иосиф Виссарионович спрашивает, можно ли в стихотворении изменить знак препинания. Вместо тире с запятой оставить одну запятую?» Я такое облегчение почувствовал, так обрадовался! Конечно, можно, говорю, и не только знак препинания, все можно изменить. А Сталин, видно, такой был человек. Он думал, что уж если написано, то изменить ничего нельзя. Как приговор — голову отрубили, то обратно ее не приставишь. Поэтому и были такие постановления — о Довженко, о Зошенко. А какой Довженко националист? Да если бы поговорили с ним, объяснили, он бы с легкостью все поправил.

Даже заикание прошло. Никакой иронии, никакого отстранения! Мы для него случайные люди. Хвастливый рассказ пятиклассника о том, как он отличился. Одно слово — детский классик.

— А самого Сталина вы видели? — Вадим Вадимыч восхищенно взирал на рассказчика, приглашая всех порадоваться вместе с ним, что такой человек разделяет с ними трапезу.

Но мэтр уже сосредоточился на еде, оставив вопрос без ответа. Директор чутко уловил его настроение и заставил всех говорить тосты. Самую длинную речь произнесла Чернова, та самая, что лет десять назад донесла на Аврору за включение в какой-то юбилейный сборник идеологически невыдержанной повести Яшина «Вологодская свадьба».

Женя лихорадочно стала соображать, что сказать. Не могла она хвалить человека в его присутствии, да и за какие достоинства? Высокомерная, эгоистичная старуха, эта Аврора, считает себя единственной интеллигентной дамой в редакции, никого не любит, но сблизиться на время может с кем угодно, даже с той, которую вчера только обвиняла во всех

смертных грехах. Сблизиться, чтобы пожаловаться на свою горькую участь, на притеснения, чтобы просто позлословить, а потом рассказать уже другому про свою вчерашнюю конфидентку такое...

Хорошим редактором считается... Легендой стало, как под ее чутким руководством один из столпов советской литературы сделал новую редакцию своего классического произведения. Огромная, что и говорить, работа, но только первый вариант еще можно читать, а второй — всего лишь факт психологии и биографии податливого писателя. Жаль ее, никак не может она совместить реальную картину мира с той, где она — эталон всех человеческих и профессиональных добродетелей.

Слава богу, директор сжалился и, встретившись с Жениным умоляющим взглядом, не стал ее выдергивать. Стало полегче. Но ведь всем здесь не только сносно, а даже хорошо, лучше, чем дома. Сашка бы меня понял. Как он смешно пародировал такие же посиделки в своей конторе! А Рахатов удивляется: «Тут же ваши коллеги, друзья. Конечно, у них есть недостатки, но об этом иногда надо забывать». И никак ему не объяснить, что это всё чужие люди, что здесь, как на вокзале, да еще на одно место продают два билета, а на какое — неизвестно.

Застолье само собой разделилось на две половины — зрительный зал и президиум, где сидели классик, Вадим Вадимыч и «треугольник». Границу с одной стороны обозначала Кузьминична, с другой — Аврора. Обе всеми своими недюжинными силами старались доказать, что они все-таки в центре, и поэтому были обречены на молчание — разговаривать с сотрудниками не желали сами, а начальство на них не обращало внимания.

Тем более что там, в президиуме, тоже что-то происходило. Слишком красноречиво смотрели друг на друга директор и Вадим. Оба покраснелись — то ли от выпитого, то ли от злости. Представительница общественности пыталась их примирить, то и дело причитая: «Ну, Юлий Сергеевич! Ну-ну, Вадим Вадимыч!» Парторг в одной руке сжимал пустую рюмку, другой тянулся к полупустой бутылке водки, сосредоточившись на своих ощущениях.

Классик же, которого, как потом поведала Аврора, не поделили директор и его зам, от выпитого слегка побледнел, внезапно встал, посмотрел на часы и, ни с кем не прощаясь, покинул торжество. Директор, опередив Вадима, юркнул за ним. Тогда Вадим сориентировался и остался за столом — главным, тамадой, остался вместе с народом, не то что этот выскочка Сергеев!

20. КАК?

— Как съездили? — Анна Кузьминична не дала Жене скинуть плащ и потащила к себе в кабинет.

— Спасибо, хорошо... Но у папы сердце вдруг начало болеть. Уговаривала его работу бросить — не хочет...

Кузьминична нервно забегала и, не дослушав ненужные ей подробности — спрашивала-то по инерции, чтоб разговор на людях начать, — нетерпеливо перебила:

— Вы с Майковой в хороших отношениях? Вам она доверяет?

Вместо того чтобы возмутиться, отказаться отвечать на такие бесцеремонные вопросы, Женя честно выложила про все шероховатости, мучившие ее, когда она думала о Маше.

Коготок увяз — всей птичке пропасть. Стала разговаривать по-простому, по-человечески, и теперь с каждым словом чувствовала, что говорит лишнее, становится не собой, будто ее загипнотизировали. Скорее бы вырваться, скорее избавиться от чувства гадливости, презрения к себе.

Не услышав ничего для себя полезного, Кузьминична снова перебила Женю:

— Она так меня подвела, так подвела!

Когда так насилуют, лучше всего расслабиться — Женя поставила дорожную сумку на пол (она пришла на службу прямо с поезда) и без приглашения села в кресло.

— Представляете, из Главлита вернули комментарии, которые она редактировала!

Такой новости Женя не ждала. Обычно Кузьминична жаловалась на предателей и сплетниц, разболтавших то, что она хотела бы скрыть, а тут Главлит... Бедная Маша!

— В какой книге?

— Да не помню я... — отмахнулась Кузьминична от несущественного для нее вопроса.

— К чему придрались? Отспорить нельзя? — Женя попыталась перетащить Кузьминичну на другую сторону баррикад, но та не захотела разделять себя и цензуру.

— Какое «придрались»! Там упоминается «Багровый остров» Булгакова! И что мне сказала эта тихоня, когда я ее призвала к ответу?... «Вы же подписывали!»

— Ужасно! — Не поддакнуть у Жени не получилось. Тем более что сама она не смогла бы сказать в лицо человеку грубую правду. — Но почему это снимают? В «Литературной энциклопедии» в статье о Булгакове есть упоминание об этой пьесе. Я сейчас принесу ее вам из библиотечки.

— Мне? Мне — не надо! — Анна Кузьминична испуганно

оттолкнула от себя даже возможность прикоснуться к крамоле. — В Главлите и покажите!

Опять нарушала Женя неписанный редакторский кодекс: не вмешиваться в чужие книги. Сколько же ей за это доставалось!

Как-то Чернова рассорилась с наследниками, и Женю заставили редактировать научный аппарат к книге. Все пришлось перепроверить и переписать — тяжелая работа. Оказалось — напрасная: Чернова завалила начальство докладными, и комментарии — от греха подальше — сняли.

Вот и Маша до сих пор лишь сухо кивает, когда нос к носу сталкивается, — в ответ на Женину улыбку. Неужели за то, что работа над кайсаровским собранием сочинений осталась за Женей? Но Маша же вернулась с больничного только через полгода, когда половина томов уже была сдана в производство. И П. А. сам просил у директора, чтоб Женю оставили его редактором.

Даже мимо двери Главлита, обычной двери, обитой коричневым дерматином, без каких-либо опознавательных знаков, Женя проходила с внутренней дрожью. А уж когда переступала порог, то все силы уходили на то, чтобы скрыть страх.

— Разве вы — редактор? — строго спросила плотная женщина с жесткими, коротко стриженными седыми волосами — ей бы кожанку и прямо в тридцатые годы! — когда Женя сбивчиво изложила причину своего появления.

— Ее сегодня нет, — пришлось соврать. — Анна Кузьминична сказала, что это срочно.

— Почему тогда сама заведующая не пришла?

Женя отмолчалась.

— Впрочем, от нее все равно толку мало. Вызываешь, чтобы посоветоваться, а она одно талдычит: снять текст и наказать редактора. Я же всегда стараюсь убирать как можно меньше, но и мне иногда нужна помощь — упомнить все невозможно, а в некоторых случаях она ведь может и на свою ответственность что-то оставить.

«А вы, на свою ответственность, не можете что-то пропустить?» — подумала, но не сказала Женя.

— Это первый том? В каком году вышел? — Главлитчица деловито открыла титульный лист энциклопедии. — В шестьдесят втором. Это хуже. Хотя все-таки энциклопедия, ее не запрещали. — И подстегнутая Жениным поощряющим взглядом, решила: — Вы правы, оставим так, как есть.

Почти полдня прошло, вся взбаламучена. Сейчас бы сесть за стол, раскрыть корректуру и погрузиться в работу,

только чтоб никто не трогал... Но прошмыгнуть мимо секретарской не удалось.

— Евгения Арсеньевна! Вернулись! Выглядите прекрасно! А я стихи Рахатова перепечатаваю: приказано срочно в сверку вставить.

— В сверку? Это же сверхнормативная правка, как разрешили? — Женя обрадовалась за Рахатова, но откуда вдруг такая благосклонность Кузьминичны?

— Тут без вас приезжает Рахатов с женой и двумя ведрами: в одном — великолепные розы, в другом — инжир нежнейший, прямо с самолета, наверное. И все ей в кабинет. После этого, сами понимаете... Двусмысленные стихи стали советскими. Новые, те, что еще нигде не печатались, — тоже пропустить. Пока книга выйдет, успеете, мол, отдать в журнал или газету. Инжира скоропортящегося, правда, всем по горсточке дала.

Под пристальным взглядом Валерии Женя неестественно засмеялась. Чего она от меня ждет? Чтоб Кузьминичну осудила? Да это же хорошо, что хотя бы так можно книгу спасти... Догадалась, что напечатанное в последней «Литгазете» стихотворение Рахатова «Телефон» — обо мне? Нет, не могла — там от меня только хрустальный голос, сугубо субъективная деталь... Хочет, чтоб я над ним тоже иронизировала? Но я же сама советовала ему... Правда, никак не думала, что он так буквально все воспроизведет. Кажется, я что-то сказала про фрукты, но неужели он не почувствовал, что такое купечество меня покоробит? А если бы я посоветовала ему поухаживать за Кузьминичной? Да наверняка уже... Но ревнивое чувство даже не шевельнулось. В глубине души Женя считала, что в борьбе за свое детище, за свою книгу, все средства хороши. Можно и палачу в ноги кинуться.

— А вам сегодня уже звонили... Мужской голос, не назвался... — Валерия продолжала испытующе смотреть на Женю.

Зачем ей нужно про меня все знать? Заурядное любопытство? Но ведь мне она выдает все, что хотя бы чуть-чуть похоже на чью-нибудь тайну. Многие предупреждали: с Валерией поосторожнее... Но пока она только хвалит меня и авторам, и коллегам. «Они злятся, когда я о вас хорошо говорю, и меня ненавидят. Ничего, пусть». Скорее всего, хочет откровенности без какого-либо расчета. Но это невозможно, как ей дать понять?

А Валерия уже выкладывала мелкие издательские новости, перемежая их жалобами на Кузьминичну, на Аврору,

даже на своего друга Петра Ивановича... «Срочная» работа застряла в стареньком «Ремингтоне».

Доверительный шепоток прервала секретарша соседней редакции — предложила пачку сырковой массы из буфета. Валерия долго рылась в дорогой кожаной сумке (подарок благодарной вдовы одного писателя), так и не нашла деньги, пришлось высыпать содержимое на стол. И покатались таблетки, пуговицы, дешевая пудреница — Женя помогла стрести все это в кучу и отправить обратно в сумку, слишком роскошную для ее владелицы. А Валерия освободила часть творага от мокрой липкой бумаги и откусила большой кусок. Зазвонил телефон, и, несмотря на набитый рот, она потянулась к трубке, но Женя ее опередила.

— Женечка?! Господи, как я рад, что слышу тебя наконец! Вернулась! Я в Переделкине. Сможем сегодня встретиться? Как вырвешься, сразу приезжай, жду тебя в любое время. Я так соскучился, что даже Алине позвонил. Она разговаривала со мной очень приветливо. Настроение у нее вроде бы творческое, боевое. Сказала, что сама без тебя скучает. Но я, конечно, сильнее. Алина мне понравилась — энергичная, целеустремленная. Не знаю, чего она сможет достичь, но все равно молодец!

Женя вдавила трубку в ухо, чтобы закрыть дырочки, через которые слова Рахатова разносились, как ей казалось, по всему издательству. Еле слышно прошептав «хорошо», она повесила трубку.

— Это звонил... — Женя стала лихорадочно соображать, кого бы назвать, — один приятель, мы учились вместе.

Женя покраснела, смекнув, что врать было необязательно... Но промолчать иногда так трудно.

— Ваш жених? — Валерия обрадовалась за Женю.

— Нет, у меня нет жениха... — Женя постаралась сказать это так, чтобы и Валерию не укорить за бестактный вопрос, и свое достоинство не совсем уронить.

— Потом все расскажешь — и как съездила, и про работу, и почему сердечко бьется. Я так соскучился, что еще час — и ты бы уже только холодный труп застала... Ты что, мне не рада? — Рахатов отодвинулся и строго посмотрел на Женю.

— Отец очень болен.

По произнесении этих слов Жене стало стыдно, что она уходит от очередного выяснения отношений таким вот способом. И в то же время осознала, что тревожится за папу

больше, чем за себя. А Рахатов встал, подошел к окну и начал задавать ей прицельные, выдающие его искреннее участие, вопросы. Оказалось, что в Турове работает его давняя поклонница, знаменитая профессорша-кардиолог, которой он обещал дозвониться завтра же, чтобы устроить консультацию Жениному отцу, а если понадобится, то и положить его в ее клинику.

— ...Неужели тревога и страх — ближайший путь к гармонии? — говорил через полчаса Рахатов. — Как не хочется с небес на грешную землю спускаться. Кажется, я летел сейчас в бездонную синь на белом пуховом облаке. От тебя идут божественные биотоки! Именно божественные! — Рахатов благодарно поцеловал Женю. — Вот сегодня меня остановила одна молодая поэтесса из Баку, наговорила множество восторженных слов о моих стихах и показала, где ее комната, то есть попросту призналась, что будет рада, если я ее навещу. Но несмотря на ее горячность и искренность я и не подумал воспользоваться приглашением. Ведь у меня есть ты... А сейчас мы пойдем гулять. И никакие возражения не принимаются.

Женя и не собиралась отказываться. Ей так хотелось еще побыть рядом с ним, понежиться, вобрать в себя его восхищение. Конечно, хорошо бы поскорее стемнело...

— Вот здесь я вышагиваю все свои строчки, ногами... За столом только записываю, — после уютного, ненапряженного молчания признался Рахатов. — Сегодня слушал Грига. Почему-то эта музыка, грустная и такая лиричная, напомнила мне о тебе. Григ был настоящим гением — знал, что ты родишься на свет. Ноктюрн — это ты.

Его слова так естественно сочетались с теплым ласковым ветром, с покрасневшим у горизонта небом и нежными перьями облаков, с желто-красным ковром из листьев, расстеленным вдоль забора, с тишиной, которая бывает только в осеннем Подмосковье. Изредка Рахатов называл имена владельцев дач — больших писательских начальников и реже известных писателей.

— Какими судьбами! — Из калитки, к которой они подошли, высунулся полный, невысокого роста человек в клетчатой ковбойке. Здороваясь с Рахатовым, он внимательно рассматривал Женю.

— Познакомься, Юра, это мой редактор, Евгения Арсеньевна. Вот с трудом уговорил прогуляться — приехала поработать. Я говорил тебе, что у меня собрание сочинений выходит?

— Говорил, говорил... — отмахнулся Юра. — С таким ре-

дактором и я не отказался бы пройтись, но мне так еще ни разу не везло.

— Ты, конечно, большой талант, но редактор этого класса полагается только гению.

— Я, гений Игорь Северянин, — продекламировала Женя, чтобы иронией уравнять чаши весов. Стремясь, как всегда, уберечь от обиды человека, особенно чужого.

Рахатов забыл ей представить своего знакомого, самой придется догадываться. Ведь если спросить, то и Рахатова уязвишь за невнимательность, и этот писатель обидится — видно, он уверен, что его и так все знают.

— А пошли ко мне? — Приятель Рахатова подмигнул Жене как сообщнице, взял ее под руку и повел по тропинке к двухэтажному светло-сиреневому дому. Женя беспомощно обернулась, но Рахатов спокойно шел за ними, как бы не замечая ее волнения.

Ступеньки, крыльцо, малюсенькие сени, кухня, прихожая с овальным зеркалом, крутой деревянной лестницей и несколькими закрытыми дверями. Тишина обманула Женю, она успокоилась и стала рассматривать большую комнату, куда завел их хозяин.

Это — дача? Дом, куда свозят старую поломанную мебель, вышедшую из моды или ветхую одежду, ненужные книги? И все равно остаются необжитые углы, на которые и хлама не хватило? Простор здесь тоже есть, но он — важная часть интерьера, наравне с длинным столом, креслами, сервантом, в котором свободно расставлен кобальтовый сервиз. Большой серебристый телевизор на высоких ногах, не изуродованный прыщиками кнопок, стоит посередине комнаты напротив плюшевого дивана.

— А я думал, ты в Копенгагене, — пригубив «Наполеон» из рюмки-тюльпана, продолжил пикировку Рахатов.

— Да компания собралась уж очень говенная, я побрезговал, — без видимого сожаления объяснил хозяин.

— А кто?

— В том числе твой будущий сосед по даче. Скоро вы с ним будете морковку сажать и семенами обмениваться.

О даче Женя услышала впервые. Значит, строит еще одну преграду. Нет, сейчас об этом думать нет сил. Женя выпила свою порцию коньяка, чтобы вернее скрыть отчаяние.

— Отец, у тебя курево есть? — раздался с лестницы очень знакомый голос.

— И так все у меня перетаскал. Тебе-то все равно, чем травиться, а я, кроме «Мальборо», ничего не переносу. Купил бы себе на станции «Беломора».

— Приве-е-ет. — В голосе Никиты было удивление, недоумение, даже вопрос: ты как сюда попала? И ни малейшего смущения.

Рахатов по-своему истолковал изумление Никиты: представляя ему Женю, он выразительно выделил «мой» в словах «мой редактор». А она протянула Никите руку, заранее стыдясь своего провинциального испуга. Но он не появился, ею овладело безразличие, и она выпила еще одну рюмку.

— Цветаева у вас скоро выйдет? — Никита ловко перекинул жердочку над пропастью, в которую рухнули часы, дни, месяцы, годы их не встреч. Как будто вчера они говорили о жизни, об издательских планах и сейчас продолжают прерванную беседу. Не было ничего проще, чем поддерживать этот светский разговор, твердо зная, что за принадлежность к престижной фирме тебя уважают и на всякий случай перед тобой заискивают — слегка, как принято у интеллигентных людей. А Женя еще невольно пускала пыль в глаза — она знала ответы на все вопросы, которые занимали обычно людей, близких к литературе. Откуда? Ей была интересна, увлекательна работа издательства, да и комплекс вечной отличницы не позволял отвечать «не знаю». Поэтому нетрудно было давать дельные ответы и советы, но радости от внимания, с которым ее слушали и спрашивали, она не испытывала. Как на работе.

— Что ж вы сумерничаете? — В дверях появилась высокая статная женщина в узких твидовых брюках и уютном пуховом пуловере. — Юра, шофер звонит — он нам завтра нужен?

— Нужен, нужен, — ответил за хозяина Рахатов. Лениво подошел к даме, поцеловал ее руку, а затем, как будто сбросив с себя маску, приобнял и чмокнул в щеку. Она ответила поцелуем и ласково стерла след розовой помады с его скулы.

С детства Женя привыкла, что когда приходят гости, даже и незваные, все чада и домочадцы высыпают в коридор и потом отлучается только хозяйка, чтобы похлопотать на кухне. В Москве же приходишь к человеку и не знаешь, кто сейчас дома, представлять визитера считается необязательным. И здесь, как из матрешки, то и дело возникают новые обитатели. Кто следующий?

Маленькая юркая женщина с извиняющейся — за что? — улыбкой стала накрывать на стол. Мужчины что-то горячо обсуждали. Женя прислушалась. Уверяя, что Пастернак ставил свою подпись под письмом, одобряющим расстрел Бухарина, Борисов-старший даже пошел искать ксерокопию

газеты. Рахатов не хотел этому верить, но никаких доказательств у него не было

— У Сашки надо спросить, он все всегда знает. — Легким оттенком иронии Никита как бы умалял значение Сашиной эрудиции.

— Тебе хорошо? — прошептал Рахатов, обняв Женю за плечи, когда они на минуту оказались одни.

Женя кивнула и отодвинулась от Рахатова, заметив Сашу за спиной входящего в комнату Никиты. Саша как ни в чем не бывало кивнул Жене и продолжил свой ответ:

— Пастернак писал Чуковскому в сорок втором, что Ставский мошеннически поставил его подпись под одобрением смертного приговора, но не Бухарину, а Якиру и Тухачевскому.

Почти ночью после домашнего ужина Женя, Саша и Рахатов вышли на улицу. Темнота припудрила раскрасневшиеся Женины щеки, притушила блеск ее глаз. Она забыла все обиды, страхи, не рецензировала свои слова и поведение, не перебирала дела, которые надо начинать завтра, не задумывалась о том, что скажет потом Рахатов или сейчас, когда они вместе поедут в Москву, Саша.

21. В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?

В чем смысл жизни? В наивном желании узнать чужой ответ и сравнить со своим Женя задавала этот вопрос до тех пор, пока над ней не стали подтрунивать даже добродушные однокурсники. Только Саша никогда не посмеивался. Объяснил, что у каждого он свой, ни на кого не похожий.

— Представь, что человек — это зерно. Оно должно проклюнуться, выбраться из-под земли на свет божий, подняться вверх. И распустятся тогда на стебле цветы, пусть всего один цветок — это и есть смысл жизни. Чтобы узнать, какой он, вот сколько ступеней надо пройти, сколько препятствий преодолеть. А перепрыгнуть нельзя.

Иногда Жене казалось, что она никак не может даже пробить толщу земли, там, внутри, уже целая корневая система разрослась, а наружу никак не вырваться. Чего же не хватает?

Может быть, бездомная жизнь всему виной? Несколько раз Жене удавалось заставить себя куда-нибудь позвонить, сходить, хотя все это делала для галочки, чтобы в который раз убедиться в полной безнадеге. Но и зубную боль можно терпеть до определенного предела.

Участковый, для которого Женя в момент самого большого страха и вдохновения сочинила витиеватую душещипательную историю, стал слишком часто попадаться на глаза, как будто подрабатывал привратником у ее подъезда. Скоро начнет мстить. За что? Кто поможет?

Алина внушала, что при таких знакомствах и не выбить квартиру — грех и глупость. Конечно, и Кайсаров, и Рахатов знали о ее мучениях, но, наверное, не догадывались, что могут предложить помощь. Или ничего не могли сделать?

Еще был писательский туз Иван Иванович. Он доверял Жене — простодушно рассказывал, какие восторженные письма получает, как хвалят его последний роман, как в «Соснах» (это номенклатурный санаторий такой) подошла к нему очень большая шишка, взяла под руку и, прогуливаясь вокруг тамошнего пруда, восхищалась: «Наконец-то и о нас, партийных работников, появилась книга». Один раз даже поинтересовался, где Женя живет. Она замаялась, боясь, что он примет ответ за жалобу, за просьбу о помощи, но все-таки призналась, что снимает квартиру. Но краснела она напрасно. Иван Иванович с удовольствием вспомнил свою молодость — как он тоже мыкался, в одной комнате жили восемь человек, ночью спали и на столе, и под столом. В общем, и тут получил удовольствие — от сравнения.

Оставался Вадим Вадимыч, последняя надежда. Но тогда выбор будет сделан, нейтралитет в издательской борьбе не удержать. А к директору идти бесполезно: выслушает, пообещает помочь — и правда, начнет писать длинные петиции в вышестоящие инстанции, от которых проку — ноль. Начальство не умеет читать, нужен человек, объясняющий, зачем выполнять именно эту просьбу. Все логично: Вадим окажет услугу жилищному бонзе, а Женя будет должником Вадима.

Вся сложность заключалась в отсутствии московской прописки, а простота — в Жениной готовности платить за кооператив. Вадим проконсультировался где надо, отвез несколько дефицитных подписок, которые Женя отдала без сожаления, и вот у нее на руках бумага, разрешающая прописку в Москве при условии вступления в ЖСК.

Трудно было начать, ступить на этот путь мытарств и унижений. Но первое же посещение жилищной конторы, паспортного стола или собрания кооперативных пайщиков делает необходимую прививку против иллюзий, благородная ярость вскипает, и ты уже сражаешься и думаешь только о победе.

Препятствия возникали на ровном месте. Комендант об-

щежития, в котором формально была прописана Женя, заставил платить за ремонт комнаты, где она ни разу не ночевала. Когда долго не возвращали паспорт, отданный на прописку, она решила, что заведено политическое дело: хозяйка одной из квартир, выдворявшая Женю раньше срока, намекнула, что знает и про ксероксы, которые она читает, и про крамольные песни, которые она слушает на своей старенькой катушечной «Яузе».

Отчаяние и надежда, ненависть и благодарность, бессилие и вера в счастливый исход — испытать все эти чувства и не сойти с ума можно было только благодаря тем, кто терпеливо выслушивал все подробности хождения по мукам. Когда Женя уже совсем раскисала, Алина могла даже цыкнуть на нее — в сравнении с Алининым коммунальным адом Женина жизнь, а особенно перспектива отдельной квартиры — везение, большая удача. Пусть мучительная, выстрадавшая, но где видано, чтобы труд и страдание непременно вознаграждались?

Рахатов задавал вопрос: «Как ваши дела?» — скороговоркой, из вежливости. Если они говорили по телефону, то ответ выслушивал молча, казалось, он дремлет или думает о своем. Если Женя не могла удержаться и с порога жаловалась на бездушного чиновника, Рахатов нетерпеливо ходил по комнате, а потом, не выдержав, садился рядом с ней, обнимал, и рассказ становился неуместным. Конечно, он возмущался, сочувствовал. Как случайной соседке по очереди, негодующей на безобразия в торговле. Женя уговаривала себя не обижаться — ведь он ничем помочь не может, да и предложи он помощь, все равно бы отказалась.

Саша тоже сделать ничего не мог. Он только часто провожал Женю в присутственные места и терпеливо ждал, пока она выбивала очередную справку.

— Ты сам-то когда займешься квартирой?

Женя считала своим долгом заставить и его что-нибудь делать. От Инны ушел, развод не оформил, прописан там же, квартиру снимает.

— Вот ты будешь невестой с жилплощадью, я на тебе и женюсь, — отшучивался Саша и сразу переводил разговор на другое: — Завтра надо сдавать статью одного профессора — дочка парторга поступает в университет, так мы за этот год всех преподавателей напечатали. Изучил я их творчество. У нас ведь как — каждому хочется быть поэтом: даже Гоголь и Щедрин со стихов начинали. Девушкам так легче понравиться. Если не получается, пишут прозу. Когда и на это не хватает сил, заделываются критиками, мстящими за свою

неудачу и поэтам, и прозаикам. Ну а уж кто даже внятную критическую статью сочинить не может — становится литературоведом академического типа. Вот таких типов и пришлось редактировать. «Основная тема творчества Хемингуэя — конфликт личности и общества». Так и хочется сказать: «Поздравляю, господин ученый! Да кто же не среднего роста, у кого не русые волосы, не прямой нос, в какой книге нет конфликта личности и общества!»

— У тебя лестница получилась. Но нижняя ступенька — другая. Редакторов забыл, — уточнила Женя. — О себе не говорю, а ты, неужели ты не собираешься по ней подниматься?

— Конечно, собираюсь. Если ты меня покормишь.

Саша демонстративно зашагал пешком на восьмой этаж, где была теперешняя Женина квартира.

22. УМОЛЯЮ

— Умоляю, давай встретимся! — часто дыша, прошептала Женя в телефонную трубку.

— Который час? — Таким же тоном, наверное, поэт спрашивал: «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?» На этом вопросе-парашюте Алина спустилась в реальную жизнь: — Я пишу сейчас... Что стряслось?

— По телефону не могу...

— Не пугай! Заболела? С работы выгнали?

— Да нет... Хотела тебе рассказать...

Алина догадалась, что сестра опять потерялась, потеряла себя. Надо ее выслушать, но не для того, чтобы вместе поговорить, а чтобы помочь найти твердое место и протянуть руку. Пусть потом окажется, что и эта кочка медленно уходит под воду, но, может быть, с нее уже будет близко до берега?

— Приезжай...

Полегчало. Алина что-нибудь придумает, найдет выход из тупика — кто-то должен быть неправ, если так больно. Она, конечно, отыщет мою вину — гордыню, самолюбие непомерное, или скажет, что... Все-таки, может быть, он виноват?

Решила не отпрашиваться — время обеденное, да и недалеко здесь, часа за полтора можно обернуться, все начальство с утра на совещании — никто не заметит. Но тут из коридора послышался голос Валерии, громко скликающей всех в кабинет заведующей.

Кузьминична была в своей стихии — путаясь в словах, повторяясь, говоря лишнее, всем тоном и видом показыва-

ла, что директиву надо немедленно выполнять, недобросовестность или злой умысел будут строго наказаны, вплоть до увольнения. А приказ вот какой: доложить в главную редакцию о всех упоминаниях Л. И. Брежнева — в статье ли, в прозе или в стихах, вернуть из типографии рукописи и корректуры, меченные этой фамилией.

Народ испугался: разве вспомнишь, что там есть в рукописи, которую год назад срочно сдавали в производство, а корректуры до сих пор нет? Бросились перечитывать все, что лежало теперь на столах, гадать, мог ли автор цитировать покойного.

Из косноязычной речи Кузьминичны было ясно — сведения собирают с вполне определенной целью: король умер — да здравствует король! Сброс идеологического балласта, финиш вялого брежневского культа — дело неизбежное, но ведь если бы нашим труженикам идеологического фронта велели наступать, кто читал Солженицына или неодобрительно отзывался о сталинских репрессиях, то они так же старательно начали бы вспоминать...

С этими мыслями Женя ехала к Алине. Она уже остыла и начала раздумывать, стоит ли откровенничать даже и с сестрой... В вагоне метро у сиденья со светло-коричневой заплатой беспокойно переминались с ноги на ногу двое молодых людей — похоже, муж и жена. Тоже вышли на «Спортивной» и рядом с Женей ехали на длинном эскалаторе. Мрачные, безразличные друг к другу. Зачем они вместе?

На улице 10-летия Октября замешкалась, отдавая ясность, которая может наступить после разговора с Алиной. Женщина в шляпке грязно-песочного цвета и кроссовках спросила, где здесь булочная. Женя сообразила не сразу и «через дорогу направо» пришлось прокричать вслед, так как тетка даже не замедлила шаг, чтобы выслушать ответ.

— Так в чем дело? — Алина включила электрический чайник — старалась лишний раз не выходить на кухню, чтоб не мозолить глаза злобной соседке, — и закурила.

— Посоветоваться хотела... — Женя стала повторять слова, которые еще утром продиктовало ее страдание. — Только никому не говори, даже Корсакову, ладно? Я люблю...

— Кого? — деловито спросила Алина.

— Думала, ты знаешь...

— Сашка?

— Рахатов.

— Ну, ужас... Я же тебе говорила, это неглубокий человек, донжуан какой-то... Он даже со мной, твоей сестрой, та-а-ак по телефону разговаривал... — Самодовольная улыбка

ка промелькнула и тут же исчезла с Алининых губ. — Ты просто очень неопытная...

Увлечшись, Алина с жаром, глубоко затягиваясь и забывая стряхивать пепел с сигареты, принялась доказывать, что всесоюзный бабник — не тот человек, который нужен сестре.

— Но я хочу быть с ним вместе... — растерянно пробормотала Женя, уткнувшись в пол.

— Ну, если ты решила...

— Он не может... Или не хочет... А мне так тяжело... Понимаешь, я в тупик зашла. Не знаю, порвать или переступить гордость?.. Я верю, он меня правда любит, заботится: папе врача нашел...

— А может, просто ваши отношения исчерпались? У меня было такое. Леню помнишь? Мне тогда казалось, что он меня бросил. Целый год страдала. Тоже никому ничего не говорила, а потом вдруг поняла, что просто отношения исчерпались. И это я его бросила, а не он меня...

Как многие, как почти все, Алина считала, что личный пример — самое убедительное доказательство.

Жене стало стыдно за свою откровенность. Бессмысленную? Царапнуло и то, что ее чувства, редкие, уникальные, единственные, оказались сравнимы с чувствами другого человека, пусть даже и родной сестры. Еще раз подтвердилось, что впредь надо разбираться самостоятельно.

Побродив взглядом по картинам, висевшим на стенах, стоящим на полу и на широком подоконнике, Женя стала смотреть сестре прямо в лицо и безо всякой связи с предыдущим — неуклюже заметая следы — заговорила о новом, довольно рискованном с политической точки зрения коллективном сборнике, составленном опальным Бариновым. Но Алина с таким же, даже с еще большим вниманием заинтересовалась новым сюжетом.

— Баринов изо всех сил эту книгу пробивал, считая ее только первым шагом. Говорит, надо от Октября к Февралю вернуться, а там уже дальше и дальше... Он прямо через ЦК действовал, где есть люди гораздо прогрессивнее издательских. А для нашего начальства Баринов — персона не очень грата: из аспирантуры когда-то выгоняли не то за пьянство, не то за идеологические просчеты, из партии тоже, в шестьдесят восьмом. Правда, оба раза восстанавливали, на высшем уровне. Пишет мало, но за каждое слово дерется. Первый раз у меня такой автор нестигаемый. Одно плохо — получилось, что я опять Майковой дорогу перебежала. Он хоть и женился не на ней, но все равно у нее оставался редакторский приоритет. Странные у них отношения... Я случайно

совсем увидела, как он вместе с прочитанной корректурой ей плитку шоколада протянул. И она взяла...

— Женечка, дорогая, все-таки надо начинать жить своей жизнью... — Алина по-настоящему испугалась за младшую сестру и даже забыла о себе. — Вот ты каждого нового писателя воспринимаешь как событие, но они-то ничем из своей настоящей, во всех смыслах богатой жизни и не думают с тобой делиться. А твою увлеченность безответственно используют, тем более что ты никакой платы не требуешь — даже шоколадки тебе не надо... Когда-нибудь ты поймешь, что я права, только бы не слишком поздно...

Страшно не хотелось возвращаться в издательство. Одиночество еще тяжелее там, где много людей, но надо себя пересилить. Вдруг завтра Рахатов назначит встречу, а отпрашиваться будет неудобно. Нет, для себя одной прогуливать нельзя. И Женя вернулась на службу.

23. НА СЛУЖБЕ

На службе Женя уже давно чувствовала себя разведчиком — не в стане ярых врагов, а как бы в стране третьего мира, которая и дружественные поступки совершает, но может и агрессивную акцию предпринять. Надо быть начеку: и разгадать намерения, и постараться предотвратить преступление.

Как порой хотелось назвать вещи своими именами! Но достаточно один раз возмутиться перестраховкой директора, снимающего из плана книгу участника «Метрополя», или сказать в лицо Альберту, что нельзя превращать Заболоцкого в неумного любителя путешествий, который по своей воле в тридцать восьмом уехал из Ленинграда на Дальний Восток, а потом в Казахстан, — все равно их решение не изменится, а доверие исчезнет — доверие, благодаря которому Женя сумела почти в каждой книге что-то спасти, протащить.

Вот и сейчас пришлось поддакивать Альберту, соглашаться, что, конечно, в последнем томе кайсаровского собр. соч. никак нельзя поместить его мемуарную книгу — ведь там и беседы, и стенограммы, и письма, его собственные письма.

— Как он может такое предлагать — ведь это же нескромно! Совсем старик из ума выжил! Давайте вместе подумаем, что нам делать.

И негодование, и растерянность Альберта были искренними. Будь это другой писатель, менее известный, он не за-

дал бы такого вопроса — просто бы власть употребил. А тут настолько сложная ситуация, что даже не стал разбираться, кто виноват. Ведь рукопись, подписанная Женей в набор, а значит, полностью ею одобренная, лежала у него в нарушенные всяких графиков уже месяц. Значит, читал. Содержание ему не понравилось, а не форма. Недавно вышел последний том Ивана Ивановича — там целый раздел с его беседами и интервью. Хлопоты были только с бухгалтерией — один собеседник поинтересовался, не причитается ли ему гонорар за пространные вопросы. Причитался.

Явной крамолы у Кайсарова, конечно, нет — он отлично знает, что непроходимо, но ведь из его книги получается, что в советской литературе шла борьба, борьба не только эстетическая, но и политическая, и побеждали не сильнейшие.

Женя поехала к Кайсарову — по телефону о таком не говоришь... В подземном переходе на «Библиотеке имени Ленина» выбрала гвоздики диковинного желто-коричневого цвета и попросила у безразличной продавщицы хотя бы кусок газеты — укутать беззащитную природу. Но та пожалела плечами — откуда? Пришлось засунуть их в кожаную индийскую сумку головками вниз. Хотя сумка была большая — в нее легко вмещались толстые рукописи, которые Женя обычно брала домой на уикенд, — один стебелек хрустнул.

В Переделкине, недалеко от дачи Кайсарова, молодой человек без шапки, в джинсовой курточке на белом меху сметал снег с роскошной серебряной машины непривычного размера: больше «волги», но меньше «рафика». Интересно, кем он ей приходится, этой машине?

— Папа, к тебе. — Неприветливая дама такого возраста, которому совсем не подходит слово «дочь», поздоровалась сквозь зубы, не называя Женю по имени, без благодарности забрала цветы и понесла их на кухню — вряд ли Кайсаров о них узнает.

А когда жива была Зинаида Николаевна, все было по-другому. Она шумно, с радостью встречала Женю, восхищалась ее румянцем, всегда замечала и хвалила новое платье, спрашивала о работе, приглашала приходиться с друзьями. И Кайсаров был тогда веселым, добродушно подшучивал и над ней, и над собой. «Сейчас буду хвастаться», — говорил перед тем, как подробно отчитаться о своих литературных и издательских успехах. Они наперебой рассказывали о своей молодости, о друзьях, учителях и учениках. О домработнице, которая часто бубнила себе под нос: «Хозяйка хорошая, только вот гостей очень любит. Даже итальянцев готова принимать».

Однажды Кайсаров благосклонно отозвался о Сашиной статье в «Новом мире». Узнав, что Женя знакома с ним, попросил привести в гости. Сашка купил ахашени, и Женя даже с ним повздорила, считая неприличным приходить к мэтру с бутылкой вина. Но хозяева очень обрадовались. Зинаида Николаевна поставила хрустальные рюмки, нарезала сыр, колбасу, разогрела в духовке французский батон. И все не заметили, как наступил поздний вечер...

Кайсаров с трудом поднялся с кресла, уронив при этом одну из многочисленных коробочек с лекарствами, которые выстроились перед ним на столе. Господи, как ему, такому поникшему, подряхлевшему, сказать о неприятных вещах? И Женя заговорила о его новой сказочной повести, только что появившейся в ленинградском журнале.

— О да, мне многие звонили. Не скрою, тоже хвалили. — Кайсаров с лукавым самодовольством улыбнулся. — Как правильно вы сказали о чистом веществе добра и зла! Ведь в сказке их борьба ясна и бескомпромиссна, но и в нашей жизни все поступки людей — и самых простых, и высших государственных деятелей, какими бы идеями их ни оправдывали, — четко делятся на две эти категории. Вот и Баринов мне сказал, что я проповедую манихейство. Я сейчас диктую статью о перекличке современной прозы и прозы двадцатых годов. Куда-то делась «Литературка» с рецензией вашего друга, Александра Ивановича, она бы мне сейчас очень помогла. — П. А. прямо на глазах оживился, как будто выздоровел.

— Я вам пришлю, — обрадовалась Женя и стала как можно деликатнее рассказывать о беседе с замом главного. — Я думаю, если вы позвоните министру печати, то хоть что-нибудь удастся спасти. Вот я узнала номер телефона.

Неожиданно Кайсаров совсем не огорчился:

— Номер я знаю — вчера хлопотал насчет сборника моего покойного учителя. А книгу эту я все равно сейчас издаю в другом месте. Она и правда не подходит для собрания сочинений. Пусть лучше туда войдет повесть, о которой мы только что говорили. Ведь это можно?

Конечно, для начальства это будет прекрасный выход. Как они обрадуются... Честно говоря, вряд ли удалось бы пробить мемуарную часть — слишком категоричен был Альберт. И Женя не стала уговаривать Кайсарова вступать в борьбу.

— Павел Александрович, тут директору пятьдесят лет исполняется. Наши сделали ему альбом, в котором авторы и художники пишут поздравления. Валерия Петровна просила меня привезти его вам. Но если вы не хотите отметиться...

«И я вас пойму — вам-то зачем отличаться по части подлимажа. Против Сахарова, против Солженицына вы же отказались подписывать», — подумала, но не сказала Женя.

— Да нет, давайте напишу.

Кайсаров взял тяжелый фолиант, не любопытствуя, не заглядывая туда, где уже были стихи знаменитого прогрессивного поэта с изысканной составной рифмой «а в июле — Аве, Юлий!», открыл чистую страницу и медленно вывел пару строк, озорно декламируя:

— Неуважаемый Юлий... Как его отчество? Сергеевич! Пятьдесят лет вы прожили с наложенными штанами, ни черта не понимая в литературе, ну и так далее...

Женя засмеялась, но то был смех сквозь страх. Что теперь делать? Вырезать страницу — будет видно. Решила все-таки посмотреть своими глазами: в альбоме было нацарапано несколько дежурных, даже стилистически небезупречных фраз.

— Евгения Арсеньевна, в молодости мы задумали и начали писать книгу под названием «Самогранник», где намеревались соединить фольклор, поэзию, прозу, литературоведение, в общем, дать синтез литературы двадцатых годов. Каждый туда свое вписывал.

Женя постаралась изобразить удивление, интерес, благодарность за доверие. Силилась не показать, что весь этот рассказ, который П. А. подает сейчас как откровение, она уже несколько раз слышала из его уст, да и сам он написал об этой книге в воспоминаниях.

— Может, эту идею и нельзя было осуществить. Я сам несколько раз к ней возвращался, но в молодость, к сожалению, вернуться нельзя. Думал, кому бы это отдать. Есть несколько писателей, считающихся моими учениками, но одни — слишком приземленные, без полета, другие фантазируют сухо, рассудочно. А может быть, это вещь научная и продолжать ее должен ученый? Не знаю. У вас есть вкус, трудолюбие, любовь к слову, вы сможете пережить эту вещь как свою. Покажите ее Александру Ивановичу. Но больше никому не давайте.

Кайсаров медленно встал и, держась за стол, за стену, побрел в свою библиотеку. Долго там рылся, позвал дочь. Она говорила с ним громко, четко артикулируя слова — как с глуховатым стариком.

Дорогу до станции Женя не заметила, хотя так любила ее: здесь соединялись потаенные воспоминания и лес, тропинка, поле, такие разные каждый месяц, каждое время года.

В вагоне электрички она достала зеленую папку, завязан-

ную с трех сторон белыми, не загрязненными частыми прикосновениями тесемками. Внутри папки просторно лежали листы, исписанные разными почерками. Последним был клочок разлинованной бумаги с одной строфой:

И смело смысл
Знаменя лжи,
И жизни смысл
Себе сложил.

24. И ЖИЗНИ СМЫСЛ СЕБЕ СЛОЖИЛ

Уже несколько лет и директор, и начальник отдела кадров, и парторг приводили на собраниях удручающие — по мнению райкома партии, которое они без малейшего сопротивления признали своим, — сведения о среднем возрасте редакторов. Эти цифры должны были тонко намекнуть дамам пенсионного возраста, что пора воспользоваться правом уйти на заслуженный отдых. Составлялись списки, из которых следовало, что в течение ближайших пяти лет — советским людям привычно мыслить пятилетками — все переростки покинут издательство. Но только доходило до дела, начинались мольбы об отсрочке. Причины приводились всегда веские: необходимо дотянуть дочь до окончания института, помочь внуку поступить в вуз, доработать до льготного стажа, дающего прибавку к пенсии в десять процентов... В одних случаях резоны убеждали, в других, когда речь шла об одиноких старушках, всю жизнь отдавших издательству и не мыслящих без него своего существования, бестрепетной рукой выполняли приговор. Одна горемыка, не сумев приспособиться к насильно всученной свободе, отравилась газом. А ведь уходила она из издательства, как говорится, по-доброму, без скандала. Принесла, правда, отчаянную челобитную в профком, но пока спускалась с пятого этажа на второй, где на собрании должны были рассматривать ее дело, профлидерша уговорила ее не позориться, забрать бумагу: дескать, все предрешено.

Выходит, борьба шла не на жизнь, а на смерть. Все средства хороши. Одна завша, ровесница главного редактора, на недвусмысленный намек ответила: «Уйду только после тебя». Но уже и главный был на пенсии, а она все еще работала. Говорили, что у нее рука в ЦК. Скорее всего, она сама и была автором этого слуха, но кто проверит... Директор в таких случаях был доверчив.

Штаб нестареющих душой ветеранов разместился в каби-

нете Вадима, который возглавил борьбу — и как начинающий пенсионер, и благодаря связям в вышестоящих инстанциях. Он безоговорочно поддакивал старушкам, как, впрочем, и сочувствовал молодым, жаловавшимся, что из-за старой гвардии им нет никакого роста. Умело направляя на директора разъяренных дам, он заварил такую кашу, что расхлебывать ее было назначено собрание представителей коллектива с приглашением министра и его замов.

Дата держалась в секрете. Была объявлена готовность номер один — на этой неделе Вадим просил всех своих сторонников не брать библиотечный день. Во вторник, когда директор был занят государственными делами — в ранге приглашенного укреплял свои связи с делегатами юбилейного Пленума правления Союза писателей, — состоялась генеральная репетиция будущего действия.

Женю позвал сам Вадим. Она уже не удивилась, увидев перебежчиков — парторга, например, на словах бывшего за мир и дружбу, на деле еще вчера считавшего позицию директора более крепкой и поддерживавшего его, а сегодня распорядившегося в кабинете Вадима. А ведь его назначили вести собрание...

Сейчас, в присутствии человек десяти, обсуждались глобальные проблемы: как добиться, чтобы дружественные редакции сражались в полном составе, а нейтральные — только своими представителями. Враждебных Вадиму просто не было. Договорились, что заранее списки выступающих составлять не будут, а после каждого выступления за директора парторг будет выпускать на трибуну двух-трех его противников. Вадим очень умело делал вид, что борется за попранную справедливость, что печется исключительно о благе обиженных тружеников, но Женя-то знала, что для него это собрание — последний рывок раненого зверя.

Примерно неделю назад она корпела над стихотворной рукописью у техредов, рядом с кабинетом плановички. В тридцатые годы экспроприированный особнячок стал тесен для главного издательства страны, поэтому нарастили два верхних этажа, а уже при Жене закончили боковую пристройку. Ее сооружение курировал сам Вадим и, как говорили злые языки, сильно нагрел на этом руки, но не пойман — не вор. Уволили начальника АХО, что не улучшило качество стройки, — и вот через слишком тонкую стенку Женя нечаянно услышала, как плановичка докладывала директору об обнаруженных ею ошибках в отчетах Вадима. А как раз шла кампания по борьбе с приписками, и, умело используя ситуацию, можно было тотчас отправить Вадима на пенсию,

выдав это за благо, за спасение от скамьи подсудимых. Но рохля Сергеев не стал добивать противника, не понимая, как это опасно для него самого.

А страсти у Вадима распались. Экстремисты требовали поставить вопрос об увольнении директора, правда, все же было непонятно, какие преступления или хотя бы проступки будут поставлены ему в вину, ведь если министерское начальство поймет, что происходит бунт пенсионеров, сражение будет проиграно вчистую.

Чуть слышно заурчал электронный телефон, Вадим взял трубку, сосредоточенно слушал, что-то прикидывая в уме. И как результат старательных раздумий на лице его возникло два выражения: губы сложились в скорбно-торжественную мину, а в глазах мелькнула радость игрока, получившего козырную карту.

— Да-да, непременно передам, — скороговоркой пробормотал он и положил трубку. — Товарищи, мне звонили из милиции. — Он помолчал, сделав горестное лицо: — Сегодня утром Мария Ивановна Майкова выбросилась из окна своей квартиры.

— Как? Не может быть! — вскрикнула Женя. — Она выживет?

— Нет, но пусть это останется пока между нами... — Вадим посмотрел в глаза каждому, и все с готовностью закивали — такие обещания легко даются и так же легко нарушаются. — Анну Кузьминичну вызовите ко мне.

«И я виновата», — подумала Женя.

Память стала подсовывать разные картины... Крик, встретивший Женю в первый день службы... Отделение для нервных больных, куда ее, только что назначенную стражделегатом, отправили с передачей, купленной на профкомовские два пятьдесят. По случаю эпидемии гриппа свидания запретили, а то как было бы узнать Машу, ведь Женя видела ее мельком...

Этой весной двух человек из редакции надо было послать на овощебазу. Женя как раз и рукопись сдавала, и срочную корректуру читала, и встреча с автором была назначена. Когда ей сказали, что больше некому, она чуть не заплакала от обиды — они будут чаи распивать, а ей опять ночью не спать. Но раз Кузьминична не защитила, то просить, унижаться перед ними она не будет.

Вторая смена в три часа, поэтому Женя успела утром поработать с Бариновым, а потом поехала искать базу — каждый раз отправляли работать на новую. И вот, выйдя из электрички на Северянине, она наткнулась на Машу Майкову,

похожую на пугало — в синих заплатанных брюках, в старой куртке, больше напоминавшей телогрейку, и в клетчатом платке — мама точно в таком же ходила в сарай за дровами, когда они еще жили в своем доме с печкой.

И вдруг после первых, ничего не предвещавших фраз, эта скрытная, необщительная женщина нервно открыла нараспашку свою душу. Там была и диссертация, которая пишется с невероятным трудом, и Баринов, ради которого она столько раз рисковала, а он женился на дочери генерала, и нестерпимое одиночество, и ненависть редакционных кумушек... Когда она сказала «моя статья», Женя сделала вид, что знает, какую статью написала Маша, и только потом догадалась: «моя статья», «моя книга» — это та, которую Маша редактирует.

В темном холоднящем закутке они перебирали гнилой лук, и Жене стало казаться, что это у нее такая тяжкая, беспросветная жизнь.

Чем она могла помочь? Тем более что на следующий день в издательстве Маша опять ответила сухим кивком на дружеское «здравствуй», и Женя как будто лбом о стенку стукнулась.

Летом на имя директора пришла кляуза от старого большевика, процитировавшего строки из бариновского предисловия, где неодобрительно говорилось о том, кто разогнал Учредительное собрание. «Знают ли в издательстве, о ком речь?!» — гневно вопрошал читатель. Директор испугался и решил наказать виновных вместо того, чтобы письменно извиниться за допущенную ошибку — книга вышла полгода назад, и вряд ли бы нашелся второй человек, читающий предисловия, одновременно знающий, что Учредительное собрание разогнали не при царе, и считающий бариновскую оценку несправедливой.

Кузьминична, подписывавшая книгу в печать, считала, что виновата только Маша. А чтобы заглушить шепотки о своей вине, громче всех кричала: «Тебе этого никогда не простят!» Она же объявила, что теперь Машу исключат из партии и, скорее всего, уволят. Но партбюро, на котором должны были решать этот вопрос, все откладывалось.

Теперь на заседании будет другая повестка дня.

Вечером, когда все издательство уже знало о трагедии, Кузьминична затащила Женю к себе в кабинет. Она бухнула полпачки чая в стакан с невыключенным кипятильником, варево мгновенно поднялось и выплеснулось на стол.

Женя выдернула вилку, а Кузьминична как будто не заметила лужи и, не дождавшись, пока заварка осядет, запила чаем горсть таблеток.

— Она письмо в почтовом ящике оставила! Написала, что я виновата в ее смерти! Она же сумасшедшая! Она на мое место хотела сесть! И в партию для этого вступила! И диссертацию писала!

Кузьминична все время привставала, собираясь выбежать из-за стола, но тут же садилась обратно — как будто боялась, что ее кресло сейчас же займут. Кто? Машин дух? Женя уже хотела звать на помощь, но начальница внезапно затихла и устало присипела:

— Мне Вадим Вадимыч посоветовал на больничный уйти. Кабинет я закрою, а вас прошу взять в свою комнату цветы и поливать их. Только никому не говорите.

О чем не говорить? Переспрашивать Женя не стала.

— И еще. Рукописи будет Альберт Авдеич подписывать, а вас прошу на все заседания ходить и мне потом звонить. Только не из нашей редакции, чтоб никто не знал.

Чего не знал? Как не знал, если она фактически оставляет Женю своим заместителем? Обходя парторга редакции, который с удовольствием исполнял выгодные для него обязанности в те нечастые дни, когда Кузьминична так болела, что не могла добраться до конторы, или уезжала в отпуск. Положенные двадцать четыре дня она никогда не отгуливала — всегда возвращалась раньше срока в бессмысленной тревоге якобы за работу редакции. На самом деле, конечно, — в страхе за свое место. В отсутствие Кузьминичны работа шла даже лучше — без постоянных взбучек, без нерво-трепки решались самые сложные вопросы.

В среду вечером директор вызвал к себе актив и сообщил о завтрашнем собрании, на котором «мы должны рассказать нашему министру о трудностях в работе. Товарищи, прошу проявить активность!» — закончил он с всегдашним комсомольским задором, не сообразив, что призывает к активности против себя.

Обычно на собраниях зал был похож на голову стареющего мужчины: спереди большие залысины — пустые кресла, затем редкие кустики и, наконец, полоска волос шириной в три-четыре последних ряда. Теперь же мест не хватило, хотя и было объявлено, что приглашены только члены дирекции и «треугольники» редакций и отделов. На первом этапе план Вадима с блеском осуществлялся.

Жене удалось занять крайнее место у выхода, чтобы сбежать, если говорильня затянется: Рахатову было удобно встретиться с ней именно сегодня. Начали в четыре, и была надежда, что к концу рабочего дня все закончится.

Сначала все к тому и шло: директор целый час разглагольствовал об успехах, достигнутых несмотря на объективные трудности, бережно покритиковал министерство за сложности с бумагой и, довольный собой, сел на свой стул в президиуме. Потом по бумажке пробубнили свое комсомольский секретарь и начальник АХО.

В шесть часов, когда обычно к выходу стыдливо, но настойчиво начинал тянуться ручеек из сотрудников производственных служб, взял слово Вадим. Говорил он сбивчиво, то и дело оправдываясь, что ему тяжело, но ради дела он готов пожертвовать собой, положить голову на плаху. Как коммунист он должен, обязан сказать правду. Выходило, что из-за директора неправильно реставрируется старое здание, быстро обветшала новая пристройка, план третьего квартала под угрозой... И хотя все эти беспорядки были результатом усилий самого Вадима, получалось, что виной всему нравственная нечистоплотность директора:

— Мне его шофер жаловался: «Вадим Вадимыч, говорит, надоело мне возить его красотку...»

Это про Сергеева-то, который так всего боялся, который всем женщинам, и молодым, и старым, и красивым, и уродинам, без разницы, говорил одинаковые комплименты. И даже если они были сказаны впопад, все равно звучали фальшиво.

— Но самое главное, товарищи, — голос Вадима поднялся до патетики, — Юлий Сергеевич не может, не имеет права работать с людьми. Мы вынуждены констатировать, что он вместе с Анной Кузьминичной довел до самоубийства одного из лучших наших редакторов, высококвалифицированного специалиста, члена партии Марию Ивановну Майкову... — Эти риторические характеристики звучали в его устах, как титулы: Герой Труда, лауреат премий, член ЦК...

— Ну, понимаете, это, понимаете, уж такие обвинения серьезные... — Дама из министерства в вязаной мохеровой шапчонке, особенно уместной для сидения в президиуме, возмущенно прервала многозначительную паузу.

Но то ли чин ее был небольшой, то ли Вадим уже закусил удила, но при ощутимой поддержке зала он взвизгнул:

— И тому есть доказательства!

Раздались одобрительные хлопки.

Когда интеллигентная, казалось, редакторша принялась расписывать, как Сергеев не поздоровался с ней на приеме в болгарском посольстве, Женя вышла из зала, не заботясь о том, кто что скажет. В коридоре у дверей курила космонавтища, одна из главных сподвижниц Вадима.

— Ты куда? — Она ткнула пальцем в Женину грудь и покачнулась.

Пары крепкого напитка перебивали запах сигареты и резких французских духов — Женя не смогла вспомнить знакомое название. «Сейчас вернусь» прозвучало как «отстаньте!» — Женя сама удивилась своей твердости. А добровольная охранница уже «тыкала» другому.

— Боже мой, что же так поздно?!

В голосе Рахатова Женя услышала нотку недовольства, даже осуждения. В другой раз она бы не удержалась и использовала ее как вещественное доказательство его эгоизма, но сейчас было не до того. Она возбужденно затараторила, комментируя все нюансы собрания — себялюбие заразно. Рахатов, впрочем, видел издательскую ситуацию со своей высокой колокольни.

— Жаль, они оба неплохие люди. Конечно, положиться на Сергеева нельзя, но пакостить мне он бы не стал. А Вадим Вадимыч помог достать балакрон для переплета моего трехтомника... Жаль, жаль... Но ты-то что так волнуешься? — Рахатов с досадой отодвинулся от Жени.

— Да как вы не понимаете? Эта космонавтиха, она перед собранием грозила: «На этот раз мы тебе не дадим отсидеться! Надо быть принципиальной и отстаивать свою позицию!» Я же не могла сказать ей, что никакая это не моя позиция, да и принципы их — чистый камуфляж! Говорится так высокопарно, а имеется в виду: плати по счету! Знает, что Вадим помог с квартирой. Если бы он сам велел мне выступить, то пришлось бы что-то мямлить. Жалкое зрелище. Одна дама минут пятнадцать тужилась на трибуне. Было совершенно непонятно, о чем речь, но она так эффектно вынимала из предусмотрительно прихваченной лакированной сумки кружевной платок и прикладывала к глазам, так пронзительно завибрировала голосом и, оборвав фразу, засемила на шпильках к своему месту, что можно было считать задание выполненным. Я бы так не смогла.

— Женечка, они мизинца твоего не стоят! Не огорчайся так, выкинь все из своей великолепной головки! — Рахатов принялся стягивать с себя мохнатый свитер.

— Господи, что я завтра Вадиму скажу! — Женя не могла уже остановиться, но все-таки призналась себе в своей трусости. — Да наплевать на него! Как омерзительно он Машину смерть использовал! Кузьминичну приплел, а чтобы она не смогла возразить — отправил ее на больничный! А Сергеев, как дурак, сидел и молчал! Я теперь сомневаюсь, оставляла ли несчастная Маша письмо, не сам ли он его выдумал...

Дальше Женя говорить не смогла — мешало платье, которое Рахатов пытался с нее снять. Она вскинула руки, но запуталась в подоле и не смогла расстегнуть пуговицу у ворота.

— Я сама! — рассердилась она и нехотя продолжила раздеваться. — Нет, вы меня совсем не слушаете. Я за себя постоять могу!

— И полежать тоже! — Рахатов потянул Женю за руку, но она даже не улыбнулась его каламбурю.

— Я ведь от вас ничего не требую, даже совета не прошу! Но вы всегда так — все мои слова куда-то уходят, до меня даже эха не доносится... Отгородились от моих страданий! Только не говорите опять, что я добрая, что не захочу рубить голову вашей...

— Остановись, пожалуйста! Остановись! — Рахатов попытался лаской утишить бурю. — Ты ведь звездочка яркая и горячая, упавшая мне в ладони. Спасибо тебе за это! Но нам нужно вести себя по-японски, фигурально говоря. У них очень мало земли, и на крохотном клочке, который можно закрыть собственным кимоно, они ухитряются выращивать массу превосходных вещей. Там не пропадает ни одного полезного сантиметра площади, так любовно и бережно относятся они к своему саду. К сожалению, пока так случилось, что у нас с тобой хронический дефицит времени. И очень обидно те недолгие отрезки, подаренные нам судьбой, тратить на горькие слова, на споры, на уколы и укусы. Ведь в конечном итоге ни тебе, ни мне никакой радости или тепла это не приносит. Можно любые вопросы обсуждать, все, что угодно, кроме одного: быть или не быть...

Но Женя уже ничего не могла с собой поделать. Как будто внутри, в груди отчаяние ее материализовалось, и только оно диктовало слова и интонацию.

— Давайте условимся. — Рахатов перешел на «вы». — Можете говорить все что угодно, но только не в такую минуту. — Он встал с кровати и начал одеваться. — Это уже цинизмом отдает, это оскорбительно для нас обоих.

Женя села и продолжала слушать его, не замечая, что она голая, неуютно было от другого. Она и раньше могла огорчить Рахатова, могла сказать ему резкие слова, но сразу же

становилось стыдно, начинала жалеть его, боялась даже трещины, которая могла появиться, если на их хрупкие отношения нагрузить слишком много правды. Как бы ни злилась она на Рахатова, всегда помнила ту волну радости, которая, вдруг набегая, захватывает тебя и приподнимает над скукой, над суетой, над безликой толпой в автобусе, в библиотеке, на собрании...

Но все реже приходило такое настроение. Ведь на земле — оскорбительное положение, которое Рахатов с обидной легкостью не принимал во внимание: «Ты не любовница, ты — любимая». Да он даже не понимал, зачем Женя так старательно укутывала завесой тайны их знакомство. Все труднее становилось скрыть от самой себя, что его ласки уже не касаются той части ее души, о существовании которой она совсем недавно начала догадываться.

И вот первый раз Рахатов пожертвовал близостью, чтобы ее образумить, а она даже не испугалась. Не хотелось ни обвинять, ни виниться. Оказалось, что самое худшее — молчание... молчание, которое не хочет, чтобы его нарушили.

25. САШУЛЯ!

— Сашуля! Какими судьбами!

Саша вздрогнул, как будто его застигли на месте преступления, и обернулся. Свет из единственного окна в конце коридора, поцелуй в губы, который он все же принял за дружеский. И вот его уже взяли за руку и повели в кабинет. Незнакомая полноватая блондинка с яркими губами.

— Ты что же, не узнаешь меня? Неужели так постарела?

Кокетливая интонация как будто подтолкнула Сашину память. Если короткие бледно-желтые волосы, торчащие в разные стороны то кольцами, то сосульками, заменить на прямые длинные цвета... темно-коричневого цвета, который теперь выглядывает только у корней, выпустить воздух из пухлых щек, подтесать талию, бедра... то получится... Светлана...

Чтобы загладить свой промах, он радостно, слишком восторженно для искреннего признания, воскликнул:

— Что ты! Наоборот! Помолодела!

Светлана самодовольно хмыкнула и села за стол.

— Слежу за твоими успехами, молодец...

Говорила она свысока, как бы поощряя молодое дарование, хотя Саша был моложе ее всего на одиннадцать месяцев, — так мастодонты от критики подбадривают начинающих, этими же фразами литературные начальники сигнала

лизируют, что их кресло выше любых творческих успехов. Светланиных работ Саша не заметил, хотя регулярно читал толстые журналы и литературные страницы общеполитических газет, поэтому сразу понял, что она сделала издательскую карьеру.

— А я совсем писанину забросила — все время служба отнимает... Я ведь заведую редакцией по работе с молодежью. — Светлана одернула красную кофточку, поставила локоть на стол и пристроила в лунке ладони расплывшийся подбородок.

Саша отвел глаза от выставленного напоказ декольте. Новость его обрадовала, а заигрывания он не заметил.

— Вот здорово! Я как раз книгу принес — мне ваш главный посоветовал статьи и рецензии собрать. Выходит, ее тебе нужно отдать?

— Да, дорогуша, мне... — Светлана откинулась на спинку кресла и, прищурившись, сладко потянулась.

Но и на это Саша не обратил внимания: из серого кожаного дипломата, которым он гордился, хотя тот и был куплен не за границей, а всего лишь в соседнем магазине «Лейпциг», — он вынимал рукопись своего будущего первого сборника — аккуратную папку, на крышку которой он вчера вечером наклеил белый лист с обрезанными для щегольства уголками и фломастером сделал надпись. Как на настоящей книге.

— Тут три раздела, все статьи печатались — я в заявке указал библиографию... — Саша говорил о своей работе, все больше увлекаясь, но совсем не тем, что хотелось бы Светлане.

— Я поняла, положи ее сюда. — Светлане даже нравилась эта игра, эта Сашина непонятливость. Ей нравилось оттягивать предстоящее — она твердо знала, что оно предстоит. — Ты с Инкой-то уже официально развелся? Как она тебя с ребенком надула! Знаешь хоть, кто его отец на самом деле?

Сашу больно укололо, что о его стыдной тайне говорят вслух, проходя, но ответил он только молчанием.

В кабинет вошла долговязая девица с глубоким вырезом на угреватой груди, раскрыла рот и сразу ретировалась, вы провоженная злым взглядом начальницы.

— Никак не могу приучить стучаться. Лучше запереть...

Светлана медленно, повторяя движения только что исчезнувшей молодой кокетки, подплыла к двери и повернула ключ. Заметив, что Саша посуровел и стал закрывать дипломат, она склонилась над низким лакированным шкафом и достала из него початую бутылку коньяка и две рюмки с коричневыми лужицами на дне.

— Выпьем за встречу? Конечно, сейчас рискованно, но ведь от этого только приятнее... Ты меня не выдашь?

Светлана пристроилась на ручке Сашиного кресла и заглянула ему в глаза. Поняла, что торопиться не стоит, подождала, пока Саша выпьет, налила ему еще, встала и, расхаживая по кабинету, поворачивалась то одним, то другим боком, обтянутыми слишком узкой, слишком короткой юбкой.

— Слушай, может ты помнишь, какие есть статьи на алкогольные темы — нам сборник надо составлять, а я не в курсе. Говорят, у Гладкова есть, но он же вроде алкоголик был?

— Да, есть у него о вреде пьянства, со знанием дела написано... А особенно в антиалкогольную страду ценится «Серая мышь» Липатова — жаль, не дожил человек до апогея своей славы. Сейчас за эту повесть все издательства ухватились. А вот бедняге Пушкину не повезло: уже и школьники знают, что «выпьем, бедная старушка» — не о квасе речь. У Жени в издательстве целую неделю совещались, включать ли эту крамолу в сборник. Решили повременить и обойтись без Пушкина.

У Саши закружилась голова. Он забыл про бессонную ночь, проведенную над рукописью, когда исправлял опечатки, заклеивал лишние фразы, впечатывал новые слова для прояснения мысли. Исчез страх, заставивший дрожать колени, едва он переступил порог издательства. Рукопись пристроена и, кажется, удачно. Уже сам он налил себе и Светлане и с удовольствием тянул по глоточку не самый плохой грузинский коньяк.

Когда Светлана подошла к нему, положила его руку на свою мягкую грудь, а своей начала расстегивать его ремень, он уже перестал контролировать ситуацию...

— ...Ах, хорошо! — Светлана залпом выпила одно за другим содержимое обеих рюмок и убрала опорожненную бутылку. — Теперь перышки почистить надо. — Она подошла к зеркалу на стене, взъерошила волосы и, подкрашивая губы, хихикнула: — Я тебе помадой ничего там не испачкала? Ты с кем живешь-то?

— Один.

— Да я знаю, что один. Трахаешь кого? Баба у тебя есть?

Кто-то дернул дверную ручку, потоптался, послышался удаляющийся стук каблучков.

— Ну, мне, наверное, пора? — Саша робко ухватился за соломинку, чтобы выбраться из пустоты, возникшей там, где раньше были надежда, усталость, опьянение.

На виду лежало стандартное оправдание, годящееся на все подобные случаи: на его месте так поступил бы каждый

мужчина. Правда, на филфаке, где на десять девочек всего полмальчика, он, бывало, переводил в необидную шутку слишком ласковый поцелуй или страстное признание. А тут... Откуда у него эта просительная, заискивающая интонация? Она и потопила соломинку.

— Что значит «пора»?! Вместе пойдем! — Светлана скинула с себя все церемонии. — Пи-пи сейчас сделаю и пойдем.

Повозившись с замком, она вышла. Больше всего Саше захотелось сейчас оказаться на улице, одному, долго идти пешком и ни о чем не думать, но он даже не приподнялся с кресла.

— Слушай, я тебя закрыла... Вот умора! Чтоб не убежал! — Светлана громко радовалась своей предусмотрительности. — Ну, я готова, пошли.

И сумерки, каждый вечер превращавшие цветной город в черно-белую графику, и независимые друг от друга люди, и машины, едущие по своим делам, помогли Саше понять, что ненавечно он теперь привязан к Светлане, что все еще можно исправить.

— Инку твою я никогда не любила. Все им дано, с рождения все устроено: и прописка, и квартира, и работа — если, конечно, захотят служить. А нет — и не надо, папочкинoго наследства даже на внуков хватит. А от кого этот внук — им наплевать! Вот нам, гостям столицы, чтоб чего-нибудь добиться, как еще покрутиться приходится! Чтоб в это кресло сесть, сколько раз надо лечь под всякое дерьмо. Ну, ничего, я им, падлам, еще покажу! А про Инку забудь — ею Бороденка наш занялся капитально. Она теперь сполна получит. Папашу-то ее секретарем назначили... или избрали — путаюсь я, да это одно и то же. Вот ради такого тестя и готов наш соколик со свободой расстаться. Что-то из этого выйдет! Увидим, кто кого!

Саша плелся за Светланой, не вслушиваясь в ее слова. Уже давно ему было безразлично все, что связано с прежней семейной жизнью. «Этого не было», — когда-то сказал он себе и сам поверил. Конечно, не сразу. Пришлось долго выхаживать, лечить раненую гордость, гасить вспышки беспомощной ненависти. А фантомный Ленечкин кашель все еще будит по ночам...

Сейчас он терпеливо ждал, когда же кончится очередное испытание, и думал о том, как отредактировать встречу, чтобы о ней можно было рассказать Жене.

Но у Светланы были планы совсем другие.

— Вот и мой дом, видишь, башня белая. Сейчас уж как следует... — Она многозначительно посмотрела на Сашу: —

Отдохнем. Вон, смотри, на пятом этаже мои окна. Господи, свет-то там откуда? — Светлана зло, некрасиво выругалась. — Муженек, черт бы его побрал, раньше срока при...ярил. Старый мудака! Ладно, отпускаю тебя. — Она подставила щеку для поцелуя и деловито добавила: — Позвоню сама — в рукописи-то телефончик не забыл указать?

И хотя Светлана дернула за ниточку, напомнив, что Саша теперь от нее полностью зависит, он обрадовался неожиданной свободе. «Да ну вас всех...» — отгородился он разом от всего нелепого и стыдного в своей жизни. В голове закрутилась одна недодуманная идейка насчет Полонского, и с ней он быстро зашагал к метро.

26. ИСТОРИИ ПОКА НЕ ИЗВЕСТНО

Истории пока не известно ни одного учреждения — от химчистки до министерства — чья работа застопорилась бы из-за отсутствия руководителя. Без курьера, без машинистки, без корректора сразу бы возникли неудобства, появились проколы, а без директора издательство пребывало уже почти полгода и, казалось, так может продолжаться вечно.

В конце декабря, когда все гадали, выдадут ли до праздников зарплату, какой будет заказ и хватит всем или опять придется разыгрывать, разрешат ли пожарники проводить в актовом зале елку для издательских детей, когда многим стало понятно, что уже никуда не пригласят и надо либо самим звать гостей, либо делать вид, что Новый год — семейный праздник и что его по святой многолетней традиции отмечают у себя дома, в интимном кругу, а всю досаду одиночества сорвут на безответном телевизоре, — именно тогда произошло окончательное падение кабинета Сергеева.

Объявили о партийном собрании, на котором должны зачитывать очередное закрытое письмо. Правда, неясно, от кого закрытое — о нем рассуждали уже в утреннем переполненном автобусе и в очереди за мясом. Новый парторг, которого с помощью горкома сумели посадить на место прежнего, изменника, открыл короткое собрание предательскими словами:

— Сегодня наконец-то товарищ Сергеев избавил нас от своего присутствия.

Власть рассредоточилась. Ее очажки то вспыхивали, то едва тлели в трех кабинетах: Вадима, Альберта Авдеича и парторга, объединившегося с плановичкой, с главным бухгалтером и с редакционной завшей, женой политически ак-

тивного космонавта. Но вопреки басне Крылова воз тащился и даже не скрипел.

Каждый понедельник начинался с азартного обсуждения кандидатуры будущего директора, документы которого вот-вот пройдут все инстанции. Оценивался его рейтинг, а проще говоря — потянет ли он на эту должность. Поражала компетентность, даже профессионализм, с которым рассматривали каждого нового претендента.

К марту теневые кабинеты назначили на искомую должность одного из «почвенников», наметили расстановку сил, обновили с ним знакомства и дружбы, а некоторые даже съездили за советом по якобы неотложным делам. Но почва ушла из-под ног кандидата, когда несколько дней по радио и телевидению передавали классическую музыку, ставшую реквиемом его мечтам и притязаниям.

Казалось, общественная жизнь в издательстве замерла. Этот искусственный колосс лишился чувств и сознания временно. Перестали проводить профсоюзные и партийные собрания, производственные совещания созывали лишь тогда, когда нельзя было решить вопрос в так называемом рабочем порядке, то есть быстро, без рассусоливания.

Сидели по своим окопчикам и чего-то ждали. Техреды, например, предвкушали захватывающее зрелище по распределению ролей при новом царе. Их интерес в данном случае был чисто платоническим — высоко находилась власть директора, слишком сложно до них дотянуться. Даже при желании ему надо будет преодолеть преграду — их сюзерена Вадима, что пока никому еще не удавалось. В этом издательстве.

В других — другие нравы. Рассказывают, что некий директор некоего царства-государства сам лично принимал на работу всех женщин, от курьера до редактора, после неминуемой беседы один на один в специальной, смежной с его рабочим кабинетом, комнатухе, где он совершенно официально мог прилечь на диван во время слишком утомительного рабочего дня. Касались ли эти правила начальственного состава — всяких там завредакциями, руководителей планового, производственного отделов — история умалчивает. Впрочем, кажется, на эти должности назначались только мужчины.

Всем, что было ненужно и неинтересно Вадиму, занимался Альберт. И даже эти крохи с барского стола опьянили его, затуманили прошлое, настоящее и будущее, сделали абсолютно счастливым. Женя стала сторониться его кабинета, так как никакого интереса к производственным вопро-

сам он не выказывал, соглашался с любым предложенным решением и ждал только момента, когда можно будет повернуть разговор к своему творчеству — вслух декламировал стихотворные миниатюры, жаловался, что день совершенно забит, но он приспособился сочинять в дороге — в метро, в автобусе.

— Прихожу домой, перед ужином выпиваю одну-две рюмашки коньяку и — за письменный стол. Часа два-три еще работаю. — Альберт откинулся на спинку кресла и на лице его появилась мечтательная улыбка. Что ему было страшнее вспоминать — коньяк или то, что он называет творчеством, — разобрать невозможно.

Из вежливости Женя делала удивленное лицо. Испытывая к себе отвращение, хвалила опусы шефа, с трудом следя за тем, чтобы разнообразить оценочные слова. Старалась она зря — он был рад обманываться, подозрения в неискренности не возникали в его голове.

Немного легче было вести чисто литературные разговоры — дело в том, что Альберт Авдеич не силен был в определении жанра того, что вышло из-под его пера (машинкой он никогда не пользовался, перепечатывала ему секретарша, которой в благодарность разрешалось переваливать свои непосредственные обязанности на редакторов).

Как-то он прочитал свои стихи, где с потугой на остроумие рифмовалось «печка-речка» и «мороза-навоза».

— Есть какой-нибудь жанр про деревню?

— Эклога, — неосторожно проговорила Женя. И чтобы он не воспринял греческий термин как насмешку — подходил он к виршам Альберта как корове седло, добавила: — Только это жанр серьезный, а у вас ведь вроде бы с иронией?

— Вот-вот, ироническая эклога — так можно? А первая буква какая?

— Э, — ответила Женя.

Через полмесяца эклога появилась на последней странице одного не очень популярного еженедельника.

— Евгения Арсеньевна, мы тут посоветовались — не скрою, мой голос имел решающее значение — и решили предложить вашу кандидатуру на пост завредакцией.

— Какой? — испугалась Женя.

— Как «какой»? Вашей.

— А Анна Кузьминична?

— Она уволилась сегодня на пенсию, по собственному желанию, — строго и отчужденно произнес Альберт. — Вы же понимаете, после той истории ей у нас делать нечего.

— Спасибо. — Больше ничего Женя не могла придумать. Наверное, надо было отказываться, сомневаться в своих силах. Но она любила работу, была уверена в себе и даже для приличия не могла предать эти чувства.

— Значит, посылаем документы наверх, вы согласны. Тут вот еще я хотел дать вам свою новую книгу... — Тон чуть-чуть изменился, но только тон. Никакого неудобства он не испытал. — Это сигнальный экземпляр. Вы не могли бы передать ее какому-нибудь критику — у вас ведь много знакомых — чтобы он напечатал рецензию на нее? Я надпись не делаю — это ведь неудобно будет... А вам потом подарю, когда авторские получу.

— Да, конечно, я постараюсь.

Женя изобразила, что все нормально, в порядке вещей. Протянула руку за книгой, опрокинув пластмассовый стакан с остро отточенными карандашами. Выходя из кабинета, больно стукнулась об угол книжного шкафа.

Что-то разладилось, она даже не могла естественно шагать — то увеличивала расстояние от поднятой ноги до пола и тогда раздавался громкий стук, то уменьшала его — нога проваливалась в пустоту, и Женя едва не падала.

Как теперь выполнить... приказ? Кого просить? Ну, фельетон мог бы Сашка написать, а положительной рецензией на эту графоманию кто захочет мараться? Хотя... он все-таки начальство. Временщик, но кто знает, сколько он так просидит и кем потом будет. Ладно, Сашка поможет. Обидно другое. Про заведование вставил скорее всего для того, чтобы заставить меня платить. Это только приманка.

И все-таки древние инстинкты в ней проснулись. В начальной школе Женя была звеньевой и гордо носила красную нашивку на правом рукаве коричневой формы, в пионерском лагере ее даже выбрали председателем совета отряда, и она с гордостью отдавала каждое утро рапорт пионерскому генералу. Это была вершина ее карьеры. Уже в старших классах не без труда отбивалась и от роли комсомольского вожака класса, и от членства в школьном комитете.

Голова заработала. Стала думать, как перестроить весь процесс, поменять планы, пригласить молодых, свежих авторов. Не пугало даже то, что на двенадцатую пятилетку уже все расписано и утверждено. Женя знала, сколько там бессмысленных книг, не нужных ни читателю, ни крупному начальству... Только их заменить — уже все пойдет по-другому.

— Как я рада! Как рада!

Валерия Петровна, попавшаяся Жене на лестнице по до-

роге в свою редакцию, обняла ее и расцеловала, больно уколов плохо выщипанными усиками над верхней губой.

— Чему? — непритворно удивилась Женя.

— Я всегда считала, что место заведующей должно быть вашим! — громко, так, чтобы слышали проходящие мимо, заявила Валерия.

— Тише, тише! Ведь еще ничего не решено, все еще сорваться может... — Жене стало стыдно, неловко, что на нее рассчитывают, а она может обмануть надежды.

— Молчу, молчу... Наши уже обсуждают, кого вы повысите. Чернова себя к вашим любимчикам причислила. Аврора вообще собирается на работу не ходить — мол, Евгения Арсеньевна цену ей знает и даст возможность работать дома. — Это Валерия доложила шепотом, крепко держа Женю за локоть в темном коридоре, ведущем в их редакцию.

Много раз и в этот день, и в другие приходилось Жене испытывать чувство самозванца. Особо усердные сразу же принесли ей на подпись корректуры. Как поступить? Объяснить, что она еще не назначена даже и.о. — скажут, боится ответственности. Подмахнуть не глядя? Ведь если хотя бы перелистать книгу, скажут, что она недоверчивая зануда. Украдкой посмотрев титульный лист, его оборот и последнюю страницу — самые уязвимые места, Женя исправила никем не замеченные несуразности и, сжавшись, поставила свою подпись. Так и представила, как над этой закорючкой, такой беззащитной, будут смеяться в производственном отделе: «Что это у вас за начальство объявилось? Приказа-то никакого не было...» И та, которая сейчас так смиренно ждет, начнет поддакивать, а потом согласно хохотнет.

Без сомнения, за эти заискивающие поздравления, совсем ей ненужные, придется расплачиваться, при любом исходе придется. Если не утвердят назначение, то отместка придет в виде презрения, даже ненависти, пропорциональной величине добровольного унижения. А если утвердят, то дорого они запросят за поддержку, значение которой сильно преувеличивают. Да и было у большинства только желание сглазить, которое уже потом, задним числом, выдадут за сочувствие, за одобрение. И обжаловать невозможно: все делается наедине, без свидетелей — никаких доказательств быть не может.

Конечно, при умении и лицемерной поддержкой можно попользоваться, не бояться непрочности этого материала, а решить, что один раз он выдержит, и выдать эту дешевку за мощный глас народа. На крепость и истинность в таких случаях проверять не заведено. Но Жене не суждено было на-

учиться собирать в кулак все подобострастные улыбки и комплименты, чтобы потом, в официальной ситуации, потрясать им и словами: «Коллектив со мной согласен!» или еще решительнее: «Народ нас поддержал!»

Тем временем возня продолжалась. В начале лета Женю вызвали на беседу с вышестоящей инстанцией. Перед этим она попала под сильный ливень и простудилась. В субботу-воскресенье удалось отлежаться и сбить температуру, но начался кашель, приступы которого случались как раз в самые неподходящие моменты — в вагоне метро, например, из которого приходилось выбегать под брезгливыми взглядами пассажиров. На платформе кашель быстро проходил.

Перед тем как постучаться в нужную дверь, Женя положила за щеку розовую пастилку французского «Дрилла», на всякий случай. Оказалось, что первая инстанция, которая должна проверить пригодность Жени, стоит выше ее только на полступеньки, а может, даже рядом — разобраться трудно: название должности ни о чем не говорит, а деление на всем понятные классы чиновников осталось в дореволюционном прошлом. Этот человек часто бывал у них в издательстве, правда, трудно было понять, зачем. То что-то выписывал из карточек прохождения рукописей, то бессловесно сидел в углу на заседании главной редакции. Весной он ходил в темно-зеленой фетровой шляпе с изогнутыми на тирольский манер полями, на носу очки в тяжелой роговой оправе, а на лице всегда неприветливое, злое выражение. За такими в провинциальном Турове мальчишки бегали с криком: «Интеллигент, сними шляпу!» Никакого отношения к интеллигенции он, конечно, не имел.

Оказалось, что молчун он только в издательстве, Здесь же, в своих стенах, его словно прорвало. Получилась не беседа, а лекция. Сначала Жене резала ухо его неряшливая речь, натужное косноязычие, непереносимое повторение во фразе одного слова — стилистическое безобразие: «Меня последнее время угнетает, что все время забывают об исконном, русском...», «Служит примером бескорыстного служения», потом у нее запершило в горле, она передвинула пастилку из-за щеки на язык и принялась ее сосредоточенно сосать. Щеки разгорелись, глаза выпучились, пытаюсь не выпустить слезу. Когда стало невмоготу, Женя позволила себе тихонько кашлянуть, одновременно подвинув стул, в надежде, что его скрип заглушит кашель. При этом она улыбнулась, чтобы страдание не так явственно читалось на ее лице, но собеседник ничего читать не собирался, а был занят только своим — составлением слов в бесконечный монолог.

День набегал на день, Женя не успевала опомниться, как рабочая неделя заканчивалась. В голове оставался только список дел, который никак не уменьшался, хотя она и привыкла ничего не откладывать на потом. График сдачи рукописей с трудом составила, теперь надо уговорить хоть кого-нибудь не идти в отпуск в июле-августе, а то придется ишачить за всех вдвоем с Валерией. Конечно, так даже лучше, но физически прочесть одной все корректуры невозможно, а халтуру Женя ненавидела и не разрешала прежде всего самой себе.

Каждый день приходили два-три письма. Кузьминична терпеть их не могла, складывала горкой в правом углу стола и не отвечала до тех пор, пока кто-нибудь не пожалуется директору и тот не устроит разнос. Эта горка служила очень правдоподобной декорацией для театральных сетований на невыносимое количество работы, хотя абсолютное большинство авторов получало стандартный, так называемый промежуточный ответ: «Ваш вопрос будет рассмотрен. О результатах сообщим дополнительно», что было равносильно и равноправиво «десяти годам без права переписки». Заявки совершенно не учитывались при составлении планов, но педантично перенумеровывались тупым красным карандашом Валерии и старательно подшивались ею в папки, вместе с копиями ответов.

Изучая последние сотни три, Женя обнаружила на этом кладбище надежд просьбу об издании сборника, написанную на клетчатой бумаге прилежным, почти детским почерком — знаменитая, любимая поэтесса рассказывала обыкновенными человеческими словами о том, сколько лет она работает в литературе и какие рецензии были в центральной печати на ее стихи; и настоящие писатели терпеливо доказывали свое право издаваться, но почти никто из них не был удостоен даже тоненькой книжки в бумажной обложке, не говоря об «Избранном» в твердом переплете. В то время как от Ивана Ивановича, других секретарей и начальников не было никаких просьб, а их книги выходили одна за другой или даже одна вместе с другой.

Женя выписала десятка два имен и стала соображать, как вставить их в ближайшие, уже утвержденные планы. А с ее утверждением что-то застопорилось. Правда, работать и за себя, редактора, и за и.о. завредакцией, и за подчиненных, и за начальство никто не мешал. Но кабинет Кузьминичны отдала под только что организованный отдел по международным связям, зарплату не повысили.

В пятницу, когда Валерии не было на работе, соседка по комнате спросила:

— Ты обедать собираешься?

Женя обрадовалась, что ее приглашают, захотелось отдохнуть, поболтать вместе со всеми, но не успела она согласно кивнуть, как та продолжила:

— Мы хотели все вместе пойти, не посидишь пока у телефона?

И Женя пересела в секретарскую. Конечно, если человек хотя бы раз соглашается на унижение, то потом на него валют без разбора. Вон, Петр Иванович, нацарапает три строчки и с достоинством вызывает младшего редактора: дескать, я работник творческий, машинописью не владею... Также не владеет он иностранными языками, не в ладах с хронологией, элементарных цитат не знает... Да еще когда спрашивает, как по-французски написать rendez-vous или что значит латинский афоризм, или в каком году родился Чехов, то почему-то свысока смотрит на того, кто знает. Дескать, всего-навсего что-то вроде справочника или компьютера. Не чета Петру Ивановичу, личности творческой.

А Женя должна и за секретаря на звонки отвечать, и техреду помочь кратное количество полос вывести, и за Альберта решить, на сколько томов тянет собрание сочинений очередного советского классика. Конечно, она и пол вымоет не хуже уборщицы. В общем, если и дальше так пойдет, то о нее ноги будут вытирать.

Зазвонил телефон.

— Але-о-о... — Женя по привычке растянула последний звук.

Сколько устных рецензий получила она на свое телефонное междометие — от «какой у вас необыкновенный голос!» и «сколько в нем неги!» до «наша-то опять свое “але” в ход пускает, мужики там прямо исходят, наверное, от сексуального напряжения».

— Милая барышня, можно вас побеспокоить? Позовите, пожалуйста, к телефону Селенину...

Не по голосу, который звучал издалека, то и дело скрываясь за посторонними тресками, а по мягкой повадке Женя узнала Рахатова. «А я в нелюбимых им брюках. Успею переодеться, если он встречу назначит?» — промелькнуло у нее.

— Вы меня слышите?

Конечно, она слышала. «О господи, наконец-то!» — сказала она, потому что безотчетная, минутная радость мелькнула и тотчас исчезла за оградой из горьких упреков, недоверия, маеты и боли, которая становилась крепче с каждым днем невыносимой разлуки.

— Да, слышу, — четко проартикулировала она.

— Евгения Арсеньевна, это вы?! Как я рад слышать вас! У нас на весь поселок всего один телефон в сторожке, да и тот был испорчен. Я случайно шел мимо, вижу — люди стоят, заработал, значит. Понимаете, никак не могу в Москву вырваться — ремонт в полном разгаре...

И пока Рахатов живописал совсем не оригинальную эпопею, Женя думала о другом. Она не удивилась, что новая дачная квартира в Красновидове нуждается в капитальном, то есть основательном ремонте — так у нас строят, даже и писательский кооператив, эти сведения интересовали ее не больше, чем инструкция по уходу за автомобилем: свою квартиру с отваливающимся кафелем, вздутыми паркетными досками, с непокрашенными подоконниками и кривыми плитусами она приняла как природную данность, как климат, в котором теперь нужно жить, и больше об этом просто не думала. Больно укололо то, что он так старательно свивает гнездышко, в котором даже телефона нет, чтобы с ней поговорить.

— А у вас как дела? — То ли рассказ кончился, то ли из вежливости поинтересовался Рахатов.

— Все нормально, — сквозь зубы ответила Женя.

Так хотелось разделить с кем-нибудь тяжесть от этого унижительного неназначения, хотя бы о сегодняшней обиде рассказать. Но он ничего не знает о ее служебных мытарствах, а и знал бы — отмахнулся, сказал бы, что все это пустяки, не надо обращать внимания. За столько лет проверено, и не один раз. И когда ему слушать — там ведь очередь, а описанием ремонта он уже весь лимит времени исчерпал.

Считает себя смыслом моей жизни, все остальное — досадные мелочи, мешающие, хотя и очень нечасто, поговорить по телефону или увидеться. Лучше всего, чтобы я нигде не работала, ни с кем не встречалась, не разговаривала. В крайнем случае, только с женщинами. То есть всегда была бы под рукой. А как бы я жила — это его не касается. Ведь у нас необыкновенные, редкие, возвышенные отношения: такие если и бывают, то у одного из миллиона. «Женечка, свою жизнь надо строить как подводную лодку, состоящую из отдельных герметизированных отсеков. Если в одном пробоина — вода в другой не попадет. И у тебя в душе должны быть независимые друг от друга отсеки: издательство, дом, любовь... Тогда не потонешь в этой сволочной жизни».

Сашка тоже смеется над моими служебными страдания-

ми, но необходимо и только после того, как выслушает все новости. Рассказываешь ему, как у нас за звание старшего редактора воюют, а он: «Вот-вот, был я в писчебумажном отделе военторга. Стоят две девицы в халатиках защитного цвета, и одна другой говорит, со злым блеском в глазах: “Все равно старшим продавцом ей не бывать, кишка тонка...” Но Сашка и над собой смеется: “Я считал, что критика, литературоведение — это мой труд, завещанный от Бога, а Бог, он в таких вещах вряд ли разбирается: о литературе он, думаю, еще понятие имеет, а о существовании литературоведения, по-видимому, и не догадывается”».

— Вы сердитесь? Но что же я мог сделать, если телефон был испорчен? Я люблю вас.

Последние слова прошелестели еле-еле, и Женя прямо увидела, как он боязливо оглядывается — не слышит ли кто посторонний. Не любит дискомфорта, нужно, чтобы разговор оканчивался ласково, приятно, чтобы никакой занозы и зазубринки не осталось.

— Вы — любите? — Дальше сдерживаться Женя не смогла. — Либо у вас логическое мышление хромает, либо обмануть меня хотите, любыми способами. Оба объяснения не в вашу пользу. — Только гневом Женя могла ответить на обиду и унижение. — Сами же проговорились: случайно узнали, что телефон заработал. Своими руками выстроили преграду между нами, теперь ничего не остается, как сваливать на объективные обстоятельства. Да зачем далеко ходить — как вы с «милой барышней» начали разговаривать? По меньшей мере рассчитывали ей понравиться — меня-то вы сразу даже не узнали! Скоро вообще мой голос забудете, а уж как выгляжу — на улице мимо пройдете! Знаете, откуда я беру силы, чтобы все это вынести? Из своей любви. И она, как шагрeneвая кожа...

— Ну, что ж... Я ведь только хотел... Ну, пусть так будет... — В голосе Рахатова была слышна и растерянность, и угроза.

Раньше, еще совсем недавно, Жене бы стало жалко его, она бы признала себя виноватой и бросилась утешать — а для этого надо было сказать всего три слова: «Я люблю вас». Сейчас она по-другому понимала его боль: не может или не хочет — что для Жени, честно говоря, одно и то же, — он ничего изменить в своей жизни, не собирается ничего менять. А горечь оттого, что не получается так, как ему было бы удобнее всего.

В секретарскую вернулись отобедавшие сотрудники, и Женя попрощалась.

27. ТЫ ОДНА?

— Ты одна? А Корсаков где?

— Я его отправила — хочется вдвоем поболтать. Ну, что дома, папа как? — Алина взяла сумки из Жениных рук и понесла на кухню, по дороге зацепилась рукавом за дверную ручку и выронила авоську. — Черт! Там ничего бьющегося нет? А то мы у тебя уже одну чашку кокнули.

— Какую? Не зеленую, бабушкину, нет? — почти что заклинала Женя — так хотелось услышать, что не ее, но Алина беспечно удивилась:

— Как ты догадалась? Точно, ее.

— А склеить нельзя? — На одной ноге Женя прискакала в кухню, держа в руке только что снятый сапог.

— Да нет, вдребезги! — как о своем достижении объявила Алина. — Ты расстроилась, что ли? Успокойся, куплю я тебе чашку!

Купеческое «куплю» покорило Женю, но она промолчала. Объясняться бесполезно. Алина хмыкнет и пройдет на счет мещанского «вещизма». Надо было спрятать эту чашку перед тем, как пускать к себе Алину с Корсаковым. Но я же не знала...

— Чего ты не знала?

Женя и не заметила, что последние слова сказались вслух.

— Ничего про мамину семью мы с тобой не знали.

И Женя стала пересказывать сестре то, что услышала только вчера, когда мама собирала ее в дорогу.

Что им было известно про деда? Строгий, блюл дисциплину и порядок. На обеденном столе, за которым всегда в одно и то же время собирались чада и домочадцы, рядом с его тарелкой кроме обычной, алюминиевой ложки всегда лежала деревянная. Он брал ее в руки, когда кто-нибудь из тринадцати детей начинал баловаться. Обычно этого жеста хватало — все замолкали, но если шалун не унимался, то получал ложкой по лбу и должен был выйти из-за стола. В семье все работали с малых лет — держали производство по выделке кож. Больше всех трудился сам дед. Его все любили, он был верующим, соблюдал посты, бедным помогал. Посторонних никогда не нанимали, справлялись своими силами.

Но все равно, однажды на телегах приехали чекисты — бывшие никчемные лентяи, неумехи и пьяницы, презрения к которым дед никогда и не скрывал, — погрузили одежду, мебель, посуду, деда и увезли. Навсегда. Оставшимся веле-

ли в двадцать четыре часа убраться из дома. Мама с бабушкой потом ходили на свалку — сердобольные соседки шепнули, что там очутилось почти все конфискованное добро, — и среди осколков (по дороге очень многое побилось) нашли вот эту зеленую чашку. Теперь и ее нет.

— Сколько же она молчала! Даже нам боялась сказать, что дед был репрессирован. Теперь понятно, мы с тобой страх с молоком матери впитали. До сих пор всего боимся, — критически резюмировала Алина, как будто речь шла о посторонних людях.

— Было чего бояться. Она же нас берегла. А мне родителей жалко.

Женя уже переделась в джинсы и фланелевую рубашку, поставила чайник и принялась делить на двоих привезенное яблочное варенье, протертую смородину, соленые грибы.

— С пирогами сейчас чаю попьем, а что останется, Корсакову отвезешь. Тебе бы тоже надо в Туров съездить — папу из больницы скоро выпишут. Он так сдал... Мне сказал — сам решил уйти, а мама по секрету шепнула, что это директор завода велел оформлять пенсию — папа уже полгода на больничном. Дело-то, конечно, не в болезни. У них главный энергетик работает не больше трех месяцев в году, но он связан с директором какими-то махинациями, и на охоту вместе ездят. А папа в больницу попал как раз после разговора с этим моральным киллером. О чем они говорили — неизвестно, даже мама не знает.

— Бедный папка! Но что делать, надо молодым дорогу уступать...

— Удивительно, как ты можешь объективность сохранять... — Женя уже управилась с пакетами и банками, взяла вязание и перешла в комнату. — Неужели тебе за него не больно?

Алина забралась ногами в кресло, зябко передернула плечами, накинула шаль:

— Господи, за меня-то кому больно? За эту неделю, пока мы у тебя обитали, я совсем отвыкла от своего сарая, от соседок-мерзавок. Старуха-то ненормальная, но если это признают официально — ей обязаны дать отдельную квартиру, а кто же на это пойдет! У врачей есть указание. Вот она нас и доводит. Ты бы слышала, как она ругается, что про нас во дворе плетет... Мы уже и плитку купили, чтоб на кухне не готовить — она нас чуть не отравила.

Женя знала все о мучениях сестры, но впервые слышала в ее голосе такую покорность.

— Картины мои не дают ей покоя, а я без них ничто и никто. День не пишу — сама не своя. Искусство — это состояние. Писать могу в любое время — и днем, и ночью. Я же так далеко шагнула, что даже Корсаков меня не понимает. Раньше, когда я только начинала, он был мне необходим, а сейчас, мне так кажется, он мою свободу сковывает. Что делать? У художника моего уровня два выхода — уехать за границу, но там только со здешней славой есть шанс пробиться; или, как Сидорова, до сорока лет дожила и ни одной выставки, а сейчас, за полтора года — успех, о котором можно только мечтать.

— Я не поняла, как она этого добилась?

— Очень просто — умерла.

— Не кошунствуй! Ты что же, мертвым завидуешь?!

— И так, как ты, я жить не хочу... — Алина как будто не слышала Жениного возгласа, как будто не замечала присутствия сестры, на которую она вдруг перестала быть похожей.

Женя не обиделась — она сама чувствовала, что живет неправильно. Для себя придумала утешение: настоящая жизнь еще не началась, все еще впереди... Сейчас же стало жутко от безысходности, от невозможности помочь сестре. Как сделать, чтобы у Алины все наладилось, чтобы она добилась успеха? Картины сестры Жене очень нравились, но какова их объективная ценность?

С тех пор как сестра сделалась художницей, Женя стала чаще ходить на выставки в Пушкинский музей, в новую Третьяковку, несколько раз была на Малой Грузинской. Обычно она медленно шла вдоль стен, внимательно рассматривая картины: так миноискателем ощупывают землю, и там, где есть мина, он начинает звенеть. Вот и у Жени внутри начинало радостно звенеть возле некоторых картин, и она возвращалась к ним еще раз после обхода всей экспозиции. Она не раз порывалась объяснить сестре, почему так происходит, но выходил беспомощный лепет — вот в этой картине шемит сердце от крошечной фигурки рыболова в красной кепке, тут притягивает безмятежный, спокойный взгляд женщины, лежащей голышом на причудливо выгнутой кушетке, а здесь — она летела вместе с невестой и женихом над своим родным городом и вместе с ними печалилась, что парение не может продолжаться вечно.

Но про свою сестру? То, что картины Алины очень смелые, она видела, но, чтобы прозвучать, у искусства должно быть обоснование. Алина же не признавала никакой тематики. Она считала, что цель живописи — передать с помощью

красок уникальный внутренний мир автора. А нужно ли совершенно отказываться от темы, от сюжета? Вот у молодых поэтов-авангардистов тема неощутима, в отличие от Пастернака и Мандельштама, но лучше ли это? Отказ от понятности — не бывает ли он слабостью?

— Как я хочу, чтобы тебе все удалось... — Женя подошла к сестре, поправила съехавшую шаль.

Ласковый жест как будто разбудил Алину, оторвал ее мысли от собственной персоны.

— У тебя-то как?

— По-прежнему.

— Ты должна бороться с его женой. — Подобно многим, не умеющим навести порядок в собственной жизни, Алина твердо знала, как следует поступать другим.

— Нет, бороться я никогда не буду...

— Значит, ты просто курица.

— Понимаешь, все, что получено в результате борьбы, мне не нужно. Я ценю только то, что человек сам — без подсказки, без просьб и требований — сам хочет мне дать. Активная жизненная позиция — все ломай во имя светлого будущего — мне противна. Ты не думай, не от лени. Я даже пробовала. И в общественной, и в личной, как говорится, жизни. Это же больно — и мне, и другим... Да, чуть не забыла: пока я в Турове была, они приказ подписали... — Увидев, что Алина не понимает, о чем речь, Женя добавила: — О моем назначении.

— Я всегда знала, что ты личность, — тут же забыв про «курицу», похвалила Алина. — Молодец, добились!

— До старшего продавца сумела дослужиться...

— Ты о чем?

— Да так, Сашкину шутку вспомнила. Ничего я не добивалась. Честно говоря, я уж смирилась с тем, что ничего не выйдет — пришлют нового директора и с ним зава со стороны... По инерции работала, и вот, назначили все-таки...

Зазвонил телефон.

— Это Корсаков, тебя. — Женя передала трубку Алине.

— ...Ты представляешь, она повесилась! Некого было изводить, всю неделю некого, и она не выдержала! — Алина засобиравалась.

— Кто повесился? Чего ты радуешься?

— Да старуха наша, соседка! Бедный Корсаков! Меня пожалел — сразу не позвонил. Представляешь, пришел, а она в ванной висит. Милиция у нее под матрасом чулок с двадцатью тысячами нашла. А жила как нищенка! Ну, я побежала, потом позвоню...

28. СТРАННОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ

Странное приглашение... Инна не объявлялась лет... да не помню, сколько уж лет. С тех пор, как с Сашей они разбежались — именно этим словом она назвала свою измену. И вдруг — как будто все по-прежнему. Только новая интонация появилась, кошачья, неестественная.

— Душечка, приходи сегодня на ужин, будут только наши! Адрес-то мой еще помнишь?

Сколько раз Женя тренировала в себе умение отказываться. Каждый раз перед тем, как дать отрицательный ответ, собиралась с духом, продумывала свои аргументы и только потом звонила автору или шла к начальству. А так, у застигнутой врасплох, без репетиции — ничего у нее не получалось. Хотя своим согласием она предавала Сашу. Почему заранее не пригласили? Вот и надо было сослаться на занятость. И кто это — «наши»? Ее Борода? С тех пор, как он пошел в гору и внутренние рецензии стали для него «мелочевкой» — опять противное, торгашеское слово, — от него ни слуху ни духу.

Так исчезать и неожиданно появляться умеют только в Москве, в провинции такого не бывает. Женя уже усвоила, что, если литературный человек, пропавший на несколько лет, внезапно звонит и сокрушается о невстречах, как будто он уезжал на Север или был в заключении, — значит, что в тебе возникла практическая надобность. Но пересилить себя она не могла и подыгрывала фальшивой театральщине.

В обеденный перерыв, когда сотрудники переставали курить, сплетничать, плести интриги и отправлялись по своим делам, пришлось и Жене, так не любившей выходить из издательства до окончания рабочего дня, прогуляться по ближайшим улицам. Лучше всего было бы принести бутылку шампанского и цветы, но бесконечные вереницы людей давно метили винные магазины. Остались цветы. В огромном полупустом шатре здоровенные мужики усердно навязывали целлофановые кулечки с безнадежно постаревшими гвоздиками и хризантемами. Повезло в цветочном магазине, куда только что привезли болгарские герберы, одетые каждая в разноцветную сетку.

— Дорогуша! Куда же ты пропала! Ну-ну, возраст нам не помеха! Держимся!

Андрей картинно отпрянул от Жени, якобы с целью лучше рассмотреть ее красоту, но оказался перед большим

зеркалом и залюбовался своим собственным отражением. Наверное, зеркало было кривое, или у него что-то со зрением — при ярком свете люстры с подвесками из матовых виноградных гроздей было видно, какое неноское у него оказалось лицо без бороды — так обтрепалось, обрюзгло. И зачем он ее сбрил? А рыхлое тело, как опара из кастрюли, вылезало из модной рубашки в талию, из брюк, прикрывавших только самый низ живота.

— Ну-с, рассказывай, как там у вас дела, в издательстве?

Андрей первым сел в кресло возле журнального столика, сервированного для аперитива.

Все здесь изменилось... Пианино исчезло... Когда Саша играл на нем, казалось, что они остались вдвоем, что музыка отгораживает их двоих от жесткого мира, что нет ничего непоправимого. Женя поискала, где бы пристроиться, взяла один из стульев и поставила его напротив Андрея. Коленки, обтянутые черной юбкой, уперлись в край низкого столика. Женя отодвинулась, положила ногу на ногу, чтобы не походить на допрашиваемую.

— Теперь все всего боятся. В газетах и журналах каждый день появляется то, что еще вчера было немыслимо, непроходимо, а у нас даже хуже стало. Нет, ничего открыто и категорически не запрещают — просто откладывают решение. Или несут чушь насчет художественных достоинств. Гумилев для нашего Альберта, видите ли, неинтересный, в художественном отношении, поэт.

На этих словах Женя споткнулась и замолчала — почувствовала, что неправильно отвечает на поставленный вопрос. Но Андрей переменился — раньше бы сразу перебил, а теперь терпит, ждет. Расслабляется с помощью «Бифитера».

— Альберт, он что за человек?

Наводящий вопрос Жене не помог, она ведь не догадывалась, куда метит Андрей. Поэтому принялась добровольно пересказывать анкетные данные шефа. Получалось слишком пресное повествование, и с тем же видом объективного летописца Женя поведала, как Альберта, после занятия им начальственного кресла, начали посещать разные музы — поэта-сатирика, поэта-песенника, романиста и так далее, всего не упомнить.

— Если так дальше будет продолжаться, муз не хватит, придется новые открывать.

— А что у него за история с техредами была? — В комнату вошла Инна, за ней вдруг нарисовался Никита, на ходу надевавший твидовый пиджак и щурившийся от яркого света.

Женя встала, поздоровалась — получилось церемонно — отодвинула свой стул к окну, освобождая место у стола, но Инна плюхнулась на диван в противоположном углу, и Андрей поспешил к ней с наполненной рюмкой.

— Ну-ну! — Инна сделала несколько глотков, поглубже забралась на диван, расправив юбку годе, сшитую из твида той же расцветки, что и Никитин пиджак. Знак восстановления гармонии?

— Что, Иннушка, еще выпить хочешь? — Андрей выхватил бутылку из рук Никиты и подошел с ней к дивану.

— Хочу узнать, как там рыжий отличился, — четко проговорила Инна, для глухих и непонятливых, к которым она, видимо, отнесла и Андрея, и Женю.

— Он перестал краситься. — Женя слышала хорошо, а история и вправду была не совсем обычная.

Месяц назад Альберт не удержался и прямо у себя в кабинете опорожнил бутылку коньяка, поднесенную благодарным автором. Это не была взятка — книги писателя выходили в издательстве вот уже двадцать лет с одинаковой периодичностью. Так что с этой стороны все было чисто. И вот секретарша зовет его на профсоюзное собрание, а тот при всем честном народе заявляет: «Не пойду! Не хочу всякой... ерундой заниматься!» Слово «ерунда», конечно, только смысл его высказывания передает, он использовал более точное выражение. Демонстративно надел плащ, шляпу и вышел вон. На лестнице столкнулся с двумя техредами, которые по обыкновению намеревались сбежать с ненужной им говорильни. «Что, женщины легкого поведения, на промысел отправляетесь?» Он сказал лаконичнее, но истина в любом виде глаза колет. Гражданки прямиком в партбюро. Там кое-как дело замяли — то ли были доказательства, что Альберт ни чуточки не покривил против правды, то ли его извиниться заставили. В общем, любитель точных выражений недели две на больничном пробыл и вернулся на службу уже естественного цвета, с сединой на висках — может, переживал, может, испугался, а может быть, она всегда была под рыжей краской.

— С ним придется считаться, народ у нас таких любит, — заметила Инна. — А что Вадим Вадимыч? — В ее голосе прозвучали осторожность и уважение.

— Я с ним, Иннуша, уже познакомился. Ничего мужик, крепкий, думаю, сработаемся. Что-то мне покушать захотелось... Пойду, соображу что-нибудь? — И поймав одобрителный кивок Инны, Борода отправился на кухню.

— Так ты, значит, теперь под Андреем ходить будешь? — Никита первым прервал затянувшееся молчание.

— Как? — Женя все еще не верила в очевидное.

— Ты что же, хочешь сказать, что ничего не знаешь? — Инна даже встала с дивана и пересела на стул, который ей услужливо уступил Никита.

— Да у нас уже столькоих начальников молва назначала, что я перестала интересоваться. И работы много — некогда сплетнями заниматься, — оправдывалась Женя, как будто и вправду была в чем-то виновата.

— Ты не права... Дело делом, конечно, но если интригами не управлять, то можно и место потерять, — то ли предупредила, то ли посочувствовала Инна. — Послезавтра к вам министр придет Андрея представлять. И знаешь, какое безобразие: решили отличиться — выборы устроить.

— А есть еще кандидаты? — от нечего делать полюбопытствовал Никита.

— Да нет, один Андрюша. Но голосование будет — сначала на дирекции, потом на собрании. — Инна подошла к Жене и погладила ее по плечу. — Как ты думаешь, кто-нибудь отважится выступить против?

Честно говоря, Женя не имела об этом ни малейшего представления, но дурацкая привычка избегать «не знаю» заставила ее вслух перебирать всех сотрудников и соображать, как они будут себя вести.

— А голосование тайное будет? — уточнила она для более точного прогноза.

— Нет, что ты! От этого удалось отбиться, не без труда, правда.

— Тогда, скорее всего, опасаться нечего.

— А ты не можешь завтра переговорить кое с кем? Ну и обеспечить, чтоб уж твоя редакция, самая большая, по-моему, вся «за» голосовала?

— Конечно, я узнаю... — Чем неприятнее было поручение, тем большую готовность изображало Женино лицо.

— Завтра вечером я тебе позвоню, и ты мне расскажешь, кто настроен против, — не попросила, а приказала Инна.

Жене очень захотелось вырваться отсюда, но тогда оголится унижительный смысл ее визита, и она осталась, пила чай, по собственной воле рассказала о главной бухгалтерше, которая никак не может достать для дочери «Феда»: «Тютчева достала, а Феда нигде нет».

В девять часов, когда Андрей, как всякий большой человек, не спрашивая гостей, включил программу «Время», она попрощалась.

— Никита, можешь проводить даму, — разрешила Инна.

И Никита безропотно пошел одеваться.

До метро дошли молча. У Жени не было ни сил, ни желания затевать разговор.

Теперь ясно, почему Андрей решил обнажить лицо. Бородатые авторы все больше входили в силу, но у руководящего звена издательской системы избыточная растительность пока не очень поощрялась. А Инна? Доброкачественная пища — с рынка и из писательских заказов, косметичка, хороший парикмахер, дачный воздух — все это оставило ощутимый след на ее внешности. И то, что к званию «пис.дочки» добавилась должность жены писательского начальника, сказало на ее характере не в лучшую сторону — еще одно, ненужное уже, доказательство, что власть портит.

Если бы рядом был не Никита, а Саша, которому можно пожаловаться и на Гончаренку с Инной, и свое согласие осудить... Он наверняка бы сказал, что это не такой уж и страшный грех.

— Спасибо, что проводил... Дальше я сама доберусь.

Женя остановилась у фонарного столба напротив входа в метро и протянула руку. Никита машинально наклонился, поцеловал запястье, и перед Жениными глазами мелькнула какая-то ненастоящая, маленькая лысинка, похожая на тонзуру католического священника.

— Что-то домой не тянет. Давай до следующей станции пешком дойдем.

Женя поняла, что в спутнике нуждается он, и согласилась.

И снова Никита первым не начинал разговор. Хмурый он стал, поникший. Условные рефлексy еще остались — пальто подать, руку поцеловать, но только самые простые, а уж что посложнее — поинтересоваться чужой жизнью, развеселить или хотя бы съязвить, подколоть — это пропало. Наверное, условия были не те. И с женами не везло — то ли ему, то ли женам — разобраться трудно, и с работой — ту, что по обязанности считал промежуточным этапом, за паузой всегда было: вот напишу роман — увидите, кто я такой; а та, что для души — все не продвигалась. Конечно, из-за объективных обстоятельств — тяжело, оскорбительно генералу ходить в солдатской форме.

Вопросов о себе Женя и не ждала. О главном для него, служебном положении, он знает, а что ему еще может быть интересно? Да разве он один такой? Вот недавно к Сашке бывший однокурсник наведалься — приехал в Москву на курсы повышения чего-то. Сашка и статью его в свой журнал пристроил, и оппонента нашел для диссертации, а тот весь вечер только и декламировал новеллы о своих грандиозных

успехах. На самые однообразные темы: как я победил тараканов в зоне «Е», я и тамбовские филологи, я и аспирантка из Ленинграда. Ни одной Сашкиной статьи не удосужился прочесть, ни о ком не спросил, даже из вежливости.

Правда, про экскурсию в Михайловское смешно рассказал. Оказывается, дом был до того дряхлый, что Пушкин мог находиться всего в одной комнате — в остальных обитали совы. А сын его, Григорий, жил там потом с француженкой, которой он в качестве отступного, когда захотел с ней расстаться, отдал всю родительскую мебель — до сих пор музейщики по всему свету ее, эту мебель, разыскивают. И еще старичок-экскурсовод показал им кусок корня, о который споткнулась Керн во время прогулки с Пушкиным — так зародилось это чувство. Потом молоденькая уборщица выкинула этот кусочек и в сердцах пробормотала: «И где, черт возьми, он их подбирает!» А Женя в версию старичка поверила...

— Как твой роман? Саша говорил, что получается? — Женя не умела скрывать источник своих сведений о Никитиной жизни.

— Я его пока отложил. Пьесы пишу — очень хорошо идут... — Никита встрепенулся, увлекся. — Одну уже поставили в студенческом театре, в Прибалтике.

— Поздравляю... — Женя не очень хорошо знала, что еще можно сказать.

Никита с благодарностью посмотрел на нее.

— Это по «Мастеру и Маргарите», но у меня там другая идея. Булгаков же был совершенно нерелигиозный человек. А сейчас я заканчиваю пьесу «Юра и Лара».

— По «Доктору Живаго»? — угадала Женя. — Но ведь у нас роман не напечатан?

— Отец сказал, что этот вопрос скоро решится. И тогда за мою пьесу все театры ухватятся. Слушай, Женя, а у тебя с Рахатовым как?

Никита остановился, чтобы закурить. И в эту паузу Женя успела смутиться, покраснеть, перебрать в голове самые нелепые причины такого вопроса и все же не нашла, что ответить. Но оказалось, не интимности, а совсем другое интересовало Никиту.

— Ты бы не могла вдохновить его на зонги к моей пьесе? Понимаешь, он отцу обещал, но что-то все динамит...

Никите не потребовалось никакого усилия, чтобы перейти с разговора о себе к такой рискованной просьбе. И Инна полчаса тому назад тоже не запнулась, не сомневалась, что может дать более чем щекотливое поручение. Почему со мной так можно? Мне бы в голову не пришло просить че-

ловека, который меня любил... Или он все забыл... И о чем просить! А если бы и пришло, то ни за что бы не решилась. Для них же — Женя объединила Никиту, Инну, Бороду... — не существует преграды, когда речь идет о себе — о своей карьере, о своем удобстве, о своих амбициях... Ну как он мог о таком даже заикнуться! А если бы мы с Рахатовым уже раззнакомились? Если бы он меня бросил? Как мне бы больно было его вопрос слышать...

— Хорошо, скажу, когда увижу. А сейчас поеду, до свидания...

И хотя Никита, обрадованный согласием, вспомнил, что перед ним отнюдь не дурнушка, процитировал чужой комплимент и стал настаивать на проводах, Женя помахала рукой и почти вбежала во дворец станции «Динамо».

29. ДОМОЙ

Домой вернулась в слезах. Мало того, что сумела втиснуться только в третий автобус, на нижнюю ступеньку, так еще на голову упала тяжелая сумка, которую расфуфыренная тетка пристроила к загогулине на верхнем поручне. Слава богу, сегодня пятница, можно забыть все служебные неприятности на целый вечер и еще на два дня.

Поспешно избавилась от черного поплинового платья, превратившегося в последнее время из служебного мундира чуть ли не в траурное одеяние, и на освобожденное тело надела красный сарафан, переведенный этим летом в домашнюю одежду. Хотелось яблока, но в июне можно купить только безвкусные муляжи и только на рынке, притом за большие деньги, а экономить Женя еще не разучилась, поэтому обошлась бутербродом с огурцом и ледяным морсом из маминого смородинового варенья. Забравшись с ногами в кресло, принялась за газеты, которые приносят не утром — как положено, а после того, как все уже ушли на работу.

Так, и здесь Генриетта. Теперь понятно, почему Андрей ни за что не хочет ее послесловие печатать. Как скоро он научился витиевато аргументировать! «Не согласен с ее концепцией имманентного развития... Короче, основные принципы, положенные в основу...» Чувствовалось сразу, что концепция тут ни при чем, что причина его негодования совсем другая.

Взгляд упал на Сашкины розы, чьи головки уже дня три гордо смотрели вверх. Стала доставать по одной из хрустальной вазы, подстригать стебелек и ставить в соседнюю гжель-

скую с заранее отстоянной водой. Легла на живот поперек кровати и стала перелистывать свежий «Новый мир»...

В квартире была только самая необходимая мебель. Появление каждого предмета — событие. Вот эта самая кровать, например. В магазинах были только образцы спальных гарнитуров, а надо сделать так, чтобы единственная комната была одновременно кабинетом, спальней и гостиной. На работе подсказали, что новые кровати из этих гарнитуров иногда попадают в комиссионках. Женя поехала на Большую Академическую. Думала, задержится ненадолго, но оказалось, что «по техническим причинам» магазин откроется в одиннадцать. Позвонила на работу, предупредила Валерию. Конечно, директор уже спрашивал — все остальное время нервного топтания возле дверей пыталась догадаться, что ему нужно.

К открытию набралась толпа, в которой шмыгали молодые люди, одетые, как в униформу, в джинсы и куртки из тонкой кожи. В дальней комнате, похожей на больничную палату во время дезинфекции, стояли кровати разных размеров, разных цветов, но на одинаково шатких тонких ножках. Всего одна подходящая — почти квадратный матрац со спинкой, надежно покоящейся на коробе, обитом тем же материалом.

Служитель в черном халате с бегающими глазенками выписал чек и непонятно почему посоветовал поскорее забирать покупку. Пока Женя искала в этом лабиринте кассу, кликала отошедшую куда-то кассиршу, пока снова нашла свой отдел, у кровати уже стояла полногрудая блондинка и что-то нашептывала мальчонке в джинсах и курточке. Человек в черном халате исчез, и Женя протянула чек другому продавцу. Дама завизжала, что это ее кровать, что еще вчера она записалась на нее... Появившегося директора называла по имени, и тот, не глядя Жене в глаза, объявил, что ее чек аннулируется, кровать ввиду спора снимается с продажи.

— Приходите завтра утром, кто будет первым, тот и купит.

Прождав еще полчаса возврата денег, Женя поклялась никогда больше здесь не появляться, схватила такси и помчалась на работу. Почти такую же кровать она купила, случайно заглянув в мебельный на Звездном бульваре.

Повезло с румынским угловым диванчиком. Благодаря ему кухня стала еще и столовой, чем облегчила участь комнаты.

Как всегда, дома, где помогали и стены, и книги, и вид из чисто промытого окна, боль отступила, но не исчезла. Почему? Наверное, потому, что вытеснить ее нечем.

Чего ей ждать? В понедельник будет обсуждение годовых планов. Андрею наплевать на то, что она уже рукописи получила от «внутренних эмигрантов». «Ты, старуха, понимаешь, что там это не поймут?» Знакомый по советским временам — а сейчас какие? — почерк начальника, играющего в либерала. Мол, я бы всей душой, но «там» не разрешат. И ведь прекрасно знает, что сейчас можно не только играть, но и быть либералом. Всегда были страшнее те редакторы, которые хорошо разбирались в подтекстах и намеках, одобряли их на черной лестнице и вырезали с мясом за рабочим столом.

И план он будет ломать только для того, чтобы расчислить место акулам, посадившим его в директорское кресло, и хищным рыбешкам, которые вокруг него вьются. А я сегодня одной такой акуле вернула роман с двумя сотнями замечаний, на доработку. И так покривила душой, сделала вид, что этот опус еще можно доработать, в корзину не предложила выбросить.

А эти дружеские откровенные разговоры... Женя передернула плечами, как будто хотела отогнать голос Бороды, его слова.

«Ты что, старуха! О ком хлопчешь! Да он же из-за границы не вылезает! Денег у него куры не клюют! И в застойное время процветал, и сейчас не бедствует. Не то, что я — на одну зарплату ведь не развернешься. Я ему такие платежки подписывал — закачаешься! Бешеные деньги!.. Я в их ту-совках потерся... Как они там развлекаются! Ждали мы с одним двух девиц. Торт припасли, шампанское — все культурненько... А стервы эти не появились. Он мне и говорит: «Может, мы с тобой сами что-нибудь сотворим?» Вот их нравственный уровень! Тебе такое и не снилось? А? Или я ошибаюсь? В тихом омуте, как говорится... Ты вечером-то сегодня что делаешь?»

Ладно, не одной ведь работой... Женя села за письменный стол, раскрыла дневник и, оттягивая удовольствие, перечитала, что было в этот день год назад. Свидание с Рахатовым. Но не описание встречи, а рецензия на нее, и рецензия отрицательная. Решила отключить телефон, но как только подошла к нему, раздался звонок.

— С кем ты сейчас разговаривала? — раздался недовольный голос.

— Ни с кем.

— Но я же минут десять набираю твой номер — все время занято.

— Шутки телефонной сети в вашем доме творчества. Я ни при чем.

— Ты одна?.. Ну, хорошо... — После привычного допроса Рахатов успокоился. — Знаешь, у меня все планы переменялись. Завтра придется в Москву ехать.

— Что случилось? — без труда сохраняя спокойствие, спросила Женя.

— Я сейчас тебе все объясню, — виноватым тоном заговорил он. — У нас под окном новоиспеченный кооператив стройку затеял — собираются ремонт машин производить. А это значит — шум целыми днями, звон, выхлопные газы. Теперь надо бороться, письма писать, в райисполкоме пороги обивать.

— Кроме вас некому?

— Ты же знаешь писательскую братию. Возмущаются, а как что-то реальное делать — в кусты. У одного заседание, у другого — зарубежная поездка, у третьего — путевка в Коктебель. А я и без мастерской с трудом засыпаю. Этот шум меня неврастеником сделает. Дай бог подписи с них успеть собрать.

— Вот видите, а вы на меня обиделись, что я завтра не могла приехать к вам.

— Но ты же не знала, что так случится. — Так искренне, непосредственно он посетовал, что Женя рассмеялась. — Ничего смешного. Если бы ты согласилась, то, может быть, мне бы и уезжать не понадобилось. А теперь что я могу поделать? От меня ничего не зависит.

— Странно устроена ваша жизнь — ничего в ней от вас не зависит. Я тоже... Расстанемся, и вы, наконец, перестанете все время чувствовать себя виноватым — передо мной, перед вашей женой, не знаю еще, перед кем... — Женя хотела перечислить все преимущества, которые получит Рахатов от их разлуки, но больше ничего придумать не смогла. — Как это так вышло, что никаких неудобств, никакого беспокойства наши отношения вам не доставляли? Даже свидания заранее планировать не надо — появилась возможность — и я тут как тут, все бросила. И отменить назначенную встречу — пара пустяков. А на мои сетования — простой ответ: «У тебя соперниц нет и быть не может. Я никогда ни к кому так не относился». Это, пожалуй, правда.

Вспомнилось, как во время последнего свидания он попросил прочесть ему письмо от поклонницы. «Передохнем немного, хочется блаженство продлить... Видишь, как я тебе доверяю... У нее почерк такой, что только профессионал разобрать может, а у меня уж глаза не те...» Почерк и правда был странный, неестественный какой-то, как будто нарочно испорченный, чтобы спрятать орфографическую не-

грамотность. Такое письмо можно показывать только очень надежному человеку.

— Она же вас любит... — Женя даже отпрянула от Рахатова.

— Не знаю, она мне не говорила... — Он спокойно пригнул Женю к себе.

— И говорить не надо — каждая строчка об этом кричит! Как вы можете так обманывать бедняжку?!

— Я ей никогда не говорил о любви. Да и с чего ты взяла — ей просто стихи мои нравятся.

— Не скромничайте! — Женя все-таки высвободилась из его объятий и закрылась одеялом.

— Ну что ты так взъерепенилась! Может быть, знакомство со мной — самое яркое событие в ее жизни. Но если тебе мешает, я больше отвечать не стану...

Жене не мешало...

Стало прохладно. Прижав голым плечом трубку к уху, она поставила аппарат на кресло и залезла под одеяло.

— Что-то слишком часто стала ты о расставании говорить. Неужели думаешь, что нам обоим станет легче, если разлучимся? Мы оба из гордости можем делать вид, что не страдаем, что ничего страшного не произошло, но какая огромная это потеря — все равно проявится. — Рахатов замолчал, а Жене сказать было нечего. — Ты мне говорила, что твоя сестра разлюбила мужа...

— Неужели вы можете мою откровенность во зло использовать?!

— Господь с тобой! Я о том, что ты очень впечатлительна и под влиянием сестры решила со мной разделаться...

Женя рассмеялась, но вышло неестественно, нарочито. А что если он прав? Ведь она уже пробовала с ним расстаться. Выдержала тогда неделю. Только неделю радовалась своей свободе, а потом разом исчезли претензии, доказательства его вины, и осталось такое желание его увидеть, что она, найдя его по телефону ни дома, ни в доме творчества, отправила телеграмму на дачу, наугад: «Простите пожалуйста позвоните». «Пожалуйста» относилось и к первому, и к последнему слову. Подпись не поставила, надеялась, что он и так догадается. Догадался, но позвонил только через два дня, когда вернулся в Москву. Второй раз так поступать нельзя, второй будет последним.

— Ладно, поздно уже. Давай спать ложиться. Да, чуть не забыл: когда тут все уладится, мне придется на дачу поехать. Но я постараюсь тебе позвонить.

Опять удар из-за угла. Никогда у него не хватает мужества подготовить ее к долгой разлуке... Ну и пусть...

30. ПРИМИТЕ МОИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

— Примите мои соболезнования... — Валерия Петровна не дождалась, пока Женя снимет пальто, сразу вошла в ее кабинет. — Вот, подпишите бумагу в АХО, чтоб они венки заказали. Как, вы еще не знаете? Вчера Павел Александрович скончался.

Женя растерялась. Невозможно представить, что Кайсарова уже нет. А надо, надо какие-то слова говорить, что-то делать. Да, надо спросить, когда похороны. Только бы не девятого — тогда придется редсовет отменять. А сколько сил потрачено, чтобы найти время, удобное для всех тузов и свободных художников. И тут же со стыдом оборвала себя: «О какой ерунде думаю!»

— Я звонила его дочери, но она еще не знает, когда похороны. Наверное, из-за праздников отложат.

Валерия продолжала выкладывать все, что узнала — Кайсарова положили в Кунцевскую больницу для профилактики, чтобы был профессиональный присмотр на время октябрьских праздников. Умер он ночью, во сне. А Женя смотрела на нее расширенными глазами и не могла ничего вымолвить.

Месяц назад или чуть раньше она случайно пересеклась с дочерью Кайсарова и от неловкости, вызванной неприятным кивком, попросила у той разрешения навестить Павла Александровича в день его рождения. Дочь еще больше нахмурилась и резко ответила, что отец нездоров и посетителей не принимает.

Значит, весной виделись последний раз... «Я оптимист, — повторил Кайсаров. — Я верю, что все будет хорошо. Большая ложь даже семьдесят лет не продержалась. Подлость и низость отступают перед здравым смыслом». Никакого знака, никакого предчувствия не было. Запомнилась обратная дорога — как шли с Сашей по черно-белому березняку, на который сверху была накинута вуаль их клейких зеленых листиков.

Женя набрала дачный номер — длинные гудки — никого. По московскому ответил бодрый деловой голос, настолько неуместный в этот скорбный час, что она не сразу узнала дочь Кайсарова.

— Я попрошу вас принести ту папку с рукописью, которую вам давал Павел Александрович.

— Хорошо... — Женя оторопела.

О чем речь? Наверное, о «Самограннике». Но он же совсем был отдан, и даже не ей одной, а вместе с Сашей...

— Ты уверен, что этот цвет годится?

Они встретились на троллейбусной остановке возле ЦДЛ. Лицо Саши заслонял огромный букет упругих, полураскрывшихся бледно-палевых роз. При входе на них смотрели живые глаза Павла Александровича с портрета в черной раме.

— Не могу, не могу поверить... — пробормотала Женя и схватилась за Сашину руку.

Так ребенок инстинктивно держится за отца или старшего брата, когда в кино или в жизни происходит страшное. И все-таки не смогла сдержать слезы, когда услышала тихий, печальный ноктюрн и увидела гроб в цветах под большим лицом Кайсарова, уголок которого был перечеркнут траурной лентой.

Большой зал был полупуст. Простые читатели, привыкшие к запретам, даже не подозревали, что в этот закрытый клуб можно сегодня войти свободно. Молодящийся писатель рассказывал своей спутнице о недавнем пленуме московского горкома, говорил так, как будто вычислял свои выгоды и потери от большого политического скандала.

Несколько раз сменился караул из известных писателей, писательских начальников, партийного босса, почти все — чужие Кайсарову люди. В последней четверке с озабоченным лицом стоял Рахатов. Когда имеющие право выстроились полукругом около микрофона, услужливо принесенного человеком в белом обвисшем свитере грубой вязки — такая нетраурная одежда, Рахатов показал своим соседям билет в очередную за границу: дескать, спешу — и первым взял слово.

— Все мы любили Павла Александровича, ценили очарование его пера...

Женя испуганно скосила глаза на Сашу: ведь «очарование пера» уже красовалось на титульном листе рахатовских стихов, подаренных Саше при случайной встрече у Никитиных предков. Одну и ту же брошку он прикрепил и к траурному, и к праздничному платью. Но Саша обратил внимание только на Женину тревогу и пожал ее руку.

Кажется, совсем недавно Кайсаров говорил о своем новом романе, о том, как трудно ему дается характер героини. Женя так увлеклась тогда, что придумала и девушку, и ее поступки. А может быть, списала с себя. «Очевидно, есть такие оттенки, которые мужское сознание не может различить, — сказал тогда П. А. — Жаль, что среди наших классиков нет ни одной женщины вроде Джейн Остин или сестер Бронте. А вам не трудно записать для меня то, что вы сейчас рассказали?»

Что я тогда написала?

«Она женственна. Ей просто все делать и все отдавать: она заботится об отце, в северном поселке к ней все тянутся, рассказывают свои беды, и она незаметно им помогает. Едет к жениху, хотя знает, что не любит его. Думает: “Может быть, пока не люблю?” Но она его не обманывает, так как ей легко быть такой, какую любит лейтенант. Это только маленькая часть ее, а молодой муж, как всякий сосредоточенный на себе человек, не видит оставшегося в ней. Ему с ней — счастье, значит, и ей должно быть так же хорошо. Ему кажется: раз у него с этой женщиной существуют интимные отношения, то она вся — его. И он стремится как можно чаще ей это доказывать. Женственность говорит ей, что подчиняться любимому — счастье. Она еще не знает, что главное — найти любимого, не ошибиться. Ей кажется, что жизнь заполнена: она откликается на каждую просьбу, сама ищет, кому бы помочь. Она от природы умеет все делать хорошо и все доводит до конца. Ей невозможно произнести: “Этого я не могу сделать. Этого я не умею”. Быстро научится и сделает. Ей все равно — носить манто или старое пальто с облезлым лисьим воротником, чистить картошку самой или давать указания помощнице. Ее красоте не нужны перышки. Природная осанка, большие глубокие глаза, в которых почти всегда вопрос: что со мной? как я живу?

И этот вопрос прочитывает главный герой. Он-то многое знает о женщинах, но такой доверчивости, такой открытости еще не встречал...

В ней нет никакого расчета. Она не ждет награды за свою красоту — о ней она, кажется, и не знает. Ей только плохо становится, если вдруг оказывается, что так будет всегда и уже не появится ничего нового, живого. А ее мужу, наоборот, важно было завоевать ее (он и не догадывается, что это невозможно — она все время становится новой), а потом быть спокойным: дело сделано, она будет с ним всегда, можно теперь заботиться только о своих делах, о своей карьере...»

...Негромкий растерянный вздох всего зала вернул Женю в настоящее. Саша объяснил: детский классик патетически попрощался не только с Кайсаровым, но и с членами его семьи. Жене показалось, что она слышит ехидство П. А.: «Дурак!» — слово, которым он уже комментировал спич этого писателя, сидя рядом с Женей на одном званом обеде.

Хоть кто-нибудь пришел сюда утишить боль потери? В провинции, дома все по-другому. Смерть знакомого или родственника всегда осознавалась как трагическое событие,

а мысль «все там будем» делала не такой ужасающей пропасть между бытием и небытием. Здесь же оставшиеся сверстники покойного в глубине души, а некоторые и не только в глубине отгораживаются от горьких мыслей: я-то жив. А другие, помоложе, стараются доказать, что именно им перedal покойный эстафету великой русской словесности.

Так захотелось рассказать Кайсарову обо всем этом. Скоро кончится формальное действие, и П. А. останется с ней.

31. П. А. ОСТАНЕТСЯ С НЕЙ

На двери лифта — новая, не без щегольства сделанная худредами табличка «Не работает». Изготовить ее, конечно, гораздо проще, чем раз и навсегда отремонтировать старинную машину. Раньше лифтерша прикрепляла клочок бумаги с собственноручно нацарапанными каракулями. Женя медленно поднималась на свой пятый этаж, автоматически кивая коллегам, с трусливым видом школьниц сбегающим с работы.

— Я вас сегодня целый день ищу! — Сердитый голос застиг Женю в пролете между третьим и четвертым этажами возле стенда с сообразительностями. — Слышали, что в горкоме-то устроили! — не спрашивала, а возмущалась Аврора Ивановна. — То же самое сделали со мной в приемной комиссии. Кузьминична науськала! Ее рука! Но я этого так не оставлю! Я еще напишу роман про них всех, на весь мир оставлю! Вот разделаюсь со всеми делами — и засяду! Я специально с дачи приехала!

Женя даже не попыталась прервать этот мутный поток сознания и покорно ждала, когда же Аврора Ивановна дойдет до цели своего визгливого монолога. О том, что цель имеется, говорили хитренькие бегающие глазки и суетливые руки, нервно теребящие бахрому павлово-посадской шали. А спрашивать, как же она могла искать Женю целый день, если заседание приемной писательской комиссии наверняка недавно только закончилось, спрашивать, при чем тут пенсионерка Анна Кузьминична, которая никогда не была ни членом приемной комиссии, ни членом Союза, спрашивать — о каком романе может идти речь, если даже свои переводы с украинского она не рискует отдавать в печать до тех пор, пока по ним не пройдутся несколько редакторов, возведенных для этого в ранг закадычных подруг, — спрашивать об этом — значит запутать и без того неясную дорогу к цели.

— Меня может спасти только отзыв мэтра! — Аврора Ивановна заговорила таким тоном, как будто именно Женя

виновата во всех ее бедах и теперь просто обязана ее выручить. — Только отзыв Кайсарова может заткнуть им глотки... — И еще быстрее затараторила, по-своему истолковав Женину растерянность: — Вы не думайте, я не верю тому, что про вас говорят. Я знаю, вы не могли украсть у Кайсарова не только рукопись, но даже лист из нее...

Женя отшатнулась, как будто ее ударили. От слова «украсть» ей стало больно.

— Кайсарова сегодня похоронили, — прошептала она и побрела к себе в редакцию.

Чужой кабинет, хотя на зеленой табличке золотыми буквами написано, что ее. Тут долгие годы Вадим сидел, но Сергеев в последние дни своего правления сумел его выпроводить и отпраздновать победу, пиррову. Почти целый год помещение пустовало, никто не решался на него посягнуть. И только за день до появления нового директора Вадим, как бы случайно заглянув в Женину клетушку, пробормотал после общих фраз: «Чего ты тут теснишься? Садись-ка в мой бывший кабинет». И через полчаса рабочие, которых, бывало, неделями не допросишься, перенесли стол, сейф, навесили полки и постелили ковер. Но все так и осталось чужим, особенно стены, обитые светло-коричневым пластиком, не только не пропускающим воздух, но, кажется, выделяющим ядовитые испарения.

Посередине стола лежали две стопки: одна из бумаг — договоры с авторами, объяснительные записки и рапортчики подчиненных о проделанной работе с комментариями плановиков. Кажется, Андрей обещал отменить эти бессмысленные отчеты, а при Сергееве какие баталии были! Сколько сил и времени тратили редакторши на доказательство того, что чтение литературных журналов и газет должно входить в норму выработки...

Или редзаки, редакторские заключения. Часами заседали, чтобы решить, когда их писать — сразу после получения рукописи или перед сдачей ее в набор, хвалили тех, кто целые трактаты сочиняет на десяток страниц, но большинство-то скатывало их у соседа, изменив только имя автора, и никаким документом это пустословие служить не могло, да и подправить там все можно было в любой момент. Зачем это бумагоманье, если судьба рукописи решается включением или невключением ее в план?

Другая стопка — сигнальные экземпляры. Сегодня в ее редакции родилось две книги. Женя с тревогой и любовью взяла верхний кирпичик. Шрифт отличный, правда, золота многовато — в тираже-то все осыплется. Переплет из глад-

кого, похожего на лайковую кожу, балакрона. Бумага тонкая, белоснежная. Внимательно, по буквам, прочитала титул, выходные данные — там ошибки сразу бросаются в глаза начальству. Полистала — уже для себя — страницы со знаковыми стихами. Тарковский...

Вторая — с тетрадкой иллюстраций. И тут Женя оторопела — под портретом Герцена написано: «Н. А. Герцен». Судорожно перелистнула дальше, надорвав страничку, и в конце увидела женское лицо и подпись: «А. И. Герцен». Все внутри задрожало. Чья ошибка? Позвонила в производственный отдел. Там сразу закричали, что тираж уже отпечатан, исправить ничего нельзя, и ехидно так, подленько заметили: «Сверху надо было внимательно читать. Смотреть, что подписываете». А вдруг и правда я проворонила? Женя перестала соображать, страх усадил ее на место и услужливо подsunул оправдание бездействия: мир-то не перевернется, если книга с ошибкой выйдет. Уж как-нибудь читатели разберутся, где Александр Иванович Герцен, а где его жена. Но уже через пять минут она слушала голос секретарши, сообщающий, что Вадим Вадимыч у директора. Женя припудрила горящие щеки, осторожно, как мину замедленного действия, взяла книгу и побрела к начальству.

— Короче! Вадим Вадимыч, это надо исправить, даже если придется сделать выдирку! За счет того, кто допустил ошибку! — Андрей был чем-то взбешен и, казалось, обрадовался, что именно на Жене может сорвать свой гнев. — Смотри, если окажется, что ты виновата!

— Что же ко мне не пришла сперва, мы бы по-тихому все исправили, а теперь, понимаешь... — Вадим открыл свою дверь и пропустил Женю вперед.

Что «теперь»? Ну, даже если она и редактор ошиблись — а это еще не доказано — что же «теперь» — с работы выгнать, убить? В большинстве книг столько наглого вранья, преднамеренных искажений и умолчаний, что незнамо сколько лет разгребать надо! А больше всего, как при Сталине, боятся случайных и неизбежных опечаток. Но все равно, чувство вины не давало покоя...

Домой пошла пешком, споткнулась, упала, порвала новые брюки, расшибла коленку, а рука так вспухла и заболела, что поковыляла в поликлинику. Оказалось, нужно в травмопункт, в совсем незнакомом месте. Там пришлось сидеть в очереди из пьянчужек и алкоголиков мужского и женского пола.

Пышноусый хирург Жениного возраста, из тех, кого называют «настоящий мужчина» — решительный, ироничный,

стал проявлять к ней неподдельный интерес, когда записал в карточку место работы. Травма оказалась пустяковой и большого внимания не требовала.

На следующий день приехала на работу на полчаса раньше, к открытию производственных служб. Валерия Петровна встретила с праздничным видом: в восемь утра, дозволившись до типографии, она уже знала, что ошиблись там, при верстке иллюстраций.

— Тираж еще не отпечатали, успели все исправить. Благодарил... Пойдите к директору, обрадуйте его.

Андрей неопределенно махнул рукой и продолжал что-то писать в амбарную книгу, время от времени сверяясь с толстой рукописью. Чтобы не подглядывать в его записи, Женя оперлась взглядом о только что отреставрированный камин, подчеркивавший разностильность обстановки директорского кабинета. Длинный стол с кожаным бордюром, на котором до Рождества будут лежать визитные карточки — поздравительные открытки и телеграммы от госучреждений и частных лиц, пожелавших засвидетельствовать свое почтение нынешнему директору. Те же самые люди слали их Сергееву и будут присылать следующему руководителю. Так что правильно они выставлены на всеобщее обозрение — это не частная корреспонденция. Женя нашла глазами кресло, в котором обычно сидела на летучках, и сжалась. Последнее время Гончаренко слишком часто стал тренировать на ней свое остроумие, и правда нуждающееся в шлифовке. Между его хамоватым подзуживанием и элегантно ироничностью настоящих острословов было такое же сходство, как между вульгарной дракой и классической борьбой.

— Что у тебя?! — резко захлопнув свой кондуит, рявкнул он. Без всякого интереса выслушал победную репликацию и, когда Женя встала, спросил: — А почему ты мне не доложила, что у вас довольно известное стихотворение Блока напечатали в книге современного поэта?

— Какого? Я ничего не знаю... — Женя похолодела.

— Да не помню я. Редактором твой Петр был, ты там разберись и докладную мне напиши... — Показывая, что разговор окончен, Андрей нажал кнопку селектора и вызвал секретаршу.

Жене была хорошо знакома эта повадка начальников, отгораживающихся от ответственности за подчиненных, за любые ошибки. Кузьминична в таком случае принималась кричать, обвинять и пугать разными карами, а этот слишком хладнокровен...

— Петю не хотела подводить, потому вам и не сказала.

Думала, пронесет, — расстроенным голосом повинулась Валерия. — До директора-то как дошло? Я ведь то письмо от читателя никому не показала. А при чем тут вы? Книжка вышла, когда еще Кузьминична нами правила.

— Этак мне и все грехи сталинского времени припишут... — Женя принялась звонить Андрею, но он куда-то уехал и сегодня уже не вернется.

32. С УТРА

С утра Саше пришлось тащиться на совещание, которых расплодилось в последнее время хоть отбавляй. Но отбавлять никто не собирался. Так начальство понимало демократизацию общества или, скорее всего, так выполняло очередную директиву, ничего не меняя по существу. А что? В духе перестроечного времени — говорите сколько хотите и что хотите, а решается все по-прежнему — в кабинетах, в черных «волгах», на дачах, и решается бесповоротно. Опираясь на «общественное мнение» — всегда найдется оратор, который по собственной воле или по чьей-нибудь просьбе с трибуны и с пафосом проговорит то, что нужно сильным мира сего.

Пришлось приспособиться, научиться не тонуть в вихрящемся потоке писателей, редакторов, других литературных людей. Надо всего лишь рассеянно смотреть под ноги, стараясь никого не видеть, иначе попадешь в лапы письменнику, которому что-то нужно — о том, имеют ли право тебя просить, интеллектуалы обычно не задумываются; или радушно здороваешься со старательно не узнающей тебя дамой, которая всего месяц назад, казалось, искренне восхищалась твоими опусами во время писательского десанта на Калмыцкую землю. Конечно, близорукость изображать трудно, ведь встречаешься взглядом не на стадионе, всех хорошо видно... И все равно нет-нет да и наткнешься на ненависть — за «приложенную» тобой книгу, за неоправдавшиеся матримониальные планы, за молчание, наконец...

В боковую дверь входила Светлана, окруженная сидящими бородачами. Саша встал, чтобы успеть переместиться в противоположный конец зала. Почти два года лежит у нее рукопись, звонила пару раз, но совсем не по делу, не по тому делу, которое его интересовало.

— Александр Иванович, садитесь сюда.

Саша обернулся и сразу узнал Рахатова.

— Становитесь знаменитым. Вчера на редколлегии хвалили вашу статью. Я еще не читал, но за вас порадовался.

О какой редколлегии речь, Саша даже и не понял — поэт со своим либеральным прошлым был нарасхват. Пробурчав благодарность, Саша хотел пройти дальше, но Рахатов пересел в глубь ряда, освобождая место у прохода. Неохота было с ним разговаривать: надо тогда его стихи и статьи хвалить — не знать их невозможно, отметилась во всех более или менее приличных изданиях. Идеи правильные, иногда даже произносил он их раньше других, поражая своей отвагой. К искусству только это все имеет очень мало отношения. А его якобы экстравагантные рассуждения о серебряном веке! Уж слишком по-советски, по вертикали, без знания контекста.

— А я даже собирался разыскивать вас через Евгению Арсеньевну, но вот повезло! — Рахатов так громко обрадовался, что сидящие впереди обернулись, но, увидев знаменитость, шикнуть не решились. — Одно издательство хочет выпустить толстый том моего избранного с комментариями. Понимаете, у меня ведь почти все стихи имеют историю. Я бы вам все рассказал — посидели бы вечерок-другой...

— Какие люди! — Гончаренко плюхнулся на свободное место и потянулся через Сашу к Рахатову. Тот сухо кивнул и хотел продолжить разговор, но Андрей не заметил, что он лишний. — Представляете, эта красная девица собирается у нас антологию русской классической проституции издавать! Амфитеатров, Боборыкин, кто там еще? Да ты сам-то хоть раз к блядам ходил? — Саша промолчал, а Андрей и не ждал ответа — смотрел только на Рахатова. — Вот. Так какой же ты специалист по этому делу? Что ты можешь в предисловии написать, кроме филологических изысков? А я был, и не раз. Мне и надо такую книгу составлять. По сто рублей за лист. Ха-ха! Сашок, слушай, давай местами поменяемся — мне надо с нашим великим поэтом посекретничать... — Наткнувшись на надменный взгляд Рахатова, тут же добавил: — Обсудить одну затейку, которая и вам, и нам славы прибавит.

Саша встал с облегчением. И Рахатов его больше не удерживал, только попросил вслед:

— Звякните мне вечерком — после двенадцати я буду дома.

Слушать выступления, на которые никак не повлияло ни время, ни новые границы свободы, провозглашенные, но еще четко не очерченные, не было никаких сил. Из безликого коридора выбраться можно было только целиком сосредоточившись на поставленной задаче. Или с поводырем, которого не было — все дисциплинированно сидели в зале. Сосредоточиться тоже не удавалось, и Саша то и дело попадал в тупик или в то место, из которого только что ушел.

Настроение падало опроретью. Не из-за того же, что Анд-

рей явно не хочет издавать задуманный им сборник. Это Женечка уговаривала что-нибудь сделать в ее редакции, а сам он давно прибавил к списку заповедей, которые старался не нарушать: «Не составляй!»

На Страстном бульваре уже не надо было соображать, куда идти. В старой Москве Саша чувствовал себя как в собственной квартире, обставленной особняками, доходными домами в стиле модерн, памятниками, скверами. Со студенческих лет он называл знаменитые московские улицы не их советскими псевдонимами, а настоящими именами. И состязался с Никитой, кто их лучше знает — на лекции по истории КПСС рисовал схему метро с правильными названиями станций: «Воздвиженка» вместо «Калининской», «Пречистенка» вместо «Кропоткинской», «Моховая» вместо «Библиотеки имени Ленина», «Мясницкая» вместо «Кировской». Но когда переименование действительно началось, приобрело бестолково-спекулятивный характер, и название «Красные Ворота» вернули не древней площади, на которой Лермонтов родился, а станции метро, ни за что обидев классика и оставив нетронутыми «Марксистскую», «Октябрьскую», «Комсомольскую», Саша к топонимическим играм совершенно охладел.

Не успокаивало на этот раз и Бульварное кольцо. Почему такой противный осадок от встречи с Рахатовым и Гончаренкой? По привычке все анализировать Саша принялся искать сходство между этими такими разными деятелями и вскоре вычислил, что и тот и другой ассоциируются у него с Женей. Она с ними встречается, доверчиво разговаривает, она думает, что от них зависит ее жизнь, а ведь им обоим на все наплевать, на все, кроме своих не очень крупных дел. Она сама не понимает, отчего живет на натянутых нервах. Воннегут назвал бы ее издательский мир «гранфаллоном», мнимым единством людей, бессмысленным по своей сути и с точки зрения Божьего промысла. Сколько лет, обид, слез понадобится ей, чтобы в этом окончательно убедиться?

На такой службе с Женечиной искренностью, с ее неумением закреплять позиции и нежеланием использовать слабости и ошибки других, хотя она их отлично видит, — хорошо быть не может. Но ведь Андрея можно одернуть — терпит же он космонавтку, которая из вредности все поперек ему говорит и делает, однако встречи на посольских коктейлях оказываются вполне конвертируемой валютой. А Женя только добросовестно вкалывает. Четко работает редакция — ну и что?

А Рахатов? Вон как Андрей вокруг него заплясал... Мог бы отстегнуть от этого расположения хоть кусок для Женеч-

ки. Не догадывается? Конечно, у него компьютер внутри, который и руководит деловой активностью, не обременяя совесть. И компьютер-то фальшивый, советский. Женю оценить как следует не сумел!

Благородное негодование было кстати. Саша распалился, собирая материал и на Рахатова, и на Гончаренку, очень в этом преуспел, но мысли о Жене не отпускали: она-то всегда переносит критику на себя.

Обычно женщины сами проявляли инициативу. Когда к Саше приходила в гости однокурсница или просто знакомая, он был готов, что после выпитого кофе и разговора ни о чем и даже нескольких поцелуев они разойдутся — все на ответственности дамы. Он считал себя благородным разбойником, который грабит только злых и богатых, применительно к женщинам — только плохих, только нечистых. Чистота внушала страх. Откуда возникло это идиотское представление, почему любовь ассоциировалась с разбоем, с военными действиями? Он не понимал, что на самом деле был не нападающей, а обороняющейся стороной. И очень плохо обороняющейся. Он сам и был жертвой разбоя.

С детских дворовых времен он усвоил нелепое представление о том, что надо обладать как можно большим количеством женщин, а в брак вступить как можно позже — к женитьбе относились как к отставке. Один приятель сообщил о своем решении жениться с видом полной обреченности, так, как говорят: иду в армию или даже: сажусь в тюрьму. Саша его дружески успокоил: «Ну, ты же все равно будешь с другими бабами гулять». И тот чуть не со слезой в голосе согласился: «Да. Но теперь уже главным образом с замужними».

Саша все время считал: он не трогает Женю, не вмешивается в ее жизнь — и это лучшее, что он делает для нее. И только сейчас увидел, только теперь понял, что ее нужно защищать.

33. ЕЕ НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ

Прежний директор оставлял свой кабинет редко, считанные разы в году, когда, например, вместе со свитой обходил трудящихся в предпраздничные дни с одинаковыми для всех шутками-прибаутками, которым угодливо смеялись и производственные службы, и редакторы, фыркавшие после: «Какая пошлость!»

Новый сам ходил в партбюро платить взносы, вместе со всеми обедал в столовой и даже заглядывал в некоторые ка-

бинеты, не в комнаты, где сидели рядовые сотрудники, а в кабинеты завоов.

— Альберт Авдеич, мы тут с Рахатовым задумали сборник для Америки составить. Вот список авторов. Дайте команду кому следует, чтоб сделали библиографические справки на каждого. А текстами и переговорами мы уж сами займемся. — Отдав распоряжение, Гончаренко не поторопился уйти. — Да ты садись, чего вскочил-то! — Потрепав по плечу Альберта, он и сам стал устраиваться в старинном кресле с высокой прямой спинкой. Ноги разъехались в разные стороны, тело сползло на край сиденья, и в таком положении — то ли лежа, то ли сидя, он предался воспоминаниям: — Я в железнодорожном поселке родился и вырос. Мои родители были люди простые. Отец все твердил: «Учись, сынок, хорошо. Будешь начальником станции».

Альберт Авдеич, воспринявший «ты» как знак расположения, с готовностью подхихикнул:

— Ну, вы теперь, можно сказать, начальник железной дороги...

Андрею это сравнение показалось слишком заниженным, он нахмурился, глубоко сел в кресло. Не ушел. Альберт стал отчаянно соображать, как бы загладить свою бестактность, но от страха в голову вообще ничего не приходило.

— Нам надо укреплять патриотические начала, — после угрожающего молчания строго заявил Андрей.

Объяснять, что это такое, не понадобилось. Его собеседник был готов абсолютно на все, лишь бы исчезла отчужденность между ним и директором, которая появилась по его собственной глупости.

— Мне надо взять человека, — отрезал Андрей.

Альберт съехался, заерзал на стуле, нижняя губа у него отвисла. Хотел что-то сказать, но из горла вырвался только сип.

— Да нет, успокойся, — снисходительно засмеялся Андрей. — Не на твое место. Пока.

Альберт Авдеич с видимым облегчением принялся переставлять два пластмассовых стакана с остро отточенными карандашами. Больше занять руки было нечем — на столе кроме этих стаканов и трех молчащих телефонов ничего не было.

— Так на какую редакцию его посадить? На место космонавтики?.. — Андрей очень искусно и натурально делал вид, что размышляет именно сейчас. — Да нет, эту стерву нам не скovyрнуть, уж очень защищена... Народы СССР... Тоже сложно, да и редакция не ключевая...

Альберта вовсе не удивило, что рассматриваются такие разные возможности, что профессиональная подготовка

претендента не имеет значения. То, что директор доверяет ему — вот что было для него важно.

— Редакция Селениной тут бы подошла, — задумчиво, как бы про себя проговорил Андрей.

— Но она же ваша приятельница?..

Этот непосредственный, наивный вопрос из эфемерной области морали и нравственности не рассердил Андрея, ведь не было сказано главное: что к Жене нет никаких претензий по работе, что в ее редакции нет склок, что книги выходят достойные...

— Придется для дела и через личные отношения переступить, — назидательно произнес Андрей и, осознав, что добился желаемого, уже спокойно продолжил: — Это парень отличный. Он пока в «Литературной молодежи» служит, но очень перспективен. Правда, он недавно приложил Бродского с некоторым перехлестом, это, конечно, тактическая ошибка, но по сути-то он прав...

Альберту было легко согласиться — он едва ли читал хотя бы одно стихотворение нобелевского лауреата.

— Это не за него ли дочка нашего великого замуж вышла? — Альберту не терпелось продемонстрировать свою осведомленность. Он позволил себе выйти из-за стола и пересечь на соседний с Гончаренко стул.

— Так ты его знаешь? — И уже как со своим Андрей посплетничал: — Он до этого был женат и у него даже что-то родилось. Но они, конечно, его благополучно развели. — Уходя, как бы между прочим, сказал главное: — В общем, надо готовить ситуацию. Почитай книжки, которые в ее редакции выходят — что-нибудь всегда можно найти. Ну, за работу!

34. ЗА РАБОТУ

— Что вы там капиталисту наболтали?!

Альберт Авдеич впервые говорил с Женей тоном и словами, очень напоминающими манеру Гончаренки. Супруги, живущие в ладу, становятся похожими друг на друга, но для ассимиляции нужно время, и немалое, а тут слишком быстро все подладились под нового шефа.

С иностранными издателями приходилось встречаться и раньше, но то были женщины из соцстран, с которыми легко блюсти дипломатию. А когда приехал ровесник, плохо говорящий по-русски и еще хуже разбирающийся в современной литературе, Женя, забывшись, заговорила с ним как с нормальным человеком, то и дело переходя на англий-

ский, на котором она не знала таких уклончивых выражений, как «представляется целесообразным», «неоднозначное явление», и поэтому четко провела границу между настоящей литературой, занимательной беллетристикой и никому не нужной тягомотиной — многотомными собраниями сочинений генералов от литературы.

Совсем не такого приема ждала она от Альберта. Столько времени боялась упреков, избегала оставаться с ним один на один, даже из столовой уходила, если замечала его там. А сегодня, когда уже и надежды никакой не осталось, вдруг напечатали «организованную» ею рецензию на его книгу. Не бог весть какую — небольшую, кисло-сладкую, как говорят профессионалы, но большей сейчас добиваться просто опасно. Начальники посановнее Альберта, и те засели в свои благоустроенные окопы и боятся высывываться — надолго ли, нет ли, но настало такое время, когда чин не только не защищает от публичного разбора и разгрома, но даже наоборот... Иван Иваныч, например, по состоянию здоровья ушел в отставку после того, как предали гласности его миллионные гонорары.

Альберт об отклике еще не знал, хотя газеты просмотрел с утра и они уже лежали аккуратной стопкой на его столе. Он страшно обрадовался, засуетился, и в знак расположения, как плату за рецензию, выдал тайну директорского гнева:

— Вы ему всю малину испортили! Еще в прошлом году он договорился, что этот капиталист издает пятитомник его главного покровителя — знаете, кого... — Альберт шмыгнул носом. — Перевод заказывает и оплачивает наша контора, — снова шмыгнул он и для верности провел под носом указательным пальцем.

«Интересно, есть у него вообще носовой платок?» — подумала Женя.

— Два тома уже готовы, покровителю сорок процентов заплачено, за все пять, и вдруг вы объясняете, что его романы — «тягомотина», толстосум даже слово это довольно отчетливо повторил. Ну и кашу вы заварили!

Альберт от удовольствия зажмурился: всем будет плохо — и литературному генералу, и Гончаренке, и Селениной. Что может быть приятнее!

Тошнотворное ощущение, оставшееся от разговора с Альбертом, Женя попробовала преодолеть хладнокровным анализом. Ну, во-первых, противно, что хлопотала, хотя и не очень усердно, о рецензии. Наверняка тот поддакивал, когда Гончаренко возмущался «свиньей, которую подложила Селенина». Во-вторых, отношения с директором пошли совсем наперекосяк. Несмотря на то, что Женя никогда не

была прямолинейной правдоискательницей, не осуждала брезгливо разумные компромиссы, понимала, что за видимостью объективности и принципиальности часто скрывается непреодолимое желание отомстить, ранить, убить.

Все оборачивалось против нее.

Андрею зачем-то понадобилась Вагина, и он без свидетелей обронил, что неплохо бы дать ей работу. Скрепя сердце Женя поручила той написать предисловие. Книга вышла, и опять скандал.

— Смотри, каким авторам статьи заказываешь! Светка — дура! Писать не умеет, привела где-то в центральном журнале цитату из Баратынского и приписала ее Тютчеву! А эти левые, они же, сволочи, грамотные, тут же пошли ее позорить!

— Но Вагина — твоя креатура, ты же сюда ее привел... — попыталась защититься Женя.

— Я?! Ничего подобного! Я далек от групповщины! Короче! Чтобы больше такого не повторялось! Надо учиться работать с авторами!

И последовала целая лекция для дураков.

А сколько еще мутных ситуаций...

Кайсаров незадолго до... Даже не вслух, а только в мыслях своих Жене трудно было произнести окончательный приговор, который слышался ей в слове «смерть». Скоро будет год, а до сих пор ничего не решено насчет сборника, который Кайсаров с такой тщательностью составил. Автором был друг молодости П. А., провозгласивший в двадцатые годы новое литературное направление, но рано умерший. Женя видела, что его драмы, проза, стихи годятся только для того, чтобы приводить из них обширные цитаты, вытягивая комментарием и рассказом о личности и судьбе их автора. Сам по себе он на ногах не стоял. Гончаренко-то напечатал бы и совсем нечитаемый текст, если бы он исходил от своего человека. А чужого не хочет, мотивируя не тем, что чужой, а якобы из-за качества текстов. «Брось ты со своим Кайсаровым возиться! Пользы от него — как от козла молока!»

И снова безнадега, снова между молотом и наковальней. И у надменных дам, и у высокомерных старушек, гордящихся дружбой с Ахматовой, такие ситуации тоже случались, но они вовремя сказали не только другим, но и себе: этого не было. Есть выход — перестать быть редактором и никогда больше этим делом не заниматься.

Чтобы гордиться редакторской профессией, надо уметь свои подвиги увеличивать в десять, еще лучше в сто раз, а уступки и поражения во столько же раз преуменьшать. Но у Жени зрение было устроено совсем по-другому: «подвиги» она

считала нормой и чувствовала себя неудобно, когда ее хвалили, а вот все компромиссы помнила с первого дня работы в издательстве и наедине с собой называла их предательством.

Тяжело стало на службе. Может быть, обычная мнительность? Но сколько ни уговаривай себя, а если чашки то и дело бьются, если ударяешься о каждый угол и наставляешь синяки?

Аврора вдруг пожалела, честно предупредила:

— Вы еще молодая, красивая, у вас вся жизнь впереди. А я без этой работы... Перестану быть редактором — я уже никто. Поэтому я буду не с вами. Хотя против вас ничего не имею, даже наоборот...

35. ДАЖЕ НАОБОРОТ

— Евгения Арсеньевна, что такое? Приносят на подпись бумаги, читаю и вдруг вижу какую-то писульку детским почерком! Придите и заберите ее!

Держа на отлете трубку красного тупорылого телефона, который соединял ее с единственным абонентом, — поэтому диска и цифр не требовалось, — Женя молча глотала слезы.

— Ах, ты еще молчать будешь! — В голосе Гончаренки проглянула угроза, но он тут же спрятал ее за обычной хамско-дружеской манерой. — Короче! Кончай выпендриваться! Давай встретимся, повыясняем отношения, если уж тебе так приспичило!

— Хорошо, Андрей Георгиевич...

Показалась и сразу исчезла надежда на то, что ее не отпустят. Все-таки неплохо работала, если, конечно, есть в природе мерило качества этой службы. Лозунг «незаменимых нет!» исчезнет последним, когда уже все вокруг изменится до неузнаваемости. Больше семидесяти лет прошло с тех пор, как Человека с большой буквы официально поставили во главу угла, но большинство очутилось с другой, внутренней стороны, загнанными в угол.

— Так, так, сегодня уже поздно, мне уезжать надо... — До окончания рабочего дня было еще больше двух часов. Но хозяином положения был он. — Завтра. Договорись с моей секретаршей.

Если бы Женя не была так удручена, она не попала бы в виртуозно расставленную ловушку, сообразила, что Гончаренко специально хочет ее разозлить. Именно он загнал ее в угол и намеревается еще получить удовольствие от ее унижения.

— Завтра меня не будет... — Женя не смогла бы внятно объяснить, почему так сказалось.

— Смотри, смотри, я ведь могу и подписать...

— Отлично, подписывай.

Эта фраза вытекала из предыдущей, сказанной спонтанно, без расчета. Если, конечно, заявление об уходе было написано не для того, чтобы набить себе цену. Но Женя презирала кокетство в таких делах. Ведь даже тогда, когда невыносимо долго тянулось неназначение, она не стала подыгрывать себе руками, хотя один из авторов звал в свой журнал заведовать прозой. Никому об этом тогда не сказала.

— Ну что же, я подумаю...

Женя первая положила трубку. Не верилось, что все это происходит на самом деле. Когда умирает близкий человек, инстинкт самосохранения не допускает эту весть до сердца в полном ее трагизме и безвозвратности. Сознание коснется и сразу отпрянет, как от жгучей, холодной воды.

Прежняя жизнь умерла, скоропостижно умерла. И чтобы не исчезнуть вместе с ней, Женя заставила себя об этом не думать. А что тогда делать? Начать собирать вещи? Выдвинула ящик письменного стола, забитый копиями и вариантами старых, теперешних и будущих планов, принялась их рвать и выбрасывать. Синяя полиэтиленовая корзина — в сберкассах такие используют для разведения пальм, фикусов и азалий — быстро заполнилась. Женя умяла бумаги, но вошло еще совсем немного.

Принялась за вступительную статью, которую Аврора принесла днем — посоветоваться. Добросовестно прочитала страниц пять, но не могла бы сказать даже, к какой книге писалось это предисловие. Да и зачем Авроре теперь ее мнение — книгу сдавать нескоро, уже без нее. Нет, лучше собрать хотя бы часть своих вещей — за один раз ведь не унести...

Присела на корточки перед шкафом, отведенным для подаренных авторами книг, которыми она не хотела засорять домашние полки. Придется теперь забрать...

С трудом разогнувшись, Женя подошла к письменному столу, включила настольную лампу. И комната, которую она любила в эти сумеречные часы — когда не бывает совещаний, когда редакторы заглядывают только для того, чтобы отпроситься пораньше, когда телефон звонит редко — опытные авторы знают, что часов в пять все издательства вымирают; когда можно без спешки читать, писать, когда составление планов, ответы на письма доставляют удовольствие — эта комната вдруг превратилась в камеру, в замкнутое пространство, из углов которого наступает темнота, сначала уменьшая светлый

круг от лампы, а потом готовая поглотить и тебя, если ты сейчас же, сию же секунду отсюда не вырвешься.

Схватив в охапку сумку, плащ, Женя нажала кнопку на шляпке настольной лампы и выскользнула из своего кабинета. В коридоре никого не было, и она опрометью выбежала из издательства. Быстро зашагала к метро, но пришлось остановиться, чтобы повязать голову шелковой косынкой — заныли уши. С тех пор, как продрогла на похоронах Кайсарова, они болят даже от легкого ветерка. Заодно надела плащ, перекинула через плечо сумку и тут заметила, что забыла переодеть туфли — на ногах остались черные лаковые лодочки. Представила возвращение, встречу с Гончаренкой... И пошла вперед.

Не все же у нее отняли. Большинство людей знать не знают о Женином крахе, видят в ней просто молодую женщину, просто человека. Вот девушка на плащ засмотрелась — наверное, хочет такой же сшить. Почему-то одежду замечают только дамы, а мужчины, те, кто кроме себя может еще кого-то видеть, обращают внимание совсем на другое... Конечно, не сейчас, когда один приветливый взгляд мог бы на чуть-чуть поправить настроение...

Вспомнилось совещание в Союзе писателей. Народу битком, но Сергеев, разжалованный директор — один, как прокаженный. Никто рядом не сел, ни слева, ни справа. «И вокруг меня сейчас такой же вакуум», — подумала Женя и сразу одернула себя: никто же еще не знает, что она безработная. И узнают — что изменится? Ну, длинный седоватый хлыщ не будет перед каждым праздником проникать в кабинет и воровато вынимать из портфеля цветы — начал-то он с коробки «Первый бал Наташи Ростовой», которую Женя решительно не взяла. Так не видать бы его больше никогда, ни его, ни его цветов, которые она тут же отдавала Валерии. Не получать больше поздравительных открыток от писательского начальника, который со слов Сергеева считает Женю лучшим редактором. На своем опыте ему в этом убедиться не удалось — там надо было либо все переписывать, либо издавать в первоизданном виде. Хотя, может быть, мудрость — не самое плохое качество редактора? И этого не жалко. Рыночные отношения с экономической точки зрения — объективная закономерность, но в жизни Жени — нет уж, увольте. Как только чувствовала намек на расчет, как только понимала, что человек разговаривает с ее креслом, с ее маленькой властью, она становилась любезна, старалась как можно точнее выполнить свои служебные обязанности и больше никогда его не видеть.

Потери невелики, да это даже и не потери. Если из тесной

коммунальной квартиры вынести шкафы и шкафчики, громождающие кухню, коридор, комнату, если убрать тазы, снять веревки, выбросить старую неработающую радиолу, шаткие табуретки, то можно испытать счастье только от появившегося простора. И заполнять его нужными, красивыми и удобными вещами не торопясь. Всего одну бумажку написала — а сколько хлама можно теперь из головы выбросить!

Не надо бояться звонка бывшего крупного партработника, непременно намерившегося переиздать свою книгу, никому, кроме него, не нужную. Но ведь так прямо пожилому человеку не скажешь. Да и когда он был у власти, то помогал кое-кому из хороших людей, если сверху не было команды громить, поправлять, притеснять. Гончаренко отказать ему боится — вдруг у того цековские связи остались. Вот и крутись, мямли насчет загруженности планов или рассмотрения на редсовете. А старик настырный, с партийными замашками, на идеологическую значимость своего труда напирает. «Вы сами, пожалуйста, прочтите. Мне ваше личное мнение очень важно...»

В метро спускаться не захотелось, и Женя пошла пешком, с удивлением и удовольствием глаза по сторонам. Новая, необычная осень! Вот, оказывается, из каких цветов составлен ее колорит: желтые, красные и зеленые мазки кленовых, осиновых, дубовых листьев, черная чугунная решетка, белые колонны дворянской усадьбы, юсуповской. И серое вечернее небо.

Куда эти люди так торопятся? Нерадостная спешка. Рабочий день кончается, домой идут по своим, никем не навязанным делам. Да, более хмурые лица бывают только по утрам, когда в давке едут в автобусе, на метро. Опаздывают и знают, что опять попадет от начальника или даже премии лишат за такое преступление. Женя всегда удивлялась зависимости своих сослуживцев от денег. Разумно не объяснить, почему одна коллега всегда стреляет десятку до зарплаты, но как только приходят торговки ювелирными побрякушками или уточняют очередь на «жигули» — она первая.

Жене денег всегда хватало. И в университете, когда сестры жили на стипендию в тридцать пять или сорок три с копейками — в зависимости от оценок, плюс пятьдесят рублей на двоих, которые каждый месяц в один и тот же день пунктуально присылали родители. Сашке предки по сто рублей подкидывали, но он всегда был в долгах. Сейчас насчет денег Женя не тревожилась — возьмет пару учеников, и хватит. И все-таки заноза сидела. От любого неуклюжего поворота мысли делалось больно.

Свернула в безлюдный переулок, потом в другой. Уланский, Даев. Где-то здесь был дядин дом, в котором всегда останавливались туровские родственники. «Месяца за целый год одни, без гостей не живем», — то ли гордился, то ли сетовал дядя. Дом снесли, дядя умер, улица перекопана. Замедлила шаг, чтобы найти мостик, по которому можно перейти траншею.

Кажется, первый раз в жизни Женя не знала, куда идет. Было все равно, лишь бы дорога не кончалась. Впервые она не хотела брать в настоящее, в «теперь» даже следующий час из будущего, не говоря уже о следующем дне, неделе, месяце. Пусть все идет само собой, и она брела, то задумываясь, и тогда, как в кино, кто-то крупным планом показывал ей неожиданные картины из счастливого провинциального детства, из университетских лет, то вдруг отчетливо видя выбоину на тротуаре, насупленную женщину в пальто и босоножках, надетых на теплые чулки.

Из подъезда помпезного дома, построенного в те времена, когда на декорации не жалели ни бесплатных для их создателя средств, ни подневольного труда; облепленного черными стеклянными прямоугольниками и квадратами с золотыми буквами, вывалилась куча людей и прямо по газону покатилась к троллейбусной остановке. Вдруг кто-то внутри нее замешкался, оторвался и направился в Женину сторону. Она оглянулась, ища цель, к которой так стремится этот силуэт, но вокруг никого живого не было. И тогда она узнала Сашу.

— Не думал, что ты без поводыря сможешь нашу редакцию найти...

Саша всегда посмеивался над Жениной склонностью ходить только по протоптанным муравьиным тропам — от дома до работы, от своей работы до работы или дома автора и изредка в кино, театр, на выставку или в гости.

— Я ушла.

Трагическая интонация, страдальческое выражение широко открытых глаз... Саша был единственным человеком, кто не задавал вопросов. Не от равнодушия, не от безразличия, не из-за увлеченности собственной персоной, а из деликатности, оберегая чужую интимную жизнь. Он только поправил прядь, выбившуюся из-под Жениной косынки, и, опуская руку, ласково провел ладонью по ее щеке, как бы стараясь разгладить горькие складки.

Сбивчиво, перескакивая с одного на другое, повторяя одни и те же слова, Женя принялась объяснять не столько Саше, сколько себе, почему она решилась на уход. И чем больше путалась, чем больше противоречила сама себе, тем от-

четливее понимала, что не это главное, что это только фон, сумбурный аккомпанемент тому новому и самому важному, что произойдет именно сейчас, и это никак не связано с книгами, с ее работой, с тем, что всего несколько часов назад составляло все содержание ее простой жизни.

Картина их первой встречи, которая совсем недавно промелькнула в ее воображении, вдруг стала цветной, движущейся. Борода привел их с Алиной в комнату своего приятеля-аспиранта. За квадратным столом играли в карты. Женя смутилась, хотя незнаком ей был лишь хозяин, и отошла к окну, где стоял секретер с книгами. Ахматова, Платон, Апулей — только такие, которые хочется держать в руках, листать, перечитывать. И это чередование хороших, редких книг с еще лучшими, и единственная репродукция, аккуратно прикрепленная к бежевой шероховатой стене булавками-гвоздиками — «Рождение Венеры» Боттичелли, и то ли девиз, то ли объявление из латинских букв разного размера и цвета, наклеенных на полоску белого ватмана — «*Incipit vita nova*» — отозвались тогда в ней и рассеяли смущение, неловкость.

— Свой портрет рассматриваете?

Женя обернулась, взгляд наткнулся на плечи, обтянутые тонким серым свитером. Пришлось задрать голову, и она увидела добрые карие глаза «домиком», гладко выбритые щеки и квадратный подбородок, который называют волевым.

Сашу позвали за стол продолжить игру в «очко», и он, усадив Женю рядом, принялся советовать, прикупать ли втемную — или честно остановиться на том, что есть. Женя отвечала наобум и невпопад, и Борода даже пошутил: «В картах не везет — в любви повезет». Саша послушно следовал советам, проигрывал и не сердился...

— Понимаешь, у меня не было выхода...

Она могла бы еще долго повторять аргументы, доказывая себе и Саше, что поступила правильно, но спокойствие, уверенность и счастливая улыбка, какую она видела на его губах только тогда, когда он говорил о любимых предметах, остановили ее, объяснили никчемность, бессмысленность новых слов.

— Один выход есть. — Саша обнял Женю и притянул к себе.

*Мужское - женское,
или Третий роман*

РОМАН

НАСИЛИЕ

Не надо бояться ужасного: и того, что природно, неминуемо, — и того, что случается как следствие твоей собственной глупости. Само инстинктивное сопротивление может стать твоим началом... А в итоге откроется, что сильный, самодостаточный человек — это ты.

Где оно, начало того фатального Клавиного дня?

На рассвете, когда она в полудреме выпросталась из ночной рубашки, чтобы не вспотеть (топили-то по-зимнему, а за окном уже несколько дней стояло внезапное мартовское тепло), и сонная рука мужа, сперва отпрянув от ее разгоряченного бока, принялась все настойчивее, нежнее осваивать открывшиеся просторы и женские пальцы поворковали с его тестикулами (пароль-пропуск к обоюдно желаемому слиянию)?.. Или когда уже после контрастного душа, хлопот с завтраком — самодельная несладкая простокваша, тертая морковь, ему со сметаной, ей с оливковым маслом (не толстеть чтобы) — было сказано первое будничное слово?..

— Макар... — Костя булькнул сливок в уже полную чашку с кофе и, высунув кончик языка, резво слизнул с блюдца расплескавшиеся капли, даже не пороптав на обычно раздражающую его Клавину привычку наливать до краев любое питье. — На службе будет? Передай ему мои бумаги, чтоб завтра вечером мы могли конкретность какую-никакую обсудить.

Всякую просьбу мужа, любое его желание — от «блинов бы я поел» и «пуговицу надо пришить» до «прочитай в библиотеке эту книжку и перескажи мне поподробнее» — Клава бросалась выполнять, не рассуждая. Так выражалась ее любовь, ее инстинктивная привязанность, чувство долга она

так понимала, женственная податливость в этом была, и еще, конечно, ей инстинктивно хотелось жить в том уютном мире, где не все надо подвергать сомнению, где есть то постоянное, что сразу, не раздумывая (вот где ошибка...), принимаешь на веру. Разве Костя может захотеть хоть что-нибудь во вред ей?

А ведь насчет этих конкретных бумаг аргументы лежали прямо перед носом — уже во время обеда в их конторе (как почти во всех учреждениях, от детского сада до взрослой Думы) начнется отмечание женского дня, и после пары рюмок деловая пригодность Макара опустится до нуля, если не ниже. Может по дороге домой потерять шапку или портфель — с Костиным проектом в том числе. А бедная его Варя всякий раз думает только о том, как бы муж живой вернулся...

Клава метнулась в спальню за вязанием и через мгновение, лишь неощутимо увеличив паузу между репликами, но не порвав невидимую связь, снова смотрела в глаза мужу, в то время как спицы уверенно трудились над гарусной полоской в платье для дочки. Цезарь не Цезарь, но делать лишь одно — только болтать, только вязать, только телек смотреть. Клава не могла, ей были нужны как минимум два занятия, которые и делами-то она никогда не считала. Разговор пошел важный для обоих, и ладно так пошел — вспомнилось, как их, тогда еще не знакомых друг с другом, поставили пилить дрова на дружеской даче и как плавно, синхронно заработали зубцы, будто кто-то специально подбирал для них бревна без сучка, без задоринки.

Утренний срез копящихся в их жизни неудобств, недоумков, обид, рассмотренный в четыре глаза, два ума и два сердца раз за разом вот уже почти четверть века помогал понять, что с ними происходит, но, как сегодня вечером выяснилось, для такого медленного исследования, вникающего и в пустяковые подробности, просто не хватило времени.

...Отмечание женского дня в почти исключительно женском коллективе... Кто не знает, посмотрите вокруг себя повнимательнее, статистику вспомните: на десять девчонок — сколько теперь ребят?

К концу служебной вечеринки, дабы не чувствовать себя обязанной старухе-вахтерше, услужливой до слащавости, Клава сама — без прозрачных намеков, когда говорят одно, а имеют в виду противоположное (раз пять заглянула та со словами «сидите, сидите, я не тороплюсь!»), — свернула совсем не буйные посиделки, единственным моветоном на ко-

торых была реплика уже подраспустившегося Макара: «Девчонки, я бы вас сейчас всех трахнул!» — сопровождаемая вполне асексуальным объятием шелковых плеч сидящей справа от него бухгалтерши и прилипшей к его левому боку пиарщицы. Матери-одиночки, не добравшие мужской ласки (взрослые сыновья не в счет, ранняя молодость агрессивнее в присвоении заботы и опеки, чем мозолистая, искушенная зрелость), размякли и затянули с большим чувством «Край родной, навек любимый», что свидетельствовало отнюдь не о советскости коллектива, а всего лишь о его поколенческой принадлежности: после сорока лет люди склонны приукрашивать не будущее, а прошлое.

Силы, спаивающей (от глаголов «спаять» и «споить» одновременно) сотрудников, хватило, чтобы не сразу по выходе из офиса потянуться к домашним очагам, а сперва лаконообразным клубком докатиться по возбужденной предпраздником Тверской до станции «Охотный Ряд», достигнув которой коллектив наконец распался.

Опытный пьяница всегда имитирует у турникета твердую походку, а затем без проволочек ступает на эскалатор. Увидев уезжающую спину Макара и вспомнив про мужнины бумаги, Клава ринулась вослед. Поравнявшись с шефом, она почти прижалась к нему, чтобы не застопорить левостороннее движение. На лестнице длиной минуты в полторы, да еще во враждебной тесноте не получилось выудить из сумки ничего, кроме ненужного сейчас портмоне и рабочих манускриптов — она собиралась покорпеть над ними в праздничной тишине и одиночестве.

Карьерный путь, на который еще в детстве-отрочестве юности подтолкнули Макара его способности («талантом» их на юрфаке называли), его амбиции, тяга к новизне и даже слабое зрение свою лепту внесло (чем выше заберешься, тем лучше видно при его-то дальновзоркости), научил быть рачительным, не упускать ни одну из приоткрывающихся — порой внезапно — возможностей, и он, хмуро трезвея, больно дернул Клаву за руку (Костин проект чуть не выпал) и рывком втащил в шелку сходящихся дверей.

— Дома объяснишь! — буркнул он, засовывая тонкую зеленую папку в свой кейс, и больше из его плотно сжатых губ не выпало ни слова.

Почему Клава покорилась?! Зачем поехала? Всю молчаливую дорогу на поезде до «Преображенки» и пехом по Большой Черкизовской она, загипнотизированная силой мужской и административной власти, как бы выступала перед самой собой адвокатом Макара, совершенно упустив из

виду принцип состязательности справедливого суда, где равные права имеют и защита, и обвинение. Оправдалась стойким русским трюизмом: перебравшего друга передают с рук на руки, — сильно преувеличив степень его опьянения и не учтя, что Варя с сыном и бабулей будут на даче. И еще, наверно, хотелось сделать новый взнос в заведенную на черный день копилку сперва только добровольных, а потом и вынужденных уступок Макару. (Черный день этот... Никто же не знает, будет ли он, когда будет, можно ли от него откупиться и в каких деньгах... Уступки ваши, подчинение, заискивание — такая некрепкая валюта...) Костин проектик хотелось продвинуть... И еще...

— Как тут можно жить?! — Очутившись в Варино-Макаровой квартире, Клава зажала ладонями уши, но лязг, жужжание, грохот идущего где-то рядом или этажом выше ремонта мигом прорвали столь ненадежную преграду.

— Да уж, покалякать не получится. — Мокрый шепот стоящего сзади, возвышающегося над ней Макара пощекотал левое ухо. — Не за тем сюда приехали... — Он взял Клаву за плечи, рывком развернул ее и, не отнимая рук, перекричал не смолкавший шум: — Глаза! Посмотрите в эти глаза! «Ночи Кабирии» какие-то!

Все еще не веря своим голубым глазам, Клава инстинктивно дрогнула в коленях — Макаровы слова ударили ее, как молоточек хирурга по подколенной чашечке, — и опустилась на корточки, нечаянно отцепив от себя хозяина дома и положения, не ожидавшего такого финта. Медленно, изо всех сил стараясь не излучать миазмы страха, что обычно провоцируют собак на нападение, ползком почти она выбралась в прихожую.

Преследования не было. Значит, показалось... Стало известно, что так плохо, так по-бабски подумала о старом друге. Готовое обманываться сердце враз успокоилось — будто ночные чекистские шаги замерли не у твоей, а у соседской квартиры. В растерянности переминаясь перед зеркалом, Клава убрала в заколку выбившуюся прядь, пригладила волосы, надеясь привычными движениями вызвать то радостное возбуждение, которое охватывало ее всякий раз, как они с Костей попадали в окрестности этого дома. Ареал этот за два десятка лет их регулярных встреч раскинулся не только до ближайшей станции метро, но и забрался под землю, заштриховав приязнью всю дорогу — с пересадкой на голубую линию — до их собственных пенат. Даже маячок ближайшей к Макарову дому «Преображенки» на метрошной схеме подавал сигнал дружелюбной близости. И сознание, вместо то-

го чтобы очевидность осмысливать, трусливо подсулоуо воспоминания, да еще отцензурованные — без всех шероховатостей, которые отлакированную, китчеватую картину под названием «дружба семьями» приближают к реальности, не такой успокаивающей, как хотелось бы.

Сбежала Клава от действительности в эти воспоминания. Въяве прямо-таки увидела, как вот эту самую дверь, сперва деревянную и «родную» (в том смысле, в каком механики называют родными детали первоначальной заводской сборки), а потом, после «молдавского» ремонта (на «евро» не потянули) железную, неторопливо, с самоуверенной ленцой открывает выбритый, в отутюженных брюках и рубашке, не в шлепанцах, а в ботинках, и все-таки домашний Макар. Варя лишь выглядывает из кухни, рассерженно — на себя? на мужа? на гостей? — жалуясь: «Опять не успела! — и, ревниво похвалив: — Вот Кланю-то врасплох никогда не застанешь!» — отказывается от помощи, возвращаясь к плите.

По русской привычке прибедняться хозяйка, конечно, наговаривала на себя: всю большую комнату — кабинет днем, спальню ночью, гостиную по праздникам — занимал стол с расправленными крыльями-столешицами, покрытый сперва скатертью (перекошенной по краям от стирок в казенной прачечной), а потом по периметру заставленный мелкими тарелками, собранными из двух сервизов, возле которых жалось то по две, то по три разнокалиберных стекляшки для питья. («Разбогатеет, всю посуду поменяет», — стала объявлять Варя с того раза, как за столом случайно оказался политолог, лицо которого с постоянной улыбкой-ухмылкой благодаря телеэкрану было известно лучше, чем его гибкая идейная позиция. Но знаменитости появлялись редко, считалось, что благороднее дружить с простыми людьми... Как они сложны бывают эти простые люди...) Ближе к центру, тесня друг друга, толпились хрустальные и глиняные миски с изобретательными салатами, блюда с раскрасневшимися, словно гордящимися своим размером узбекскими помидорами, зелеными веничками укропа, петрушки, кинзы и с выкатывающимися белобокими мячиками редиски. Борьба за место продолжалась и на трехъярусных вазах с мясными закусками, где малиново-коричневые кружки дорогой колбасы, как рыба чешуя, налезали друг на друга.

В общем, если на следующий день мама любопытствовала: «Ну и как вас там угостили?» — то Клава, слегка раздраженная наивностью традиционного вопроса (не совсем приличного, по ее понятиям... но в традиции всегда есть здравый смысл, как угощают — это не содержание ваших отно-

шений, конечно, а только легко читаемый знак: если они неискренни, то хорошо принять гостя не получится), признавала очевидное: «Закусили до смерти, почти как ты».

Для нее-то самой переполненный желудок был верным брегетом, симптомом того, что в душе образовалась пустота — никак не удавалось побороть банальную женскую привычку заедать тоску, которая стала ее в этом доме настигать совсем недавно. А прежде, вначале, Клава ничуть не тяготилась фламандской щедростью Вариных разносолов, ведь перед тем на «аперитив» всегда были книжки, прижимавшиеся друг к другу теснее, чем закуски на столе, для них чуть ли не каждый год покупались новые шкафы; полки навешивались аж в коридоре, а стопка в свободном углу кабинета-столовой-спальни выросла до потолка и как-то обрушилась на Костю (он тогда выуживал даже не снизу, а всего лишь из ее верхней трети «Женский портрет» Генри Джеймса).

И хотя книги, как почти все в те времена, надо было не покупать, а доставать, и Мандельштам из «Библиотеки поэта», например, сообщал о владельце не меньше, чем теперь говорит профессионалу-тусовщику букет «Шанель номер пять» или лейбл «Кензо», Макар не жмотничал и с легким сердцем — жадность вульгарно выдает себя, ее можно скрыть только от того, кто не хочет видеть, — делился (почитать давал) любой редкостью — и той, за которую он переплатил перекупщику-книгоноше, и той, что за копейки досталась в закрытом для простых распределителе на Беговой: это тогдашний шеф уступал ему ненужное из своего «списка» — периодически издаваемой тонкой брошюры с аннотированным перечнем новых дефицитных книг, галочки в которой превращали желаемое в получаемое.

Книжки одни и те же читали, фильмы-спектакли одинаковые нравились, разговоры было интересно друг с другом разговаривать... (Так проверялась дружеская совместимость в те дореволюционные, сексуально дореволюционные времена.) И все это на фоне почти детской, нерассуждающей уверенности, что раз мы вместе, то это навсегда: мы всегда будем защищать друг друга, понимать, помогать, выручать-поддерживать, ваши враги — наши враги, и союзники-соратники у нас будут общие...

И вот, ублажив себя живыми картинками, потратив на них всю силу воображения, Клава решила, что выйти из теперешнего двусмысленного положения проще простого: надеть пальто, выбраться из квартиры — и черт с ними, с Костиными бумагами!

Она решила! Хм-м... А Макар? (Учитывать надо каждого, с кем вступаешь в отношения... Даже на мгновение вступаешь, пусть только дорогу спросить нужно. Выбери, подумай, к кому обратиться, а не то по незнанию или по злобе пошлют тебя... Бояться людей не надо — страх парализует, а вот учитывать — непременно...)

Макар был очень конкретным человеком: если чего-нибудь хотел, то начинал не с инвентаризации препятствий, а несуетливо делал первый шаг и, ввязавшись в бой, чаще всего побеждал. Вот и сейчас он не торопясь разложил диван-кровать, простынку чистую постелил, подумал чуток, сменить ли наволочку и пододеяльник... Не стал, поленился... Уже разделся, очки снял, ключ от запертой на всякий случай двери в ящик письменного стола убрал (учел, что пленница сбежать попытается — чтобы бабью гордость ему продемонстрировать, а зачем еще, ведь она всегда была такая мягкая, податливая, открытая...)... Ну, где же она? — подумал, под одеяло забираясь. — А, куда ей деться! Посплю-ка малость — голова что-то трещит... А она пусть поколотится... Как муха...

Он уже было задремал, но вдруг привычный зубовой скрежет соседского ремонта стих и стали слышны мягкие удары об обитую кожаным покрытием входную дверь.

— Не бейся, заперто! — крикнул он, но новый визг дрели заглушил его голос.

Встал. И сам удивился — как решительно он к ней идет, шлепает как был, нагишом, ведь халат где-то в ванной, а снова надевать трусы-брюки некогда: Клава вот-вот набьет синяки на свои аппетитные окорочка. Жалко!

Голый и одетая... Дурацкая ситуация, за которую стыдно стало одетой Клаве, как будто ее демисезонный драп уже колет белую, нежную кожу Макара... Лицо его, без очков, показалось таким беззащитным... Челка задралась вверх, оголив высокий, умный лоб и две глубокие залысины.

И гостя-арестантка позволила снять с себя пальто, покорно вернулась в комнату и брыкаться принялась только когда он вслух обозначил свою власть:

— Ну вот и взяли мы эти титьки! Э-э, да ты сильнее, чем кажется... Но ручки привязывать не станем. Давай-давай, матерком пройдишь пооткровенней — у меня теперь без стимуляторов типа крепкого словца плохо получается... Вы-то с Костиком как заводитесь?

Говорят, невозможно взять женщину силой, разве что сумеешь нечаянно или умело-намеренно отключить, вырубить ее. Макар достиг этого парализующего эффекта случайно, бесстыдным упоминанием мужниного имени. И Клава сно-

ва струсила, в покидающем ее сознании еще успело мелькнуть: чего хочу я — это неважно... мужчины лучше меня знают, что нужно. (Вот оно, непротивление злу насилием... Не женское ли полушарие матерого человечища облачило в четкую, мужскую формулу эту человеческую покорность...)

Оцепеневшая, она лежала, как мертвая, с открытыми глазами, обращенными внутрь улетающей души. Казалось, в кино ей это показывают... За годы примерной верности ее, если отчитываться как на исповеди, пару раз подмывало позволить себе немного лишнего, тем более что житейская мудрость, проникающая в неискушенную душу во время служебных перекуров-чаепитий или изнывания в парикмахерской очереди, гласит: интрижка после сороковника не наносит непоправимого урона репутации, а только повышает жизненный тонус и женский престиж, но и в страшном сне ей не виделось, что эта возможность будет реализована так грязно, так унижительно.

А Макар торопился. Понимая, что это первое обладание не даст, да и не может дать всяких разных эмоций, приятных своей новизной (зажата была партнерша, испугана, как школьница безответная, бревном лежала), он суетливо спешил застолбить прецедент, чтобы в следующий раз подчинение было автоматическим. Он усвоил Клаву — оставил себе на память моментальный снимок ее тела... Без разницы ему было, что с ней сейчас происходит... Наплевать, что она ждет прекращения процесса, как в тюрьме ждут окончания срока. Стерпится — слюбится. Баба она или кто...

Но надо признаться, злодейство было не из того большинства трагедий, что свершаются по воле не зависящей от жертвы силы, природной ли — будь то землетрясение, наводнение, смерч, рукотворной ли — война, намеренный взрыв, нападение маньяка... Впрочем, разве можно их противопоставлять... Голова-руки, творящие абсолютное зло, — это тоже часть природы. Нет, если уж разбираться по-настоящему — без предрешенного обвинительного уклона, используя и все достижения саморазоблачающего психоанализа, и исторические тайны, открывающиеся благодаря российской смуте, — то прояснится ответ не только на простой вопрос «кто виноват?», но и на более замысловатый «почему?» и уж на совсем головоломный «что делать?».

По американским понятиям происшедшее с Клавой, кажется, считается изнасилованием, а по русским — и сказать никому ничего нельзя. Такое «сказать никому нельзя», без

спроса впрыснутое с молоком матери и усвоенное без посредников-слов, на чувственном уровне, объединяло, как все выясняется и выясняется, много, очень много душ. Лишь в конце девяностых схроны семейного подсознания стали робко проклевываться — так живые ростки от тепла пробиваются, — и в новом веке непременно выяснится, весеннее солнце нагрело землю или то был осенний обман, и тогда заморозки неизбежные уьют наивную зелень, поверившую погоде, а не календарю.

И все-таки, почему, почему Клава подчинилась?

Все, что случается вот сейчас, сию секунду, бывает подготовлено предшествующими действиями, осознанными (заговор, например) или нет — все равно (ведь не всякое замышленное преступление осуществляется, для успеха его тоже нужно стечение обстоятельств, воле даже самого умного человека не подчиняющееся). Так что ответ надо в прошлом поискать. В ближнем прошлом (по времени и по причастности к твоей личной жизни) и в дальнем (историческом, масштабном) — именно в прошлом можно разглядеть то, что объяснит настоящее и поможет изменить будущее. К лучшему изменить?..

Задолго до сцены этой противной (Клаве противной, но не Макару), в январе еще, возвращались Костя и Макар с какой-то украинско-русской конференции. Сувенирная горилка, перестук колес, законная темнота с пунктирами проносащихся мимо огней что-то сделали с Макаром, и он, на третьем десятке лет их мужской и семейной дружбы вдруг разоткровенничался — хмуро глядя не в глаза сидевшему напротив Косте, а за его спину, в узкую полоску зеркала над диванной спинкой купе «СВ», сквозь зубы пробурчал:

— Где я родился, сказать? В больничке ГУЛАГа. — Пытаюсь расслабить узел галстука, он порушил его, вытянув короткий конец, и нервно скомкал в кулак шелковый ошейник. — Черт!.. Отец за простодушие поплатился — указал в анкете после войны уже, что две недели мыкался, не мог выбраться из в одночасье сданного немцам Киева. Задним числом посчитали, что в плену был. А ведь он герой настоящий, до Варшавы дошел, был там в грудь ранен...

От сострадания к бедолаге-отцу и горькой своей участи (теперь-то, правда, такая биографическая подробность совсем не опасна, наоборот даже) нетрезвый взгляд Макара стал непривычно глубоким, а на самом дне его затаилась злость, которую не контролирующей себя человек выплес-

нул бы словами: тебе-то, провинциальному барчуку, сынку ректорскому, ничего ни скрывать, ни стыдиться не пришлось! Только не Макар... Сдержанность, доведенная до уровня рефлекса, была одним из главных открытий, двигающих его по невысокому, но надежному карьерному пандусу. (Поэтому-то, наверное, если пил он, то пил так, чтобы стать не слегка захмелевшим, а напиться мертвецки, до беспомыслия — ведь небольшая доза алкоголя опасно расслабляет непроспиртованного человека и он может безрассудно выболтать свое тайное...)

Как был, одетый, Макар повалился на застеленную проводником полку, укрылся с головой верблюжьим одеялом и сразу захрапел, ритмично подсвистывая перестуку колес, отчего жалость к нему затуманила Костин взгляд, и осторожно, как заботливый родственник, он снял очки со спящего, стащил нечищенные ботинки, подложил простынку под колючую шерсть, подоткнул свисающее на пол одеяло. И долго еще потом эта щемящая Костина жалость продолжала приукрашивать все поступки Макара — так тонкая сетка, надетая на зрачок кинокамеры, скрывает морщины, молодит увядающую кинозвезду.

— Бедный, бедный Макар! — повторяла тогда Клава, слушая Костин рассказ о поездке. — Почему бы и тебе в ответ так же честно не раскрыть нашу генеалогию, а не молчать, как ты всегда делаешь?

— Да отключился он сразу, не успел я про нас и заикнуться, — оправдывался Костя перед женой. — И как сравнивать — его ГУЛАГ и неоткровенное еврейство моей матери. А уж о дворянстве твоей мамы даже вспоминать в том контексте было бы просто неприлично... Это же компроматом давно быть перестало...

— Всегда какая-нибудь лажа выходит из-за твоей замедленной реакции. Можно теперь знаешь куда засунуть наши признания? — Клава резко поднялась, больно ушибившись об угол стола, шагнула к раковине, чтоб успокоиться за мытьем чашек-тарелок. — Выходит, Варя правильно наезжала на нашу якобы скрытность!

Как все мужчины, Костя плохо переносил боль, причиняемую хоть сколько-нибудь справедливыми замечаниями, и, воспользовавшись форой — Клавины глаза не буровили его, раз она стояла к нему спиной — он по касательной перешел в оборонительное наступление:

— Что за речь! По содержанию можешь что угодно говорить, но зачем эта грубость! Думаешь, домашняя небрежность не сказывается в твоей внешней жизни?! Замызган-

ный фланелевый халат — меньшее плебейство, чем фраза неряшливая.

Утренняя полемическая разминка, для постороннего взгляда похожая на открытый бой, не была опасна для семейных уз, ведь Клава инстинктивно выплескивала, а не копила питающую ссоры, размолвки, разводы раздражительность повседневною, побуждая к тому же и Костю. (Но не копить мелкие досады — это еще полдела. Помудрев, она стала соображать, отчего становится неудобно, неуютно, неприятно, причину искать. Обида и негодование этому пониманию только помеха.)

— Прав, прав, прав! — Она на секунду повернула виноватое лицо к мужу и быстренько начала готовить тесто для примиряющего печенья (которое совсем недавно увкусила, изменив с вологодским маслом традиционному маргарину и нарушив унаследованный от матери режим экономии).

Но оба (поровну грешны) не удосужились вспомнить, что первым их добровольным взносом в начинавшуюся дружбу с Макаром и Варей была именно откровенность, и не анкетно-поверхностная, а глубинная — такая, при которой не столько признаешься, сколько познаешь себя (вот еще для чего нужна дружба). Да, сейчас бы и додумать до конца, почему она оказалась односторонней. (Раз уж надрезалось, то посмотрите внимательно, что там внутри, не отводите взгляд!) Но нет, как можно препарировать поступки близкого друга... Так вериги благородства делают слепыми даже и умных людей.

Вчуже Клава уважала сдержанность, ценила ее эстетически (не этически, а именно эстетически, как, например, не вдаваясь в детали — от неумения анализировать чаще всего, — на веру называют эталоном «Черный квадрат» или «Поэму экстаза»), сама хотела бы научиться хранить хоть что-нибудь втайне, но еще с детских лет чем больше мама предупреждала: «Этого никому не рассказывай», тем чаще застигала она себя за выбалтыванием — даже помимо воли — самого сокровенного. Закономерно: действие рождает противодействие.

Конечно, безответственная распахнутость могла бы нанести Клаве много, очень много вреда. Репутация блажененькой у доброжелателей и круглой идиотки у тех, кому жаль своей энергии на приязнь к людям, могла прильнуть к ней слишком уж плотно, стать не одеждой, но кожей, и она сама начала бы думать о себе как о странной, ненормальной, не повстречайся ей Костя, увидевший в простосердечной открытости неординарность, талант своего рода. Он принял на себя все Клавино излучение, и миру доставались

лишь спорадические вспышки наивности, которые могли причинить, да и причиняли ей ущерб, но уже не роковой.

Был момент, когда она начала отличать неприятную ей скрытность, граничащую с хитростью и обманом, от благой сдержанности (коей учит простое внимание к себе-седнику — самый сложно приобретаемый навык: нужно ведь раз за разом влезать в шкуру другого и честно фиксировать, например, все уколы ревности, зависти, боль от которых по себе знаешь... и тебя самого чувствительно ранит, когда вдруг узнаешь, что... стыдно даже начинать этот перечень болей, бед и обид). Но только-только раскусила она прелесть сдержанности и начала примерять ее к себе для ежедневного ношения, как вдруг...

Именно мама, апологет скрытности, обронила пару слов, отбросивших Клаву назад, к наивной откровенности. (Не знаю, как у мужчин, но женщине, чтобы надежно скрыть что-нибудь от других, не проговориться ненароком, нужно сначала себя убедить, что у тебя этого — нет, то есть прежде всего себя надо лишить того, что от людей скрываешь... Если приbedняешься, то от денег удовольствия не получать, если любовь утаиваешь, то от нее только страдания будут...) Ненароком проговорила Елизавета Петровна или доверилась младшей дочери как аббат Фарियो Дантесу — она и сама не знает... Случилось это несколько лет назад, в день шестилетия ее вдовства. (В прошлое опять, подальше в прошлое... Куда угодно сбежишь, если в настоящем так нестерпимо. Лучше в прошлое, чем под поезд, к платформе Преображенки подползающий...)

...Местком папиной конторы и на этот неюбилейный раз (в провинции радиоактивное облако безжалостного прагматизма накрыло еще не всех) хлопотал о дребезжащем (стыдно, стыдно замечать такие мелочи!) автобусе, чтобы родственники и коллеги покойного главного инженера, чей портрет заслуженно висит в заводском музее, могли помянуть его столовскими рыбными пирогами и ритуальной стопкой прямо на кладбище. Из москвичей выбралась на пару дней только Клава: после бестолковых и оттого долгих телефонных переговоров с бабушкой было решено не срывать с лекций первокурсницу-внучку и Костю в Станфорд отпустить — его пригласил бывший студент, подозрительно щедро посуливший золотые горы в стране равных для всех возможностей. (В начале девяностых даже более искушенные прагматики хватались и не за такие обсахаренные соло-

минки. На редкость бессмысленной вышла поездка. Если, конечно, не засчитывать в плюс обидный жизненный опыт и новые мысли, которые всегда приходят в путешествиях.)

Сражение с наворачивающимися слезами началось уже днем, как только поминальное шествие свернуло с главной аллеи на узкую тропу и издалека, из-за спины нового главного инженера на Клаву выскочило не улыбочное папино лицо, занимающее всю верхнюю треть гранитной стелы (строгий взгляд не отпускал ее и потом, в Москве). Замдиректора, а за ним и остальные со знанием дела — в провинции все садоводы — стали восхищаться цветочным ковром ручной работы из стрелчатых георгинов, махровых гладиолусов, из астр всех оттенков сиреневого, укрывающих родную могилу — мама ухаживала за ней почти как за квартирой, где уборка проводится каждую пятницу несмотря ни на какие обстоятельства, а если радикулит разбил, так буквально на карачках. (Сравнение с домом жестокое, но точное — всякий раз у оградки Елизавета Петровна бесслезно, буднично напоминала: «Меня вот тут, возле папы нашего положите».)

Но и тогда расплакаться было нельзя: дрожащим голоском мямлить тост перед первым поминальным глотком — очень уж отдает театральщиной, мелодраматизмом. (Вообще, громкий смех, видимые слезы, истерика, то есть непосредственная реакция на целенаправленное, да хоть и случайное, вторжение внешнего мира — это как пена на варенье, лучше ее незаметно снять, чтобы не испортить чистый продукт горя-счастья.) А выступать придется несмотря на нелюбовь говорить при всех интимности: от дежурных комплиментарных речей Клаве делалось стыдно за других, у самой же язык не поворачивался произносить банальности. И еще — слишком часто она наблюдала (или догадывалась по неуместному и раздражающему шепоту) борьбу за право выделиться на поминках, то есть отметиться в очереди хотя бы на моральное наследство покойного.

(Кстати, очереди эти... На скольких очевидцах фатально, после многочасового стояния заканчивались и рыбные, и мясные консервы, стиральный порошок «Дарья» и туалетная бумага без названия, хлеб-молоко-масло, сапоги-колготки-трусы — вот они, этапы большого исторического пути, формировавшие идущих. Дети наши этого уже не знают, взрослые сами постарались забыть, да и природа помогла, как стирает она из памяти родовые, непереносимые муки. А старики... старики и сейчас добровольно топчутся на пустой площадке около метро в ожидании цистерны с молоком разбав-

ленным, и не столько из-за его дешевизны, сколько от нищего одиночества, в котором проще всего винить новую власть и всех инородцев скопом. Редко кто за них заступается.)

Обычно выступательную повинность в семье Калистратовых нес Костя, профессионально натренированный лекциями в университетах, научными конференциями и прочими публичными спичами. Но как-то на мамин день рождения Клава приехала одна, оторвав себя от Дуни-Кости, и из-за того, что о них все время думала, на торжественном ужине просто не сообразила взять слово. Упрек-намеки последовал не сразу, но прозвучал куда как внятно: в купе фирменного поезда, провожая дочь в Москву, Елизавета Петровна сделала скорбную добавку к устному завещанию, которое она начала проговаривать после смерти мужа: «На моих поминках ты уж потрудишься изречь что-нибудь: что ж я, за всю жизнь доброго слова от дочери не заслужила?»

Это «потрудишься» как будто переключило сознание Клавы, столкнуло ее мысли с наезженной дороги на ярмарку тшеславия к несуетному началу всего хоть мало-мальски стоящего — к труду, без которого невозможно сказать о человеке нечто лестное и в то же время честное, правдивое. С тех пор она взяла за правило как следует потрудиться и найти свои слова даже для рядового застолья (иногда свежие пробивались наружу только к концу вечеринки), а если случались повторы, проскакивали чужие, готовые словосочетания, она, отругав себя (мысленно или вслух) за халтуру, задумывалась, не истощились ли запасы обоюдного тяготения, какими делами можно и нужно их пополнить и только много позже сообразила, что не стоит приглашать гостей, если вместе собирается хотя бы два «не хочется» — лень продумывать неизбежный тост (Макар на ее сорокалетии недавно отличился: «Выпьем за то, чтобы имениннице не стало скучно с Костей», — сказал, соком чокаясь) и не тянет изобретать, с какой начинкой на этот раз пирожки печь.

С кладбища ехали притихшие, каждый думал о своем. Клава — о живом папе. Они ведь так ни разу и не поговорили как взрослые. Ей, уже матери старшеклассницы, и в голову не приходило стать с ним на равных. Конечно, то было следствием привитого при рождении, рефлекторного почти, уважения... Но если присмотреться, то подчиненно-детское отношение к немолодым родителям — это же чистый эгоизм, не что иное, как готовность требовать и принимать бытовую помощь, деловые советы, душевную поддержку, ничем не озабочиваясь в ответ, ничего даже не намереваясь платить за это. Так потребительски многие относятся

к Богу, но у Него паства большая и разная, всякой твари по паре. А кровные отцы — смертны.

Стоило еще чуть-чуть продолжить самобичевание, и брызнули бы слезы, но вот уже все сидят за домашним столом, и снова плакать нельзя, а нужно встать и сказать что-то такое, что поддержит маму в ее старании не растерять тех, на кого покойный муж разборчиво, мудро тратил свою душу (выбор сделан безошибочно, раз они все звонят, навещают вдову, подбрасывают ей то путевку в профилакторий, то деньги — сотню-другую, никогда не лишнюю, то — совсем уж похоже на родственную заботу — машину удобрений для сада или мешок сахарного песка для варенья как раз в год сахарного дефицита и немыслимого урожая черной смородины). Конечно, трудно придумать что-то менее надежное для хранения, чем человек, тем более что квитанции о получении частички души не выпишешь (впрочем, что толку от заверенных печатью и подписью гербовых бумаг — видали мы, как лопаются самые солидные банки), но свои цепочки из этого ненадежного материала строит всякий, сознавая или нет, не имеет значения, ведь конец каждой, длинной иногда в несколько поколений, венчает творец (со строчной буквы), который в искусстве, в любом его бессмертном жанре, дает осязаемую плоть памяти о тех, кто щедро, нерасчетливо тратил свою душу — так по кочкам, порой проваливающимся от тяжести на них наступившего, выбирается человек из болота на земную твердь и спасается.

«...В стужу папа часто натирал мне озябшие пальцы всегда теплыми, всегда сильными своими руками, а потом еще и отдавал свои нагретые перчатки — и только теперь я понимаю, что всю жизнь он беззаветно пытался защититить от холода жизни всех, кого любил. Давайте и мы постараемся, чтобы наша память подольше укрывала его от холода забвения».

Клава надумала эти слова по дороге домой... да, именно по дороге в родительский дом... Большую половину жизни она уже жила в Москве, но все еще не перетянула туда это не материальное, а душевное понятие «дом», хотя... На столчных холмах мысли о маме не причиняли уже боли, а в родном городе, на улице Карла Либкнехта (в провинции не избавились от революционных ярлыков, улица Розы Люксембург тоже осталась после всяческих формальных и неформальных референдумов — опрашивали тех, кто не захотел ничего менять) о Косте и Дуне думалось беспечально, то есть установилось равновесие — хотя бы из двух жизненных углов не выглядывала угроза душевному спокойствию.

Поминальное застолье начало редеть часам к восьми ве-

чера — у пожилых людей долго не засиживаются. В прихожей, бывшей просторной до тех пор, пока туда не отправили в отставку холодильник «ЗИЛ», купленный по блату еще в шестьдесят первом и теперь как бы подрабатывающий на пенсии, Клаву приобнял замдиректора, папин ровесник и, продолжая то ли свои думы, то ли прерванный разговор, обреченно попенял:

— Теперь все, кому не лень, особенно у вас, в Москве, «трудоголиками» себя величают. Слово-то выискали какое, меня от него передергивает — так и шибает в нос враньем. Мы вот по шестнадцать часов в сутки работали, да без выходящих, да по ночам... Не помышляли даже, что как-то по-другому может быть. Семьи нас почти и не видели, а какие крепкие были... — И добавил, сбиваясь на стандартную лесть (мало кто умеет находить неизбитые слова, чтобы похвалить человека в лицо): — Возьмите хоть Елизавету Петровну с Ильей Михайловичем! Идеальная семья!

Мамины губы раздвинула счастливая, довольная улыбка (сильный недохвал, сопровождавший ее всю жизнь, еще как сказывается в старости: научаешься впитывать даже те капли доброты, которые так и норовят проскользнуть мимо, по касательной), и она, устыдившись самодовольства, засуетилась, бормоча:

— Погодите, погодите-ка! Гостинцы-то... Забыла...

Клава не пошла за ней на кухню, а осталась в прихожей, но и не видя маму, знала, что та сейчас заволошно ищет в висячем шкафу пустые картонки из-под сахара-рафинада или из-под заграничных необыкновенностей, привезенных дочерью год, два, а то и три тому назад: всякая всячина в необычной коробке становилась претенденткой сперва на подарок старшей дочери, потом старшей внучке, совсем недавно — уже и правнучке, и после миролюбивых, без агрессивности, пререканий («для них у меня тоже есть, это только тебе») в конкурс на обладание лакомствами включались посторонние (дальние родственники, близкие приятельницы, врачи разных специальностей — увы, дошло и до онкологов), и нередко заканчивалось тем, что презенты скрывались в дебрях квартиры безадресно, до востребования. Процедура бережливо-щедрого передаривания привилась и Клаве, и у нее на первом месте была собственная дочь, потом мама, потом... в общем, та же самая последовательность, ничего нового. Чувствуя в этом этическую червоточину, Клава бездумно шла по материнскому пути до тех пор, пока в школьные каникулы Дуня не развернула за бабушкиным столом красный квадратик швейцарского «Фригора», пролежавшего в глубине стеного

шкафа пару лет, и чуть не отправила в рот шоколадку с белым червячком, живым. «Я не вскрикнула, — отчиталась дочка уже в Москве, — а потихоньку потом выкрала коробку и выбросила в городе, чтобы бабушку не расстраивать».

Пока Елизавета Петровна тесно укладывала в запасенную тару свою стряпню для чад и домочадцев каждого гостя — ни разу не случилось, чтобы на гостинцы не хватило еды, — неловкое молчание-топтание в прихожей нарушил своим неуместно-публицистическим монологом старший зять:

— Москвичи, они такие — все себе присваивают, оброка натурой теперь им мало, стали из нас и деньги уже выкачивать... Жируют на краденое, да еще пир свой нахально так по телеку демонстрируют... Чтобы наши богатеи пример с них брали. — Виталий говорил устало, не в сердцах — так после пережевывания косточек выносят predetermined приговор, и новые, пусть и противоречащие ему факты уже не рассматривают. Невсеохватный ум — неприятный диагноз, кто ж с ним смирится. Вот Виталий и роптал. — У нас многие готовы уже атомную бомбу на Москву бросить — чтоб раз и навсегда покончить с этой заразой.

Молчание. Знак согласия? Только не Клавино молчание. Не может она сейчас спорить. От силы или от слабости? Реальный ядерный чемоданчик все равно не окажется в руках сердитого зятя, а на гипотетическом пусть сколько угодно злость свою срывает — может, после этого утихомирится и к теще подберет. Может быть... Если бы он хотел понять, что на самом деле происходит в стране, а не силился заклеить то, что и вправду творится, если бы за своими собственными одеждой, лицом, душой и мыслями следил так же ревниво-ревностно, как за президентскими, министерскими, депутатскими, олигарховыми, если бы свои рецепты преобразований и консерваций испытывал сперва на себе и только после давал бы отчаянные (безответственные) рекомендации глобального масштаба... Но это был бы уже не среднестатистический Виталий со всеми его агрессивными закидонами, а еще более скучная ходячая добродетель, какие конструируют для второразрядных фантастических ужасиков. Так что лучше, благоразумнее промолчать.

А Елизавета Петровна не удержалась от комментария, но, как любой человек, не сильный в полемике и потому не терпящий возражений, выдала его задним числом, когда все гости уже разошлись и они с Клавой остались вдвоем.

— Он всегда так, всегда скажет что-нибудь неприятное, а я потом переживаю, уснуть не могу. Недавно при своей матери заявил, что дома его — не кормят... Татьяна, конеч-

но, не ангел, не переняла у меня ловкость, не то что ты, но на одну свою зарплату — что она может, ему ведь месяцами не платят... Сам-то... Или я тебе про это уже говорила?

Клава угрюмо кивнула и сосредоточилась, чтобы, вытирая, не повредить хрупкую зеленую чашку с целующимися пастушкой и пастушком — уже стерлись бантики губ у влюбленных, время отполировало шербинку на выгнутой ручке, но эта связь с детством была еще жива.

— Умру, возьми ее себе. Кузнецовский фарфор, все, что от фамильного сервиза сохранилось. — Напомнив о ценности оставляемого наследства, Елизавета Петровна села на табуретку и принялась растирать онемевшую левую руку, все же прямо держа свою спину: осанка — один из последних оборонительных редутов перед дряхлостью. — В самые голодные годы у нас в семье накрывали на обед по всем правилам — скатерть всегда свежая и не перекошенная при глажке, вилки, ножи, ложки — чайные, десертные и для супа, все из одного набора, а в тарелках — только лужица манной каши, на воде. Я ведь даже папе нашему так и не собралась признаться, что бабушка моя была из дворян. Не за себя боялась — молчала, чтобы ему не навредить, лишней тайной его не обременять. Завод-то секретный. Ты смотри, Виталию не проговорись, мало ли как все еще повернется, от Ельцина этого так и ждешь...

Из дворян... До сих пор скрывала... Только ведь получилось, что тем самым нечто ценное и бесспорное вычеркнула мама из нашей общей жизни, благородство устранила... Лишила семью истории... Позыв был — сию минуту бежать — на поезде, на самолете, да и пешком до Москвы топтать лучше, чем продолжать облучаться семейным страхом, скрытностью, трусостью. Но детское безответственное бегство уже было: в зимние каникулы первого курса, пригвоздив родителей к месту (на диване они сидели) за мещанство (какой житейский пустяк ее возмутил — и не вспомнить теперь), Клава демонстративно побросала в чемодан кофты-юбки и на сутки раньше умчалась на вокзал. У касс тогда нервничали очереди, билет обменять было невозможно — часа два промаялась на жесткой скамейке без спинки, пока Татьяна, жена-мироносица, не приехала и не сняла ее с этого неудобного насеста. Тогда помирились.

Позже боль от неизбежных поколенческих конфликтов (ссора — это же высокая температура, сигнализирующая, что семейный организм не подчиняется, а борется с болезнью, с распадом) изживалась крепким долгим сном — не зря считается, что время — лучший лекарь, особенно хорошее

ночное время. Но после такого шока уснуть не получилось. Маме-то еще можно найти оправдание — отца оберегала. А он, почему он не выспросил ее, не вытянул на свет божий облегчающую душу правду?

В беспощадной темноте и тишине — ни то ни другое не только вместе, но и по отдельности в столице не случается — стала отчетливо видна детская глупость этих, слава богу, не заданных, даже не вопросов, а прямо-таки обвинений. Сама-то она как умудрилась ничего этого не знать, ей ведь и в голову не приходило маму как следует расспросить, понаблюдать за ней. Слепая была...

Что винить родителей, они всего лишь пассивные ретрансляторы исторического страха, источник которого был совсем в другом месте. Был? Может быть, по сю пору есть? В ней самой-то уж точно. Не такой сильный, как в маме, но до самых близких эти невидимые лучи с остатками пагубной, разрушительной силы, конечно, дотягиваются.

Вернувшись тогда в Москву (Макар только что стал свежим начальником и еще не позвал к себе Клаву), она очутилась в доме одна: Костя в Америке, Дуня на лекциях. Ее тревога, пытаюсь одиночеством (вот она, обратная сторона счастливой семейной жизни, для женщины уж точно, — атрофируется привычка к одиночеству, а ведь навык этот в утробе матери выдается всякому, кроме двойняшек-тройняшек), стала неуправляемо, неконтролируемо набирать силу, цепенящий ужас охватил ее, ужас из много раз будившего сна: как будто она болтается в космосе — то ли страховочный лить, с кораблем соединяющий, порвался, то ли центробежная сила переборола притяжение земли и выбросила ее во Вселенную. За кого ухватиться? Позвонить кому? Макару-Варе? Но чтобы набрать номер, нужна энергия (не мускульная, кнопки нажимать, а для того, что после, ну как шариковую ручку бывает писателю поднять тяжелее, чем спортсмену рекордную штангу), а силы-то все ушли на борьбу со страхом. (Все мы избалованы. Считаем мукой простую и чистую грусть, первичную форму духовности. Это и притягивает настоящие беды — злобу, насилие, болезни близких, фатальные потери.)

Телефон пискнул сам. Женский голос с иностранным акцентом (въевшимся, как копоть на алюминиевой кастрюле, как чернота, которую отскоблить ни разу и не пытались) даже не приглашал, а просто извещал — равнодушно к результату — «мсье Калистратофф» о сегодняшнем приеме во фран-

цузском посольстве по случаю приезда известного правоведа из Сорбонны. Спасибо, мсье в отъезде. Не успела Клава пожалеть, что Кости нет, снова звонок — и то же сопрано, и тот же текст, только теперь для «мадам Калистратофф». Барышне — а голос молодой, но тусклый — до фени, по барабану (знает, знает она сии изысканные выражения, легко иностранцы грубости простые выучивают), что она звонит по одному номеру дважды. Неполиткорректная, несправедливая мысль — какие же тупые они, эти французы, — как камешек перед катящимся к пропасти мячом, столкнула скорбные, трагические морщины с Клавиного лба, раздвинула горькую складку в углах рта, и она решила: что ж, пойду!

Сразу стали важны пустяки, которые еще пять минут назад было бы не разглядеть с высоты ее эстетически красиво — чистая правда (ха, нечистая — она уже не называется правдой, вот как тут все просто) — философского страдания. (Какой-нибудь прагматик, хоть и Макар, чего доброго, обзовет эту грусть бабьей дурью — а как иначе, скажет, ведь все живы-здоровы, финансовых потерь вроде никаких, муж не бросил, а наоборот, доллары для семьи зарабатывает... — ну и пусть живет себе в плоском арифметическом мире, где радость и страдание складываются, как плюс и минус, и получается... правильно, ноль получается, ничто, nihil, пустота-простота... скучно на том свете, господа!)

Куда идет женщина, когда ей надо получше рассмотреть мир? К зеркалу. Так, волосы, пожалуй, вымыть, и в ванне заодно полежать (хотя душ после поезда, конечно, принимала) — не чистоты ради, а обновляющего расслабления для. Платье надеть или брюки?... Клава попримеривала и то, и другое, и третье, будто раму подбирала к сегодняшнему лицу: нужно, чтобы картина слилась с обрамлением (бывает, рисуют и так, что изображение захватывает, выплескивается на оправу). Правила есть какие-то — эффектная одежда обращает внимание сама на себя, а безупречная — на своего носителя. В Клавином случае двоичная, арифметическая система опять не годилась: самодостаточной, несуетящейся она могла чувствовать себя и в стройнящем английском костюме (английском по фасону и буквально купленном в Хэмпшире — хорошая была поездка, и костюм под стать ей, надеваешь, и он, как витамин, подпитывает, удерживает воспоминания, не давая потоку жизни вымыть их из сознания), и в связанном ею самой черно-сиреневом платье, орнамент для которого она подсмотрела на выставке Любови Петровой, в ЦДХ — ткань с таким рисунком спускалась широкой полосой с высокого потолка до пола, как парус, под которым плывут с победного сражения.

Теперь с помадой бы не ошибиться... (Если платок или шарф с розово-красно-малиновыми вкраплениями надеваешь, то выбора, по счастью, не дано — один из имеющихся тюбиков и подходит, а вот без цветовой подсказки подобрать труднее, промахи случались. Но и они не страшны, ведь правильное внутреннее состояние дает красоте большой запас прочности, и она может преодолеть даже безвкусицу.)

Понятное беспокойство, волнение — впервые все-таки не за визой, а на прием в посольство шла — улетучилось уже возле лестницы, в закутке, похожем на учительскую раздевалку под присмотром офраченного седоволосого спортсмена (на физкультурника школьного очень смахивал) с непроницаемым лицом. Русский или француз, тоже непонятно — ни слова не проронил, пока Клава снимала пальто и шляпу под одинаково ревнивыми взглядами и хорошо, и шапочно, и только по телевизору знакомых коллег, вслух или безмолвно спрашивающих: «Ты-то (вы-то, она-то) как сюда попала?» Чем такая, детская почти, непосредственность, лучше уж вышколенная отстраненность охранника — он выучился, а им, научно остепененным, трудно, что ли, скрывать первобытную зависть...

Многоточие, а не вопросительный знак... Но для Клавы этот вопрос не был риторическим — несмотря на свою давнюю взрослость («взрослые — это те, у кого есть дети», — справедливо заметила еще в младенчестве Дуня, сейчас она уже студентка), она продолжала, заметив чью-нибудь низость — совсем не обязательно обращенную на нее, — удивляться и теряться.

Глупо, конечно, но не разумнее и возмущаться, осуждать то, что от тебя не зависит, на что ты повлиять, что изменить ну никак не можешь. Понаблюдайте: сильное, вырывающееся из человека негодование на поступки, поведение другого частенько возникает из-за резонанса с подобным в себе, и притом не самым лучшим, в чем и признаваться-то не хочется. Агрессивность — знак того, что ты не в силах жить в безграничном, меняющемся, прекрасном и жестоком мире, космическом, если без шуток, а просто хочешь огородить вокруг себя уютненькое пространство, выпихивая взглядом, словом, жестом посторонних, мешающих тебе. В результате превращаешься в злую собаку, то есть в охранника, а не владельца бывшей твоей территории, и остаешься совсем один. Посмотри, сколько кругом злобных стариков и старух — бедняги...

Чуть подумать-понаблюдать, и про каждого почти станет ясно, как тот оказался на приеме ли, на симпозиуме в Париже-Женева-Лондоне — везде, куда зовут некомпетентные иностранцы. Впрочем, зачем клеймить? Житейская компетентность не менее важна, чем научная. Так что достаточно бывает дружбы или чем-то обязывающего знакомства с приглашающим клерком, и, делая доклад на конференции по «актуальной литературе», можешь, не краснея, признаваться, что вообще-то современную прозу не читаешь. А чтоб список званных утвердили тамошние чиновники, включают в него наших чинуш, то есть кресло приглашают, а кто в нем сидит, все равно (теперь, правда, бывают начальники и знающие, и порядочные). Это правило, но и исключения, конечно, случаются. Автором Клавиной карточки с вытисненным гербом — и слепой поймет, что бумага солидная, — был атташе, который лет десять тому назад отыскал Костю, чтобы проконсультироваться по своей диссертации, оказался научным единомышленником, что и тогда, и теперь большая редкость — с тех пор дружили семейно, а его вдруг позвали поработать в Москве.

За аперитивом — официанты разносили хеннеси-соководу-шампанское (брют, конечно, — это в России уже изобрели «полусладкое» и «сладкое», от которого потом голова трещит), все в равномерных сосудах, Клава выбрала стопку с коньяком, чтобы улетучившееся волнение не вернулось. Человек пять, как будто сговорившись, спросили, где Костя. По неопытности она отвечала подробно и откровенно (это так неразумно: усвоят, что Калистратов по заграницам разъезжает, и перестанут приглашать на важные встречи здесь, в столице нашей жизни).

Вокруг Клавы собралась группка, разговор был то общим, то разветвлялся, и непонятно, как вышло, что она одна слушает подробный, несуетливый, ни с чем тут не связанный монолог о рыбалке, звучащий из уст довольно известного (причем не поверхностно-телевизионно, а глубинно, подводно) юриста К. Нерлина, ей пока никем не представленного. Не из вежливости слушает, а потому что интересно, и меньше всего внимание ее питают технические аспекты описываемой забавы. (Сама Клава рыбалила один раз, в детстве — папа, полюбив сидеть с удочкой в звенящей комарами тишине, взял младшую дочь с собой, но ей понравилась только тишина: комары кусали, клева не было, спать хотелось... Да и отец уже следующим летом не вынимал из чулана рыболовные снасти, которыми все равно ни разу не наловил даже на уху средней наваристости.)

По нескольким деталям нерлинской новеллы и ей, профану, стало понятно, что автор — профессионал, настоящий знаток всего, что касается рыбной ловли, от выбора места и снасти до разделки тушки в быстром проточном ручье, мгновенно уносящем потроха, кровь, слизь, запах — все неприятное, что сопутствует любой победе. И это не главное — рассказывая, он будто кидал сеть, забрасывал не наугад, а предвидя, зная даже, кто туда попадет и нужен ли ему такой улов... Как у него это получалось — непонятно, ведь слепота его, результат дорожной аварии двадцатилетней давности, недвусмысленно заявляла о себе непрозрачными черными очками. А что, кроме видимого, могло держать его возле Клавы, сумевшей вставить в его речь лишь пару фраз, из вежливости, чтобы как-то сигнализировать, что она тут и ей интересно? Или он такой чувствительный, что ауру человека мгновенно распознает?..

— Дельце у нас наклевывается общее, кажется? — Невслышно подошедший Макар взял Нерлина под локоть и повлек его к окну.

Бесцеремонно по отношению к Клаве поступил. На правах друга с большим стажем, наверное, — она тут же мысленно оправдала его, но ссадинка осталась. Поцарапала не неучливость Макара, а обрыв невидимой другим связи, что возникла между ней и Нерлиным. Который, наверно, ничего и не заметил?

Наконец броуновское движение присутствующих персон и персонок сменилось статической картиной. Все устали на посла, вошедшего не из парадных, а из боковых дверей и позвавшего к трапезе. У входа в столовую официант приближал к лицу каждого поднос, на котором вокруг овала, повторяющего контур столешницы, лежали карточки с именами гостей и хозяев. Клава сообразила, что так помогают найти свое место за большим столом, но хватательный инстинкт сработал, и она взялась за свою картонку. Привыкший к этому официант неизбежно остановил ее руку — схему-то нарушать нельзя.

Нерлина посадили справа от жены посла (вульгарно обозвать ее «послихой» даже про себя язык не поворачивался — так та была эстетически оформлена и доброжелательна), Клаву — по левую руку сидящего слева от посольши (так изящнее?) правоведа из Сорбонны (самая неудобная диспозиция для восстановления разговорной связи с Нерлиным). Госты речи, еда с незнакомыми названиями и вкусовыми ощущениями... Неуютно было оттого, что за спиной правоведа и почти вплотную к Клаве, без тарелок-рюмок, сидел его пере-

водчик — ну как жевать при человеке, которого не кормят? Буквально кусок в горло не лез от такого недемократизма, хоть и неизбежного: с набитым ртом не напереводишься.

Ужин закончился, и всех позвали в залу с креслами, диванами и письменным двухтумбовым столом, на котором не с боков, а по центру были расставлены фотографии в серебряных рамках, семейные (посольша с детьми, с мужем и без) и служебные (посол вручает верительные грамоты Ельцину, встречается с научно-культурной элитой — Клава разглядела черные очки Нерлина на одном групповом снимке). Теперь официанты разносили кофе-чай с разными ликерами. Посол, переходя от одного гостя к другому, застрял возле Клавы: они оба с азартным удовольствием вспоминали Цюрих, Швейцарию, где будущий дипломат провел школьные годы, а у Клавы это была ее первая заграница.

«Не обманывайтесь любезностью и вниманием посла — они ничего не стоят», — предупредил, прощаясь, приятель-атташе. Клава подумала, что в двоичной системе (есть материальновыраженный прок — или же нет его) он прав, но куда деть окрыленность, ощущение собственной женской привлекательности, которое искушенный и сдержанный мужчина (да еще главный на этом ристалище) подтвердил и подпитал своим открыто продемонстрированным вниманием... Как смешны, жалко смешны женщины, раз и навсегда убедившие себя, что они красавицы, и записавшие всех, кто этого не признает, в армию либо дураков, либо своих врагов. Полчище это со временем, переубедить которое женской логике не под силу, вырастает до немислимых размеров и уже совсем не ценит такой трофей, как внимание бывшей красавицы.

Но все эти воспоминания, все эти метания памяти в поисках причины (причины насилия и причины подчинения) — слишком маленькая прогалина в небе, затянутом грозвыми тучами. Спрятаться от стихии... Подбитый зверь бессознательно ползет в свою берлогу, так и Клава после стыдного (может статься, и убийственного) унижения сомнамбулически пересела в метро на свою линию, на своей станции пошла к правильному выходу (первый вагон от центра), в подземном переходе повернула направо, по левой лестнице выбралась на уже темный бульвар, дошагала до своего — не перепутала! — подъезда (они все такие одинаковые тогда были у трех семнадцатизэтажек их безымянного проулка) и очутилась дома. Будь она настоящей, стопро-

центной женщиной (у таких витальная сила любую ситуацию вгоняет в свой угол зрения: я — хорошая, а он, она, они — плохие), то еще по пути к дому открестилась бы от приключившейся мерзости юридическим термином «иснасилование» и спихнула бы моральную тяжесть со своих плеч. Обычно такое выкладывают ближайшей подруге (разрушительные последствия чего со всеми мыслимыми, а чаще всего немислимыми, фантастическими поворотами и идиотически-глупыми подробностями инвентаризованы в романах и разыграны в мыльных операх), но Клавиным-то конфидентом был только Костя — всегда, с тех пор как они вместе. Он — выдержит? С эгоизмом, по-детски не осознаваемым, она даже не подумала, что случившееся касается их обоих, мужчины и женщины. Да и откуда взяться таким мыслям: ведь природная связь между ней и Костей ни разу не только не рвалась, но даже и не натягивалась — с чего бы задумываться, а тем более сомневаться в ее крепости и надежности?

Рассказать все Косте?.. Но каково ему будет жить с этим знанием в одном профессиональном мирке с Макаром? Куда деться? В узкой сфере, в давке аудиторского бизнеса им вдвоем не разминуться... Для Макара же карьера — стержень, главный вкус его бытия, он заранее встанет в бойцовскую позу и победит партнера-соперника (у него именно так, каждый ближний двулик), и от натуги не вспотеет — целеустремленность с легкостью берет верх над широтой на коротком отрезке времени, именуемом физической жизнью человека (о вечной жизни души тут и помина нет).

Рассуждай — не рассуждай... Ничего Косте не рассказывать (именно «не рассказывать», слова «не признаваться» или «скрывать» огрубят, опощлят и без того паршивую ситуацию и, главное, будут неправдой) — к этому приговорила себя Клава, как только за ней захлопнулась дверь Макарова подъезда, и теперь ее ум работал вхолостую — никакие самые неожиданные, самые убедительные доводы не изменят уже ничего.

В одиночку нужно выбираться из житейского ада, и карабкаться приходится как можно скорее, пока эмоции не столкнули жертву в метафизический ад, выдуманный. Настоящий ад — это когда кто-то близкий умер, ведь небезразличная тебе смерть, даже сам страх такой смерти приоткрывают страдающему возможность физически, чувственно ощутить присутствие невидимого мира. Со своей смертью человек тоже остается один на один, но все-таки, если держать умирающего за руку, то хотя бы на мгновение (кто зна-

ет, сколько оно продлится!) можно пересилить тягу бесспорного — для нас, христиан, — зла.

Вот и нашлось, за что зацепиться, чтоб не ухнуть в пропасть. Ради Кости перетерпеть. Уже терпела, когда целую ночь извивалась на больничной кушетке, ища позу, которая поможет переносить пытку родовых схваток, и обрела — молитвенную: на коленях, лоб упирается в жесткость лежанки, в пятки — попа (не душа еще, не душа), а губы бормочут до-модельную молитву-обещание: «Ради тебя вынесу, не умру, и еще рожу пятерых мальчиков-девочек». (Обещалось с разбега, от безответственной ситуативной щедрости... Тот, кто слышал, потом не напомнил — так и трясутся они над единственной дочкой.) Но то была телесная боль, разве ж сравнить ее с теперешней, от которой мозжит каждую жилку, хоть лоб в кровь расшиби — не утихает ни на секунду.

Поворот Клавиного ключа Костя не услышал — за закрытой дверью своего кабинета он сосредоточился перед раскрытым сундучком ноутбука в состоянии «жареный петух клюет», то есть когда текст обещано сдать еще вчера. Самый привычный (эгоистический, если уж честно) способ сконцентрировать энергию — работодателя, окружающих и свою. Прервался, когда его нервная, с большим стажем язва запросила привычной ласки (бутерброда и чашку свежесваренного некрепкого дарджилинга, например), и по пути на кухню через дверное матовое стекло заметил беззвучное мерцание телеэкрана в Клавиной комнате. (Хм, Клавиной! Кроме персонального, ее собственного письменного стола — все общее: и кровать двуспальная, и единственные удобные сидалища — два кресла мягких, и сама хозяйка, магнит попритягательней простейших удобств.) Жена сидит на своем ложе, мокрые волосы наплакали целое пятно на ночную рубашку — влажная ткань облепила грудь. Присмотрелся. Почему-то ничего не делает, даже не вяжет, как обычно.

— Что, совсем довели? — спросил он походя, по привычке давая знак, что они вместе. Хотя он и очень занят. — Учись сопротивляться. Нельзя же все время позволять себя насиловать...

Рефлекторные слова с банальной метафорой, употребившейся столько раз, что буквальный смысл ее, казалось бы, давно затерт, уничтожен. И вдруг...

— Это ты, ты мне советуешь?! — вскрикнула Клава. Успела все-таки спрыгнуть с материка их общей двадцатилетней жизни (чтобы эмоциональный взрыв не разнес и ее в клочья) на льдинку, где и понарошке, и взаправду схлестывались их амбиции, и понеслось: — Я же именно твоя жертва!

Забыл, с чего все началось? Когда еще самую первую твою статью нужно было сдавать в журнал. Я считала само собой разумеющимся встать в два ночи, кофе сварить для любимого мужа, отдаться ему — не дежурно, а вдохновляюще, чтобы гордость собой — или самодовольство? — перешли в уверенность, веру не только в мужскую, но и интеллектуальную силу — и приняться вдвоем за текст. Я, как загипнотизированная, служила и прислуживала — только сейчас подташничать стало. В мыслях не мелькнуло, что может быть по-другому. Откуда было сопротивлению твоему научиться? Ты же принимал мою жертву как должное, за которое тебе ничем не придется мне платить...

Уже в середине гневной жалобы, а именно на бесстыдном «отдаться вдохновляюще», Костя не устоял на месте (дверной косяк как будто сам отказался его поддерживать) и от ужаса, от срама заметался по комнате, натыкаясь на все острые и тупые углы и не чувствуя ударов. Все так и было... Все — чистая правда... И ничего уже не исправить? Нет, нет... Что-то же он делал... На звание альтруиста он никогда и не посягал, но какая-то самоотверженность с его стороны тоже случалась, и, положа руку на сердце, была она выше среднестатистического мужского уровня. Где-то внутри незнакомо кольнуло, и он опустил в кресло. Конечно, она преувеличивает... Спорить сейчас — лишь поднимать мусть несправедливости со дна ее души. Опасно, когда человека начинает желчью рвать. Она же сама советовала в такие минуты никакой объективностью не тыкать в глаза, а просто утешить, отвлечь.

Но и Клава спохватилась, очнулась, как только вскинула голову, сбрасывая с глаз мешающую видеть прядь волос: муж с чужим побелевшим лицом не смотрел на нее... Бессловесная мужская истерика... Стало непривычно жутко... Вскочив с постели, бросилась к своей жертве, прижала его голову к своей груди, облепленной мокрой уже и от слез рубашкой, и зачатила, заговаривая его боль:

— Сердце давит? Ну скажи что-нибудь... Не молчи... Господи, что на меня нашло? — (И вправду забыла, что.) — Прости идиотку!

Костя как будто враз и онемел, и оглох... Но не парализовало же его?

Нет. Послушно держась за Клавину руку, он поплелся за ней на кухню. Запнулся о выбоину в паркетной доске (нужно еще раз попробовать «моментом» приклеить), но добрался до углового диванчика и сел на свое обычное место за завтраком-обедом-ужином. Молча следил, как из иконостаса разных чаев, освящающих кухню с висячего шкафчика,

Клава выбрала зеленый жестяной куб «айриш ти», который, как матрешку, он тут же мысленно вставил в знаменитый «Фортнум энд Мейсон», декор многих английских романов; потом в Пиккадилли, вот уже два века держащей в себе этот магазин-музей, потом в Лондон, в Англию... Полгода назад им вдвоем (он думал — обоим одинаково) было там хорошо, покойно...

Вывести из ступора может многое, сейчас соломинкой стал заваренный как надо чай, знакомый вкус из прошлого.

— Почему именно сейчас? — смотря Клаве прямо в глаза, спросил он.

Ждет... Чего? Правды или успокоения?.. Обмануть его нетрудно, он сам обманываться рад... Услужливая память мгновенно выхватила подставной предлог, и Клава раздвоилась — будто кто-то другой сосредоточенно вспоминал, как с подругой (откуда взялась? нет у нее подруг...) после служебной пирушки заехали в Музей кино, на «Газовый свет» с Ингрид Бергман.

— Кажется, это я... — Клава снова стала сама собой, двойник исчез, — я облучена семейным рабством, это мне внушили, что жизнь — замкнутая камера без выхода, и помочь некому. Реальный ночной кошмар, которому никак нельзя подчиняться... Крушить все подряд, только не молчать... Вот я и выговорилась...

БОЛЬ

Те, кто выжил в ленинградскую блокаду, уже после, сильно после, вспоминали, что на то крошечное, нечеловеческое время куда-то делись их привычные, человеческие болячки — язвы там всякие, ревматизмы, нефриты и прочие загрязнители счастливого жизненного фона. Как говорят французы, *comparaison n'est pas raison* (сравнение — не доказательство), но уж очень похоже исчезла, забылась вчерашняя смертельная, казалось, угроза семейной жизни, когда на них навалился настоящий, неопознаваемый враг — Дунина внезапная болезнь.

В первый послепраздничный день на Клавином дубовом служебном столе часа в три тренькнул телефон.

— Мамочкин, я тут в универ не пошла, врача вызвала. 38,7. Чего бы мне принять пока?..

Уговаривая себя — обыкновенная простуда, не бойся! не бойся! — Клава доерзала на своем стуле до конца рабочего дня, до без четверти шесть (ноги не шли к Макару в каби-

нет, чтоб раньше отпроситься). Потом, несчастная, она часов не наблюдала.

Захлебывающийся Дунин кашель заставил ночью схватиться за соломинку «скорой помощи», приехавшей так не скоро, да еще и с упреками.

— Совести у вас, мамаша, нет. Типичный грипп, а вы в такую рань, — (рань? темно же еще...), — людей поднимаете (ночью врачи спят, хоть и на дежурстве, люди ведь, не машины...), — отчитывала Клаву сухопарая молодая врачиха, которую изрядно старила хроническая недоброта. — И не стремно вам так *бесплатную* медицину эксплуатировать!

На это интонационно-курсивное выделение отреагировал Костя, чей страх за дочь питался еще и ощущением полной собственной бесполезности. Он метнулся за кошельком — в кабинет, к столу, к портфелю, к своему плащу, нашел Клавин в ее сумке — и первая купюра (сколько дал, не осознал) упала в оттопыренный карман медицинского халата. С этого момента и начался обильный деньгопад — каждой бумажкой, как свечой в церкви, они оба уговаривали судьбу сжаться над их дитем, и облетел бы весь стратегический запас (возникший после Костиных заграничных лекций только благодаря его полному, тотальному самоограничению), если б в конце концов до них обоих не дошло, что ни купить выздоровление, ни откупиться от рока нельзя.

Но пока был оплачен укол анальгина, сбивший с толку еще на несколько часов.

— Надо бы на рентген, — пробормотала участковая себе под нос, пряча стетоскоп в поношенный, потерявший свой родной цвет ридикуль. — Машина у вас есть? Самой-то ей не дойти...

— Машины своей нет, но мы привезем, — хором прошептали Клава и Костя.

И эта их бестолковая готовность хоть на себе тащить больную дочь, хоть куда тащить, пробила брешь в ороговевшей почти душе старой докторши — а как иначе десятилетиями приходиться в дом к беде, к горю, к убожеству и бедности; да чем угодно будешь защищаться, даже и предсудительным хладнокровием (бойся равнодушных!). Не в строительном материале дело: говорят, якуты сооружали оборонительные стены из заледеневших блоков навоза — доску пуля пробивала, а в них застревала. Но для настоящего лечения-прозрения, как и для настоящего искусства, одного профессионализма, хоть и самого изощренного, мало. Без иррационального соучастия он немногого стоит.

— Не нравится мне верхушка левого легкого. Сегодня

поздно, а завтра с утра на снимок и ко мне. — Порядок требуемых действий продиктовала пробившаяся человечность — обычно врачи ограничиваются закодированными обрывками, которые не расшифровать без специального медицинского образования или без многолетнего пациентского опыта.

Но и второй день был потерян, а счет шел, как потом выяснилось, на часы.

Пока к голенькой, задыхающейся от кашля Дуне прижимали холодный рентгеновский экран — «руки на пояс, локти вперед, повернись левым боком», — к Косте, который маялся перед кабинетом, подседа бледная, тепло и неряшливо, бедно-неряшливо одетая девица.

— Это ваша там так бухает? Везите сейчас же в больницу! Я тоже дома надеялась отлежаться... В результате уже полгода по врачам мыкаюсь. Слабость — не приведи боже, — по-старушечьи всплеснула она сухими, неухоженными руками.

Участковая не была так категорична:

— Можно и дома, вот с Клавдией Ивановной договоритесь — она придет и сделает уколы... Больница? Ну, конечно, если есть хороший врач... А так...

Наверное, поодиночке они сумели бы найти единственно правильное решение в этом стоге-нагромождении сочувственных, почти соболезующих (как жесток бывает перебор жалости!) советов, но вместе... оба струсили, каждый испугался выйти один на один с бедой. Потом, много позже, когда восстановилось парализованное тревогой умение анализировать, соображать сразу, а не задним умом, Клава взяла всю вину на себя, рассмотрев в белом цвете страха многочисленные составляющие его спектра. Бросился в глаза развевающийся над их семейной крепостью амбициозный стяг красного цвета победы, где словно девиз было начертано, что она за мужем как за каменной стеной. (Как будто от мира можно отгородиться. Нельзя. Не нужно. Опасно.) Инстинктивно спряталась за Костю, забыла, сколько лет он убеждался, что она лучше соображает в житейских делах, сама и добивала его, послушавшегося, бабьим «я же говорила».

А сейчас-то что делать? Домой Дуню везти или в районную больницу? В каком месте эта больница? Какие там врачи, условия какие? Вот Елизавета Петровна еще вчера настаивала на стационаре: «Там каждые четыре часа будут эритромицин колоть...» — но кто же слушает провинциальную бабушку... И медсестра — Клавина тезка (вот уж неотразимый довод!), и лекарство прописали дорогое («Хватит у вас денег? — спросила

врачиха. — А то есть отечественный аналог, подешевле»), не чета старинному эритромицину... Ну что нам доводы бедняков всяких... Отдать дитя свое в чужие руки? Сбагрить? Нет, нет и нет! Иррациональному чувству поддались, пылкой родительской любви, и оно, не скорректированное профессиональным, хладнокровным знанием, повело их не туда.

Еще три дня бесполезных (или даже вредных) уколов клафорана, кашель, кашель ночью, тревожное забытье под утро и всякий раз пустая надежда на дрожащий в руках градусник — дважды роняли его, слава богу, на ковер, не разбился! — 38,3, 38,4... если без жаропонижающего.

У Кости заныла давно уже молчавшая язва (экспериментальное доказательство нервного происхождения всех хворей? но тогда Дунин кашель откуда?), и Клава выучилась на нем делать уколы в мышцу ягодичную и в предплечье. Они еще барахтались, но отчаяние то и дело захлестывало их, вцепившихся друг в друга. Сыпавшиеся из телефона вопросы «чем я или мы можем...» были бессильны, не могли вырвать их, коченеющих и уже свыкающихся с этим состоянием, из оцепенения.

Помни: когда хочешь взаправду, по-настоящему помочь, подумай сам, что сделать. Помни: мыслительный процесс ценнее, важнее, нужнее мышечно-двигательного.

Но почему к Варе-то, единственному знакомому врачу, они не кинулись? А просто недооценили опасность, из суеверия недооценили: подумаешь о худшем, и притянешь его, поможешь ему свершиться... И еще: помнилось, что Дуня всегда настороженно относилась к Варе-Макару, из деликатности ничего вслух не говорила, но и сердцу своему не приказывала их любить.

Тем временем Варя, надумав побаловать своих чем-нибудь вкусеньким, без толку проискала в домашнем бедламе записанный на клочке рецепт Клавиных пирожков с капустой и позвонила как-то вечером.

— Я же не знала! Макару-то почему мне ничего не сказал?! — В ее голосе послышалась растерянность кадрового военного, мирно собиравшего в лесу грибы и вдруг очутившегося на опушке, где разгорелся жестокий бой. Но выучка, профессионализм сработали, и она мгновенно принялась подносить снаряды — так и замелькали названия лекарств, которые Клава сразу усаживала в блокнот, не надеясь на свою раннюю память. — И сейчас же чтоб снимок был у меня!.. Так, тэ-бэце, слава богу, нет. Тогда завтра к восьми везите Дуньку ко мне в клинику. Дней за шесть, думаю, справимся — положу к себе в отделение, в двухместную палату, чтоб подешевле вам обошлось. А долечивать дома будете, под моим присмотром...

«Дуньку!» Если б что... так бы по-свойски не назвала... У чужой Евдокии легче обнаружить плохой диагноз, чем у своей Дуньки.

Назавтра Варя усадила в инвалидное кресло с мотором дрожащую от жара и кашля, покорную Дуню (сил на испуг у нее совсем не было) и сама покатила ее к лифту, сердито бормоча на ходу: «Томография, плазморефрез, катетер, капельница, где смогу, договорюсь, чтоб сделали не за деньги, а по бартеру — после отработаю... А вы — вещи в палату на шестой этаж, и марш отсюда! Вечером позвоню».

Оказавшись вдруг вдвоем, без дочери, Клава с Костей почувствовали такую слиянность, как будто у них был один ум на двоих, одно чувство, один способ понимать реальность — и этот ум стал выбирать из происходящего только те знаки, которые можно истолковать как надежду. Варя гневается — правильно, их, бестолковых, только ругать и можно, а она, значит, уверена в хорошем исходе. Не палата — гостиничные покои после евроремонта: двери с золотыми наугольниками и золотыми ручками, телефон, телевизор, ванная отдельная — тут Дуне будет лучше, чем дома. Даже название шумного, некрасивого шоссе Энтузиастов и то уменьшало тревогу.

Ночью Клаве то и дело слышался кашель (фантомные боли в ампутированной конечности), и она спросонья бросалась к пустой дочкиной кровати.

Окончательно проснулись оба враз, когда еще ни один утренний шум не начал будить всех подряд, и самоотверженно лежали, не вставая, не двигаясь, стараясь равномерно дышать, оберегая сон друг дружки. Есть-пить совсем не хотелось, ничего здесь делать не хотелось, но Клава все-таки сварила страшную от язвы овсянку. Цепляясь за привычный ритуал как за соломинку, растягивали джезvu крепкого кофе наподольше, чтоб не слишком рано заявиться в клинику — Варя может рассердиться, да и Дуню зачем будить... Но как совестно было рассиживать тут, будто ничего не случилось. А то был полный, необходимый глоток кислорода перед тем, как снова нырять в не знающую пощады, непредсказуемую глубину беды...

— Мапочка, извини, меня вырвало, я не смогла до ванной дойти... Придется тебе постирать... — Совсем не длинная речь два раза прерывалась захлебывающимся кашлем.

— Такая деликатная у вас доча, — похвалила нянечка, помогая Клаве накипятить воды для термоса.

Даже кровать изогнулась, чтобы Дуне полегчало — девочка лежала бледная, дрожащая, хлопчатобумажный париж-

ский платок с рисунком Пикассо, который смотрелся здесь как старушечий, то и дело сползал с головы, но снимать его больная не позволяла: «У меня волосы немытые». Из ключицы торчал катетер, обклеенный пластырями, на одеяле и на полу валялись комки туалетной бумаги, в которой виновато пряталась желто-зеленая слизь с красными прожилками.

— Каждый час температуру измеряйте, результат записывайте. — Это Варя. — Схаркивает пусть в баночку, и завтра с утра отвезите в Гамалею — я-то уверена, что палочек Коха нет, но береженого бог бережет. Здесь нельзя туберкулезный анализ делать — шефу донесут, и Дуню в момент выпрут.

«Выпрут...» Клаву будто ударили — так больно ей стало от этого грубого, злого слова, абсолютно неожиданного для Вариной речи, обычно ровной — и стилистически, и психологически. Но для собственного спокойствия — а для чего же еще? — она решила, что локтем в бок заехали нечаянно, и даже не чертыхнулась про себя, только подула на ушибленное место, а надо бы эмоциям не поддаваться и подумать, почему вдруг выскочило гадкое слово-прыщик. Ну и поняла бы простую истину, что декоративная роскошь из самых современных приборов-приемов скрывает обычную советско-человеческую показушность, при которой вылечен или нет больной — совсем не так важно, как кажется его родственникам. А что с этой правдой делать? Силы-то на решительные поступки где взять?

Обед, принесенный добродушно-разговорчивой официанткой, Дуня через силу, но послушно принялась клевать и даже перебралась для этого с кровати за стол. Но дOMETнуться до раковины она не успела — ее стошнило на кафель перед дверью ванной (хорошо хоть не на ковер). А к вечеру температура с плавным упорством добралась до 39,3.

Оторвать себя от дочери они могли только с мясом, поэтому тянули до последнего, понимая, что оставаться на ночь тут не положено. И все-таки у Клавы вырвалась мольба-просьба, когда Варя заглянула попрощаться, и та вдруг легко, как-то подозрительно легко согласилась, скинула пальто и принялась помогать вызванной ею же медсестре вкатывать из коридора тяжелое кожаное кресло, которое в паре с палатным и составило коротковатое Клавино лежбище, разъезжавшееся при каждом нервно-неловком движении. Но и без этого неудобства она не могла бы заснуть.

Рассвет, прорвавшийся в узкую щель жалюзи, застал Клаву на Дуниной кровати — от отчаянно-трагического бессилья она поочередно поглаживала тыльные стороны дочкиных ступней. На креслах, стульях, на распахнутой дверце

шкафа раскинулись взмокшие от болезненного Дуниного пота майки, рубашки, пижамы, которые Клава меняла ей всю ночь.

На следующие сутки все повторилось, только Дуне уже тяжело было и от электрического света под потолком, и от голубоватого мерцания экрана — Клава попыталась уйти от невыносимо тягостной реальности в телевизионную: включила какие-то новости, без звука. По телефону можно бы говорить шепотом, но и это отнимало у больной силы, так заметно тающие в борьбе с беспощадной захватчицей ее легких.

Варя постепенно перевела из придаточного в главное предложение мысль о консультации у профессора-пульмонолога мирового класса. Еще день ушел на переговоры, причем им (зачем?) докладывалось о каждом звонке и обо всех передвижениях светила: на лекции, заседает в ученом совете, на обходе в Кремлевке... Подробно разъяснялось, что дешевле расплатиться суммой в конверте, а не по официальному счету — всем понятная экономия на налогах. Машину даст Макар. И главное: Варя вычитала в свежем медицинском журнале про антибиотик нового поколения: так нет ли кого за границей, чтоб срочно прислали?

В общем, шла необходимая, спасительная суэта, заслоняющая ту пропасть, в которую боялись даже заглядывать оба родителя. Об очевидной опасности они друг с другом не говорили и суеверно не думали о ней, как будто мысль может притянуть беду. И когда в ответ на вопрос о смысле Вариных действий (честное слово, не было и намека на сомнение в ее компетентности, а напрямую у нее самой не спрашивали, чтоб не отвлекать) Макар заорал в телефонную трубку (Клава судорожно вдавила свою так, что раскровенила правое ухо): «Да она вечерами обзванивает всю Москву, вытаскивая дочь вашу с того света!» — Клава и Косте про тот свет не заикнулась, и сама как будто не услышала...

Как будто...

На четвертую ночь, подробно проинструктировав послушного, но уже опасно безвольного Костю (прикрикнула на него, когда с носового платка, который он положил на горящий Дунечкин лоб, потек ручеек на только что надетую сухую пижаму), Клава отправилась домой — выстирать, а главное, как следует просушить белье, мгновенно промокавшее и после очередного приступа кашля (очередь эта подходила все быстрее и быстрее), и после жаропонижающего укола, без которого ртутная полоска грозила пробить стеклянный конец градусника. А вот спать совсем не хотелось.

Всю дорогу — трамвай, метро с двумя пересадками, улица (фонарь, аптека) — у нее копилось прямо-таки детское недоумение, протест против того, что вокруг ну совершенно ничего не изменилось. Но чужое равнодушие заразно, тем более когда защитный слой так истончен страданием, и отпирая дверь своей квартиры, Клава обнаружила в своей душе гнусное чувство, еще не оформившееся в мысль, но от этого не менее стыдное: пусть теперь Костя помается, пусть он за все отвечает, а я хоть вечер поживу так, как будто ничего не стряслось.

Опять «как будто»... Обман раскрылся, лишь только из Дуниного шифоньера на Клаву глянули аккуратные стопки шерстяных, шелковых и коттоновых кофт, аккуратно разложенных не по сезонам, а по цветам, от красного до фиолетового. Перед глазами замелькало, закружилось, и многоцветье слилось в белый цвет страха.

Сердце защемило, подступили слезы, но Клава не сумела даже разрыдаться — так затаившийся вирус дает знать о себе субфебрильной температурой, медленно, иногда месяцами, отнимающей силы, нужные для борьбы с ним. Выплакать его невозможно.

Если бы не стирка-сушка, сию секунду выскочила бы из этой квартиры (вот так и моя страна становится этой) к своим, к дочери и к мужу. И это она, закоснелая домоседка... Всякий раз чувствовала теплое под ложечкой хоть и к полной тетехе, если та самоотверженно навещала близкого родственника или дальнего знакомого в больнице на другом краю мегаполиса... Презрение же к себе не прошло даже под стук колес, когда возвращалась домой, проведя две бессонные ночи возле молчавшего отца, не стыдящегося уже того, что «утку» ему подает московская дочь. В дорогу-то Клаву отправило чувство долга, вызывавшее до поры до времени лишь уколы совести («что ж поделать, не такой я хороший человек, всего лишь как многие...») и ставшее толчком к действиям благодаря маминым обиньякам («Сегодня к папину соседу, тому, что слева лежит, сын приехал, солидный такой, тоже на работе очень занят. С Украины сын...») и Костиной решительности — простояв больше двух часов влетней вокзальной очереди, он добыл туда-обратные билеты...

И вот то же самое чувство долга заставляет остаться дома, а не мчаться, как тянет, в далекую больницу. Метаморфоза.

Из охваченной отчаянием детской Клава вытащила все нужное болящей дочери и захлопнула дверь, ампутировав те свои нервные окончания, которые были обожжены воспо-

минаниями о дочкиных детстве, отрочестве, юности... И вот таким эмоциональным обрутком она принялась переделывать все намеченное и управилась лишь к утру — много времени съели телефонные отчеты родственникам, друзьям, знакомым, которые раз от разу становились все суше, дабы не вызывать жалость и ранившие вопросы. Дольше всего пришлось отговаривать провинциальную сестру, по безоглядной, расточаемой напропалую доброте душевной и по романтическому, детски-наивному стремлению в Москву, в Москву, уже взявшую отгулы, чтобы помогать выхаживать племянницу. Автоматическая вежливость — «не утруждай себя, спасибо» — не справилась с якобы альтруистическим и оттого таким сильным напором, и Клава, защищаясь, ударила Татку горькой правдой: «Ну чем ты помочь можешь?!» На деликатность нужны силы, и физические, и моральные — тут справилась бы только целая система, цепочка отговорок, а изнуренному, опустошенному человеку как их придумать... Ну, интонацией смягчила оплеуху, но все равно так и видно, как на том конце провода сестра, приученная всей своей нескладной жизнью покорно сносить подобные избиения, погасла и с виновато-жалкой улыбкой положила трубку. После этого разговора Клава и начала сокращать, редуцировать сводки с места болезни.

Несмотря на мелкий дождь (зонт не раскрыть, ведь не легкие набитые сумки в одной руке не унести) из подъезда повернула не налево, к метро, а направо, в сторону ближайшего храма. Бывало, по маминому напоминанию ставила свечку в годовщину смерти отца, хоть и некрещеного, за упокой его души, или заходила туда по просьбе подружки-швейцарки, принявшей православие от пылкой любви к России, к русской литературе и к русской подруге. И тогда заранее включала посещение церкви Рождества Богородицы (на Крылатских Холмах или в Путинках, возле службы) в свой деловой маршрут — записывать в ежедневник не обязательно, но все же узелок на память требовался, а тут ноги сами понесли. И когда зажигала тонкую рублевую свечу (в голову не пришло деньгами усиливать свою отчаянную мольбу о помощи) от соседнего фитилька и подтаивала ее подножье, чтоб устояла, а не завалилась набок, мысленно перекрестилась (рука не поднималась прилюдно делать этот интимный жест — гордыня? гордыня... претензия на особый, исключительный свой контакт со Всевышним) и с такой страстью посмотрела в карие глаза Пантелеймону, что почти физически ощутила, как его целительная сила через нее-проводник пошла к больной дочери.

Но и завтра-послезавтра никакого улучшения. Вальяжный консультант (доверились ему из автоматического уважения к научным степеням и титулам), слушающая-спрашивающая, убаюкивающе-спокойно (что значило сие спокойствие — высший профессорский профессионализм, заурядное человеческое равнодушие или что болезнь не так уж и страшна? — Клава, в отличие от Кости еще способная думать, решила: всего понемногу) порассуждал насчет значения своевременной диагностики, не абстрактного значения, а конкретно для пневмонии: каждый час промедления в начале лечения затягивает выздоровление на сутки, на недели, на месяцы. Дальше пошли термины, но сколько их ни громоздил специалист, потом Варя, потом снова, соглашаясь с лечащим доктором, профессор, и Костя, и Клава, оба и враз увидели жемчужный блеск слова «выздоровление», и в его стойком свете не так уж опасна показалась Клаве темная сила фатального «с того света вытаскивает».

Да, еще, из уст светила, как знакомая мелодия дешевенького ретрошлягера, прозвучал Елизаветы Петровны «эритромицин», тоже копейный, которым можно поколоть больную, пока не прислали дорогуший (тактичные друзья-швейцарцы не заикнулись о цене) антибиотик из-за границы. О чем шла речь между лечащим врачом и приглашенным консультантом, неизвестно, но к вечеру, несмотря на ту же клиническую картину (кашель, рвота, зашкаливающая температура), снова уверенная в себе, а не как вчера растерянная, прячущая взгляд, Варя объявила, что в Дуниных легких скопилась жидкость и нужна бронхоскопия. Сжалившись над родителями, объяснила, что это не операция, а всего лишь тонкая манипуляция, которую лучше сделать в шестьдесят третьей больнице, у профессора Силина, она уже договорилась на послезавтрашний переезд к нему.

В истерзанном Кости-Клавином сознании промелькнуло, но не удержалось: выпроваживают? статистики плохой опасаются? Признают собственное бессилие или вправду бессмысленно тратить столько денег на комфорт, воспользоваться которым у больной просто нет сил... (Для освоения роскоши нужны силы? Конечно, иначе почему бы человек чахнул в «золотой клетке»?) Да и не могли они ни озвучить в разговорах-перешептываниях друг с дружкой, ни подпустить каждый к своему сознанию мысль о трагическом исходе, ведь вычленить ее из вселенной — все равно что направить дуновение на балансирующего у края пропасти... Сможет ли Дуня не пошатнуться от родительского горя?

Поздним вечером, урывками укладывая в сумки то, что

не понадобится здесь ночью и утром, Клава вдруг почувствовала грусть, которая сопровождала ее всякий раз, когда она покидала насиженное место, совсем не обязательно по принуждению, а и по собственному хотению отправляясь в Лондон на неделю (Костин подарок к некруглому дню рождения), и из номера в «Мажестик-отель» на Кромвель-роуд в Москву или возвращаясь из родительских пенат к себе домой. Эта теперешняя печаль была как покалывание в казавшейся мертвой, онемевшей руке.

В обступившей агрессивной темноте Клава не сумела нащупать на столе градусник и позвала на подмогу голубоватое мерцание телеэкрана. Пока ждали температурного приговора — мать с неконтролируемо нарастающим при всяком измерении-просвечивании страхом, дочь покорно, — обе молча смотрели на Ингрид Бергман в черно-белом «Газовом свете». 36,9. Что-то сломалось? — не поверила Клава неожиданной цифре, но пойти за другим термометром было невозможно — устала, когда устраивала в креслах увлеченную фильмом Дуню — той впервые надоела кровать. Оказалось, за телевизором можно не только пить-есть, болтать, вязать, читать (перечень бесконечен?), но и капельницу можно поставить телезрителю.

Эх, если б и Костя знал о затишье на их семейном фронте, если б почувствовал, что атака пневмонии распознана и отбита — лечение помогло или молодая природа сама справилась и с лечением, и с болезнью (Варя-то еще в самом начале, от бессилия, что ли, буркнула, что у больной, как у наркомана или у дистрофика-заключенного — в тюрьме кормят кое-как — совсем иммунитет отсутствует)... Но они с Клавой по ночам не перезванивались — боялись своим тревожным шепотом порвать ту пелену спокойствия, которую из последних сил ткали вокруг единственной (были бы еще дети, пелена получилась бы покрепче) дочери. Да и что бы сказала ему Клава? И себе-то она не давала внятного отчета о наступившей передышке — сглаза боялась (глупое, бессмысленное суеверие, все равно что стреноживающий страх), и откуда ей знать, что будет завтра — болезнь отступит еще дальше, перейдет в долгую осаду или начнется новая атака? Локальную войну вести психологически труднее, чем всеобщую, народную, когда сопротивлению и самосохранению учит и мгновенно научает животный инстинкт выживания, умения передаются без слов-разъяснений от соседа к соседу, от солдата к солдату. А где взять силы, чтобы сражаться в одиночку, когда кичающаяся своей мирностью жизнь так и лезет в глаза и в душу?

Пустую, как бы замеревшую в ожидании (чего?) квартиру открыл опустошенный до самого доньшка человек. Как был, в плаще, в ботинках, он побрел в ванную, поставил таз с горькой белого в синюю крапинку «Тайда» под струю горячей, белой от хлорки воды, вынул из баула комок белых маек и белых с кружевами трусов и аккуратно, с какой-то маниакальной педантичностью разглаживая руками каждый предмет, стал медленно укладывать белье в стоячую пену, стараясь не замочить своих рукавов. В дверную щель пробились телефонный звонок, у которого хватило терпения подождать, пока Костя расправится со всем ворохом, тщательно вытрет — забыв смыть — пену с рук, сядет на коридорный стул и возьмет трубку.

Низкий, сочно-грудной голос показался ему знакомым, и вопросы она задавала точные, не раздражающие — как человек «в теме», тактичный и сочувствующий, но полная апатия, видимо, разъединила в голове какие-то проводки, и он не попытался даже сообразить, почему вдруг разрешил ей принести себе «что-нибудь поесть».

Не вставая, потянулся к базе, чтобы пристроить на ней трубку, промахнулся, вызвав болезненный писк нажатых неправильно кнопок, попал с третьего раза и, израсходовав последние силы, забылся на стуле. Из дремы его вынул звонок домофона, настойчиво-непрерывный, не сомневающийся в своем праве вторжения. Что-то там не сработало, пришлось спуститься самому к подъездной двери, благо, не раздевался. «Доходяга... Обуза, а не опора...» — билось в висок, и сама мысль об исчезновении казалась желанной.

Не поднимая глаз, толкнул тяжелую дверь, и она впустила Ольгу Жизневу, полную тезку известной киноактрисы и его коллегу — вспомнил, что когда-то давно, в мирной еще жизни, согласился оппонировать ее кандидатскую. Наверняка и притащила ее в сумке... Поморщился, словно от боли, буркнул, как выругался, «здрасьте» и первым, не пропустив вперед даму, вошел в квартиру.

Но большая, слишком крупная — по Клавиным меркам — женщина не смешалась, не засуетилась и не затараторила, как делают пичужки всякие, а молча прошла на кухню, разогрела принесенную в эмалированных судках еду и почти насильно, но ласково, как непослушно-любимого дитя, принялась кормить Костю, и каждая ложка борща — сваренного как надо (Клава своей незаметной готовкой не запарила его вкус, а только утончила, обострила его, научив вкушать еду-радость) — постепенно оттесняла злость, слабость, безразличие. У санитарок, повидавших в войну вся-

кого, была верная примета того, что парализованный выздоровеет: «Член встал — ноги пойдут». Этот знак подал и Костин организм, возвращаясь к жизни.

И уже на узком кабинетном диване (кабинет профессора, кабинет врача...) просто, совсем просто, без перерывов и перемен поз, продолжилось оживление, такое же необходимое и нестыдное, как кормление, и его не спугнуло ничто, ни требовательно-придирчивый взгляд — ее глаза были несонно прикрыты, ни чужой, чуждый запах (а раздражить ведь может даже «шанель номер пять») — она была чисто, непахуче вымыта и не надушена, — ни колкое словцо, вырвавшееся от стеснительности или неудовлетворенности — сколько женских благоглупостей нагородило непробиваемые плотины в стремящемся к непрерывности потоке, — ни властное резкое движение, ни произнесенный вслух, да пусть и безмолвный укор-вопрос «что потом?». Она оделась и ушла, мягко вернув его плечо на подушку, когда он порывался встать, чтобы проводить ее.

Это же плечо, закаленное лаской, потрепал Косте директор клиники, когда они вдвоем, хмурые по совсем разным причинам, переминались в лифтовом холле, ожидая кабинету. Как человек, привыкший завесой из слов-слов-слов укрывать свои простые бизнес-пиарные цели, директор и тут не смолчал, и поскольку никакой прагматической идеи не просматривалось, то сказал первое, что пришло в его траченный цинизмом ум:

— Вот уж не повезло, так не повезло... Но надежда умирает последней... Надейтесь — что вам еще остается...

Без вчерашнего вечернего «лечения» у Кости недостало бы соображения удержать удар в себе, выложил бы сразу этот жестокий и безответственный приговор-проговор. Обычно Клава по изгибу губ мужа, по новой морщинке, по ускользающему от нее, пугливому взгляду — по какому-нибудь одному следу, который непременно оставляла всякая немудреная Костина тайна, догадывалась о ней. Чтобы шутиливо выпытать и тем освободить его. Но теперь, соединенная с дочерью предчувствием ее даже не выздоровления, а всего лишь взятия первого уступа при выкарабкивании из пропасти, в которую сбросила их всех Дунина болезнь, не пригляделась к мужу, не заметила, что его тяготит.

В многокорпусной, сильно нуждающейся в ремонте районной больнице все было проще, правдивее и понятнее. Здесь не могла появиться жена президентского советника, у

которой Варе приходилось искать и находить какую-то неизвестную болезнь, — тут бы дамочке мгновенно поставили диагноз: истерика, оттого что муж не взял с собой в очередной заграничный вояж (но ведь и этот недуг может добавить лишнюю равновесия гирьку на весы бытия). Здесь нельзя было встретить министра, удивительно телегеничного для своего поста, — тот по уикендам очищал в платной клинике (рассчитываясь не дензнаками, чем-то другим) свою печень, поскольку его рабочий день обычно начинался с принудительной рюмки коньяка (далее — по нарастающей), и одновременно скрывался от жены (его молодую подружку Вара придумала выдавать за медсестру).

В народной больнице тоже были свои примочки: в одной — именно в одной, не больше, — палате компактно проживали крепкие мужички из армянской диаспоры: земляки зава торакального отделения скрывались от тюрьмы или от сумы — верткая сухонькая санитарка точно не знала, а остальные медработники благоразумно держали рты на замке.

В шестиместной палате, куда в кресле-каталке (опять!) — с порванной дерматиновой спинкой, с крашеными, а не никелированными, как в первой клинике, подлокотниками, умеющей ездить только по прямой, — вкатили Дуню, было две свободные койки — с голым матрацем у окна и с голой панцирной сеткой у умывальника.

Пока Клава подставляла руку к оконным щелям — не дует ли? — старуха с кровати через проход (нога ее, черная, как обугленное полено, лежала поверх одеяла, отдельно от туловища) ухватила Костину руку и шипяще-задыхающимся голосом (вот почему она в легочном, а не в кожном) просипела:

— К умывальнику-то ребенка не ложьте... — Кашель. — Бабка там ночью преставилась. — Снова кашель, но и «господи прости» не пробормотала, и не перекрестилась. — Выживет ваша, вижу...

Буравящий, злой взгляд, почти или совсем безумный от постоянной боли, уже не ноющей, а кричащей, при том, что из-за пораженных легких звук в полную силу не может вырваться наружу и разрывает внутренности (получается замкнутый круг, когда сигнал о боли сам причиняет страдания). Постоянная мука, как несение креста, превратила обыкновенную мегеру в Кассандру? Верить ли ее предсказанию?

Верить — не верить... Сейчас-то какая разница? И вера в выздоровление, и тем более полное неверие могут сбить с правильной дороги или замедлить шаги-действия... Костя вырвал руку из цепких старухиных пальцев (сила в них бы-

ла такая, что конечность онемела, как будто из нее выкачали всю энергию) и пошел за сестрой-хозяйкой, чтобы получить чистое белье и застелить кровать у окна (обо всем, даже самом насущном, здесь надо самим заботиться, ничего само по себе не делается... сразу и покорно приняли это как должное) — ведьма помогла сделать выбор.

После ужина, не поздно, часов в семь, когда задремавшая Дуня пихнула ютящуюся на краю ее постели Клаву и, открыв сонные, но уже не температурно-мутные голубые глаза, пробормотала: «Я посплю, ладно?» — решились ночью не дежурить, хотя было даже, где прикорнуть: кровать покойницы все еще пустовала, и соседка слева, предложив свое одеяло, осуждающе-многозначительно поджала тонкие губы — вот она, интеллигенция, о своем удобстве только и думают.

— А зачем вам тут мыкаться... Приезжайте завтра, часам к двенадцати, после бронхоскопии, — обронил на ходу лечащий врач, полноватый брюнет лет сорока.

Его спокойствие профессионально-автоматически внушало уверенность в благоприятном исходе, но Клава разглядела, что то была маска, не пробиваемая ни чужими страданиями, ни купюрами, падающими в оттопыренный карман его голубоватого халата. И все-таки маска спокойствия, а не равнодушия... В больничных чертогах мало у кого есть силы добраться до искренних мыслей (до содержания) другого, хватает и врачующей формы. (Содержание — форма... В вечном искусстве и в сиюминутной жизни какие у них разные роли...)

— ...Молодцом держалась! — Словно удивляясь, что у таких суетливо-трусливых родителей может быть мужественная дочь, заметил он же, когда Клава и Костя, виноватящие себя за бегство с поля сражения, отыскиали его в ординаторской за скорым обедом-перекусом: заляпавший подбородок томатный сок прямо из зеленой картонки, без стакана, и мясное ассорти на пергаменте, без тарелки и без вилки. — Никакой жидкости в легких. Не врач у вас там был, а черт-те кто! — Ровный тон вдруг сделал всплеск, как на кардиограмме сигнализируя о стыде за напортачившего коллегу. Нечаянно у него вырвалось, не чтобы набить себе цену. — Биопсия будет через несколько дней готова, но и тут не предвижу плохого. А если что — вырежем... Температура сейчас скакнет, не пугайтесь — это как правило после такой манипуляции.

Первые слова Дуни, уже охваченной температурным пожаром, были:

— Мамочка, дорогая, помоги мне... Я всю ночь чувствовала на себе ее жуткий взгляд — будто она хочет из меня всю жизнь себе забрать...

Только к вечеру удалось купить-выпросить бокс для тяжелобольных, освободившийся после очередного летального исхода (смертность здесь планировалась, а не портила статистику) в соседнем отделении на этом же, четвертом этаже. Сестрам, и правда, далеко по коридору шагать, но «мы заплатим», — радостно выдохнули Клава-Костя.

Уже к концу недели остались лишь субфебрильная температура, капельница с заграничным ципробаем и кандидоз — упустили, что антибиотики убивают флору.

В первое же воскресенье Варя подменила родителей, пришла со свежим куриным бульоном в высоком термосе и с паровыми котлетками в широкогорлом. Только после ее появления до них дошло, что можно и нужно пробуждать дочкин аппетит домашней едой. Все-таки от испуганного человека укрываются самые очевидные вещи. Вот уж им-то, дрожащим, пригодилась бы защитная маска хоть и равнодушия — или она помогает отражать страх.

Раз в неделю рентген показывал, что очаг воспаления в верхушке левого легкого не растет, но и не гаснет. Варя предложила-приказала привезти Дуню в свою клинику на томографию, бесплатную. «И счет прошлый заодно оплатите, половину, шеф скостил бедной профессорской семье». Посоветовались с лечащим врачом, тот пожал плечами: зачем лишний раз облучать ребенка? Но не запретил... На готовые снимки глянул, ничего нового не обнаружил и снова недовольно пробурчал про ненужное облучение, Варя же картинкам обрадовалась, только вот вопрос: за себя успокоилась или за Дуню?

Как-то наутро после очередного вечернего взноса в голубоватый докторский карман, добровольного пожертвования, не подстегнутого ни прямым вымогательством, типа «зарплаты-то у нас какие», ни шутивными вроде бы обиняками, они застали Дуню с кипой машинописных листов в руках. Она выправляла стиль и опечатки в докторской диссертации своего лечащего врача. Сам он ночью улетел в Египет отдохнуть, на недельку — горящая путевка подвернулась. «На ваши денежки и отправился», — съехидничал Макар, когда Костя заехал к нему на службу передать Клавину работу, которую она умудрялась делать на колене возле Дуниной кровати и в метро по дороге на домашнюю ночевку.

Последнюю капельницу поставили в воскресенье утром, когда загорелый (в апреле, тогда это был шик...), ничуть не

суетливо-виноватый доктор без воспитанно-необходимого в такой ситуации «спасибо» взял с тумбочки прозрачную папку со своей диссертацией. Приноравливаясь к Дуниной правке, переспросил насчет пары мест и уже уходя ошаршил:

— Можете дома долечивать...

Домой! Домой! Волна радости, родившаяся в душе Клавы, сильная, высокая, с размаху налетела на прочно утнездившийся, разросшийся до огромного валуна страх, превративший ее в трусику, которую любое волнение загоняет в тупик. На глазах выступили слезы, и она испуганно уставилась на доктора, вместо того чтобы спрашивать и спрашивать. Но разве только вопросами можно добыть из другого нужные тебе сведения? Нет, конечно, не только. Если между людьми возникает естественное, неподдельное напряжение, то есть эмоциональная связь (для которой мало скорчить заинтересованную мину на лице, а мыслями унестись в посторонние дали), то сразу начинается обмен энергией, и уж она-то без труда, автоматически преобразовывается в несущее информацию признание. Вот и из доктора Клавино молчание вытянуло: «Динамика положительная, но затемнение не прошло. Надо наблюдаться. По месту жительства... или сюда привозите...»

ВТОРОЙ

Настоящее счастье смывает все следы, оно и вывело те ошметки, которые оставил Макар даже не в глубине души Клавы, а лишь на ее поверхности. (Парадокс: грязь не въелась, потому что Клава поспешно признала свою вину-беду. Безоговорочное подчинение чужой воле опасно еще и из-за легкости такого поведения: способность думать надо поддерживать даже тогда, когда щедро отдаешь себя мужу, дочери, другу. С Костей это стало получаться естественно, природно, а с Макаром самоконтроль не сработал.) И Варино-Макарово участие в Дунином выздоровлении было все равно что свет звезды, достигающий, нагоняющий тогда, когда она сама уже сгорела, исчезла. Дружба сгорела, но жизнь-то продолжалась.

Служебный ритм восстановился, да и прерывалось лишь Клавино физическое пребывание за конторским столом, а все свои обязанности, без поблажек, она умудрилась выполнять, ведя переговоры по бесплатному телефону-автомату на больничной лестнице (если случалась очередь, то разговор мчался в телеграфном стиле) или на колене составляя отчет-

ты — нужные бумаги разложив в ногах Дуниной кровати, поверх лекарств-еды на тумбочке и даже на вымытом ею самой полу — нянечки деньги брали, но про мокрую уборку то и дело забывали.

Чаще всего звонила Нерлину. По делу, только по необходимости. И все-таки пришлось объяснить ситуацию, когда он справился о номере домашнего телефона, не потребовал его назвать, а вежливо попросил, подробно — до любого дойдет — мотивировав необходимость двустороннего контакта. Говорил неспешно, с той смелой откровенностью, которая в Клавиной системе была возможна только между близкими, между ней и Костей — да, а даже с Варей и Макаром, несмотря на двадцатилетний стаж общения, ее, оказалось, не было.

Молчание на том конце. Нахмурился, наверное. Но это не была тишина отстранения, разъединения, нежелания узнавать беду, которую телефонный разговор так явно обнажает (разрыв коммуникации душевной часто принимают за помехи в кабельной связи, кричат «алле, алле, слышите?!» — таким простым способом перепрыгивают разверзнувшуюся пропасть) — при беседе с глазу на глаз скрыть отсутствие реального смысла разговора проще: взгляд, жест — за руку взять, по плечу похлопать, обнять-поцеловать — и готово, оба-трое-четверо даже не замечают, что время зря тратят.

Нет, молчание Нерлина приближало его к Клаве, и это ощущение тут же подтвердилось: он достал из памяти (из алфавитной книжки получилось бы быстрее, но не ему...) цифры, которые свяжут больную с директором туберкулезного института. При этом так подробно-профессионально мотивировал необходимость независимой от прежних врачей проверки того, не затаились ли где палочки Коха, изощрившиеся в борьбе за свое выживание, что Клава даже спросила, не по собственному ли опыту он так разбирается в легочных болезнях. Почти по-собственному, признался Нерлин, — брат, его второе «я», из-за бездарного лечения теперь мучается астмой, на грани живет, все время на грани выживания...

И через несколько дней звонок домой:

— Все еще температурит? Тогда сам договорюсь на завтра. Не стоит ждать, лучше ошибаться, но что-то предпринимать. Я слишком хорошо знаю это состояние надежды, оправдывающей бездействие, это ожидание, что выздоровление придет само собой. Конечно, организм молодой, но ведь сколько в нее уже лекарств влили... Природным силам они могли очень помешать. Не думайте ни о чем побоч-

ном — директор рад мне услужить — дадим ему эту возможность?.. Вас это ни к чему не обяжет, с нашими служебными делами никак не связывайте. Судя по телефону, в Крылатском обитаете? Лучше на машине повезти — дорога многопересадочная, неудобная для девочки больной.

Говорил Нерлин спокойно, ровно, убеждая не интонацией, не эмоционально-нервным нажимом, а только пониманием ситуации. И хотя Клава внимала молча, это не был монолог, он как будто читал ее ответные мысли — а как иначе он отреагировал бы на все ее, не проартикулированные даже в уме, сомнения? Трудно принять помощь от незнакомого почти человека, на это надо осмелиться. Нерлин одним махом перескочил множество этапов вежливо-участливой поддержки, тешащей самолюбие советчика и бесполезной для ответчика — от уже раздражающего вопроса «чем я могу помочь?», от обещания разузнать у знакомых — что?! — с последующим исчезновением на месяцы, пока все не утрясется, до телефона ясновидящей («скажите, что от меня, иначе очередь огромная»), которая за пару сотен баксов снимет порчу. То, как осторожно (можно сказать — благородно) он поставил подпорку под уже надломленную Клавину волю, приняв за нее решение, все это и еще что-то, неуловимое, в одно мгновение переключило вполне объяснимое, логичное чувство благодарности на безрассудную привязанность, на полное к нему доверие. А в результате она снова была готова деятельно бороться за Дуню, как будто третье — или уже четвертое-пятое? — дыхание открылось.

Назавтра Нерлин в несчетный раз озадачил Суреныча, своего секретаря-телохранителя-шофера — поводырем его не называл никто, мало-мальски знакомый с Нерлиным, а самому Суренычу иногда казалось, что шеф только притворяется незрячим, ведь замечает он больше тех, кому и помощь очков не нужна. Видят иногда лучше те, кто не может смотреть.

Удивил не тем, что в консерваторию пошел без жены — такое редко, но бывало. Если, например, внучку-сироту не с кем оставить. Присмотрелся он однажды, как они вместе слушают какого-нибудь Малера, позади сидел. Казалось, какофония, наступающая со сцены, настолько их скрепляла, так соединяла, что они становились двуглавым существом. Звуки, пройдя через их единство — как пар через правильно помолотый кофе и бумажный фильтр, — понятной, съедобной мелодией добирались до ушей Суреныча.

Сейчас хмуро-сосредоточенный курчавый пианист с похожим на дрожащее желе обильным телом (в жару как-то разглядел, когда Нерлин консультировал вундеркинда по налогам и — не без помощи Суриныча — насчет призыва в армию), закованным в отлично сшитый фрак — искусство, пусть и портняжное, преобразует человека, — исполнял веселого Моцарта, и надо же, как только Анна Чехова скрипучим голосом возвестила, что «на бис» будет ноктюрн Шопена (а Суриныч, как все простые люди, любил слушать только хорошо знакомую музыку), — в тот самый момент Нерлин пошел к выходу. Позвонить ему надо было, и не на ходу, а обстоятельно поговорить, из дома. Насчет какой-то там Дуни Калистратовой.

Ситуация прояснилась, пока Суриныч чай заваривал и расставлял на столе по раз и навсегда установленным местам пиалу, хлебницу соломенную со свежим лавашем, круг деревянный с тремя сортами сыра: подсазки, похожей на разметку для майского военного парада на Красной площади — Суриныч участвовал — не требовалось. Принцип сервировки для полного спокойствия Нерлина — как можно больше небьющегося, вроде страховочной сетки под канатоходцем. Но все только функционально допустимое, на чем и в лучших ресторанах подают — чтобы ничем не напрягать многочисленных зрячих собеседников и собеседниц. Дуня эта никакая не Лолита, а просто девочка, дочка чья-то, которую никак не могут вылечить слишком любящие родители. Вот как с врачами нужно разговаривать — эмоциональный фон ровный, все равно что грунтовка на холсте, принимающая любой цвет, любую фактуру красок. (Суриныч, ничуть не претендуя на высокое звание художника, для отдыха, для расслабления попробовал и увлекся копиями с шишкинских пейзажей — и дома стоял мольберт, и здесь завел раскладной чемоданчик.) Но по дотошной осведомленности о ходе болезни, о количестве и названиях лекарств, которыми пичкали больную, понятно, что не о постороннем речь. А почему не посторонняя? Фамилию ее Суриныч видел, латинскими буквами пропечатана в сборнике, который из Лондона получили, по-английски доклад делал К. Kalistratov... Коллега, может быть, друг? Может быть...

Вокруг Нерлина клубилось много людей, слишком много, решил сперва Суриныч, и думал так до тех пор, пока не понял, что всех их босс с легкостью и ловкостью циркового силача, жонглирующего небутафорскими гирями (тяжелы бывают и человеки, и контакты с ними), держит на дистанции, не допуская замыкания, контролируя тот энергетичес-

кий обмен, без которого не могут эффективно, с обоюдной пользой длиться человеческие отношения. И дистанция эта не измеряется никакими метрами, фунтами, микронами, сохраняется она даже тогда, когда в его умелых объятиях растворяется какая-нибудь красавица. (Умница или дуреха, сперва не так важно, Нерлин сам оттягивает раскрытие этой тайны, чтобы не слишком уж часто убеждаться в похожести дам друг на друга, боясь сбить себе охотку. А красоту он — видит? чувствует? — постигает в момент. Ни разу не ошибся, наверное, потому, что глаза — зеркало только души, а по голосу изощренно-умное ухо угадывает и душу, и все остальное тоже.) Или когда клиент (из тех, кто научился своим капиталом укреплять свою власть-успех и, наоборот, чья власть охраняет и приумножает богатство, то есть человек толковый, самостоятельный) благороден настолько, что готов поделиться с ним своими безграничными — и такое бывало — возможностями.

И сам Суреныч возник как результат деятельной благодарности. Конечно, рекомендация, пусть и ответственного — не только по положению, но и по сути — лица лишь выхватила его из толпы, потом уже все зависело от них двоих, Суреныча и Нерлина. Босс в выборе положился только на себя, никого не расспрашивал, не проверял по широко доступным ему каналам, а Суреныч, после того как подсадил зятя-дочь-внука в Америку (звали с собой, но место возле могилки жены притягивало сильнее), решил рискнуть, сил на новую работу пока хватало: следил за собой по привычке потомственного военного, отставка ничего не меняла.

И вот уже десять лет служил, и было совсем не тошно, а ведь о сроках не заикались, в верности друг другу не клялись даже после литра выпитого (умел босс пить, как умел почти все, и делал это с удовольствием, без выворачивания себя наизнанку — скольким дружбам-приятельствам такой неэстетичный процесс положил конец...), оба были свободны, и потому только мужало их согласие, не скрепленное никакими официальными бумажками-штампами (тоже мне способ свободную волю ограничивать, дамский какой-то...). А базисом, основой их крепнувшего год от года союза служил прирожденный дар Нерлина, рано, еще в отрочестве осознанный им и с тех самых пор лелеемый, — способность вступать в самые разные, часто неожиданные для него самого связи с людьми, его незаурядная человеческая валентность. Химический термин всплыл даже не из школьных, а из институтских дебрей, заброшенных и за-

росших, ведь научные познания, приобретенные там Суренычем, негодились ни на какой службе — и их, и курсников, и много еще чего приказано было забыть, когда он надел незримые миру погоны.

Нерлин же не обронил ничего и никого — родителей сразу перевез в Москву, с юрфакскими одногруппниками до сих пор встречается — уж и Суренычу поднадоело их брюзжание, не говоря о стремительном дряхлении, особенно заметном, если с боссом сравнивать. А тот всякий раз в усы улыбается после их посиделок под умеренный поддавон. (Нерлин и начал регулировать количество и градусы питья, когда один из лысеющих-седеющих пожаловался на врачуху, напугавшую термином «предынфарктное состояние».) Но и его недавно достали, в сердцах потом прожурчал, стоя у окна — сам себе, что ли? — «Вода, видите ли, у меня на даче артезианская, потому и старость меня не берет... В башне будто обитаю, огороженной рвом, который Хронос преодолеть не может...»

Да, связей много, а друзей?..

Сели чай пить. Обычно Нерлин не любил прерывать трапезу и потому включал автоответчик или Суреныча просил поднимать трубку, но сегодня босс перехватил его руку, ловко так метнулся к телефону и ответил сам. Усталое, поникшее «алло» как будто побрызгали свежей водой, так голос Нерлина встрепенулся, потянулся к звонившему. Звонившей... Иначе не отложил бы разговор на четверть часа («не поздно? вы еще не уснете?»), чтобы необидно отправить Суреныча домой.

Какие обиды... И все-таки всякий раз грело, что Нерлин никогда не небрежничают. Не приказывает, а просит. Не подразумевает, а объясняет все подробно и растолкует еще, почему так, а не иначе. Не громоздит дела друг на друга, с точностью до минут умеет рассчитывать дорогу (на пробки дорожные всегда набрасывает «с походом» — лучшая забота о спокойствии водителя, ведь именно спешка, суетливость влекут за собой и халтуру, и хамство).

Но теперь хотелось бы остаться и понять, в чем дело. Суреныч одернул себя за любопытство, развитое до безусловного рефлекса прошлой службой и ненужное, мешающее нынешней. Нерлин же и заботился, чтобы оно не пробуждалось, и как в классических романах-долгожителях деликатно закрывается дверь спальни, когда туда заходят двое, так он всякий раз отпускал Суреныча, перешагивая порог квартиры с дамой или дамы. Но для телефонного разговора о лечении чьей-то дочери — это что-то из ряда вон выходящее...

В воскресное утро Клава позвонила Елизавете Петровне, восстанавливая еженедельную (по дешевому уикендному тарифу мама говорила свободнее, забывала про минуты-рубли) родственную связь, регулярность которой поддерживалась и душевной потребностью, и чувством долга (пропадало одно, на выручку приходило другое, но оба враз никогда не исчезали). Бабушке хватило недлинной сводки с места боев за Дунино выздоровление: диагноз «туберкулез на девяносто процентов», поставленный директором института по анализам и снимкам из предыдущих больниц, только благодаря участию одного знакомого перепроверили, как для своей, и теперь атипичная пневмония быстро сдается гентамицину (уколы) и трихополу (таблетки), комбинация простая и дешевая... И, успокоившись за внучку, Елизавета Петровна с молодым пылом праведницы принялась обличать зятя, досе на которого в разговорном, не в письменном, слава богу, жанре она начала вести еще четверть века назад, когда старшая дочь вышла замуж за инженера из простой семьи (его мать и сестра без высшего образования, а отца вообще нет), расписалась в загсе не потому, что влюбилась, а поторопилась, чтоб не прослыть старой девой — в провинции семидесятых это было стыдно, хуже только развод, а о внебрачной связи и подумать-пошептаться в семье не дозволялось.

— ...Брюзжит все время, замечания мне делает... а сам Тате денег на хозяйство не дает, парник чинить взялся — доломал... Я теперь в сад с ними не езжу! — гордо, как о своей победе, объявила Елизавета Петровна. — Вчера Тата звала меня за сморчками, но я — с ним! — не поехала!

— Бедная ты моя... — Клаве до слез захотелось обнять маму. — Сама себя наказала... Ведь хотелось в лес?

— Хотелось, — испуганно, как наивная школьница, призналась Елизавета Петровна. Да, что стар, что млад...

— Научись же о себе сперва думать, не надо за другими следить...

— Ни за кем я не слежу! — сердито спохватилась Елизавета Петровна, и Клава прикусила это грубое слово — правда-матка режет, а после восьмидесяти операции помогают очень редко.

— Прости, прости ради бога... Давай уговоримся: ты будешь каждую неделю отчитываться, как час, да полчаса хотя бы была счастлива. Например, как приход гостей предвкушала, как стряпала, на стол красиво накрывала, или какого необычного оттенка пион в саду расцвел, или Аленка тебе ласковое что-нибудь сказала... Ну ведь бывает же хорошее в твоей жизни, и эта твоя радость будет как солнышко

нам всем светить, не прикрывайся ты тучами, научись открыто наслаждаться. Сглазить боишься и потому прячешь счастливые минуты, от себя прежде всего и прячешь... Будто сухари сушишь, когда можно вот сейчас есть свежий пахучий хлеб. Зачем? Ни тебе они не пригодятся, ни наследникам — они просто выбросят заплесневевшие корки...

— Вот-вот, я и боюсь — все же пропадет! Все, что мы с папой нажили, себе во всем отказывая... Мороженое на курорте только раз один папа мне купил, все сэкономили, чтобы детям подарки привезти. Приехала бы, хоть что-нибудь себе забрала...

Ну и хорошо, последнее слово, щедрое, возвышающее, осталось за мамой. Можно сворачивать разговор, пробормотав «конечно, конечно». Много раз Клава наошибалась, прежде чем сообразила просто поддакивать, как только речь (последнее время все чаще) заходила о наследстве: и благородный, казалось бы, отказ — обижал, сердил маму, а начинать дележку сада-посуды-ковров, драпирующих родительскую бедность и непрактичность (производное честности и боязливости), да еще за спиной Таты, да еще как бы соглашаясь со смертью — не получалось у Клавы, не выходило даже и во имя мамино спокойствия, впрочем, сомнительного.

А что предпринять во имя своего собственного спокойствия? Оказалось, оно — самое дорогое (ценнее восторженного счастья) вещество, добывать которое из жизни надо было с детства-отрочества-юности учиться. Но не может же быть, чтоб сейчас уже было слишком поздно? Конечно, за время Дуниной болезни тревога, рожденная реальной бедой (бедой с чьей угодно стороны посмотреть, не только друг поддакивающий согласится, но и недоброжелатель, враг не найдет, как съязвить и посмеяться), так укрепилась в Клавиной душе, что любой, даже самый нейтральный сигнал из внешнего мира преобразовывался в повод для беспокойства. И как трудно оказалось объяснить чувствам, что они бессмысленны, что логики в них — никакой, а прогнать их, загнать хотя бы в угол почти невозможно...

Невозможно? Это словечко еще обладало властью над Клавой, оно встряхивало ее, внутри что-то перестраивалось, как в калейдоскопе, и при тех же самых обстоятельствах узор настроения менялся. Как-то раз именно благодаря клейму невозможности, поставленному учителем математики, она решила алгебраическую задачу неожиданным многоходовым (четыре тетрадные страницы) арифметическим способом. Но наука жизни — насколько она сложнее...

— Ну, матушка, попотей-ка теперь для родной конторы. Дуньку-то мы вылечили...

Макар приобнял Клаву за голые плечи (непривычная для Москвы жара смела все условности, и пришлось сперва отказать от колготок-гольфов, а когда температурная осада продолжилась второй месяц без освежающей передышки, сарафан победил эстетически безобразные мокрые подмышки приличного платья хоть с маленькими, но рукавчиками) и несильно, но сердито подтолкнул ее к гостевому креслу, не уловив податливости или хотя бы само собой разумеющейся покорности, того, что прилюдно (телевизор посмотрите, из Думы какой-нибудь репортаж, лапают там и самых продвинутых защитниц женских прав) получают малые, средние и самые большие начальники от своих вассалок (крепостное право еще когда отменили, но облучение от него все держится, передается новым и новым поколениям чиновников и по наследству, и так, по воздуху). А встречное — с Запада — движение недотрог, умножающее адвокатскую армию, в которую призывают на равных и мужчин, и женщин, — лучше, что ли?

Попотела Клава во всех смыслах: неделю, в полном цейтноте, уговаривая и подкупая, льстя и угрожая, она вынуждена была заниматься конторским юбилеем, не имея для этого никаких навыков, полагаясь только на здравый смысл, свой, Костин, Дунин, и на то, что можно у других перенять.

Жальче всего было обсуждать траты — циферки на бумаге (реальные доллары были только у Макара). При этом четырехзначная сумма за аренду зала забылась почти сразу, а вот восемьдесят пять центов за каждый малюсенький бутерброд под щегольским названием «канапе» царапали душу еще долго и после праздника. Сколько можно было бы всего наготовить на эти деньги своими руками! От мамы пердалась привычка экономить, а собственное время и труд вообще никак не оценивались, ничего не стоили.

В последний день, еще раз проверяя, не забыт ли какой журналист — проводник известности или ветеран-клязник (на нескандалистов ни места, ни угощения обычно не хватает), вспомнила, что когда делили, кому кого приглашать, Нерлина Макар взял на себя, зло пробурчав при этом: «Все равно не явится, даже мой юбилей он один-единственный проигнорировал».

«Проверю-ка», — подумала Клава. Да и может же она получить за такую негордую работу хотя бы один приятный для себя пустячок. И позвонила сама.

— Завтра? Что же раньше не предупредили? Чудом меня сегодня застали. Приду.

И хотя в его голосе Клава не услышала ни затаенной, ни явной обиды, но все равно соврала, что звонила и попадала на автоответчик, с которым не любит и не умеет общаться.

— Понимаю... А вы скажите: дорогой автоответчик, передай, пожалуйста, своему хозяину...

В особняк на Гоголевском бульваре Клава приехала пораньше, из чувства ответственности, которое Макар никак не проконтролировал и не подстегнул. Доверяет? Уже на выходе из «Кропоткинской» она почувствовала, как задрожали поджилки и лицо напряглось: губы получилось растянуть в политесную улыбку, но на ее фоне глаза еще заметнее лучились испугом. И Кости рядом нет — сам по себе приедет, так что в одиночку надо справляться со стыдным волнением, детским каким-то...

В полупустом до гулкости вестибюле на цоканье ее шпилек, подбитых металлом (кожаные набойки снашивались за пару недель ходьбы по неровному, ухабистому асфальту), обернулось несколько спин, и незнакомые лица хмуро, враждебно чиркнули по ней взглядами. Из темного угла надменно блеснули очки газетной обозревательницы одного респектабельного, что особенно обидно, издания. Эта стервочка полгода назад без видимого повода (случайная однофамильность — не поэтому же!) — не по существу, с дамскими приколами — лягнула Клавин проект, успешно потом осуществленный. Слава богу, мама эту газету не читает... А папа умер...

Следующие шаги Клава делала на цыпочках, стараясь незаметно не доносить каблук до мраморного пола. Охранник за стойкой равнодушно зачеркнул ее имя в ею же составленном алфавитном списке. Поозиралась, никому не нужная, и на ватных ногах, придерживая бьющую по бедру сумку на длинном ремне, пошла вверх по лестнице. В зале тоже мало людей, но хотя бы пианист со скрипачом уже на месте и честно отрабатывают свой гонорар.

Каждое пустое место будет уликой ее организаторской непригодности. Не справилась... Простое правило приглашать на треть больше, чем нужно, годилось, и очень, для торжественной части (толпа в дверях повышает статус, престижность мероприятия), но когда за фуршетом в момент сметают все съедобное, у русской хозяйки страдает не столько амбиция, сколько душа. И некрасиво

это — вынуждать бороться за еду... Перебор и недобор пришедших одинаково нехороши, а как верно решить задачу, если не знаешь всех данных, если только шефу известно, кто и насколько крепко привязан к конторе и лично к нему...

Вернулась на лестничную площадку, свесилась через бархатные перила — внизу уже клубился народ. Сквозь равномерный, как в улье, шорох движения был слышен голос Макара, несуетливо говорящего в глазок «бетакама» о своем вкладе в славную годовщину. Правду говорил, умудряясь одновременно пожимать руки и целовать ручки. Как грамотно снимают — не статичная, а живая будет картинка на экране. Конечно, телевизионщиков прибило к нашему порогу благодаря летнему информационному штилю — зимой, в разгар сезона, их заполучить труднее, дороже, а тот драйв, который они придают любому торжеству, всегда стоит потраченных усилий и денег.

Розовощекий толстячок в рубашке навывпуск, Дунин ровесник, минуту назад топтавшийся возле Макара, вдруг очутился по правую руку от Клавы. Вежливо, совсем не журналистски стал про контору расспрашивать, не стесняясь своей полной некомпетентности: слово «аудит» впервые услышал. И все же укол тщеславия подрумянил Клавины щеки — как же, интервью такой солидной, респектабельной газете... (В завтрашнем номере с трудом отыщется заметка — в столбце «Ведомости», без фотографий, без ее имени, но с жирной фамилией журналиста.)

Перестало казаться, что она тут лишняя, что тот «ВИП» (дважды ему звонила, думала, какой-то человеческий контакт был) слишком коротко ответил на ее приветливый вопрос (показалось — отделяется), что та дама неучтиво сухо кивнула ей... И вот когда усатенький юрист не пробежал мимо, а, склонившись, послунял ей запястье, потом разогнулся, в глаза посмотрел — прямо, и искоса — на грудь, да еще освежил комплиментом, хоть и цитатным: «Потому что нельзя быть на свете красивой такой!» — толпа (а народ все прибывал) из враждебного скопища превратилась в дружелюбное, внимательное к ней собрание разных и интересных лиц.

(Не осуждайте категорически неискреннюю похвалу, нагужную улыбку, любезность, не скрепленную глубокими чувствами, — все это может помочь в роковой момент: оттолкнет от рельсов, на которые прибывает поезд, отведет руку с бритвой от вены, взгляд — от крюка на потолке... Конечно, это все крайности, и далеко не полный их пере-

чень, но именно к ним ведет путь гордого одиночества — неважно, длинный ли, короткий — и с него-то и может помочь свернуть-ускользнуть участие другого или других, пусть и неискреннее, с расчетом. Для спасения годится и цинизм?)

И хотя за низкий полированный стол в президиуме сел один Макар — Клаву и глазами не искал, — ей в последнем ряду было даже веселее. Место с краю, которое она держала для запаздывающего Кости, занял Нерлин (ждала, надеялась, что придет — и все равно врасплох застал) и сразу стал расспрашивать про Дуню.

Точные, прицельные вопросы (о пятичасовой температуре, о кашле, о динамике затемнения в легком...) следовали один за другим, вызывая такие же точные, короткие ответы. И как под умелой рукой реставратора проступают яркие, насыщенные цвета, так перед Клавой открылась освобожденная от загрязняющих ее суеверий счастливая картина Дуниного выздоровления. Тихому их разговору ничуть не мешали торжественные речи, наоборот, рутинный, привычно-скучный шум оберегал, защищал от постороннего вмешательства зарождающуюся двуголосную мелодию. Правда, Клава чуть не оборвала ее сама, нечаянно, из чувства признательности, глубокого, искреннего и оттого слишком порывистого, переборщив со своими «спасибо... без вас бы... помогли...». Но Нерлин, умело ведя свою партию, вовремя и необидно остановил уже неконтролируемый Клавой поток слов, который вот-вот мог попасть в водоворот фальши: ведь настоящая, ответственная благодарность только обозначается словесными вешками (вычурность, красота им совсем не нужна), и чем она осознаннее, невыговореннее, тем больше ее природное тепло обогревает обоих, субъект и объект, тем действеннее поступки, ею вызванные. Нерлин увидел, что только по незнанию, по неопытности Клава совпала с теми, кто красивыми словесами декорирует пустоту, неотзывчивость, нежелание платить за помощь. И еще сумел дать ей понять, что его участие в Клавиной семейной жизни — всего лишь повод для их знакомства, а вовсе не цепи, сковывающие теперь ее свободу. И эта его щедрость, не любующаяся собой, дарящая независимость, приятно уколола ее — в самое сердце.

— Ну а теперь пойдёмте, съедим что-нибудь, я проголодался! Кормят у вас? — Нерлин подхватил Клаву под руку, и хотя именно она лавировала между стульями и немногочисленными зазевавшимися — почти все уже переметнулись в

фуршетный зал и толчея в дверях иссякла, — поводырем она себя не чувствовала: ведущим, подчиняющим себе (не столько по старшинству или по известности, сколько по первобытному мужскому праву) был он, Нерлин. И повиновение ему, покорность эта ей понравилась.

В пустом, далеком от столов правом углу их ждал Суреныч с двумя тарелками разнообразных ед и с отчетом о напитках, подробном, с годами выпуска бордо и шабли, с именами водочных заводов и количеством латинских букв под названием коньяка — VSOP, а не просто Very Special.

Нерлин слушал внимательно и немного остраненно. Внимал как знаток, который умеет получать удовольствие от вина, но не переступает ту черту, за которой начинается поработящая зависимость. Расшифровал смысл четырех коньячных букв, Very Superior Old Pale — наших «звездочек» не хватило бы, чтобы обозначить выдержку от восемнадцати до двадцати пяти лет, а что значит «pale» — не знал...

— Что будет леди? — Он уже никак не соприкасался с Клавой, но безошибочно повернул к ней свое спокойное лицо и слегка поклонился.

Не приторное «мадам», не отстраняющее «имя-отчество», не говоря уж о неучтивом, но чаще всего употребляемом «вы» (лень запоминать, как зовут собеседника), а именно «леди», редкое, элегантно и так естественно прозвучавшее обращение. Улыбка расправила Клавино напряженное лицо, и голосу передалась радость от того, что ее увидели такой, какой она хотела быть и была... Правда, пока только в своих мечтах: сдержанной, но открытой — потому что нечего скрывать, потому что не нужно стыдиться ни своих самых укромных мыслей, ни самой домашней одежды (немаркого бесформенного халата у нее просто не было), ни самых неконтролируемых жестов.

«Что вы, то и я», — прозвучало как признание. Если еще не в любви, то в восхищении, безусловно, и сказалось это так, будто они были одни, будто никто не мог их услышать. А как раз на этих словах к ним подошел Костя и, чтобы выручить жену, чтобы дать ей опомниться, заговорил с полужнакомым ему Нерлиным.

Как начинает выстраиваться очередь у лотошника, к которому — может, и случайно — прибилось три-четыре человека, так народ стал роиться и вокруг них. «Э, да у вас тут Мулен Руж какой-то», — не восхищаясь, но и не осуждая, заметила проходящая мимо с рюмкой водки Ольга Жизнева. Появился и Макар. Приобняв Клаву не только не сексуально, но даже и не по-товарищески, он отодвинул ее,

чтобы самому оказаться перед черными очками Нерлина — как перед телекамерой. В одном медленном темпе и ровным тоном, не комкая ни одного слова, сказал ему что-то уж слишком банальное. Нормально, надо быть снисходительнее. Глупо только выдавать общие места и тривиальные мысли за прозрения, за открытия, чем обычно грешат женщины и политики, а так... Не то место тусовки всякие, чтобы неожиданные парадоксы тут озвучивать и ждать за это признания.

Суреныч, как всегда, был неподалеку от Нерлина, на подхвате, но встал так, чтобы не демонстрировать свою к нему привязанность. Зачем босс сюда пришел? Всякий раз он пытался предугадать, какое приглашение Нерлин примет, какое — нет, и до тех пор не мог постичь логику его решений, пока наконец не сообразил, что не только жесткий (иногда и жестокий, даже Суреныч поеживался) рационализм руководит его приходом-неприходом (в Кремлевский дворец с обещанным президентом как-то не поехал, и правильно — президента не было): в последний момент включается интуиция, которую Нерлин вполне сознательно поддерживает в хорошей, можно сказать, спортивной форме, не позволяя лени притуплять ее остроту.

По дороге на очередное сборище (собрание, конференцию, прием, юбилей... несть им числа) Нерлин обычно вслух рассуждает, с кем из предполагаемых гостей-хозяев ему нужно бы переговорить, и Суренычу достаточно дать знать, кто явился, сводить даже не надо — сами подходят, и чем важнее лицо, тем позже, иногда уже в гардеробе, но Нерлин никогда не торопится, не суетится — умеет ждать.

Сегодня же не было названо ни одного имени... Подходят, представляются, как всегда, но босс общается со всеми прямо в толпе, не отходя от Калистратовой, а когда ту позвали сфотографироваться пьяненькие сослуживцы, заговорил с ее мужем и в обычную болтовню ловко, шутивно-серьезно вставил: «Вы не против, что я Клаву — (уже без отчества!) — оккупировал?» — «You are welcome».

Простодушный ответ? Опасно-доверчивый? А как по-другому — сознательно или нечаянно — не закрыть возможность отношений каких-либо (с Нерлиным нельзя предугадать, каких, да и Калистратова на простушку-погребушку не похожа)? Обрубить — запросто, поощрить (что унизи-тельно для мужа) — тоже проще некуда, а вот ничему не помешать, сумеет полюбоваться своей половиной, когда у той лучатся глаза, можно, пожалуй, только по-английски: you are welcome.

БЕДНЫЕ ЛЮДИ

К возвращению Макара с конторского юбилея Варя стала готовиться с того мгновения, как, вытолкнув его за порог, хлопнула дверью — штукатурка аж посыпалась (вот он, молдавский ремонт!). Придет муженек — вещи ему в зубы, и гуляй на все четыре стороны отсюда!

Тут же, в коридоре, полезла на антресоли за самым большим чемоданом, чтобы заодно избавиться и от мужа, и от него — по глупости схватили в Париже, в ажиотаже экономии не заметив, что и пустой он тянет руку. Проверить догадались только, удобно ли его везти: предыдущий, купленный на вещевом рынке (барахолке по-старому), из той же экономии (сомнительной: потом выяснилось, что на зарубежных распродажах такие точно стоят раза в два дешевле) все время заваливался набок. А когда набили его и правда вместительное нутро — все-все покупки вошли, даже обувь сложили прямо в коробках, которые всегда жалко выбрасывать, такие они твердо-красивые, — у Макара, тащившего его от гостиничной кровати до такси, в крестце что-то хрустнуло, и всю обратную дорогу они громко выясняли, кто виноват в бездарной покупке. (А чего стесняться, русского тут все равно не понимают — как, думая о колесиках, прозевали неподъемность чемодана, так упустили, что сердитая интонация не требует перевода; французы на них оглядывались, а в аэропорту более культурные соотечественники, чтобы отмежеваться, брезгливо начинали говорить по-английски.) И всю следующую жизнь пришлось Макару помнить, что ничего рывком поднимать нельзя, а только медленно и присев на согнутых коленях.

Чемодан на антресолях за что-то зацепился, ни туда ни сюда сдвинуть его не получалось, сколько Варя ни дергала. На голову свалилась раскладушка, которую держали наверху на случай — очень нередкий — приезда провинциальных родственников. Взгромозила на стул пару толстенных юридических справочников — все равно дотянуться не получилось, добавила энциклопедический словарь, тонкие, гладкие, почти пергаментные страницы которого заскользили, когда она стала переминаясь с ноги на ногу, чтобы выпростать застрявшее колесико, и, слава богу, успела спрыгнуть с пирамиды, прежде чем фолиант развалился надвое.

Спокойно рассуждать Варя еще не могла, но опасность увечья включила инстинкт самосохранения, семьи в том числе, и Макаровы вещи уже не летели кучей в распластаный на полу чемодан, а как бы сами собой складывались ру-

башки, брюки, майки-трусы-носки, будто в командировку мужа собирала, а не выставляла его навсегда из своей жизни. Привычная работа так уладила гнев, что понадобилось поковырять в ране, повспоминать только что разразившуюся ссору, чтобы раж уж совсем не испарился.

С чего чаще всего заводится городская баба? Надеть (жаль, но все чаще говорят «одеть») нечего, денег не хватает, муж попивает-пьет, мать твоя достала... (Цените свое счастье те, кто не знает продолжения — бесконечного — этого реестра бед-обид. Варя знала.)

С дачи, где оставили бабу и сына, вернулись под завязку, душ только принять, переодеться и мчаться на юбилей. И вдруг выясняется, что летний костюм, единственный, в который Варя и рассчитывала принарядиться, на ней не сходится. Пиджак, конечно, можно не застегивать, к петле на поясе уже привязан удлинитель-уширитель из белой бельевой резинки — крепдешиновая кофточка носится навывпуск, чтобы скрыть ухищрения, — но молния на юбке никак не идет, а когда Макар стал неуклюже (выпил уже, что ли? нет, вроде не пахнет) помогать, она совсем неремонтируемо разошлась. Нечего надеть... Кто виноват? Пошло-поехало...

Какого черта, прости господи, она работу бросила! Почему только она должна с Сашкой уроки делать, а Макар — никогда? Хорошо еще, что бабка не такая вредная, иначе бы совсем хана... Хотя с ней же говорить невозможно! Тюки эти с макаронами, с пшеном навезла... И попробуй втолковать, что сейчас все купить можно, что протухло же все, с души от одного вида воротит... Доковыляет раз в месяц к базарчику, разохается до «скорой помощи» — сердце-то и правда никуда не годится, особенно тяжело стало после смерти Макарова отца — и варит эту тухлятину. Давишься, а ешь... Еще эта деревенская привычка в тазу замачивать исподнее вместе с полотенцами-наволочками. Вонь на всю квартиру. Порошок-то не признает, только мыло хозяйственное, из собак которое варят... И попробуй при ней на Макара цыкнуть! Как же — сын, хозяин... Почтение, преданность и уважение-унижение — вот единственная сексуальная позиция... Прости господи! Варя перекрестилась.

Ну, все уложила, ничего не забыла... Чемодан легко зашелкнулся. Помогая себе коленом, поставила его на колесики и подкатила к двери. Теперь что? На кухню, покурить. Потом чай... Что там, в холодильнике? Банки, банки — стеклянные с помидорами и огурцами, железные с консервами, рыбными и мясными, для дачи, кусок сыра заскорузлый... В шкафу? Печенье, орехи, торт вафельный. Кусочек съем, от

одного не потолстею... Вкусно как, еще один... Успокоилась только, весь торт проглотив, как алкоголик какой-то. Черт с ней, с вечеринкой! Разговаривать там надо, улыбаться или в углу стоять неприкаянно, знакомых-то мало... Одной даже лучше. Откатила чемодан в детскую — может, он сегодня не напьется?.. Телек включила. Поворот ключа в дверном замке ждала уже совсем без ненависти.

— Ну, мать, милота охрентительная, прости за точность формулировки. Недотрогу нашу Нерлин подцепил, и Костюничик хоть бы хны, бровью не повел. Сговорились они, что ли? Как думаешь? Все бабы бляди... Кофейку покрепче организуй, а?

Макар обнял Варю и помял ее грудь, легкодоступную в ситцевом халатике, без лифчика. Пахло от него только сигаретами и возбуждением, которое сразу передалось и ей.

В кровати они смаковали (воображение незаурядное, творческое) подробности Клавиного падения, как будто порнуху смотрели, типа Тинто Брасса или покруче, одинаково подстегивающую обоих. Варя даже согласилась на... В фильме «Шлюха» проститутка объясняет, чего жены мужьям не делают, вот на это.

Четверть часа дверь в кабинет Макара не дергалась, не открывалась, он даже проверил, не заперто ли. Телефон молчал — вообще-то ничего неожиданного для пятничного вечера во второй половине августа. Да, одиноким маргиналом чувствует себя всякий, кто до сих пор еще не съездил в отпуск и уже не поедет. А не понимаешь своей второсортности — втолкуют, очень доходчиво для чувствительного человека. Вопрос «где в этом году отдыхаете?» начинают задавать весной и лишь к декабрю его разящая сила ослабевает (не сразу, глагол проходит еще стадию прошедшего времени — «отдыхали»), и то только потому, что подоспело: «А на Рождество куда поедете?»

Само слово «Рождество» пробилось в бытовой контекст благодаря ауре начинающегося века-тысячелетия, разветвилось на западное и православное и принялось избавляться от духовной сущности, чтобы беззастенчиво, как нувориш какой-то, кичиться своей позолотой, вошедшей в моду.

В советские времена с модой было попроще: из двух двигателей, идеологического и экономического, которые поддерживают ее искусственную жизнь (у первобытных людей никакой моды, думаю, не было, животному и растительному миру она тоже ни к чему), ведущим был, конечно, идеологический. Простодушные — а это состояние и удобно, и есте-

ственно для преобладающего большинства сограждан — не задумываясь, послушно праздновали майские и октябрьские; ханжи, трусы и карьеристы тоже демонстрировали свое подчинение моде, втихомолку обтяпывая делишки, совсем не поощряемые официозом. Ну и до чего уж такого необычного они додумывались? Какое-то детишко члена Политбюро стреляло слонов-тигров на африканском сафари. Некоторых удачливых перестройщиков это так впечатлило, что они, дабы переплюнуть коммунистическую роскошь, везли самолетом свой любимый джип на такие стрельбища (как пароходом из Парижа хлестаковский суп)... И фантазия их убога... А все ведь узнается, тайное становится, неминуемо становится явным: программа Всевышнего имеет много степеней защиты, и затаивший обиду — один из ее стражников. В случае с детишкиным сафари проговорился знатный советский режиссер, безропотно отдавший тогда свою заграничную премию на это самое развлечение. Через много лет такие усердные послушники начали бравировать былым конформизмом, выставляя себя страдальцами от жестокого режима.

Тут уж восхитишься поклонниками джаза (среда интеллектуалов в провинции, в Москве — гораздо шире), носителями клешей с колокольчиками, стилиягами всякими — такая фронда, доступная не только элите, такая инстинктивная борьба с оупляющей и развращающей морально-идеологической скукой честна и отважна. За решетку тогда могли привести эти, детскими сейчас кажущиеся, шалости. Впрочем, заигрываться всегда опасно, лимоновская судьба тому пример. Настоящий фашизм страшен, но он умеет защищаться, а с игровым эпатажем бороться проще, эффективнее и безопаснее для чиновников, вынужденных имитировать правосудие.

Макар-то с Варей никогда не шли поперек моды, неофициальной в том числе. (Такой штрих: познакомились они в своем провинциальном университете, Макар был главным редактором рукописного журнала, а Варя принесла туда свое «не могу молчать!» о преддипломной практике в блатной горкомовской больнице. После выхода в свет очередного номера она потеряла обещанное место, а он — аспирантуру. Пострадать за идеологическую смелость было очень модно. Но горечь от притеснений не прошла и тогда, когда Макар уже поступил в московскую аспирантуру. Всего один удар государственного кнута, а какой педагогический эффект... На всю жизнь научил не лезть на рожон. С тех пор Макар стал универсалом — никогда ни с кем не ссорился, ни к каким крайностям не присоединялся, в партию не вступил, но и в диссиденты не подался...)

Так вот насчет отдыха — в те времена Макар с Варей послушно и с удовольствием ездили, как все, кому это было доступно, в Сочи-Болгарию-Карловы Вары, а теперь пожарились уже в Анталии и на Коста-Браво, на Кипре и в Италии — кажется, именно в такой последовательности наши стада открывали для себя европейский мир, паслись у воды, по возвращении опять сбивались в стада, чтобы посравнивать за трапезой, утонченной европейскими навыками, свой шоколадный загар, обильность шведского стола, обманчивую звездность отелей... Гурманы упоминали еще картинные галереи, архитектурные красоты, но в каждом застолье таких любителей было не более одного (если и двое, то из одной семьи, не будет же голова с головой одного дракона между собой разговаривать, когда рядом другие животные есть), и сравнения никакого не получалось.

В это лето были запланированы Мальдивы, но как только выкупили путевки, пришлось сдать в больницу бабку — инфаркт. Оставалось кичиться своими несчастьями... А тут сменилась мода на страдания, господствовавшая в советские времена (ханжеская мода, в душе-то не огорчались, а радовались соседским бедам, сами их кликали на чужие головы — низость человеческой природы можно скрыть, но никак ее не уничтожишь). Похвалиться стали успехом, богатством, здоровьем. (Фашистские какие-то добродетели, ни один человек не может обладать ими всю жизнь. Триада эта требует притворства перед другими и вранья себе — вот в чем ее разрушительная сила.)

Здоровье... Стоило Макару подумать о нем, как он сразу почувствовал, что за грудиной опять давит — привычная уже боль, а всякий раз, распознав ее, понимаешь, какая это вредная привычка. Хорошо хоть пить бросил... И тут же мысль метнулась к сейфу, где был спрятан (от кого? ключ ведь только у него... от самого себя и спрятан) бутылек виски, оставленный бизнес-вумен одной, с комсомольской юности усвоившей, что презент делу не помеха. Именно знак признательности, а никакая не взятка. (Да и что такое взятка — всего лишь комиссионные, не облагаемые налогом, процент от сделки, улизнувший от государства. Кому по силам прервать эту дурную бесконечность: государство накалывает своих граждан, и они пользуются любой возможностью провести государство, а оно со своими гражданами по-другому никак не сладит, как только обирая их, а они...) Ну, в случае с бутылкой нехороших подозрений не возникает у знающих, ведь и самая дорогая по сравнению с суммой заключенного контракта — мелочь, смешно даже всерьез это рас-

смастривать... Но вот год назад, когда у Макара руки начинали подрагивать, как только он дотрагивался до пузатого прохладного бока, пришлось искать другой эквивалент универсального подарка. Найти не получилось, не зря во времена дефицита — товаров ли, денег, все равно, — бутылка была самой крепкой валютой, а талон на водку в разгар инфляции не обесценивался ни на йоту. Спиртное — на территории России — заряжается энергией, не тепловой, не психологической, а метафизически-загадочной, как русская душа.

И вот все эмоции уже сосредоточились на том сосуде, Макар мысленно раздевал тягучую коричневую субстанцию, видел ее сквозь железную дверцу сейфа, сквозь глянцевую картонную коробку и яркую этикетку с пшеничным, почти нашим, шишкинским полем... Рука сама по себе, не подчиняясь головным командам, стала шарить в портфеле, сначала спокойно, медленно, а под конец все более нервно и раздраженно. Вывалил содержимое на стол — нет ключа... А, черт, с тех пор, как новый кейс посеял то ли в такси, то ли в подворотне — по пьянке так и не вспомнил где, — ничего важного там не держал. «Где же этот ключ гребаный?!» — вслух выругался. Может, во внутреннем кармане пиджака? Нет, в рубашке сегодня пришел — жарко и никаких официальных встреч-переговоров не назначено... Вывернул карманы брюк, проверил, нет ли в них дыр — целые, Варвара следит. Должно быть, дома валяются. А и потерял — наплевать! Где-то тут дубликат должен быть. И точно, вот он, в коробке со скрепками. (Спросить бы у профессионалов, у воров, вправду ли стоит держать маскируемый предмет на самом видном месте или это очередной литературный обман...)

Но как только Макар повернул зеленую ручку, похожую на самый примитивный, без всяких там прибабасов, штопор и внутри сейфа щелкнуло, раздался еще один стук. Он успел отдернуть руку — быстрота реакции какая! — прежде чем голова секретарши, просунутая в дверную щель, объявила: «Калистратов к вам, примете?» И как собака, привычно и с азартом приносящая пластмассовые тарелки, улетевшие в кусты (забава такая, кто дальше кинет), увидев настоящую дичь — хотя бы зайца — забывает об искусственных навыках ради природных, так и Макар метнулся к столу и вмиг изготвился, то есть расслабился: ведь только в спокойном, уравновешенном состоянии стоит начинать любой осмысленный разговор (впитывающая способность спокойного человека очень мала — мокрой тряпкой лужу не вытрешь, ее сперва надо отжать), иначе получится самодовольный монолог (искренняя увлеченность тоже отдает са-

модовольством; глубокая, новая мысль по пути наружу гармонизирует своего носителя, мудрецы не бывают суетливыми) или пустопорожняя болтовня, что случается чаще всего. Дайте-ка себе правдивый отчет, с чем вы вышли из долгой беседы-посиделок (официальные конференции, круглые столы не в счет, речь только о добровольных встречах, когда каждый волен уйти в любой момент) — с потерей времени, с подпорченными отношениями, с недовольством собой... Как ни суди, все плохо. А что хорошо? Узнать другого, углубить свои мысли, научиться и научить... Бесконечно можно продолжать. Главное — взаимодействие, настоящее, сущностное, дает передышку от данного природой рокового друга-врага, от одиночества.

— Привет! Не помешал?.. — бормотнул Костя ритуальные вежливости, не оставляя Макару выбора, приговаривая его к разговору с собой. По праву крепкой многолетней дружбы. А дружескую ткань время от времени тоже нужно проверять на износ...

Скинув пиджак, Костя остался в прилипшей к спине и груди, мятой и мокрой, белой рубаше (стоцентный хлопок самоотверженно впитал весь пот, синтетика бы позаботилась о себе, а не о своем носителе). Плюхнулся в кресло у низкого приставного столика и стал через голову снимать темно-синий галстук с орнаментом из рысаков, аккуратно не вышло, короткий конец самовольно вырвался из узла.

— Черт! Поможешь снова завязать, а то мы с Клавой не умеем...

— «Мы с Клавой», — хмыкнул Макар. — Да ты у нас монотонан...

Косте бы прислушаться, понять настроение своего визави... Но нет, он несся, как одержимый одной думой, и пропустил ироническое, совсем не дружелюбное замечание мимо ушей.

— Сбрую пришлось натянуть — на работу ходил наниматься, рядом здесь... Тайм-аут взял, чтобы с тобой посоветоваться...

Макар вышел из-за своего солидного, с кожаным бордюром, стола и разлегся в кресле напротив Кости, вытянув ноги и ничуть не стесняясь выпяченного, и без этой позы вываливающегося из брюк пуза. Направив на себя вентилятор, закурил, и эта расслабленность, вальяжность, через губу и сигарету подаваемые реплики — вопросы, междометия-понукания, — попадающие в ритм Костиного откровенно-наивного, не управляемого уже им потока-рассказа, как стек и поглаживания наездника во время скачки, помогли ему не

только вытянуть всю подноготную, но и незаметно для Кости внушить ему выгодное себе решение. Сказалось умение с помощью хорошо продуманной откровенности, очень дозированной, расположить к себе любого.

А стойку он сделал сразу, как только услышал «был рядом». Рядом находилась контора Макарова компаньона, с которым он вел дела, скажем так, рискованно, утаивая (вынужденно, по ситуации) больше, чем допускал неписаный кодекс русской (точнее, постсоветской, от русской дореволюционной начало уже что-то возвращаться, но пока это крохи) бизнес-чести.

Наивные простаки еще тешат себя мыслью, что друг-компаньон — величина постоянная (они ленятся или не способны в принципе решать задачи с переменными величинами), а это типичное «икс», в которое ситуативно подставляются любое надувательство и измена. Жизнью — хочешь — не хочешь — управляют законы высшей математики (в какой-нибудь дорогой психушке медперсонал может обустроить тебе простоту арифметическую), и то и дело вокруг жестокого преступления ставятся вертикальные палки, знак абсолютной величины, освобождающий событие от тонкой морально-этической оценки; палки эти нивелируют плюс-минус, превращают злодеяние в силу,двигающую жизнь вперед. (Крайний, совсем уж крайний случай — американцы, арифметический народ *par excellence*, не учли, что в эти палки-небоскребы, поставленные для богатого Запада, вломится озлобленный и нищий Восток.)

— Не твоя это стезя, старичок, — устало поучал Макар, закрывая сейф, содержимое которого стало ему безразлично. — У тебя научные работы, студенты, имя... — Скосив глаза на Костю (так хозяйка пробует, не положить ли еще сахарку в компот), он решил добавить лести, чтобы совсем убрать вертикальные морщинки на переносице подопытного и раздвинуть его губы в улыбку, самодовольную. — У тебя же школа есть своя! Зачем так рисковать! Не советую ставить все это богатство на карту! И потом, ты же у нас мономан, не тебе на сторону ходить...

И Костя, которого справедливая Клава не называла дураком даже в чаду ссоры, проворонил, не заметил, как за яркими, броскими ярлыками — «имя, школа» — спряталось примитивное, местного пошиба-пошива «куда прешь!». Жаль, конечно, было расставаться с долларовым журавлем, но друг прав, синица в руках вернее... Совсем не хотелось никаких фривольных приключений... И в его голове косяком понеслись обломовские аргументы, которые умело оправдывают бездействие так называемого русского интеллигента.

ОТКУДА ВЗЯТЬ СИЛЫ

— Ничего, что я на «ты» сбиваюсь? — спросил Нерлин под конец Клавиного телефонного отчета, добросовестно-лаконичного, без шелухи подробностей, несущественных, как она понимала, для их рутинных конторских дел — отчета, по ходу которого он задавал вопросы, неожиданные даже для изощенной в профессии Клавы. Причем как только двуголосная мелодия стала прерываться паузами, молчанием, за которым скрывалось ее замешательство, удивление, Нерлин тут же повел разговор в полифоническом стиле, к деловой теме добавив побочную, учительскую: «Ты, конечно, понимаешь, что в нашем бизнесе все важно. Глупость партнера или намеренный обман — а не думай, что ложь опаснее дурости, часто убеждался в обратном, — обнаруживают себя в жестах, мимике... По глазам легче всего читать, но мне пришлось научиться расшифровывать голос, интонацию, темп речи. Не суетиться, вот что важно. Однажды, в юности, из окна увидел, как медленно движется черный комок на льдине, бинокль взял — ворона. Умеет летать, а предпочла использовать скорость течения... С тех пор я никогда не тороплюсь...»

Столько новой открытости, откровенности, доверия (в их настороженном мирке — такая смелость!) было направлено на Клаву, что она сбилась с колеи, утоптанной учтивостью и сдержанностью (материнская школа), и вместо холодноватого «как вам будет угодно», которым без напряжения пресекались попытки «тютюирования» (почти все обычно отступались и возвращались к «выканью»), в ответ на предложенное «ты» она выпалила: «Мне сорок шесть уже!» — округлив цифру в сторону увеличения не по женским законам, а по арифметическим, и тут же, про себя, запричитала: дура! дура!

В пылу самобичевания Клава вскочила с кресла и забежала по квартире — пополудни, она была одна дома. Презрение, гулкое, заставляющее дрожать все жилочки, отвращение к себе парализовало все ее эмоциональные реакции, хорошо хоть память не отрубилась, и потом, вечером уже, исповедуясь перед Костей в своем идиотизме, она вспомнила не только то, что сказал ей Нерлин, но и молчание в трубке, надолго, на вечность отделившее ее от собеседника. Но то была не пустота, а тишина, в которой она, им же и наученная, слышала, как он думает не о том, что сказать, а разбирается в себе, проверяет, не хочется ли увильнуть, сбежать.

— Зря ты это сказала... Я даже некоторый шок испытал... Я думал тебе гораздо меньше... Но это ничего не изменит в наших отношениях...

«Каких таких отношениях?» — удивленно спрашивала она мужа, не замечая своего кокетства.

Привычка трястись над единственным чадом за время метаний по врачам стала рефлексом, потребностью, доходя уже до всепоглощающей, болезненной страсти, которая требует все нового, свежего топлива, то есть оба родителя искали и находили оправдание своей неумемной заботе, и фантазия у них разыгрывалась незаурядная. Неуправляемый вирус доброты атрофирует волю им зараженного — нормальный с виду человек неминуемо и незаметно для себя (для близких тоже) превращается в инвалида, и вместо того, чтобы перебираться через естественные препятствия, которые ставит людская злоба, ревность, зависть (каждый побывал их строителем, кто нет, киньте в меня камень), и наращивать благодаря этому тренингу не стероидные, а крепкие, хорошо действующие мускулы, — человек робеет, отступает и скатывается на обочину, а ум услужливо подсовывает философию клошара, пораженческую, ведь победное место Диогена (в бочке, если кто не помнит) при повторе, тиражировании, как всякое искусство, становится лишь пародией.

Дуня бы тоже не устояла, испортилась — иммунитет к обычным болезням у нее восстановился, а откуда у доверчивой, домашней девочки-девушки возьмется иммунитет к неразумной родительской доброте...

Одумалась Клава, сказались-таки гены строгости, переданные Елизаветой Петровной, которая, живи она поближе, давно бы поставила на внучке клеймо «избалованная» (невыводимое, как лилия на плече Миледи; строгость — необходимый инструмент воспитания, но не делайте ее орудием единственным или самым важным: по этой искусственной канаве из воспитателя начнут выливаться мстительность, зависть, садизм, и сдерживать этот поток зла отнюдь не всякому захочется), если б оно не было уже использовано для младшей дочери. «Избаловал тебя Костя», — брезгливо-обиженно поджимала она губки и тогда, когда Клава первый раз летела в Лондон по подаренной мужем путевке (виза, самолет, гостиница, без навязанных попутчиков и экскурсий), и когда замечала у нее новые сережки с бриллиантами (сэкономил профессор на зарубежных суточ-

ных, тогда и купил в ювелирном отделе супермаркета — то есть ничего эксклюзивного в них не было, кроме любви, которая и поблескивала теперь в ушах Клавы, и нельзя ее было конвертировать в страховку на гипотетический «черный день» — это-то Елизавета Петровна понимала), и когда осуждающе причитала «сами бы еще могли поносить», примеряя разношенные, но целые адидасовские кроссовки, новый свитер с фабричной дырочкой на груди («заштопаю, видно не будет, и носи сама» — «не надо мне, мамочка, по ошибке купила»), вышедшие из моды платья-майки-брюки, которые сама же просила не выбрасывать — «в саду все сгодится».

— Ну, отдохнешь, и за работу, то есть за ее поиски, — глухо, с пластмассовым, не хрустальным звуком чокаясь шампанским с Костей и Дуней, провозгласила Клава — в духе горьковского деда Каширина: не медаль, мол, на шее, иди-ка ты в люди. Красный университетский диплом дочери отмечали.

Почти всякая декларация обречена на фиаско, и Клавино намерение приговорить дочь к полной самостоятельности очень скоро зачахло, изжило себя: толчок, подсказанный только разумом, без участия сердца, потерял свою силу.

Сколько ни тыкалась Дуня, результат получался банальный, лень даже описывать: за копейки, то есть за рубли — места есть, но... работать нужно по-современному, много, а платят по-советски, мало, очень мало, на картошку не хватит. (Говорят, есть диеты, по которым от макарон-каш-картошки худеют, но у Дуни с Клавой, нет, у Клавы с Дуней, то есть по воле матери, дочь о весе заботилась добровольно-принудительно, из подражания, — не получалось, лучше все же общепринятые фрукты-овощи, по законам рыночной востребованности и благодаря базарной мафиозности дорожие даже осенью, в разгар самого небывалого урожая.) Это если найдешь штатную работу, Дуня же пока перебивалась случайными гонорарами: писать начала на ставшие популярными экономические и юридические темы, сперва для научных журналов, потом ее материалы стали печататься и на серо-белых газетных полосах, и на цветных, гладко-блестящих журнальных. Хвалили, цитировали, особенно на хляву в Интернете и по телеку, воруя Дунины формулировки — горька судьба внештатно-заштатного автора, если кто еще не знает.

Первым задержался Костя. Плотно закрывал дверь своего

кабинета, чтобы позвонить, прятал глаза, путался, отвечая на простой вопрос «куда едешь?», задаваемый не ради контроля, а для помощи — чтобы паспорт не забыл, если нужно в посольство за визой; дискету, если статью в журнал везет; галстук, если официальное что-нибудь; студенческую работу, если с дипломницей встречается (все это не раз уже забывал, никакого преувеличения). Неумеренная доза такой заботы постепенно лишает человека самостоятельности, отнимает у него свободу, а когда к ней подключается старость, то вместе они быстро превращают его в беспомощного чудака, почти карикатурного профессора. Но так происходит только когда хочешь — осознанно или не отдавая себе отчета, все одно — привязать к себе дорогого человека (дорогого из-за сильного чувства к нему или по меркантильным соображениям, любовника-любовницу, мужа-жену, сына-дочь или друга — приемы и результат сходны).

Не Клавин случай. Прежде всего потому, что первые годы она жила с мужем по вышученному в «Скучной истории» принципу «наша шапка». Все, даже его почти энциклопедические познания (Костин ум, как желудок, все время требовал информационной пищи, которая после ее потребления не отлагалась в кроссвордно-эрудитные складки, пригодные разве что для телеигры в «миллионера», а перерабатывалась в новые идеи, в научные теории) считала «нашими», пока его раздражение, растущее от ее вопросов (а память без тренировки перестает выдавать даже самые элементарные сведения, Клава могла забыть, когда родился Пушкин — зачем ей помнить, если у Кости наготове даты жизни всех сколько-нибудь значительных мертвецов и годы рождения всех-всех интересных ему живых) и ее чувство стыда (приватизированные Костины знания создали ей репутацию, поддерживать которую было все труднее, пару раз она крепко лажанулась — грубоватое слово, но точнее нет, чтобы вырезать из памяти постыдный случай), объединившись, не вынудили-таки ее самое искать и запоминать информацию.

Но бороться с самим собой за самостоятельность любимой, только что выздоровевшей дочери... Не Костин случай. Договаривался с приятелями, коллегами, шапочных знакомых теребил, чтобы посылать послушную Дуню на собеседования. В одной иностранной фирме она проработала весь испытательный срок, три месяца, ни одного прокола не допустила, но под надуманным, несправедливым предлогом в штат ее не взяли. Потом, позже, когда множество подобных случаев выстроилось в систему, пресса заклеяла халаянную практику эксплуатации новичков, завезенную европейцами,

чтобы не платить аборигенам нормальное жалование — и юридически не подкупаешься!

Все охали-ахали, сочувствовали — «такая девочка, умная, образованная, талантливая, надо же!» — но ни разу даже не промелькнуло реального совета, когда советчик берет на себя хоть какую-то ответственность за результат (фирма та возникла по рекомендации Макара, он, правда, хмыкнул потом — довольно или виновато, разве по нему поймешь! — а возмущалась Варя, темпераментно осуждала, как южанка какая-нибудь).

— Ты обратную связь не умеешь устанавливать! — набросилась Клава на мужа, когда дочь закрылась в своей комнате, чтобы расшифровать интервью, которое она взяла перед рок-концертом у молодежного, и своего тоже, кумира, добилась разговора с не жалующим прессу певцом-композитором, и не по заказу от газеты, а для своего удовольствия. Пристроит ли еще потом в печать?

Костя не огрызнулся, не запетушился, как делал чаще всего, рефлекторно отстаивая мужскую амбицию, из-за чего справедливость упреков почти не доходила до его сознания, отскакивала, как мяч, слишком сильно и неметко брошенный в сторону корзины. Если он что-то и воспринимал, то только когда против его воли память, цепко реагирующая на мысль, удерживала в своем горбу суть спора, и в спокойном состоянии — например, шагая в одиночестве по арбатским, сретенским, замоскворецким переулкам (бесцельная прогулка по Москве помогала наткнуться не только на архитектурную красоту, в сфере идей тоже кое-что открывалось), — он начинал анализировать засевшую информацию, и его честный научный ум не мог отвергнуть здравые, хоть и горькие мысли.

А Клава не могла сдержаться, остановить свое наступление, ведь она чувствовала (эмоции, пока только эмоции, думать бы ей начать; вульгарно со стороны выглядит не умеющая контролировать себя сорокапятилетняя баба, и старит это, поэтому, может быть, темпераментные южанки так быстро становятся неаппетитными), что вот оно, больное место, которое нужно лечить или проще (не значит, что лучше) — удалить. Ну, с другим человеком, даже если это многолетний друг-подруга или кровный родственник, можно еще распрощаться-расплеваться (это по-плебейски, по-простому) или отдалиться от него (что интеллигентнее, а следовательно, сложнее)... Но со своей собственной запрограммированностью, с помимо воли повторяющейся схемой взаимоотношений что делать?

Сейчас же Костя взгляда не отводил, и секунды было ей довольно, чтобы распознать не холодный блеск отпора-обороны, а какую-то отчаянную глубину, в которой читались и вина, и страдание, и, что ужаснуло Клаву, затравленная покорность...

— Не ты, солнышко! Мы! Мы, трое, все одинаковы... — Клава подседа к мужу на самый край углового дивана и, балансируя на одной ягодице, прижалась к нему. — Да что мы с тобой — Дуня, и та столько человеков уже поддержала, столько могли бы быть ей обязаны, но мы ведь кичимся своим благородством, без слов внушаем, что нам в ответ ничего, совсем ничего не надо. Направо и налево сорим участием в чужих делах... Неизбирательная доброта бесполезна, да нет, хуже, вредна. Развращает она получателей. И нас, дарителей, тоже портит, — хоть и подсознательно, но мы ждем ответа, как ждет влюбленная дурочка намечтанного звонка-приглашения... Или уже озлобились, или озлобимся... И ведь сами-то мы никогда не забываем того, кто нам помог, пусть только вниманием поддержал, позвонил вовремя и из меланхолии черной вывел. Наивно думать или хотеть, чтобы все были такими. Если прямо условия не проговорены, цена не проставлена, да еще всем своим видом демонстрируем, что мы не торговцы какие-нибудь — а что, собственно, такого плохого в частных и добровольных торгово-денежных отношениях? Чем мы хвалимся? Посредник между производителем и покупателем все равно нужен. Но, конечно, если не обговорены предварительно условия помощи, то бесполезно принуждать платить долги после, *post factum* (как *post coitum*) — получишь фигу! Да и нечестно это, благородство-то мнимым оказывается, ведь обычно цена тому, кто ее назначает, представляется минимальной, для плательщика же она, особенно неожиданная, всегда завышена (по сравнению с нулем — все много), а может оказаться и просто неподъемной, особенно если речь идет не о деньгах, а об услугах... В общем, есть о чем подумать.

На кухню вошла Дуня — кофе понадобился как топливо, без которого пробуксовывает туповатая работа по расшифровке диктофонной записи. Включила радио — только у музыки был шанс справиться с напряжением, под которым любой контакт, даже между любящими, может заискриться, и до пожара недалеко...

— Тише, воду выключи! — Клава шикнула, когда начали передавать новости начала часа, но усталость придала ее голосу звучание гаснущего, а не разгорающегося огня.

«Только что мне принесли трагическое известие о кончине экономического обозревателя, часто выступавшего на нашей станции, Анастасии Калистратовой. Позже мы сообщим подробности, пока же известно лишь то, что она была страстной поклонницей экстремальных видов спорта и погибла на Мальдивах во время дайвинга», — победно объявила ведущая — теперь они, журналисты, так гордятся эксклюзивом, что не считают нужным скрывать свою циничную радость. По радио это режет уши, а уж когда по телеку бодро, не состроив для приличия даже нейтральной физиономии, сообщают о десятках жертв взрыва, или катастрофы, или эпидемии, или наводнения, или водки самопальной или... очередной трагедии для фантомных массмедиа и единственной для кого-то, вполне реального, то стыдно становится за все человечество, скопом.

Клава вырубил бестактный прибор — все трое нуждались в тишине, чтобы ничто не загрязняло чистое вещество скорби, которое по их семейным понятиям облегчает переход любой, и грешной, и праведной, души в мир иной. То была их семейная рефлекторная реакция на уход человека — печаль, сожаление, скорбь... Потом, во второй момент — а он наступает, раньше или позже, в зависимости от отношения к покойному и от благородства души, у всех, каждый начинает думать, что эта смерть значит для него, что меняет в его собственной жизни, что он теряет и что приобретает... Не шарайтесь ханжески от последнего глагола, покопайтесь в себе и отыщется меркантильная мыслишка — у кого на видном месте, у кого в закоулках подсознания. Проговаривать свои выгоды, прилюдно обнажать эти неприличные мысли — вот что недостойно, у цивилизованного человека язык не должен поворачиваться (завещание читает обычно юрист)...

Клавиная мысль пронеслась со ступеньки на ступеньку — вверх бежала или вниз? — и в слова облачилось только финальное чувство, в котором сплелись два желания — помочь дочери и отомстить своей обидчице:

— А что, если Дуне попробовать?

— Что попробовать?! — резко, сердито крикнул Костя, отвечая не столько на последний вопрос, сколько мстя за справедливую, им не отпарированную критику. Догадался, конечно, о чем речь (на подлую статеечку однофамилицы он негодовал больше и дольше Клавы), но осудил ее за то, что она так быстро и прямо обнажает свой расчет... А еще по-мужски, трусливо то есть, отмежевался от ее житейского практицизма, которым не раз пользовался.

Но Клава знала, что только бездействие безупречно, любой поступок с чьей-нибудь точки зрения балансирует на грани приличия, и она, хватаясь за первые попавшиеся слова, частенько нарушает этот баланс, пусть только формально нарушает, а не по существу, но ведь координаты морали — это и есть форма, и каждое время наполняет ее своим содержанием. И она не сдалась, не стушеввалась. Она продолжала:

— Как — «что»? На место освободившееся устроиться... И поскорее, пока другие не спохватились... Известие только что принесли, а когда она... погибла — не сказали.

— Мамочка, ты не знаешь — в такие газеты с улицы не берут!

— Опять эти пораженческие настроения... Оправдание трусости и лени, вот что это такое! Ты не с улицы, а из профессорской семьи... Собери все статьи напечатанные, да не вырезки, а ксерокопии в папочку сложи, диплом свой предъяви, и однофамильность может дуриком сработать. — Клава мстительно ухмыльнулась-улыбнулась и добавила еще энергичнее, но все же сдерживая свой напор, который мог подавить минимально необходимую активность дочери: — Рискни, ты же потерять тут ничего не можешь... Не бойся шишки себе набивать, их нужно складывать в копилку своего жизненного опыта...

Клава сама удивилась смелости, с какой дочь учила... Откуда она взялась? Да из нее самой, откуда еще?! Лежала эта смелость под спудом, который Нерлин походя сдвинул, о себе рассказывая.

Как строилась фабула нерлинской жизни? Просто, как у всякого умного и притом эмоционально-энергетически богатого человека. Свою щедрость природа проявила, конечно, не к нему одному, рождается таких много, может быть, большинство младенцев наделено этими качествами, но управлять ими, не проматывать, а приумножать этот неосязаемый, не поддающийся никаким измерениям — денежным в том числе — капитал удастся единицам, одному из... так ли уж важен процент? Пусть одному из ста тысяч... Вот они-то и есть большие, реализовавшиеся таланты, из которых потом время (время, а не современники) выбирает и называет гениев.

Константин Нерлин рано, в отрочестве уже, как только вымахал до теперешних метра восьмидесяти пяти (до того все силы шли в рост), понял, что судьба — не прямая, а ло-

маная линия (много раз это потом подтверждалось, буквально даже) или даже стрела — ведь обратного хода ей нет: наконечник-то застрекает, как крючок в жабрах пойманной рыбы, — и нужно быть очень начеку на поворотах-изгибах, то есть когда есть выбор: направо пойдешь-поедешь, налево... А чтобы с ума не сойти от бесконечного числа подбрасываемых жизнью возможностей и постоянных раздумий, что выбрать (с утра: встать сейчас или еще понежиться, потом: есть или не есть, идти или не идти, встречаться или не встречаться... до: быть или не быть), разумный человек обрастает близкими, теми, кто от него зависит и от кого зависит он, и укрепляет свое чувство ответственности. Главное — двигаться, нерешительность чревата транжирством энергетических ресурсов (на обычном топливе большинство живет, только одиночки, один из ста тысяч, учатся использовать бесконечную энергию солнца-ветра и человеческой доброты-злости).

Первые свои выборы он делал в середине пятидесятых: учиться — в Москве, жениться — на самой красивой из предложенных женщин, служить... Вот тут простота заканчивается, очень разные были варианты для первого по всем статьям эмгэушного краснодипломника: аспирантура плюс преподавание или практическая работа (юрист полагался каждому почти учреждению, а штатное расписание в те времена — святыня) минус ученая степень. Условия задачи были уж очень подробны, в них читался ответ, бессонной ночи даже не понадобилось на раздумья: нужно было снимать квартиру, родителей поближе к себе перевезти, жена, однокурсница, через неделю после защиты диплома родила двойню.

И он поступил на службу. Смело, решительно менял место, как только осознавал, что вслепую ориентируется во всех местных закоулках, то есть может на автопилоте, не напрягаясь, выполнять, и отлично, как рутинную работу, так и неожиданные задания. (Много раз предлагали в партию вступить, то есть начать по карьере вверх двигаться, и не пехом, а в лифте, и снова ночью крепко спал: не то чтобы предвидел, как на площади будут жечь краснокожие партбилеты, а... что тут объяснять, кто тогда жил, знает, а молодым это без надобности, кому интересно, расспросят дедушек и бабушек или учебник истории почитают, не может не появиться достоверных книжек. Разглагольствуют на эту тему только те, кто свою беспартийность подороже продать теперь хотят, Нерлину же такая реклама претила. Потом, в бизнесе, бывшие и настоящие коммунисты предпочитали

его многим другим и благодаря той сдержанности тоже.) Уходил, бывало, в никуда: ноги просто не шли по не сулящей ничего нового дороге.

Дольше всего проработал адвокатом по гражданским делам: готовясь к процессу, предвкушал с бодрящим волнением свое сражение с прокурором, с судьей и особенно с предрешенным — по разным причинам, чаще по человеческой слабости, чем идеологически — вердиктом: он умел из любого сора извлекать информацию (информирован — значит защищен).

Волнение (только не тревога) тут важно и необходимо, по нему, как по температуре тела, можно судить о качестве жизни, именно оно сигнализирует о том, что любовь еще не прошла, что вдохновение не иссякло... Долгое время без волнения — это анемия, что-то тогда срочно нужно предпринимать, а совсем без него — смерть, только мертвецы не волнуются. Но и все время быть под напряжением опасно, тридцать семь градусов еще ничего, не везде и больничные дают, но тридцать восемь, да постоянно, без ночной даже передышки, психика долго не выдерживает, особенно у женщин.

В какой-то момент, когда внешняя жизнь — а Нерлин всегда учитывал, как она влияет на частную (сколько угодно декларируй свою аполитичность, независимость, — революция, война, дефолт, террорист какой-нибудь все равно тебя достанут), — подавала явные сигналы того, что у властных мудрецов иссякают силы подпирать ширму-генсека и нужна постепенная эволюция, иначе все революционно рухнет, но начинать изменения и энергии у старцев не было, и эгоизм не велел: как ни лечись, дожить до результатов они все равно не смогут. Нерлин, до того лишь умозрительно представлявший бессонную ночь (обычно поздним-поздним вечером он только прикоснется щекой к накрахмаленной наволочке, как уже слышит зов внутреннего будильника — ночь минула), выкурил пачку сигарет на балконе под полной, сияющей луной, чтобы додумать, рентабельно ли тратить на адвокатство свои силы, все равно до полной самостоятельности не добраться. Перед выходом на настоящий, захватывающий дух русский простор, который ограничен только линией горизонта, а это ведь не прибитая к столбам колючая проволока, приближаешься к ней — сама собой раздвигается, или только вперед смелее — перед выходом на этот простор есть ров, вырытый и охраняемый (стрелять разрешается) теми, кого в разные времена называли блатмейстерами, семейным кланом, номенклатурой, мафией... Конечно, смог бы он и там стать своим... То есть все равно

несвободным, все равно кому-то принадлежать... Нет. К утру проросло: нет.

Как всякий самодостаточный, уверенный в себе человек Нерлин хотел и любил учиться — читал, наблюдал пристально, особенно за женщинами: каждая, которой он позволял к себе приблизиться или которой добивался, что реже (сдавались они уж очень быстро или вели стандартную, неизобретательную игру, то есть повтор, скучный повтор ждал его), дарила ему всю свою откровенность — влюбленная женщина ничего не может скрыть от внимательного, ласкового мужчины. Отдалялся он, когда чувствовал, что вот оно, ее доньшко, дальше пустота — бездонных женщин он пока не встречал.

И в сорок пять он пошел на курсы аудиторы — процесс учебы привычен, а форма разве так уж существенна, если корочки нужны — он никогда, никогда не нарушал закона: зачем ломать забор, если у самого длинного и высокого есть где-то калитка. Жену только прежде известил — не то чтобы сомневался в ее согласии, а потому что деньги на обучение (машинами тогда все измеряли, так полжигулей можно было бы на его оплату купить, но у них уже целые были) пришлось взять из дачного водопровода, который запланировано было сооружать этим летом. Она даже обрадовалась, что муж будет заниматься неопасной — тогда и правда безопасной — экономикой, и еще... Но это банально, не стоит подробностей: непредсказуемая особа ей позвонила, и его умная жена... Впрочем, это в прошлом, стерлось вместе с его адвокатством, хотя пришлось долго разговорами успокаивать. С тех пор на даче телефона нет для любой женщины, без исключения... И авария с гибелью одного близнеца была потом, и врачи-больницы. Но эта настоящая, страшная беда нашла в Нерлине достойного противника. Реальный трагизм личной биографии можно преодолеть только гедонизмом. Тот, кто не владеет искусством наслаждения, не сумеет по-настоящему подняться после лагеря или больницы.

И вот, услышав Клавин голос, не просто поболтав, а несколько раз поговорив с ней, Нерлин поймал себя на мысли: а не тряхнуть ли стариной? Сколько подобных намерений проносится в голове матримониально обустроенных мужчин, не оставляя аморального следа (даже исповеднику покаяться не в чем), а лишь принося самодовольную радость: ого! Я еще орел! Нерлин, конечно, не считал, сколько, но и его, аса и в деле завоевания женщин, грело, когда, проходя мимо какого-нибудь дома, оказываясь в знакомой провинциальной глубинке, он вспоминал о работавшей или жившей там красавице, которая ему очень нравилась... Нра-

вилась, и только... И через много лет думать о таких нереализованных замыслах порой было приятнее, чем о героинях былых романов, ведь женская интуиция и самым глупым, по молодости или от рождения, подсказывала, что отношения начинают исчерпываться, и чем меньше она могла дать, тем больше требовала от него (по закону природного равновесия), становясь капризной, подозрительной, начинала вульгарно афишировать связь, превращаясь в антигероиню, которая, как в фантастическом триллере, сама стирает следы своего присутствия не только из прошлого и настоящего, но и в будущем уже о ней не вспоминалось.

А мысль о Клаве засела — раз, другой, третий возвращалась, уже одетая доводами: женщина открытая, красивая... не боится... умная... должно быть, знает правила игры.

Года два он рассеянно, по привычке забрасывал удочку — ну, например: «Заедем ко мне чаю попить?» — когда в конце рабочего дня они вместе выходили из ее офиса или когда он отстоял возле нее с рюмкой водки всю тусовку... И всякий раз в ответ было «спасибо, в другой раз». Он запомнил услышанное, прокручивал его по нескольку раз, но кокетства не обнаруживал. Деликатность и полная, стопроцентная естественность — сама по себе невозможная редкость, осознал он, лишь она выпалила свое «мне сорок шесть».

Нарушив железно соблюдаемый им принцип очередности, одну из важных страховок его бизнеса, Нерлин второй раз подряд взял в партнеры Макарову фирму, но когда тот, не без самодовольства, протянул руку за документами, чтобы самому вести дела, демонстрируя, насколько ценит оказанное доверие, Нерлин, ни слова не говоря, вручил все бумаги Клаве, испугавшейся его немеренной неучтивости — это не обязательно было видеть, это через воздух передавалось. И вскоре, назвав очередной этап совместных действий успехом, настоял на его отмечании.

Костя почти час не отходил от окон — то кухонного, в котором из-за козырька над подъездом плохо просматривался подход к дому, то от балконной двери в большой комнате, где из-за кустов сирени вдаль ничего не было видно. Мандраж усиливало воспоминание о тех временах, когда у них еще была машина: как только синяя «шестерка», почихав на всю округу (зажигание барахлило с первого дня), скрывалась из вида, его тянуло к окну.

Года три, нет, точно, три года, два месяца и шесть дней

(вот какими цифрами забивается память человека, любящего точность...) продолжалось ожидание беды (срочная работа могла вытаскивать на время из этого горячечного умопомешательства, больше, пожалуй, ничего — все это было, конечно, до Дуниной болезни), пока однажды в начале ноября Клава не поехала в Шереметьево встречать Варю и Макара из очередной туристской повинности. Согласилась побыть шофером из неумения отказывать — просить ведь так трудно, значит, им очень надо, — но всю неделю будущая поездка почему-то раздражала ее, как нервирует пятнышко на юбке, закрытое блузкой навывпуск от других, но не от себя; в голову лезли некрасивые, неблагородные мысли: почему конторского водителя не вызвали, да и такси же есть, дорого, конечно, но лучше бы она им эти деньги дала, чем...

Шел дождь, самолет опоздал, в паспортном контроле очередь. Пока отстояли, чемодан уехал обратно в чрево, закрытое занавеской из черных резиновых лент. И когда сердитые, несколько раз поссорившиеся и ни разу не помирившиеся Макар с Варей показали в коридоре из нервно-встречающих граждан, резкое похолодание превратило мокрое Ленинградское шоссе в скользкий, и для профессионала-то опасный, каток, а что уж говорить о Клаве, ни разу не ездившей зимой без шипованной резины.

Ехала она медленно, в крайнем правом ряду, поэтому когда при съезде с эстакады на кольцевую дорогу ее «жигуль» занесло, развернуло на сто восемьдесят градусов, то только благодаря телеграфному столбу, остановившему машину, все остались живы. Милиция подъехала сразу — где-то рядом оформляла аварию со смертельным исходом, «вы пятнадцатые сегодня», — и посоветовала «скорую» не вызывать, хотя Варя, не пристегнутая по собственному легкомыслию, крепко приложила головой о переднюю стойку, — «по судам затаскают, дамочка». Макар быстренько перекидал вещи в остановившуюся по сердобольному любопытству серую «волгу», и в полном ладу друг с другом они смылись от греха подальше, а Клаву, замерзавшую в разбитой машине, приютили в своей стекляшке гаишники — эвакуатора дожидаться в тепле.

Ее растерянно-виноватый, отчаянный голос звучал в Костиных ушах всякий раз, когда она задерживалась хоть на десять минут. Человек ироничный, способный понять дурость, тупость, гнусность людскую, самые сложные ситуации не опрощать, превращался в комок нервов, не рассуждающий...

Дуня позвала мечущегося Костю на кухню, пить чай — заварила «дарджилинг» для отца, он признавал только свежий, с мамой они бы обошлись и утренним, — пить и советовать насчет недельного экономического обзора, хотя уже лучше родителей ориентировалась в газетном надменном стебе, то и дело впадающем в подсудное хамство, которое крепче всего привязывает обывателя к газете, но у Дуни к нему был стойкий семейно-университетский иммунитет — ну ни при каких обстоятельствах не могла она сморкнуться через одну ноздрю или сплюнуть на тротуар, пусть кругом делают это, никого не стесняясь. От Кости требовалось только подбодрить дочь, помочь ей избавиться от сковывающего «не успеваю» из-за маячащего дед-лайна (есть такая колючая проволока, которая вырывает долларовые клочья из зарплаты, стоит заступить за нее хоть на чуток) и вернуть на дисплей те мысли, которые она только что проговорила вслух, объясняя свое задание.

Поворот ключа услышали оба — Клава пришла. Костя даже на часы не взглянул — все равно, раз она вернулась, совсем все равно. Главное, что живая, спокойная, невиноватящаяся:

— Занято было у вас. Не могла же я все время к автоматам отходить, когда Алена Игоревна передо мной почти что исповедовалась. В Макдоналдсе с ней посидели, пешком потом по переулкам до метро шли.

— Вот и хорошо, наконец у тебя подруга какая-то появилась.

Костя повеселел — и оттого, что Клава никуда не делась, и от своей щедрости. Мысль его не пошла по проторенному мужским самолюбием пути: раз она так, то и я полное право имею, тайное мужское право. (Его осознано именно наше поколение: советские отцы, припертые к стенке нашими матерями, честно ввали, а постсоветские дети не подозревают даже, что нужно оправдываться, — трахаются, не задумываясь, с кем, когда, сколько и зачем.) При такой мелочности обычно выдумывается фантомное «она так» и на этом иллюзорном основании себе разрешается любое нарушение семейного режима, а их, режимов этих, столько, сколько есть пар, умножьте еще на число дней-лет, прожитых вместе; система правил постоянно проверяется на абсолютно реальную физическую боль (и не только на боль, ведь желание-нежелание физической близости — тоже довольно-таки объективный контролер): то, что вначале вызывает гнев (она про годовщину первого свидания забыла), ревность (взглянула ласково на другого, сравнила с каким-то знакомцем или во-

все незнакомой знаменитостью не в твою пользу), то, из-за чего и насовсем расстаться двое могут, потом, через десяток-другой лет покажется пустяком, и наоборот... Главное — не ранить ближнего, понимать, что именно его взбесить может. Конечно, скрыть и потом не проговориться — труд, но ради мира всегда стоит работать. Универсальных советов не бывает, даже десять заповедей — не поводыр для неожиданных житейских сцеплений. Не случайно их составитель не счел возможным категорически скомандовать: не лги! Ложь во имя спасения уз, и дружеских, и брачных, не запрещена, а кто не хочет ее услышать, пусть сам не задает вопросов и помнит, что всякий, ты тоже, имеет право окружить себя нейтральной полосой вроде нимба у святого или Сатурнова кольца, заступать на которую никому не дозволено.

Уже за ночным почти чаепитием Костя, на сегодня с лихвой выполнивший родительский долг — за обоих, — взвинченно как-то стал уговаривать спать ложиться поскорее, душ быстро принял, побрился и уже раздраженно велел Дуне к себе идти.

В темном коридоре — Клава шла из ванной — видно было, как на подошве телефона засветился зеленый огонек, а ложе для трубки пустовало. И когда Костя в нетерпении потянул жену, прохладную, к себе, она мягко отстранилась и зашептала:

— Подожди, пока Дуня заснет — она кому-то сейчас звонит.

— Ничего, мы тихо, — был ответ...

Они уже лежали, рассоединенные, но полному покою что-то мешало. Тяжелое дыхание, всхлипы? Клава вслушалась — Костя дремал умиротворенный. Тогда она накинула махровый халат и подошла к окну — никого там не было, тишина, редкая в большом городе. Все-таки именно здесь плохо, у них в квартире, а не где-нибудь у чужих... Выглянула из своей комнаты — в шелку Дуниной двери пробивался не только свет, но и плач. Вошла на цыпочках, все еще надеясь, что дочь только во сне вскрикнула, но нет, стоило наклониться, как к ней припал мокрый, дрожащий комочек — рыдающая крошка.

— Mamочka, я ему сама позвонила! Я больше ждать не могла! — виновато всхлипывала Дуня, страдая еще и оттого, что нарушила банальный кодекс девичьей гордости, который она без насилия над собой соблюдала до сих пор. — Он как чужой, равнодушно сказал мне, что ему некогда со мной

болтать, что он сейчас со своей группой репетирует... Мамочка, зачем тогда были эти разговоры: любовь, замуж, дети... Мне больно... больно!!! — почти прокричала Дуня, и в этом громком, негодующем тоне мать услышала обнадеживающее — дочь тяжело, но в пределах нормы переносит болезненную прививку запоздалой первой влюбленности.

Но ведь боль-то настоящая, теперешняя. До будущего, для которого прививки эти делаются, еще дожить надо... Поглаживая содрогающиеся Дунины плечи, Клава ногой прикрыла дверь, чтобы Костю не разбудить — ей и то было мучительно, а он сразу впадет в отчаяние, которое может так резонировать, так усилить общее семейное страдание, что не приведи господь...

Что же предпринять, как заговорить Дунину боль, чтобы первая ее неудача не стала — из-за того, что страшно пробовать снова, — последней. Ни посоветоваться (с кем тут можно советоваться, не предавая дочь? и родная бабушка не годится — хоть через сколько лет, а вспомнит, проговорится, и Дуню это покоробит, даже если рубца и не останется), ни подумать нет времени.

Вот тут и сказался правильно проведенный день, редкий день, когда она не тратила, а копила силы, а ведь и сама не поняла сперва, почему вместо ужина с Нерлиным в ресторанчике возле его московской квартиры предъявила Косте когдатошнюю телефонную исповедь бывшей коллеги, переместив ее во времени и пространстве. Ничего, почти ничего криминального с точки зрения мужа не было сказано-сделано обоими.

Пока Клава-мать лечила собой дочь, Клава-женщина перебирала в уме подробности вечера. Встретила-усадила их официантка, похожая на гимназистку в глухом длинном платье (белого воротничка не хватало), миловидность, приятность которой была и видна, и слышна — так ласково, по-домашнему принимала она заказ, так радостно и открыто отвечала на нерлинские, не поверхностно-ресторанные, а внимательные к ней житейские вопросы — их задают для исследования, изучения человек, ими же начинают флирт, — Клаву царапнуло, не ревность, нет, но какую-то уязвленность она ощутила и чуть помрачнела, сникла. Нерлин как будто увидел, что ее глаза сузились, уголок губы дрогнул. И когда девочка пододвинула к его правой руке, ребром лежащей на столе, бокал с лужицей красного мерло для пробы (с толком выбирал, не спрашивая о цене), он не торопясь на-

брал чуток в рот, почмокал губами, проглотил, потом понюхал: дегустировал как знаток, а не на публику работал, сухо кивнул официантке и, обратив улыбающееся лицо к Клаве, спросил про самое главное — про дочь, ее здоровье и ее работу, а потом заговорил о своей аварии, вспоминал о ней подробно, не жалея себя и как бы страхуясь от чужой жалости, да еще и пошутил-предупредил: приходится, мол, ограждать себя от стереотипного «она его за муки... а он ее...». «Вот только жена от всего этого очень постарела», — с горечью проскользнуло. Или с целью какой-то сказал? Зачем? Микропредательство? Какой женщине понравится, если про ее износ с другой говорят? Не может же быть, чтобы так цинично объяснил, что Клава нужна только как более свежая?

Потом, много позже, когда редкие, очень редкие упоминания о доме, о жене стали складываться в хоть какую-то систему, Клава начала понимать, что так он неизбежно показывает ей, какими прочными нитями связан со своей семьей, и как росла и крепла в нем (не цветок-однолетка, а дерево с мощной корневой системой) ответственность за близких.

— Что это мы все обо мне да обо мне. Давай о тебе поговорим, я ведь так мало о тебе знаю.

— Спрашивайте — отвечаем, — начала Клава отчет, может быть, наивно увлекшись, с детства все-все рассказала. Себе во вред не отбирала, что можно, а что нет.

— Чай мы попьем у меня на кухне?! — спросил-скомандовал Нерлин, накрыв своей сухопарой пятерней безошибочно найденную на столе Клавину руку.

Подумать, разобраться, хочется ей этого или нет, не было времени, мелькнуло только, что как ни обволакивай словами отказ, в любой облатке он будет обиден, и Клава не стала освобождать свои пальцы из плена.

Всю короткую дорогу, которую Нерлин удлинит — расчетливо или нет, только он знает, — покупкой молока на завтра («Ничего, что так прозаично?» — спросил; «Хорошо, что так свободно», — мысленно ответила она), Клава, спохватившись, думала не о нем уже, а о себе, но рассуждала почему-то с позиции мамушек-кумушек, и слова подворачивались не свои, а Елизаветы Петровны: «Что ты делаешь! Одна идешь в дом к постороннему мужчине, как какая-нибудь...» (именно многозначительное многоточие, а не определенное ругательство, чтобы не клинком слова поразить, а комьями грязи забросать).

Промолчать было невозможно, за послушную покорность она уже дорого заплатила, и, судорожно пытаясь защититься, она пробормотала себе под нос: «Мне интересно

у вас дома побывать... но семиотика таких визитов уж очень определена... Мы чай идем пить, чай и только...» И сразу легче стало. Вопросы она не задавала, но Нерлин его услышал. И ответил ей. Вот из-за этого ответа и не рассказала она ничего Косте, из-за него и своего потом молчания.

«А я и не рассчитывал сегодня ни на что, хотя твои слова внушают надежду», — сказал Нерлин. Будто ногтем по стеклу поскреб, так это для нее прозвучало.

Совсем взрослая Клава, как барышня романтическая, жила в уверенности, что и первое, и последнее слово согласия на близость остается за женщиной, ну, может, не за всякой, а только такой, как она... Эта вера была у нее с юности, как данность, которую ей в голову не приходило проверять или кому-нибудь формулировать. Питалось убеждение это прежде всего Костиным отношением, но не только им, конечно. И комплиментами (бывали такие, которым невозможно не верить, настолько они подходили к ней и больше ни к кому), и многолетними дружбами с семейными мужчинами, и с неженатыми... (стоп, стоп, холостяков-то в друзьях у нее не было), в которых Костя равноправно участвовал или просто знал о них, и мимолетными встречами с неожиданно длинными разговорами, похожими на захватывающие прогулки по незнакомому городу, Елец это или Цюрих — одинаково интересно.

Укрытая уже почти четверть века прозрачным куполом Костиной любви (модернизированная старинная формула «за мужем как за каменной стеной»), не мешающим полному обзору, она была ограждена и от хаотичных, и от целенаправленных ударов по женской гордости, которые другие получают систематически и которые самую глупенькую особу заставляют помудреть. А избалованная Клава (тут Елизавета Петровна права, такая изнеженность просто опасна) посчитала оскорблением и сказанное ей как-то по пьянке «тебя-то я бы трахнул», и с промежутком лет в пять, спрошенное уже другим, «когда же мы с тобой переспим?». Без раздумий, не задержав в себе, выложила сразу все Косте, который оба раза отреагировал одинаково: «Идиот... Забудь». Она и забыла эти экзотические эксцессы, вот и оказалась беззащитной перед Макаром. Но потому же время смогло вывести из памяти безобразную кляксу, оставленную насильником, а ведь случается, что и от меньшего пятна женская судьба, как праздничное платье, отправляется на свалку или превращается в общеупотребительную тряпку.

На кухне Нерлин не позволил Клаве похозяйничать — сам ловко, умело заварил и подал чай. Как сможет не вся-

кий зрячий мужчина. Слепоты своей не стеснялся и не бравировал ею — было в его поведении мужественное, христианское подчинение ударившему его року. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Не спрятался он в испуге от мира, не обиделся, а наоборот, сильнее раскрылся ему навстречу. И компенсировал свое увечье. Клава сразу перестала упираться взглядом в его черные очки — так забывают о безрукости Венеры Милосской...

У порога, провожая гостью, Нерлин сказал — не в потоке разговора, не иссякавшем ни на минуту, а как будто заранее заготовленное: «Ты мне очень симпатична, очень». О следующей встрече не заикнулся даже.

Все это вместе, как витаминный укол, действовать начало не сразу, но неуклонно, и сейчас, ночью, у Клавы была энергия, чтобы поделиться со своим чадом. Ни с какими конкретными приемами психоанализа она не была знакома. Долетало, конечно, кое-что — из радио-телевидения-журналов, приятельницы делились — и те, что спускали излишек заработанной насилием над своими нервами валюты на психоаналитика, и те, что поучились на курсах, чтобы подзаработать психоанализом... Но не станешь же пичкать родную, единственную дочь модным лекарством, к которому быстро привыкают, и от зависимости этой, ясно же, избавляться уже и не захочется.

Клава, привыкнув все и сразу, без промедления, выкладывая Косте, уже начала понимать, как трудно теперь сдерживаться, как возможность пожаловаться на обиду парализует волю, необходимую для немедленной ответной реакции, благодаря которой только и строятся правильные отношения и с коллегами, и с друзьями-недругами, да хоть и с посторонней старухой (чтобы злобное шипение в метрошной давке «патлы-то отрастила!» не нарушило хрупкой внутренней гармонии)...

Осторожно повернув Дуню, как маленькую, на животик, Клава принялась поглаживать-постукивать ее по спине — сидячая работа сказывалась уже на позвоночнике (дочь часами сидела за компьютером — не только чтобы писать, но и в Интернете нужную информацию чтобы выискивать, и вопросы для интервью по электронной почте посылать и так же получать ответы) — и вместо более привычных советов-замечаний («я же говорила» произносят хоть раз все матери мира, пока до них не дойдет, что это самолюбивое преувеличение своего всезнания и непослушания ребенка

безнадежно, невозстановимо углубляет расщелину между поколениями) принялась вслух искать — и легко, без малейшей натуги находить преимущества в случившемся. Плюсы шли косяком, и выходило, что плакать можно разве что от счастья, ведь показал мальчонка себя, пока еще не поженились (он сразу хотел), ребенка не завели (он настаивал), подругам-коллегам осторожная Дуня его не предъясляла (тут уж и Клава-Костя дивились ее сдержанности), так что гибель влюбленности (настоящая, ответственная любовь — это чудо, созданное в нераздельном соавторстве, она выживает, даже если один из ее творцов погиб... Ромео и Джульетта, оба умерли, а их любовь до сих пор жива...) случилась не на миру и ничего красивого, о чем бы жалеть стоило, в ней не было.

Клава еще и хватила лишку, вспомнив, что прикадрился (нет-нет, это слово она вслух не произнесла, грубовато оно было по отношению к дочке) он к Дуне, когда она попала на свою эффектную работу, а раньше, суется в тех же кругах, не обращал на нее внимания. Вот уж обывательская претензия, пусть и разделяют ее, особо не вдумываясь, многие. Ведь что-то нужно, чтоб выделить, заметить человека — вон их сколько в огромном мире. Внутреннюю, духовную красоту (с внешней, не обклеенной ярлыками престижных оценок ничуть не проще) может разглядеть сразу только глубокий, зрелый человек (бывают и конторы, и тусовки, куда ни один такой никогда не забредает), нелепо даже требовать этого от малолетки, пусть и рассуждающего по-взрослому. Гарантированно притягивает к себе взгляды экстравагантность... Причем элегантная, со вкусом, меньше, чем вульгарная, сигнализирующая о простоте и доступности («снять бы с нее все эти одежды и...» — думает почти всякий юнец-мужчина-старик, некоторые не ограничиваются мимолетным ощущением, а действуют). Опасно девице не знать этих простых правил.

Но Дуне долго было все равно, что надеть — только бы не слишком яркое... И сколько Клава ни талдычила «по одежке встречают», «реснички хотя бы подкрась», бирюзовая кофта с большим, приметным воротником, связанная ею, лежала внизу аккуратной стопки в Дунином шкафу ненадеванная, то же самое с оранжевым платьем в косую гарусную полоску... Тушь с непривычки попадала дочке в глаз, и чтобы не опоздать, приходилось быстренько ее смывать.

И в школе, и в универе вокруг Дуни была компания мальчиков-девочек, которых она обзванивала, чтобы в кино сходить на «Догму» датскую, на элитарных французов-англичан-

немцев, на наших Сокурова-Муратову или на «Аукцион» в «Бункере» на Тверской, БГ на Горбушке послушать, «Сплин» в «Китайском летчике» или к себе в гости звала... Благодаря Дуниному всезнанию Клава с Костей тоже выбирались из дома — ее «вам понравится» ни разу не было ошибкой. Доверились пару раз газетным лоббистам, так высидели эти кинохалтуры до конца только потому, что за билеты сумму существенную выложили — смешная и стыдная причина.

И вдруг (да нет, какое вдруг, Клава боялась этого, но знала, что так будет) Дуня стала возвращаться с вечеринок грустная, поникшая: «На меня с жалостью смотрят: все парами — и женатые, и нет — я одна такая... Настин Юра потанцевать пригласил, а потом на своем “ауди” подбросил, так она всю дорогу дулась и обидно подшучивала надо мной».

И все-таки, когда на конференции, которую Дуня обозревала в своей газете, к ней целеустремленно прилип высокий кучерявый юнец во взрослящей его бороде, она ему не сразу поверила, и первые месяцы еще делилась удивлением: «Он говорит, что я красивая, с работы встречает... Ведь очень поздно, бывает... До самого подъезда провожает — а ему потом в противоположный конец. Но он моложе меня, на третьем курсе только-только восстановился». Настораживало, правда, что парнишка ревнует, и не столько к конкретным мальчикам, сколько к абстрактным ее успехам, не радуется за нее нисколько. «Рожай скорее и сиди с ребенком». Как будто дите — не цель, а средство. Но эту слабость Дуня, по-женски выудив из этого желания только лестную часть, прощала, понимая к тому же, что мужчину без самолюбия сразу затопчут.

И вот после того, как обсудили жизнь вместе, до старости с внуками аж дошли, когда Дуню со своей матерью познакомил и, по его же словам, «невеста» ей понравилась, совсем внезапно для Дуни из Франции вернулась его прежняя пассия, взрослая и циничная куртизанка (вскользь упомянул он как-то о ее предательстве), и мальчонка начал исчезать из Дуниной жизни.

Конечно, и взрослым мужчинам частенько недостает благородной жалости, чтобы позаботиться о той, которую они любили (пусть на словах — сказанное тоже какая-никакая реальность, пусть физически только любили, но ведь это все внешние, формальные проявления привязанности, а форма и содержание связаны как сиамские близнецы, редко их удается совсем отделить друг от друга, да и долго они тогда не жи-

вуг), большинство предпочитает в кустах трусливо отсиживаться, и тешатся еще ее непонимающими звонками. (Опытная женщина никому не доставит такого удовольствия.)

Клава (ни разу никем тогда не брошенная) весело, беззаботно смеялась, когда в Костином пересказе узнавала о похождениях его старшего кузена, не знавшего отбоя от женщин. «А как ты с ними рассташься?» — спросил маленький Костик. «Очень просто. Звонить перестаяю». Но с Дуней так поступить — все равно что ребенка доверчивого конфеткой приманить и отпихнуть. Может статья — в пропасть столкнуть. Фашизм какой-то... (А в притон детей заточают и сдают педофилам за деньги — это тогда как называется, а, Клава? Судить-рядить только по собственному, очень нищенскому опыту — какая же это опасная глупость...)

Казалось, дочь задремала, и Клава перестала говорить-шаманить, но посапывание тут же перешло в рыдания — передышка нужна была, только чтобы накопить новые слезы. «Мамочка, как это страшно, когда что-то было, и вдруг этого нет...»

И хотя Клаве стало так же плохо, оказалось, что отнять, отобрать дочкину боль она не в силах, что ею можно только заразиться, а избавляться от нее теперь каждая должна поодиночке.

К сожалению, рассуждения, даже самые толковые, на эмоции мало влияют, и когда Нерлин не позвонил — завтра, послезавтра, через неделю никак не дал о себе знать, Клава в почти Дунином отчаянии, питаемом неадекватным самоуничижением (если не задумываешься о своей ценности, живешь и живешь, довольная тем, что муж признает тебя сокровищем, то откуда знать хотя бы приблизительно, чего же ты стоишь...), не заготовив даже начальной фразы, впервые не по служебной необходимости набрала его московский номер. На даче — он сам сообщил, предупреждая логичный вопрос, — не проводит телефон, чтобы не впадать в резонанс с городской суетливостью, губительной для мысли длиннее одного пролета. Сын часто навевается с мобильником — этого вполне хватает.

После шести-семи гудков (первый отсеб необязательных, нетерпеливых просителей — нужным ему людям он звонит сам, мини-клерк это или министр — для него все равно) голос Суреныча (если б нерлинский, он бы ее успокоил) предложил стандартно-нейтральное «говорите после длинного гудка». Никакого выпендрежа, чем так неучтиво грешат и

известный режиссер («за-го-во-ри-и», — поет его автоответчик), и избалованный незаслуженным вниманием модный журналист («если вы девушка Оля, то мой хозяин вам перезвонит, а остальных прошу его не беспокоить»), и просто молодой клерк, считающий, что любое место может быть использовано для саморекламы («вы позвонили в мой день рождения, поздравления и подарки охотно принимаются»).

Что прилично сказать записывающей машине, которую может прослушать всякий (это Клава еще соображает), после такого первого свидания? Прямо, в лоб: «Почему вы пропали?.. Соскучилась... Я что-то не так сделала-сказала?..» Все не годится. Пометавшись и не найдя слов, воровато (у себя кусочек гордости отщипнула — опасно это очень, никогда ведь не знаешь, не последний ли, не заметишь, как банкротом станешь) положила трубку и, покидав в сумку бассейновые причиндалы, выскочила из ею же самой загрязненной среды — из собственного дома. Всю дорогу дрожала, что определитель номера, гипотетический — не знала точно, есть он или нет, — опознает ее плебейство. (Как часто они с Костей однозначно, безапелляционно и свысока осуждали всех, кто дышит в трубку, а заслышав «алло», нажимает на рычаг.)

И уже когда плавала, когда вода и движение уняли дрожь, решила учиться ничего не делать так, чтоб стыдно стало, если Нерлин увидит. Увидит? В том смысле, о котором она подумала, он зорче многих зрячих. Именно вода делала ее помудрее, на земле она бы рассудила категорично «никогда больше», а не «постепенно учиться». Вредно зарекается — раз сорвешься, и все идет насмарку. Чем больше нарушаешь запрет, тем прочнее убеждаешь себя, что все равно ничего не получится — курить-пить не бросишь, умеренность в еде не соблюдешь, на близких кричать не перестанешь... Сколько еще таких клятв нарушает человек, прежде чем окончательно плюнуть на себя...

Унизительное «позвони мне, позвони», сперва мимолетное, утоляемое редкими звонками желание, в ауре семейного страдания-сострадания из условного рефлекса перешло в безусловный (молчащий телефон вызывал боль, а чужой, не нерлинский звонок — разочарование и раздражение; как-то, услышав ее радостно восторженное «алло», а потом, после опознания, только вежливый, но сникший голос, клиент из правительственных, публично засвеченных сфер, пошутил-посетовал: «Что, не тот позвонил? Мне очень жаль — и

вас, и себя»), стало постоянным, тревожно-отчаянным ожиданием, которое не поддавалось даже нерлинской просьбе-обещанию: «Не дергайся ты так, будто я завтра исчезну, рассматривай наши отношения как долгосрочный проект». Позвонил он на службу, и хотя извещал, что не появится в Москве на этой, только что начавшейся неделе, перспектива «долгосрочного проекта», как противоядие, пересилила, сняла боль от им же самим продленной разлуки, и Клава опять светилась.

ЭМОЦИИ

— Ну, мать, ты даешь! — В Клавину служебную келью вошел Макар. — Успехи дочери тебя так молодят, что ли? Ты всегда стильно одевалась, или это я слепой был?

Платью лет уже... Цифры вызывают шок, особенно те, что уменьшают возраст, так что сколько дадите, столько и берем, пусть будет новым... Мужчины — люди алогичные, любая второстепенная деталь может привлечь их обонятельно-осязательное (почти животное, не контролируемое сознанием) внимание. Грудь, например, и не обязательно большая — герою Сэлинджера нравились плоские девушки; перечитайте это место. Клава в юности даже горевала, что не соответствует этому эталону. И не по глупости она частное мнение долго считала эталоном, ведь в те совпуританские времена о реальных заботах человека физического, а не общественного, шушукались только по-бабски и по-мужски на незнакомых Клаве жаргонах (и сейчас, хотя Костя ее и просветил, что такое «сиповка», «королек» или «швейная машинка», урок она не запомнила), и «Над пропастью во ржи» была чуть ли не единственная, пропущенная цензурой книга, где можно было что-то узнать об этой, тайной для домашне-воспитанной девушки стороне жизни. Физиологического «Клима Самгина» ни в школьной библиотеке, ни в родительской не было: не то чтобы запрещен, но почти не издавался. Мопассан почему-то не попался, а Пастернак почти весь был под запретом, и «Детство Люверс», когда Клава смогла его прочитать, уже не могло исправить бед от искусственно заторможенного развития.

(Чтобы только посмешить: живя в провинциально-семейной капсуле, Клава долго считала, что дети рождаются от поцелуев, и, лет в одиннадцать, не вытерпев, пристала к старшей сестре с вопросом, куда Хрущев своих отпрысков деваает, ведь в каждой кинохронике показывают, как он со

всеми лижется. Таня с превосходством шестилетнего старшинства принялась объяснять, что поцелуи тут ни при чем, что мужчина и женщина должны... — должны! насилые, а не тяга друг к другу — лечь голые... И так далее. Клаве стало противно, не поверила она, долго еще об этом просто не думала, без всякого усилия не думала. Обета никакого не давала, а жила как монахиня. Только в смысле девственности мыслительной и физической, но не в других смыслах — монахини ведь тоже бывают любознательны, открыты, приветливы, тоже любят людей, всех вместе, и по отдельности к каждому относятся с ненавязчивой, спокойной радостью и непоказным, идущим изнутри, а не навязанным, терпением: пришли с непокрытой головой — дадут косынку, в брюках — повяжут вокруг бедер тряпицу длинную, громко говорят — приложат палец к своим, не к вашим губам, стоите на пути священника с кадилом — тронут за локоть, смягчая просьбу подвинуться чуть заметной улыбкой. И монастырь свой показывают, про свой путь грешный рассказывают, ничуть не агитируя, а просто давая возможность вам примериться к их жизни. Не подходит пока — не следуйте по нему, никакой обиды, расчета, полная ваша свобода.)

А Макар, продолжая балагурить, все же не спросил банальное, первое, что обычно говорят похорошевшей женщине: «Уж не влюбилась ли ты?» Не позволило подсознание, натасканное им, как сторожевой пес, оберегающий хозяина от опасности, от любого неудобства. (Чиновничью карьеру люди, сорвавшиеся с цепи, обычно не делают.) Вдруг Клава так неопытна, что не сумеет сдержаться, выдаст себя — смущением, краской на лице, улыбкой с непривычным изгибом губ — он в очках, поймет. И хотя тот эксцесс забыт (обоими?), похоронен, но трупы, бывает, выкапывают, или они сами оживают. В общем, разоблачение ничего нужного ему не сулило, пусть все остается как есть.

— Я что зашел... Вчера ты здорово меня поддержала. Столько лет могу на тебя положиться. Знай, я это очень ценю...

Рассказывая за ужином свой день Косте под его всегдашнее «короче... к черту подробности, пожалуйста, без твоего “прихожу я, а он-она...”», Клава самую чуточку приукрасила признание Макара. А когда, увлекшись (бывает, человек выбивается из плоскостных координат «правда — ложь» в третье, творческое измерение), преувеличила и влияние свое в конторе, Костя сердито ее оборвал:

— Ценит? Во сколько? Зарплату прибавил? Премию хоть раз дал? Да что ты все рассуждаешь, как Достоевская Лебядкина?! Поглупела, что ли? Погоди, Макар тебе еще покажет!

Добавить уравнивающее его с Клавой «по себе знаю» и потому потерять свое превосходство — не хватило самоотверженности.

Клавино настроение было испорчено, тем более что она пока не поглупела и сразу признала и справедливость мужниных инвектив, и мстительный привкус их поняла и простила — все-таки чаще она сама, не считаясь с его самолюбием, тащила на свет божий обидную ему реальность, решив, что хватит с нее усилий, необходимых, чтобы в его дела вникнуть, а с родным мужем зачем заботиться о форме, зачем подслащивать полезную ему пиллюлю. Но на горечь есть и такая реакция — тошнит от нее человека, и ничего или почти ничего он не успевает усвоить. Тем более что у Кости была язва.

На следующий день Клава отплавала в бассейне свой километр, не останавливаясь на разворотах и никого не разглядывая вокруг — привычка выработалась сама собой, иначе начинаешь нервничать из-за слишком медленно, не в твоем темпе плывущих матрон. Под душем ее окликнула коллега, экономист с именем. Называвшая себя Клавиной подругой. Ничего никогда не прося, не навязываясь в гости, лишь изредка вставляла она разные приятности в свою спокойную, безэмоциональную речь, комплименты говорила не восторженно, а как бы признавая если не Клавино превосходство, то уж равенство точно, за что Клава чувствовала себя признательной — чем меньше привязывалась, тем больше обязывалась, хотя за сдержанностью коллеги и просвечивала непонятная осторожность... расчет — не расчет, но подвох какой-то, и все-таки всякий раз, когда Клава могла кому-нибудь помочь, первым делом о ней вспоминала.

И только лет через пять после их знакомства — ночь тогда состояла из лоскутов, редко когда выдавалась целым куском, и бессонница требовала все новой и новой пищи для обдумывания (пробовала читать, но для этого нужно было встать с кровати, так как единственная лампочка висела над Костиной половиной двуспального ложа и свет разбудил бы его, да и с книжкой до утра уже не уснуть, а думать-анализировать свою не слишком фабульную, но порой невыносимо угловатую, никак не прилаженную к ней жизнь — не подумайте только, что речь о чем-то, подобном отсутствующему светильнику, — было и интересно, и полезно, и шанс заснуть оставался), — поняла Клава очевидное: она добросовестно прислуживает своей «подруге» (точнее, сопернице, ра-

ботающей под крышей подруги) в благодарность за незамысловатые похвалы (редко получаемые всяким, кто их не только не ждет, но и не вымогает — а способов, и вполне приличных, некриминальных, очень много), которые и говорились-то наедине чаще всего, да нет, произносились только по телефону, как будто это шпионская секретная информация.

Всплыло недавнее: с Нерлиным женский пол обсуждали. Уж очень хотелось Клаве разгадать, какие женщины и как притягивают к себе его внимание. Не без задней мысли, конечно, то и дело затевала она такие разговоры — новое знание пригодится, чтобы себя шлифовать, для Нерлина же исправляться. Лучше бы, конечно, в повседневной реальности все подсмотреть, нагляднее это и понятнее, но при таком мизерном количестве встреч на это ее жизни не хватит. Для конкретности подвернулась вот эта самая «подруга», которую Клава даже не подозревала в сколько-нибудь близких с ним отношениях (иначе, по Клавиным понятиям, из инстинктивного благородства он как-нибудь переменял бы тему), настолько та казалась не по этой части.

Насчет «не по этой части» Нерлин, вопреки ожидаемому, не поддакнул, а ухмыльнулся по-мужски мечтательно (совсем глупышке умный женский инстинкт подсказал бы не заметить или хотя бы не истолковывать, пропустить эту улыбку-ухмылку, но Клаву она больно кольнула):

— Не так уж хорошо я ее знаю, но что-то в ней чувствуется, когда она якобы застенчиво в сторонке стоит и бросает свои карие взгляды из-под нахмуренно-изогнутых черных бровей. Может статься, в этой тихой заводи...

«Про цвета Суреныч, наверно, доложил, а он, значит, спрашивал... Проверять, что ли, собирается, что там, в этом болоте?!» — от ревнивого испуга разгневалась Клава, то есть отреагировала как среднестатистическая баба, которая, боясь потерять мужчину, злится на понравившуюся ему кокетку. («Правильно говорят, что любовь оглушает, — пошутил или всерьез, но не сердито, сказал как-то Нерлин. — Знакомился с одной из самых умных женщин, а что получил...»)

Вот это не забылось. И еще вспомнилось, как на какой-то конференции та рассмешила Костю — Клава только что их познакомила. Клава прислушалась к этому смеху: скучны были длинные доклады, главная мысль которых, если она и была новой, что редко, схватывалась сразу и дальше шло неинтересное разжевывание. А говорила подруга очень тихо, шептала прямо в Костино ухо — за ним сидела, в кресле следующего ряда. Клава, не расслышав, попросила

ее повторить шутку. А та вдруг самодовольно фыркнула и, спохватившись, мягко, вкрадчиво так сказала совсем неожиданное: «Не надо ревновать». — «К кому?» — Клава опять ничего не понимала. Она-то считала, что чужие люди, если не хотят сближения, то друг с другом говорят словами, а не подтекстами. Что хотел Костя, всегда вежливый, обманчиво ласковый с особами женского пола (к сфере профессиональной это «всегда» не относится — защищая свои идеи, он мог одинаково больно задеть и мужчин, и женщин), — будет спрошено у него после, а что нужно от Кости подруге? Или у нее тоже работает автоматизм женственности, который Клава хорошо знала по себе? Но вот автоматизм защиты собственного достоинства, сказавшийся в моментальном ответе подруги-соперницы: «А это уже обидно», — его нужно было начать вырабатывать. Тогда же Клава, честно покопавшись в себе и ревность обнаружив, смутилась, и многословно стала оправдываться, что никакой колкости сказать не хотела...

Поэтому сейчас не совсем верилось, что встреча случайна. Кому нужно, тот знал про пятничный бассейн. Но реальных причин не пойти в здешнее кафе не было, предлог для отказа искать — значит скатиться с гипотетического Олимпа, на который могут взойти, как Клава сама себе придумала, только открытые, искренние и не лгушие. Поднимешься, и с вершины будет видно, что дальше...

За чашкой слабенького растворимого кофе (лучше уж чай здесь было взять) подруга попросила Клаву почитать новый, никому еще не показанный проект. Хотела узнать ее мнение, самое компетентное и профессиональное — вот как незамысловато звучали похвалы.

Вечером, внимательно изучив бумажки, Клава сразу смекнула, что их фирме было бы очень выгодно сюда вклиниться. Правда, ей-то самой какой от этого толк? Снова она только посредник, снова послушно служит... Ну, конторе своей хотя бы за зарплату, а подруге за что? Против себя опять действую... Нет, не буду ничего делать, решила.

И тут же Костю оторвала от компьютера, на прогулку потащила и все свои сомнения ему выложила. (Все ли? Про нерлинское суждение о подруге не заикнулась, но, стараясь быть честной хотя бы сама с собой, нашла оправдание: кокетство с Костей — вот реальное преступление, ну, если не само преступление, то его замысел, и вина за него поглощает вину за охоту на Нерлина, может быть, выдуманную ее

ревностью.) Костя, весь еще в своей работе, поддакнул общо: «Конечно, ты права, начни думать о себе... А сейчас — поступай, как знаешь...» В общем, вникать не стал.

Но не зря поделилась — на себя со стороны посмотрела, как в зеркало. Пены эмоциональной много, а толку... Как будто две волны столкнулись, самоотверженность и... ревность, самое животное, не поддающееся окультуриванию чувство — его можно скрывать, сдерживать, но природная лава все равно вырвется наружу, вот хотя бы подозрениями, скорее всего беспочвенными. Нет, низко все это. И потом, Нерлин же учил-советовал-просвещал: если есть сомнения делать — не делать, то лучше на поводу у лени не идти, а ввязаться в бой, там видно будет. «Не гаси в себе креативные мысли», — как будто слышался его голос, не настаивающий, а спокойно зовущий рассуждать вместе с ним.

И позвонила Макару, предупредить чтобы. Он же, как бы опровергая Костино вчерашнее пророчество, до того восторженно, помпезно как-то провозгласил: «Хочешь — заключай договор, полностью на тебя полагаюсь», — что Клава даже возразила, помягче постаралась сказать: «Не я хочу, а фирме нашей польза будет, я же ничего никому не обещала... Он случайно мне в руки попал. Завтра посмотришь и сам решишь».

А Костя свое:

— Выпил — вот и расщедрился. Подставит он тебя, еще увидишь. Не верь никогда пьяному Макару.

— А как же поговорка: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке? — по инерции посопротивлялась Клава. Насколько автоматически она отбивала дома любое нападение, настолько же инстинктивно на людях молча глотала обиду. Наоборот бы...

— Ну, может, в душе у него и есть к тебе тяга, но, если я не ошибаюсь... — Костя помолчал, в Клавиных глазах прочитал, что нет, не ошибается, и продолжил: — Ты ему никакой, для мужского самолюбия необходимой, взаимностью не отвечаешь. Помню хорошо, как он за деньрожденным столом похвалялся письмом — признанием незнакомки, а ты его жестко срезала: «Фотографию свою ей пришли, она и разлюбит».

— Да я же пошутила!

— Пошутила она... У меня даже сердце екнуло. Он ведь себя красавцем считает, и не на голом месте это убеждение появилось.

— С таким-то животом?

— При чем тут живот? Он для солидности взращен... Худо-

ба — отнюдь не универсальный критерий. Посмотри-ка на себя, я в жены брал толстушку, а от тебя уже половина осталась. Нерлин твой, и тот понимает: чем толще, тем приятнее...

— Так то для секса, а я для эстетики худею.

— Но он же не видит...

— Э, он лучше многих видит, я зрячее пока никого не встречала.

— А я?

— Ты? Ты не к человеку присматриваешься, а к мыслям — своим, книжным, других слышать можешь, а у него на первом месте узнавание людей, до донышка старается понять, особенно женщин. Каждый новый человек для него — событие, мимолетное или нет, от человека этого зависит. Но он заранее ничего ни про кого не решает, каждому дает шанс раскрыться, помогает вниманием своим, добротой... Частенько, чтобы процесс ускорить, провоцирует — умело, не с бухты-баракты, а ищет и находит массу возможностей. По себе знаю, попадалась... — Клава мечтательно улыбнулась.

Рассказывая это Косте, самому близкому своему человеку, она хоть так понижала напряжение, которое росло в ней из-за невозможности поговорить-повидаться с Нерлиным столько, сколько хочется. Эгоистично, конечно, но ведь таким образом она делится с Костей новыми, неожиданными познаниями. (Это ее хоть как-то оправдывает?)

— Он в профессии так успешен, потому что все время исследует, а не придумывает концепцию, как ты то и дело поступаешь, чтобы замечать уже только то, что ее доказывает... Сужаешь мир, облегчаешь себе задачу...

— Опять кумира себе сотворила, не разочаруйся потом! — начал закипать Костя.

— И это он предусмотрел. «Я не такой хороший, как тебе кажется... Скоро во мне разочаруешься... времени для меня у тебя не будет». Обезоружил меня... Как теперь прибегать к бабским уловкам — занята, мол, я тоже важный человек, ну какая еще белиберда для поддержания своей амбиции может в голову забиться... Все будет мимо. Спасибо ему.

— Умный... — признал Костя. — Но, черт возьми, ты хотя бы цитатами из него меня не коли. С моими чувствами хоть немного считайся... Тыканье это... — Костя уперся сердитым взглядом в спинку углового диванчика, сломанную Клавой лет пять назад, когда она в трудовом раже — кухонное окно мыла — неудачно на нее наступила. — Пересказывай интимные ваши разговоры хотя бы косвенной речью...

— Так ты же сам повелел с односторонним тыканьем не смиряться. Запретить ему — как я могла, вот и сама стала

тыкать, хотя до сих пор это для меня насилие. Я равенство с ним чувствую — внутреннее, скрытое от других, а внешне... я же понимаю, как мы неравны. Но он-то, наоборот, много раз говорил, как ему лестно, что я с ним подружилась... Говоря тебе про него, я никого не предаю — он взял назад свою просьбу тебе ничего не рассказывать, сказал, что понимает — раз мы с тобой столько вместе прожили, то невозможно не поделиться... Ладно-ладно, если ты взбесился, то больше не обсуждаем... Да и мне звонить надо.

Полночи Клава согласовывала с подружкой все пункты договора, считая, что имеет от Макара карт-бланш. И все же ничего той — из осторожности, думая, что лишней — не обещала наверняка. Сказала, что хочет все заранее на всякий случай подготовить, ведь в таких делах — если получится совместное дело — дорог каждый день...

И спасибо Косте. От неожиданной оплеухи можно упасть, головой о случайный уступ стукнуться и погибнуть, а когда знаешь, что под ногами скользкий, припорошенный снежком лед, то и ступаешь осторожнее, и падаешь немного. Клава даже не пошатнулась, когда наутро хмурый Макар брезгливо, злобно даже, бросил ей в лицо листочки, над которыми она столько уже покорпела. Предупреждена была.

А подруга потом ее же и утешала: «Ни в коем случае из-за меня не уходите с работы... Я сперва, конечно, расстроилась, но уже через день подумала, что так и лучше, по крайней мере насчет вашей фирмы теперь мне все ясно, тем более что я и не собиралась с ней сотрудничать... Мы же случайно встретились, и захотелось именно с вами посоветоваться. Не расстраивайтесь... Забудьте, и все. Я специально звоню, чтоб вас успокоить».

Стыдно стало Клаве, тем более, как знать: не от ее ли раздвоенности так все вышло...

Понятно, что когда два более чем взрослых человека все ближе притягиваются-притираются друг к другу (Нерлин медленно, делая большие передышки, не приближаясь даже, а постигая Клаву, она же моментально, безрассудно перемахнула пропасть, разделяющую чужих и родных), без ранений не обойтись, какими бы осторожными (только не Клава), тактичными и опытными они ни были...

Опыт... Откуда ему взяться у Клавы, почти четверть века ощущавшей Костю не половиной своей даже, а сросшимся с ней растением, лианой, которая заботливо обвивает, но не душит, не препятствует росту, причем слепились они друг с

другом не по чьей-то воле, не по расчету, не по обету. В церкви не венчались, мысли об этом сперва не возникало, а когда все повалили за сдерживающим от побега (очень ненадолго, бывало) благословением, Костя с Клавой, подшучивая над условностями, согласились быть свидетелями у католички и разведенного иудея (но ведь и священник нашелся), пара быстро распалась, — тогда тем более претило ступить на проторенную, вытопанную другими дорогу.

Слыша про чьи-то романы, про себя Клава думала, что у нее самый редкий роман — дома, с Костей. И вот... Когда Ольга Жизнева, дама, так сказать, малозамужняя, их семейная приятельница, в который уже раз, попыталась спровоцировать ее: «Всем ты, мать, хороша, один только у тебя недостаток — к дому так привязана, сидишь с тобой и чувствуешь, что ты тут временно и не вся...» — Клава с горечью подумала: нигде я не вся... как бы раздробленность эту починить, ну чтобы каждый кусочек не ныл так нестерпимо...

С Нерлиным по части опытности было вопиющее, кричащее до боли неравенство, над которым он только посмеивался: «Тебе меня не обмануть, ты девочка еще, лет девятнадцати-двадцати от силы».

Как-то, потягиваясь, он воскликнул, не патетически, а из нутра брызнуло:

— Жизнь так прекрасна!

Клава, каждая жилочка которой была только что приласкана и еще трепетала, уже начала надевать на себя суровую к ней реальность, а оттого, что так разнятся их состояния, только что бывшие — чему множество ласковых доказательств — совсем одинаковыми, чуть не взвыла от боли и принялась, впервые, умолять Нерлина о помощи, не какой-то конкретной — что можно сделать, если никак нельзя быть вместе столько, сколько хочется ей (всегда то есть), но не ему — а в надежде, что он, как следует подумав или прямо сейчас, импровизационно, найдет для нее путь, ведущий если не к счастью, то хотя бы к спокойствию. Она готова и ждать, и терпеть.

— Мне по-настоящему хорошо, до полного забвения всего, что есть вокруг, было до и будет после, — только когда мы вдвоем идем-сидим-лежим, говорим-молчим, едим-пьем, остальное время больно, больно, больно... — Признаваясь, Клава понимала, что зря это делает... Но промолчать бывает так трудно, почти невозможно...

Нерлин помрачнел... Как врач, который уже догадыва-

ется о безнадежном диагнозе и, медля с формулировкой, посылает пациента на дополнительное обследование? Рассердился?

Клава пришла на помощь — и ему, и себе:

— Все-все, забудь... Ухожу.

— Из дома позвони мне... Сразу, как придешь.

Вот и все. И хотя он заранее предупредил, что сын около трех заедет, все равно очень-очень обидно. Вообще-то все их свидания были ограничены по времени, им ограничены — если из-за занятости, то еще можно смириться, а вдруг через два-три часа ему становится с ней скучно? Или другая приходит?

Ноги домой не пошли — Дуню-Костю не могла она пугать своим отчаянием, да и Нерлина впервые захотелось ослушаться. Шла и зло, мстительно (вслух, наверное, раз люди оглядывались) шептала: «Дура! Дура! Раз так (что “так”? когда он что обещал?) — надо бросать! Он еще пожалеет! Пусть и ему будет плохо! Он меня недостойн!» (Какие девятнадцать, лет десять — двенадцать, не больше... Дети постарше уже понимают, что самоубийством нельзя досадить выборочно — не себе, а только папам-мамам... Что в первую очередь сам будешь жертвой.)

Под глупую концепцию не собрать объективные факты. Клава не нашла ни одной претензии к Нерлину, которую можно было бы предъявить... Кому? Себе же, вернувшейся в нормальное состояние. Эмоционально-бабских требований, то есть абсолютно не учитывающих объективную реальность (еще один урон от романтических мечтаний), — сколько угодно, но и на таком взводе она не пулынула бы ими в Нерлина: медведя дробью только разозлишь.

Через десяток кварталов несправедный гнев, от которого тоже дрожали все жилочки, испарился, освободив в голове место для мыслей. Советовал же он — улыбаясь, думая о ней отдельно от себя, на будущее советовал (может быть, и без него будущее? — кольнуло тогда) — убрать-умерить пылкость — «уж очень быстро она переходит в требовательность невыносимую: я, мол, все отдаю, а ты!!!», от эмоциональности неумемной избавляться — в возбужденном состоянии никаких решений не принимать... Будто знал, что так, как сейчас, будет.

Позвонить скорее! Почти бегом Клава понеслась по переулкам, зигзагами возвращаясь то на Кузнецкий Мост, то на Мясницкую. Ни одного телефона! Вот будка вдали, метнулась к ней, а это всего лишь милицейский стакан, посольство охраняет. Какое? Не все ли равно, раз не телефон. По

переходу, суженному застекленными витринами-лавчонками, перебежала Лубянскую площадь. Ну под землей-то могли бы хоть один аппарат приткнуть! Слева от полукружья фасада станции метро точно есть, не раз Косте звонила, чтобы шел ее встречать, когда поздно возвращалась — не темноты боялась, а своего отчаяния, которое не могла удержать в себе. Может быть, подсознательно звала мужа еще и для того, чтобы он видел, как ей плохо, понимал, что завидовать-ревновать — нечему... Жестоко как...

Долго рылась в сумке, в карманах, снова в сумке — карточку искала, которую купила, чтоб Суренычу подарить, намекнуть этим, как она ждет нерлинского звонка, нет, звонков — девяноста пунктов на несколько хватит. Но отдавать раздумала, сообразив, что подвесит себя еще на одно бесполезное ожидание. Меньше надо просьб-намеков, каждая, отвеченная его молчанием, неотреагированная, царапает, до кровоточащей раны можно саднящее место разбередить.

Косте уже на ее дерганье тяжело смотреть стало, особенно когда до и после Нового года она, возвращаясь домой с очередной корпоративно-праздничной тусовки (по долгу службы ходила, то с Костей, то без, Нерлина там надеялась встретить, да хотя бы взглядами чужими себя подпитать: чтобы спокойную нерлинскую уверенность освоить, она как-то сама собой постройнела-похудела, портнику нашла, чтобы мешковатые, ставшие широкими платья-брюки-юбки заменить, раз в месяц теперь в парикмахерскую ходила — челку и каре подровнять, ведь форма в стрижке и есть ее содержание...), сразу бросалась к автоответчику, и если на нем «Клава, это Нерлин», тут же отзванивала. Но он уже... уехал на дачу.

А если на автоответчике нет его голоса, то еще хуже. На Костю-Дуню он пару раз попал — Костя брал трубку только когда ее не было дома: «Я ни от кого звонка не жду». Вежливо, но без всякого удовольствия поговорив с Нерлиным, Костя предложил: «Подарю-ка тебе мобильник, до Восьмого марта потерпишь или прямо сейчас?»

Присвоенную идею было разумно сперва с Нерлиным вскользь хотя бы обсудить, чтобы ожидание его звонка не усугубить сожалением о зряшной трате денег. (Дуню обязали на службе купить «хэнди», так она только пару раз показала приходящие домой счета, слишком большие для родительских нервов: газета, и тут экономя, их не оплачивала — большие деньги и скупость часто ходят вместе.) «Я звонить не буду». Категоричность отказа Нерлин не смягчил ни

улыбкой, ни интонацией. И этот пустяк считает насилием над собой?

А рука уже нажимала кнопки, хотя в голове была гулкая пустота — Клава представления не имела, что ему сказать. Растерянное, сдавшееся «алло» только и выдавила. Но он ждал ее звонка:

— Что ж так долго? Сын вот-вот явится, я уж волноваться стал — с дачи же не могу позвонить.

— Да я и до дома-то еще не добралась, выгуливала себя, чтоб на людей не лаять... — Услышала его голос и уже смогла выйти из себя, гневной и униженной, шутить начала.

— Постарайся меня понять... Я старый уже...

Он говорил не заготовленное, а вот сейчас звал ее вместе с ним думать и понимать. Если что непонятно — спрашивай, не согласна — возражай... Насчет возраста не кокетничал, но все равно можно же было и вежливо (и правдиво) опровергнуть — какая старость, моложе всех молодых он. Клава пропустила эту возможность, так как сейчас могла думать только о себе, оправдываясь тем, что плохо-то ей, а ему — хорошо-покойно. Как всегда.

(Всегда ли? Не ради ли этой иллюзии он скрывается от нее, не хочет показать обратную сторону себя-планеты? И тут неравенство-непонимание... Для нее близость — это полная, сверхполная откровенность и открытость, а для него? Неужели не получится у нее перемахнуть забор, на котором начертано: делись со мною тем, что знаешь, и благодарен буду я, а ты мне душу предлагаешь: на кой мне черт душа твоя?!)

— Молодой был — вибрировал, как ты, а после шестидесяти... доживешь — узнаешь... все успокаивается, реже хочется близости, и интимной, и разговорной. Потерпи, ты сейчас, как горная река, плещешься, закипаешь... Выбирайся поскорее на равнину, где вода становится глубокой, течение плавным, ровным... и чувства твои станут ровными, глубокими...

— Сколько же терпеть придется?

— Через полгода, думаю, войдешь в спокойное русло... И не забывай, я ведь очень много работаю... Я люблю это занятие...

Как поступают все женщины, так и Клава выбрала из всего наговоренного только сладкое: не могла она сейчас переварить, обдумывать и его слова, и интонацию, и почему он это все захотел ей сказать. Цифра «шестьдесят», до которой ей казалось еще так далеко, которую отодвигают обычно всеми способами, криминальными в том числе (в пас-

порте дату рождения подделывают), — обрадовала. Раз до ее шестидесяти пообещал не расставаться, то ее душа ликovala. Пообещал ли? Нет, нет, переспрашивать для точности не стану — не вынести ведь, если и эта надежда не так уж незыблема.

И главное оставила на задворках: рассуждал он опять отдельно о Клаве, отдельно о себе, делясь нажитой мудростью щедро, но холодновато, ничем себя не связывая — посторонней, малознакомой даме (не только даме — тут ревность в ней сказала, точнее будет — человеку) мог бы так же советовать, вникая во все житейские нюансы... Вот это сейчас учесть было невозможно, ведь не делают операцию пациенту, если у него повысилась температура или сердечный приступ случился.

И домой ехала радостная, будто витаминную таблетку долгодействующую проглотила. Не сейчас, позже выяснится — была ли то пустышка в сладкой облатке или хуже, гораздо опаснее — наркотик, допинг, что высасывает силы из твоей же будущей радости-бодрости, тем самым роая энергетическую яму, в которую регулярно принимающий его неминуемо угодит.

Это потом... Потом? Значит, сейчас, и поскорее, поскорее, надо учиться жить не будущим, а теперешним днем, не наступающим, а наставшим. Как Нерлин. «Я человек импровизационный, ничего не планирую, кроме работы. Бывает, еду в Москву с дачи и даже не знаю, что там делать буду — все равно набегает неожиданное и более важное, стоит только автоответчик послушать».

Если и Клава станет так импровизационно жить, то они еще реже будут видеться. Было же несколько раз, которые она с неуходящей, свежей горечью вспоминает, когда он вот так импровизационно хотел встретиться, но ее не застал. Весело потом балагурил: «Куда делась, думаю, уж не сбежала ли от меня...» Без опасения и без подъема тона, сигнализирующего о вопросе, говорил. Но она на смешок обиделась — какие шутки, если речь идет о невосполнимой потере... Догадалась, конечно, что хорошо бы многозначительно или хотя бы мало, но значительно промолчать, в смысле — я тоже занятой человек, заботься, чтоб я никуда не исчезла... Такая игра ему бы понравилась? Умная женственность сама изобретает способы, чтобы интерес к себе законсервировать надежно... Клава даже попыталась, но естественность сразу прорвалась, испортила игру. Не в силах она была сдержать

напор желания быть с ним открытой, распахнутой, не считаясь ни с чем — ни со своей выгодой, ни с правилами приличного обхождения, ни с опасностью, которую несет такая нерассуждающая отвага. («Не говори, жалеть потом будешь», — останавливал иногда Нерлин. И никогда не пользовался ее промахами, молчанием их обходил. Молчанием, которое потом, при воспоминании о нем, такой холодностью отдавало... Ведь отвечая в сердцах, ты сам раскрываешься. А он из себя ни разу не вышел...)

С тупой честностью и с прозаическими подробностями отчиталась тогда, почему ее не застал, да еще про себя решила больше никуда без веской причины не отлучаться, а поскольку ничего важнее его звонка не было, то вообще старалась никуда не выходить, и любое приглашение, даже самое лестное, нужное, сперва раздражало, и, принимая его, все время тревожилась, не помешает ли оно гипотетическому свиданию. «Если тебе неприятно, я без сожаления могу ни с кем, кроме тебя, не общаться», — вынося за скобки свой домашний мир, то есть покой и мироздание семейные, хотела бы пообещать Клава. Но: «Наоборот, совсем наоборот... Я бы с удовольствием рядом с тобой постоял и послушал...» — отказался Нерлин. Не ревнует — значит ли, что не любит? Спросить или лучше промолчать? Спросила.

— Я вообще-то не ревнивец, не люблю только, когда при мне слишком уж демонстративно моя дама кокетничает с другими... Да и то это по молодости бывало...

— А если она капризничать начинает, претензии предъявлять? — все-таки спросила Клава, хотя и так понимала, что есть у него заслон против бабскости, не раз от обиды мысленно начинала его укорять, но сразу соображала, что таким образом не то что прорвать его оборону, а даже брешь в ней пробить не удастся. Ложный знак о проценте этой самой бабскости в себе подаст, вот и все, и «все» это в любой момент может стать концом... И все-таки...

— Ха! Гуляй, милая! — озорно и чуть самодовольно бросил в пространство Нерлин, ни секунды не подумав. Частенько, видимо, произносил он эту — эффектную, ничего не скажешь, — формулу, и вслух говорил, и про себя.

Вот это «гуляй, милая», пока не как пощечину, а как шлепок, порой даже ласковый, Клава чувствовала на себе всякий раз, когда расставалась с ним или с его голосом в телефоне. С ужасом понимала, как непрочна их односторонняя связь. Прокручивается в памяти импульсивный монолог, и прямо по нервам бьют вырвавшиеся из нее неудачные

слова-фразы, которые можно та-ак истолковать. Сейчас же это нужно поправить, но... «Не автоответчику же виниться — кто-то чужой может услышать». — «Не надо». — «А как по-другому? У тебя столько препятствий выстроено, прямо линия Маннергейма какая-то...» — «Это само собой получилось, хотя, конечно, когда я понял все выгоды, то стал это использовать... Это не против тебя... Я даже подумывал, не завести ли мобильник, но как по нему с тобой говорить? В саду, что ли, прятаться? А если ты позвонишь, когда работаю, то я буду очень сердит. Нет».

Требовать от него хоть что-то, жаловаться — ему на него же? Некрасиво, глупо и бессмысленно. Ума хватало жало жалобы направлять не в него, а в пространство. Не «почему ты не позвонил?», а «я весь день не отходила от телефона», не «как ты мог...», а «у меня внутри все оборвалось...». И он сперва не сердился, посмеивался только: «все равно он виноват...», но когда все чаще стало звучать это его безапелляционное, жесткое «нет», на фоне его философской доброты криком кричащее, хотя произносил он его почти шепотом, Клава хотя бы осознала, что нужно начать себя контролировать, что не всякую прихоть можно озвучивать, к чему она привыкла с Костей (избалованная...).

Естественно выросшее, а не насильно привитое или кем-то навязанное (хоть абстрактными догматами, хоть конкретными людьми) чувство может привести одного человека к заботе о другом, чувство долга в том числе. Но у Нерлина перед ней долга уж точно никакого нет. От отчаяния Клава все же пыталась обвинять его, сама себе доказывала вину его, а когда никаких аргументов, хоть изовришь, не попадалось под руку, то Костю на помощь призывала, утром иногда его оттаскивала от компьютера — страсти эти гнали ее из дома. Костя шел за ней, слушал... Сострадал, сколько мог, но и его терпение лопалось:

— Что ты хочешь от семейного, искалеченного человека?! Не понимаю, какие у вас отношения... И не спрашиваю! Хорошо вам друг с другом — прекрасно, я бы тоже хотел, чтобы мне было с кем-нибудь так же интересно, как с тобой... Но тебе же плохо... Он тебя отталкивает! Не вешайся ему на шею!.. Стыдно! Ты и меня в идиотское положение запикиваешь... Как он только терпит такую безумную дамочку? Я бы давно сбежал. Он еще себя благородно ведет — если ты от меня ничего не утаиваешь. Или... Не понимаешь, что ли, как ваше неравенство унижительно для тебя?! Кто ты и кто он! Хочешь с влиятельным богачом общаться — вот и плати!

Костя размахивался, не целясь, и бил, чаще больно делая своему кулаку, а не Клаве. Она же испугалась, не за себя испугалась, за мужа:

— Что мне делать, если ты единственный на всем свете, за кого я могу уцепиться, соскальзывая... Потерпи, пожалуйста, мне так плохо, что легче, кажется, смерть, чем это мучение, которому нет конца...

— Ты что, еще и самоубийством будешь меня пугать?!

— Не пугаю я, руки на себя накладывать не собираюсь, но под машину в таком состоянии угодить — запросто. Тебе какая я нужна — мертвая и верная или живая и... Какая? — сама не знаю.

— Живая, живая! — не раздумывая выбрал Костя. — Мертвая и верная, — повторил он, поеживаясь. — Сказанешь же ты!

И к Клаве вернулась способность думать. В чем Костя прав?

Конечно, профессиональное общение с Нерлиным было для нее беспроектно. В отличие от хитро-скрытного Макара, он ни ей, ни Косте вреда не причинит, и не из морального самоограничения, а по крупности своей. Поначалу, когда в душе ее кроме обычной симпатии, которую она испытывала ко всякому особенному, нетривиальному человеку, ничего не было, ей нравилось его внимание, льстило (он первый произнес это слово, про себя сказал: «мне лестна твоя дружба»; так что равенство было, было, Костя), что такой знаменитости, первой по своей стати и статусу, интересно с ней. И удовольствие от ресторанных посиделок было — в Москве он первый и единственный приглашал ее в значные (опять мамина терминология!) места. Увлекательнее жить стало... Стыдная радость даже промелькивала: как пэтэушнице, нравилось за его счет развлекаться — не о деньгах, конечно, речь. Поговорить с ним было интересно везде — и у нее в офисе, и на прогулке, а у него на кухне еще лучше, чем в ресторане...

Правда, когда страдания стали трудно переносимыми и показалось, что выжить, не порвав с ним, невозможно, все эти внешние приятности оказались пустяками, которые мало что значат, раз речь идет о жизни-смерти... (Общение со знаменитостью, как поясок от «Кензо», — престижно, конечно, но в такие минуты на нем только повеситься можно, больше он ни для чего не годится.)

Попробовав примерить к себе прежнюю жизнь, без Нерлина, Клава поняла, что вот это-то и невозможно... «Соляной кислотой наши отношения из себя вытравляла, а они

все равно выжили... — не утаила она от него. — Во мне материализовалась поговорка “Сердцу не прикажешь”».

Мучительно не было только тогда, когда самостоятельный проект на службе делала, от начала до конца сама за него отвечала — как будто из трясины на твердое выбиралась, и не на кочку, а на сушу, настоящую опору получала. Азарт удачи профессиональной обезболивал, но, увы, не навсегда: стоило чему-то забуксовать, и боль возвращалась.

Про мужские успехи Нерлина она тогда знать не знала: ни про кого такой информации никогда не собирала, и вообще наивно считала, что норма — это он и она, верные друг другу, а если про знакомого мужчину и доносился до нее какой-нибудь компромат по этой части, то разве что вслух не восклицала: он же женат... Ну а уж девушку согрешившую даже жалела, совсем в духе Елизаветы Петровны: как же она людям в глаза теперь посмотрит, бедная...

Да и что бы изменилось, знай Клава, как с помощью женщин Нерлин шлифует свое знание жизни, как подпитывается их любовной энергией — его незаурядность мужская была усилена многожды опытом и техническим, так сказать, совершенством («о моем удовольствии не думай, я в молодости по китайским трактатам сдерживаться научился, и еще кой-чему...»). Ведь и щедрость его настолько зашкаливала, что любая рядом с ним начинала чувствовать себя богачкой.

— Была у меня одна воровка... — с обидным для Клавы удовольствием вспоминал Нерлин. — Мне нравилось наблюдать, как она то ложку стащит, то духов пузырек, сам же их ей подкладывал. А когда она сердилась на меня, спрашивал, шутя как бы, сколько ей сегодня заплатить — игрой это стало. Но деньги она всегда брала. Уникальна была, в сексуальном смысле, и цену себе еще не знала, по молодости. Но скоро мне надоело.

Трудно было не выдать своего удивления-осуждения, наивного, наверное: что это значит — цену себе не знала? Разве можно так с девушкой: «игра», «надоело», она же привязалась к нему. А глуповато было только мерить всех по себе. Сдерживая, замедляя обычно набегающие друг на друга слова, контролировать которые разумом она еще не умела, Клава постаралась не выдать себя — изо всех сил демонстрировала, что спрашивает остраненно, из любознательности по части психологии, для жизненного опыта:

— И сколько же составляет твое «скоро»?

Легкий налет язвительности он простил Клаве — никогда вслух ее не рецензировал, не тыкал носом в ее же бабскость. Без его объяснений до Клавы дошло, почему он мимо ушей пропускает все колкости-намёки — то есть не борется с банальностью, а обходит ее стороной. Кто с ним на этом извилистом, непростом пути — пошли вместе, а кто отстаёт или вовсе разминулся — ну и гуляй, милая! Но если Клава выдавала что-то новое, неожиданное, всегда потом повторял, с восторгом любовался ее фразочками. Часто выделял то, на что она и внимания не обратила. Не раз цитировал Клавино «пока все не выскажу, не разденусь», — брякнутое, когда он за руку влек ее, только что вошедшую в его дверь, к кровати. Повторял, смакуя, «а разве у мысли бывает конец?» — сказанное в ответ на его: «Надо еще до конца додумать»...

— Месяца через полтора та девица на юг уехала, и я понял, что хватит. Она названивала потом: «Жаль, что так вышло, ведь мы здорово подходим друг другу в постели».

— А как ты с женщинами расстаешься... расставался, — поправила Клава, потому что настоящее время болезненного глагола могло накаркать беду, во всяком случае сама она произносить его не будет, как вслух не говорит слов «болезнь, смерть» по отношению к Дуне-Косте, к маме, к сестре, теперь и к Нерлину.

Сейчас ее уже несло, ведь чем реже они разговаривали, тем сильнее распирали ее копящиеся, набегающие друг на друга вопросы, вовремя не поданные реплики, парирующие (ей казалось — мягко, остроумно парирующие) его хвастовство, которое она не терпела в Косте, почти вытравила в нем бахвальство — не бранью, а усмешкой или просто молчанием, высокомерным, конечно. Нерлину же его прощала, и без всякой натуги прощала, милым даже казалось, как он тщеславится своими мужскими успехами. «В Лондон делегацией приехали, и у меня в номере англичанка молоденькая так громко две ночи подряд свой экстаз демонстрировала, что Макар пригрозил: “Больше с Нерлиным никуда не поеду, а то у меня комплекс неполноценности разовьется”. Какой комплекс! Трус он, и все тут...»

Но профессиональными лаврами никогда не кичился, о всех победах говорил в самом нейтральном, объективном — недруг не подкопается — тоне, не только не преувеличивая, преуменьшая их. Макар в каком-то интервью узурпировал их общий успех, имя Нерлина даже не упомянул. И какая реакция на Клавино возмущение? — «Пусть, может быть, ему нужнее...» А на ее же восхищение? — «Не надо меня так хвалить, боюсь — привыкну».

Когда что-то острое и умное приходило ей в голову, губы сами раздвигались улыбкой, которую стирала невозможность сразу с ним поделиться, а после — бонмо звучали уже неестественно, надуманно (не зря это слово имеет пейоративный оттенок, хотя надумано было все ею же самой), да и забывалось многое. Пробовала записывать, листок остроумия своего притащила на свидание, но так и не достала его из сумки — не подсматривать же в бумажку украдкой, предупредить надо, что читает... Нет, нелепо.

А поговорить хотелось часто... Часто? Нет, всегда хотелось с ним говорить. Чтобы посоветоваться (вскоре, правда, научилась сама соображать, что бы он сказал), чтобы исправить ляпнутое ему же из гордыни, чтобы сумбурный поток своих эмоций во внятные слова заковать... чтобы освоить хоть толику его мудрой терпимости, спокойствия...

Нерлин не перечеркивал человека с крупными недостатками (это мысленное, но убийство, ведь недостатком можно назвать что угодно — лживость, невоспитанность... а можно по-фашистски — национальность не ту, сексуальную ориентацию, калек они тоже преследовали). Клава быстро переняла это умение. А морально-нравственные изъяны, нехватку ума они оба распознавали под любой личиной — тоже своего рода равенство. Он говорил: «Мне интересно даже следить, как меняется, смягчается отношение ко мне человека, который, знаю, не любит меня. Если, конечно, жизнь почему-либо держит нас рядом».

Он умел отыскивать в людях незаурядность (от рождения она дается всякому, и отнюдь не все поддаются соблазну уничтожить ее в себе, когда соображают, что середнячкам жить проще) и поворачивать их к себе найденной светлой стороной — умение для этого требуется и усилия.

Но главное — нужно было понять и научиться ориентироваться в правилах, по которым он живет-играет, чтобы по незнанию не нарушить их непоправимо (незнание законов не освобождает от ответственности, в этом смысле мы все под судом). И причины разлук — очень важная часть отношений, а м/ж — особенно.

Отвечая на вопрос о расставаниях, Нерлин ухмыльнулся — так доволен был отточенной процедурой, им же самим изобретенной, по-видимому — Клаве откуда знать: собственного опыта никакого, а в искусстве все гиперболизировано, типизировано или просто полное, беззастенчивое вранье. Народно-бабскому фольклору она тоже не доверяла.

— Надо ее как следует оттрахать... Ничего, что я это слово сказанул? — спохватился он, взяв Клаву за руку и, до-

ждавшись покаяния-прощения, продолжил: — И не один раз... Тогда она, наполненная, останется хлопать глазами...

Вот уж кто хлопал сейчас глазами, так это Клава. Ей, взрослой женщине, матери взрослой дочери, было непонятно, зачем такому свободному, независимому человеку с кем-то не любя в постель ложиться...

(Любовь... Наверное, нет другого слова, которое бы каждый, буквально каждый человек, понимал по-своему... По отношению к нему не объединяются люди ни по национальному, ни по половому, ни по возрастному признакам... Ни по какому... У всех по-разному, поэтому она и ценится, как самое редкое, неповторяемое произведение жизненного искусства. Поэтому столько ее подделок встречается — гораздо больше, чем подлинников.)

И почему она как-то выгодно для него одуреет, а не опасно обозлится? Я бы от такого расставания в ужасе была, в смертельной опасности. Недоумение Клавино грозило перейти в неодобрение (это еще мягко сказано), но уже заработал механизм оправдания, который подсознание включает почти у всех влюбленных, делая их слепыми.

Наверно, с такими женщинами только так и нужно, зачем с собой их сравнивать, таких, как я... (Гордыня это, постыдная гордыня, думать даже так нельзя... И все-таки вслух она говорила Косте: «Таких, как я, больше нет». Выкладывала эту истину как аргумент, обосновывающий обязательную верность с его стороны. И он соглашался.) Чтобы в паузу не проникло отчуждение (всякое непонимание Нерлин вчуже отмечал, Клава это чувствовала и боялась, как бы критическая масса таких нестыковок не накопилась — треснет тогда их хрупкая связь, никакое обещание «долгосрочного проекта» не удержит ее, тем более ведь сказал же он как-то, что единственное обязательство, которое человек непременно выполнит — это «я умру»), она перескочила с камня преткновения на другую тему, о причинах этих самых расставаний спросила — их-то бессмысленно понимать-оценивать, их знать надо и принимать.

— Новизна проходит очень быстро, и из большинства... — («Большинство? — мелькнуло у Клавы. — Сколько же это? Из двух-трех случаев он бы выводы не стал делать, по научной добросовестности собрал бы больше материала») — начинает вылезать всякая гадость — капризность, бестактность, желание афишировать отношения, претензии нелепые дамы начинают предъявлять, назойливость появляется...

Нерлин помрачнел, видимо, попадал не раз в неприятно-

неконтролируемые ситуации, прежде чем освоил подходящие приемы.

И все-таки количество женщин, которыми он даже и не похвалялся (знаменитость одна пышно отмечала свою трехсотую, что ли, даму, пригласив десяток избранных, чтобы одарить их изумрудными бирюльками), неприятно поразило Клаву, и чтобы намекнуть ему, что с ее появлением хорошо бы (ей — да, а ему?) оставить все в прошлом, она схитрила:

— Я вот интересных, нескучных баб почти не встречала, все более-менее одинаковые...

— Не скажи, не скажи, — перебил Нерлин. С царапающим Клаву озорством заговорил: — В каждой есть что-то свое, особенное, непредсказуемое. Раскрыть это только не всегда легко. Вот и с тобой... — («Ох, меня — сравнивает...» — вспыхнула Клава.) — Я-то был уверен, что ты все понимаешь, что знаешь правила любовной игры.

— Игры?! — теперь помрачнела Клава. — Какая игра... Никаких твоих правил я не знаю.

— Вот видишь, как я ошибся! — с радостью признал он. — Я-то думал — красивая, умная, открытая, ничего не боится... Не тряхнуть ли стариной... Знал бы, обошел тебя за три версты... Брат мне как-то сказал, что я очень агрессивен после аварии стал... Опасно это...

— От меня никакой опасности для тебя нет. — Клава и не заметила, как перестала думать о себе, соскользнула на привычную колею — о другом заботиться и легче, и достойнее, так ей казалось. А на самом деле таким образом она просто получала индульгенцию для вспышки эгоизма, которая все равно произойдет, сколько ни будь альтруистом. (А блаженные? Они о себе насовсем забывают?)

— От тебя? — Нерлин искренне, непривычно громко расхохотался. — Что ты можешь мне сделать... Да нет, для тебя опасно... Я-то думал — они счастливая, дружная семья, так о дочери заботятся оба. Она, ты то есть, красивая... может быть, ей немного скучно... Еще в посольстве — помнишь? — я заметил, что вдруг стал спокойным, рядом с тобой стал... Другие тебя не замечали, потому что они не понимают, а я понимаю...

— Ты что, отказываешься от долгосрочного проекта?

— Нет... Если б я тебя пропустил, то замена была бы значительно хуже. Отказываясь от лучшего, всегда получаешь второсортное...

Что же, значит, я заменима? Есть у него в жизни такая функция, и он находит для нее женщину, не одну, так другую... Или одну-другую-третью? А у меня? Что, тоже была

такая ячейка, в которую он попал, или не было бы его, и ничего бы не случилось, на его месте никого другого быть не могло? Кто знает ответ? Его и спросить? Но вслух сказала другое:

— А теперь что же?

— Ничего, так даже интереснее. Обратного ведь пути у нас нет? — И хитро подмигнул ей, голосом подмигнул.

БАБСТВО

Когдаходишь в полутемный зал, а на сцене уже поставлены декорации, сделанные не по принципу бедности — нам бы что попроще и подешевле (отнюдь не все могут отличать простоту убогую от «неслыханной простоты»), то какое-то время находишься в обалдении от неожиданности (сколько раз ни используют этот прием, все равно обнаженность возбуждает — не говорим, конечно, о профессиональном кретинизме тех, кто радуется, когда может отметить в статье или с трибуны, что у ню две руки — две ноги и что это было, было, было уже в искусстве...). Первые минуты спектакля нравится, восхищает все, что в этих декорациях происходит. А если еще и пьеса, режиссура, актеры связаны эмоционально-эстетической цепью (всякий раз новую надо ковать, для каждого исполнения новая нужна, иначе и правда получится — было, было, было), то могильщики, которые выбрасывают лопатой настоящую землю, и коренастый джинсарь с гитарой так проникают в твою жизнь, что забыть их уже невозможно, даже если на все остальное память начинает слабеть.

Так и первые поездки за рубеж. (Не столько теперь, когда показана-рассказана лицевая сторона заграницы и наизнанку она вывернута, а раньше, в конце восьмидесятых, когда люди в обморок падали, говорят, в западных супермаркетах. Было то или нет, как выяснить, но точно могло быть. Если это и гипербола, то очень уж правдоподобная, ведь богатство и роскошь распознают все, и просто так, без усилий кто ж откажется их получить... Этот несбыточный наив и влек большинство за рубеж.) Так вот, самые первые поездки помutilи сознание многих, и особенно надолго тех, кто способен питаться искусством, находя его в обставленных особнячками и скульптурами улицах, в музеях-галереях с невиданными даже в репродукциях шедеврами (русскую живопись и начала, и середины прошлого, двадцатого века там, у них начали узнавать), да и бордо-медок многолетней

выдержки — именно девяносто пятого, а не девяносто третьего, плохого для винограда года, устрицы-мидии, «иль-флотанты» всякие, в правильном порядке потребленные (столько нюансов чего, с чем и как, знают в цивилизованной Европе даже мужчины — феминизм тут не при чем) тоже изошрят вкус, вкус к жизни в том числе, и нескоро еще доходит, что для тебя это всего лишь театр, и какой бы длинный (несколько дней подряд с перерывом на сон играют в китайском театре одну пьесу) и изошренно-глубокий ни был спектакль, домой не только нужно идти-ехать, а уже и очень хочется.

Костя много где побывал, любил эти выезды за то, что Дуне-Клаве мог мир показать, и платили недурно приглашающие университеты — за лекции, за дорогу, нешуточные сумочные иногда перепадали. А вот когда захотелось по беспутной отчизне проехать, оказалось — без пути она теперь и из-за того, что оплатить его простому профессору трудновато, особенно если намерен он слетать за своим детством в родную Сибирь из Москвы.

Последний раз они с Клавой там были на похоронах — Костин отец умер рано, от инсульта, в те незабытые еще времена, когда на вопрос, ехать ли обоим вместе, отвечал не кошелек, а невозможность расстаться. И чем дальше от той тяжелой поездки (горе постепенно ушло, осталась печаль, светлая еще и оттого, что вдвоем съездили попрощаться), тем сильнее была тяга к родному пепелищу.

За два десятка лет Костя делал попытки слюбиться с одним тамошним вузом, опыт кое-какой уже накопился от связей с западными университетами, но не тут-то было. Для установления контакта послал им на внешний отзыв автореферат своей докторской диссертации (хорошо хоть защищался он в раннее постперестроечное время, когда полемика только приветствовалась). Так земляки понабросали таких ядовито-глупых замечаний, что ритуальный пуант «заслуживает присуждения» звучал чуть ли не иронически. Столько страниц понакатали, не поленились раза в три превысить обычный объем, чтобы не слишком бросалось в глаза желание срезать земляка, обосновавшегося в столице. Умерил Костин пыл на несколько лет этот инцидент, и обидный, и непонятный по неопытности (авторы-то были совсем незнакомы, даже взгляд косой не имели возможность превратно истолковать — не было этого взгляда).

Не раз еще рассчитывал Костя на тех, кому сам он, повернись жизнь по-другому, помог бы, кого сам бы поддерживал. Без Клавиного упорного, порой раздражающего его не-

желания оставлять в прожитом непонятные, необъясненные чувства-поступки друзей-посторонних, обсуждать их из года в год, хоть и десятилетия, пока не наступит ясность, так бы и продолжал он получать уколы-укусы-удары, которые причиняли видимый, но хуже того — невидимый и потому более опасный ущерб, пока он был птенчиком в науке.

Теперь-то только горьковатая улыбка мелькала у него на губах, если, например, приветливая коллега, пытавшаяся сдружиться и с ним, и с Клавой, заваливала дипломную его студентки (может быть, несколько надменной от своей молодости и красоты). То было уже лишнее, ненужное доказательство того, что сопротивление при приближении к высшим слоям атмосферы нарастает, и чем ближе подпустишь к себе единомышленников, коллег, приятелей, чем открытее с ними будешь (дверь дома особенно опасно открывать), тем больше дашь им возможностей не пушать. Так что держи изо всех сил дистанцию — вот и вся премудрость, а как поднимешься высоко, перестанешь пригибаться, они же и проникнутся почтением. Хотя тут уже подстерегает другая опасность — к подхалимству можно привыкнуть, перестать отличать реальные похвалы от мнимых... Впрочем, искреннее одобрение немногословно и никогда не наряжается в витиеватые, стыдные для уха клише. Вывод: строить надо отношения с людьми, думать о них, а не пускать на самотек — того и гляди увильнут в темную подворотню, в которой задушить так просто.

Сильное стремление к чему-нибудь, к кому-нибудь, не раздражительно-стадное и не мечтательно-созерцательное, а правдивое, перед собой правдивое, которое, бывает, надолго отходит на второй-третий план, но не забывается и не исчезает никогда, втягивает, как воронка, энергию из сфер и, ввинчиваясь в реальность, добывает желаемое. А хотел Костя во что бы то ни стало посетить могилу отца. Казалось, времени для этого еще хватит, но уже чувствовалось, что где-то маячит и его финиш, его дед-лайн.

И вот родной город пошел навстречу. Новая завкафедрой сибирского вуза, которая от сковывающего почтения постеснялась подойти к Косте на московской конференции, теперь позвала его к себе читать лекции. В понедельник он отбыл, улетел с радостью еще и потому, что так сам собой решился мудреный для всякого непофигиста вопрос «пойти — не пойти» на очередную тусовку.

Вечеринку в клубе на Сухаревской устраивал Синегин, совершавший очередной наезд на родину... То есть не совсем так. В Америку он эмигрировал из Киева, в Москве не

жил-не учился, но уже лет десять дважды-трижды в год приезжал сюда как на родину, которую он выбрал сам. В прежней, советской жизни, они с Костей не были знакомы, но настолько знали друг о друге, что в один из приездов — посредником была Жизнева — Синегин пригласил профессора Калистратова с супругой (западные нравы освоил, у нас семейные пары, хоть президентские, хоть научные, еще вызывают инстинктивное раздражение) в один из залов «Метрополя», где как-то уж слишком наивно для тертого — судя по делам — человека проговорился:

— Я думал, Константин, вы гораздо старше...

Словно по брачному объявлению пригласил... Сводне надо будет сказать, чтоб лучше готовила клиентов. Пожилого покровителя, что ли, ищет?..

Так бы и сидели друг против друга, напыжившись, будто поесть пришли и их за стол посадили к неприятным людям, если бы не Клава. Слово за слово, то есть вопрос за вопросом о новых проектах, почему жена не приехала, сын как в Америке прижился, и все это на фоне, лестном для визави, когда то там, то здесь просвечивает признание его успехов, чуть подретушированное Клавиной вежливостью и щедростью, но приукрашенное не до неузнаваемости... Дружбы, конечно, на этом фоне не построишь (самый лучший макияж приходится когда-то смывать), получилось только знакомство. Вредное для Кости — бывший соотечественник вступил в соперничество, не открытое, а гаденькое, тайное, из которого, как из вторсырья, несильные, трусливые люди умеют добывать себе энергию. Как можно за спиной гадости делать, а в лицо улыбаться, боюсь, многие по себе знают — хоть раз заносило каждого в эту неблагоприятную подворотню.

Все ведь рано или поздно известно становится, обычай глотку свинцом заливать вестникам неприятностей-бед разных не привился не только из-за его жестокости, а еще и потому, что много — больше, чем свинца, — есть людей, которые сами трусят пакости делать, а хочется... Вот они с наслаждением (скрываемым) и фальшивым сочувствием (открытым) доносят о подлостях, другими совершенных, — на дальних подступах, рук не марая, останавливают соперников... Макар самым подробным образом поведал, как Синегин, не утруждая себя правдоподобными аргументами, одним пожатием плеч отводил Костину кандидатуру на премию, на поездку престижную... И на немой (логичный) вопрос: «А ты почему промолчал?» — который Костя сам бы ему ни за что не задал — друга к стенке припирать нельзя же, невозможно, — Макар предусмотрительно сам ответил:

«В таких делах полный консенсус нужен, не принято оспаривать...» Вот уж вранье! Костя, когда от него зависело, своих ставленников отстаивал всегда, даже если это требовало большой работы — бумага-факсов-имэйлов. Из уважения к своей рекомендации хотя бы.

И вот — снова через Жизневу — приглашение. Зачем же портить торжество своей кислой физиономией — осточертели ему рукотворные успехи, раздутые благодарными соотечественниками, которые таким образом рассчитываются за приглашение и нянченье с ними в Америке. Ну, сумел Синегин конвертировать потенциальные рекламные возможности своих знаменитых на родине друзей-приятелей, — Костя тут ни при чем, пусть Клава одна идет.

Получилось — не одна, с Нерлиным. Его с Суренычем принимал года три назад Синегин в своем доме, и хоть странновато себя вел, но очень старался. За неделю до вечеринки разговор был.

— Это как? — спросила Клава не столько из любопытства, сколько из желания оттянуть свой уход с нерлинской кухни. Заметила, что вспоминает он с удовольствием. (С похожим удовольствием — обрызгивает лимоном кусочек отварной осетрины и отправляет его в рот, смакует башкирский мед, впитывая до последнего все его вкусовые оттенки, откидывается на подушку, усталый, после...)

— Пример хочешь? Сидим после ужина, расслабленно так болтаем, Суреныч буклет какой-то мне зачитывает — проект гранта многотысячного, и я, так просто, разговор чтобы поддержать, брякнул, что хорошо бы его получить. Синегин заржал вдруг виновато, засуетился и зачем-то признался мне, что у него в эмиграции очень сложное положение, что любой неверный жест — и все рухнет. Хотя, мол, он, если бы от него хоть что-то зависело, все гранты-премии мне бы отдал...

— А ты бы на его месте как на такую провокацию отреагировал? — Клава была в своем боевом настроении — том, когда могла победить в себе женственное желание смотреть на мир глазами любимого и не пускать свой ум за его спину. Зная нерлинскую цепкость, она не поверила, что это было простое балагурство. Всякий раз, когда она упоминала о Костиных или даже своих малюсеньких достижениях, которых у самого Нерлина почему-то еще не было, он делал стойку и дотошно — не жадно, нет, элегантно как-то даже, — выпрашивал подробности, словно удочку забрасывал: клюнет — хорошо, нет — пойдём в другое место. Без обиды.

— Провокацию? Хм, пожалуй, ты права... Ну, я бы рассказал о гранте, что знаю, или просто реплику мимо пропус-

тил — мало ли что хорошо накормленный-напоенный скажет... Потом, в один из его наездов, я пригласил его к себе на дачу. Он опять как-то виновато заканючил, что один не может приехать: в Москве его Жизнева опекает, она обидится, если не взять ее с собой в такое интересное место. Конечно, я позвал и ее. Они приехали на машине ее любовника...

— Любовника? Раньше ты про знакомых нам обоим женщин так не говорил...

— Раньше мы еще не были так близки, и потом она сама это демонстрировала, как бы гордясь, что он явно ее моложе... Ну, жена моя расстаралась, накормила их разносолами разными, Синегин потом вспоминал везде, что никогда его так вкусно и обильно не угощали...

Клава отсутствующе замолчала, уйдя в ревнивые мысли. Вкусно... Ну, Синегин-то под видом похвалы угощению общал всем, что бывал в гостях у Нерлина, чтобы и этим повысить свой рейтинг... Жена вкусно готовит... Уж не лучше меня, наверное... Вот даже немец-юрист, который несколько раз гостил в нашем доме, хотя мог позволить себе и «Метрополь», и «Балчуг», в последний приезд сказал: «Клава — вот лучший в мире ресторан». Приглашала ведь Нерлина, хоть с женой, хоть с Суренычем, на день рождения — узнал бы, кто лучше готовит... А он: «Я, конечно, понимаю, что нам надо семьями познакомиться... Но ты в пятницу празднуешь, а я по уикендам выезжаю только в исключительных случаях. Сказать жене, что мне для дела нужно на твой день рождения — не поверит... Ладно, посмотрим...»

Надеялась все-таки, но дождалась только звонка, когда все гости уже собрались: «Сын с мобильником приехал, вот и могу поздравить тебя. Было одно осложнение, когда я собрался ехать, потом расскажу. Оставайся такой же красивой и еще, модный теперь гост: пусть будет больше встреч с тем, с кем хочется. Я на следующей неделе обязательно появлюсь, расскажешь, как все прошло». Ликование тогда не смогла в себе удержать, с Костей поделилась, истолковав «осложнение» как проницательность жены, которая почувствовала его тягу к незнакомке и приревновала, наверно. Бабская амбиция затмила Клавин разум, Костя разгневался, и мытье посуды после гостей, так сблизившее их обычно, — тогда закончилось микроссорой...

А кулинарные способности свои она потом все-таки продемонстрировала. Костя был в отъезде, и Нерлин принял ее приглашение. «Пельмени любишь?» — заранее узнала. «Люблю». Купила самой дорогой и на вид лучшей телятины-свинины-баранины, дважды в мясорубке провернула фарш

и налепила красавцев одинаковых. Постаралась. Дала ему первый на пробу. «Из вареного мяса делала? — спросил без укора. — На вареники похоже... Или ты из одной говядины приготовила? В пельменях должна быть жирная свинина, чтобы они брызгали соком, как раскусишь...» — «Свинина есть, но постная — я думала, что тебе жирное нельзя...» — «Ну, ничего, так тоже вкусно». В общем, «отличилась».

День вечеринки начался утренним звонком Елизаветы Петровны. (Утро, день, вечер — они только в настоящем времени идут друг за другом, в памяти и во фразе они сплетены, как все в жизни.) Телеграфным стилем мама сообщила, что старшая сестра приедет в Москву на пару дней. «Вы уж примите ее как следует, ей так тяжело, и с Виталием, и с дочкой, и с внучкой, и мне она во всем помогает, ей отдохнуть надо...» Опять приговор, но теперь Клава получила уже слишком много ударов, доказывающих, что терпение и покорность идут во благо только твоим врагам, по себе это поняла, а наблюдая за Нерлиным, научилась реагировать на агрессию.

(Разве это любовь, если наблюдать можешь? Она сперва и не могла. Но когда увидела, как он все время за ней подглядывает — не буквально, конечно; когда смирилась с положением экзаменуемой, — а что еще ей оставалось, не смиришься — гуляй, милая, — сама стала к нему присматриваться, сперва только чтобы с ним сравняться, а потом и пользу для себя стала извлекать.)

Вот настал черед отражать родственную агрессию... У Нерлина этому не научишься: насколько он свободен вне семьи, настолько же стойко он ее охраняет, заботится о каждом, все эта забота обнимает, все, что хоть как-то от него зависит. В любую проблему моментально включается. Жена рукоделием увлеклась, картины стала вышивать, которые приятельница ее понесла в салон: «их же продавать можно», а там сказали, что не возьмут — стежок непрофессиональный. «Чтобы женщину утешить, я посоветовал ей поучиться. Ты не можешь книги какие-нибудь по вышивке достать?» «Я не объявлялся, потому что брат заболел, в больницу хорошую его устраивал, лекарства добывал и к вечерам настолько уставал, что и позвонить сил не было». «Ольге Жизневой я дам хороший отзыв на докторскую, она помогла нам, когда сын захотел во ВГИК поступать... Бросил он его потом ради бизнеса, но я все равно помню ее поддержку». «Ну как я тебе мог позвонить, если я десять литров

оливкового масла из Италии вез — сын встретил, и из аэропорта прямо на дачу поехали».

Слушая все это, Клава и восхищалась им, и поеживалась, чувствуя себя совсем посторонней в этом мире, к которому он так внимателен, где он совсем не агрессивен, а только ласков и заботлив... Еще большее было оттого, что никакой конкретности, благ там каких-то, моральных или материальных, ей не было нужно от него, и забота, не меньшая, а даже более самоотверженная (гордыня, опять гордыня), Костина-Дунина, у нее была... Как-то рассказывал он увлеченно о сироте-внучке, и у Клавы вырвалось: «Любишь же ты ее!» — «А то!» — был ответ, который она так бы хотела услышать о себе...

Но его-то в его большой семье точно поддерживают, а ее? Когда на мамином юбилее Костя чуть подробнее, чем принято, о младшей дочери именинницы говорил, так и он заметил, что все родственники, начиная с мамы, губки поджали, из уважения к нему дали все сказать — другого бы перебили — и потом сделали вид, что ничего хорошего не слышали. А их реакция на ее внешний вид... «Ты смотри, так худеть в твоём возрасте опасно, это старит», — сказала сестрица, бесформенно-толстая от того, что заедает удары, получаемые от нелюбимого мужа-зануды, от дочки, которая говорит уже на другом языке, от того, что ее на пенсию спровадили, как только пятьдесят пять стукнуло, от того, что не жила она так, как хочется, а теперь уже и не знает, как бы ей хотелось... И при всем этом не презирала ее Клава, совсем нет. Была у Татки доброта сверхъестественная, блаженное всепрощенчество, которое Клаве больше нигде и никогда не попадалось.

Если б сейчас сестра сама позвонила... Но досталось посреднице-маме:

— Когда она хочет приехать? Нет, в июле нельзя, нас не будет, и больше я ее без присмотра в своей квартире никогда не оставлю. Хотела бы забыть последствия ее нашествия, да не могу... Постоянно о нем напоминает и пятно после ее глажки на Костином письменном столе — мемориальном, от отца доставшемся, и телевизор сломанный... Да что перечислять! И главное, она даже не чувствует, что натворила, смеется в ответ, мол, какая ерунда! Значит, снова непременно что-то ломает. А мы все в этом доме работаем, и любой пустяк может ауру разрушить... Нет... И почему просишь ты, а не она сама?

— Ты что так о родной сестре! — Елизавета Петровна не услышала железа в Клавином голосе. Живя все время «ради

других», все делая для них, лучше дочерей зная, что им нужно, а что нет, после смерти мужа она сочла, что теперь, став главой семьи, имеет полное право командовать. Клава-то далеко, но бедная Татка вкусила этого незаметного, как радиация, порожденного самыми благими намерениями насилия по полную маковку. — Ты должна! Не имеешь никакого права ее не пустить!

— Господи, мама, что ты говоришь? Кто меня может заставить? Дверь она, что ли, взломает? Я ключей не оставлю. И хватит об этом. Как у тебя давление?

— Все хорошо, — сквозь зубы ответила Елизавета Петровна. — К папе опаздываю. До свидания.

На могилу как в гости ходит. Бедная мама... Что же я наделала...

Клава набрала Сибирь, но там был уже разгар дня, Кости в гостинице не оказалось. Он бы посочувствовал, а так... Ни с кем поделиться больше нельзя, даже Дуне лучше бы ничего не рассказывать... Нет, придется известить, ведь на нее тоже могут наехать.

Полгода назад дочь познакомилась с Кешей, физиком-теоретиком, настолько далеким от газетно-экономической журналистики, что уже за одно это Клава с Костей полюбили бы его, а было еще столько других преимуществ перед... Ни вспоминать, ни называть имя того хлыща не хочется, хотя он сам недавно объявился, электронное письмо послал Дуне, на компьютер, который остался в родительском доме, когда они с Кешей сняли отдельную квартиру. Дуня попросила прочитать имэйл по телефону. «Прости меня, — было написано. — Я дурак, что расстался с тобой. Вся моя жизнь пошла наперекосяк после этого. Мне очень плохо без тебя. Ответь мне, пожалуйста». Только о себе заботится, пусть Дуня прочтет, — решили Клава с Костей. — Дочь у нас умная, поймет. И потом — реванш получит, для гордости необходимый.

Позвонила Дуне, чтобы про бабушкин наезд рассказать, но дочь отреагировала спокойно: «У нас Таня может переночевать. Мы, правда, тоже уезжаем, но ничего, найдем, где ключи оставить». Клава попросила только, чтобы Дуня сама не предлагалась, пусть хотя бы попросят, а то никакого педагогического эффекта от ее тяжелого разговора не получится.

(И это я такая стерва была... Была?..)

На этом семейные проблемы не кончились. Выговориться теперь хотела и Дуня — вчера на дне рождения Кешино-

го отца она наслушалась обличений нынешней бесчеловечности, которая от денег, от богатства идет. Про жесткость новой колодки, то есть складывающейся системы взаимоотношений, рассчитанных на железного, неэмоционального прагматика, дочь бы и сама могла порассказать — волчьи нравы газеты не раз слезы из ее глаз вышибали, она даже нашла кресло в закутке за фикусом, где можно поплакать, не доставляя коллегам удовольствия созерцать ее отчаяние, но гневные инвективы физиков-теоретиков все-таки были направлены и на нее — нет, пальцем, конечно, не показывали, люди все интеллигентные, а все-таки получалось, что из-за таких, как Дуня, и из-за тех, про кого она пишет, ученым не платят зарплату, именно они народ обобрали, ну и так далее, в левых газетах об этом красочно расписано, их все равно не переплюнуть по части витиеватых метафор, за которыми можно умеючи скрыть все, что угодно, банальное стремление к деньгам и власти тоже.

Нет, Кешины родители не были алчными, но кому не станет жаль капиталца, заложенного в фундамент будущей квартиры сына и враз разрушенного гайдаровской реформой, — всего вклада в сберкассе хватило только на холодильник. Конечно, они не ходили на демонстрации с пустыми кастрюлями и плакатами «Гайдар — убийца!», понимая, что одному человеку просто не под силу такие разрушения нанести (даже чтобы уничтожить две башни, нужны не только пилоты, масса людей необходима, организованная масса), но попался — отвечай, суду истории нужны обвиняемые.

А Костя с Клавой когда-то наивно радовались, что у них ничего не пропало. Терять было нечего, ничего не накопили. Вот теперь и их достала эта реформа, зря торжествовали...

Сильно жизнь переменилась после того, как Клава помахала со своего балкона Косте и Дуне, отъезжающим от их подъезда с сумками-чемоданами. Слышала она, что разъединение с ребенком бывает тяжелее переносить, чем уход мужа... Но, во-первых, и так винила себя, что поздно это свершилось, что столько лет всех простодушно оповещала об одиночестве дочери, — надеялась, кто-то поможет, познакомит с «юношей из хорошей семьи» (рот на замок закрыла лишь когда клиент один упомянул про симпатичную девушку, которую мать-клуша всем сватает, как будто это дурнушка или старая дева), чуть комплексы в Дуне не развила, да еще про себя гордилась, что они как подружки, друг с другом всем делятся... Во-вторых, появился Нерлин, про которого с дочерью она не говорила, а та, из деликатности, в эту сторону не глядела. (Нерлин на одной тусовке удивился, что

Клава выясняет с ним отношения, когда дочь рядом стоит. «Мой бы сын сразу стойку сделал».)

И у Клавы достало сил не только отойти от своего чада на санитарно-необходимую дистанцию, но и контролировать ее за обеих.

Особенно непривычной и избыточной показалась матери-бессребренице постоянная Дунина озабоченность деньгами-зарплатами.

— Ты меня удивляешь... Мы с папой никогда не считались, кто сколько зарабатывает, вообще от денег не зависели... Откуда у тебя-то такие мысли?

— Мне самой неприятно, но что же делать?.. Если я не буду на машине иногда ездить, то вообще ничего не успею, работать просто не смогу... Сил ведь иногда к вечеру не хватает, чтобы до дому с двумя пересадками добраться... Те, о ком пишу, предлагают и подвезти, и покормить... Но... Независимость, мамочка, очень дорогая вещь... Экономить, конечно, приходится, но на другом — позавчера вот пошли с коллегами поужинать в ресторанчик ближайший, они французское вино, не глядя на цену, взяли, потом еще одну бутылку — тысячу рублей каждая стоила, я сразу углядела. А я бокал пива за полтинник весь вечер потягивала.

— В ресторан-то зачем? — Клава заговорила с интонацией Елизаветы Петровны, которая была убеждена, что ресторан это не только разврат, но и абсолютно немотивированное выбрасывание денег: ведь себестоимость мяса с гарниром под заковыристо названным соусом раз в десять меньше суммы, указанной в меню, дома на эти деньги можно на всю семью столько еды наготовить! Как толстовская княгиня Мягкая гордилась тем, что ее (то есть бесплатными слугами приготовленный, из бесплатных овощей-трав, выращенных на принадлежащей ей земле) соус за восемьдесят пять копеек лучше тысячерублевого шюцбургского (то есть сделанного наемными официантами из купленных, зарубежных, скорее всего, продуктов) — «гадкий соус, что-то зеленое...», так и Елизавета Петровна свой труд ни в грош не ставила, и чужой тоже.

— Ну как ты не понимаешь, расслабиться же просто необходимо, и если уж совсем существовать наособицу — быстро скушают... Но от подножки не подстрахуешься все равно... Это у них, как у дворовой шпаны — автоматически подставят, без прямого расчета, погибнет коллега — глядишь, что-то и им от этого перепадет...

— И все-таки держись с ними на дистанции, а с Кешей наоборот... Поверь, он редкий мальчик... Все эти светские

львы и львенки очень ненадежны, в семейной жизни на них положиться нельзя... Ты и сама это поймешь, если как следует своих приятелей проанализируешь, я ведь по твоим рассказам многое поняла... Не пора ли тебе? — спохватилась Клава, не сейчас заметившая, что их разговоры могут тянуться часами: Дуне недостает сил остановиться, самой отпасть от материнского голоса (в младенчестве она тоже так прилипала к груди, что если не отнимешь — будет часами сосать, пока не уснет).

Да, увертюра из телефонных разговоров настраивала не очень оптимистически. Лежа в ванной перед выходом на службу, Клава постаралась отвлечься. У женщин есть много нелекарственных средств, чтобы успокоить себя — одежда, бирюльки всякие... Недешевый, конечно, способ, больших знаний требует (мода постоянно обновляет науку одевания), но очень эффективный, в незапущенных случаях помогает почти стопроцентно. Тем более, если похудела, если голая себе в зеркале нравишься.

Промокая капли воды мягким, шелковистым хлопком фирмы «Декамп», Клава почувствовала, как ласковая роскошь его сама собой делает движения плавными, негу телу доставляет, таким полотенцем невозможно порывисто, по-мужски тереть себя, провоцируя нервность, беспокойство, только что смытые теплым душем. Встряхнула-взболтнула белую квадратную бутылочку увлажняющего крема «Коко мадмуазель» и, побрызгав им на руки-ноги-грудь, стала медленно втирать в себя его душистость. Всю эту банную роскошь подарила ей швейцарская подруга, изредка приезжавшая в Россию. И за такую соломинку можно держаться, чтобы не оступиться в канаву отчаяния. Еще когда Дуне не исполнилось и пяти лет, их тогдашний кумир, поэт петербургский, в своей трущобно-советской коммуналке на Зодчего Росси посоветовал купить ребенку немного настоящего дорогого искусства, хоть кольцо-брошь, хоть шкатулку, чтобы это помогло ей сформировать эстетический вкус. А поддерживать его, это уже Клавино наблюдение, можно и с помощью эстетизации быта, который нужно только осенить одним-двумя изяществами, все остальное само под них подстроится.

Не понадобилось весь шкаф перемеривать — что придумала, то и подошло к настроению: бархатные джинсы в стройнящую обтяжку, только что связанная маечка в клетку из травянистого ириса и изумрудного гаруса, темно-серый

классический пиджак (Дунин, слишком строгий для молодой девушки) и зеленая бейсболка, купленная на память о лондонском Хэрродсе. Правильно оделась — мужские взгляды на улице и в метро подпитывали ее всю дорогу до службы. Но там опять начались траты, неподконтрольные — рутинные неудачи с контрактами, которые в ежедневном потоке профессионал никогда эмоционально не оценивает, но сегодня именно с них началась Клавина неуверенность; до шести она напрасно прождала нерлинского звонка — так хотелось вместе с ним провести время до начала поздней вечеринки, а пришлось два часа шататься по душному городу в одиночестве. Голубые телефоны-автоматы так и притягивали к себе, но автоответчику что она могла сказать?

Как медленно ни шла, все равно в клубе оказалась минут на десять раньше срока. Ну куда себя деть? Вошла, потерянная. Робко спросила охранника, где тут празднуют, и тот — то ли из-за бейсболки не увидел ее испуга, то ли вышколен был — не огрызнулся, а церемонно, под локоток, проводил ее вниз по лестнице и открыл правую дверь подвального зала, где уже пили аперитив шапочно-знакомые тусовщики. Села за дальний, единственный совсем свободный стол, на соседний стул положила сумку — место заняла.

Как на угольях ерзала, а после того, как Макар с Варей обидно прошли мимо, кажется, даже не кивнули, уткнулась в книгу, страницы три читала усердно, о чем, спроси — представления не имела. И не то чтобы голова была занята какими-то мыслями, нет, пустота была заполнена напряженным ожиданием, как кастрюля закипающей водой, которая просто испарится, если ничего туда не добавлять, но подбрось крупы-овощей, и месиво, нагревшись, начнет выплескиваться на плиту.

Подняла глаза — Нерлин, Суреныч за его спиной. Спокойные оба, уже оценившие диспозицию.

— Пересядь, пожалуйста, мне у стенки удобнее, — мягко попросил Нерлин, не поздоровавшись.

Как со своей обращается, или уже пренебрегает? — подумала Клава, но, конечно, послушно села на неудобное место, спиной к прибывающему народу. Суреныч незаметно растворился, так что понять, что будет, когда все тут закончится, невозможно. Опять эта импровизационность... И обижалась про себя, что при расставании Нерлин не заикается о следующей встрече, и «тонко» намекала, что ждет этого, и просила-объясняла, когда ей в голову залетала спасающая гордость мысль, что он просто не понимает, как ей нужна эта опора — назначенное свидание, вокруг которого

она бы обустроивала свою жизнь, ведь только предвкушение своим мягким дуновением ослабляло боль от ссадин, оставленных разлукой и всеми невыговоренными (он еще и останавливал поток признаний: боюсь, мол, привыкнуть), нереализованными чувствами, копящимися в ней с того момента, как она поняла, что любит.

А к Нерлину гуськом стали подходить знакомые, и Клава знакомые, но ее не замечающие. На третьем-четвертом он спохватился (нет, никакой виноватой суетливости в нем не появилось, просто вспомнил про Клаву, что ли?) и представил ее модной сейчас публицистке, с которой недавно ездил в самую Центральную Европу. На Клавино «мы знакомы» та беспомощно улыбнулась — гримаса была бы надменной, если бы представляющий не стоял с ней наравне в до микрона выверенной и уточняющейся постоянно, как рейтинг теннисистов, шкале амбициозного конкурса знаменитостей.

Клава ни за что бы не напомнила о себе, будь выслуга лет их знакомства не такой большой — в совсем советские времена, когда публицистка была мало кому известной рядовой менеджершей, Клава вела ее контракт в своей тогдашней, приравненной к министерству, конторе. Часами обсуждали в дальнем закутке коридора, как лучше обойти конъюнктурно-человеческие препятствия.

(В любые времена, хоть в сталинские, хоть в застойные, хоть в теперешние, назовем их почти капиталистическими, интересы государственные — тогда главными были идеологические, теперь — экономические, — корректировались человеческим фактором, который, бывало, превращал их в полную противоположность тому, что официально декларировалось. Почему, собственно, столько продержалась противная природе советская система? А потому, что психологию человеческую под контролем жесточайшим, то есть и жестким, и жестоким, сумели держать, фантастическую мораль-нравственность привили к массовому сознанию, из которого она и проникала в частные, конкретные головы. Как только вожжи ослабили, все и рухнуло.)

Клава бросалась на защиту новой знакомой в кулуарных разговорах, когда кто-нибудь язвительно рассказывал про сломанную молнию на ее сапогах (веревочкой пришлось завязать, чтоб до дома дойти), про гриву непричесанную. Это была яркая женщина, и хоть тогда она только-только начала высовываться, молва безошибочно почуяла ее перспек-

тивность и принялась облаивать. Но так начинается любая слава — с осуждения. Теперь-то это всем известно, специально обруг организуют, хоть и за плату, а в те давние времена все было не так просто, не только газетная статья, даже анонимка могла принести крупную, настоящую беду.

Но с публицисткой все обошлось, на крыльях славы ее занесло в провинциальную Америку, которая ей сильно не нравилась все десять лет, что она там кормилась («опять лечу на мою экономическую родину», — с почти искренней горечью сообщала она на Кости-Клавиной кухне), и, подготовив себе новую отечественную почву яркой бранью западного экономического рая, она вернулась, только приумножив свою известность.

— Это вы?! — бросилась она обнимать Клаву, преувеличенно радуясь, но не виноватясь. — Вас не узнать. Что вы с собой сделали? Или это кепочка вас так красит?

И ушла, не подарив ни комплимента, ни воспоминания, которым можно было бы перед Нерлиным погордиться... Жаль, конечно, но что тут поделаешь? Она в своем праве, в своей силе, не захочет — не подаст. И Клаве стало неприятно, что пусть и мысленно, но поставила она себя в положение нищенки...

Синегин тоже не узнал ее, тоже обошелся без индивидуального комплимента:

— Как это вы тут в Москве живете, а? Все помолодели и похорошели, удивительно прямо... А Костя почему не пришел, опять вояжирует по странам и весям?

Про Костю еще несколько раз спросили, многозначительно глядя на Нерлина... А он с энтузиазмом (с пошлым мелкобуржуазным энтузиазмом, — подумала бы Клава о ком другом) рассказывал про новоселье сына, про его бильярдную, про сауну, — дачу тот невдалеке от родительской построил.

— Я еще просил сторожку в углу сада соорудить, чтобы он потом гостям показывал — тут, мол, живет мой отец, когда-то бывший знаменитым... — И, как будто специально игнорируя Клавину насупленность: — И вам с Костей дача бы не помешала, на природе жизнь совсем другая... Утром встанешь...

Клава уже не слушала, а боролась с унижительной ревностью-завистью: раз с Костей ее так объединяет, дачей их вместе связывает, значит, совсем не думает о ней и о себе, вместе... Дача бы не помешала!.. Какая бестактность — знает же, что и на Дунину квартиру денег не хватает, даже если с Кешиными родителями капиталы объединить...

Азартное это занятие — обиды собирать, остановиться очень трудно, ведь они под каждой улыбкой, шуткой могут таиться, только ищи правильно... Нерлину, конечно, было под силу прервать эту Клавину работу, но он будто не заметил, чем она увлеклась.

(Если вокруг нее вились кавалеры, он мог брякнуть на ухо: «Тут одна очень хочет, чтобы я ее трахнул, не знаю, что и делать». А когда Клава, бесполезно проискав, чем же она вызвала такое унижающее ее признание, — у Кости даже спросила, совсем не учитывая его чувств, — все-таки не удержалась, высказала свое неодобрение, Нерлин удивился: «Ты же так хорошо мне ответила, я восхитился даже. Не помнишь? Как же — не думаю, мол, что для тебя это проблема... Да и сказанул-то я первое попавшееся, чтобы тебя от ухажеров оторвать».)

Или снова наблюдал за ней? Не без садистского удовольствия, наверно, специально поддразнивал? Совсем тяжело стало, когда он усадил на место, с которого вначале согнал Клаву, провинциальную журналистку и принялся угощать ее — с шуточками и преувеличенным вниманием. Официанта подозвал, обсудил с ним, какие напитки остались, попросил для всех водки и яблочного сока — «не доверяю я молдавским винам, водку все-таки испортить труднее», — и, отвернувшись от Клавы, что-то на ухо той шепнул...

Никому нельзя открываться, даже он, такой... Ничего в защиту Нерлина на ум не приходило... И нераздумывающую откровенность-то Клавину он сам же вызвал, да еще притчей поощрил... Прямо слово в слово захотелось ее вспомнить, чтобы от их шепота заслониться...

...После долгого пути странник подошел к двери в стене, охраняемой стражником, лег возле нее и стал ждать, когда можно будет войти. Год проходит, два, путник состарился, заболел и перед смертью решил спросить у охранника, почему тот его не пустил. «А почему ты не попросился? И дверь была открыта, и вход этот был сделан именно для тебя»...

Усвоив притчу на свой лад — а у каждой такой истории есть свой лад, каждому она может помочь, — вдохновленная ею, Клава через несколько дней, по телефону, выдохнула рассказчику: если когда-нибудь сможешь-захочешь быть со мной всегда, знай, что и я этого хочу... И такое облегчение сперва почувствовала, целую ночь в радостном, желанном спокойствии провела, а потом совесть пробудилась: как же, на его плечи проблему их соединения перебросила, нечестно, неблагородно это. Вернулась к этому разговору, но с первых же слов поняла, что никакой тяжести он и не ощу-

тил, поскольку проблемы такой для него не существует. Почему? Додумывать-дочувствовать даже не отважилась — расстрелять себя уже стало опасно...

Но тут пухленькую кокетку кто-то позвал. Молчание, тягостное для Клавы, Нерлин все-таки прервал:

— Ты не ревнуешь, конечно... — не спросил, а констатировал он очевидное для себя.

И Клава, надеясь, что испытание кончилось, что журналистка больше не вернется, обрадованная, что о ней наконец вспомнили, да и соглашаться с ним ей было и привычнее, и приятнее, не призналась в постыдном чувстве, а преувеличенно бодро, с нервным смешком ответила:

— Нет, конечно.

— Ну и умница, это ведь все равно что с официанткой заигрывать, к тебе это никакого отношения не имеет...

Как же не имеет, когда вон Варя так презрительно на меня смотрит! Все же видят... Но ладно, все ведь уже кончилось...

Ничего подобного, получив индульгенцию, Нерлин вернул девицу за их стол, как только рядом послышался ее счастливо пьяненький голосок, игриво спрашивающий у него, можно ли съесть огромный красный перец, для декоративности положенный на деревянное блюдо, пристроенное где-то под потолком. Получив шутливое разрешение, она встала на стул, ухватила овощ и, разрезав его, четвертинку предложила Клаве. А услышав сердитый отказ, не победно совсем, добродушно даже, улыбнулась:

— Не надо так, я вам ничем не могу помешать, я ведь уеду — и все... Из-за меня не надо переживать...

Да еще сказала это негромко, когда Нерлин отбивался от телевидения, которое хотело получить от него не только молчаливую фигуру, но и монолог какой-то. Деликатно поступила...

И Клаву понесло. Не в состоянии думать ни о причинах своего негодования (бабские причины, низкие, стыдные для сильного, самодостаточного человека), ни о последствиях, ни о том, как она выглядит со стороны, со стороны Нерлина в первую очередь, она буркнула «мне пора» и стала собирать вещи — пиджак сняла со спинки своего стула, сумку с соседнего и встала. Медленно поднималась — наверно, чтобы Нерлину дать возможность за ней пойти: когда все системы отказали, автопилот, слава богу, включился, иначе выскочила бы из подвала без слов, никак не просигнализовав о своем уходе. Он еще долго бы не знал о нем, ведь между ними не только словесного диалога в этот вечер не было, порвалась невербальная связь, которую подделать никак

нельзя, — она ощущала ее всегда, а он устанавливал, когда слышал ее голос или встречался с ней.

Только тогда? Может быть, и в Клавино отсутствие что-то хоть изредка вспоминалось ему, говорил ведь: «Меня греет, что ты есть». («Тебя греет... А я сгораю», — хотелось пожаловаться Клаве.) Если уж сравнивать, то Клавина связь с ним — это крепкая прямая линия, которая ни разу не прервалась, зигзага не сделала... Костя в шутку посоветовал как-то ради спасения завести пару поклонников, вчуже даже подумала об этом, но и пытаться не стала, настолько все остальные стали ей безразличны. Про их семейного приятеля-единомышленника, молодого мужественного угрюмца, Нерлин как-то сказанул, провокационно, конечно: «Ну, думаю, сердечко ее вздрагивало». Честного ответа Клава тогда не знала, в голову просто не приходило об этом подумать. И вот они втроем, Клава, Дуня и отрок этот, зашли в кафе после суда — сутяга один подал жалобу на Дуню за резковатое, но совсем, ни с какой стороны не криминальное слово, напугав всю семью. Молодой друг поддержал их своим присутствием на суде, а больше ничего и не понадобилось, никакой конкретной помощи и не надо было, так очевидна была бессмысленность претензий. Но ведь почему-то же приняли кляузу к рассмотрению... Так вот за кофеем Клава постаралась, чтобы ее сердечко вздрогнуло. От благодарности за поддержку — да, было такое чувство, но ничего общего с привязанностью к Нерлину в нем не просматривалось. Насколько из другого вещества она состоит, что и сравнить невозможно.

Ну а от Нерлина к Клаве тянется хоть что-то? Связь какая-нибудь есть? Пунктир это в лучшем случае, промежутки между черточками неравномерные, и что в них помещается, лучше не думать... нельзя и мысленно туда заглядывать: узнает — помрачнеет, таким отчужденным станет, что просто страшно...

— Я с тобой, — сразу, как только Клавино «мне пора» прервало их с журналисткой флирт, среагировал Нерлин. Договорил что-то той на ухо несуетливо, улыбнулся, Клаве улыбнулся и спросил, словно проверяя ее вменяемость: — Надлежит ли с виновником торжества попрощаться?

Пожатие ее плеч как согласие с необходимостью соблюдения приличий он увидеть не мог, но почувствовал. И тут как тут — Синегин:

— Вы уже уходите, как жаль...

И пошло длинное, с конкретными воспоминаниями, монотонное признание в любви-уважении к Нерлину, слишком подобострастное на Клавин вкус. А Нерлин слушал с приятностью и поощрением. Неужели так от беззастенчивой

лести кайфует? — зло подумала Клава. В голову не пришло, что он таким образом продлевает передышку, дает ей шанс успокоиться...

— Вы должны снова к нам приехать, я подумаю, как это организовать... — закончил Синегин, поскольку к нему уже стояла очередь желающих знаково попрощаться, еще раз отметив свое присутствие — будет толк или нет, неизвестно, но галочка не помешает.

— Господи, какой дурак... — сорвалось у Клавы, оповещенной, что месяца два назад Нерлин отказался от месячного турне по Америке. Никогда заграничные поездки не были для него самоценны. В самом начале его юридической карьеры очень влиятельная, нестарая еще дама приглашала его на полгода в Англию. «Мелькнуло, конечно, — трахай ее как следует каждый день, и она сделает тебя на весь мир известным... А года через два и вернуться можно. Чтобы потом говорили: ну, Нерлин, дает... Нет, я не поехал».

Все, казалось, успокоилось, жизнь прежняя продолжается, но Нерлин опять подсел к журналистке — попрощаться? И замурлыкали они оба, как в самом начале.

Ревность взрывной волной вынесла Клаву из подвала. Замерев на верхней ступеньке, она ничего не видела вокруг. «Обида, злоба ослепляют сильнее, чем травма глаз», — подтвердились нерлинские слова. Свежий воздух вернул начатки разума, и она попыталась сообразить, что же наделала. Тут дверь открылась, и в темноте неосвещенного двора возник его силуэт.

— Признайся, приревновала, — с угрюмой усмешкой упрекнул он.

— Нет, совсем нет! — принялась Клава отрицать ему очевидное, пафосом, напором пытаясь замаскировать отсутствие сколько-нибудь внятных аргументов. — Ты уже пришел против меня настроенный, со мной не хотел говорить...

— Я-то, старый дурак, как попался! Приревновала, приревновала... Это единственное, что меня как-то примиряет с ситуацией. Значит, так сильно любит... А иначе... — Голос его стал чужим, усталым, таким он иногда — редко, очень редко — встречал назойливого телефонного абонента, одного «алло» хватало, чтобы отпугнуть непрошеного соискателя его внимания. — Зря вечер потратил! Ты что, думаешь, мне нужны эти светские улыбки-обещания? Лучше бы я на даче остался... Ты должна была быть со мной, на моей стороне все время, с дурочкой этой вместе со мной разговаривать... Как-то же надо было время занять, чтобы до конца дотянуть, раз ты буквой все время сидела... А потом, когда все уже разо-

шлись, мы бы разместились за одним столом, оставшиеся, и вот тогда и можно какие-то вопросы важные решить...

— Что же ты мне это там не сказал? Я вообще не понимала, не лишняя ли я тут...

Неужели случилось непоправимое? Сама Клава понять этого не могла, а Нерлину даже в голову не пришло помочь ей. Он так спокойно негодовал, что от этого его хладнокровия кровь стыла в жилах. Где тут думать, чувство ужаса атрофировало мыслительные способности...

Выйдя на Сретенку, они автоматически повернули налево, и когда Нерлин спохватился, что метро в другой стороне, Клава упростила его пешком хотя бы до «Лубянки» дойти. За это время она нашла в себе силы согласиться с его версией. Конъюнктурно согласилась, — что еще было делать? Из двух зол инстинктивно выбрала меньшее, разрыв бы убил ее, это очевидно. Не осмелилась даже дать слово своей униженной гордости...

— Ты же вся вибрировала, стоило только заикнуться, как ты бы мне резко ответила, я бы не сдержался... На людях отношения выяснять — увольте, я не любитель таких сцен...

Они шли и шли, и чем ближе был нерлинский дом, тем жутче становилось Клаве. Еще ничего, когда Нерлин говорил. Молчание было невыносимо, она его нарушала своими объяснениями, жалко винилась, подозревая, что своими руками (или ногами — какая разница) потоптала их хрупкую связь. Навсегда или нет? Вот что ее мучило...

— Я еще не знаю... Сейчас я в гневе, потом подумаю и пойму...

У порога его подъезда Клава через силу, по-достоевски безнадежно, попросилась к нему, чаю выпить, только чаю. Жалко вышло, но пусть так, чем потом поедом себя есть, что не попыталась даже...

— Я не могу... — отказал Нерлин.

Хотя бы не мстительно отказал. Но раньше всегда объяснял, почему нельзя зайти («мои приехали», «звонков много надо сделать»...), почему встретиться-позвонить не может, а сейчас просто «не могу». Или не хочет?

— Домой приедешь — позвони...

Клавино отчаяние заставило его проявить милосердие, или сам вспомнил, что имеет дело с женщиной, которых он из джентльменства не бьет, или природная доброта так среагировала, и Клава конкретная тут ни при чем, но по телефону он не стал мусолить происшедшее:

— Какой у тебя голос... Ладно, забыли... Тут на автоответчике два звонка, оба тебя касаются...

Конечно, очень косвенно оба касались, но хоть так, любое прикосновение сейчас спасительно...

Ясно, что уснуть не получится... Как же теперь дождаться сибирского утра, чтобы своим звонком не разбудить Костю? Несколько раз прошлась по телевизионным программам... Сквозь рекламные промежутки не просочилось ни одного отвлекающего от мучительных мыслей зрелища... А любовные сцены ночных киношек так проявляли боль, что никакая анестезия ее уже унять не могла... Вот этого объятия у нее больше не будет, вот так властно он не повернет ее к себе спиной, не спросит, не устала ли... И шуток его неожиданных больше не будет? Диалог недавний вспомнился: «Мы касаемся друг друга одной только точкой сейчас» — Он. «Скорее линия, чем точка» — Она. «Линия? Несправедливо — объем-то какой!» — Он.

Господи, дурочка какая она была... Про отклонения разные как-то говорили, историю из учебника по психологии он рассказал: пациент один не мог ничего в постели, если женщина мокрая была, хоть капелька воды после душа на ней оставалась. «И я заметил, что мне сухая женщина приятней...» Ну, ее-то полотенце капель не оставляет, но вот запах от «шанелей», ей он нравится, а ему? Правильно спросила, не смыть ли... Руку к носу его поднесла. Смыть... (А Костя наоборот: «Чем ты так вкусно пахнешь? Всегда этим пользуйся, кончится, еще купим». Но в европейском аэропорту она же остановила его руку, потянувшуюся к полке с приятной ему душистостью за тридцать пять евро. А ведь убеждала себя, что Костя и Нерлин параллельно сосуществуют в ее душе. Параллельные прямые в реальной жизни пересекаются.)

Умереть от таких воспоминаний можно...

Морфия не было, Морфей спас...

Забывлась-то всего на мгновение, а уже так посветлело, что стали видны цифры на будильнике. Вдруг Костя ушел из гостиницы? Нет, успела. Обрадовался — чудом его застала: вернулся за плащом, прохладно тут...

Ну сдержись, подумай — на лекцию идет, любит тебя... Но когда тошнит, не всегда успеваешь добежать до уборной, приспичит — вырвет прямо в постель... С бабской непосредственностью, с самыми идиотскими подробностями, заикливаясь на этих «а он...», «а она...», «как он мог...», принялась описывать вчерашнее, с косого Вариного взгляда начала... Костину реакцию не видела, это понятно, но и не слышала, хотя он не молчал... Казалось ей, что искренность исповеди самоценна — только женщины совершенно не сообщают, кому и что сообщают — выдают себя, продают дру-

гих, не сознавая даже, что наделали... Глупость, конечно, но не только... Глупенькая даже хорошо... А тут и эгоизм, и самоупство, и жестокость...

Костя сперва пытался если не отменить, то хотя бы отложить это излияние помоев, опаздывал он уже, а сегодня был самый напряженный день — три лекции, с местными юристами встреча и интервью еще вечером для радио обещал наговорить. Все это интересно, лестно, но сконцентрироваться надо, чтобы не провалиться, перед самим собой не оплошать. Внешняя легкость речи — это и постоянно пополняемые знания, и победа над сковывающей застенчивостью, и концентрация энергии, и продуманный план... Вот Костя и собирался изобрести что-нибудь сегодня по дороге, разглядывая крепеньких сибирских студенток и вспоминая свои детские шляния по родному городу...

Пришлось кричать, чтобы Клава его услышала:

— Какое бабство! Ты меня обманывала! Ты всего лишь бегаешь за важной персоной! Это возрастное, стыдно! Весь настрой мне сбила! Я борюсь за нас обоих, а ты так себя роняешь! Зачем?! У меня много недостатков, но такую пошлость я терпеть не могу...

Слова не поспевали за мыслями, а мысли за чувствами, то есть за одним чувством, омерзения... И все это на фоне полного цейтнота... Клаву-то встряхнул, опомнилась она, поклялась, что это самая низкая точка ее падения, что его рядом нет, потому так пала, что больше этого не повторится... Клятвы-обещания эти... По крайней мере, сама она в них сейчас верит, по голосу растерянному слышно...

— Вот вспомнилось... — все еще на взводе продолжил Костя. — Мне лет пять было... Домой шел через соседний двор и вдруг вижу огромную голую попу у куста. Рядом два мужика матом ее кроют, женщина это... А она смотрит на них и, пьяненькая, честно так говорит: «Покакать захотелось...» Я этот ужас сразу выгнал из памяти, и вот сейчас ты мне его вернула, потому что сделала ровно то же самое, что та бесстыжая баба... Ладно, давай оба успокоимся. — Он снова услышал в Клавином молчании смертельный ужас и так испугался за нее, что неожиданно даже для себя добавил: — Ну не такой же твой Нерлин глупый, чтоб не видеть, что ты не из одного бабства состоишь. И я это знаю.

Костя положил трубку; только когда понял, что опасность миновала. Опасность для Клавы и для их отношений. Посмотрел на часы. Вместо того чтобы спокойно доехать на марш-

рутке за шесть рублей, пришлось сесть в машину с шашечками, не спрашивая о тарифе. Около университетского крыльца шофер запросил триста, а проехали меньше десяти километров... И еще говорят, что в Москве только все дорого!

Злость не только не помешала, но помогла даже (мужчине-профессионалу все идет на пользу, не то что женщине...) — с аудиторией легче устанавливать контакт, когда атакуешь ее, агрессия только помогает, пусть она и позаимствована в утреннем разговоре. Если по доброте душевной начинаешь говорить с ними, как с друзьями, единомышленниками, то тогда надо доказывать, что ты знаешь и умеешь больше их, а кто ж в своей неинформированности добровольно признается, особенно в провинции, фанаберия — легчайшая защита...

Но вечером, когда молоденькая журналистка вошла в его номер, когда, задумчиво глядя куда-то карими глазами, про себя пооткровенничала, у него мелькнуло: почему бы и нет... Достал из холодильника все припасы — про ресторан не подумал даже, приученный Клавой экономить на значных местах. Но девочка пила сок, а он от коньяка не опьянел, только выровнялся немного. И Клава еще позвонила, в тот самый момент, когда мелькнуло... Не женщина, а пифия какая-то, с гордостью за нее подумал...

Провожая за полночь девицу, по-отцовски, — Дуню вспомнив, — лишь поцеловал румяную, крепенькую щечку. Она ответила как-то неловко, уголками губ только и коснулись друг друга...

УСВОИЛА

Стоило Нерлину заикнуться о житейской закавыке — внуку ищет кассету с саундтреком каким-нибудь, книжка понадобилась жене, чай зеленый в особой черной коробке, как Клава сразу мчалась на Горбушку, по магазинам книжным после работы отправлялась — и все это ей, домоседке прежде, было в охотку, ведь тогда она Нерлина чувствовала к себе ближе. Он уже посмеиваться стал — опасно, мол, тебя просить, завалишь своими услугами. Обидно это прозвучало, но Клава все равно не угомонилась. Правда, все же допросила себя с пристрастием (памятуя о бесполезной копилке на черный день, заведенной во время дружбы с Макаром), нет ли в ее помощи расчета какого... Потому что в «завалишь» прочитала предупреждение — на оплату не рассчитывай... Легко согласилась на такое условие. Не лишать себя бескорыстного удовольствия — такую роскошь она может себе позволить.

И вот теперь, когда ее гордость, или гордыня, или дурь всего лишь (ревниво-жадно-кулацкое «мой и только мой» из этой категории) как соскользнувшим ножом разрежала большую часть связывающих их сосудов-сухожилий, одна-то ниточка целой осталась — многотомье запутанного дела, про которое Нерлин раздумывал при Клаве: не отказаться ли, несмотря на его непредсказуемую интересность и предсказанную незаурядную оплату. Она же и убедила его взяться, пообещав проштудировать все восемь десятков скучных томов.

Конечно, после демарша на синегинской вечеринке Клава одумалась не сразу... Прошла она все ступеньки любовного ада, ни одной не пропустила: его обвиняла, и только его... порвать решила твердо и даже несколько часов прожила в самолюбивом удовлетворении... потом метнулась в другую крайность и видела лишь свою вину, свое ничтожество...

Через неделю примерно амплитуда колебаний снизилась, и осталось одно-единственное желание — услышать его голос, желание, покорное всем его условиям, которые он даже и не озвучивал... Однажды только сказал, что жену ничем не хочет волновать. Укололо тогда это резонное намерение, и чем укололо? Нетактичным показалось, очевидность ведь тонкие люди не проговаривают. Неужели ему не видно, что ей сказать такое — все равно что нагрубить? Господи, какие у нее были наивные представления...

И еще — когда Клава про грехи рассуждала, то без пафоса, походя заметил, что он старается держать свою душу чистой. «А мы сейчас?» — спросила она. На его кухне дело было, куда они, неодетые, из спальни почаевничать пришли для передышки.

— Мораль сильно изменилась, материальные условия требовали моногамности — мужчина мог только одну семью прокормить. Сейчас — совсем другое дело... — Не вставая с табуретки, накрытой махровым полотенцем, Нерлин отворил дверцу холодильника. — Я еще и молока выпью... Ничего, что в животе урчать будет?.. Мне женщина одна, красивая, молодая, рассказала, как в лифте маньяк, приставив к горлу заточку, насиловать ее намерился. На его беду муж с телохранителем кабинку вызвали. Вытащили негодяя на лестничную клетку и так зверски стали избивать — в почки! в лицо! в позвоночник! в почки! — что ее затрясло сильнее, чем когда он рукой дрожащей лез к ней через живот в пах. Мысль у нее мелькнула: лучше бы он ее поимел — гнусно, но пережила бы легче... А ведь века считалось, что самое страшное для женщины — стать жертвой насильника, сколь-

ко литературных самоубийств из-за этого совершенно... Пушкин уже начал эту норму пересматривать... Написал: а что если бы Лукреция дала пощечину Тарквинию? Может, это охладило бы его предприимчивость, и он со стыдом принужден был бы отступить. Лукреция бы не зарезалась... Вот это и есть современность, это и есть — сейчас...

Логично, ничего не скажешь. Клава это приняла, и для нее подходит.

А Костя, вернувшись из поездки, стал нянчиться с ней: своими глазами увидел, как опасно ее трясет. Насчет себя успокоил: «Я все тебе высказал, избыл свой шок, ничего в душе против тебя не значил, чисто там теперь».

Как-то встретил ее после службы. Зашли в соседний магазинчик, и в прозрачную витрину их увидела Жизнева, спешившая к заболевшему сыну-студенту. По мобильнику справилась о его здоровье и предложила в соседней кафешке по рюмке коньяку выпить. Всем троим было от чего расслабляться, и в ответ на жизневские восхищения: «Что ты с собой сделала! Лишь бассейн и диета так омолодить зрелую женщину не могут!» — Клава вдруг, для себя даже неожиданно, обобщила свою муку: «О смысле своей жизни много думаю... Что я такое, сама по себе, без семьи... Со стороны кажется: такая дочь, такой муж, служба хорошая... А меня это так раздражает, что хочется прямо по анекдоту добавить — одного для счастья не хватает, чтобы изнасиловали...» И язык прикусила: сама забыла, что и это было... Но после второй рюмки уже понесло: «Иногда думаю, не начать ли пить...» Жизнева усмехнулась, не двусмысленно, а как бы в знак солидарности, предложила, Клавины возможности приоткрывая: «Или блядством заняться...»

Костя посмурнел — бабский разговор, как в бане при нем раздеваются... Клава же, у которой чувство опасности и семейной чести было анестезировано большой дозой хорошего коньяка, самым добросовестным образом обдумала то, что обозначают этим грубым ярлыком. (Конечно, и в голову не пришло о любви к Нерлину в этом контексте вспомнить. И от того, что Ольга на него намекает, отмахнулась: никто не имеет права внутрь ее души заглядывать. Костя благороден, а остальные — пусть судачат, как хотят. Попадать в зависимость от любимых — и то больно, а от чужих, чтобы они тебе поведение диктовали... Увольте! Никогда! Нет, о тех подумала, кто на тусовках от нее подолгу не отходит и восторженно резюмирует потом: «Как хорошо, что

я сегодня сюда пришел...») И с туповатостью, присущей пьяненьким, отчиталась после долгой паузы: «Нет, я примерила, никак мне не подходит... Только истончит волосок, на котором сейчас моя жизнь подвешена...»

Добыть нерлинский голос, как всегда, удалось не сразу. На автоответчике — известно, кто. Сам он не появлялся и не звонил... Конечно, с испугу решила, что это окончательный разрыв. Хотя... Он обещал, что без предупреждения не исчезнет, как трус не поступит с ней. Но это обязательство она же у него и вымогнула. А кодекс чести не требует безусловного выполнения полученного под нажимом, хоть моральным, хоть физическим. С другой стороны, даже в самом начале он пропадал на... самое большое — на пятнадцать суток в одиночку ее сажал... Сейчас прошло уже семнадцать. Придумала, что предпринять: сочинила сперва в уме, на бумажку потом написала и по ней дрожащим, не своим голосом перевела текст на автоответчик: «Здравствуйте, Константин Иванович. Все тома, что у меня были, я прочитала, а как же дальше? Разве есть время для простоя? Всего хорошего». Как диктор чужой текст — так отчеканила, и ведь переозвучить нельзя...

Еще неделю бросалась тигрицей на каждый звонок, в четверг не выдержала и снова позвонила. Усталое, но живое, а не автоответчиково «алло» было так неожиданно, что от испуга нажала на красную кнопку, отключилась. В Москве, значит... Прочитал ее послание... Подожду, пока сам откликнется... Пятнадцать минут выдержала, снова позвонила, а там уже опять только автоответчик... Проклиная себя, что сразу не назвалась, как сбрендившая, набирала и набирала его циферки через каждые пять минут... В конце концов отправила «алло» и... ну что ей оставалось — ждать дальше, приноравливаясь к своему сумасшествию.

Вот теперь поняла, почему он не раз про опасность говорил... В таком состоянии и жене звонят, и у подъезда караулят, и сцены прилюдно устраивают, и вены себе режут... Для обоих это опасно... На все согласна, только бы больше никогда, никогда так не метаться... На все ли? Больше нельзя свои силы переоценивать. Долго в униженном состоянии все равно не пробыть, разогнется затекшая гордость и такие разрушения произведет... Надо искать другую позицию, тем более что насчет Нерлина — никаких сомнений и никаких романтических иллюзий уже нет.

Пора дать ответ на его давний вопрос: «Чего ты хочешь?»

Тогдашнее «не знаю» не годится, больше переэкзаменовки не будет, исключит из своей жизни, если уже не...

Он и сам за нее пробовал думать: «Может, ты хочешь, чтобы я кроме тебя ни с кем другим не общался?» Сразу сообразила, что за «да» получит «неуд», и отпираться принялась. Слишком энергично и многословно, за что долго потом себя поедом ела. Под ворохом слов бабье обычно прячет неполную искренность, а добавить еще эмоций, слезу подпустить — и полную неискренность от наивных мужчин можно утаить. Чистой правде больше идет элегантная сдержанность. А успокоившись, как следует подумав, поняла, что хватательный инстинкт преодолеть ей вполне под силу. Открытого миру Нерлина она полюбила, а покорный ей, придушенный, хоть и ее объятиями... Ну что о невозможном (и ненужном?) рассуждать...

Клава, природа ее, не могла ничего скрывать от Нерлина. Пыталась, конечно, попользоваться книжными правилами — недоступность изобразить, занятость, что другие за ней волочатся, продемонстрировать... Но только в мыслях могла выстроить такую роль, а как его голос слышала, так все забывала. Да и у него на дамские штучки был такой наметанный глаз... Глаз? Да. Видел он наигрыш внутренним зрением... И — гуляй, милая!

Она чувствовала, что он, как и Костя, готов снести-смести все, ею понастроенное от трусости, чтобы замаскировать, от себя прежде всего скрыть пугающую глубину, в которой таится ни на кого не похожая сущность — это может быть и человеческий талант, и научный, и гениальность художника иногда там исчезает... Она и хотела этого открытия, и боялась его: добывать найденное нужно самостоятельно, тут никто помочь не в силах, ведь рождение и смерть сопровождает абсолютное одиночество.

Уже наедине с собой подытожила: конечно, грело бы очень, что она для него — единственная, но и с его жадным интересом ко всему живому это никак не согласуется, и ей победа эта может приесться. Победа — это же и конец... Не хочу никакого конца!

Еще один вариант Нерлин проверил, уже не совсем двоячный: «Может, ты усвоила Костю, сделала его двойником своим, близнецом, а теперь и меня хочешь усвоить... С этим будут трудности... Я не могу никому принадлежать». Помня его же слова: «Ты иногда так остро сказанешь, что я поеживаюсь, но ничего, мне это даже нравится...» — резковато ответила: «Что ты можешь знать про наши отношения, я тебе ничего не рассказывала».

Но потом задумалась. «Усвоила»... Что значит это слово? Подкаблучника так зашифровал? Ну нет, опрощать новое, непонятное он не станет, приблизительные ярлыки ему совсем неинтересны. Имеет в виду, что я Костю подчинила себе? Но это же добровольная зависимость, любовь без нее разве бывает? Нерлину, похоже, все равно, даже если у меня какой-нибудь дружок появится, и к Косте он совсем не ревнует, то есть он ничего от меня не требует. Свобода полная, но я сама не хочу и не могу делать что-то тайком... Костя, наверно, такой же, как я, хотя он-то точно знает, как я могу взорваться, если почувствую, что от другой востребовано его сердце (только сердце, все остальное меня не касается, мужская физиология не подчиняется стопроцентно разуму и духовным чувствам, такую высоту может набрать только женщина, и то далеко не каждая)...

У Кости одно сердце, а у меня два, что ли... Выходит, два... Великая женская логика, никаких шаблонов, всякий раз она создает новые комбинации, новые сущности открывает.

Одно ясно — никакого равенства в природе нет, и хищный женский инстинкт ради Нерлина обуздать можно и нужно. Сама хочу ему принадлежать. Пусть он не может — мне. Хочу, чтобы он был рядом. Смогу смириться с тем, что будет столько, сколько хочет и сколько сможет. Понимаю теперь, что слияние невозможно, значит, оторву себя от него, залижу рану и буду отвечать только за себя.

Это как же? Никогда еще не выходила с миром один на один. В детстве чувствовала себя принадлежностью семьи. Папа умер — как часть себя потеряла... Потом с Костей себя объединила, никогда почти «я» не говорила, а всегда — «мы поехали», «к нам приходили», «нас пригласили». Дуня в это «мы» вошла, как только ее в туго спеленутом конвертике на первую кормежку принесли...

С Нерлиным единственным стала «я» без натуги говорить, и оно, как ртутная капелька, хотело слиться с его «я». Хоть он и назвал себя как-то шаром, который, все замечая, катится по миру, но если он и был шаром, то, точно, не ртутным... Колобок убегающий... Клава тогда призналась, что для нее он — блестящий шар из кусочков зеркала, какие под потолком на дискотеках вертятся, и каждая его грань если не режет, то царапает ее...

«Когда ты сливаешься с собеседником, то о нем почти ничего не узнаешь, себя только раскрываешь...» — ответил как-то Нерлин на Клавино сетование-упрек, что он все вре-

мя на расстоянии держится (прижавшись к нему, она особенно остро это ощущала).

Что поделаешь, если живет внутри нее чувство — несуетное, нечестолюбивое, прагматичное, никак не выводимое? И не стыдно несколько... Ни перед кем не стыдно стало, когда поняла — выбора, к счастью-несчастью, не дано... Что оно диктует, то и буду делать-говорить, учась, конечно, сдержанности. И главное, все время проверяя, не насильничаю ли, на это не имею никакого права. (Отсутствием насилия над другими — вот чем отличается диктатура чувства, которую она принимала, от диктатуры власти, которую она ненавидела в любом обличье.) И так своей неуклюжестью чуть все не разрушила.

Над Костей тоже нельзя насильничать... Нерлин позаботился даже о нем (или о себе?), поучительные истории рассказывая, как дамочки перед ним плакали: «Я-то думала, что муж... а он любовницу завел...» Когда завел эту пластинку в третий раз, Клава его оборвала: «Неприятно, что ты об этом говоришь мне». Обрадовался: «Хорошо, что ты предупредила...»

Нерлин не за счет Кости. Они во мне как изолированные, никогда не искрящие проводки, под этим напряжением я могу (ну, пусть пока плохо получается, но смогу же, смогу!) жить сама и их питать... Костя ни в чем не ущемлен. Все ему отдавала, отдаю и отдам всегда, все, что ему только по-настоящему нужно. Необходимо не из мужского показного самолюбия, а по внутренней, душевной правде.

(Вдруг все это зря надумала, вдруг Нерлин больше не возникнет в ее жизни? Технически это возможно, запросто... Без Макаровой конторы обойдется спокойно, ни от кого же не зависит... Нет, эти мысли из скобок даже нельзя выпускать...)

Правильные намерения надо еще осуществить... Как себе помочь? Первое, что пришло на ум — попробовать не делать резких движений, буквально не дергаться. Вот только что с кровати прыгнула, а если вернуться, и сначала одну ногу плавно на пол поставить, потом другую, ходить медленнее, к телефону не бежать, а вышагивать, как пава...

— Алло, рада тебя слышать... — Клаве удалось произнести это позвонившему Нерлину ровно, естественно, без намека-упрека.

И оказалось, что у нее получается сосуществовать с этой болью. А куда деться, раз только вместе с жизнью можно от нее избавиться...

Выдерживая характер, Клава не звонила Елизавете Петровне уже несколько недель. Непросто это оказалось: по субботам-воскресеньям рука сама тянулась к телефону, но приходилось делать над собой усилие и передавать трубку с набранным междугородным номером непричастному к разговору Косте — с ним теща говорила вежливо, не упоминая дочкиного имени... Дуню пару раз просила позвонить бабушке, а сама очень нескоро нашла в себе силы нагнуться, чтобы подобрать концы порванной родственной связи. Но первым-то был звонок Татки, все-таки съездившей в Москву на слет модных мракобесов от медицины:

— Столько народу приехало — в пятитысячном зале мест не всем хватило... Мэтр наш консультирует и в президентской администрации, и в мэрии московской... Зачитывали признательные письма даже от иностранцев, космонавта он вылечил.... Вы бы тоже ему показались...

И ни слова о том, где переночевала, и никаких претензий к жестокой сестре... Блаженная доброта... Клава тоже не перечила, со всем соглашалась, не ударила по явной подставке: космонавт-то ведь умер, здоровеньким, значит, скончался? Ну что тут поделаешь, если Татку, толкового инженера, вытурили на пенсию на следующий день после пятидесятилетия, и она только такую работу нашла... Будем надеяться, что никто из ее пациентов в суд не подаст, а так... Жизнь сама ее научит, а нет, так и лучше.

Елизавета Петровна, конечно, не была так добродушна. Первый разговор провела сдержанно, через губу семейные новости обсудила — подробно провинциальные, а о Клавиной жизни — ритуальное, незаинтересованное «ну, у вас все хорошо...». Без вопросительного знака даже и не «ты», а «вы», то есть вся семья скопом, про Дуню отдельно, про Костю, но никаких вопросов про саму Клаву... А через неделю, во второй разговор, она уже вывалила на Клаву все претензии, тем более что они были под альтруистской личиной заботы о старшей дочери, которая, оказывается, плакала на материнском плече: «За что так со мной...»

— Я ночи не спала, папу навестила, вместе с ним думала: как же вы без нас-то жить будете? Запомни, это твоя сестра, родные должны быть на первом месте... Вот поймешь это, как бы не поздно... Таня столько для меня сделала, вчера у меня давление было двести двадцать, «скорую» вызывали, так она весь день от меня не отходила. Виталий все звонил, требовал, чтоб она с ним в сад поехала, но она не бросила больную мать... Врачи меня еще отругали — я ведь «вижн» Танин принимала и думала, что он не только от ра-

ка, но и давление отрегулирует, а оказалось, что нужно все-таки специальное лекарство...

Ну что тут скажешь? Любое справедливое слово, если они его смысл в себя впустят, разрушит их иллюзорный мир, и кто будет им новый строить? Только за счет своей жизни Клава могла бы им помогать, а на сколько у нее ресурсов хватит? Денег если недостает, то можно как-то заработать постараться, украсть, в конце концов, а то, что требовалось матери и сестре от нее, лишь из себя можно взять, себя лишиться... И поэтому когда Елизавета Петровна стала жаловаться на зятя, из-за которого две недели не спала, Клава не стала в ответ иронизировать: «Уточни, из-за кого ты все-таки не спала — из-за меня или из-за него?» Если человек ищет обидчика, то он найдет его, будьте уверены... Так создается нужное жизненное напряжение, которое в старости большинству неоткуда взять.

То, что встреч стало меньше, Нерлин объяснил так:

— Я очень запустил свои дела из-за встреч с одной милой женщиной. Целый год почти все приезды в Москву посвящал ей, столько людей на меня сердятся теперь... Я не жалею, но придется это учитывать...

Клава так вымуштровала себя, что даже горькой улыбки себе не позволила, а уж восклицание «и это было много?! что же теперь меня ждет?!» задушила в зародыше. И к этому придется приноровиться. И к тому, что если и встречались у него дома, то всегда при Суреныче, а в основном они видались в кафе-ресторанах, где он выслушивал ее добросовестные пересказы, для большей точности и вслух зачитывала ему целые страницы томов судебного дела. Про ее дела расспрашивал, о своих выборочно сообщал. Все, как и прежде? Нет, теперь Клава не смела заикаться о своих чувствах. Один только раз, пересилив себя — как против сильного ветра пошла, — нарушила свой обет. Когда до нее дошло, что ее лишили близости.

— Почему?

— Ну, я не знаю, не люблю такие вещи по телефону обсуждать...

— Из-за моего безобразного демарша?

— Может быть... А может, и нет... По-разному бывает, это все может вернуться...

Наверно, настоящая женщина должна оскорбиться и... И что? У нее выхода нет — смириться придется, причем без этого бабского «ну я тебе докажу, ты...» (Борьба амбиций...

Что примитивнее и скучнее войны фантомов, на которую уходит бессмысленно твоя собственная энергия? Ведь нет и не может быть никакого объективного смысла в твоём триумфе, да и сама победа ощутима ли в реальности, какую такую ценность имеет...)

Зачем спрашивала? Неужели хотела так примитивно его предупредить, что не согласна, чтобы с ней он только разговаривал, а ... (ну где подходящее слово, к её душевно-физическому слиянию с Нерлиным подходящее?) — других? Нет. Точно, нет. Как озарение пришел ответ: известила его, что ей больно от такого разделения. И что если сейчас ему — разучившемуся (или никогда не умел?) любить одновременно и душу, и тело, — все равно, страдает она или нет, то, может быть, со временем, за её любовью попристальнее (не так отстраненно, как сейчас) понаблюдав, и он научится это диковинное чувство испытывать. Ведь если девушка (по незнанию или от стеснения) в постели как бревно лежит, то не обязательно ждать, пока она сама поймет, что надо делать, лучше подсказать ей... (Господи, какие простые, обыкновенные слова на ум приходят... Но стоит только над их огранкой поработать, и они стрелой войдут в тебя, стрелой, которую потом никак не вынуть — разве что разворотив душу...)

Может быть, и ему когда-нибудь разонравится жить без этого редкого, не каждому известного волнения, в котором сплелись вместе и страдание, и счастье? Ну разве это совсем несбыточно?

(И на этот вопрос Клава не находит ответа... Умная-то умная, но когда эмоции так захлестывают, то пытаться умом что-то понять — все равно что ножом воду резать...)

Что делать, если ногу или руку отняли, если зрение потерял, даже если парализовало?.. Как можно быстрее побороть отчаяние (его надо выводить из души сразу и без остатка — своими природными силами, с помощью надежных, слитных с тобой близких, лекарствами любимыми, хоть как, потому что слаб человек, полюбит страдание, и этот враг, не заметишь, подведет к гамлетовской черте) и жить дальше...

А у нее еще и надежда есть... Она и может стать началом...

СОДЕРЖАНИЕ

МУЖСКОЙ РОМАН	5
ЖЕНСКИЙ РОМАН	141
МУЖСКОЕ-ЖЕНСКОЕ, ИЛИ ТРЕТИЙ РОМАН ..	317

Новикова О.

Н 73 Приключения женственности. Романы. — М.: Мол. гвардия, 2003. — 459[5]с. — (Лит. пасьянс).

ISBN 5-235-02569-5

Ольга Новикова пишет настоящие классические романы с увлекательными, стройными сюжетами и живыми, узнаваемыми характерами. Буквально каждый читатель узнает на страницах этой трилогии себя, своих знакомых, свои мысли и переживания.

«Женский роман» — это трогательная любовная история и в то же время правдивая картина литературной жизни 70—80-х годов XX века. «Мужской роман» погружает нас в мир современного театра, причем самая колоритная фигура здесь — режиссер, скандально известный своими нетрадиционными творческими идеями и личными связями. «Третий роман» — философский итог исканий автора, поединок мужского и женского начал, мучительная и вместе с тем высокая драма становления личности.

УДК 882-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 5-235-02569-5



Новикова Ольга Ильинична
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕНСТВЕННОСТИ

Главный редактор издательства **А. В. Петров**
Редактор **О. И. Ярикова**
Художественный редактор **А. Ю. Никулин**
Технический редактор **Р. А. Косыгин**
Корректоры **Г. В. Платова, Е. В. Феоктистова**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 23.12.2002. Подписано в печать 17.04.2003. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 24,36. Тираж 5000 экз. Заказ 23772.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства «Молодая гвардия»: 103030 Москва, Сушевская ул., 21.
Internet: <http://mg.gvardiya.ru>. E-mail: dset@gvardiya.ru.

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии «Молодая гвардия»: 103030 Москва, Сушевская ул., 21.

ISBN 5-235-02569-5

В ТИПОГРАФИИ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

к вашим услугам:

**набор,
верстка с элементами графики
и полутоновыми иллюстрациями;
изготовление фотоформ;
печать любого формата,
красочности
и тиража
на машинах
с электронными системами
контроля качества;
переплетные и отделочные работы
всех видов;
экспедирование
периодических изданий.**

**Контактные телефоны:
787-34-90, 787-36-83**

**Адрес в Internet
<http://mg.gvardiya.ru> ♦ dcom@gvardiya.ru**

Повседневная жизнь каждого человека с ее рутинной, однообразным бытом представляется чем-то непреодолимо скучным. Но когда она становится историей, то окутывается романтическим флером, прорастает загадками. И чем дальше от нашего сегодня прошедшая эпоха, тем больше у нее загадок и тем неудержимее в нас стремление разгадывать их.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Уже изданы и готовятся к печати:

А.-Г. Аман

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕРВЫХ ХРИСТИАН. 95—197»**

М. Брион

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ВЕНЫ ВО ВРЕМЕНА
МОЦАРТА И ШУБЕРТА»**

П. Антонетти

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ФЛОРЕНЦИИ
ВО ВРЕМЕНА ДАНТЕ»**

Н. Черкашин

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
РОССИЙСКИХ ПОДВОДНИКОВ»**

Ж. Каркопино

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ДРЕВНЕГО РИМА.
АПОГЕЙ ИМПЕРИИ»**

Ж. Эр

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ПАПСКОГО ДВОРА
ВО ВРЕМЕНА БОРАЖИА И МЕДИЧИ»**

Отзывы, творческие и коммерческие предложения:

787-63-85, 978-89-82, 787-63-87, 787-63-75.

<http://mg.gvardiya.ru> ♦ dsel@gvardiya.ru

Что свидетельствует ныне о быте ушедших эпох? Как выглядели жившие в них люди? Как были одеты, причесаны, как развлекались и любили друг друга, чем украшали себя женщины, какие кушанья подавались к столу, что считалось приличным, а что возмутительным? На эти и множество других подобных вопросов ответят книги новой серии

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Уже изданы и готовятся к печати:

А. Зверев

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПАРИЖА»**

Э. Драйтова

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
А. ДЮМА И ЕГО ГЕРОЕВ»**

Л. Флем

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ФРЕЙДА И ЕГО ПАЦИЕНТОВ»**

П. Монтэ

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН
ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКИХ ФАРАОНОВ»**

П. Фор

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ГРЕЦИИ
ВО ВРЕМЕНА ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ»**

И. Клулас

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
В ЗАМКАХ ЛУАРЫ
В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ»**

**Отзывы, творческие и коммерческие предложения:
787-63-85, 978-89-82, 787-63-87, 787-63-75.
<http://mg.gvardiya.ru> ♦ dsel@gvardiya.ru**

Всех любителей
гуманитарной литературы
приглашаем посетить
новый специализированный
магазин-салон

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН



открытый при издательстве «Молодая гвардия»



В продаже самый широкий ассортимент
биографических изданий,
книги по истории, философии, психологии
и другим отраслям гуманитарных знаний.

Наш адрес: ул. Новослободская, 14/19, строение 4.
Проезд до станций метро «Менделеевская» (в минуте ходьбы)
или «Новослободская».

Телефоны: 972-05-41, 787-64-77.

[www://mg.gvardiya.ru](http://mg.gvardiya.ru) ☎ book@gvardiya.ru

Ольга НОВИКОВА



личность («Мужское-женское, или Третий роман»)... Таков спектр характеров книги, в которой любая читательница найдет художественное отражение собственного женского опыта. И читателям-мужчинам, неравнодушным к жизни, эта книга может многое рассказать о человеческих взаимоотношениях. Ведь знаменитые писатели, скандально известный режиссер Эраст (если он напоминает вам Романа Виктюка — вы угадали), слепой юрист и настоящий мужчина Нерлин — интересны именно тем, что не вмещаются в рамки привычных моралистических представлений.

Ольга Новикова родилась в Вятке (Киров), окончила Московский государственный университет, живет в Москве. Своими литературными учителями считает В. Катаева и В. Каверина (с обоими ей довелось работать и дружить), а также В. Богомолова и В. Маканина.

Девочки, девушки, дамы! Знаете, над чем не властно время? Проходит молодость, тратятся силы и здоровье, рушатся дружбы, уходят из вашего дома выросшие дети, не выдерживает испытания своей и вашей старостью мужская любовь. И только одна-единственная женственность, ваша женственность абсолютна. Она дана каждой, и только от вас зависит, сохранится ли она навек.

Молодая редакторша Женя, служащая в знаменитом советском издательстве («Женский роман»); самоотверженная, душевно богатая женщина-психолог Ава («Мужской роман»); бизнес-леди Клава, любящая жена, мать взрослой дочери, через новую привязанность открывающая в себе самодостаточную, независимую



Молодая
гвардия

Библиотека современной прозы
«Литературный наследие»